Р. Л. СТИВЕНСОН

РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

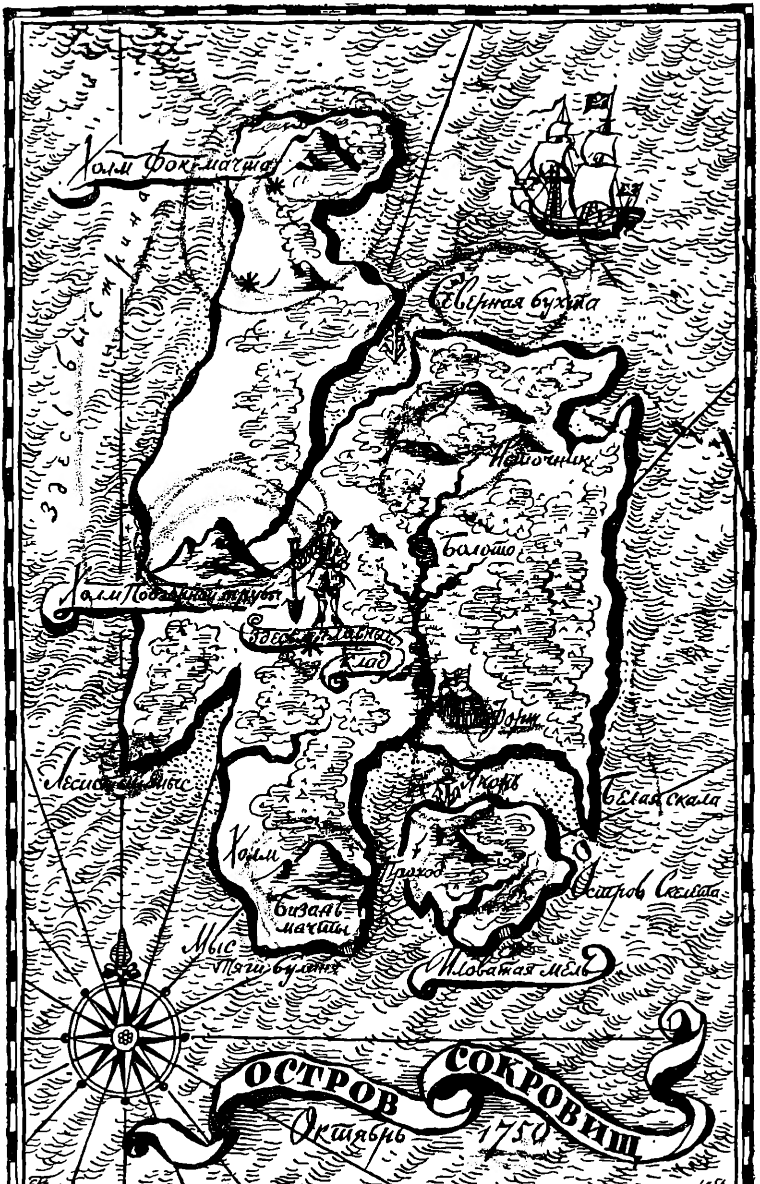
ТОМ 2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ● ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА ● 1967

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
М. Урнова.

Иллюстрации художника
С. Бродского.

ОСТРОВ
СОКРОВИЩ


Холм Фокмачты
Северная бухта
Источник
Болото
Холм Подзорной трубы
Здесь главный клад
Форт
Якорь
Белая скала
Лесистый мыс
Холм
Бизань мачты
Проход
Остров Скелета
Мыс Тяги булиня
Иловатая мель
ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Октябрь 1750
1956

МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

В сущности, это была вовсе не первая моя книга, ведь я пишу не только романы. Однако я прекрасно понимаю, что мой казначей, его величество читатель, на все прочее, написанное мною, взирает равнодушно, чтоб не сказать неприязненно. Он признает меня не иначе как в моем единственно привычном и незыблемом качестве; и когда меня просят рассказать о первой моей книге, совершенно очевидно, что подразумевается мой первый роман.

Рано или поздно мне суждено было написать роман. Почему? Праздный вопрос. Люди появляются на свет с различными странностями, — с юных лет моей страстью было придумывать и связывать воедино несуществующие события; едва я обучился писать, как стал верным другом тех, кто делает бумагу. Бессчетные кипы ушли, должно быть, на «Ратиллета», «Пентландское восстание» [1], «Королевскую амнистию» (иначе: «Парк Уайтхед»), «Эдварда Даррена», «Контрданс» и «Западную вендетту»; утешительно вспоминать, что все они ныне обратились в пепел и преданы матери-земле. Я назвал только немногие из бессчетных своих опытов, а именно те, которые достигли солидного объема, прежде чем были отринуты; но даже и они заняли долгие годы. «Ратиллет» был начат, когда мне было пятнадцать, «Вендетта» — в двадцать девять, и неудачи тянулись непрерывной чередою, пока мне не исполнился тридцать один год. К этому времени я успел стать автором небольших книжечек, коротеньких эссе, рассказов; меня похлопывали по

[1] Ne pas confondre. Не ту тоненькую брошюрку с именем Эндрю Элиота на титульном листе, которую (как я с изумлением вижу по книжным реестрам) английские господа согласны покупать по баснословной цене,— но предшественника ее, объемистый исторический роман без тени каких-либо достоинств, ныне ввергнутый в небытие. *(Прим. автора.)*

плечу и платили, но слишком мало, чтоб на то прожить. Я составил себе имя. Я попал в разряд преуспевающих. Я проводил дни свои в трудах, тщетность которых порою заставляла меня краснеть, ибо я, взрослый мужчина, отдавал этому делу все силы и все-таки не мог заработать на жизнь; и по-прежнему сияла предо мною неосуществленная мечта. Раз десять, а то и больше принимался я за дело, притом весьма горячо, и все-таки еще не написал романа. Все — все они, мои красавчики, какое-то время подвигались вперед, а потом вдруг останавливались, неминуемо, как часы у школьника. Я походил на многоопытного игрока в крикет, который, однако же, ни разу не выиграл ни одной партии. Рассказ — я хочу сказать, плохой рассказ — может написать всякий у кого есть усердие, бумага и досуг, но далеко не всякому дано написать роман, хотя бы и плохой. Размеры — вот что убивает. Признанный романист может позволить себе начать книгу, затем отложить ее, потратить не один день впустую, написать и тотчас с легкой душой вымарать написанное. Иное дело новичок. У человеческой природы есть свои законы; чувство самосохранения не позволит человеку (если только его не обнадеживает, не воодушевляет ранее одержанная победа) терпеть муки бесплодных писательских усилий дольше двух-трех недель. Что-то должно питать его надежду. Даже чтоб взяться за перо, нужно счастливое наитие, удачная полоса, одна из тех минут, когда слова сами собой идут на ум и складываются в предложение. А раз начав, с каким душевным трепетом глядишь вперед, пока не кончена книга! Удержится ли счастливое наитие, удачная полоса; сумеешь ли сохранить единый стиль, останутся ли твои куклы живыми, естественными, выразительными?.. Помнится, я в те дни смотрел на всякий роман в трех томах с неким благоговением, как на подвиг, пусть даже не литературный, но, во всяком случае, подвиг физической и нравственной выносливости и отваги, достойной Аякса.

В тот знаменательный год я приехал погостить к своим родителям в Киннерд, над Питлохри. Я бродил по рыжим торфяникам, по берегам золотистого ручья. Первозданный, чистый воздух родимых гор вселял в нас если не вдохновение, то воодушевление, и мы с женой задумали написать вдвоем книгу рассказов о домовых и леших, для которой ею написана была «Тень на постели», а мною — «Окаянная Дженет» и первоначальный вариант «Веселых Молодцов». Я люблю воздух родины, но без взаимности; и завершилось это блаженное время простудой, шпанскою мушкой и переселением в бремерский Каслтон через Стретэрди и Гленши. Там дули ветры и соответственно лили дожди. Воздух на моей родине злее неблагодарности людской, и я был принужден значительную часть времени проводить в четырех стенах «дома покойной мисс Макгрегор» — так зловеще именовалось мое жилище. А теперь полюбуйтесь, что вытворяет провидение! В дом покой-

ной мисс Макгрегор приехал на каникулы школьник, который жаждал найти себе какое-нибудь занятие, чтоб было над чем поломать голову. О сочинительстве он не помышлял; он отдал мимолетное свое предпочтение искусству Рафаэля и с помощью пера, чернил и коробки акварельных красок, купленной за один шиллинг, он живо обратил одну из комнат в картинную галерею. Моею непосредственной обязанностью было принимать в галерее посетителей; порой, однако, я позволял себе снизойти с моих высот, встать (образно говоря) рядом с художником у мольберта и провести полдня в благородном соперничестве с ним, малюя картинки. Так однажды я начертил карту острова; она была старательно и (на мой взгляд) красиво раскрашена; изгибы ее необычайно увлекли мое воображение; здесь были бухточки, которые меня пленяли, как сонеты. И с бездумностью обреченного я нарек свое творение «Островом Сокровищ». Я слышал, бывают люди, для которых карты ничего не значат, но не могу себе этого представить! Имена, очертания лесов, направление дорог и рек, доисторические следы человека, и ныне четко различимые в горах и долах, мельницы и развалины, водоемы и переправы, какой-нибудь «Стоячий валун» или «Кольцо друид» посреди вересковой пустоши — вот неисчерпаемый кладезь для всякого, у кого есть глаза и хоть на грош воображения. Кто не помнит, как ребенком зарывался лицом в траву, вглядывался в дебри этого крохотного леса и видел, как они наполняются волшебными полчищами!

То же примерно произошло со мной, когда я уронил задумчивый взгляд на карту своего «Острова Сокровищ» и средь придуманных лесов зашевелились герои моей будущей книги. Загорелые лица их и сверкающее оружие высовывались из самых неожиданных мест; они сновали туда и сюда, сражались и искали сокровище на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Я не успел опомниться, как передо мною очутился чистый лист, и я составлял перечень глав. Сколько раз уже было так, и на том дело кончалось! Правда, здесь кое-что сулило удачу. Это будет книга для мальчишек; стало быть, не потребуется ни психологии, ни изощрений в стиле; а тут и мальчик был под боком, чтоб послужить мне пробным камнем. Женщин не будет. С бригом (а «Испаньоле» по-настоящему полагалось быть бригом) мне было не управиться, но я полагал, что сумею избежать публичного позора, если пущусь в плавание на шхуне. К тому же мне пришла в голову одна мысль насчет Джона Сильвера, которая обещала доставить немало забавных минут: взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал (читатель, очень может статься, знает и любит его не меньше моего), откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу. По-

добного рода психологическая хирургия, я думаю,— достаточно распространенный способ «созидания образа»; пожалуй, даже и единственный. Можно вставить в книгу занятного прохожего, с которым перекинулся накануне десятком фраз на улице, но что мы о нем знаем? Друга во всем бескрайнем многообразии и переменчивости его натуры мы знаем, но можем ли мы вставить его в книгу? Первого должно наделить побочными, надуманными качествами, возможно, вовсе ему не свойственными; от второго надо отсечь и отбросить ненужные нам ответвления его личности; зато по крайней мере мы можем быть уверены, что ствол и немногие оставшиеся ветви нас не подведут.

Промозглым сентябрьским утром — веселый огонек горел в камине, дождь барабанил в оконное стекло — я начал «Судового повара» — так сперва назывался роман. Я начинал (и кончил) много книг на своем веку, но не припомню, чтобы хоть за одну из них садился в столь безмятежном расположении духа. Оно и не удивительно: недаром говорится, что краденое яблочко всегда слаще. Я вынужден коснуться сейчас щекотливого предмета. Да, несомненно, попугай принадлежал когда-то Робинзону Крузо. Да, скелет, несомненно, заимствован у По. Но не они меня тревожат: это все мелочи, ничтожные пустяки; никому не позволено присваивать себе исключительное право на скелеты или объявлять себя единовластным хозяином всех говорящих птиц. Частокол, как утверждают, взят из «Мичмана Риди». Пусть так, мне совершенно все равно. Достойные писатели эти лишь оправдали слова поэта: удалясь, они оставили после себя

Следы на вечности песках,
Следы, по коим, может быть, другой...—

вот я и оказался тем другим! Нет, мою совесть мучит лишь долг перед Вашингтоном Ирвингом, и не напрасно, ибо, по-моему, нечасто встретишь столь очевидный плагиат. Несколько лет назад в поисках чего-нибудь подходящего для антологии прозы случилось мне открыть «Рассказы путешественника», и вдруг строчки заплясали у меня перед глазами. Билли Бонс, его сундук, общество, собравшееся в трактире, весь внутренний дух и изрядная доля существенных подробностей первых моих глав — все было тут, и все было собственностью Вашингтона Ирвинга. Но в те часы, когда в приливе вдохновения, несколько заземленного, пожалуй, я сидел у камелька и писал, я не догадывался об этом; не догадывался и потом, когда день за днем после второго завтрака читал в кругу семьи то, что написал за утро. Все это мне казалось первородным, как грех; все принадлежало мне столь же неоспоримо, как мой правый глаз. Я рассчитывал, что слушать будет один школьник; я обнаружил, что их два. Отец мой за-

горелся тотчас всею силой своей романтической, ребячливой и самобытной души. Ведь и его собственные истории, которые он каждый вечер рассказывал себе на сон грядущий, все неизменно были о парусниках, придорожных кабачках, разбойниках, старых матросах и бродячих торговцах тех времен, когда на свете не было еще паровой машины. Он ни одной из них не досказал до конца — счастливец, ему в том не было нужды! Но в «Острове Сокровищ» он учуял нечто родственное ему по духу; это была его стихия; мало того, что он каждый день выслушивал с восторгом новую главу, он стал моим рьяным сотрудником. Когда настало время перерыть сундук Билли Бонса, он чуть не целый день просидел, составляя на конверте делового письма опись его содержимого, которой я неукоснительно придерживался, и это по его настоятельной просьбе «старый корабль Флинта» был окрещен «Моржом». А тут, словно Deus ex machina, к нам нагрянул — кто бы вы думали? Сам доктор Джэпп — нежданно-негаданно, подобно переодетому принцу, которому назначено под занавес, в последнем действии принести мир и благоденствие, он приехал и привез в кармане — не рог изобилия, не талисман, а издателя: старинный друг мой мистер Гендерсон, оказывается, поручил подыскать новых авторов для юношеского журнала «Янг Фолкс». Навязать нашему гостю жалкие огрызки «Судового повара» было бы столь крайней мерой, что на нее не отважилось даже беспощадное в своей сплоченности семейство, а между тем мы и мысли не допускали о том, чтоб приостановить наши чтения, и потому ради доктора Джэппа повесть была вновь торжественно перечитана с начала. С того самого мгновения и по сей день я высоко ценю его критический дар, ибо, покидая нас, он увозил рукопись в чемодане.

Итак, у меня было все, что нужно, чтоб поддержать во мне бодрость духа: сочувствие, помощь, а теперь ещё и твердая договоренность с издателем. Мною был избран к тому же очень легкий стиль. Сопоставьте его с «Веселыми Молодцами», написанными почти одновременно; кто-то отдаст предпочтение одному стилю, кто-то другому — это дело вкуса, настроения, пожалуй, но никакой ценитель не может не заметить, что один соблюдать труднее, другой — гораздо легче. Казалось бы, ты зрелый, опытный литератор, пиши себе свой «Остров Сокровищ» по столько-то страниц в день и живи припеваючи! Но увы! Мне суждено было иное. Пятнадцать дней я держался и сделал пятнадцать глав; но потом, на первых же абзацах шестнадцатой, позорно споткнулся. Уста мои были немы; в груди — ни слова более для «Острова Сокровищ», а в гостинице «Рука и копье» меня уже дожидались гранки первых глав! Там я и правил их, живя большею частью один, разгуливая росными осенними утрами по вересковой пустоши за Вейбриджем, изрядно довольный тем, что мною сделано, и невыразимо подавленный тем, что еще сделать предстоит. Мне минул

тридцать один год, я был глава семейства; я успел лишиться здоровья; я еще никогда не жил без долгов, ни разу не доводилось мне заработать двести фунтов в год; совсем недавно отец мой выкупил у издателя мою книгу и погасил неустойку; неужто и этой суждено стать еще одной, последней неудачей? По правде сказать, я был близок к отчаянию; однако стиснул зубы и нашел в себе достаточно решимости, чтобы по пути в Давос, где мне предстояло провести зиму, думать о другом и с головою погрузиться в романы мсье дю Буагобэ. Прибыв на место, сел я как-то утром за неоконченную книгу, и — о диво! — слова так и полились, точно в пустой, незначащей беседе; и на второй волне счастливого вдохновения, вновь подвигаясь с каждым днем на целую главу, я закончил «Остров Сокровищ». Силою обстоятельств совершалось это едва ли не тайком. Жена моя была больна, в рядах приспешников остался только школьник, а Джон Аддингтон Саймондс (которому я робко заикнулся о том, чем занимаюсь) косился на меня с неодобрением. Ему в ту пору очень хотелось, чтобы я писал о «Характерах» Теофраста — столь ошибочны бывают порой суждения разумнейших из людей. Впрочем, Саймондс, правду сказать, едва ли подходил для роли наперсника, способного сочувственно отнестись к книге для мальчишек. Это был человек широких взглядов, большой книгочий, однако уже сама затея моя должна была навести его на мысль о сделках с искренностью и погрешностях в стиле. Что ж, он был недалек от истины.

«Остров Сокровищ» — первоначальное заглавие, «Судовой повар», было отвергнуто мистером Гендерсоном — надлежащим образом вышел в журнале, затерялся на его малопочтенных полосах без всяких иллюстраций и не привлек ни малейшего внимания. Мне было все равно. Самому мне эта вещь нравилась и в основном по той же причине, по какой моему отцу понравилось начало: это была моя стихия. К тому же я немало гордился Джоном Сильвером, мне и поныне внушает своеобразное восхищение этот велеречивый и опасный авантюрист. И, что тысячу раз замечательней, я перешел Рубикон: я завершил повествование и написал на своей рукописи слово «Конец», чего со мной не случалось со времени «Пентландского восстания», когда я был шестнадцатилетним юнцом, еще не поступившим в колледж. Правду сказать, все объяснялось счастливым стечением обстоятельств: если бы не приехал доктор Джэпп и если бы сама повесть не шла с такой небывалой легкостью, она, как и ее предшественники, была б отложена и, никем не оплаканная, угодила бы в огонь. Пуристы могут возразить, что это было бы только к лучшему. Я с ними не соглашусь. Книга как будто доставила людям много удовольствия и добыла (или послужила средством добыть) тепло, еду, вино одному достойному семейству, в котором я принимал живое участие. Надо ли говорить, что я имею в виду свое собственное семейство.

Однако перипетии с «Островом Сокровищ» тем не исчерпались. Я его написал по карте Собственно говоря, карта отчасти породила фабулу. Так, например, я дал одному островку имя «Остров Скелета», не зная хорошенько, для чего, попросту ради колорита, а уже чтобы оправдать это название, я вломился в сокровищницу мистера По и украл указательную стрелу Флинта. Подобным же образом «Испаньола» отправилась в свои скитания с Израэлем Хендсом лишь потому, что я нанес на карту две бухточки. Со временем решено было переиздать роман, и я отослал рукопись, а вместе с ней и карту издательской фирме «Кесселл». Пришли гранки, я держал корректуру, но о карте не было ни слуху ни духу. Я написал, спрашивая, что случилось; мне сообщили, что карты никакой не получали. У меня просто ноги подкосились. Одно дело — нарисовать карту как придется, поставить в уголке масштаб наудачу и применительно к этому сочинить историю. Совсем другое дело — досконально обследовать всю книгу, составить перечень всех имеющихся в ней ссылок на те или иные места и, вооружившись циркулем, старательно подогнать под них карту. Я все это проделал, и карта была нарисована заново в рабочей комнате моего отца, украшена китами, пускающими фонтанчики, и корабликами с раздутыми парусами; а тут еще отец использовал свое умение писать разными почерками и мастерски «подделал» подпись капитана Флинта и путевые указания Билли Бонса. И все же для меня новая карта так и не стала почему-то «Островом Сокровищ».

Я сказал, что карта отчасти породила фабулу. Я мог бы сказать, пожалуй, что она и была фабулой. Какие-то застрявшие в памяти места из книг Эдгара По, Дефо и Вашингтона Ирвинга, экземпляр джонсоновских «Пиратов», название «Сундук мертвеца» из книги Кингсли «Наконец», обрывки воспоминаний о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте водоизмещением в пятнадцать тонн и, наконец, сама карта с ее бессчетными красноречивыми подсказками воображению — вот и все мои источники. Не часто, может быть, карте отводится такое знаменательное место в книге; и все-таки она всегда важна. Писатель должен знать свою округу — будь она настоящей или вымышленной — как свои пять пальцев; расстояния, деления компаса, сторону, где восходит солнце, поведение луны — все должно быть безупречно. А сколько хлопот с одною луной! Я уж раз сел в лужу из-за луны в «Принце Отто» и, после того как мне указали мою оплошность, в виде предосторожности взял себе за правило никогда не писать без лунного календаря, что и другим советую. Имея календарь, карту местности и план каждого дома — на бумаге ли или четко и подробно удержанный в уме,— можно надеяться, что избежишь хотя бы самых грубых ошибок. С раскрытой картой перед глазами едва ли разрешишь солнцу сесть на востоке, как это происходит в «Антикварии». Имея под рукой календарь,

не позволишь двум всадникам, которые скачут с важным поручением, потратить шесть суток (с трех часов ночи в понедельник до поздней ночи в субботу) на путь длиною, скажем, в девяносто или сто миль, а потом еще до истечения недели и все на тех же скакунах проделать пятьдесят миль за день, как о том пространно повествуется в неподражаемом романе «Роб Рой». Да, таких ляпсусов лучше, конечно, хоть и вовсе не обязательно, избегать. Впрочем, мое убеждение — суеверное, если угодно,— что всякий, кто неукоснительно повинуется своей карте, сверяется с нею, черпает в ней вдохновение ежедневно, ежечасно, получит надежную поддержку и, стало быть, не только оградит себя от досадных случайностей, а еще и останется в выигрыше. Повесть уходит в карту корнями, растет на ее почве, у нее есть где-то, помимо слов, свой собственный костяк. Лучше, чтобы все происходило в настоящей стране и вы ее прошли из края в край и знаете в ней каждый камешек. Но даже когда речь идет о вымышленных местах, тоже не мешает сначала запастись картой. Вы вглядываетесь в нее, и возникают какие-то новые связи, о которых вы прежде и не подозревали. Вы обнаружите очевидные, хотя и непредвиденные тропинки для ваших гонцов, и даже когда карта не составляет всей фабулы, как в «Острове Сокровищ», она всегда сумеет дать богатую пищу уму.

Роберт Луис Стивенсон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАРЫЙ ПИРАТ

ГЛАВА I

СТАРЫЙ МОРСКОЙ ВОЛК В ТРАКТИРЕ «АДМИРАЛ БЕНБОУ»

Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли оттуда. И вот в нынешнем, 17.. году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бенбоу» [1] и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке.

Я помню, словно это было вчера, как, тяжело ступая, он дотащился до наших дверей, а его морской сундук везли за ним на тачке. Это был высокий, сильный, грузный мужчина со смуглым лицом. Просмоленная косичка торчала над воротом его засаленного синего кафтана. Руки у него были шершавые, в каких-то рубцах, ногти черные, поломанные, а сабельный шрам на щеке — грязновато-белого цвета, со свинцовым оттенком. Помню, как незнакомец, посвистывая, оглядел нашу бухту и вдруг загорланил старую матросскую песню, которую потом пел так часто:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

[1] Английский адмирал, живший в конце XVII века.

Голос у него был стариковский, дребезжащий, визгливый, как скрипучая вымбовка.

И палка у него была, как гандшпуг. Он стукнул этой палкой в нашу дверь и, когда мой отец вышел на порог, грубо потребовал стакан рому.

Ром был ему подан, и он с видом знатока принялся не спеша смаковать каждый глоток. Пил и поглядывал то на скалы, то на трактирную вывеску.

— Бухта удобная,— сказал он наконец.— Неплохое место для таверны. Много народу, приятель?

Отец ответил, что нет, к сожалению, очень немного.

— Ну что же! — сказал моряк.— Эта якорная стоянка как раз для меня... Эй, браток! — крикнул он человеку, который катил за ним тачку.— Подгребай-ка сюда и помоги мне втащить сундук... Я поживу здесь немного,— продолжал он.— Человек я простой. Ром, свиная грудинка, яичница — вот и все, что мне нужно. Да вон тот мыс, с которого видны корабли, проходящие по морю... Как меня называть? Ну что же, зовите меня капитаном... Эге, я вижу, чего вы хотите! Вот!

И он швырнул на порог три или четыре золотые монеты.

— Когда эти кончатся, можете прийти и сказать,— проговорил он грозно и с видом командира взглянул на отца.

И действительно, хотя одежда у него была плоховата, а речь отличалась грубостью, он не был похож на простого матроса. Скорее его можно было принять за штурмана или шкипера, который привык, чтобы ему подчинялись, и любит давать волю своему кулаку. Человек с тачкой рассказал нам, что незнакомец прибыл вчера утром на почтовых в «Гостиницу короля Георга» и расспрашивал там обо всех постоялых дворах, расположенных поблизости от моря. Должно быть, услышав о нашем трактире хорошие отзывы и узнав, что он стоит на отлете, капитан решил поселиться у нас. Вот и все, что удалось нам узнать о своем постояльце.

Человек он был молчаливый. Целыми днями бродил по берегу бухты или взбирался на скалы с медной подзорной трубой. По вечерам он сидел в общей комнате в самом углу, у огня, и пил ром, слегка разбавляя его водой. Он не отвечал, если с ним заговаривали. Только окинет свирепым взглядом и засвистит носом, как корабельная сирена в тумане. Вскоре мы и наши посетители научились оставлять его в покое. Каждый день, воротившись с прогулки, он справлялся, не проходили ли по нашей дороге какие-нибудь мо-

ряки. Сначала мы думали, что ему не хватает компании таких же забулдыг, как он сам. Но под конец мы стали понимать, что он желает быть подальше от них. Если какой-нибудь моряк, пробираясь по прибрежной дороге в Бристоль, останавливался в «Адмирале Бенбоу», капитан сначала разглядывал его из-за дверной занавески и только после этого выходил в гостиную. В присутствии подобных людей он всегда сидел тихо, как мышь.

Я-то знал, в чем тут дело, потому что капитан поделился со мной своей тревогой. Однажды он отвел меня в сторону и пообещал платить мне первого числа каждого месяца по четыре пенса серебром, если я буду «в оба глаза смотреть, не появится ли где одноногий моряк», и сообщу ему сразу же, как только увижу такого. Всякий раз, когда наступало первое число и я обращался к нему за обещанным жалованьем, он только трубил носом и свирепо глядел на меня. Но не проходило и недели, как, подумав, он приносил мне монетку и повторял приказание не пропустить «моряка на одной ноге».

Ну и натерпелся я страху с этим одноногим моряком! Он преследовал меня даже во сне. Бурными ночами, когда ветер сотрясал все четыре угла нашего дома, а прибой ревел в бухте и в утесах, он снился мне на тысячу ладов, в виде тысячи разных дьяволов. Нога была отрезана у него то по колено, то по самое бедро. Порою он казался мне каким-то страшным чудовищем, у которого одна-единственная нога растет из самой середины туловища. Он гонялся за мной на этой одной ноге, перепрыгивая через плетни и канавы. Недешево доставались мне мои четыре пенса каждый месяц: я расплачивался за них этими отвратительными снами.

Но как ни страшен был для меня одноногий моряк, самого капитана я боялся гораздо меньше, чем все остальные. В иные вечера он выпивал столько рому с водой, что голова у него шла ходуном, и тогда он долго оставался в трактире и распевал свои старинные, дикие, жестокие морские песни, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. А случалось и так, что он приглашал всех к своему столу, требовал стаканы и заставлял оробевших собутыльников либо слушать его рассказы о морских приключениях, либо подпевать ему хором. Стены нашего дома содрогались тогда от «Йо-хо-хо, и бутылка рому», так как все посетители, боясь его неистового гнева, старались перекричать один

другого и петь как можно громче, лишь бы капитан остался ими доволен, потому что в такие часы он был необузданно грозен: то стучал кулаком по столу, требуя, чтобы все замолчали; то приходил в ярость, если кто-нибудь перебивал его речь, задавал ему какой-нибудь вопрос; то, наоборот, свирепел, если к нему не обращались с вопросами, так как, по его мнению, это доказывало, что слушают его невнимательно. Он никого не выпускал из трактира — компания могла разойтись лишь тогда, когда им овладевала дремота от выпитого вина и он, шатаясь, ковылял к своей постели.

Но страшнее всего были его рассказы. Ужасные рассказы о виселицах, о хождении по доске [1], о штормах и об островах Драй Тортугас, о разбойничьих гнездах и разбойничьих подвигах в Испанском море.

Судя по его рассказам, он провел всю свою жизнь среди самых отъявленных злодеев, какие только бывали на море. А брань, которая вылетала из его уст после каждого слова, пугала наших простодушных деревенских людей не меньше, чем преступления, о которых он говорил.

Отец постоянно твердил, что нам придется закрыть наш трактир: капитан отвадит от нас всех посетителей. Кому охота сносить такие издевательства и дрожать от ужаса по дороге домой! Однако я думаю, что капитан, напротив, приносил нам скорее выгоду. Правда, посетители боялись его, но через день их снова тянуло к нему. В тихую, захолустную жизнь он внес что-то необычное, яркое. Среди молодежи нашлись даже поклонники капитана, заявлявшие, что они восхищаются им. «Настоящий морской волк, насквозь просоленный морем!» — говорили они.

По их словам, именно благодаря таким людям Англия и стала грозою морей.

Но, с другой стороны, этот человек и вправду приносил нам убытки. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем; деньги, которые он дал нам при своем появлении, давно уже были истрачены, а новых денег он не платил, и у отца не хватало духу потребовать их. Стоило отцу заикнуться о плате, как капитан с яростью принимался сопеть — это было даже не сопенье, а рычанье; он так грозно смотрел на отца, что тот в ужасе вылетал из комнаты. Я видел, как после подобных попыток он в отчаянии ломал себе ру-

---

[1] Вид казни. Осужденного заставляли идти по неприбитой доске, один конец которой выдавался в море.

ки. Для меня нет сомнения, что эти страхи значительно ускорили горестную и преждевременную кончину отца.

За все время, покуда капитан жил у нас, он ходил в одной и той же одежде, только приобрел у разносчика несколько пар чулок. Один край его шляпы обвис; капитан так и оставил его, хотя при сильном ветре это было большим неудобством. Я хорошо помню, какой у него был драный кафтан; сколько он ни чинил его наверху, в своей комнате, в конце концов кафтан превратился в лохмотья.

Никаких писем он никогда не писал и не получал ниоткуда. И никогда ни с кем не вступал в разговор, разве только с соседями, да и то, если был очень пьян. И никто из нас никогда не видел, чтобы он открывал свой сундук.

Только один-единственный раз капитану посмели перечить, и то произошло это в самые последние дни, когда мой несчастный отец был при смерти.

Как-то вечером к больному пришел доктор Ливси. Он осмотрел пациента, наскоро съел обед, которым угостила его моя мать, и спустился в общую комнату выкурить трубку, поджидая, когда приведут его лошадь. Лошадь осталась в деревушке, так как в старом «Бенбоу» не было конюшни.

В общую комнату проводил его я и помню, как этот изящный, щегольски одетый доктор в белоснежном парике, черноглазый, учтивый, поразил меня своим несходством с деревенскими увальнями, посещавшими наш трактир. Особенно резко отличался он от нашего вороньего пугала, неряшливого, мрачного, грузного пирата, который надрызгался рому и сидел, навалившись локтями на стол.

Вдруг капитан заревел свою вечную песню:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Первое время я думал, что «сундук мертвеца»— это тот самый сундук, который стоит наверху, в комнате капитана.

В моих страшных снах этот сундук нередко возникал передо мною вместе с одноногим моряком. Но мало-помалу мы так привыкли к этой песне, что перестали обращать на нее внимание. В этот вечер она была новостью только для доктора Ливси и, как я заметил, не произвела на

него приятного впечатления. Он сердито поглядел на капитана, прервав свой разговор со старым садовником Тейлором о новом лекарстве от ревматизма. А между тем капитан, разгоряченный своим собственным пением, ударил кулаком по столу. Это означало, что он требует тишины.

Все голоса смолкли разом; один только доктор Ливси продолжал говорить внятно и дружелюбно, попыхивая трубочкой после каждого слова. Капитан пронзительно взглянул на него, потом снова ударил кулаком по столу, потом взглянул еще более пронзительно и вдруг заорал, сопровождая свои слова непристойной бранью:

— Эй, там, на палубе, молчать!

— Вы ко мне обращаетесь, сэр?— спросил доктор.

Старый невежа сказал, что именно к нему, и притом выругался снова.

— В таком случае, сэр, я скажу вам одно,— ответил доктор.— Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев!

Капитан пришел в неистовую ярость. Он вскочил на ноги, вытащил и открыл свой матросский складной нож и, покачивая его на ладони, стал грозить доктору, что пригвоздит его к стене.

Доктор даже не шевельнулся. Он продолжал говорить с ним, не оборачиваясь, через плечо, тем же голосом, может быть, только немного громче, чтобы все могли слышать. Спокойно и твердо он произнес:

— Если вы сейчас же не спрячете этот нож в карман, клянусь вам честью, что вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда.

Они смерили друг друга враждебными взглядами. Но капитан скоро сдался. Он спрятал свой нож и опустился на стул, ворча, как побитый пес.

— А теперь, сэр,— продолжал доктор,— так как мне стало известно, что в моем округе находится подобная особа, я установлю над вами неусыпный надзор. Я не только врач, я и судья. И если до меня дойдет хоть малейшая жалоба— хотя бы только на то, что вы нагрубили кому-нибудь, вот как сейчас,—я приму решительные меры, чтобы вас забрали и выгнали отсюда. Больше я ничего не скажу.

Вскоре доктору Ливси подали лошадь, и он ускакал. Но капитан весь вечер был тих и смирен и оставался таким еще много вечеров подряд.

ГЛАВА II

ЧЕРНЫЙ ПЕС ПРИХОДИТ И УХОДИТ

Вскоре случилось первое из тех загадочных событий, благодаря которым мы избавились наконец от капитана. Но, избавившись от него самого, мы не избавились, как вы сами увидите, от навязанных им хлопот.

Стояла холодная зима с долгими трескучими морозами и бурными ветрами. И с самого начала стало ясно, что мой бедный отец едва ли увидит весну. С каждым днем ему становилось хуже, так что хозяйничать в трактире приходилось мне и моей матери. У нас было дела по горло, и мы уделяли очень мало внимания нашему неприятному постояльцу.

Было раннее январское морозное утро. Бухта поседела от инея. Мелкая рябь ласково лизала прибрежные камни. Солнце еще не успело подняться и только тронуло своими лучами вершины холмов и морскую даль. Капитан проснулся раньше обыкновенного и направился к морю. Под широкими полами его истрепанного синего кафтана колыхался кортик, под мышкой у него была подзорная труба. Шляпу он сдвинул на затылок. Я помню, что изо рта у него вылетал пар и клубился в воздухе, как дым. Я слышал, как злобно он фыркнул, скрываясь за большим утесом,— вероятно, все еще не мог позабыть о своем столкновении с доктором Ливси.

Мать была наверху, у отца, а я накрывал стол для завтрака к приходу капитана. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек, которого прежде я никогда не видел.

Лицо у него было землистое. На левой руке не хватало двух пальцев. Ничего воинственного не было в нем, хотя на поясе висел кортик. Я всегда следил в оба за каждым моряком, будь он на одной ноге или на двух, и помню, что этот человек очень меня озадачил. На моряка он был мало похож, и все же я почувствовал, что он моряк.

Я спросил, что ему угодно, и он потребовал рому. Я кинулся было из комнаты, чтобы исполнить его приказание, но он сел за стол и подозвал меня к себе. Я остановился с салфеткой в руке.

— Поди-ка сюда, сынок,— сказал он.— Подойди поближе.

Я подошел.

— Этот стол накрыт для моего дружка Билли?— спросил он, ухмыляясь.

Я ответил, что не знаю никакого Билли и что стол накрыт для одного нашего постояльца, которого мы зовем капитаном.

— Ну что же,— сказал он,— мой дружок Билли скорей всего и величает себя капитаном. У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особливо когда он напьется. Вот он каков, мой друг Билли! Предположим, у вашего капитана тоже шрам на щеке и допустим, что как раз на правой. Правильно! Итак, я хотел бы знать: обретается ли он здесь, в этом доме, мой товарищ Билли?

Я ответил, что капитан пошел пройтись.

— А куда, сынок? Куда он пошел?

Я показал ему большой утес и сказал, что капитан должен появиться оттуда.

— А когда?

И, задав мне еще несколько разных вопросов, он проговорил под конец:

— Да, мой товарищ Билли обрадуется мне, как выпивке.

Однако лицо у него при этих словах было злобное, и я имел все основания думать, что капитан будет не слишком-то рад встрече с ним. Но я тут же сказал себе, что это меня не касается. И, кроме того, трудно было предпринять что-нибудь при таких обстоятельствах. Незнакомец стоял у самой входной двери трактира и следил за углом дома, словно кот, подстерегающий мышь. Я хотел было сам выйти на дорогу, но он тотчас же окликнул меня. Я не сразу ему повиновался, и его бледное лицо вдруг исказилось таким гневом, и он разразился такими ругательствами, что я в страхе так и подскочил. Но едва я вернулся, он стал разговаривать со мной по-прежнему, не то льстиво, не то насмешливо, потрепал меня по плечу, сказал мне, что я славный мальчишка и что он сразу меня полюбил.

— У меня есть сын,— сказал он,— и ты похож на него как две капли воды. Он гордость моего родительского сердца. Но для мальчиков главное — послушание. Да, сынок, послушание. Вот если бы ты поплавал с Билли, тебя не пришлось бы окликать два раза. Билли никогда не повторял приказаний, да и другие, что с ним плавали... А вот и он, мой дружище Билли, с подзорной трубой под мышкой, благослови его бог! Давай-ка пойдем опять в зал, спрячем-

ся за дверью, сынок, и устроим Билли сюрприз, обрадуем Билли, благослови его бог!

С этими словами он загнал меня в общую комнату, в угол, и спрятал у себя за спиной. Мы оба были заслонены открытой дверью. Мне было и неприятно и страшновато, как вы можете себе представить, особенно когда я заметил, что незнакомец и сам определенно трусит. Он высвободил рукоятку своего кортика, чуть-чуть вытащил его из ножен и все время делал такие движения, как будто глотает какой-то кусок, застрявший у него в горле.

Наконец в комнату ввалился капитан, хлопнул дверью и, не глядя по сторонам, направился прямо к столу, где его поджидал завтрак.

— Билли! — проговорил незнакомец, стараясь придать своему голосу твердость и смелость.

Капитан повернулся на каблуках и увидал нас. Загар как бы сошел с его лица, даже нос его сделался синим. У него был вид человека, который повстречался с привидением, или с дьяволом, или с чем-нибудь похуже, если такое бывает. И, признаюсь вам, мне стало жалко его — таким он сразу сделался старым и дряблым.

— Разве ты не узнаешь меня, Билли? Неужели ты не узнаешь своего старого корабельного товарища, Билли? — сказал незнакомец.

Капитан открыл рот, словно у него не хватило дыхания.

— Черный Пес! — проговорил он наконец.

— Он самый,— ответил незнакомец, несколько приободрившись.— Черный Пес пришел проведать своего старого корабельного друга, своего Билли, живущего в трактире «Адмирал Бенбоу». Ах, Билли, Билли! Сколько воды утекло с тех пор, как я лишился двух своих когтей! — воскликнул он, подняв искалеченную руку.

— Ладно,— сказал капитан.— Ты выследил меня, и я перед тобою. Говори же, зачем пришел?

— Узнаю тебя, Билли,— ответил Черный Пес.— Ты прав, Билли. Этот славный мальчуган, которого я так полюбил, принесет мне стаканчик рому. Мы посидим с тобой, если хочешь, и поговорим без обиняков, напрямик, как старые товарищи.

Когда я вернулся с бутылкой, они уже сидели за столом капитана друг против друга.

Черный Пес сидел боком, поближе к двери и одним глазом смотрел на своего старого друга, а другим — на дверь, путь к отступлению.

Он велел мне уйти и оставить дверь открытой настежь.

— Чтобы ты, сыночек, не подсматривал в замочную скважину,— пояснил он.

Я оставил их вдвоем и ушел на кухню.

Долгое время, несмотря на все старания, я не слышал ничего, кроме невнятного говора. Но мало-помалу голоса становились все громче, и наконец мне удалось уловить несколько слов, главным образом бранных, летевших из уст капитана.

Раз капитан закричал:

— Нет, нет, нет, нет! И довольно об этом! Слышишь?

И потом снова:

— Если дело дойдет до виселицы, так пусть на ней болтаются все!

Потом внезапно раздался страшный взрыв ругательств, стол и скамьи с грохотом опрокинулись на пол, звякнула сталь, кто-то вскрикнул от боли, и через минуту я увидел Черного Пса, со всех ног бегущего к двери. Капитан гнался за ним. Их кортики были обнажены. У Черного Пса из левого плеча текла кровь. Возле самой двери капитан занес кортик для последнего, самого страшного удара и, несомненно, разрубил бы убегающему голову пополам, но кортик зацепился за большую вывеску нашего «Адмирала Бенбоу». На вывеске внизу, на самой раме, до сих пор можно видеть след от него.

На этом битва кончилась.

Выскочив на дорогу, Черный Пес, несмотря на свою рану, принялся улепетывать с такой удивительной скоростью, что через полминуты исчез за холмом. Капитан стоял, остолбенело уставясь на вывеску. Затем несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом.

— Джим,— приказал он,— рому!

Он слегка пошатнулся при этих словах и оперся рукой о стену.

— Вы ранены? — воскликнул я.

— Рому! — повторил он.— Мне нужно убираться отсюда. Рому! Рому!

Я побежал за ромом, но от волнения разбил стакан и долго не мог закрыть кран бочонка. И пока я приводил все в порядок, вдруг я услышал, как в зале что-то грузно

грохнулось на пол. Я вбежал и увидел капитана, который во всю свою длину растянулся на полу. Мать, встревоженная криками и дракой, сбежала вниз мне на помощь. Мы приподняли голову капитана. Он дышал очень громко и тяжко. Глаза его были закрыты, лицо побагровело.

— Боже мой! — воскликнула мать.— Какой срам для нашего трактира! А твой бедный отец, как нарочно, лежит больной!

Мы не знали, как помочь капитану, и были уверены, что он смертельно ранен во время потасовки с незнакомцем. Я принес рому и попытался влить ему в рот. Но сильные челюсти его были сжаты, как железные.

К счастью, дверь отворилась, и вошел доктор Ливси, приехавший осмотреть моего больного отца.

— Доктор, помогите! — воскликнули мы.— Что нам делать? Куда он ранен?

— Ранен? — сказал доктор.— Чепуха! Он так же ранен, как ты или я. У него просто удар. Что делать! Я предупреждал его... Ну, миссис Хокинс, возвращайтесь наверх к мужу и, если можно, ничего не говорите ему. А я попытаюсь спасти эту трижды никчемную жизнь... Джим, принеси мне таз.

Когда я вернулся с тазом, доктор уже засучил у капитана рукав и обнажил его большую, мускулистую руку. Рука была татуирована во многих местах. На предплечье синели четкие надписи: *«На счастье»*, *«Попутного ветра»* и *«Удачи Билли Бонсу»*.

Возле самого плеча была нарисована виселица, на которой болтался человек. Рисунок этот, как мне показалось, был выполнен с истинным знанием дела.

— Пророческая картинка,— заметил доктор, трогая пальцем изображение виселицы.— А теперь, сударь Билли Бонс, если вас действительно так зовут, мы посмотрим, какого цвета ваша кровь... Джим,— обратился он ко мне,— ты не боишься крови?

— Нет, сэр,— сказал я.

— Отлично,— проговорил доктор.— Тогда держи таз.

Он взял ланцет и вскрыл вену.

Много вытекло у капитана крови, прежде чем он открыл глаза и обвел нас мутным взглядом. Он узнал доктора и нахмурил брови. Потом заметил меня и как будто несколько успокоился. Потом вдруг покраснел и, пробуя встать, закричал:

— Где Черный Пес?

— Здесь нет никакого пса, кроме того, что грызет вас изнутри,— сказал доктор.— Вы пили слишком много рому. И вот вас хватил удар, как я вам предсказывал. И я, хоть, видит бог, без всякой охоты, вытащил вас из могилы. Ну, мистер Бонс...

— Я не Бонс,— перебил капитан.

— Неважно,— сказал доктор.— У меня есть знакомый пират, которого зовут Бонсом, и я дал вам это имя для краткости. Запомните, что я вам скажу: один стакан рому вас, конечно, не убьет, но если вы выпьете один стакан, вам захочется выпить еще и еще. И ручаюсь моим париком: если вы не бросите пить, вы в самом скором времени умрете. Понятно? Пойдете туда, где вам уготовано местечко, как сказано в библии... Так попробуйте же взять себя в руки! А сейчас, так и быть, я помогу вам добраться до постели.

С большим трудом мы втащили капитана наверх и уложили в постель. Он в изнеможении упал на подушку. Он был почти без чувств.

— Так помните,— сказал доктор,— я говорю вам по чистой совести: слово «ром» и слово «смерть» для вас означают одно и то же.

Взяв меня за руку, он отправился к моему больному отцу.

— Пустяки,— сказал он, едва мы закрыли за собой дверь.— Я выпустил из него столько крови, что он надолго успокоится. Неделю пусть лежит в постели, это полезно и для него и для вас. Но второго удара ему не пережить.

ГЛАВА III

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Около полудня я вошел к капитану с прохладительным питьем и лекарством. Он лежал в том же положении, как мы его оставили, только немного повыше. Он показался мне очень слабым и в то же время очень возбужденным.

— Джим,— сказал он,— ты один здесь чего-нибудь стоишь. И ты знаешь: я всегда был добр к тебе. Не было месяца, чтобы я не давал тебе четыре пенса серебром. Видишь, друг, мне скверно, я всеми покинут! И, Джим, ты принесешь мне кружечку рома, не правда ли?

— Доктор...— начал я.

Но он принялся ругать доктора слабым голосом, но очень сердито.

— Все доктора — бездельники,— сказал он.— А этот ваш здешний доктор — ну что он понимает в моряках? Я бывал в таких странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от Желтого Джека, а от землетрясений на суше стояла качка, словно на море. Что знает ваш доктор об этих местах? И я жил только ромом, да! Ром был для меня и мясом, и водой, и женой, и другом, и если я сейчас не выпью рому, я буду как бедный старый корабль, выкинутый на берег штормом. И моя кровь падет на тебя, Джим, и на этого треклятого доктора...

И он снова разразился ругательствами.

— Посмотри, Джим, как дрожат мои пальцы,— продолжал он жалобным голосом.— Я не могу остановить их, чтобы они не дрожали. У меня сегодня не было ни капли во рту. Этот доктор — дурак, уверяю тебя. Если я не выпью рому, Джим, мне будут мерещиться ужасы. Кое-что я уже видел, ей-богу! Я видел старого Флинта, он там, в углу, у тебя за спиной. Видел его ясно, как живого. А когда мне мерещатся ужасы, я становлюсь как зверь — я ведь человек дикий. Ваш доктор сам сказал, что один стаканчик меня не убьет. Я дам тебе золотую гинею за одну кружечку, Джим!

Он клянчил все настойчивее и был так взбудоражен, что я испугался, как бы его не услышал отец. Отцу в тот день было особенно плохо, и он нуждался в полном покое. К тому же меня ободряли слова доктора, что один стакан не повредит капитану.

— Не нужно мне ваших денег,— ответил я, потому что предложение взятки очень оскорбило меня.— Заплатите лучше то, что вы должны моему отцу. Я принесу вам стакан, но только один-единственный.

Я принес стакан рому. Он жадно схватил его и выпил до дна.

— Вот и хорошо! — сказал он.— Мне сразу же стало лучше. Послушай, друг, доктор не говорил, сколько мне лежать на этой койке?

— По крайней мере неделю,— сказал я.

— Гром и молния! — вскричал капитан.— Неделю! Если я буду лежать неделю, они успеют прислать мне черную

метку. Эти люди уже пронюхали, где я,— моты и лодыри, которые не могли сберечь свое и зарятся теперь на чужое. Разве так настоящие моряки поступают? Вот я, например: я человек бережливый, никогда не сорил деньгами и не желаю терять нажитого. Я опять их надую. Я отчалю от этого рифа и опять оставлю их всех в дураках.

С этими словами он стал медленно приподниматься, схватив меня за плечо с такой силой, что я чуть не закричал от боли. Тяжело, как колоды, опустились его ноги на пол. И его пылкая речь совершенно не соответствовала еле слышному голосу.

После того как он сел на кровати, он долго не мог выговорить ни слова, но наконец произнес:

— Доконал меня этот доктор... В ушах у меня так и поет. Помоги мне лечь...

Но, прежде чем я протянул к нему руку, он снова упал в постель и некоторое время лежал молча.

— Джим,— сказал он наконец,— ты видел сегодня того моряка?

— Черного Пса? — спросил я.

— Да что там Черный Пес,— сказал он.— Он очень нехороший человек, но те, которые послали его, еще хуже, чем он. Слушай, если мне не удастся отсюда убраться и они пришлют мне черную метку, знай, что они охотятся за моим сундуком. Тогда садись на коня...— ведь ты ездишь верхом, правда? — тогда садись на коня и скачи во весь дух... Теперь уж мне все равно... Скачи хоть к этому проклятому чистоплюю-доктору и скажи ему, чтобы свистал всех наверх — всяких там присяжных и судей — и накрыл моих гостей на борту «Адмирала Бенбоу», всю шайку старого Флинта, всех до одного, сколько их еще осталось в живых. Я был первым штурманом старого Флинта, и я один знаю, где находится то место. Он сам все мне передал в Саванне, когда лежал при смерти, вот как я теперь лежу. Видишь? Но ты ничего не делай, пока они не пришлют мне черную метку или пока ты снова не увидишь Черного Пса или моряка на одной ноге. Этого одноногого, Джим, остерегайся больше всего.

— А что это за черная метка, капитан? — спросил я.

— Это вроде как повестка, приятель. Когда они пришлют, я тебе скажу. Ты только не проворонь их, милый Джим, и я разделю с тобой все пополам, даю тебе честное слово...

Он начал заговариваться, и голос его становился все слабее. Я дал ему лекарство, и он принял его, как ребенок.

— Еще ни один моряк не нуждался так в лекарстве, как я.

Вскоре он впал в тяжелое забытье, и я оставил его одного.

Не знаю, как бы я поступил, если бы все обошлось благополучно. Вероятно, я рассказал бы обо всем доктору, ибо я смертельно боялся, чтобы капитан не пожалел о своей откровенности и не прикончил меня. Но обстоятельства сложились иначе. Вечером внезапно скончался мой бедный отец, и мы позабыли обо всем остальном. Я был так поглощен нашим горем, посещениями соседей, устройством похорон и работой в трактире, что у меня не было времени ни думать о капитане, ни бояться его.

На следующее утро он сошел вниз как ни в чем не бывало. Ел в обычные часы, но без всякого аппетита, зато, должно быть, хлебнул лишнего, потому что сам угощался у стойки. При этом он фыркал и сопел так сердито, что никто не дерзнул ему перечить. Вечером накануне похорон он был пьян, как обычно. Отвратительно было слышать его разнузданную, дикую песню в нашем печальном доме. И, хотя он был очень слаб, мы до смерти боялись его, тем более, что доктор был далеко: его вызвали за несколько миль к одному больному, и после смерти отца он ни разу не показывался возле нашего дома.

Я сказал, что капитан был слаб. И действительно, он не только не поправлялся, но как будто все больше терял силы. С трудом всходил он на лестницу; шатаясь, ковылял из зала к нашей стойке. Иногда он высовывал нос за дверь — подышать морем, но хватался при этом за стену. Дышал он тяжело и часто, как человек, взбирающийся на крутую гору.

Он больше не заговаривал со мной и, по-видимому, позабыл о своей недавней откровенности, но стал еще вспыльчивее, еще раздражительнее, несмотря на всю свою слабость. Напиваясь, он вытаскивал кортик и клал его перед собой на стол и при этом почти не замечал людей, погруженный в свои мысли и бредовые видения.

Раз как-то, к нашему величайшему удивлению, он даже стал напевать какую-то деревенскую любовную песенку, которую, вероятно, пел в юности, перед тем как отправиться в море.

В таком положении были дела, когда на другой день после похорон — день был пасмурный, туманный и морозный,— часа в три пополудни, я вышел за дверь и остановился на пороге. Я с тоской думал об отце...

Вдруг я заметил человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, потому что дорогу перед собою нащупывал палкой. Над его глазами и носом висел зеленый козырек. Сгорбленный старостью или болезнью, он весь был закутан в ветхий, изодранный матросский плащ с капюшоном, который делал его еще уродливее. Никогда в жизни не видал я такого страшного человека. Он остановился невдалеке от трактира и громко произнес нараспев странным, гнусавым голосом, обращаясь в пустое пространство:

— Не скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому, потерявшему драгоценное зрение во время храброй защиты своей родины, Англии, да благословит бог короля Георга, в какой местности он находится в настоящее время?

— Вы находитесь возле трактира «Адмирал Бенбоу», в бухте Черного Холма, добрый человек,— сказал я.

— Я слышу голос,— прогнусавил старик,— и молодой голос. Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проводите меня в этот дом!

Я протянул ему руку, и это ужасное безглазое существо с таким слащавым голосом схватило ее, точно клещами.

Я так испугался, что хотел убежать. Но слепой притянул меня к себе.

— А теперь, мальчик,— сказал он,— веди меня к капитану.

— Сэр,— проговорил я,— честное слово, я боюсь...

— Боишься?— усмехнулся он.— Ах, вот как! Веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку!

И он так повернул мою руку, что я вскрикнул.

— Сэр,— сказал я,— боюсь я не за себя, а за вас. Капитан теперь не такой, как прежде. Он сидит с обнаженным кортиком. Один джентльмен уже приходил к нему и...

— Живо, марш! — перебил он меня.

Никогда я еще не слыхал такого жестокого, холодного и мерзкого голоса. Этот голос напугал меня сильнее, чем боль. Я понял, что должен подчиниться, и провел его в зал, где сидел наш больной пират, одурманенный ромом. Сле-

пой вцепился в меня железными пальцами, навалясь на меня всей своей тяжестью, и я едва держался на ногах.

— Веди меня прямо к нему и, когда он меня увидит, крикни: «Вот ваш друг, Билли!» Если не крикнешь, я вот что сделаю!

И он так вывернул мою руку, что я едва не потерял сознание. От страха перед слепым нищим я забыл мой ужас перед капитаном и, открыв дверь зала, дрожащим голосом прокричал те слова, которые слепой велел мне прокричать.

Бедный капитан вскинул глаза вверх и разом протрезвился. Лицо его выражало не испуг, а скорее смертельную муку. Он попытался было встать, но у него, видимо, не хватило сил.

— Ничего, Билли, сиди где сидишь,— сказал нищий.— Я хоть и не вижу, зато слышу, как муха пролетит. Дело есть дело. Протяни свою правую руку... Мальчик, возьми его руку и поднеси к моей правой руке.

Мы оба повиновались ему. И я видел, как он переложил что-то из своей руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, сразу же сжавшуюся в кулак.

— Дело сделано,— сказал слепой.

При этих словах он отпустил меня и с проворством, неожиданным в калеке, выскочил из общей комнаты на дорогу. Я все еще стоял неподвижно, прислушиваясь к удаляющемуся стуку его палки.

Прошло довольно много времени, прежде чем мы с капитаном очнулись. Я выпустил его запястье, а он потянул к себе руку и взглянул на ладонь.

— В десять часов! — воскликнул он.— Осталось шесть часов. Мы еще им покажем!

И вскочил на ноги, но сейчас же покачнулся и схватился за горло. Так стоял он, пошатываясь, несколько мгновений, потом с каким-то странным звуком всей тяжестью грохнулся ничком на пол.

Я сразу кинулся к нему и позвал мать. Но было поздно. Капитан скоропостижно скончался от апоплексического удара. И странно: мне, право, никогда не нравился этот человек, хотя в последнее время я начал жалеть его, но, увидев его мертвым, я горько разрыдался. Это была вторая смерть, которая произошла у меня на глазах, и горе, нанесенное мне первой, было еще слишком свежо в моем сердце.

ГЛАВА IV

МАТРОССКИЙ СУНДУК

Я, конечно, сразу же рассказал матери все, что знал. Может быть, мне следовало рассказать ей об этом раньше. Мы очутились в трудном, опасном положении.

Часть денег, оставшихся после капитана,— если только у него были деньги — безусловно должна была принадлежать нам. Но вряд ли его товарищи, вроде Черного Пса и слепого нищего, согласились бы отказаться от своей добычи для уплаты долгов покойного. Приказ капитана сесть верхом на коня и скакать за доктором Ливси я выполнить не мог: нельзя было оставить мать одну, без всякой защиты. Об этом нечего было и думать. Но оставаться дома мы тоже не смели,— мы вздрагивали даже тогда, когда уголья у нас в очаге падали на железную решетку; мы боялись даже тиканья часов. Всюду нам слышались шаги, будто кто-то приближается к нам.

При мысли о том, что на полу лежит мертвое тело и что где-то поблизости бродит омерзительный слепой нищий, который может вот-вот вернуться, волосы мои вставали дыбом. Медлить было нельзя ни минуты. И мы решили отправиться вместе в ближнюю деревушку за помощью. Сказано — сделано. С непокрытыми головами бросились мы бежать сквозь морозный туман. Уже начинало темнеть.

Деревушка от нас не была видна, но находилась она недалеко, в нескольких сотнях ярдов на противоположном берегу соседней бухты. Меня очень ободряло сознание, что слепой нищий появился с другой стороны и ушел, надо полагать, туда же. Шли мы недолго, хотя иногда останавливались, прислушиваясь. Но кругом слышались привычные звуки: шумел прибой и каркали в лесу вороны. В деревушке уже зажгли свечи, и я никогда не забуду, как их желтоватое сияние в дверях и окнах успокоило нас. Но в этом и заключалась вся помощь, которую мы получили. Ни один из жителей деревни, к их стыду и позору, не согласился пойти с нами в «Адмирал Бенбоу».

Чем больше говорили мы о наших тревогах, тем сильнее все льнули к своим углам. Имя капитана Флинта, мне до той поры незнакомое, было хорошо известно многим из них и приводило их в ужас. Некоторые вспомнили, что, работая в поле неподалеку от «Адмирала Бенбоу», виде-

ли на дороге каких-то подозрительных людей. Незнакомцы показались им контрабандистами, и они поспешили домой, чтобы покрепче закрыть свои двери. Кто-то даже видел небольшой люггер в бухте, называемой Киттова Дыра. Поэтому одно упоминание о приятелях капитана их бросало в дрожь. Находились смельчаки, которые соглашались съездить за доктором Ливси, жившим в другой стороне, но никто не хотел принять участие в охране трактира.

Говорят, что трусость заразительна. Но, с другой стороны, в споре порой обретаешь твердость духа. Когда все отказались идти вместе с нами, заговорила моя мать. Она заявила, что отнюдь не собирается терять деньги, которые принадлежат ее осиротевшему сыну.

— Вы можете робеть сколько угодно,— сказала она,— мы с Джимом не трусливого десятка. Мы вернемся той же дорогой, какой пришли. Мало чести вам, дюжим и широкоплечим мужчинам, с такими цыплячьими душами! Мы откроем сундук, хотя бы пришлось из-за него умереть... Я буду очень вам благодарна, миссис Кроссли, если вы разрешите мне взять вашу сумку, чтобы положить в нее деньги, принадлежащие нам по закону.

Я, конечно, заявил, что пойду с матерью, и, конечно, все заорали, что это безумие. Однако никто не вызвался нас проводить. Помощь их ограничилась тем, что они дали мне заряженный пистолет на случай нападения и обещали держать наготове оседланных лошадей, чтобы мы могли удрать, если разбойники будут гнаться за нами. А один молодой человек поскакал к доктору за вооруженным подкреплением.

Бешено колотилось мое сердце, когда мы отправились в наш опасный путь. Вечер был холодный. Всходила полная луна. Она уже поднялась над горизонтом и краснела в тумане. Мы поняли, что скоро станет светло, как днем, и нас на обратном пути нетрудно будет заметить. Поэтому мы заторопились еще больше. Мы крались вдоль заборов бесшумно и быстро и, не встретив на дороге ничего страшного, добрались наконец до «Адмирала Бенбоу».

Войдя в дом, я сразу же закрыл дверь на засов. Тяжело дыша, мы стояли в темноте, одни в пустом доме, где лежало мертвое тело. Затем мать принесла из кухни свечу, и, держась за руки, мы вошли в общую комнату. Капитан лежал в том же положении, как мы его оставили,— на спине, с открытыми глазами, откинув одну руку.

— Опусти шторы, Джим,—прошептала мать.—Они могут следить за нами через окно... А теперь,— сказала она, когда я опустил шторы,— надо взять у покойника ключ от сундука... Но хотела бы я знать, кто решится дотронуться до него...

И она даже всхлипнула при этих словах.

Я опустился на колени. На полу, возле руки капитана, лежал крохотный бумажный кружок, черный с одной стороны. Я не сомневался, что это и есть черная метка. Я схватил ее и заметил, что на другой ее стороне написано красивым, четким почерком: «Даем тебе срок до десяти вечера».

— У него был срок до десяти, мама,— сказал я.

И в то же мгновение наши старые часы начали бить. Этот внезапный звук заставил нас вздрогнуть. Но он и обрадовал нас, так как пробило только шесть.

— Ну, Джим,— сказала мать,— ищи ключ.

Я обшарил карманы капитана один за другим. Несколько мелких монет, наперсток, нитки и толстая игла, кусок свернутого табаку, надкусанный с краю, нож с кривой ручкой, карманный компас, огниво — вот и все, что я там нашел. Я уже начал отчаиваться...

— Может быть, на шее? — сказала мать.

Преодолев отвращение, я разорвал ворот его рубашки. И действительно, на просмоленной веревке, которую я сейчас же перерезал ножом капитана, висел ключ.

Эта удача наполнила наши сердца надеждой, и мы поспешили наверх, в ту тесную комнату, где так долго жил капитан и где со дня его приезда стоял его сундук.

По виду это был самый обыкновенный матросский сундук. На крышке видна была буква «Б», выжженная каленым железом. Углы были потерты и сбиты, точно этот сундук отслужил долгую и трудную службу.

— Дай мне ключ,— сказала мать.

Замок поддавался туго, однако ей удалось открыть его, и она в одно мгновение откинула крышку.

На нас пахнуло крепким запахом табака и дегтя. Прежде всего мы увидели старательно вычищенный, аккуратно сложенный костюм, очень хороший и, по словам матери, ни разу еще не надеванный. Подняв костюм, мы нашли кучу самых разнообразных предметов: квадрант, жестяную кружку, несколько плиток табаку, две пары изящных пи-

столетов, слиток серебра, старинные испанские часы, несколько безделушек, не слишком ценных, но преимущественно заграничного производства, два компаса в медной оправе и пять или шесть причудливых раковин из Вест-Индии. Впоследствии я часто думал, зачем капитан, живший такой непоседливой, опасной, преступной жизнью, таскал с собой эти раковины.

Но ничего ценного, кроме слитка серебра и безделушек, мы не нашли, а это нам было не нужно. На самом дне лежал старый лодочный чехол, побелевший от соленой воды у многих прибрежных отмелей. Мать нетерпеливо откинула его, и мы увидели последние вещи, лежавшие в сундуке: завернутый в клеенку пакет, вроде пачки бумаг, и холщовый мешок, в котором звякнули золотые монеты.

— Я покажу этим разбойникам, что я честная женщина,— сказала мать.— Я возьму только то, что он мне был должен, и ни фартинга больше. Держи сумку миссис Кроссли!

И она начала отсчитывать деньги, перекладывая их из мешка в сумку, которую я держал. Это было трудное дело, отнявшее много времени. Тут были собраны и перемешаны монеты самых разнообразных чеканок и стран: и дублоны, и луидоры, и гинеи, и пиастры, и еще какие-то, неизвестные мне. Гиней было меньше всего, а мать моя умела считать только гинеи.

Когда она отсчитала уже половину, я вдруг схватил ее за руку. В тихом морозном воздухе пронесся звук, от которого кровь застыла у меня в жилах,— постукивание палки слепого по мерзлой дороге. Стук приближался, и мы прислушивались к нему, затаив дыхание. Затем раздался громкий удар в дверь трактира, после этого ручка двери задвигалась и лязгнул засов — нищий пытался войти. Наступила тишина внутри и снаружи. И наконец опять послышалось постукивание палки. К нашей неописуемой радости, оно теперь удалялось и скоро замерло.

— Мама,— сказал я,— бери все, и бежим скорей.

Я был убежден, что запертая на засов дверь показалась слепому подозрительной, и побоялся, что он приведет сюда весь свой осиный рой.

И все же как хорошо, что я догадался запереть дверь на засов! Это мог бы понять только тот, кто знал этого страшного слепого.

Но мать, несмотря на весь свой страх, не соглашалась взять ни одной монетой больше того, что ей следовало, и в то же время упрямо не желала взять меньше. Она говорила, что еще нет семи часов, что у нас уйма времени. Она знает свои права и никому не уступит их. Упорно спорила она со мной до тех пор, пока мы вдруг не услыхали протяжный, тихий свист, раздавшийся где-то вдалеке на холме.

Мы сразу перестали препираться.

— Я возьму то, что успела отсчитать,—сказала она, вскакивая на ноги.

— А я прихвачу и это для ровного счета,— сказал я, беря пачку завернутых в клеенку бумаг.

Через минуту мы уже ощупью спускались вниз. Свеча осталась у пустого сундука. Я отворил дверь, и мы вышли на дорогу. Нельзя было терять ни минуты. Туман быстро рассеивался. Луна ослепительно озаряла холмы. Только в глубине лощины и у дверей трактира клубилась туманная мгла, как бы для того, чтобы скрыть наши первые шаги. Но уже на половине дороги, чуть повыше, у подножия холма, мы должны были неизбежно попасть в полосу лунного света.

И это было не все—вдалеке мы услышали чьи-то быстрые шаги.

Мы обернулись и увидели прыгающий и приближающийся огонек: кто-то нес фонарь.

— Милый,— вдруг сказала мать,— бери деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок...

«Вот теперь нам совсем конец»,— решил я. Как проклинал я трусость наших соседей! Как сердился на свою бедную мать и за ее честность, и за ее жадность, за ее недавнюю опрометчивую смелость и за ее теперешнюю слабость!

К счастью, мы проходили возле какого-то мостика. Я помог ей — она шаталась — сойти вниз, к берегу. Она вздохнула и склонилась ко мне на плечо. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я потащил ее вдоль берега и втащил под мост. Боюсь только, что это было сделано довольно грубо. Мостик был низенький, и двигаться под ним можно было только на четвереньках. Я забился под арку, а мать осталась почти вся на виду. Это было в нескольких шагах от трактира.

ГЛАВА V

КОНЕЦ СЛЕПОГО

Оказалось, что любопытство мое было сильнее страха. Я не мог усидеть на месте. Осторожно вылез я из-под моста и спрятался за кустом ракитника. Отсюда я отчетливо видел дорогу перед дверью трактира.

Едва я занял свой наблюдательный пост, как появились враги. Их было человек семь или восемь. Они быстро приближались, громко и беспорядочно стуча башмаками. Человек с фонарем бежал впереди всех. За ним следовали трое, держась за руки. Несмотря на туман, я разглядел, что средний в этом «трио»— слепой нищий. Затем я услышал его голос и убедился, что был прав.

— Ломай дверь! — крикнул он.

— Есть, сэр! — отозвались двое или трое.

И они кинулись в атаку на дверь «Адмирала Бенбоу»; человек с фонарем шел сзади. У самой двери они остановились и принялись совещаться шепотом. Очевидно, их поразило, что дверь не заперта. Затем опять раздались приказания слепого. Нетерпеливый, бешеный голос его становился все громче и визгливее.

— В дом! В дом! — кричал он, проклиная товарищей за медлительность.

Четверо или пятеро вошли в дом, двое остались на дороге вместе с ужасным нищим. Потом после нескольких минут тишины раздался крик удивления и чей-то голос завопил изнутри:

— Билли мертвый!

Но слепой снова выругал их за то, что они так копаются.

— Обыщите его, подлые лодыри! Остальные наверх, за сундуком! — приказал он.

Они застучали башмаками по ветхим ступеням — верно, весь дом задрожал от их топота. Затем снова раздались удивленные голоса. Окошко в комнате капитана распахнулось настежь, и вниз со звоном посыпались осколки разбитого стекла. Из окна высунулся человек. Голова его и плечи были хорошо видны при свете месяца. Он крикнул слепому нищему, стоявшему внизу на дороге:

— Эй, Пью, здесь уже успели побывать раньше нас!.. Кто-то перерыл весь сундук сверху донизу!

— А то на месте? — проревел Пью.

— Деньги тут.

— К черту деньги! — закричал слепой.— Я говорю о бумагах Флинта.

— Бумаг не видать,— отозвался человек.

— Эй. вы, там, внизу, посмотрите, нет ли их у покойного! — снова крикнул слепой.

Другой разбойник,— вероятно, один из тех, кто остался внизу обыскивать труп капитана,— появился в дверях трактира.

— Его успели обшарить до нас,— сказал он,— нам ничего не оставили.

— Это все здешние хозяева да ихний щенок! — крикнул Пью.— Жаль, что я не выдавил ему глаза... Эти люди были здесь совсем недавно. Когда я хотел войти, дверь была заперта на засов. Ищите же их, ребята! Ищите во всех углах...

— Да, они были здесь. Они оставили горящую свечу,— сказал человек в окне.

— Ищите! Ищите! Перероите весь дом!—повторил Пью, стуча палкой.

И вот в нашем старом трактире начался ужасный кавардак. Тяжелые шаги загремели повсюду. Послышался грохот падающей мебели, захлопали двери вверху и внизу, так что даже окрестные скалы подхватили этот бешеный шум. Но все напрасно: люди один за другим выходили на дорогу и докладывали, что не нашли нас нигде.

В это мгновение вдали снова раздался тот самый свист, который так напугал мою мать и меня, когда мы считали монеты покойного. На этот раз он прозвучал дважды. Прежде я думал, что этим свистом слепой сзывает своих товарищей на штурм. Но теперь я заметил, что свист раздается со склона холма, обращенного к деревушке, и догадался, что это сигнал, предупреждающий бандитов об опасности.

— Это Дэрк,— сказал один.— Слышите, он свистит два раза... Надо бежать, ребята.

— Бежать?!—крикнул Пью.—Ах вы, олухи! Дэрк всегда был дурак и трус. Нечего слушать Дэрка. Они где-то здесь, поблизости. Они не могли убежать далеко. Вы должны их найти. Ищите же, псы! Ищите во всех закоулках! О дьявол! — воскликнул он.— Будь у меня глаза!..

Этот крик несколько приободрил разбойников. Двое из них принялись рыскать между поленницами дров, но нехотя, еле двигаясь. Они, как мне показалось, больше дума-

ли о бегстве, чем о поисках. Остальные растерянно стояли посреди дороги.

— У нас в руках тысячи, а вы мямлите, как идиоты! Если вы найдете эти бумаги, вы станете богаче короля! Бумаги здесь, в двух шагах, вы это сами знаете, а вы отлыниваете и норовите удрать! Среди вас не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы отправиться к Билли и дать ему черную метку. Это сделал я, слепой! И из-за вас я теряю теперь свое счастье! Я должен пресмыкаться в нищете и выпрашивать гроши на стаканчик, когда я мог бы разъезжать в каретах! Если б не ваши заячьи душонки, вам ничего не стоило бы изловить этих трусов!

— Но ведь дублоны у нас,— проворчал один.

— А бумаги они, должно быть, припрятали,— добавил другой.— Бери деньги, Пью, и перестань бесноваться.

Пью и правда был вроде бешеного. Последние возражения разбойников окончательно разъярили его. В припадке неистовой злобы он поднял свою клюку и, бросившись вслепую на товарищей, принялся награждать их ударами.

Те, в свою очередь, отвечали злодею ругательствами, сопровождая их ужасными угрозами. Они пытались схватить клюку и вырвать ее из рук слепого.

Эта ссора была спасением для нас.

Пока они дрались и переругивались, с холмов, со стороны деревушки, донесся топот скачущих лошадей. Почти в то же мгновение где-то за изгородью блеснул огонек и грянул пистолетный выстрел. Это был последний сигнал. Он означал, что опасность близка. Разбойники кинулись в разные стороны — одни к морю, по берегу бухты, другие вверх, по откосу холма. Через полминуты на дороге остался один Пью. Они бросили его одного — может быть, забыли о нем в паническом страхе, а может быть, нарочно, в отместку за брань и побои. Оставшись один, он в бешенстве стучал палкой по дороге и, протягивая руки, звал товарищей, но окончательно сбился с пути и побежал по направлению к деревне.

Он промчался в нескольких шагах от меня, приговаривая плачущим голосом:

— Джонни, Черный Пес, Дэрк...— Он называл и другие имена.— Ведь вы не кинете старого Пью, друзья, ведь вы не оставите старого Пью!

Топот коней между тем раздавался уже с вершины холма. Показались пять или шесть всадников, озаренных луной. Они понеслись во весь опор вниз по склону.

Тут слепой сообразил, что идет не туда, куда надо. Вскрикнув, он повернулся и побежал прямо к придорожной канаве, в которую не замедлил скатиться. Но сейчас же поднялся и, окончательно потерявшись, выкарабкался опять на дорогу, как раз под ноги коню, скакавшему впереди всех.

Верховой хотел спасти его, но было поздно. Отчаянный крик слепого, казалось, разорвал ночную тьму. Четыре копыта лошади пронеслись по нему и отшвырнули его прочь. Он упал на бок, медленно перевернулся ничком и больше не двигался.

Я вскочил на ноги и окликнул верховых. Они остановились, потрясенные происшедшим. Я сейчас же узнал их. Скакавший сзади всех был тот самый подросток, который вызвался съездить из деревушки за доктором Ливси. Остальные оказались таможенными стражниками, которых он встретил на пути. У него хватило ума позвать их на помощь. Слухи о каком-то люггере в Киттовой Дыре уже дошли до таможенного надзирателя мистера Данса, а дорога к бухте шла мимо нашего трактира. Данс тотчас же поскакал туда в сопровождении своего отряда. Благодаря этой счастливой случайности мы с матерью спаслись от неминуемой смерти.

Пью был убит наповал. Мать мою мы отнесли в деревню. Там дали ей понюхать ароматической соли, обрызгали ее холодной водой, и она очнулась. Несмотря на все перенесенные страхи, она вновь принялась сетовать, что не успела взять из капитановых денег всю сумму, которая ей причиталась по праву.

Тем временем таможенный надзиратель Данс поскакал со своим отрядом к Киттовой Дыре. Но стражники спешились и осторожно спускались по склону, ведя лошадей под уздцы, а то и поддерживая их, и постоянно опасаясь засады. И, естественно, к тому времени, когда они добрались наконец до бухты, судно уже успело поднять якорь, хотя и находилось неподалеку от берега. Данс окликнул его. В ответ раздался голос, советовавший ему избегать освещенных луной мест, если он не хочет получить хорошую порцию свинца. И тотчас же возле его плеча просвистела пуля.

Вскоре судно обогнуло мыс и скрылось.

Мистер Данс, по его собственным словам, торчал на берегу, точно «рыба на песке». Он сразу послал человека в Б..., чтобы выслали в море сторожевой катер.

— Но все это зря,— сказал он.— Они удрали, и их не догонишь. Я рад и тому,— добавил он,— что наступил господину Пью на мозоль.

Я ему уже успел рассказать о слепом.

Вместе с ним я вернулся в «Адмирал Бенбоу». Трудно передать, какой там был разгром. Бандиты, ища меня и мать, сорвали со стены даже часы. И, хотя они ничего не унесли с собой, кроме мешочка с золотом, принадлежавшего капитану, и нескольких серебряных монет из нашей кассы, мне сразу стало ясно, что мы разорены.

Мистер Данс долго ничего не мог понять.

— Ты говоришь, они взяли деньги? Объясни мне, Хокинс, чего же им еще было нужно? Они еще каких-нибудь денег искали?

— Нет, сэр, не денег,— ответил я.— То, что они искали, лежит у меня здесь, в боковом кармане, и, говоря по правде, я хотел бы положить эту вещь в более безопасное место.

— Верно, мальчик, верно,— сказал он.— Дай ее мне, если хочешь.

— Я думал дать ее доктору Ливси...— начал я.

— Правильно! — с жаром перебил он меня.— Правильно. Доктор Ливси — джентльмен и судья. Пожалуй, и мне самому следовало бы съездить и доложить ему или сквайру о происшедшем. Ведь как-никак, а Пью умер. Я нисколько не жалею об этом, но могут найтись люди, которые взвалят вину на меня, королевского таможенного надзирателя. Знаешь что, Хокинс? Поедем, я возьму тебя с собой, если хочешь.

Я поблагодарил его, и мы пошли в деревушку, где стояли лошади. Пока я прощался с матерью, все уже сели в седла.

— Доггер,— сказал мистер Данс,— у тебя хороший конь. Посади этого молодца к себе за спину.

Как только я уселся позади Доггера и взялся за его пояс, надзиратель приказал трогаться в путь, и отряд крупной рысью поскакал по дороге к дому доктора Ливси.

ГЛАВА VI

БУМАГИ КАПИТАНА

Мы неслись во весь опор и наконец остановились у дома доктора Ливси. Весь фасад был погружен во мрак.

Мистер Данс велел мне спрыгнуть с лошади и постучаться. Доггер подставил мне стремя, чтобы было удобнее сойти. На стук вышла служанка.

— Доктор Ливси дома? — спросил я.

— Нет,— отвечала она.— Он заходил домой днем, а теперь ушел в усадьбу пообедать и провести вечер со сквайром.

— В таком случае едем туда,— сказал мистер Данс.

До усадьбы было недалеко. Я даже не сел в седло, а побежал рядом с лошадью, держась за стремя Доггера.

Мелькнули ворота парка. Длинная безлиственная, озаренная луной аллея вела к помещичьему дому и службам, белевшим по обе стороны просторного старого сада. Мистер Данс соскочил с лошади и повел меня в дом. Нас тотчас же впустили туда.

Слуга провел нас по длинному коридору, застланному ковром, в кабинет хозяина. Стены кабинета были уставлены книжными шкафами, а на каждом шкафу стоял бюст. Сквайр и доктор Ливси сидели возле яркого огня и курили.

Я никогда не видел сквайра так близко. Это был высокий мужчина, более шести футов ростом, дородный, с толстым, добродушным и энергичным лицом, огрубевшим во время долгих странствий. У него были черные подвижные брови, выдававшие незлой, но надменный и вспыльчивый нрав.

— Войдите, мистер Данс,— сказал он важно и снисходительно.

— Добрый вечер, Данс,— сказал доктор и кивнул головой.— Добрый вечер, друг Джим. Какой попутный ветер занес вас сюда?

Таможенный надзиратель выпрямился, руки по швам, и рассказал все наши приключения, как заученный урок. Посмотрели бы вы, как многозначительно переглядывались оба джентльмена во время его рассказа! Они подались вперед всем телом и слушали с таким любопытством, что даже перестали курить. А когда они услыхали, как мать моя отправилась ночью обратно в наш дом, доктор Ливси хлоп-

нул себя по колену, а сквайр крикнул «браво!» и разбил свою длинную трубку о решетку камина. Мистер Трелони (так, если вы помните, звали сквайра) давно уже оставил свое кресло и расхаживал по комнате, а доктор, словно для того, чтобы лучше слышать, стащил с головы свой напудренный парик. Странно было видеть его без парика, с коротко остриженными черными волосами.

Наконец мистер Данс окончил свой рассказ.

— Мистер Данс,— сказал сквайр,— вы благородный человек! А прикончив одного из самых кровожадных злодеев, вы совершили доблестный поступок. Таких и надо давить, как тараканов!.. Хокинс, я вижу, тоже малый не промах. Позвони в тот колокольчик, Хокинс. Мистер Данс должен выпить пива.

— Значит, Джим,— сказал доктор,— то, что они искали, находится здесь, у тебя?

— Вот оно, сэр,— сказал я и протянул ему завернутый в клеенку пакет.

Доктор осмотрел пакет со всех сторон. По-видимому, ему не терпелось вскрыть его. Но он пересилил себя и спокойно положил пакет в карман.

— Сквайр,— сказал он,— когда Данс выпьет пива, ему, разумеется, надлежит вернуться к своим служебным обязанностям. А Джим Хокинс будет ночевать у меня. Если позволите, я попрошу сейчас подать ему холодного паштета на ужин.

— Еще бы, сделайте милость, Ливси! — отозвался сквайр.— Хокинс сегодня заслужил кое-что и побольше.

Передо мной на одном из маленьких столиков поставили большую порцию голубиного паштета. Я был голоден, как волк, и поужинал с большим удовольствием. А тем временем Данс, выслушав немало новых похвал, удалился.

— Ну, сквайр...

— Ну, Ливси...

В одно слово сказали доктор и сквайр.

— По порядку, не все сразу,— засмеялся доктор Ливси.— Надеюсь, вы слышали об этом Флинте?

— Слыхал ли я о Флинте?! — воскликнул сквайр.— Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная Борода[1] перед Флинтом младенец. Испанцы так

[1] Прозвище пирата Эдварда Тича (начало XVIII в.), известного своей кровожадностью.

боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин. Однажды возле Тринидада я своими глазами видел вдали его паруса, но наш капитан струсил и тотчас же повернул обратно, сэр, в Порт-оф-Спейн.

— Я слышал о нем здесь, в Англии,— сказал доктор.— Но вот вопрос: были ли у него деньги?

— Деньги! — вскричал сквайр.— Разве вы не слыхали, что рассказывал Данс? Что могли искать эти злодеи, если не деньги? Ради чего, кроме денег, они стали бы рисковать своей шкурой?

— Мы скоро узнаем, ради чего,— ответил доктор.— Вы так горячитесь, что не даете мне слова сказать. Вот что я хотел бы выяснить: предположим, здесь, у меня в кармане, находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. Велики ли эти сокровища?

— Велики ли, сэр! — закричал сквайр.— Так слушайте! Если только действительно в наших руках находится ключ, о котором вы говорите, я немедленно в бристольских доках снаряжаю судно, беру с собой вас и Хокинса и отправляюсь добывать это сокровище, хотя бы нам пришлось искать его целый год!

— Отлично,— сказал доктор.— В таком случае, если Джим согласен, давайте вскроем пакет.

И он положил пакет перед собой на стол.

Пакет был крепко зашит нитками. Доктор достал свой чемоданчик с инструментами и разрезал нитки хирургическими ножницами. В пакете оказались две вещи: тетрадь и запечатанный конверт.

— Прежде всего посмотрим тетрадь,— предложил доктор.

Он ласково подозвал меня к себе, и я встал из-за стола, за которым ужинал, чтобы принять участие в раскрытии тайны. Доктор начал перелистывать тетрадь. Сквайр и я с любопытством смотрели через его плечо.

На первой странице тетради были нацарапаны всевозможные каракули. Было похоже, что их выводили от нечего делать или для пробы пера. Между прочим, здесь была и та надпись, которую капитан вытатуировал у себя на руке: «Удачи Билли Бонсу»,— и другие в том же роде, например: «Мистер У. Бонс, штурман», «Довольно рому», «У Палм-Ки [1] он получил, что ему причиталось». Были и другие

[1] Островок у берегов Флориды.

надписи, совсем непонятные, состоявшие большей частью из одного слова. Меня невольно занимала мысль: кто был тот, который получил, «что ему причиталось», и что именно ему причиталось. Быть может, удар ножом в спину?

— Ну, из этой страницы не много выжмешь,— сказал доктор Ливси

Десять или двенадцать следующих страниц были полны странных записей. На одном конце строки стояла дата, а на другом значилась сумма, как обычно в бухгалтерских книгах. Но вместо всяких объяснений в промежутке стояло только различное число крестиков. Двенадцатым июня 1745 года, например, была помечена сумма в семьдесят фунтов стерлингов, но все объяснения, кому и за что она причиталась, заменяли собой шесть крестиков. Изредка, впрочем, добавлялось название местности, например: «Против Каракаса», или просто помечались широта и долгота, например: «62°17′20″, 19°2′40″».

Записи велись в течение почти двадцати лет. Заприходованные суммы становились все крупнее. И в самом конце, после пяти или шести ошибочных, зачеркнутых подсчетов, был подведен итог, и внизу подписано: «Доля Бонса».

— Я ничего не могу понять,— сказал доктор Ливси.

— Все ясно, как день! — воскликнул сквайр.— Перед нами приходная книга этого гнусного пса. Крестиками заменяются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры обозначают долю этого душегуба в общей добыче. Там, где он боялся неточности, он вставлял некоторые пояснения. «Против Каракаса», например. Это значит, что против Каракаса было ограблено какое-то несчастное судно. Бедные моряки, плывшие на нем, давно уже гниют среди кораллов,— упокой, господи, их души!

— Правильно! — сказал доктор.— Вот что значит быть путешественником! Правильно! И доля его росла, по мере того как он повышался в чине.

Ничего больше в этой тетради не было, кроме названий некоторых местностей, записанных на чистых листах в конце, и таблицы сравнительного достоинства английских, испанских и французских денег.

— Бережливый человек! — воскликнул доктор.— Такого не обсчитаешь.

— А теперь,— сказал сквайр,— посмотрим, что здесь.

Конверт был запечатан в нескольких местах. Печатью служил наперсток,— может быть, тот самый наперсток, ко-

торый я нашел у капитана в кармане. Доктор осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова с указанием широты и долготы, с обозначениями промеров дна, с названиями холмов, заливов и бухт. Вообще здесь было все, что может понадобиться, чтобы без всякого риска подойти к неведомому острову и бросить якорь.

Остров имел девять миль в длину и пять в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Мы заметили две гавани, хорошо укрытые от бурь, и холм посередине, названный «Подзорная Труба».

На карте было много добавлений, сделанных позже. Резче всего бросались в глаза три крестика, нарисованные красными чернилами,— два в северной части острова и один в юго-западной. Возле этого последнего крестика теми же красными чернилами было написано мелким, четким почерком, совсем не похожим на каракули капитана:

«Главная часть сокровищ здесь».

На оборотной стороне карты были пояснения, написанные тем же почерком. Вот они:

«Высокое дерево на склоне Подзорной Трубы, направление к С. от С.-С.-В.

Остров Скелета В.-Ю.-В. и на В.

Десять футов.

Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне восточной горки, в десяти саженях к югу от черной скалы, если стать к ней лицом.

Оружие найти легко в песчаном холме на С. оконечности Северного мыса, держись на В. и на четверть румба к С.

Дж. Ф.»

И все. Эти записи показались мне совсем непонятными. Но, несмотря на свою краткость, они привели сквайра и доктора Ливси в восторг.

— Ливси,— сказал сквайр,— вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль. Через три недели... нет, через две недели... нет, через десять дней у нас будет лучшее судно, сэр, и самая отборная команда во всей Англии. Хокинс пойдет юнгой... Из тебя выйдет прекрасный юнга, Хокинс... Вы, Ливси,— судовой врач. Я — адмирал. Мы возьмем с собой Редрута, Джойса и Хантера. Попутный ветер быстро домчит нас до острова.

Отыскать там сокровища не составит никакого труда, и денежки наши: хоть пируй, хоть купайся в них, хоть бросай их на ветер.

— Трелони,— сказал доктор,— я еду с вами. Ручаюсь, что Джим — тоже и что он оправдает ваше доверие. Но есть один человек, на которого я боюсь положиться.

— Кто он?— воскликнул сквайр.— Назовите этого пса, сэр.

— Вы,— ответил доктор,— потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Разбойники, которые сегодня вечером разгромили трактир,— как видите, отчаянно смелый народ, и те разбойники, которые оставались на судне, и, кроме них, смею сказать, есть и еще кто-нибудь поблизости — сделают, конечно, все возможное, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отчалим от берега. Я останусь здесь вместе с Джимом до отъезда. Вы берите Джойса и Хантера и отправляйтесь с ними в Бристоль. И, самое главное, мы никому не должны говорить ни слова о нашей находке.

— Ливси,— ответил сквайр,— вы всегда правы. Я буду нем, как могила.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СУДОВОЙ ПОВАР

ГЛАВА VII

Я ЕДУ В БРИСТОЛЬ

На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем воображал сквайр. Да и вообще все наши первоначальные планы пришлось изменить. Прежде всего не осуществилось желание доктора Ливси не разлучаться со мной: ему пришлось отправиться в Лондон искать врача, который заменил бы его на время его отсутствия. У сквайра было много работы в Бристоле. А я жил в усадьбе под присмотром старого егеря, Редрута, почти как пленник, мечтая о

неведомых островах и морских приключениях. Много часов провел я над картой и выучил ее наизусть. Сидя у огня в комнате домоправителя, я в мечтах своих вновь и вновь подплывал к острову то с севера, то с юга. Я исследовал каждый его вершок, тысячи раз взбирался на высокий холм, названный Подзорной Трубой, и любовался оттуда удивительным, постоянно меняющимся видом. Иногда остров кишел дикарями, и мы должны были отбиваться от них. Иногда его населяли хищные звери, и мы должны были убегать от них. Но все эти воображаемые приключения оказались пустяками в сравнении с теми странными и трагическими приключениями, которые произошли на самом деле.

Неделя шла за неделей. Наконец в один прекрасный день мы получили письмо. Оно было адресовано доктору Ливси, но на конверте стояла приписка:

«Если доктор Ливси еще в отсутствии, письмо вскрыть Тому Редруту или молодому Хокинсу».

Разорвав конверт, мы прочли — вернее, я прочел, потому что егерь разбирал только печатные буквы,— следующее важное сообщение:

«Гостиница «Старый якорь», Бристоль, 1 марта 17.. года.

Дорогой Ливси!

Не знаю, где вы находитесь, в усадьбе или все еще в Лондоне,— пишу одновременно и туда и сюда.

Корабль куплен и снаряжен. Он стоит на якоре, готовый выйти в море. Лучше нашей шхуны и представить себе ничего невозможно. Управлять ею может младенец. Водоизмещение — двести тонн. Название — «Испаньола».

Достать ее помог мне мой старый приятель Блендли, который оказался удивительно ловким дельцом. Этот милый человек работал для меня буквально в поте лица. Впрочем, и каждый в Бристоле старался помочь мне, стоило только намекнуть, что мы отправляемся за сокровищем...»

— Редрут,— сказал я, прерывая чтение,— доктору Ливси это совсем не понравится. Значит, сквайр все-таки проговорился...

— А кто важнее: сквайр или доктор?— проворчал егерь.— Неужели сквайр должен молчать, чтобы угодить какому-то доктору Ливси?

Я решил не вставлять больше своих замечаний и стал читать дальше.

«Блендли сам отыскал «Испаньолу», и благодаря его ловкости она досталась нам буквально за гроши. Правда, в Бристоле есть люди, которые терпеть не могут Блендли. Они имеют наглость утверждать, будто этот честнейший человек хлопочет только ради барыша, будто «Испаньола» принадлежала ему самому и будто он продал ее мне втридорога. Это бесспорно клевета. Никто, однако, не осмеливается отрицать, что «Испаньола» — прекрасное судно.

Итак, корабль я достал без труда. Правда, рабочие — такелажники и прочая братия — снаряжают его очень медленно, но со временем все будет готово. Гораздо больше пришлось мне повозиться с подбором команды.

Я хотел нанять человек двадцать — на случай встречи с дикарями, пиратами или проклятым французом. Я уже из сил выбился, а нашел всего шестерых, но затем судьба смилостивилась надо мной, и я встретил человека, который сразу устроил мне все это дело.

Я случайно разговорился с ним в порту. Оказалось, что он старый моряк. Живет на суше и держит таверну. Знаком со всеми моряками в Бристоле. Жизнь на суше расстроила его здоровье, он хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. В то утро, по его словам, он вышел в порт только для того, чтобы подышать соленым морским воздухом.

Эта любовь к морю показалась мне трогательной, да и вас она, несомненно, растрогала бы. Мне стало жалко его, и я тут же, на месте, предложил ему быть коком у нас на корабле. Его зовут Долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги. Но я считаю это самой лучшей рекомендацией, так как он потерял ее, сражаясь за родину под начальством бессмертного Хока[1]. Он не получает пенсии, Ливси. Видите, в какие ужасные времена мы живем!

Да, сэр, я думал, что нашел кока, а оказалось, что я нашел целую команду.

С помощью Сильвера мне в несколько дней удалось навербовать экипаж из настоящих, опытных, просоленных океаном моряков. Внешность у них не слишком привлекательная, но зато, судя по их лицам, все они люди отчаян-

---

[1] Эдвард Хок — английский адмирал, живший в середине XVIII века.

ной храбрости. Имея такую команду, мы можем сражаться хоть с целым фрегатом.

Долговязый Джон посоветовал мне даже рассчитать кое-кого из тех шести или семи человек, которых я нанял прежде. Он в одну минуту доказал мне, что это как раз и есть те пресноводные увальни, с которыми нельзя связываться, когда отправляешься в опасное плавание.

Я превосходно себя чувствую, ем, как бык, сплю, как убитый. И все же я не буду вполне счастлив, пока мои морячки не затопают вокруг шпиля[1]. В открытое море! К черту сокровища! Море, а не сокровища, кружит мне голову. Итак, Ливси, приезжайте скорей! Не теряйте ни часа, если вы меня уважаете.

Отпустите молодого Хокинса проститься с матерью. Редрут может сопровождать его. Потом пусть оба, не теряя времени, мчатся в Бристоль.

Джон Трелони.

Post-scriptum. Забыл вам сообщить, что Блендли, который, кстати сказать, обещал послать нам на помощь другой корабль, если мы не вернемся к августу, нашел для нас отличного капитана. Капитан этот прекрасный человек, но, к сожалению, упрям, как черт. Долговязый Джон Сильвер отыскал нам очень знающего штурмана, по имени Эрроу. А я, Ливси, достал боцмана, который умеет высвистывать сигналы на боцманской дудке. Как видите, на нашей доброй «Испаньоле» все будет, как на заправском военном корабле.

Забыл написать вам, что Сильвер — человек состоятельный. По моим сведениям, у него текущий счет в банке, и не маленький. Таверну свою он на время путешествия передает жене. Жена его не принадлежит к белой расе. И таким старым холостякам, как мы с вами, извинительно заподозрить, что именно жена, а не только плохое здоровье гонит его в открытое море.

Дж. Т.

P. P. S. Хокинс может переночевать у матери.

Дж. Т.».

Нетрудно представить себе, как взбудоражило меня это письмо. Я был вне себя от восторга. Всем сердцем презирал я старого Тома Редрута, который только ворчал и скулил. Любой из младших егерей с удовольствием поехал бы

[1] Ворот, на который наматывается якорный канат.

вместо него. Но сквайр хотел, чтобы ехал Том Редрут, а желание сквайра было для слуг законом. Никто, кроме старого Редрута, не посмел бы даже и поворчать.

На другое утро мы оба отправились пешком в «Адмирал Бенбоу». Мать мою я застал в полном здравии. Настроение у нее было хорошее. Со смертью капитана окончились все ее неприятности. Сквайр на свой счет отремонтировал наш дом. По его приказанию стены и вывеска были заново выкрашены. Он нам подарил кое-какую мебель, в том числе превосходное кресло, чтобы матери моей удобно было сидеть за стойкой. На подмогу ей он нанял мальчика. Этот мальчик должен был исполнять обязанности, которые прежде исполнял я.

Только увидев чужого мальчишку в трактире, я впервые отчетливо понял, что надолго расстаюсь с родным домом. До сих пор я думал лишь о приключениях, которые ждут меня впереди, а не о доме, который я покидаю. При виде неуклюжего мальчика, занявшего мое место, я впервые залился слезами. Боюсь, что я бессовестно мучил его своими придирками. Он еще не успел привыкнуть к своему новому месту, а я не прощал ему ни единого промаха и злорадствовал, когда он ошибался.

Миновала ночь, и на следующий день после обеда мы с Редрутом вновь вышли на дорогу. Я простился с матерью, с бухтой, возле которой я жил с самого рождения, с милым старым «Адмиралом Бенбоу», хотя, заново покрашенный, он стал уже не таким милым. Вспомнил я и капитана, который так часто бродил по этому берегу, его треугольную шляпу, сабельный шрам на щеке и медную подзорную трубу. Мы свернули за поворот, и мой дом исчез.

Уже смеркалось, когда возле «Гостиницы короля Георга» мы сели в почтовый дилижанс. Меня втиснули между Редрутом и каким-то старым толстым джентльменом. Несмотря на быструю езду и холодную ночь, я, видно, сразу заснул. Мы мчались то вверх, то вниз, а я спал, как сурок, и проспал все станции. Меня разбудил удар в бок. Я открыл глаза. Мы стояли перед большим зданием на городской улице. Уже давно рассвело.

— Где мы? — спросил я.

— В Бристоле,— ответил Том.— Вылезай.

Мистер Трелони жил в трактире возле самых доков, чтобы наблюдать за работами на шхуне. Нам, к величайшей моей радости, пришлось идти по набережной мимо мно-

жества кораблей самых различных размеров, оснасток и наций. На одном работали и пели. На другом матросы высоко над моей головой висели на канатах, которые снизу казались не толще паутинок. Хотя я всю жизнь прожил на берегу моря, здесь оно удивило меня так, будто я увидел его впервые. Запах дегтя и соли был нов для меня. Я разглядывал резные фигуры на носах кораблей, побывавших за океаном. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с завитыми бакенбардами, с просмоленными косичками, с шикарной морской походкой вразвалочку. Они слонялись по берегу. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался бы гораздо меньше.

Я тоже отправляюсь в море! Я отправляюсь в море на шхуне, с боцманом, играющим сигналы на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни! Я отправляюсь в море к неведомому острову искать зарытые в землю сокровища!

Я был погружен в эти сладостные мечты, когда мы дошли наконец до большого трактира и нас встретил сквайр Трелони. На нем был синий мундир. Такие мундиры носят обычно морские офицеры. Он выходил из дверей, широко улыбаясь. Шел он вразвалку, старательно подражая качающейся походке моряков.

— Вот и вы! — воскликнул он.— А доктор еще вчера вечером прибыл из Лондона. Отлично! Теперь вся команда в сборе.

— О сэр,— закричал я,— когда же мы отплываем?

— Отплываем? — переспросил он.— Завтра.

ГЛАВА VIII

ПОД ВЫВЕСКОЙ «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»

Когда я позавтракал, сквайр дал мне записку к Джону Сильверу в таверну «Подзорная Труба». Он объяснил мне, как искать ее: идти по набережной, пока не увидишь маленькую таверну, а над дверью большую медную трубу рядом с вывеской.

Я обрадовался возможности еще раз посмотреть корабли и матросов и тотчас же отправился в путь. В порту утренние часы самые горячие. С трудом пробираясь

сквозь толпу народа, толкавшегося на пристани среди тюков и фургонов, я нашел наконец таверну.

Она была невелика и довольно уютна: вывеска недавно покрашена, на окнах опрятные красные занавески, пол посыпан чистым песком. Таверна выходила на две улицы. Обе двери были распахнуты настежь, и в просторной низкой комнате было довольно светло, несмотря на клубы табачного дыма.

За столиками сидели моряки. Они так громко говорили между собой, что я остановился у двери, не решаясь войти.

Из боковой комнаты вышел человек. Я сразу понял, что это и есть Долговязый Джон. Левая нога его была отрезана по самое бедро. Под левым плечом он держал костыль и необыкновенно проворно управлял им, подпрыгивая, как птица, на каждом шагу. Это был очень высокий и сильный мужчина, с широким, как окорок, плоским и бледным, но смышленым и улыбчивым лицом. Ему, казалось, было очень весело. Посвистывая, шнырял он между столиками, пошучивал, похлопывая по плечу некоторых излюбленных своих посетителей.

Признаться, прочитав о Долговязом Джоне в письме сквайра, я с ужасом подумал, не тот ли это одноногий моряк, которого я так долго подстерегал в старом «Бенбоу». Но стоило мне взглянуть на этого человека, и все мои подозрения рассеялись. Я видел капитана, видел Черного Пса, видел слепого Пью и полагал, что знаю, какой вид у морских разбойников. Нет, этот опрятный и добродушный хозяин трактира нисколько не был похож на разбойника.

Я сразу воспрянул духом, перешагнул через порог и направился прямо к Сильверу, который, опершись на костыль, разговаривал с каким-то посетителем.

— Мистер Сильвер, сэр? — спросил я, протягивая ему записку.

— Да, мой мальчик,— сказал он.— Меня зовут Сильвер. А ты кто такой?

Увидев письмо сквайра, он, как мне показалось, даже вздрогнул.

— А-а, понимаю,— воскликнул он очень громко, протягивая мне руку,— понимаю! Ты наш новый юнга. Рад тебя видеть.

И он сильно сжал мою руку в своей широкой и крепкой ладони.

В это мгновение какой-то человек, сидевший в дальнем углу, внезапно вскочил с места и кинулся к двери. Дверь была рядом с ним, и он сразу исчез. Но торопливость его привлекла мое внимание, и я с одного взгляда узнал его. Это был трехпалый человек с одутловатым лицом, тот самый, который приходил к нам в трактир.

— Эй,— закричал я,— держите его! Это Черный Пес!

— Мне наплевать, как его зовут! — вскричал Сильвер.— Но он удрал и не заплатил мне за выпивку. Гарри, беги и поймай его!

Один из сидевших возле двери вскочил и пустился вдогонку.

— Будь он хоть адмирал Хок, я и то заставил бы его заплатить! — кричал Сильвер.

Потом, внезапно отпустив мою руку, спросил:

— Как его зовут? Ты сказал: Черный... как дальше?

— Пес, сэр! — сказал я.— Разве мистер Трелони не рассказывал вам о разбойниках? Черный Пес из их шайки.

— Что? — заревел Сильвер.— В моем доме!.. Бен, беги и помоги Гарри догнать его... Так он один из этих проходимцев?.. Эй, Морган, ты, кажется, сидел с ним за одним столом? Поди-ка сюда.

Человек, которого он назвал Морганом — старый, седой, загорелый моряк,— покорно подошел к нему, жуя табачную жвачку.

— Ну, Морган,— строго спросил Долговязый,— ты ведь этого... как его... Черного Пса в глаза никогда не видал, так?

— Никогда, сэр,— ответил Морган и отдал честь.

— И даже имени его не слыхал?

— Не слыхал, сэр.

— Что ж, твое счастье, Том Морган! — воскликнул кабатчик.— Если ты станешь путаться с негодяями, ноги твоей не будет в моем заведении! О чем он с тобой говорил?

— Не помню хорошенько, сэр,— ответил Морган.

— Что у тебя на плечах? Голова или юферс [1]?— закричал Долговязый Джон.— Он не помнит хорошенько! Может, ты и понятия не имеешь, с кем ты разговаривал? Ну, выкладывай, о чем он сейчас врал. О плаваниях, кораблях, капитанах? Ну! Живо!

---

[1] Блок для натягивания вант.

— Мы говорили о том, как людей под килем протягивают [1],— ответил Морган.

— Под килем! Вполне подходящий для тебя разговор. Эх, ты! Ну, садись на место, Том, дуралей...

Когда Морган сел за свой столик, Сильвер по-приятельски наклонился к моему уху, что очень мне польстило, и прошептал:

— Честнейший малый этот Том Морган, но ужасный дурак. А теперь,— продолжал он вслух,— попробуем вспомнить. Черный Пес? Нет, никогда не слыхал о таком. И все же как будто я его где-то видел. Он, да-да... он нередко заходил сюда с каким-то слепым нищим.

— Да-да, со слепым!— вскричал я.— Я и слепого этого знал. Его звали Пью.

— Верно! — воскликнул Сильвер, на этот раз очень взволнованный.— Пью! Именно так его и звали. С виду он был большая каналья. Если этот Черный Пес попадется нам в руки, капитан Трелони будет очень доволен. У Бена отличные ноги. Редкий моряк бегает быстрее Бена. Нет, от Бена не уйдешь, Бен кого хочешь догонит... Так он говорил о том, как протягивают моряков на канате? Ладно, ладно, уж мы протянем его самого...

Сильвер прыгал на своем костыле, стучал кулаком по столам и говорил с таким искренним возмущением, что даже судья в Олд Бейли [2] или лондонский полицейский поверили бы в полнейшую его невиновность.

Встреча с Черным Псом в «Подзорной Трубе» пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром. Но он был слишком умен, находчив и ловок.

Наконец вернулись те двое и, тяжело дыша, объявили, что Черному Псу удалось скрыться от них в толпе. И кабатчик принялся ругать их с такой яростью, что я окончательно убедился в полной невиновности Долговязого Джона.

— Слушай, Хокинс,— сказал он,— для меня эта история может окончиться плохо. Что подумает обо мне капитан Трелони? Этот вражий сын сидел в моем доме и лакал мою выпивку! Потом приходишь ты и говоришь мне, что он из разбойничьей шайки. И все же я даю ему улизнуть перед самыми моими иллюминаторами. Ну, Хокинс, под-

---

[1] Вид наказания в английском флоте XVIII века.

[2] Олд Бейли — суд в Лондоне.

держи меня перед капитаном Трелони! Ты молод, но не глуп. Тебя не проведешь. Я это сразу заметил. Объясни же капитану, что я на своей деревяшке никак не мог угнаться за этим чертовым псом. Если бы я был первоклассный моряк, как в старое время, он бы от меня не ушел, я бы его насадил на вертел в две минуты, но теперь...

Он вдруг умолк и широко разинул рот, словно что-то вспомнил.

— А деньги? — крикнул он.— За три кружки! Вот дьявол, про деньги-то я и забыл!

Рухнув на скамью, он захохотал и хохотал до тех пор, пока слезы не потекли у него по щекам. Хохот его был так заразителен, что я не удержался и стал хохотать вместе с ним, пока вся таверна не задрожала от хохота.

— Да, хорош я тюлень! — сказал он наконец, вытирая щеки.— Я вижу, Хокинс, мы с тобой будем хорошей парой. Ведь я и сейчас оказался не лучше юнги... Однако надо идти: дело есть дело, ребята. Я надену свою старую треуголку и пойду вместе с тобой к капитану Трелони доложить ему обо всем, что случилось. А ведь дело-то серьезное, молодой Хокинс, и, надо сознаться, ни мне, ни тебе оно чести не приносит! Нет, нет! Ни мне, ни тебе: обоих нас околпачили здорово. Однако, черт его побери, как надул он меня с этими деньгами!

Он снова захохотал, и с таким жаром, что я, хотя не видел тут ничего особенно смешного, опять невольно присоединился к нему.

Мы пошли по набережной. Сильвер оказался необыкновенно увлекательным собеседником. О каждом корабле, мимо которого мы проходили, он сообщал мне множество сведений: какие у него снасти, какой тоннаж, из какой страны он прибыл. Он объяснял мне, что делается в порту: одно судно разгружают, другое грузят, а вон то, третье, сейчас выходит в открытое море. Он рассказывал мне веселые истории о кораблях и моряках. То и дело употреблял он всякие морские словечки и повторял их по нескольку раз, чтобы я лучше запомнил. Я начал понемногу понимать, что лучшего товарища, чем Сильвер, в морском путешествии не найдешь.

Наконец мы пришли в трактир. Сквайр и доктор Ливси пили пиво, закусывая поджаренными ломтиками хлеба.

Они собирались на шхуну — посмотреть, как ее снаряжают.

Долговязый Джон рассказал им все, что случилось в таверне, с начала и до конца, с большим жаром и совершенно правдиво.

— Ведь так оно и было, не правда ли, Хокинс?— спрашивал он меня поминутно.

И я всякий раз полностью подтверждал его слова.

Оба джентльмена очень жалели, что Черному Псу удалось убежать. Но что можно было сделать? Выслушав их похвалы, Долговязый Джон взял костыль и направился к выходу.

— Команде быть на корабле к четырем часам дня! — крикнул сквайр ему вдогонку.

— Есть, сэр! — ответил кок.

— Ну, сквайр,— сказал доктор Ливси,— говоря откровенно, я, как правило, не слишком доверяю вашим суждениям о людях, но Джон Сильвер мне по вкусу.

— Чудесный малый,— отозвался сквайр.

— Джим пойдет сейчас с нами на шхуну, не так ли? — прибавил доктор.

— Конечно, конечно,— сказал сквайр.— Хокинс, возьми свою шляпу, сейчас мы пойдем посмотреть наш корабль.

ГЛАВА IX

ПОРОХ И ОРУЖИЕ

«Испаньола» стояла довольно далеко от берега. Чтобы добраться до нее, нам пришлось взять лодку и лавировать среди других кораблей. Перед нами вырастали то украшенный фигурой нос, то корма. Канаты судов скрипели под нашим килем и свешивались у нас над головами. На борту нас приветствовал штурман мистер Эрроу, старый моряк, косой и загорелый, с серьгами в ушах. Между ним и сквайром были, очевидно, самые близкие, приятельские отношения.

Но с капитаном сквайр явно не ладил.

Капитан был человек желчный. Все на корабле раздражало его. Причины своего недовольства он не замедлил изложить перед нами. Едва мы спустились в каюту, как явился матрос и сказал:

— Капитан Смоллетт, сэр, хочет с вами поговорить.

— Я всегда к услугам капитана. Попроси его пожаловать сюда,— ответил сквайр.

Капитан, оказалось, шел за своим послом. Он сразу вошел в каюту и закрыл за собой дверь.

— Ну, что скажете, капитан Смоллетт? Надеюсь, все в порядке? Шхуна готова к отплытию?

— Вот что, сэр,— сказал капитан,— я буду говорить откровенно, даже рискуя поссориться с вами. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся наши матросы. Мне не нравится мой помощник. Вот и все. Коротко и ясно.

— Быть может, сэр, вам не нравится также и шхуна? — спросил сквайр, и я заметил, что он очень разгневан.

— Я ничего не могу сказать о ней, сэр, пока не увижу ее в плавании,— ответил ему капитан.— Кажется, она построена неплохо. Но судить об этом еще рано.

— Тогда, сэр, быть может, вам не нравится ваш хозяин? — спросил сквайр.

Но тут вмешался доктор Ливси.

— Погодите,— сказал он,— погодите. Этак ничего, кроме ссоры, не выйдет. Капитан сказал нам и слишком много и слишком мало, и я имею право попросить у него объяснений... Вы сказали, капитан, что вам не нравится наша экспедиция? Почему?

— Меня пригласили, сэр, чтобы я вел судно, как говорится, не задавая вопросов,— туда, куда прикажет этот джентльмен,— сказал капитан.— Отлично, я ни о чем не расспрашивал. Но вскоре я убедился, что самый последний матрос знает о цели путешествия больше, чем я. По-моему, это непорядок. А как по-вашему?

— По-моему, тоже,— сказал доктор Ливси.

— Затем,— продолжал капитан,— я узнал, что мы едем искать сокровища. Я услыхал об этом, заметьте, от своих собственных подчиненных. А искать сокровища — дело щекотливое. Поиски сокровищ вообще не по моей части, и я не чувствую никакого влечения к подобным затеям, особенно если это — дело секретное, а секрет — прошу прощения, мистер Трелони!— выболтан, так сказать, даже попугаю.

— Попугаю Сильвера? — спросил сквайр.

— Нет, это просто поговорка,— пояснил капитан.— Она означает, что секрет уже ни для кого не секрет. Мне кажется, вы недооцениваете трудности дела, за которое взялись, и я скажу вам, что я думаю об этом: вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть.

— Вы совершенно правы,— ответил доктор.— Мы сильно рискуем. Но вы ошибаетесь, полагая, что мы не от-

даем себе отчета в опасностях, которые нам предстоят. Вы сказали, что вам не нравится наша команда. Что ж, по-вашему, мы наняли недостаточно опытных моряков?

— Не нравятся мне они,— отвечал капитан.— И, если говорить начистоту, нужно было поручить набор команды мне.

— Не спорю,— ответил доктор.— Моему другу, пожалуй, следовало набирать команду вместе с вами. Это промах, и, уверяю вас, совершенно случайный. Затем, кажется, вам не нравится мистер Эрроу?

— Не нравится, сэр. Я верю, что он хороший моряк. Но он слишком фамильярничает со своими матросами. Хороший штурман на корабле должен держаться в стороне от матросов. Он не может пьянствовать с ними.

— Вы хотите сказать, что он пьяница? — спросил сквайр.

— Нет, сэр,— ответил капитан.— Я только хочу сказать, что он слишком распускает команду.

— А теперь,—попросил доктор,—скажите нам напрямик, капитан, чего вам от нас нужно.

— Вы твердо решили отправиться в это плавание, джентльмены?

— Бесповоротно,— ответил сквайр.

— Отлично,—сказал капитан.—Если вы до сих пор терпеливо меня слушали, хотя я и говорил вещи, которых не мог доказать, послушайте и дальше. Порох и оружие складывают в носовом трюме. А между тем есть прекрасное помещение под вашей каютой. Почему бы не сложить их туда? Это—первое. Затем, вы взяли с собой четверых слуг. Кого-то из них, как мне сказали, тоже хотят поместить в носовой части. Почему не устроить им койки возле вашей каюты? Это — второе.

— Есть и третье? — спросил мистер Трелони.

— Есть,— сказал капитан.— Слишком много болтают.

— Да, чересчур много болтают,— согласился доктор.

— Передам вам только то, что я слышал своими ушами,— продолжал капитан Смоллетт.— Говорят, будто у вас есть карта какого-то острова. Будто на карте крестиками обозначены места, где зарыты сокровища. Будто этот остров лежит...

И тут он с полной точностью назвал широту и долготу нашего острова.

— Я не говорил этого ни одному человеку!—воскликнул сквайр.

— Однако каждый матрос знает об этом, сэр,— возразил капитан.

— Это вы, Ливси, все разболтали! — кричал сквайр.— Или ты, Хокинс...

— Теперь уже все равно, кто разболтал,— сказал доктор.

Я заметил, что ни он, ни капитан не поверили мистеру Трелони, несмотря на все его оправдания. Я тоже тогда не поверил, потому что он действительно был великий болтун. А теперь я думаю, что тогда он говорил правду и что команде было известно и без нас, где находится остров.

— Я, джентльмены, не знаю, у кого из вас хранится эта карта,— продолжал капитан.— И я настаиваю, чтобы она хранилась в тайне и от меня и от мистера Эрроу. В противном случае я подаю прошение об уходе.

— Понимаю,—сказал доктор.—Во-первых, вы хотите прекратить лишние разговоры. Во-вторых, вы хотите устроить крепость в кормовой части судна, собрать в нее слуг моего друга и передать им все оружие и порох, которые имеются на борту. Другими словами, вы опасаетесь бунта.

— Сэр,— сказал капитан Смоллетт,— я не обижаюсь, но не хочу, чтобы вы приписывали мне слова, которых я не говорил. Нельзя оправдать капитана, решившего выйти в море, если у него есть основания опасаться бунта. Я уверен, что мистер Эрроу—честный человек. Многие матросы—тоже честные люди. Быть может, все они честные люди. Но я отвечаю за безопасность корабля и за жизнь каждого человека на борту. Я вижу, что многое делается не так, как следует. Прошу вас принять меры предосторожности или отпустить меня. Вот и все.

— Капитан Смоллетт,— начал доктор, улыбаясь,— вы слыхали басню о горе́, которая родила мышь? Простите меня, но вы напоминаете мне эту басню. Готов поклясться моим париком, что когда вы явились сюда, вы хотели потребовать у нас много больше.

— Вы очень догадливы, доктор,— сказал капитан.— Явившись сюда, я хотел потребовать расчета, ибо у меня не было ни малейшей надежды, что мистер Трелони согласится выслушать хоть одно мое слово.

— И не стал бы слушать!—крикнул сквайр.—Если бы не Ливси, я бы сразу послал вас ко всем чертям. Но как бы

то ни было, я выслушал вас и сделаю все, что вы требуете. Однако мнение мое о вас изменилось к худшему.

— Это как вам угодно, сэр,—сказал капитан.—Потом вы поймете, что я исполнил свой долг.

И он удалился.

— Трелони,— сказал доктор,— против своего ожидания я убедился, что вы пригласили на корабль двух честных людей: капитана Смоллетта и Джона Сильвера.

— Насчет Сильвера я с вами согласен,— воскликнул сквайр,— а поведение этого несносного враля я считаю недостойным мужчины, недостойным моряка и, во всяком случае, недостойным англичанина!

— Ладно,— сказал доктор,— увидим.

Когда мы вышли на палубу, матросы уже начали перетаскивать оружие и порох. «Йо-хо-хо!»— пели они во время работы. Капитан и мистер Эрроу распоряжались.

Мне очень понравилось, как нас разместили по-новому. Всю шхуну переоборудовали. В кормовой части трюма устроили шесть кают, которые соединялись дощатым проходом по левому борту с камбузом и баком. Сначала их предназначали для капитана, мистера Эрроу, Хантера, Джойса, доктора и сквайра. Но теперь две из них отдали Редруту и мне, а мистер Эрроу и капитан устроились на палубе, в сходном тамбуре, который был так расширен с обеих сторон, что мог сойти за кормовую рубку. Он, конечно, был тесноват, но все же в нем поместилось два гамака. Даже штурман, казалось, был доволен таким размещением. Возможно, он тоже не доверял команде. Впрочем, это только мое предположение, потому что, как вы скоро увидите, он недолго находился на шхуне.

Мы усердно работали, перетаскивая порох и устраивая наши каюты, когда наконец с берега явились в шлюпке последние матросы и вместе с ними Долговязый Джон.

Повар взобрался на судно с ловкостью обезьяны и, как только заметил, чем мы заняты, крикнул:

— Эй, приятели, что же вы делаете?

— Переносим бочки с порохом, Джон,— ответил один из матросов.

— Да ведь этак, черт побери, мы прозеваем утренний отлив! — закричал Долговязый.

— Они исполняют мое приказание! — оборвал его капитан.— А вы, милейший, ступайте в камбуз, чтобы матросы могли поужинать вовремя.

— Слушаю, сэр,— ответил повар.

И, прикоснувшись рукой ко лбу, нырнул в камбуз.

— Вот это славный человек, капитан,— сказал доктор.

— Весьма возможно, сэр,— ответил капитан Смоллетт.— Осторожней, осторожней, ребята!

И он побежал к матросам. Матросы волокли бочку с порохом. Вдруг он заметил, что я стою и смотрю на вертлюжную пушку, которая была установлена в средней части корабля,— медную девятифунтовку.

— Эй, юнга!— крикнул он.— Прочь отсюда! Ступай к коку, он даст тебе работу.

И, убегая в камбуз, я слышал, как он громко сказал доктору:

— Я не потерплю, чтобы на судне были любимчики!

Уверяю вас, в эту минуту я совершенно согласился со сквайром, что капитан — невыносимый человек, и возненавидел его.

ГЛАВА X

ПЛАВАНИЕ

Суматоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место. Шлюпка то и дело доставляла с берега друзей сквайра, вроде мистера Блендли, которые явились пожелать ему счастливого плавания и благополучного возвращения домой. Никогда раньше в «Адмирале Бенбоу» мне не приходилось работать так много.

Я уже устал, как собака, когда перед самым рассветом боцман заиграл на дудке и команда принялась поднимать якорь.

Впрочем, если бы даже я устал вдвое больше, я и то не ушел бы с палубы. Все было ново и увлекательно для меня—и отрывистые команды, и резкий звук свистка, и люди, суетливо работающие при тусклом свете корабельных фонарей.

— Эй, Окорок, затяни-ка песню!—крикнул один из матросов.

— Старую! — крикнул другой.

— Ладно, ребята,— отвечал Долговязый Джон, стоявший тут же, на палубе, с костылем под мышкой.

И запел песню, которая была так хорошо мне известна:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца...

Вся команда подхватила хором:

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

При последнем «хо» матросы дружно нажали на вымбовки шпиля.

Как ни захвачен я был происходящим, мне вмиг припомнился наш старый «Адмирал Бенбоу», почудилось, будто голос покойного Бонса внезапно присоединился к матросскому хору.

Скоро якорь был поднят и укреплен на носу. С него капала вода. Ветер раздул паруса. Земля отступила. Корабли, окружавшие нас, стали удаляться. И, прежде чем я лег на койку, чтобы подремать хоть часок, «Испаньола» начала свое плавание к Острову Сокровищ.

Я не стану описывать подробности нашего путешествия. Оно было очень удачно. Корабль оказался образцовым, команда состояла из опытных моряков, капитан превосходно знал свое дело. Но прежде чем мы достигли Острова Сокровищ, случилось два-три события, о которых стоит упомянуть.

Раньше всего выяснилось, что мистер Эрроу гораздо хуже, чем думал о нем капитан. Он не пользовался у матросов никаким авторитетом, и его никто не слушал. Но это еще не самое худшее. Через день-два после отплытия он стал появляться на палубе с мутными глазами и пылающими щеками. Язык его заплетался. Налицо были и другие признаки опьянения. То и дело его приходилось с позором гнать в каюту. Он часто падал и расшибался. Случалось, пролеживал целые дни у себя на койке, не вставая. Бывало, конечно, что он дня два ходил почти трезвый и тогда кое-как справлялся со своими обязанностями.

Мы никак не могли понять, откуда он достает выпивку. Весь корабль ломал голову над этой загадкой. Мы следили за ним, но ничего не выследили. Когда мы спрашивали его напрямик, он, если был пьян, только хохотал нам в глаза, а если был трезв, торжественно клялся, что за всю жизнь ничего не пил, кроме воды.

Как штурман он никуда не годился и оказывал дурное влияние на своих подчиненных. Было ясно, что он плохо кончит. И никто не удивился и не опечалился, когда однажды темной бурной ночью он исчез с корабля.

— Свалился за борт! — решил капитан.— Что же, джентльмены, это избавило нас от необходимости заковывать его в кандалы.

Таким образом, мы остались без штурмана. Нужно было выдвинуть на эту должность кого-нибудь из команды. Выбор пал на боцмана Джоба Эндерсона. Его по-прежнему называли боцманом, но исполнял он обязанности штурмана.

Мистер Трелони, бывалый мореход, тоже пригодился: он стоял в хорошую погоду на вахте. Второй боцман, Израэль Хендс, был усердный старый, опытный моряк, которому можно было поручить почти любую работу.

Он, между прочим, дружил с Долговязым Джоном Сильвером, и, раз уж я упомянул это имя, придется рассказать о Сильвере подробнее.

Матросы называли его Окороком. Он привязывал свой костыль веревкой к шее, чтобы руки у него были свободны. Стоило посмотреть, как он, упираясь костылем в переборку, покачиваясь с каждым движением корабля, стрянал, словно находился на твердой земле! Еще любопытнее было видеть, как ловко и быстро пробегал он в бурную погоду по палубе, хватаясь за петли канатов, спущенные для него в самых широких местах. Эти петли назывались у матросов «сережками Долговязого Джона». И на ходу он то держался за эти «сережки», то пускал в дело костыль, то тащил его за собой на веревке.

Все же матросы, которые плавали с ним прежде, очень жалели, что он уже не тот, каким был.

— Наш Окорок не простой человек,— говорил мне второй боцман.— В молодости он был школяром и, если захочет, может разговаривать, как по книжке. А какой он храбрый! Лев перед ним ничто, перед нашим Долговязым Джоном. Я видел сам, как на него, безоружного, напали четверо, а он сгреб их и стукнул головами вот так.

Вся команда относилась к нему с уважением и даже подчинялась его приказаниям. С каждым он умел поговорить, каждому умел угодить. Со мной он всегда был особенно ласков. Всякий раз радовался, когда я заходил к нему в камбуз, который он содержал в удивительной чистоте. Посуда у него всегда была аккуратно развешана и вычищена до блеска. В углу, в клетке, сидел попугай.

— Хокинс,— говорил мне Сильвер,— заходи, поболтай с Джоном. Никому я не рад так, как тебе, сынок. Садись и послушай. Вот Капитан Флинт... я назвал моего по-

пугая Капитаном Флинтом в честь знаменитого пирата... так вот, Капитан Флинт предсказывает, что наше плавание окончится удачей... Верно, Капитан?

И попугай начинал с невероятной быстротой повторять:

— Пиастры! Пиастры! Пиастры!

И повторял до тех пор, пока не выбивался из сил или пока Джон не покрывал его клетку платком.

— Этой птице,— говорил он,— наверно, лет двести, Хокинс. Попугаи живут без конца. Разве только дьявол повидал на своем веку столько зла, сколько мой попугай. Он плавал с Инглендом, с прославленным пиратом капитаном Инглендом. Он побывал на Мадагаскаре, на Малабаре, в Суринаме, на Провиденсе, в Порто-Белло. Он видел, как вылавливают груз с затонувших галеонов. Вот когда он научился кричать «пиастры». И нечему тут удивляться: тогда выловили триста пятьдесят тысяч пиастров, Хокинс! Этот попугай присутствовал при нападении на вице-короля Индии невдалеке от Гоа. А с виду — сущий птенец... Но ты понюхал пороху, не правда ли, Капитан?

— Поворачивай на другой галс! — кричал попугай.

— Он у меня отличный моряк,— приговаривал повар и угощал попугая кусочками сахара, которые доставал из кармана.

Попугай долбил клювом прутья клетки и ругался скверными словами.

— Поживешь среди дегтя — поневоле запачкаешься,— объяснил мне Джон.— Эта бедная, старая, невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит. Она ругалась бы и перед господом богом.

И при этом Джон так торжественно воздевал к небу руки, что я счел его благороднейшим человеком на свете.

Отношения между сквайром и капитаном Смоллеттом были по-прежнему очень натянутые. Сквайр, не стесняясь, отзывался о капитане презрительно. Капитан никогда не заговаривал со сквайром, а когда сквайр спрашивал его о чем-нибудь, отвечал резко, кратко и сухо. Прижатый в угол, он вынужден был сознаться, что, по-видимому, ошибся, дурно отзываясь о команде. Многие матросы работали образцово, и вся команда вела себя превосходно. А в шхуну он просто влюбился.

— Она слушается руля, как хорошая жена слушается мужа, сэр. Но,— прибавлял он,— домой мы еще не верну-

лись, и плавание наше мне по-прежнему очень не нравится.

Сквайр при этих словах поворачивался к капитану спиной и принимался шагать по палубе, задрав подбородок кверху.

— Еще немного,— говорил он,— и этот человек окончательно выведет меня из терпения.

Нам пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинства нашей «Испаньолы». Команда казалась довольной, да и не удивительно. По-моему, ни на одном судне, с тех пор как Ной впервые пустился в море, так не баловали команду. Пользовались всяким предлогом, чтобы выдать морякам двойную порцию грога. Стоило сквайру услышать о дне рождения кого-нибудь из матросов, и тотчас же всех оделяли пудингом. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается.

— Ничего хорошего не выйдет из этого,— говорил капитан доктору Ливси.— Будешь цацкаться с матросней, после сам же наплачешься. Уж вы мне поверьте.

Однако бочка с яблоками, как вы увидите, сослужила нам огромную службу. Только благодаря этой бочке мы были вовремя предупреждены об опасности и не погибли от руки предателей.

Вот как это произошло. Мы двигались сначала против пассатов, чтобы выйти на ветер к нашему острову,— яснее я сказать не могу,— а теперь шли к нему по ветру. Днем и ночью глядели мы вдаль, ожидая, что увидим его. Согласно вычислениям, нам оставалось плыть менее суток. Либо сегодня ночью, либо самое позднее завтра до полудня мы увидим Остров Сокровищ. Курс держали на юго-юго-запад. Дул ровный ветер на траверзе. Море было спокойно. «Испаньола» неслась вперед, иногда ее бушприт обрызгивали волны. Все шло прекрасно. Все находились в отличном состоянии духа, все радовались окончанию первой половины нашего плавания.

Когда зашло солнце и работа моя была кончена, я, направляясь к своей койке, вдруг подумал, что неплохо было бы съесть яблоко. Быстро выскочил я на палубу. Вахтенные смотрели вперед по курсу, надеясь увидеть остров. Рулевой, наблюдая за наветренным углом парусов, тихонько посвистывал. Все было тихо, только вода шелестела за бортом.

Оказалось, что в бочке всего одно яблоко. Чтобы достать его, мне пришлось влезть в бочку. Сидя там в темноте, убаюканный плеском воды и мерным покачиванием судна, я чуть было не заснул. Вдруг кто-то грузно опустился рядом с бочкой на палубу. Бочка чуть-чуть качнулась: он оперся о нее спиной. Я уже собирался выскочить, как вдруг человек этот заговорил. Я узнал голос Сильвера, и, прежде чем он успел произнести несколько слов, я решил не вылезать из бочки ни за что на свете. Я лежал на дне, дрожа и вслушиваясь, задыхаясь от страха и любопытства. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на судне находится у меня в руках.

ГЛАВА XI

ЧТО Я УСЛЫШАЛ, СИДЯ В БОЧКЕ ИЗ-ПОД ЯБЛОК

— Нет, не я,— сказал Сильвер.— Капитаном был Флинт. А я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы. Мне ампутировал ее ученый хирург,— он учился в колледже и знал всю латынь наизусть. А все же и его вздернули в Корсо-Касле, как собаку: сушиться на солнышке... рядом с другими. Да! То были люди Робертса, и погибли они потому, что меняли названия своих кораблей. Сегодня корабль называется «Королевское счастье», а завтра как-нибудь иначе. А по-нашему, как окрестили судно, так оно всегда и должно называться. Мы не меняли названия «Кассандры», и она благополучно доставила нас домой с Малабара, после того как Ингленд захватил вице-короля Индии. Не менял своего прозвища и «Морж», старый корабль Флинта, который насквозь пропитался кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну.

— Эх,— услышал я восхищенный голос самого юного из наших матросов,— что за молодец этот Флинт!

— Дэвис, говорят, был не хуже,— сказал Сильвер.— Но я никогда с ним не плавал. Я плавал сначала с Инглендом, потом с Флинтом. А теперь вышел в море сам. Я заработал девятьсот фунтов стерлингов у Ингленда да тысячи две у Флинта. Для простого матроса это не так

плохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент. Дело не в умении заработать, а в умении сберечь... Где теперь люди Ингленда? Не знаю... Где люди Флинта? Большей частью здесь, на корабле, и рады, когда получают пудинг. Многие из них на берегу с голоду подыхали. Старый Пью, когда потерял глаза, а также и стыд, стал проживать тысячу двести фунтов в год, словно лорд из парламента. Где он теперь? Умер и гниет в земле. Но два года назад ему уже нечего было есть. Он просил милостыню, он воровал, он резал глотки и все-таки не мог прокормиться.

— Вот и будь пиратом,— сказал молодой моряк.

— Не будь только дураком!— воскликнул Сильвер.— Впрочем, не о тебе разговор: ты хоть молод, а не глуп. Тебя не надуешь! Я это сразу заметил, едва только увидел тебя, и буду разговаривать с тобой, как с мужчиной.

Можете себе представить, что я почувствовал, услышав, как этот старый мошенник говорит другому те же самые льстивые слова, которые говорил мне!

Если бы я мог, я убил бы его...

А тем временем Сильвер продолжал говорить, не подозревая, что его подслушивают:

— Так всегда с джентльменами удачи. Жизнь у них тяжелая, они рискуют попасть на виселицу, но едят и пьют, как боевые петухи перед боем. Они уходят в плавание с сотнями медных грошей, а возвращаются с сотнями фунтов. Добыча пропита, деньги растрачены — и снова в море в одних рубашках. Но я поступаю не так. Я вкладываю все свои деньги по частям в разные банки, но нигде не кладу слишком много, чтобы не возбудить подозрения. Мне пятьдесят лет, заметь. Вернусь из этого плавания и буду жить, как живут самые настоящие джентльмены... Пора уже, говоришь? Ну что ж, я и до этого пожил неплохо. Никогда ни в чем себе не отказывал. Мягко спал и вкусно ел. Только в море приходилось иногда туговато. А как я начал? Матросом, как ты.

— А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут,— сказал молодой матрос.— Как вы покажетесь в Бристоле после такого плавания?

— А где, по-твоему, теперь мои деньги? — спросил Сильвер насмешливо.

— В Бристоле, в банках и прочих местах,— ответил матрос.

— Да, они были там,— сказал кок.— Они были там, когда мы снимались с якоря. Но теперь моя старуха уже взяла их оттуда. «Подзорная Труба» продана вместе с арендованным участком, клиентурой и оснасткой, а старуха уехала и поджидает меня в условленном месте. Я бы сказал тебе, где это место, потому что вполне доверяю тебе, да, боюсь, остальные обидятся, что я не сказал и им.

— А жене своей вы доверяете?— спросил матрос.

— Джентльмены удачи,— ответил повар,— редко доверяют друг другу. И правильно делают. Но меня провести нелегко. Кто попробует отпустить канат, чтобы старый Джон брякнулся, тот недолго проживет на этом свете. Одни боялись Пью, другие — Флинта. А меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной... Команда у него была отчаянная. Сам дьявол и тот не решился бы пуститься с нею в открытое море. Ты меня знаешь, я хвастать не стану, я добродушный и веселый человек, но, когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня, как овечки. Ого-го, какая дисциплина была на судне у старого Джона!

— Скажу вам по совести,— признался матрос,— до этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь вот моя рука, я согласен.

— Ты храбрый малый и очень неглуп,— ответил Сильвер и с таким жаром пожал протянутую руку, что бочка моя закачалась.— Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, какого я еще никогда не видал!

Мало-помалу я начал понимать тот язык, на котором они говорили. «Джентльменами удачи» они называли пиратов. Я был свидетелем последней главы в истории о том, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку — быть может, последнего честного матроса на всем корабле. Впрочем, я тотчас же убедился, что этот матрос не единственный. Сильвер тихонько свистнул, и к бочке подсел еще кто-то.

— Дик уже наш,— сказал Сильвер.

— Я знал, что он будет нашим,— услышал я голос второго боцмана, Израэля Хендса.— Он не дурак, этот Дик.

Некоторое время он молча жевал табак, потом сплюнул и продолжал:

— Скажи, Окорок, долго мы будем вилять, как маркитантская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел

капитан! Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина.

— Израэль,— сказал Сильвер,— твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов. Но слушать ты можешь, уши у тебя длинные. Так слушай: ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу, ты будешь послушен, ты будешь учтив и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова. Во всем положись на меня, сынок.

— Разве я отказываюсь? — проворчал второй боцман.— Я только спрашиваю: когда?

— Когда? — закричал Сильвер.— Ладно, я скажу тебе когда. Как можно позже — вот когда! Капитан Смоллетт, первоклассный моряк, для нашей же выгоды ведет наш корабль. У сквайра и доктора имеется карта, но разве я знаю, где они прячут ее? И ты тоже не знаешь. Так вот, пускай сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль. А тогда мы посмотрим. Если бы я был уверен в таких сукиных сынах, как вы, я бы предоставил капитану Смоллетту довести нас еще и полпути назад.

— Мы и сами неплохие моряки! — возразил Дик.

— Неплохие матросы, ты хочешь сказать,— поправил его Сильвер.— Мы умеем ворочать рулем. Но кто вычислит курс? На это никто из вас неспособен, джентльмены. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смоллетту довести нас на обратном пути хотя бы до пассата. Тогда знал бы по крайней мере, что идешь правильно и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащат сокровища сюда, на корабль. А очень жаль! Но вам только бы поскорее дорваться до выпивки. По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы.

— Полегче, Долговязый! — крикнул Израэль.— Ведь с тобой никто не спорит.

— Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцов, которых повесили сушиться на солнышке? — воскликнул Сильвер.— А почему? А все потому, что спешили, спешили, спешили... Послушайте меня: я поплавал по морю и кое-что по-

видал в своей жизни. Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам! Знаю я вашего брата. Налакаетсь рому — и на виселицу.

— Всем известно, Джон, что ты вроде капеллана,— возразил ему Израэль.— Но ведь были другие ловкачи, не хуже тебя. Они любили позабавиться. Но они не строили из себя командиров, и сами кутили, и другим не мешали.

— Да,— сказал Сильвер.— А где они теперь? Такой был Пью — и умер в нищете. И Флинт был такой — и умер от рома в Саванне. Да, это были приятные люди, веселые... Только где они теперь, вот вопрос!

— Что мы сделаем с ними,— спросил Дик,— когда они попадут к нам в руки?

— Вот этот человек мне по вкусу! — с восхищением воскликнул кок.— Не о пустяках говорит, а о деле. Что же, по-твоему, с ними сделать? Высадить их на какой-нибудь пустынный берег? Так поступил бы Ингленд. Или зарезать их всех, как свиней? Так поступил бы Флинт или Билли Бонс.

— Да, у Билли была такая манера,— сказал Израэль.— «Мертвые не кусаются», говаривал он. Теперь он сам мертв и может проверить свою поговорку на опыте. Да, Билли был мастер на эти дела.

— Верно,— сказал Сильвер.— Билли был тяжел на руку и скор на расправу. Но я человек добродушный, я джентльмен; однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребята. И я голосую — убить. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих выскочек. Надо ждать, пока плод созреет. Но когда он созреет, его надо сорвать!

— Джон,— воскликнул боцман,— ты герой!

— В этом ты убедишься на деле, Израэль,— сказал Сильвер.

— Я требую только одного: уступите мне сквайра Трелони. Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову... Дик,— прибавил он вдруг,— будь добр, поди достань мне, пожалуйста, яблоко— у меня вроде как бы горло пересохло.

Можете себе представить мой ужас! Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил, но сердце мое, и ноги, и руки сразу отказались мне служить.

Дик уже встал было на ноги, как вдруг его остановил голос Хендса:

— И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон! Дайка нам лучше рому.

— Дик,— сказал Сильвер,— я доверяю тебе. Доверять-то доверяю, но учти, что на бочонке есть деления. Вот тебе ключ. Нацеди кружку и принеси.

Несмотря на весь мой страх, я все же в ту минуту подумал: «Так вот откуда мистер Эрроу доставал ром, погубивший его!»

Как только Дик отошел, Израэль начал шептать что-то коку на ухо. Я расслышал всего два-три слова, но и этого было достаточно.

— Никто из остальных не соглашается,— прошептал Израэль.

Значит, на корабле оставались еще верные люди!

Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кружку и выпили — один «за удачу», другой «за старика Флинта», а Сильвер даже пропел:

За ветер добычи, за ветер удачи!
Чтоб зажили мы веселей и богаче!

В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив крюйс-марс и вздувшийся фок-зейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос:

— Земля!

ГЛАВА XII

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Палуба загремела от топота. Я слышал, как люди выбегали из кают и кубрика. Выскочив из бочки, я проскользнул за фок-зейл, повернул к корме, вышел на открытую палубу и вместе с Хантером и доктором Ливси побежал на наветренную скулу. Здесь собралась вся команда. Туман с появлением луны сразу рассеялся. Вдали на юго-западе мы увидели два низких холма на расстоянии примерно двух миль один от другого, а за ними третий, повыше, еще окутанный туманом. Все три были правильной конической формы.

Я смотрел на них, как сквозь сон,— я не успел еще опомниться от недавнего ужаса. Затем я услышал голос капи-

тана Смоллетта, отдававшего приказания. «Испаньола» стала несколько круче к ветру, курс ее проходил восточнее острова.

— Ребята,— сказал капитан, когда все его приказания были выполнены,— видел ли кто-нибудь из вас эту землю раньше?

— Я видел, сэр,— сказал Сильвер.— Мы брали здесь пресную воду, когда я служил коком на торговом судне.

— Кажется, стать на якорь удобнее всего с юга, за этим маленьким островком? — спросил капитан.

— Да, сэр. Этот островок называется Остров Скелета. Раньше тут всегда останавливались пираты, и один матрос с нашего корабля знал все названия, которые даны пиратами здешним местам. Вот та гора, на севере, зовется Фок-мачтой. С севера на юг тут три горы: Фок-мачта, Грот-мачта и Бизань-мачта, сэр. Но Грот-мачту — ту высокую гору, которая покрыта туманом, чаще называют Подзорной Трубой, потому что пираты устраивали там наблюдательный пост, когда стояли здесь на якоре и чистили днища своих судов. Они обычно чинили суда тут, прошу извинения, сэр.

— У меня есть карта,— сказал капитан Смоллетт,— посмотрите, тот ли это остров?

Глаза Долговязого Джона засверкали огнем, когда карта попала ему в руки. Но сразу же разочарование затуманило их. Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса, это была ее точная копия — с названиями, с обозначениями высот и глубин, но без трех красных крестиков и рукописных заметок. Однако, несмотря на свою досаду, Сильвер сдержался и не выдал себя.

— Да, сэр,— сказал он,— этот самый. Он очень хорошо нарисован. Интересно бы узнать, кто мог нарисовать эту карту... Пираты — народ неученый... А вот и стоянка капитана Кидда — так называл ее и мой товарищ матрос. Здесь сильное течение к югу. Потом у западного берега оно заворачивает к северу. Вы правильно сделали, сэр,— продолжал он,— что пошли в крутой бейдевинд. Если вы хотите войти в бухту и кренговать корабль, лучшего места для стоянки вам тут не найти.

— Спасибо,— сказал капитан Смоллетт.— Когда мне нужна будет помощь, я опять обращусь к вам. Можете идти.

Я был поражен тем, как хладнокровно Джон обнаружил свое знакомство с островом. Признаться, я испугался, когда увидел, что он подходит ко мне. Конечно, он не знал, что я сидел в бочке и все слышал. И все же он внушал мне такой ужас своей жестокостью, двуличностью, своей огромной властью над корабельной командой, что я едва не вздрогнул, когда он положил руку мне на плечо.

— Недурное место этот остров,— сказал он.— Недурное место для мальчишки. Ты будешь купаться, ты будешь лазить по деревьям, ты будешь гоняться за дикими козами. И сам, словно коза, будешь скакать по горам. Право, глядя на этот остров, я и сам становлюсь молодым и забываю про свою деревянную ногу. Хорошо быть мальчишкой и иметь на ногах десять пальцев! Если ты захочешь пойти познакомиться с островом, скажи старому Джону, и он приготовит тебе закуску на дорогу.

И, хлопнув меня дружески по плечу, он заковылял прочь.

Капитан Смоллетт, сквайр и доктор Ливси разговаривали о чем-то на шканцах. Я хотел как можно скорее передать им все, что мне удалось узнать. Но я боялся на виду у всех прервать их беседу. Я бродил вокруг, изобретая способы заговорить, как вдруг доктор Ливси подозвал меня к себе. Он забыл внизу свою трубку и хотел послать меня за нею, так как долго обходиться без курения не мог. Подойдя к нему близко, чтобы никто не подслушал, я прошептал:

— Доктор, мне нужно с вами поговорить. Пусть капитан и сквайр спустятся в каюту, а потом под каким-нибудь предлогом вы позовете меня. Я сообщу вам ужасные новости.

Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой.

— Спасибо, Джим, это все, что я хотел узнать,— сказал он громко, делая вид, будто только что задавал мне какой-то вопрос.

Потом повернулся к сквайру и капитану. Они продолжали разговаривать совершенно спокойно, не повышая голоса, никто из них даже не присвистнул, но я понял, что доктор Ливси передал им мою просьбу. Затем капитан приказал Джобу Эндерсону свистать всю команду на палубу.

— Ребята,— сказал капитан Смоллетт, обращаясь к матросам,— я хочу поговорить с вами. Вы видите перед

собой землю. Эта земля—тот остров, к которому мы шли. Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трелони. Он спросил меня, хорошо ли работала команда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг и что мне никогда не приходилось желать, чтобы вы работали лучше. Мистер Трелони, я и доктор — мы идем в каюту выпить за ваше здоровье и за вашу удачу, а вам здесь дадут грогу, чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы хотите знать мое мнение, я скажу, что сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «ура».

Ничего не было странного в том, что все закричали «ура». Но прозвучало оно так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить.

— Ура капитану Смоллетту! — завопил Долговязый Джон, когда первое «ура» смолкло.

И на этот раз «ура» было дружно подхвачено всеми.

Под несмолкаемые приветственные крики три джентльмена спустились в каюту.

Немного погодя они послали за Джимом Хокинсом.

Когда я вошел, они сидели вокруг стола. Перед ними стояла бутылка испанского вина и тарелка с изюмом.

Доктор курил, держа свой парик на коленях, а это, как я знал, означало, что он очень волнуется. Кормовой иллюминатор был открыт, потому что ночь была теплая. Полоса лунного света лежала позади корабля.

— Ну, Хокинс,— сказал сквайр,— ты хотел нам что-то сообщить. Говори.

Я кратко передал им все, что слышал, сидя в бочке. Они не перебивали меня, пока я не кончил; они не двигались, они не отрывали глаз от моего лица.

— Джим,— сказал доктор Ливси,— садись.

Они усадили меня за стол, дали мне стакан вина, насыпали мне в ладонь изюму, и все трое по очереди с поклоном выпили за мое здоровье, за мое счастье и за мою храбрость.

— Да, капитан,— сказал сквайр,— вы были правы, а я был неправ. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений.

— Я такой же осел, сэр,— возразил капитан.— Когда команда собралась бунтовать, непременно есть призна-

ки, по которым можно увидеть это заранее, если ты не слепой. Увидеть и принять нужные меры. А вот эта команда сумела меня провести.

— Капитан,— сказал доктор,— перехитрил вас Джон Сильвер. Он удивительный человек.

— И ему удивительно пристало бы болтаться на рее,— возразил капитан.— Но все эти разговоры теперь ни к чему. Из всего сказанного я сделал кое-какие заключения и, если мистер Трелони позволит, изложу их вам.

— Вы здесь капитан, сэр, распоряжайтесь! — величаво сказал мистер Трелони.

— Во-первых,— сказал мистер Смоллетт,— мы должны продолжать все, что начали, потому что отступление нам отрезано. Если я заикнусь о возвращении, они взбунтуются сию же минуту. Во-вторых, у нас еще есть время — по крайней мере до тех пор, пока мы отыщем сокровища. В-третьих, среди команды остались еще верные люди. Рано или поздно, а нам придется вступить с этой шайкой в бой. Я предлагаю, как говорится, взять быка за рога и напасть на них первыми, врасплох, когда они меньше всего будут этого ждать. Мне кажется, мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелони?

— Как на меня самого,— заявил сквайр.

— Их трое,— сказал капитан.— Да мы трое да Хокинс — вот уже семь человек. А на кого можно рассчитывать из команды?

— Вероятно, на тех, кого Трелони нанял сам, без помощи Сильвера,— сказал доктор.

— Нет,— возразил Трелони.— Я ведь и Хендса нанял сам.

— Мне тоже казалось, что Хендсу можно доверять,— признался капитан.

— И только подумать, что все они англичане!—воскликнул сквайр.— Право, сэр, мне хочется весь корабль пустить на воздух!

— Итак, джентльмены,— продолжал капитан,— выбор у нас невелик.— Мы должны быть настороже, выжидая удобного случая. Согласен, что это не слишком легко. Приятнее было бы напасть на них тотчас же. Но мы не можем ничего предпринять, пока не узнаем, кто из команды нам верен. Соблюдать осторожность и ждать — вот все, что я могу предложить.

— Больше всего пользы в настоящее время может принести нам Джим,— сказал доктор.— Матросы его не стесняются, а Джим — наблюдательный мальчик.

— Хокинс, я вполне на тебя полагаюсь,— прибавил сквайр.

Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверия. Но обстоятельства сложились так, что мне действительно пришлось спасти им жизнь.

А пока что из двадцати шести человек мы могли положиться только на семерых. И один из этих семерых был мальчик. Если считать только взрослых, нас было шестеро против девятнадцати.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СУШЕ

ГЛАВА XIII

КАК НАЧАЛИСЬ МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СУШЕ

Когда утром я вышел на палубу, остров показался мне совсем другим, чем вчера. Хотя ветер утих, мы все же значительно продвинулись за ночь и теперь стояли в штилевом море, в полумиле от низкого восточного берега. Большую часть острова покрывали темные леса. Однообразный серый цвет прерывался кое-где в ложбинах желтизной песчаного берега и зеленью каких-то высоких деревьев, похожих на сосны. Эти деревья росли то поодиночке, то купами и поднимались над уровнем леса, но общий вид острова был все же очень однообразен и мрачен. На вершине каждого холма торчали острые голые скалы. Эти холмы удивляли меня странной формой своих очертаний. Подзорная Труба была на триста или четыреста футов выше остальных и казалась самой странной: отвесные склоны и срезанная, плоская вершина, как пьедестал для статуи.

Океан так сильно качал «Испаньолу», что вода хлестала в шпигаты. Утлегарь натягивал блоки, руль водило с борта на борт, и весь корабль прыгал, стонал и трещал, как фабричный цех. Я вцепился рукой в бакштаг и почувствовал, что меня мутит. Все закружилось у меня перед глазами. Я уже успел привыкнуть к морю, когда корабль бежал по волнам, но когда он стоял на якоре и в то же время вертелся на воде, как бутылка, мне становилось дурно, особенно по утрам, на пустой желудок.

Не знаю, что на меня повлияло — качка ли или эти серые, печальные леса, эти дикие, голые камни, этот грохот прибоя, бьющего в крутые берега,— но, хотя солнце сияло горячо и ярко, хотя морские птицы вились вокруг и с криками ловили в море рыбу, хотя всякий, естественно, был бы рад, увидев землю после такого долгого пребывания в открытом море, мне почему-то стало тошно и жутко. И с первого взгляда я возненавидел Остров Сокровищ.

В это утро нам предстояла тяжелая работа. Так как ветра не было, нам пришлось спустить шлюпки, проворповать шхуну три или четыре мили, обогнуть мыс и ввести ее в узкий пролив за Островом Скелета.

Я уселся в одну из шлюпок, хотя в ней мне было нечего делать. Солнце жгло нестерпимо, и матросы все время ворчали, проклиная свою тяжелую работу. Нашей шлюпкой командовал Эндерсон. Вместо того чтобы сдерживать остальных, он сам ворчал и ругался громче всех.

— Ну да ладно,— сказал он и выругался.— Скоро всему этому будет конец.

«Плохой признак»,— решил я. До сих пор люди работали усердно и охотно. Но одного вида острова оказалось достаточно, чтобы дисциплина ослабла.

Долговязый Джон стоял, не отходя, возле рулевого и помогал ему вести корабль. Он знал пролив как свои пять пальцев и нисколько не смущался тем, что при промерах всюду оказывалось глубже, чем было обозначено на карте.

— Этот узкий проход прорыт океанским отливом,— сказал он. — Отлив углубляет его всякий раз, как лопата.

Мы остановились в том самом месте, где на карте был нарисован якорь. Треть мили отделяла нас от главного острова и треть мили — от Острова Скелета. Дно было чистое, песчаное. Загрохотал, падая, наш якорь, и целые тучи

птиц, кружась и крича, поднялись из леса. Но через минуту они снова скрылись в ветвях, и все смолкло.

Пролив был превосходно закрыт со всех сторон. Он терялся среди густых лесов. Леса начинались у самой линии пролива. Берега были плоские. А вдали амфитеатром поднимались холмы. Две болотистые речонки впадали в пролив, казавшийся тихим прудом. Растительность возле этих речонок поражала какой-то ядовитой яркостью. С корабля не было видно ни постройки, ни частокола — деревья заслоняли их совсем, и, если бы не карта, мы могли бы подумать, что мы первые люди, посетившие этот остров, с тех пор, как он поднялся из глубин океана.

Воздух был неподвижен. Лишь один звук нарушал тишину — отдаленный шум прибоя, разбивавшегося в полумиле от нас о скалы. Странный, затхлый запах стоял вокруг корабля — запах прелых листьев и гниющих стволов. Я заметил, что доктор все нюхает и морщится, словно ему попалось тухлое яйцо.

— Не знаю, есть ли здесь сокровище,— сказал он,— но клянусь своим париком, что лихорадка здесь есть.

Поведение команды, тревожившее меня на шлюпке, стало прямо-таки угрожающим, когда мы воротились на корабль. Матросы развалились на палубе и о чем-то переговаривались. Приказания, даже самые пустячные, они выслушивали угрюмо и исполняли весьма неохотно. Мирных матросов тоже охватила зараза недовольства, и некому было призвать их к порядку. Назревал бунт, и эта опасность нависла над нашими головами, как грозовая туча.

Не только мы, обитатели каюты, заметили опасность. Долговязый Джон изо всех сил старался поддержать порядок, переходя от кучки к кучке, то уговаривая, то подавая пример. Он из кожи лез, стараясь быть услужливым и любезным. Он улыбался каждому. Если отдавалось какое-нибудь приказание, Джон мигом хватал свой костыль и первый бросался исполнять его, весело крича:

— Есть, есть, сэр!

А когда нечего было делать, он запевал песни, одну за другой, чтобы не так была заметна угрюмость остальных.

Из всего, что происходило в этот зловещий день, самым зловещим казалось нам поведение Долговязого Джона.

Мы собрались в каюте на совет.

— Сэр,— сказал капитан,— если я отдам хоть одно приказание, весь корабль кинется на нас. Видите, сэр, ка-

кое дело: мне грубят на каждом шагу. Если я отвечу на грубость, нас разорвут в клочки. Если я не отвечу на грубость, Сильвер может заметить, что тут что-то неладно, и игра будет проиграна. А ведь теперь мы можем полагаться только на одного человека.

— На кого?— спросил сквайр.

— На Сильвера, сэр,— ответил капитан.— Он не меньше нас с вами хочет их унять. Это у них каприз, и, если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени... Я предлагаю дать ему эту возможность. Отпустим матросов на берег погулять. Если они сойдут на берег все вместе, что же... мы захватим корабль. Если никто из них не сойдет, мы запремся в каюте и будем защищаться, и да поможет бог правому. Если же сойдут лишь некоторые, то, поверьте мне, Сильвер доставит их обратно на корабль послушными, как овечки.

Так и решили. Надежным людям мы роздали заряженные пистолеты. Хантера, Джойса и Редрута мы посвятили в наши планы. Узнав обо всем, они не очень удивились и отнеслись к нашему сообщению гораздо спокойнее, чем мы ожидали. Затем капитан вышел на палубу и обратился к команде.

— Ребята!—сказал он.—Сегодня здорово пришлось поработать, и все мы ужасно устали и издергались. Прогулка на берег никому не повредит. Шлюпки спущены. Кто хочет, пускай отправляется в них на берег. За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки.

Вероятно, эти дураки вообразили, что найдут сокровища, как только высадятся на берег. Вся их угрюмость разом исчезла. Они так громко закричали «ура», что эхо проснулось в далеких холмах и вспугнутые птицы снова закружили над стоянкой.

Капитан поступил очень разумно: он сразу ушел, предоставив Сильверу распоряжаться сборами. Да и как же иначе было ему поступить? Ведь останься он на палубе, он не мог бы притвориться ничего не понимающим.

Все было ясно, как день. Капитаном был Сильвер, и у него была команда мятежников. А мирные матросы — вскоре обнаружилось, что были на корабле и такие,— оказались сущими глупцами. Возможно, впрочем, что и они все до одного были восстановлены против нас вожаками, только в разной степени, и кое-кому из них, неплохим, в общем, людям, слишком далеко заходить не хотелось. Одно

дело — непослушание, воркотня и лентяйничанье, а другое — захват корабля и убийство ни в чем не повинных людей. После долгих споров команда разделилась так: шестеро остались на корабле, а остальные тринадцать, в том числе и Сильвер, начали рассаживаться в шлюпках.

Вот тут-то и решился я вдруг на первый из отчаянных поступков, которые впоследствии спасли нас от смерти. Я рассуждал так: мы не можем захватить корабль, раз Сильвер оставил на борту шестерых своих разбойников. С другой стороны, раз их осталось всего шестеро, значит, на корабле я сейчас не нужен. И я решил отправиться на берег. В одно мгновение я перелез через борт и свернулся калачиком в носу ближайшей шлюпки, которая в ту же секунду отчалила.

Никто не обратил на меня внимания, и только передний гребец сказал:

— Это ты, Джим? Держи голову пониже.

Но Сильвер, сидевший в другой шлюпке, внимательно всмотрелся в нашу и окликнул меня, чтобы убедиться, что это действительно я. И тогда я пожалел, что не остался.

Шлюпки помчались к берегу наперегонки. Но та шлюпка, в которой сидел я, отчалила первой. Она оказалась более легкой, гребцы в ней подобрались самые лучшие, и мы сразу опередили другую шлюпку. Едва нос нашей шлюпки коснулся берега, я ухватился за ветку, выскочил и кинулся в чащу. Сильвер и его товарищи остались ярдов на сто позади.

— Джим, Джим! — кричал он.

Но, понятно, я не обратил на его крик никакого внимания. Без оглядки, подпрыгивая, ломая кусты, ныряя в траве, я бежал все вперед и вперед, пока не выбился из сил.

ГЛАВА XIV

ПЕРВЫЙ УДАР

Довольный, что удрал от Долговязого Джона, я развеселился и стал с любопытством разглядывать незнакомую местность.

Сначала я попал в болото, заросшее ивами, тростником и какими-то деревьями неизвестной мне породы. Затем вышел на открытую песчаную равнину, около мили

длиной, где росли редкие сосны и какие-то скрюченные, кривые деревья, похожие на дубы, но со светлой листвой, как у ивы. Вдали была видна двуглавая гора; обе странные скалистые вершины ярко сияли на солнце.

Впервые я испытал радость исследователя неведомых стран. Остров был необитаем. Люди с моей шлюпки остались далеко позади, и я никого не мог встретить, кроме диких зверей и птиц. Я осторожно пробирался среди деревьев. Повсюду мне попадались какие-то неведомые растения и цветы.

То тут, то там я натыкался на змей. Одна из них ползла по уступу скалы. Она подняла голову и зашипела на меня, зашипела, как вертящаяся юла. А я и представления не имел, что это знаменитая гремучая змея, укус которой смертелен.

Наконец, я вошел в чащу деревьев, похожих на дубы. Впоследствии я узнал, что их называют вечнозелеными дубами. Они росли на песке, очень низкие, словно кусты терновника. Узловатые ветви их были причудливо изогнуты, густая листва сплелась наподобие кровли. Заросли их, становясь все выше и гуще, спускались с песчаного откоса к широкому, поросшему тростником болоту, через которое протекала одна из впадающих в пролив речек. Пар поднимался над болотом, и очертания Подзорной Трубы дрожали в знойном тумане.

Вдруг зашуршал камыш. С кряканьем взлетела дикая утка, за нею другая, и скоро над болотом повисла огромная туча птиц, с криком круживших в воздухе. Я сразу догадался, что кто-нибудь из наших моряков идет по краю болота, и не ошибся... Вскоре я услышал отдаленный голос, который, приближаясь, становился все громче.

Я страшно испугался, юркнул в ближайшую чащу вечнозеленых дубов и притаился, как мышь.

Другой голос ответил. Затем снова заговорил первый голос, и я узнал его — это был голос Сильвера. Он говорил о чем-то не умолкая, так что его спутнику лишь изредка удавалось вставить слово. Судя по голосам, они разговаривали горячо, почти злобно, но слов разобрать я не мог.

Наконец они замолчали и, вероятно, присели, потому что птицы постепенно успокоились и опустились на болото.

И я почувствовал, что уклоняюсь от своих обязанностей. Если уж я так глуп, что сошел на берег с пиратами, я должен по крайней мере подслушать, о чем они сове-

щаются. Мой долг велит мне подкрасться к ним как можно ближе и спрятаться в густой листве кривых, узловатых дубков.

Я мог с точностью определить то место, где сидят оба моряка, и по голосам и по волнению нескольких птиц, все еще круживших над их головами.

Медленно, но упорно полз я на четвереньках вперед. Наконец, подняв голову и глянув в просвет между листьями, я увидел на зеленой лужайке возле болота, под деревьями, Джона Сильвера и еще одного моряка. Они стояли друг против друга и разговаривали.

Их обоих жгло солнце. Сильвер швырнул свою шляпу на землю, и его большое, пухлое, белесое, покрытое блестящим потом лицо было обращено к собеседнику чуть ли не с мольбой.

— Приятель,— говорил он,— ты для меня чистое золото. Неужели, ты думаешь, я стал бы хлопотать о тебе, если бы не любил тебя всем своим сердцем? Все уже сделано, ты ничего не изменишь. Я хочу спасти твою шкуру — вот только почему я с тобой. Если бы наши матросы узнали, о чем я с тобой говорю, Том, подумай, что бы они со мной сделали!

— Сильвер...— отвечал моряк, и я заметил, что лицо у него стало красным, а охрипший, каркающий голос дрожит, как натянутый канат.— Сильвер, ты уже не молодой человек и как будто имеешь совесть. По крайней мере тебя никто не считает мошенником. У тебя есть деньги... а у многих ли бедолаг-моряков они есть? И к тому же ты не трус. Так объясни мне, пожалуйста, почему ты связываешься с этими гнусными крысами? Нет, ты не можешь быть с ними заодно. Я скорее дам отсечь себе руку... но долгу своему не изменю...

Внезапный шум прервал его. Наконец-то я нашел одного честного моряка! И в то же время до меня донеслась весть о другом честном моряке. Далеко за болотом раздался гневный, пронзительный крик, потом второй и затем душераздирающий вопль. Эхо в скалах Подзорной Трубы повторило его несколько раз. Вся армия болотных птиц снова разом взвилась в вышину и заслонила небо. Долго еще этот предсмертный вопль раздавался в моих ушах, хотя кругом опять воцарилось безмолвие, нарушаемое только хлопаньем крыльев опускающейся стаи птиц и отдаленным грохотом прибоя.

Том вздрогнул, как пришпоренная лошадь. Но Сильвер даже глазом не моргнул. Он стоял, опираясь на костыль, и глядел на своего собеседника, как змея, готовая ужалить.

— Джон! — сказал моряк, протягивая к нему руку.

— Руки прочь! — заорал Сильвер, отскочив на шаг с быстротой и ловкостью акробата.

— Хорошо, Джон Сильвер, я уберу руки прочь,—сказал моряк.— Но, право, только нечистая совесть заставляет тебя бояться меня. Умоляю тебя, объясни мне, что там случилось?

— Что случилось?—переспросил его Сильвер. Он улыбнулся, но не так широко, как всегда, и глаза его на огромном лице стали крошечными, как острия иголок, и засверкали, как стеклышки.— Что случилось? По-моему, это Алан.

Несчастный Том принял эту весть с отвагой, достойной героя.

— Алан! — воскликнул он.— Мир его праху! Он умер, как настоящий моряк. А ты, Джон Сильвер... Мы долго были с тобой товарищами, но теперь уж этому не быть! Пусть я умру, как собака, но я своего долга не нарушу. Ведь это вы убили Алана, а? Так убейте и меня, если можете! Но знай, что я плюю на вас!

С этими словами отважный моряк повернулся к коку спиной и зашагал к берегу. Но ему не удалось уйти далеко: Джон вскрикнул, схватился за ветку дерева, выхватил свой костыль из-под мышки и метнул ему вслед, как копье. Костыль, пущенный с невероятной силой, свистя, пролетел в воздухе и ударил Тома острым наконечником в спину между лопатками. Бедняга Том взмахнул руками и упал.

Не знаю, сильно ли он был ранен... Судя по звуку, у него был разбит позвоночник. Сильвер не дал ему опомниться. Без костыля, на одной ноге, он вспрыгнул на противника с ловкостью обезьяны и дважды всадил свой нож по самую рукоятку в его беззащитное тело. Сидя в кустах, я слышал, как тяжело дышал убийца, нанося удары.

Никогда прежде я не терял сознания и не знал, что это такое. Но тут весь мир поплыл вокруг меня, как в тумане. И Сильвер, и птицы, и вершина Подзорной Трубы — все вертелось, кружилось, качалось. Уши мои наполнились

звоном разнообразных колоколов и какими-то далекими голосами.

Когда я пришел в себя, костыль был уже у негодяя под мышкой, а шляпа на голове. Перед ним неподвижно лежал Том. Но убийца даже не глядел на него. Он чистил свой окровавленный нож пучком травы.

Кругом все было по-прежнему. Солнце беспощадно жгло и болото, над которым клубился туман, и высокую вершину горы. И не верилось, что минуту назад у меня на глазах совершилось убийство.

Джон засунул руку в карман, достал свисток и несколько раз свистнул. Свист разнесся далеко в знойном воздухе. Я, конечно, не знал значения этого сигнала, но все мои страхи разом проснулись. Сюда придут люди. Меня заметят. Они уже убили двух честных моряков, почему же после Тома и Алана не стать жертвой и мне?

Стараясь не шуметь, я выбрался из кустарника и как можно быстрей пополз на четвереньках в лес. Удирая, я слышал, как старый пират перекликался со своими товарищами. От их голосов у меня точно выросли крылья. Чаща осталась позади. Я побежал так быстро, как не бегал еще никогда. Я несся, не разбирая дороги, лишь бы подальше уйти от убийц. С каждым шагом страх мой все усиливался и превратился наконец в безумный ужас.

Положение мое было отчаянное. Разве я осмелюсь, когда выпалит пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками, забрызганными человеческой кровью? Разве любой из них, увидев меня, не свернет мне шею, как цыпленку? Уже самое мое отсутствие — разве оно не доказало им, что я их боюсь и, значит, обо всем догадываюсь? Прощай, «Испаньола»! Прощайте, сквайр, доктор, капитан! Я погибну либо от голода, либо от бандитского ножа.

Я мчался, не зная куда, и очутился у подножия невысокой горы с двуглавой вершиной. В этой части острова вечнозеленые дубы росли не так густо и похожи были своими размерами не на кусты, а на обыкновенные лесные деревья. Изредка между ними возвышались одинокие сосны высотой в пятьдесят — семьдесят футов. Воздух здесь был свежий и чистый, совсем не такой, как внизу, у болота.

Но тут меня подстерегала другая опасность, и сердце мое снова замерло от ужаса.

ГЛАВА XV

ОСТРОВИТЯНИН

С обрывистого каменистого склона посыпался гравий и покатился вниз, шурша и подскакивая между деревьями. Я невольно посмотрел вверх и увидел странное существо, стремительно прыгнувшее за ствол сосны. Что это? Медведь? Человек? Обезьяна? Я успел заметить только что-то темное и косматое и в ужасе остановился.

Итак, оба пути отрезаны. Сзади меня стерегут убийцы, впереди — это неведомое чудовище. И сразу же я предпочел известную опасность неизвестной. Даже Сильвер казался мне не таким страшным, как это лесное отродье. Я повернулся и, поминутно оглядываясь, побежал в сторону шлюпок.

Чудовище, сделав большой крюк, обогнало меня и оказалось впереди. Я был очень утомлен. Но даже если бы я не чувствовал усталости, я все равно не мог бы состязаться в быстроте с таким проворным врагом. Странное существо перебегало от ствола к стволу со скоростью оленя. Оно двигалось на двух ногах, по-человечески, хотя очень низко пригибалось к земле, чуть ли не складываясь вдвое. Да, то был человек, в этом я больше не мог сомневаться.

Я вспомнил все, что слыхал о людоедах, и собирался уже позвать на помощь. Однако мысль о том, что предо мною находится человек, хотя бы и дикий, несколько приободрила меня. И страх мой перед Сильвером сразу ожил. Я остановился, размышляя, как бы ускользнуть от врага, и тут меня осенило: у меня есть пистолет! Как только я убедился, что я не беззащитен, ко мне вернулось мужество, и я решительно двинулся навстречу островитянину.

Он опять спрятался, но, как видно, зорко наблюдал за мной, потому что, едва я направился к нему, как он вышел из засады и сделал было шаг мне навстречу. Потом в нерешительности потоптался на месте, попятился и вдруг, к величайшему моему изумлению и смущению, упал на колени и с мольбой протянул ко мне руки.

Я снова остановился.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Бен Ганн,— ответил он; голос у него был хриплый, как скрип заржавленного замка.— Я несчастный Бен Ганн.

Три года я не разговаривал ни с одной христианской душой.

Это был такой же белый человек, как и я, и черты его лица были, пожалуй, приятны. Только кожа так сильно загорела на солнце, что даже губы у него были черные. Светлые глаза с поразительной резкостью выделялись на темном лице. Из всех нищих, которых я видел на своем веку, этот был самый оборванный. Одежда его состояла из лохмотьев старого паруса и матросской робы. Один лоскут этой невообразимой рванины скреплялся с другим самым замысловатым и нелепым способом: либо медной пуговицей, либо прутиком, либо просмоленным обрывком шпагата. Единственной неизодранной вещью из всего его костюма был кожаный пояс с медной пряжкой.

— Три года!— воскликнул я.— Вы потерпели крушение?

— Нет, приятель,— сказал он.— Меня бросили тут, на острове.

Я слышал об этом ужасном наказании пиратов: виновного высаживали на какой-нибудь отдаленный и пустынный остров и оставляли там одного, с небольшим количеством пороха и дроби.

— Брошен на этом острове три года назад,— продолжал он.— С тех пор питаюсь козлятиной, ягодами, устрицами. Я так думаю, что человек способен жить везде, куда бы его ни закинуло. Но если бы ты знал, друг, как стосковалось мое сердце по настоящей человечьей еде! Нет ли у тебя с собой кусочка сыру?.. Нет? Ну вот, а я много долгих ночей вижу во сне сыр на ломтике хлеба... Просыпаюсь, а сыра нет.

— Если мне удастся вернуться к себе на корабль,— сказал я,— вы получите вот этакую голову сыра.

Он щупал мою куртку, гладил мои руки, разглядывал мои сапоги и, замолкая, по-детски радовался, что видит перед собой человека.

Услышав мой ответ, он взглянул на меня с каким-то лукавством.

— Если тебе удастся вернуться к себе на корабль?— повторил он мои слова.— А кто же может тебе помешать?

— Уж, конечно, не вы,— ответил я.

— Конечно, не я!— воскликнул он.— А как тебя зовут, приятель?

— Джим,— сказал я.

— Джим, Джим...— повторял он с наслаждением.— Да, Джим, я вел такую жизнь, что мне стыдно даже рассказывать. Поверил бы ты, глядя на меня, что моя мать была очень благочестивая женщина?

— Поверить трудновато,— согласился я.

— Она была на редкость благочестивая женщина,—сказал он.— Я рос вежливым, набожным мальчиком и умел так быстро повторять наизусть катехизис, что нельзя было отличить одно слово от другого. И вот что из меня вышло, Джим. А все оттого, что я смолоду ходил на кладбище играть в орлянку. Начал с орлянки да и покатился. Мать, святая душа, говорила, что я плохо кончу, и ее предсказание сбылось. Да только само провидение послало меня на этот остров. Я много размышлял здесь в одиночестве и раскаялся. Теперь уже не соблазнишь меня выпивкой. Конечно, от выпивки я не откажусь и сейчас, но самую малость, не больше наперстка, на счастье... Я дал себе слово исправиться и теперь уж не собьюсь! А главное, Джим...— он оглянулся и понизил голос до шепота,— ведь я сделался теперь богачом.

Тут я окончательно убедился, что несчастный сошел с ума в одиночестве. Вероятно, эта мысль отразилась на моем лице, потому что он повторил с жаром:

— Богачом! Говорю тебе — богачом! Слушай, Джим, я сделаю из тебя человека! Ах, Джим, ты будешь благословлять судьбу, что первый нашел меня!..— Вдруг лицо его потемнело, он сжал мою руку и угрожающе поднял палец.— Скажи мне правду, Джим: не Флинта ли это корабль?

Меня осенила счастливая мысль: этот человек может сделаться нашим союзником. И я тотчас же ответил ему:

— Нет, не Флинта, Флинт умер. Но раз вы хотите знать правду, вот вам правда: на корабле есть кое-кто из команды Флинта, и для нас это большое несчастье.

— А нет ли у вас... одноногого?—выкрикнул он, задыхаясь.

— Сильвера? — спросил я.

— Сильвера? Да, его звали Сильвером.

— Он у нас кок. И верховодит всей шайкой.

Он все еще держал меня за руку и при этих словах чуть не вывихнул ее.

— Если ты подослан Долговязым Джоном,— сказал он,— я пропал. Но знаешь ли ты, где ты находишься?

Я сразу же решил, что мне делать, и рассказал ему все — и о нашем путешествии и о трудном положении, в котором мы оказались. Он слушал меня с глубоким вниманием и, когда я кончил, погладил меня по голове.

— Ты славный малый, Джим,— сказал он.— Но теперь вы все завязаны мертвым узлом. Ладно, положитесь на Бена Ганна, и он выручит вас, вот увидишь. Скажи, как отнесется ваш сквайр к человеку, который выручит его из беды?

Я сказал ему, что сквайр — самый щедрый человек на всем свете.

— Так-то оно так... Но, видишь ли,— продолжал Бен Ганн,— я не собираюсь просить у него лакейскую ливрею или место привратника. Нет, этим меня не прельстишь! Я хочу знать: согласится он дать мне хотя бы одну тысячу фунтов из тех денег, которые и без того мои?

— Уверен, что даст,— ответил я.— Все матросы должны были получить от него свою долю сокровищ.

— И доставит меня домой? — спросил он, глядя на меня испытующим взором.

— Конечно! — воскликнул я.— Сквайр — настоящий джентльмен. Кроме того, если мы избавимся от разбойников, ваша помощь будет очень нужна на корабле.

— Да,— сказал он,— значит, вы и вправду возьмете меня?

И он облегченно вздохнул.

— А теперь послушай, что я тебе расскажу,— продолжал он.— Я был на корабле Флинта, когда он зарыл сокровища. С ним было еще шесть моряков — здоровенные, сильные люди. Они пробыли на острове с неделю, а мы сидели на старом «Морже». В один прекрасный день мы услыхали выстрел с берега и увидели шлюпку, а в шлюпке сидел Флинт, голова его была повязана синим платком. Всходило солнце. Он был бледен как смерть и плыл к нам... один, а остальные шестеро были убиты... убиты и похоронены... да... Как он расправился с ними, никто из нас никогда не узнал. Была ли там драка, резня или внезапная смерть... А он был один против шестерых!.. Билли Бонс был штурманом, а Долговязый Джон — квартирмейстером. Они спросили у него, где сокровища. «Ступайте на берег и поищите,— сказал он в ответ.— Но, клянусь громом, корабль не станет вас ждать». Вот как он сказал им. А три года назад я плыл на другом корабле, и

мы увидели этот остров. «Ребята,— сказал я,— здесь Флинт зарыл сокровища. Сойдемте на берег и поищем». Капитан очень рассердился. Но все матросы были со мной заодно, и мы причалили к этому берегу. Двенадцать дней мы искали сокровища и ничего не нашли. С каждым днем товарищи ругали меня все сильней и сильней. Наконец они собрались на корабль. «А ты, Бенджамин Ганн, оставайся!— сказали они.— Вот тебе мушкет, заступ и лом, Бенджамин Ганн... Оставайся здесь и разыскивай денежки Флинта». С тех пор, Джим, вот уже три года живу я здесь и ни разу не ел по-христиански. А теперь взгляни на меня: разве похож я на простого матроса?.. Нет, говоришь, не похож? Да и не был похож никогда.

Он подмигнул мне одним глазом и сильно ущипнул меня за руку.

— Так и скажи своему сквайру, Джим: он никогда не был похож на простого матроса,— продолжал он.— Скажи ему, что Бен три года сидел тут, на острове, один-одинешенек, и днем и ночью, и в хорошую погоду и в дождь. Иногда, может быть, думал о молитве, иногда вспоминал свою престарелую мать, дай-то бог, чтобы она еще была жива,— так и скажи ему. Но большую часть времени... уж это ты непременно ему скажи... большую часть времени Ганн занимался другими делами. И при этих словах ущипни его вот так.

И он снова ущипнул меня самым дружеским образом.

— Ты ему,— продолжал он,— вот еще что скажи: Ганн — отличный человек — так ему и скажи, Ганн гораздо больше доверяет джентльмену прирожденному, чем джентльмену удачи, потому что он сам был когда-то джентльменом удачи.

— Из того, что вы мне тут толкуете, я не понял почти ничего,— сказал я.— Впрочем, это сейчас и не важно, потому что я все равно не знаю, как попасть на корабль.

— Да,— сказал он,— видишь, какая загвоздка. Ну да ладно, у меня есть лодка, которую я смастерил себе сам, собственными руками. Она спрятана под белой скалой. В крайнем случае попробуем добраться на ней, когда станет темнее... Но постой! — закричал он вдруг.— Что это там такое?

Как раз в эту минуту с корабля грянул пушечный выстрел. Гулкое эхо подхватило его и разнесло по всему

острову. А между тем до захода солнца оставалось еще добрых два часа.

— Там идет бой! — крикнул я.— За мною!

И кинулся бежать к стоянке корабля, забыв свои недавние страхи. Рядом со мной легко и проворно бежал злополучный пленник.

— Левее, левее!— приговаривал он.— Держи левее, друг Джим! Ближе к деревьям! Вот в этом месте в первый раз я подстрелил козу. Теперь козы сюда не спускаются, они бегают только по горам, потому что боятся Бенджамина Ганна... А! А вот кладбище. Видишь холмики? Я приходил сюда и молился изредка, когда я думал, что, может быть, сейчас воскресенье. Это не то что часовня, но все как-то торжественней. Правда, я был один, без капеллана, без библии...

Он болтал на бегу, не дожидаясь ответа, да я и не мог отвечать.

После пушечного выстрела долгое время была тишина, а потом раздался залп из ружей.

И опять тишина. И потом впереди над лесом, в четверти мили от нас, взвился британский флаг.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТОКОЛ

ГЛАВА XVI

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИЗЛОЖЕНЫ ДОКТОРОМ. КАК БЫЛ ПОКИНУТ КОРАБЛЬ

Обе шлюпки отчалили от «Испаньолы» около половины второго, или, выражаясь по-морскому, когда пробило три склянки. Капитан, сквайр и я сидели в каюте и совещались о том, что делать. Если бы дул хоть самый легкий ветер, мы напали бы врасплох на шестерых мятежников, оставшихся на корабле, снялись бы с якоря и ушли в море. Но ветра не было. А тут еще явился Хантер и сообщил,

что Джим Хокинс проскользнул в шлюпку и отчалил вместе с пиратами на берег.

Мы, конечно, ни минуты не думали, что Джим Хокинс изменник, но очень за него беспокоились. Матросы, с которыми он уехал, были так раздражены, что, признаться, мы не надеялись увидеть Джима снова. Мы поспешили на палубу. Смола пузырями выступила в пазах. В воздухе стояло такое зловоние, что меня чуть не стошнило. В этом отвратительном проливе так и пахло лихорадкой и дизентерией. Шестеро негодяев угрюмо сидели под парусом на баке. Шлюпки стояли на берегу возле устья какой-то речонки, и в каждой сидел матрос. Один из них весело насвистывал «Лиллибуллеро».

Ждать становилось невыносимо, и мы решили, что я с Хантером поеду на разведку в ялике.

Шлюпки находились справа от корабля. А мы с Хантером направились прямо к тому месту, где на карте обозначен был частокол. Заметив нас, матросы, сторожившие шлюпки, засуетились. «Лиллибуллеро» смолкла. Мы видели, как они спорят друг с другом, очевидно, решая, как поступить. Если бы они дали знать Сильверу, все, вероятно, пошло бы по-другому. Но, очевидно, им было велено не покидать шлюпок ни при каких обстоятельствах. Они спокойно уселись обратно, и один из них снова засвистал «Лиллибуллеро».

Берег в этом месте слегка выступал вперед, и я нарочно правил таким образом, чтобы этот мысок заслонил нас от наших врагов, прежде чем мы пристанем. Выскочив на берег, я побежал во весь дух, подложив под шляпу шелковый платок, чтобы защитить голову от палящего солнца. В каждой руке у меня было по заряженному пистолету.

Не пробежал я и ста ярдов, как наткнулся на частокол.

Прозрачный ключ бил из земли почти на самой вершине большого холма. Тут же, вокруг ключа, был построен высокий бревенчатый сруб. В нем могло поместиться человек сорок. В стенах этой постройки были бойницы для ружей. Вокруг сруба находилось широкое расчищенное пространство, обнесенное частоколом в шесть футов вышиной, без всякой калитки, без единого отверстия. Сломать его было нелегко, а укрыться за ним от сидящих в срубе — невозможно. Люди, засевшие в срубе, могли бы расстреливать нападающих, как куропаток. Дать им хороших

часовых да побольше провизии, и они продержатся, даже если их осадит целый полк.

Особенно обрадовал меня ручей. Правда, в каюте «Испаньолы» тоже неплохо: много оружия, много боевых припасов, много провизии, много превосходных вин, но об одном мы не позаботились — в ней не было воды. Я размышлял об этом, когда вдруг раздался ужасающий предсмертный вопль. Не впервые я сталкивался с насильственной смертью — я служил в войсках герцога Кемберлендского и сам получил рану под Фонтенуа,— но от этого крика сердце мое сжалось. «Погиб Джим Хокинс»,— решил я.

Много значит быть старым солдатом, но быть врачом значит больше. В нашем деле нельзя терять ни минуты. Я сразу же принял решение, поспешно вернулся на берег и прыгнул в ялик.

К счастью, Хантер оказался превосходным гребцом. Мы стремительно понеслись по проливу. Лодка причалила к борту, и я опять взобрался на корабль. Друзья мои были потрясены. Сквайр сидел белый, как бумага, и — добрый человек! — раздумывал о том, каким опасностям мы подвергаемся из-за него. Один из матросов, сидевших на баке, был тоже бледен и расстроен.

— Этот человек,— сказал капитан Смоллетт, кивнув в его сторону,— еще не привык к разбою. Когда он услышал крик, доктор, он чуть не лишился чувств. Еще немного — и он будет наш.

Я рассказал капитану свой план, и мы вместе обсудили его.

Старого Редрута мы поставили в коридоре между каютой и баком, дав ему не то три, не то четыре заряженных мушкета и матрац для защиты. Хантер подвел шлюпку к корме, и мы с Джойсом принялись нагружать ее порохом, мушкетами, сухарями, свининой. Затем опустили в нее бочонок с коньяком и мой драгоценный чемоданчик с лекарствами.

Тем временем сквайр и капитан вышли на палубу. Капитан вызвал второго боцмана — старшего на корабле.

— Мистер Хендс,— сказал он,— нас здесь двое, и у каждого пара пистолетов. Тот из вас, кто подаст какой-нибудь сигнал, будет убит на месте.

Разбойники растерялись. Затем, пошептавшись, кинулись к переднему сходному тамбуру, собираясь напасть на нас с тыла, но, наткнувшись в узком проходе на Редрута с

мушкетами, сразу же бросились обратно. Чья-то голова высунулась из люка на палубу.

— Вниз, собака! — крикнул капитан.

Голова исчезла, и все шестеро горе-вояк куда-то забились и на время утихли.

Мы с Джойсом нагрузили ялик доверху, бросая все как попало. Потом спустились в него сами через кормовой порт и, гребя изо всех сил, понеслись к берегу.

Второй наш рейс сильно обеспокоил обоих часовых на берегу. «Лиллибуллеро» умолкла опять. И, прежде чем мы перестали их видеть, обогнув мысок, один из них оставил свою шлюпку и побежал в глубь острова. Я хотел было воспользоваться этим и уничтожить их шлюпки, но побоялся, что Сильвер со всей шайкой находится неподалеку и что мы потеряем все, если захотим слишком многого.

Вскоре мы причалили к прежнему месту и начали перетаскивать груз в укрепление. Тяжело нагруженные, мы донесли наши припасы до форта и перебросили их через частокол. Охранять их поставили Джойса. Он оставался один, но зато мушкетов у него было не меньше полдюжины. А мы с Хантером вернулись к лодке и снова взвалили груз на спину. Таким образом, работая без передышки, мы постепенно перетащили весь груз. Джойс и Хантер остались в укреплении, а я, гребя изо всех сил, помчался назад к «Испаньоле».

Мы решили еще раз нагрузить ялик. Это было рискованно, но не так уж безрассудно, как может показаться. Их, конечно, было больше, чем нас, но зато мы были лучше вооружены. Ни у кого из съехавших на берег не было мушкета, и, прежде чем они подошли бы к нам на расстояние пистолетного выстрела, мы успели бы застрелить по крайней мере шестерых.

Сквайр поджидал меня у кормового иллюминатора. Он сильно приободрился и повеселел. Схватив брошенный мною конец, он подтянул ялик, и мы снова лихорадочно стали его нагружать свининой, порохом, сухарями. Потом захватили по одному мушкету и по одному кортику для меня, сквайра, Редрута и капитана. Остальное оружие и порох мы выбросили за борт. В проливе было две с половиной сажени глубины, и мы видели, как блестит озаренная солнцем сталь на чистом песчаном дне.

Начался отлив, и шхуна повернулась вокруг якоря. Около шлюпок на берегу послышались перекликающиеся голо-

са. Хотя это и доказывало, что Джойс и Хантер, которые находились восточнее, еще не замечены, мы все же решили поторопиться.

Редрут покинул свой пост в проходе и прыгнул в ялик. Мы подвели его к другому борту, чтобы взять капитана Смоллетта.

— Ребята!— громко крикнул он.— Вы слышите меня?

С бака никто не ответил.

— Я обращаюсь к тебе, Абрахам Грей.

Молчание.

— Грей,— продолжал мистер Смоллетт, повысив голос,— я покидаю корабль и приказываю тебе следовать за твоим капитаном. Я знаю, что, в сущности, ты человек хороший, да и остальные не так уж плохи, как стараются казаться. У меня в руке часы. Даю тебе тридцать секунд на то, чтобы присоединиться ко мне.

Наступило молчание.

— Иди же, мой друг,— продолжал капитан,— не заставляй нас терять время даром. Каждая секунда промедления грозит смертью и мне и этим джентльменам.

Началась глухая борьба, послышались звуки ударов, и на палубу выскочил Абрахам Грей. Щека его была порезана ножом. Он подбежал к капитану, как собака, которой свистнул хозяин.

— Я с вами, сэр,— сказал он.

Они оба спрыгнули в ялик, и мы отчалили.

Корабль был покинут. Но до частокола мы еще не добрались.

ГЛАВА XVII

ДОКТОР ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ РАССКАЗ. ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС В ЯЛИКЕ

Этот последний — пятый — рейс окончился не так благополучно, как прежние. Во-первых, наша скорлупка была страшно перегружена. Пятеро взрослых мужчин, да притом трое из них— Трелони, Редрут и капитан—ростом выше шести футов,— это уже больше чем надо. Прибавьте порох, свинину, мешки с сухарями. Не удивительно, что планшир на корме лизала вода. Нас то и дело слегка заливало. Не успели мы отойти на сотню ярдов, как мои штаны и фалды камзола промокли насквозь.

Капитан заставил нас разместить груз по-другому, и ялик выпрямился.

И все же мы боялись дышать, чтобы не перевернуть его.

Во-вторых, благодаря отливу создалось сильное течение, направлявшееся к западу, а потом заворачивавшее к югу, в открытое море, через пролив, в который утром вошла наша шхуна. Перегруженный наш ялик могла перевернуть даже легчайшая рябь. Но хуже всего было то, что течение относило нас в сторону и не давало пристать к берегу за мысом, где я приставал раньше. Если бы мы не справились с течением, мы достигли бы берега как раз возле двух шлюпок, где каждую минуту могли появиться пираты.

— Я не в силах править на частокол, сэр,— сказал я капитану. Я сидел за рулем, а капитан и Редрут, не успевшие еще устать, гребли.— Течение относит нас. Нельзя ли приналечь на весла?

— Если мы приналяжем, нас зальет,— сказал капитан.— Вы уж постарайтесь, сэр, держите прямо против течения. Постарайтесь, пока не ляжем на нужный курс...

Нас относило к западу до тех пор, пока я не направил нос прямо к востоку, под прямым углом к тому пути, по которому мы должны были двигаться.

— Этак мы никогда не доберемся до берега,— сказал я.

— Если при всяком другом курсе нас сносит, сэр, мы должны держаться этого курса,— ответил капитан.— Нам нужно идти вверх по течению. Если нас снесет, сэр,— продолжал он,— в подветренную сторону от частокола, неизвестно, где мы сможем высадиться, да и разбойничьи шлюпки могут напасть на нас. А если мы будем держаться этого курса, течение скоро ослабеет, и мы спокойно сможем маневрировать у берега.

— Течение уже слабее, сэр,— сказал матрос Грей, сидевший на носу.— Можно чуть-чуть повернуть к берегу.

— Спасибо, любезнейший,— поблагодарил я его, как будто между нами никогда не было никаких недоразумений.

Мы все по молчаливому согласию обращались с ним так, как будто он с самого начала был заодно с нами.

И вдруг капитан произнес изменившимся голосом:

— Пушка!

— Я уже думал об этом,— сказал я, полагая, что он говорит о возможности бомбардировать наш форт из пушки.— Им никогда не удастся переправить пушку на берег. А если удастся, она застрянет в лесу.

— Нет, вы оглянитесь назад,— сказал капитан.

Второпях мы совсем забыли про девятифунтовую пушку. Пятеро негодяев возились возле пушки, стаскивая с нее «куртку», как называли они просмоленный парусиновый чехол, которым она была накрыта. Я вспомнил, что мы оставили на корабле порох и ядра и что разбойникам ничего не стоит достать их — нужно только разок ударить топором.

— Израэль был у Флинта канониром,— хрипло произнес Грей.

Я направил ялик прямо к берегу. Мы теперь без труда справлялись с течением, хотя шли все еще медленно. Ялик отлично повиновался рулю. Но, как назло, теперь он был повернут к «Испаньоле» бортом и представлял превосходную мишень.

Я мог не только видеть, но и слышать, как краснорожий негодяй Израэль Хендс с грохотом катил по палубе ядро.

— Кто у нас лучший стрелок?— спросил капитан.

— Мистер Трелони, без сомнения,— ответил я.

— Мистер Трелони, застрелите одного из разбойников. Если можно, Хендса,— сказал капитан.

Трелони был холоден, как сталь. Он осмотрел запал своего мушкета.

— Осторожней, сэр,— крикнул капитан,— не переверните ялик! А вы все будьте наготове и во время выстрела постарайтесь сохранить равновесие.

Сквайр поднял ружье, гребцы перестали грести, мы передвинулись к другому борту, чтобы удерживать равновесие, и все обошлось благополучно: ялик не зачерпнул ни капли.

Пираты тем временем повернули пушку на вертлюге, и Хендс, стоявший с прибойником у жерла, был отличной целью. Однако нам не повезло. В то время как Трелони стрелял, Хендс нагнулся, и пуля, просвистев над ним, попала в одного из матросов.

Раненый закричал, и крик его подхватили не только те, кто был вместе с ним на корабле: множество голосов ответило ему с берега. Взглянув туда, я увидел пиратов, бегущих из леса к шлюпкам.

— Они сейчас отчалят, сэр,— сказал я.

— Прибавь ходу!— закричал капитан.— Теперь уж не

важно, затопим мы ялик или нет. Если нам не удастся добраться до берега, все погибло.

— Отчаливает только одна шлюпка, сэр,— заметил я.— Команда другой шлюпки, вероятно, побежала по берегу, чтобы перерезать нам дорогу.

— Им придется здорово побегать,— возразил капитан.—А моряки не отличаются проворством на суше. Не их я боюсь, а пушки. Дьяволы! С такого расстояния и ребенок не промахнется. Предупредите нас, сквайр, когда увидите зажженный фитиль, и мы попробуем увернуться.

Несмотря на тяжелый груз, ялик наш двигался теперь довольно быстро и почти не черпал воду. Нам оставалось каких-нибудь тридцать — сорок раз взмахнуть веслами, и мы добрались бы до песчаной отмели возле деревьев, которую обнажил отлив. Шлюпки пиратов уже не нужно было бояться: мысок скрыл ее из виду.

Отлив, который недавно мешал нам плыть, теперь мешал нашим врагам догонять нас. Нам угрожала только пушка.

— Хорошо бы остановиться и подстрелить еще одного из них,— сказал капитан.

Но было ясно, что пушка выстрелит во что бы то ни стало. Разбойники даже не глядели на своего раненого товарища, хотя он был жив, и мы видели, как он пытался отползти в сторону.

— Готово!— крикнул сквайр.

— Стоп! — как эхо, отозвался капитан.

Он и Редрут так сильно стали табанить веслами, что корма погрузилась в воду. Грянул пушечный выстрел — тот самый, который услышал Джим: выстрел сквайра до него не донесся. Мы не заметили, куда полетело ядро. Я полагаю, что оно просвистело над нашими головами и что ветер, поднятый им, был причиной нашего несчастья.

Как бы то ни было, но наш ялик зачерпнул кормой воду и начал медленно погружаться. Глубина была небольшая, всего фута три. Мы с капитаном благополучно встали на дно друг против друга. Остальные трое окунулись с головой и вынырнули, фыркая и отдуваясь.

В сущности, мы отделались дешево — жизни никто не лишился, и все благополучно добрались до берега. Но запасы наши остались на дне, и, что хуже всего, из пяти ружей не подмокли только два: мой мушкет я, погружаясь в воду, инстинктивно поднял над головой, а мушкет капитана,

человека опытного, висел у него за спиной замком кверху, он тоже остался сухим. Три остальных нырнули вместе с яликом.

В довершение всех бед в лесу, уже совсем неподалеку, слышны были голоса. Нас могли отрезать от частокола. Кроме того, мы сомневались, удержатся ли Хантер и Джойс, если на них нападет полдюжины пиратов. Хантер — человек твердый, а за Джойса мы опасались; он услужливый и вежливый слуга, он отлично чистит щеткой платье, но в военной обстановке человек не слишком полезный.

Встревоженные, мы добрались до берега вброд, бросив на произвол судьбы наш бедный ялик, в котором находилась почти половина всего нашего пороха и всей нашей провизии.

ГЛАВА XVIII

ДОКТОР ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ РАССКАЗ. КОНЕЦ ПЕРВОГО ДНЯ СРАЖЕНИЯ

Мы во весь дух бежали через лес, отделявший нас от частокола, и с каждым мгновением все ближе и ближе раздавались голоса пиратов. Скоро мы услышали топот их ног и треск сучьев. Они пробирались сквозь чащу.

Я понял, что нам предстоит нешуточная схватка, и осмотрел свое ружье.

— Капитан,— сказал я.— Трелони бьет без промаха, но ружье его вышло из строя. Уступите ему свое.

Они поменялись ружьями, и Трелони, по-прежнему молчаливый и хладнокровный, на мгновение остановился, чтобы проверить заряд. Тут только я заметил, что Грей безоружен, и отдал ему свой кортик. Сущее удовольствие было видеть, как он поплевал на руки, нахмурил брови и со свистом рассек кортиком воздух. По всему видно было, что наш новый союзник будет драться до последней капли крови.

Пробежав еще шагов сорок, мы выбрались на опушку леса и оказались перед частоколом. Мы подошли как раз к середине его южной стороны. А в это самое время семеро разбойников с боцманом Джобом Эндерсоном во главе, громко крича, выскочили из лесу у юго-западного угла частокола.

Они остановились в замешательстве. Мы со сквайром выстрелили, не дав им опомниться. Хантер и Джойс, сидевшие в укреплении, выстрелили тоже. Четыре выстрела прозвучали, быть может, нестройно, но они сделали свое дело: один из врагов упал, остальные поспешно скрылись за деревьями.

Снова зарядив ружья, мы прокрались вдоль частокола посмотреть на упавшего врага.

Он был убит наповал, пуля попала прямо в сердце.

Успех обрадовал нас. Но вдруг в кустах щелкнул пистолет. У меня над ухом просвистела пуля, и бедняга Том Редрут пошатнулся и во весь рост грохнулся на землю. Мы со сквайром выстрелили в кусты. Но стрелять пришлось наудачу, и, вероятно, заряды наши пропали даром. Перезарядив ружья, мы кинулись к бедному Тому.

Капитан и Грей уже осматривали его. Я глянул только краем глаза и сразу увидел, что дело безнадежно.

Вероятно, наши ответные выстрелы вновь заставили пиратов отступить, так как нам удалось без всякой помехи перетащить несчастного егеря через частокол и внести его, истекающего кровью, под крышу блокгауза, в сруб.

Бедный старый товарищ! Он ничему не удивлялся, ни на что не жаловался, ничего не боялся и даже ни на что не ворчал с самого начала наших злоключений до этого дня, когда мы положили его в сруб умирать. Он, как троянец, геройски охранял свой пост на корабле. Все приказания он исполнял молчаливо, покорно и добросовестно. Он был старше нас всех лет на двадцать. И вот этот угрюмый старый, верный слуга умирал на наших глазах.

Сквайр бросился перед ним на колени, целовал ему руки и плакал, как малый ребенок.

— Я умираю, доктор? — спросил тот.

— Да, друг мой,— сказал я.

— Жаль, что не удалось мне перед смертью разок послать им пулю.

— Том,— сказал сквайр,— скажи мне, что ты прощаешь меня.

— Прилично ли мне, сэр, прощать или не прощать своего господина? — спросил старый слуга.— Ну, да будь по-вашему. Аминь!

Он замолчал, потом попросил, чтобы кто-нибудь прочел над ним молитву.

— Таков уж обычай, сэр,— прибавил он, словно извиняясь, и вскоре после этого умер.

Тем временем капитан — я видел, что у него как-то странно вздулась грудь и оттопырены карманы,— вытащил оттуда самые разнообразные вещи: британский флаг, Библию, клубок веревок, перо, чернила, судовой журнал и несколько фунтов табаку. Он отыскал длинный обструганный сосновый шест и с помощью Хантера укрепил его над срубом, на углу. Затем, взобравшись на крышу, он прицепил к шесту и поднял британский флаг. Это, по-видимому, доставило ему большое удовольствие. Потом он спустился и начал перебирать и пересчитывать запасы, словно ничего другого не было на свете. Но изредка он все же поглядывал на Тома. А когда Том умер, он достал другой флаг и благоговейно накрыл им покойника.

— Не огорчайтесь так сильно, сэр,— сказал капитан, пожимая руку сквайру.—Он умер, исполняя свой долг. Нечего бояться за душу такого человека. Я не силен в богословии, но это дела не меняет.

Затем отвел меня в сторону.

— Доктор Ливси,— спросил он,— через сколько недель вы со сквайром ожидаете прибытия корабля, который пошлют нам на помощь?

Я ответил, что это — дело затяжное. Потребуются не недели, а месяцы. Если мы не вернемся к концу августа, Блендли вышлет нам на помощь корабль, не позже и не раньше.

— Вот и высчитайте, когда этот корабль будет здесь,— закончил я.

— Ну, сэр,— сказал капитан, почесывая затылок,— в таком случае, нам, даже если положиться на милость провидения, придется туговато.

— Почему? — спросил я.

— Очень жаль, сэр, что весь груз, который мы взяли во второй рейс, погиб, вот почему,— ответил капитан.— Пороха и пуль у нас достаточно, но провизии мало. Очень мало! Пожалуй, не приходится жалеть, что мы избавились от лишнего рта.

И он указал на покрытого флагом покойника.

В это мгновение высоко над крышей сруба с ревом и свистом пролетело ядро. Оно упало где-то далеко за нами, в лесу.

— Ого! — сказал капитан.— Что ж, палите себе, ребята. Ведь пороха у вас не так-то много.

Второй прицел был взят удачнее. Ядро перелетело через частокол и упало перед срубом, подняв целую тучу песка.

— Капитан,— сказал сквайр,— сруб с корабля не виден Они, должно быть, целятся в наш флаг. Не лучше ли спустить его?

— Спустить флаг? — возмутился капитан.— Нет, сэр. Пусть его спускает кто угодно, но только не я.

И мы сразу же с ним согласились.

Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время битвы. И, кроме того, это была хорошая тактика — доказать врагам, что нам вовсе не страшна их пальба.

Они обстреливали нас из пушки весь вечер. Одно ядро проносилось у нас над головами, другое падало перед частоколом, третье взрывало песок возле самого сруба. Но пиратам приходилось брать высокий прицел: ядра теряли силу и зарывались в песок. Рикошета мы не боялись. И, хотя одно ядро пробило у нас крышу и пол, мы скоро привыкли к обстрелу и относились к нему равнодушно, как к трескотне сверчка.

— Есть в этом и хорошая сторона,— заметил капитан.— В лесу поблизости от нас, должно быть, нет пиратов. Отлив усилился, и наши припасы, наверно, показались из-под воды. Эй, не найдутся ли охотники сбегать за утонувшей свининой?

Грей и Хантер вызвались прежде всех. Хорошо вооруженные, они перелезли через частокол. Но свинина досталась не им. Пираты были храбрее, чем мы ожидали. А может быть, они вполне полагались на пушку Израэля Хендса.

Пятеро разбойников усердно вылавливали припасы из нашего затонувшего ялика и перетаскивали их в стоявшую неподалеку шлюпку. Сидевшим в шлюпке приходилось все время грести, потому что течение относило их в сторону. Сильвер стоял на корме и распоряжался. Они все до одного были вооружены мушкетами, добытыми, вероятно, из какого-то их тайного склада.

Капитан сел за судовой журнал и стал записывать: «Александр Смоллетт — капитан, Дэвид Ливси — судовой врач, Абрахам Грей — помощник плотника, Джон Трело-

ни — владелец шхуны, Джон Хантер и Ричард Джойс — сухопутные слуги владельца шхуны — вот и все, кто остался верен своему долгу. Взяв с собой припасы, которых хватит не больше чем на десять дней, они сегодня высадились на берег и подняли британский флаг над блокгаузом на Острове Сокровищ. Том Редрут, слуга владельца шхуны, убит разбойниками. Джеймс Хокинс, юнга...»

Я задумался над судьбой бедного Джима Хокинса.

И вдруг в лесу раздался чей-то крик.

— Нас кто-то зовет,— сказал Хантер, стоявший на часах.

— Доктор! Сквайр! Капитан! Эй, Хантер, это ты? — услышали мы чей-то голос.

Я бросился к дверям и увидел Джима Хокинса. Целый и невредимый, он перелезал через наш частокол.

ГЛАВА XIX

ОПЯТЬ ГОВОРИТ ДЖИМ ХОКИНС. ГАРНИЗОН В БЛОКГАУЗЕ

Как только Бен Ганн увидел британский флаг, он остановился, схватил меня за руку и сел.

— Ну,— сказал он,— там твои друзья. Несомненно.

— Вернее, что бунтовщики,— сказал я.

— Никогда!— воскликнул он.— На этом острове, в этой пустыне, где никого не бывает, кроме джентльменов удачи. Сильвер поднял бы черное, пиратское знамя. Уж будь уверен. Там твои друзья, это точно. Должно быть, была стычка, и они победили. И теперь они на берегу, за старым частоколом. Это Флинт поставил частокол. Много лет назад. Что за голова был этот Флинт! Только ром мог его сокрушить. Никого он не боялся, кроме Сильвера. Он, знаешь, мягко стелет, этот Сильвер...

— Ну что ж,— сказал я,— раз за частоколом свои, тем более надо идти туда.

— Постой,—возразил Бен.—Погоди. Ты, кажется, славный мальчишка, но все же ты только мальчишка. А Бен Ганн хитер. Бен Ганн не промах. Никакой выпивкой меня туда не заманишь... Я должен сам увидеть твоего прирожденного джентльмена, и пускай он даст мне свое честное слово, тогда пойду. А ты не забудь моих слов: Ганн куда

больше доверяет прирожденному джентльмену. Так и скажи ему. И ущипни его за руку.

И он третий раз ущипнул меня с самым многозначительным видом.

— А когда Бен Ганн вам понадобится, ты знаешь, где найти его, Джим. Там, где ты нашел его сегодня. И тот, кто придет за ним, должен держать что-нибудь белое в руке и пускай приходит один. Ты им так и скажи: «У Бена Ганна, скажи, есть на то свои причины».

— Хорошо,— сказал я.— Кажется, я вас понял. Вы хотите что-то предложить, и вам нужно повидаться со сквайром или с доктором. А увидеть вас можно там, где я вас нашел сегодня. Это все?

— А почему ты не спрашиваешь, в какие часы? С полудня до шести склянок.

— Хорошо, хорошо,— сказал я.— Теперь я могу идти?

— А ты не забудешь? — спросил он тревожно.— Скажи ему, «куда больше доверяет», скажи, «есть свои причины». «Свои причины» — это главное, передай ему как мужчина мужчине. А теперь можешь идти, Джим,— сказал он, по-прежнему крепко держа меня за руку.— Послушай, Джим, а если ты увидишь Сильвера, ты не предашь ему Бена Ганна? И клещами, говоришь, из тебя слова не вытащат? Ну, а если пираты вздумают заночевать на берегу — не сделать ли нам их жен вдовами к утру, как думаешь?

Грохот пушечного выстрела прервал его слова. Ядро пронеслось между деревьями и упало на песок в сотне ярдов от того места, где мы стояли и разговаривали. И мы оба бросились в разные стороны.

Час, а то и больше остров сотрясался от пальбы, и ядра проносились по лесу, сокрушая все на пути. Я прятался то тут, то там, и всюду мне казалось, что ядра летят прямо в меня. Мало-помалу ко мне вернулось утраченное мужество. Однако я все еще не решался подойти к частоколу, возле которого ядра падали чаще всего. Двигаясь в обход к востоку, я добрался наконец до деревьев, росших у самого берега.

Солнце только что село, морской бриз свистел в лесу и покрывал рябью сероватую поверхность бухты. Отлив обнажил широкую песчаную отмель. Воздух после дневного зноя стал таким холодным, что я сильно озяб в своем легком камзоле.

«Испаньола» по-прежнему стояла на якоре. Но над ней и вправду развевался «Веселый Роджер» — черный пиратский флаг с изображением черепа. На борту блеснула красная вспышка, и гулкое эхо разнесло по всему острову последний звук пушечного выстрела. Канонада окончилась.

Я лежал в кустах и наблюдал суету, которая последовала за атакой. На берегу, как раз против частокола, несколько человек рубили что-то топорами. Впоследствии я узнал, что они уничтожали несчастный наш ялик. Вдали, возле устья речки, среди деревьев пылал большой костер. Между костром и кораблем беспрерывно сновала шлюпка. Матросы, такие угрюмые утром, теперь, гребя, кричали и смеялись, как дети. По звуку голосов я догадался, что веселье вызвано ромом.

Наконец я решился направиться к частоколу. Я был довольно далеко от него, на низкой песчаной косе, замыкавшей нашу бухту с востока и доходившей при отливе до самого Острова Скелета. Поднявшись, я увидел дальше на косе среди низкого кустарника одинокую, довольно большую скалу странного, белесого цвета. Мне пришло в голову, что это та самая белая скала, про которую говорил Бен Ганн, и что, если мне понадобится лодка, я буду знать, где ее найти. Я брел по опушке леса, пока не увидел перед собой задний, самый дальний от моря край частокола. Наши встретили меня с горячим радушием.

Я рассказал им о моих приключениях и осмотрелся вокруг. Бревенчатый дом был весь построен из необтесанных сосновых стволов — и стены, и крыша, и пол. Пол в некоторых местах возвышался на фут или на полтора над песком. У входа было устроено крылечко, под крылечком журчал ручеек. Струя текла в искусственный бассейн очень оригинального вида: огромный корабельный чугунный котел с выбитым дном, зарытый в песок «по самую ватерлинию», как говорил капитан. В доме было почти пусто. Только в одном углу лежала каменная плита для очага со старой, ржавой железной решеткой в форме корзины.

Все деревья по склонам холма, окруженного частоколом, были срублены на постройку. Судя по пням, здесь погибла превосходная роща. Верхний слой почвы на вырубке был смыт и снесен дождями, обнажившими чистый песок. Только там, где ручей вытекал из котла, виднелись и мох,

и папоротник, и низкорослый кустарник. Сразу за частоколом начинался густой и высокий лес. Это, как говорили, мешало обороне. Со стороны суши лес состоял из сосен, а ближе к морю — из тех же сосен и вечнозеленых дубов.

Холодный вечерний бриз, о котором я уже говорил, дул во все щели грубой постройки, посыпая пол непрестанным дождем мелкого песка. Песок засорял нам глаза, песок хрустел у нас на зубах, песок попадал к нам в еду, песок плясал в роднике на дне котла, как крупа в кипящей каше. Дымовой трубой нам служило квадратное отверстие в крыше. Прежде чем найти дорогу к выходу, дым расползался по всему дому, заставляя нас кашлять и плакать.

Грей, наш новый товарищ, сидел с перевязанным лицом — разбойники порезали ему щеку. А старый Том Редрут, все еще не похороненный, окоченевший, лежал у стены, покрытый британским флагом.

Если бы нам позволили сидеть сложа руки, мы скоро упали бы духом. Но капитан Смоллетт умел найти дело для всех. Он созвал нас всех вместе и разделил на две вахты. В одну вошли доктор, Грей и я, в другую — сквайр, Хантер и Джойс. За день мы очень устали, но тем не менее капитан двоих послал в лес за дровами, а двоим велел копать могилу для Редрута. Доктор стал поваром, меня поставили часовым у дверей, а сам капитан расхаживал от одного к другому, всех подбадривая и всем помогая.

Время от времени доктор подходил к двери подышать воздухом и дать отдохнуть покрасневшим от дыма глазам и перекидывался со мной двумя-тремя словами.

— Этот Смоллетт,— сказал он мне как-то,— гораздо лучше меня. Если уж я сам признал, это кое-что да значит, Джим.

В другой раз он сначала помолчал, потом повернул голову и внимательно посмотрел мне в лицо.

— На этого Бена Ганна можно положиться?— спросил он.

— Не знаю, сэр,— ответил я.— Я не совсем уверен, что голова у него в порядке.

— Если не совсем уверен, значит, в порядке,— сказал доктор.— Когда человек три года грыз ногти на необитаемом острове, Джим, он не может выглядеть таким же нор-

мальным, как ты или я. Так уж устроены люди. Ты говоришь, он мечтает о сыре?

— Да, сэр,— ответил я.

— Ладно, Джим,— сказал он.— Посмотри, как полезно быть лакомкой. Ты, наверно, видел мою табакерку, но ни разу не видел, чтобы я нюхал из нее табак. У меня в табакерке лежит не табак, а кусочек пармезана — итальянского сыра. Очень питательная штука! Этот сыр мы отдадим Бену Ганну!

Перед ужином мы зарыли старого Тома в песок, потом постояли немного у могилы с непокрытыми головами на ветру.

Дров из лесу натаскали целую груду, но капитан был все же недоволен.

— Завтра я заставлю вас работать как следует,— сказал он, качая головой.

Поужинав копченой свининой и выпив по стакану горячего грога, капитан, сквайр и доктор удалились в уголок на совещание.

Но, по-видимому, ничего хорошего не приходило им в голову. Провизии у нас было так мало, что мы должны были неизбежно умереть с голоду задолго до прибытия помощи или сдаться на милость пиратов. Оставалось одно: убить как можно больше этих разбойников, убивать их до тех пор, пока они не спустят свой черный флаг или пока не уйдут на «Испаньоле» в открытое море. Из девятнадцати их уже осталось пятнадцать, причем двое ранены, а один, подстреленный у пушки, если не умер, то, во всяком случае, ранен тяжело. Каждый раз, вступая с ними в перестрелку, нужно тщательно беречь наших людей и помнить, что у нас есть два надежных союзника: ром и климат.

Ром уже взялся за дело: полмили отделяло нас от пиратов, и тем не менее до поздней ночи слышали мы песни и крики. А доктор клялся своим париком, что скоро за дело возьмется и климат: лагерь пиратов возле болота, лекарств у них нет никаких, и через неделю половина из них будет валяться в лихорадке.

— Итак,— говорил доктор,— если им не удастся укокошить нас сразу, они будут рады бросить остров и вернуться на шхуну. У них есть корабль, и они всегда могут заняться своим старым ремеслом — морским разбоем.

— Это первый корабль, который мне приходится терять,— сказал капитан Смоллетт.

Я смертельно устал. Долго ворочался я перед тем, как заснуть, но потом спал как убитый.

Все уже давно встали, позавтракали и натаскали дров, когда я проснулся, разбуженный шумом и криками.

— Белый флаг! — сказал кто-то.

И тотчас же раздался удивленный возглас:

— Сильвер собственной персоной!

Я вскочил, протер глаза и кинулся к бойнице в стене.

ГЛАВА XX

СИЛЬВЕР-ПАРЛАМЕНТЕР

Действительно, к частоколу подошли два человека. Один из них размахивал белой тряпкой, а другой — не кто иной, как сам Сильвер,— невозмутимо стоял рядом.

Было еще очень рано. Я не запомню такого холодного утра. Холод пронизывал меня до костей. Небо было ясное, безоблачное, верхушки деревьев розовели в лучах восходящего солнца, но внизу, где стоял Сильвер со своим спутником, все еще была густая тень. У их ног клубился белый туман — ночные испарения болота. Ночной холод и туман — вот беда этого острова. Сырое, малярийное, нездоровое место.

— Все по местам! — сказал капитан.— Держу пари, что они затевают какую-то хитрость.— Затем он крикнул разбойникам: — Кто идет? Стой, или будем стрелять!

— Белый флаг! — крикнул Сильвер.

Капитан вышел на крыльцо и стал под прикрытием, чтобы предательская пуля не угрожала ему. Обернувшись к нам, он приказал:

— Отряд доктора — на вахту к бойницам! Доктор Ливси, прошу вас, займите северную стену, Джим — восточную, Грей — западную. Подвахтенным — заряжать мушкеты. Живее! И будьте внимательны!

Потом снова обратился к разбойникам:

— Чего вы хотите от нас с вашим белым флагом? — крикнул он.

На этот раз ответил не Сильвер, а другой пират.

— Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт, заключить с вами договор! — прокричал он.

— Капитан Сильвер? Я такого не знаю. Кто это? — спросил капитан.

Мы слышали, как он добавил вполголоса:

— Вот как! Уже капитан! Быстрое повышение в чине!

Долговязый Джон ответил сам:

— Это я, сэр. Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр.— Слово «дезертирство» он произнес с особым ударением.— Мы готовы вам подчиниться опять, но, конечно, на известных условиях, честь по чести. А пока дайте мне слово, капитан Смоллетт, что вы отпустите меня отсюда живым и не начнете стрельбу, прежде чем я не отойду от частокола.

— У меня нет никакой охоты разговаривать с вами, любезный,— сказал капитан Смоллетт.— Но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Однако если вы замышляете предательство, то потом пеняйте на себя.

— Этого достаточно. капитан! — весело воскликнул Долговязый Джон.— Одного вашего слова достаточно. Я настоящего джентльмена, капитан, сразу признаю, будьте уверены.

Мы видели, как человек с белым флагом старался удержать Сильвера. В этом не было ничего удивительного, потому что капитан разговаривал не слишком любезно. Но Сильвер только засмеялся в ответ и хлопнул его по плечу, точно даже самая мысль об опасности представлялась ему нелепостью. Он подошел к частоколу, сначала перебросил через него свой костыль, а затем перелез и сам с необычайной быстротой и ловкостью.

Должен признаться, я так был занят всем происходящим, что забыл обязанности часового. Я покинул свой пост у восточной бойницы и стоял позади капитана, который сидел на пороге, положив локти на колени, поддерживая голову руками, и смотрел в старый железный котел, где бурлила вода и плясали песчинки. Спокойно насвистывал он себе под нос «За мною, юноши и девы».

Сильверу было мучительно трудно взбираться по склону холма. На крутизне, среди сыпучего песка и широких пней, он со своим костылем был беспомощен, как корабль на мели. Но он мужественно и молчаливо преодолел весь путь, остановился перед капитаном и отдал ему честь с величайшей галантностью. На нем был его лучший наряд: длинный, до колен, синий кафтан со множеством медных пуго-

виц и сдвинутая на затылок шляпа, обшитая красивым галуном.

— Вот и вы, любезный,— сказал капитан, подняв голову.— Садитесь.

— Пустите меня в дом, капитан,— жалобно попросил Долговязый Джон.— В такое холодное утро, сэр, неохота сидеть на песке.

— Если бы вы, Сильвер,— сказал капитан,— предпочли остаться честным человеком, вы сидели бы теперь в своем камбузе. Сами виноваты. Либо вы мой корабельный кок — и тогда я с вами обращаюсь по-хорошему, либо вы капитан Сильвер, бунтовщик и пират,— и тогда не ждите от меня ничего, кроме виселицы.

— Ладно, ладно, капитан,— сказал Сильвер, садясь на песок.— Только потом вам придется подать мне руку, чтобы я мог подняться... Неплохо вы тут устроились!.. А, это Джим! Доброе утро, Джим!.. Доктор, мое почтение! Да вы тут все в сборе, словно счастливое семейство, если разрешите так выразиться...

— К делу, любезный,— перебил капитан.— Говорите, зачем вы пришли.

— Правильно, капитан Смоллетт,— ответил кок.— Дело прежде всего. Должен признаться, вы ловкую штуку выкинули сегодня ночью. Кто-то из вас умеет обращаться с ганшпугом. Кое-кто из моих людей был прямо потрясен этим делом, да что там кое-кто, — все. Я и сам, признаться, потрясен. Может быть, только из-за этого я и пришел сюда договариваться. Но, клянусь громом, капитан, второй раз эта история вам не удастся! Мы всюду выставим часовых и уменьшим выдачу рома. Вы, верно, думаете, что мы все были пьяны мертвецки? Поверьте мне, я нисколько не был пьян, я только устал как собака. Если бы я проснулся на секунду раньше, вы бы от меня не ушли. Он еще был жив, когда я добежал до него.

— Дальше,— хладнокровно произнес капитан Смоллетт.

Все, что говорил Сильвер, было для капитана загадкой, но капитан и бровью не повел. А я, признаться, смекнул кое-что. Мне пришли на память последние слова Бена Ганна. Я понял, что ночью он пробрался в лагерь разбойников, когда они пьяные валялись вокруг костра. Мне было весело думать, что теперь в живых осталось только четырнадцать наших врагов.

— Одним словом, вот что,— сказал Сильвер.— Мы хо-

тим достать сокровища, и мы их достанем. Это наша цель. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь, и это ваша цель. Ведь у вас есть карта, не правда ли?

— Весьма возможно,— ответил капитан.

— Я наверняка знаю, что она у вас есть,— продолжал Долговязый Джон.— И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы. Нам нужна ваша карта, вот и все, а лично вам я не желаю ни малейшего зла...

— Перестаньте, любезный,— перебил его капитан.— Не на такого напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались коротки.

Капитан спокойно взглянул на него и стал набивать свою трубку.

— Если Эйб Грей...— начал Сильвер.

— Стоп! — закричал мистер Смоллетт.— Грей ничего мне не говорил, и я ни о чем его не спрашивал. Да я, если угодно знать, прежде мокрое место оставил бы и от вас и от него, а заодно и от всего этого острова. Ясно, милейший?

Эта гневная вспышка, видимо, успокоила Сильвера. Он уже начал было сердиться, но теперь сдержался.

— Как вам угодно,— сказал он.— Думайте что хотите, я запрещать вам не стану... Вы, кажется, собираетесь закурить трубку, капитан. И я, если позволите, сделаю то же.

Он набил табаком свою трубку и закурил. Двое мужчин долго молча сидели, то взглядывая друг другу в лицо, то затягиваясь дымом, то нагибаясь вперед, чтобы сплюнуть. Смотреть на них было забавно, как в театре.

— Вот наши условия,— сказал наконец Сильвер.— Вы нам даете карту, чтобы мы могли найти сокровища, вы перестаете подстреливать несчастных моряков и разбивать им головы, когда они спят. Если вы согласны на это, мы предлагаем вам на выбор два выхода. Выход первый: погрузив сокровища, мы позволяем вам вернуться на корабль, и я даю вам честное слово, что высажу вас где-нибудь на берег в целости. Если первый выход вам не нравится, так как многие мои матросы издавна точат на вас зубы, уж очень вы их замучили работой, вот вам второй: мы оставим вас здесь, на острове. Провизию мы поделим с вами поровну, и я обещаю послать за вами первый же встречный корабль. Советую вам принять эти

условия. Лучших условий вам не добиться. Надеюсь,— тут он возвысил голос,— все ваши люди тут, в доме слышат мои слова, ибо сказанное одному — сказано для всех.

Капитан Смоллетт поднялся и вытряхнул пепел из своей трубки в ладонь левой руки.

— И это все? — спросил он.

— Это мое последнее слово, клянусь громом! — ответил Джон.— Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья.

— Отлично,— сказал капитан.— А теперь послушайте меня. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, доставить в Англию и предать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то не будь я Александр Смоллетт, поднявший здесь флаг моего короля, если я не отправлю вас всех в преисподнюю. Сокровищ вам не найти. Уйти на корабле вам не удастся: никто из вас не умеет управлять кораблем. Сражаться вы тоже не мастера: против одного Грея было пятеро ваших, и он ушел от всех. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро сойдете с нее. Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. А при следующей встрече я всажу пулю вам в спину. А теперь — убирайтесь отсюда, любезный! Да поторапливайтесь!

На Сильвера стоило посмотреть. Глаза его вспыхнули яростью. Он вытряхнул огонь из своей трубки.

—Дайте мне руку, чтобы я мог подняться! — крикнул он.

— Не дам,— сказал капитан.

— Кто даст мне руку? — проревел Сильвер.

Никто из нас не двинулся. Отвратительно ругаясь, Сильвер прополз до крыльца, ухватился за него, и только тут ему удалось подняться. Он плюнул в источник.

— Вы для меня вот как этот плевок! — крикнул он.— Через час я подогрею ваш старый блокгауз, как бочку рома. Смейтесь, разрази вас гром, смейтесь! Через час вы будете смеяться по-иному. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!

И снова выругавшись, он заковылял по песку. Раза четыре принимался он перелезать через забор и падал. Наконец его перетащил человек с белым флагом, и в одну минуту они исчезли среди деревьев.

ГЛАВА XXI

АТАКА

Как только Сильвер скрылся, капитан, все время не спускавший с него глаз, обернулся и заметил, что на посту стоит только один Грей. Впервые увидели мы, как капитан сердится.

— По местам! — проревел он.

Мы кинулись к бойницам.

— Грей, — сказал он, — я занесу твое имя в судовой журнал. Ты исполнял свой долг, как подобает моряку... Мистер Трелони, вы меня удивили, сэр!.. Доктор, ведь вы носили военный мундир! Если вы так исполняли свой долг при Фонтенуа, вы бы лучше не сходили с койки.

Вахта доктора была у бойниц, а остальные заряжали мушкеты. Мы все покраснели — нам было стыдно, нас отчитали за дело.

Капитан молча следил за нами. Потом заговорил снова.

— Друзья,— сказал он.— Я Сильвера встретил бортовым залпом. Я нарочно привел его в бешенство. По его словам, не пройдет и часа, как мы подвергнемся нападению. Вы знаете, что их больше, чем нас, но зато мы находимся в крепости. Минуту назад я мог бы даже сказать, что у нас есть перевес в дисциплине. Я не сомневаюсь, что мы можем победить их, если вы захотите победить.

Затем он обошел нас всех и признал, что на этот раз все в порядке.

В двух узких стенах сруба — в восточной и западной— было только по две бойницы. В южной, где находилась дверь,— тоже две. А в северной — пять. У нас было двадцать мушкетов на семерых. Дрова мы сложили в четыре штабеля, наподобие столов, посередине каждой стороны. На каждом столе лежали боеприпасы и по четыре заряженных мушкета, чтобы защитники крепости всегда имели их под рукой. А между мушкетами разложены были кортики.

— Тушите огонь,— сказал капитан.— Уже потеплело, а дым только ест глаза.

Мистер Трелони вынес наружу железную решетку очага и разбросал угли по песку.

— Хокинс еще не завтракал... Хокинс, бери свой завтрак и ешь на посту,— продолжал капитан Смоллетт.— По-

шевеливайся, дружок, надо успеть перекусить основательно... Хантер, раздай всем грог.

Пока мы возились, капитан обдумал до конца план обороны.

— Доктор, вам поручается дверь,— проговорил он.— Глядите хорошенько, но не слишком выставляйтесь вперед. Стойте внутри и стреляйте из двери... Хантер, ты возьмешь восточную стену... Джойс, друг мой, бери западную... Мистер Трелони, вы лучший стрелок,— берите вместе с Греем северную стену, самую длинную, с пятью бойницами. Это самая опасная сторона. Если им удастся добежать до нее и стрелять в нас через бойницы, дело наше будет очень плохо... А мы с тобой, Хокинс, никуда не годные стрелки. Мы будем заряжать мушкеты и помогать всем.

Капитан был прав. Едва солнце поднялось над вершинами деревьев, стало жарко и туман исчез. Скоро песок накалился и на бревнах сруба выступила растопленная смола. Мы сбросили камзолы, расстегнули вороты у рубах, засучили до плеч рукава. Каждый стоял на своем посту, разгоряченный жарой и тревогой.

Так прошел час.

— Дьявол! — сказал капитан.— Становится скучно. Грей, посвисти, может хоть ветерок подует.

В это мгновение впервые стало ясно, что на нас готовится атака.

— Позвольте спросить, сэр,— сказал Джойс,— если я увижу кого-нибудь, я должен стрелять?

— Конечно! — крикнул капитан.

— Спасибо, сэр,— сказал Джойс все так же спокойно и вежливо.

Ничего не случилось, но вопрос Джойса заставил нас всех насторожиться. Стрелки держали мушкеты наготове, а капитан стоял посреди сруба, сжав губы и нахмурив лоб. Так прошло несколько секунд. Вдруг Джойс вскинул свой мушкет и выстрелил. Звук его выстрела еще не успел затихнуть, как нас стали обстреливать со всех сторон, залп за залпом. Несколько пуль ударилось о бревна сруба. Но внутрь не залетела ни одна, и когда дым рассеялся, вокруг частокола и в лесу было тихо и спокойно, как прежде. Ни одна веточка не шевелилась. Ни одно дуло не поблескивало в кустах. Наши враги как сквозь землю провалились.

— Попал ты в кого-нибудь? — спросил капитан.

— Нет, сэр, — ответил Джойс. — Кажется, не попал, сэр.

— И то хорошо, что правду говоришь,— проворчал капитан Смоллетт.— Заряди его мушкет, Хокинс... Как вам кажется, доктор, сколько на вашей стороне было выстрелов?

— Я могу ответить точно,— сказал доктор Ливси,— три выстрела. Я видел три вспышки — две рядом и одну дальше, к западу.

— Три! — повторил капитан.— А сколько на вашей, мистер Трелони?

Но тут ответить было нелегко. С севера стреляли много. Сквайр уверял, что было всего семь выстрелов, а Грей — что их было восемь или девять. С востока и запада выстрелили только по одному разу. Очевидно, новой атаки следовало ожидать с севера, а с других сторон стреляли, только чтобы отвлечь наше внимание. Однако капитан Смоллетт не изменил расстановки сил.

— Если разбойникам удастся перелезть через частокол,— говорил он,— они могут захватить любую незащищенную бойницу и перестрелять нас всех, как крыс, в нашей собственной крепости.

Впрочем, времени для размышлений у нас было немного. На севере внезапно раздалось громкое «ура», и небольшой отряд пиратов, выскочив из лесу, кинулся к частоколу. В то же мгновение нас снова начали обстреливать со всех сторон. В открытую дверь влетела пуля и раздробила мушкет доктора в щепки. Нападающие лезли через частокол, как обезьяны. Сквайр и Грей стреляли снова и снова. Трое свалились — один внутрь, двое наружу. Впрочем, один из них был, вероятно, напуган, а не ранен, так как сейчас же вскочил на ноги и скрылся в лесу.

Двое лежали на земле, один убежал, четыре заняли прочную позицию по эту сторону частокола. Семь или восемь остальных пиратов, имевших, очевидно, по нескольку мушкетов каждый, непрерывно обстреливали, сидя в чаще, наш дом. Однако обстрел этот не причинил нам никакого вреда.

Четверо проникших внутрь частокола, крича, бежали к зданию. Засевшие в лесу тоже кричали, чтобы подбодрить товарищей. Наши стрелки палили не переставая, но так

торопились, что, кажется, не попали ни разу. В одно мгновение четверо пиратов взобрались на холм и напали на нас, Голова Джоба Эндерсона, боцмана, появилась в средней бойнице.

— Бей их! Бей их! — ревел он громовым голосом.

В то же мгновение другой пират, схватив за дуло мушкет Хантера, выдернул его, просунул в бойницу и ударил Хантера прикладом с такой силой, что несчастный без чувств повалился на пол. Тем временем третий сумел обежать вокруг дома, неожиданно появился в дверях и кинулся с кортиком на доктора.

Мы оказались в таком положении, в каком до сих пор были наши враги. Только что мы стреляли из-под прикрытия в незащищенных пиратов, а теперь, ничем не защищенные, не могли отразить удар. Сруб заволокло пороховым дымом, но благодаря дымовой завесе мы и остались в живых. В ушах у меня гудело от криков, стонов и пистолетных выстрелов.

— На вылазку, вперед, врукопашную! Кортики! — закричал капитан.

Я схватил со штабеля кортик. Кто-то другой, тоже хватая кортик, резнул им меня по суставам пальцев, но я даже не почувствовал боли. Я ринулся в дверь, на солнечный свет. Кто-то выскочил за мной следом — не знаю кто. Прямо передо мной доктор гнал вниз по склону холма напавшего на него пирата. Я видел, как доктор сшиб его с ног, так что тот упал навзничь, а потом полоснул кортиком по лицу.

— Вокруг дома! Вокруг дома! — закричал капитан.

И, несмотря на общее смятение и шум, я подметил перемену в его голосе.

Машинально подчиняясь команде, я повернул к востоку, с поднятым кортиком обогнул угол дома и сразу встретился лицом к лицу с Эндерсоном.Он заревел, и его кортик взвился над моей головой, блеснув на солнце. Я не успел даже струсить. Уклоняясь от удара, я отскочил в сторону. оступился в мягком песке и покатился вниз головой по откосу.

Когда я во время атаки выскочил из двери, другие пираты уже лезли через частокол, чтобы покончить с нами. Один из них, в красном ночном колпаке, держа кортик в зубах, уже закинул ногу, готовясь спрыгнуть. Мое падение с холма произошло так быстро, что, когда я поднялся на

ноги, все оставалось в том же положении: пират в красном колпаке сидел на ограде в той же позе, а голова другого только высунулась из-за частокола. И все же в эти несколько мгновений сражение окончилось, и победа осталась за нами.

Грей, выскочивший из двери вслед за мной, уложил на месте рослого боцмана, прежде чем тот успел вторично замахнуться ножом. Другой пират был застрелен у бойницы в тот миг, когда он собирался выстрелить внутрь дома. Он корчился на песке в предсмертной агонии, не выпуская из рук дымящегося пистолета. Третьего, как я уже сказал, заколол доктор. Из четырех пиратов, перелезших через частокол, в живых остался только один. Бросив свой кортик на поле сражения, он, полный смертельного ужаса, карабкался на частокол, чтобы удрать.

— Стреляйте! Стреляйте из дома! — кричал доктор.— А вы, молодцы, под прикрытие!

Но его слова пропали даром. Никто не выстрелил. Последний из атакующих благополучно перелез через частокол и скрылся вместе со всеми в лесу. Через минуту из нападающих никого не осталось, за исключением пяти человек: четверо лежали внутри укрепления и один снаружи. Доктор, Грей и я кинулись в дверь под укрытие сруба. Оставшиеся в живых могли каждую минуту добежать до своих мушкетов и опять открыть стрельбу. Пороховой дым рассеялся, и мы сразу увидели, какой ценой досталась нам победа. Хантер лежал без чувств возле своей бойницы. Джойс, с простреленной головой, затих навеки. Сквайр поддерживал капитана, и лица у обоих были бледны.

— Капитан ранен! — сказал мистер Трелони.

— Все убежали? — спросил мистер Смоллетт.

— Все, кто мог,— ответил доктор.— Но пятерым уже не бегать никогда!

— Пятерым! — вскричал капитан.— Не так плохо. У них выбыло из строя пятеро, у нас только трое — значит, нас теперь четверо против девяти. Это лучше, чем было вначале: семеро против девятнадцати [1].

---

[1] На самом деле в живых вскоре осталось только восемь разбойников, потому что человек, подстреленный мистером Трелони на борту шхуны, умер в тот же вечер. Но, конечно, мы узнали об этом значительно позже. *(Прим. автора).*

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МОРЕ

ГЛАВА XXII

КАК НАЧАЛИСЬ МОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МОРЕ

Разбойники не возвращались. Ни один из них даже не выстрелил из лесу. «Они получили свою порцию на сегодня»,— выразился о них капитан. Мы могли спокойно перевязывать раненых и готовить обед. Стряпали на этот раз сквайр и я. Несмотря на опасность, мы предпочли стряпать во дворе, но и тут все валилось у нас из рук, так ужасны были громкие стоны наших раненых.

Из восьми человек, пострадавших в бою, остались в живых только трое: пират, подстреленный у бойницы, Хантер и капитан Смоллетт. Положение двух первых было безнадежное. Пират вскоре умер во время операции; Хантер, несмотря на все наши усилия, так и не пришел в сознание. Он прожил весь день, громко дыша, как дышал после удара тот старый пират, который остановился у нас в трактире. Но ребра у Хантера были сломаны, череп разбит при падении, и в следующую ночь он без стона, не приходя в сознание, скончался.

Раны капитана были мучительны, но не опасны. Ни один орган не был серьезно поврежден. Пуля Эндерсона — первым выстрелил в капитана Джоб — пробила ему лопатку и задела легкое. Вторая пуля коснулась икры и повредила связки.

Доктор уверял, что капитан непременно поправится, но в течение нескольких недель ему нельзя ходить, нельзя двигать рукой, нельзя даже много разговаривать.

Случайный порез у меня на руке оказался пустяком. Доктор Ливси залепил царапину пластырем и ласково потрепал меня за уши.

После обеда сквайр и доктор уселись возле капитана и стали совещаться. Совещание окончилось вскоре после полудня. Доктор взял шляпу и пистолеты, прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо

мушкет и, перебравшись через частокол с северной стороны, быстро исчез в чаще.

Мы с Греем сидели в дальнем углу сруба, чтобы не слышать, о чем говорят наши старшие. Грей был так потрясен странным поступком доктора, что вынул изо рта трубку и забыл снова положить ее в рот.

— Что за чертовщина! — сказал он.— Уж не спятил ли доктор Ливси?

— Не думаю,— ответил я.— Из нас всех он спятит последним.

— Пожалуй, что и так,— сказал Грей.— Но, если он в здравом уме, значит, это я сумасшедший.

— Просто у доктора есть какой-то план,— объяснил я.— По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганном.

Как потом оказалось, я был прав.

Между тем жара в срубе становилась невыносимой. Полуденное солнце накалило песок во дворе, и в голове у меня зашевелилась не очень-то достойная мысль. Я стал завидовать доктору, который шел по прохладному лесу, слушал птичек, вдыхал смолистый запах сосен, в то время как я жарился в этом проклятом пекле, где одежда прилипала к горячей смоле, где все было вымазано человеческой кровью, где вокруг валялись мертвецы.

Отвращение, которое внушала мне наша крепость, было почти так же велико, как и страх.

Я мыл пол, я мыл посуду — и с каждой минутой чувствовал все большее отвращение к этому месту и все сильнее завидовал доктору. Наконец я случайно оказался возле мешка с сухарями. Никто не обращал на меня внимания. И я стал готовиться к бегству: набил сухарями оба кармана своего камзола.

Вы можете назвать меня глупцом. Я поступал безрассудно, я шел на отчаянный риск, однако я принял все предосторожности, какие были в моей власти. Эти сухари не дадут мне умереть с голоду по крайней мере сутки.

Затем я захватил два пистолета. Пули и порох были у меня, и я чувствовал себя превосходно вооруженным.

План мой, в сущности, был сам по себе не так уж плох. Я хотел пойти на песчаную косу, отделяющую с востока нашу бухту от открытого моря, отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее. Но я знал наверняка, что меня ни за что не отпу-

стят, и решил удрать тайком. Разумеется, это был такой дурной путь для осуществления моих намерений, что и намерение становилось неправильным, но не забудьте, что я был мальчишкой и уже принял решение.

Скоро для бегства представился удобный случай. Сквайр и Грей делали перевязку капитану. Путь был свободен. Я перелез через частокол и нырнул в чащу. Прежде чем мое отсутствие обнаружилось, я ушел уже так далеко, что не мог услышать никаких окриков.

Эта вторая моя безумная выходка была еще хуже первой, так как в крепости осталось только двое здоровых людей. Однако, как и первая, она помогла нам спастись.

Я направился прямо к восточному берегу острова, чтобы идти по обращенной к морю стороне косы, опасаясь, как бы меня не заметили со шхуны, стоявшей в бухте. День уже клонился к вечеру, хотя солнце стояло еще высоко. Идя через лес, я слышал впереди не только беспрерывный грохот прибоя, но также шум ветвей и шелест листьев. Это означало, что сегодня морской бриз сильнее, чем обычно. Скоро повеяло прохладой. Еще несколько шагов — и я вышел на опушку. Передо мной до самого горизонта простиралось озаренное солнцем море, а возле берега кипел и пенился прибой.

Я ни разу не видел, чтобы море около Острова Сокровищ было спокойно. Даже когда солнце сияет ослепительно и воздух неподвижен, а море раскинулось синей гладью, громадные валы с грохотом катятся на внешний берег. На острове едва ли существует такое место, где можно было бы укрыться от шума прибоя.

Я шел по берегу, наслаждаясь прогулкой. Наконец, решив, что я зашел уже достаточно далеко на юг, я осторожно пополз под прикрытием густых кустов вверх, на хребет косы.

Позади меня было море, впереди — бухта. Морской ветер, как бы утомившись своей собственной яростью, уже утихал. Его сменили легкие воздушные течения с юга и юго-востока, которые несли с собой густой туман. В проливе, защищенном Островом Скелета, была такая же неподвижная свинцово-тусклая вода, как в тот день, когда мы впервые его увидели. «Испаньола» вся, от вершины мачты до ватерлинии, с повисшим черным флагом, отражалась, как в зеркале.

Возле корабля я увидел ялик. На корме сидел Сильвер. Его я узнал бы на любом расстоянии. Он разговаривал с двумя пиратами, перегнувшимися к нему через борт корабля. У одного из них на голове торчал красный колпак. Это был тот самый негодяй, который недавно перелезал через частокол. Они болтали и смеялись, но меня отделяла от них целая миля, и, понятно, я не мог расслышать ни слова. Потом до меня донесся страшный, нечеловеческий крик. Сначала я испугался, но затем узнал голос Капитана Флинта, попугая. Мне даже почудилось, что я разглядел пеструю птицу на руке у Сильвера.

Ялик отчалил и понесся к берегу, а человек в красном колпаке вместе со своим товарищем спустился в каюту.

Солнце скрылось за Подзорной Трубой, туман сгустился, быстро темнело. Я понял,что нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня.

Белая скала была хорошо видна сквозь заросли, но находилась она довольно далеко, примерно одну восьмую мили по косе, и я потратил немало времени, чтобы до нее добраться. Часто я продирался сквозь кусты на четвереньках. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, поросшая зеленым мохом. Эта ложбина была скрыта от взоров песчаными дюнами и малорослым кустарником, едва достигавшим моих колен. В ее глубине я увидел шатер из козьих шкур. В Англии такие шатры возят с собой цыгане.

Я спустился в ложбину, приподнял край шатра и нашел там лодку Бена Ганна. Из всех самодельных лодок это была, так сказать, самая самодельная. Бен сколотил из крепкого дерева кривобокий каркас, обшил его козьими шкурами мехом внутрь — вот и вся лодка. Не знаю, как выдерживала она взрослого человека,— даже я помещался в ней с трудом. Внутри я нашел очень низкую скамейку, упор для ног и весло с двумя лопастями.

Никогда прежде я не видел плетеных рыбачьих челнов, на которых плавали древние бритты. Но впоследствии мне удалось познакомиться с ними. Чтобы вы яснее представили себе лодку Бена Ганна, скажу, что она была похожа на самое первое и самое неудачное из этих суденышек. И все же она обладала главными преимуществами древнего челнока: была легка, и ее свободно можно было переносить с места на место.

Теперь, вы можете подумать, раз я нашел лодку, мне уж пора было одуматься и вернуться в блокгауз. Но тем временем в голове у меня возник новый план. Я был так доволен этим планом, что никакому капитану Смоллетту не удалось бы заставить меня от него отказаться. Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подплыть к «Испаньоле» и перерезать якорный канат. Пусть течение выбросит ее на берег где угодно. Я был убежден, что разбойники, получившие такой отпор сегодня утром, собираются сняться с якоря и уйти в море. Этому надо помешать, пока не поздно. На корабле в распоряжении вахтенных не осталось ни одной шлюпки, и, следовательно, эту затею можно выполнить без особого риска.

Поджидая, когда окончательно стемнеет, я сел на песок и принялся грызть сухари. Трудно представить себе ночь, более подходящую для задуманного мною предприятия. Все небо заволокло густым туманом. Когда погасли последние дневные лучи, абсолютная тьма окутала Остров Сокровищ. И когда наконец я, взвалив на плечи челнок, вышел из лощины и, спотыкаясь, побрел к воде, среди полного мрака светились только два огонька: в первом, на берегу, я узнал большой костер на болоте, возле которого пьянствовали пираты; другой огонек был, в сущности, лишь отсвет: это светилось кормовое окно корабля, повернутого ко мне носом. Я видел только световое пятно озаренного им тумана.

Отлив уже начался, и между водой и берегом обнажился широкий пояс мокрого песка. Много раз я по щиколотку погружался в грязь, прежде чем нагнал отступающую воду. Пройдя несколько шагов вброд, я проворно спустил челнок на поверхность воды, килем вниз.

ГЛАВА XXIII

ВО ВЛАСТИ ОТЛИВА

Челнок, как я убедился на собственном опыте, оказался вполне подходящим для человека моего роста и веса. Был он легок и подвижен, но вместе с тем до такой степени кривобок и вертляв, что управлять им не было возможности. Делай с ним что хочешь, из кожи лезь, а он так и рыскает,

так и кружится. Сам Бен Ганн потом признавался, что плавать на этом челноке может лишь тот, кто «уже привык к его норову».

Разумеется, я еще не успел привыкнуть к «норову» челнока. Он охотно шел в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. Чаще всего он поворачивал к берегу, и, не будь отлива, я ни за что не добрался бы до корабля. На мое счастье, отлив подхватил меня и понес. Он нес меня прямо к «Испаньоле».

Сначала я заметил пятно, которое было еще чернее, чем окружающая тьма. Потом различил очертания корпуса и мачт. И через мгновение (потому что чем дальше я был, тем быстрее гнал меня отлив) я оказался возле якорного каната и ухватился за него.

Якорный канат был натянут, как тетива,— с такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Отлив бурлил и шумел у его бортов, как горный поток. Один удар моего ножа — и «Испаньола» помчится туда, куда ее понесет течение.

Однако я вовремя догадался, что туго натянутый канат, если его перерезать сразу, ударит меня с силой лошадиного копыта. Челнок мой перевернется, и я пойду ко дну.

Я остановился и принялся ждать. Если бы не случайность, я, вероятно, отказался бы в конце концов от своего намерения. Но легкий ветерок, сначала юго-восточный, потом южный, с наступлением ночи мало-помалу превращался в юго-западный. Пока я медлил, налетевший внезапно шквал двинул «Испаньолу» против течения. Канат, к моей великой радости, ослабел, и рука моя, которой я за него держался, на мгновение погрузилась в воду.

Поняв, что нельзя терять ни секунды, я выхватил свой складной нож, открыл его зубами и одно за другим принялся перерезать волокна каната. Когда осталось перерезать всего два волокна, канат натянулся опять, и я начал поджидать следующего порыва ветра.

Из каюты давно уже доносились громкие голоса. Но, сказать по правде, я так был поглощен своим делом, что не обращал на них никакого внимания. Теперь от нечего делать я стал прислушиваться.

Я узнал голос второго боцмана, Израэля Хендса, того самого, который некогда был у Флинта канониром. Другой голос принадлежал, без сомнения, моему приятелю в крас-

ном колпаке. Оба, судя по голосам, были вдребезги пьяны и продолжали пить. Один из них с пьяным криком открыл кормовой иллюминатор и что-то швырнул в воду — по всей вероятности, пустую бутылку. Впрочем, они не только пили: они бешено ссорились. Ругательства сыпались градом, и иногда мне казалось, что дело доходит до драки. Однако голоса стихали, и ссора прекращалась; потом возникала снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять.

На берегу между стволами деревьев я видел огонь костра. Там кто-то монотонно пел старинную матросскую песню с завывающей трелью в конце каждой строфы. Во время нашего плавания я много раз слышал эту песню. Она была так длинна, что ни один певец не мог пропеть ее всю и тянул до тех пор, пока у него хватало терпения. Я запомнил из нее только несколько слов:

Все семьдесят пять не вернулись домой —
Они потонули в пучине морской.

Я подумал, что эта грустная песня, вероятно, вполне соответствует настроению пиратов, потерявших сегодня утром стольких товарищей. Однако вскоре я убедился своими глазами, что в действительности эти морские бандиты бесчувственны, как море, по которому они плавают.

Наконец опять налетел порыв ветра. Шхуна снова двинулась ко мне в темноте. Я почувствовал, что канат снова ослабел, и одним сильным ударом перерезал последние волокна.

На мой челнок ветер не оказывал никакого влияния, и я внезапно очутился под самым бортом «Испаньолы». Шхуна медленно поворачивалась вокруг собственной оси, увлекаемая течением.

Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой, я никак не мог расстаться с ней и только все старался оттолкнуться кормой вперед. Наконец это мне удалось, и я уже надеялся избавиться от опасного соседства. Однако туг в руки мне попался конец висевшего на корме каната. Я тотчас же ухватился за него.

Зачем я сделал это, не знаю. Вероятно, бессознательно. Но, когда канат оказался в моих руках и я убедился, что он привязан крепко, мною вдруг овладело любопытство, и я решил заглянуть в иллюминатор каюты.

Перебирая руками, я подтянулся на канате. Рискуя опрокинуться каждую секунду, я приподнялся и увидел часть каюты и потолок.

Тем временем шхуна и ее спутник, челнок, быстро неслись по течению. Мы уже поравнялись с костром на берегу. Корабль громко «заговорил», как выражаются моряки, то есть начал с шумом рассекать волны, и, пока я не заглянул в окошко, я не мог понять, почему вахтенные не поднимают тревоги. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять все. А я, стоя в своем зыбком челноке, мог действительно кинуть в каюту только один взгляд. Хендс и его товарищ, ухватив друг друга за горло, дрались не на жизнь, а на смерть.

Я опустился на скамью. Еще мгновение — и челнок опрокинулся бы. Передо мной все еще мелькали свирепые, налитые кровью лица пиратов, озаренные тусклым светом коптящей лампы. Я зажмурился, чтобы дать глазам снова привыкнуть к темноте.

Бесконечная баллада наконец прекратилась, и поредевшее сборище у костра затянуло знакомую мне песню:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Размышляя о том, что сейчас вытворяют ром и дьявол в каюте «Испаньолы», я с удивлением почувствовал внезапный толчок. Мой челнок резко накренился и круто переменил курс. Быстрота течения до странности увеличилась.

Я открыл глаза. Вокруг меня, искрясь легким фосфорическим светом, шумели, пенясь гребнями, мелкие волны. «Испаньола», за которой в нескольких ярдах несло меня, тоже, казалось, изменила свой курс. Я смутно видел, как накренились ее мачты в темном небе. Да, чем больше я вглядывался, тем тверже убеждался, что ее теперь поворачивает к югу.

Я обернулся, и у меня душа ушла в пятки: костер горел теперь как раз у меня за спиной. Значит, течение повернуло под прямым углом, увлекая за собой и высокую шхуну и мой легкий, танцующий челнок. Бурный поток, шумя все громче, поднимая все более высокую рябь, тащил нас через узкий пролив в открытое море.

Внезапно шхуна сделала еще один поворот, на двадцать градусов по крайней мере, и в то же мгновение я ус-

лышал сначала один крик, потом другой. Раздался топот ног по трапу, и я понял, что пьяные перестали драться. Беда протрезвила обоих.

Я лег на дно моей жалкой ладьи и сотворил горячую молитву, вверяя свою судьбу создателю. Выйдя из пролива, мы попадем в неистовые буруны, которые живо избавят меня от всех невзгод. Смерти я не боялся, но было мучительно лежать в бездействии и ждать, когда она наступит.

Так пролежал я несколько часов. Волны швыряли меня и обдавали брызгами. Каждая новая волна грозила мне смертью. Но мало-помалу мной овладела усталость. Несмотря на весь ужас моего положения, я оцепенел и впал в забытье. Я заснул, и мне приснились родные места и старый «Адмирал Бенбоу».

ГЛАВА XXIV

В ЧЕЛНОКЕ

Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я увидел, что меня несет вдоль юго-западного берега Острова Сокровищ. Солнце уже взошло, но его заслоняла громада Подзорной Трубы, спускавшаяся к морю неприступными скалами.

Буксирная Голова и холм Бизань-мачта находились у меня под боком. Холм был гол и темен, а Голову окружали утесы в сорок—пятьдесят футов высотой и груды валунов. От меня до острова было не больше четверти мили. Я решил взять весло и грести к берегу.

Однако я скоро принужден был отказаться от этого намерения: между утесами бесновались и ревели буруны. Огромные волны одна за другой взвивались вверх с грохотом, в брызгах и в пене. Я видел, что, приблизившись к берегу, я либо погибну в этих волнах, либо понапрасну истрачу силы, пытаясь взобраться на неприступные скалы.

Но не только это пугало меня. На плоских, как столы, скалах ползали какие-то громадные скользкие чудовища, какие-то слизняки невероятных размеров. Изредка они с шумом прыгали в воду и ныряли. Их было несколько дюжин. Они лаяли, и оглушительное эхо утесов вторило их лаю.

Впоследствии я узнал, что это были морские львы, вполне безобидные животные. Но вид у них был страшный, бе-

рег был неприступный, прибой с неистовой силой разбивался о скалы, и у меня пропала всякая охота идти к острову. Уж лучше умереть с голоду в открытом море, чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями.

Тем временем мне представилась другая возможность спастись. К северу от Буксирной Головы была обнажившаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель. А еще севернее был другой мыс — тот самый, который на нашей карте был обозначен под названием Лесистого мыса Он весь зарос громадными зелеными соснами, спускавшимися до самой воды.

Я вспомнил слова Сильвера о том, что вдоль всего западного берега Острова Сокровищ есть течение, которое направляется к северу. Я понял, что оно уже подхватило меня, и решил не тратить понапрасну сил и, миновав Буксирную Голову, попытаться пристать к Лесистому мысу, который казался мне гораздо приветливее.

В море была крупная зыбь. С юга дул упорный ласковый ветер, помогавший мне плыть по течению. Волны равномерно поднимались и опускались.

Если бы ветер был порывистый, я бы давно потонул. Но и при ровном ветре можно было только удивляться, как ловок мой крохотный, легкий челнок. Лежа на дне и поглядывая по сторонам, я не раз видел голубую вершину громадной волны у себя над головой. Вот она обрушится на меня... Но мой челнок, подпрыгнув, как на пружинах, слегка приплясывая, взлетал на гребень и плавно опускался, словно птица.

Мало-помалу я до того осмелел, что даже попробовал было грести. Но малейшее нарушение равновесия сейчас же сказывалось на поведении моего челнока. Едва только я пошевелился, как он изменил свою плавную поступь, стремительно слетел с гребня в водяную яму, так что у меня закружилась голова, и, подняв сноп брызг, зарылся носом в следующую волну.

Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понес меня дальше меж волн.

Мне было ясно, что грести нельзя. Но если я бессилен изменить курс, каким же образом добраться до берега?

Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать своей матросской шапкой воду, затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, от-

чего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля огромной ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь холмов с остроконечными вершинами, со склонами и долинами. Челнок, предоставленный самому себе, ловко лавировал, всякий раз выбирал долины, избегая крутых склонов и высоких вершин.

«Отлично,— решил я.— Главное — лежать смирно и не нарушать равновесия. Но при случае, в ровных местах, можно изредка подгрести к берегу».

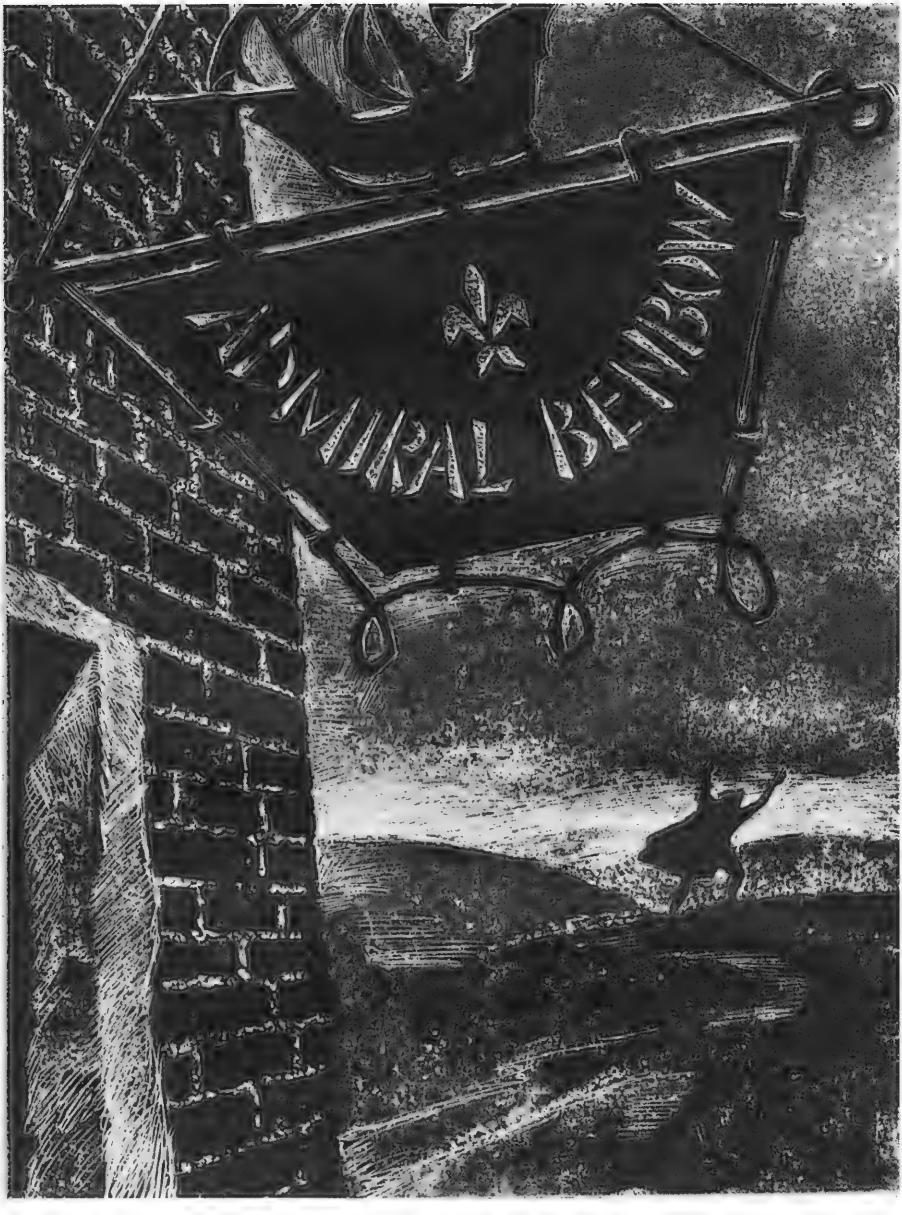
Так я и сделал. Лежа на локтях в самом неудобном положении, я по временам взмахивал веслом и направлял челнок к острову.

Это была нудная, медлительная работа, и все же я достиг некоторого успеха. Однако, поравнявшись с Лесистым мысом, я понял, что неминуемо пронесусь мимо, хотя действительно берег был теперь от меня всего в нескольких сотнях ярдов. Я видел прохладные зеленые вершины деревьев. Их раскачивал бриз. Я был уверен, что следующего мыса не пропущу.

Время шло, и меня начала мучить жажда. Солнце сияло с ослепительной яркостью, тысячекратно отраженное в волнах. Морская вода высыхала у меня на лице, и даже губы мои запеклись от соли. Горло у меня пересохло, голова болела. Деревья были так близко, так манили меня своей тенью! Но течение стремительно понесло меня мимо мыса. И то, что я увидел, снова оказавшись в открытом море, изменило все мои планы.

Прямо перед собой, на расстоянии полумили, а то и меньше, я увидел «Испаньолу». Она шла под всеми парусами. Несомненно, меня увидят и подберут. Жажда так мучила меня, что я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Но долго раздумывать мне не пришлось, так как меня вскоре охватило чувство изумления: «Испаньола» шла под гротом и двумя кливерами. Ее красивые снежно-белые паруса ослепительно серебрились на солнце. Когда я впервые увидел ее, все паруса ее были надуты. Она держала курс на северо-запад. Я подумал, что пираты решили обойти остров кругом и вернуться к месту прежней стоянки. Затем она все больше и больше стала отклоняться к западу, и мне пришло в голову, что я уже замечен и что меня преследуют. Но вдруг она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами.

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»



«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

«Экие медведи! — сказал я себе.— Напились, должно быть, до бесчувствия. Эх, и влетело бы им сейчас от капитана Смоллетта!»

Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом одну-две минуты, снова уставилась носом против ветра и снова остановилась. Так повторялось несколько раз. «Испаньола» шла то вперед, то назад, то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами и беспрерывно возвращаясь к тому курсу, который только что оставила. Мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же девались люди? Они либо мертвецки пьяны, либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне, быть может, удастся вернуть корабль его капитану.

Течение увлекало челнок и шхуну с одинаковой скоростью, но шхуна так часто меняла галсы, так часто останавливалась, что почти не двигалась вперед. Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести, я, несомненно, догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль о бочонке с пресной водой удвоила мою безумную решимость.

Я сел, и меня сейчас же с ног до головы обдало волной. Но теперь это меня не устрашило. Собрав все силы, я осторожно принялся грести. Я пустился вдогонку за не управляемой никем «Испаньолой». Один раз меня так захлестнуло волной, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного освоился и стал так осторожно направлять челнок среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу.

Расстояние между мной и шхуной быстро уменьшалось. Я уже мог разглядеть поблескивающую при поворотах медь румпеля. На палубе не было ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, они лежат мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что задумаю.

А шхуна между тем вела себя прескверно. Она повернула прямо на юг, разумеется, непрестанно рыская на курсе. Всякий раз, как она виляла в сторону, ее паруса слегка надувались, и она тотчас шла по ветру. Для меня, как я уже сказал, ничто не могло быть хуже. Как ни беспомощна была «Испаньола» с оглушительно хлопающими пару-

сами, с дребезжащими, разболтанными блоками, она все же упорно уходила от меня, уносимая течением и ветром.

Наконец мне посчастливилось: ветер на несколько мгновений утих. Повинуясь течению, «Испаньола» медленно повернулась вокруг своей оси. Я увидел ее корму. Иллюминатор каюты был открыт. Над столом я увидел горящую лампу, хотя уже давным-давно наступил день. Грот повис, как флаг. Шхуна замедлила ход, так как двигалась лишь по течению. Я несколько отстал от нее, но теперь, удвоив усилия, начал снова ее нагонять.

Я был от нее уже в каких-нибудь ста ярдах, когда ветер снова надул ее паруса. Она повернулась на левый галс и опять, скользя, понеслась по волнам, как ласточка.

Сперва я пришел в отчаяние, потом обрадовался. Шхуна описала круг и двинулась бортом прямо на меня. Вот она покрыла половину, потом две трети, потом три четверти расстояния, которое нас разделяло. Я видел, как пенились волны под ее форштевнем. Из моего крохотного челночка она казалась мне громадной.

Вдруг я понял, какая опасность мне угрожает. Шхуна быстро приближалась ко мне. Времени для размышления у меня не оставалось. Нужно было попытаться спастись. Я находился на вершине волны, когда нос шхуны прорезал соседнюю. Бушприт навис у меня над головой. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Рукой я ухватился за утлегарь, а нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок снизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок и что уйти с «Испаньолы» мне уже никак невозможно.

ГЛАВА XXV

Я СПУСКАЮ «ВЕСЕЛОГО РОДЖЕРА»

Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер, щелкнув оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля. Но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, кливер снова щелкнул и повис.

От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака.

Грот скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. Палуба, не мытая со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед.

Внезапно «Испаньола» опять пошла по ветру. Кливера громко щелкнули у меня за спиной. Руль сделал поворот, и корабль содрогнулся. В то же мгновение грота-гик откинулся в сторону, шкот заскрипел о блоки, и я увидел корму.

На корме были оба пирата. «Красный колпак» неподвижно лежал на спине. Руки его были раскинуты, как у распятого, зубы оскалены. Израэль Хендс сидел у фальшборта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели; лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка.

Корабль вставал на дыбы, словно норовистый конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс, гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. То и дело тяжелые валы били в борта. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой, оснащенный корабль.

При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал. Но, к ужасу моему, выражение его лица не менялось — по-прежнему он усмехался, скаля зубы. А Хендс при каждом толчке съезжал все ниже на палубу, все дальше вытягивая ноги, а туловище его все сильней кренилось к корме, так что мне в конце концов ничего не стало видно, кроме его уха да клока курчавых бакенбард.

Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют пятна крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга.

И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израэль Хендс с легким стоном сел ровнее на прежнее место. Этот страдальческий стон, свидетельствовавший о крайней слабости, и отвисшая нижняя челюсть разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке из-под яблок, и жалость моя тотчас же прошла.

Я подошел к грот-мачте.

— Вот я опять на шхуне, мистер Хендс, — проговорил я насмешливо.

Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления: так ему было худо. Он произнес только одно слово:

— Бренди!

Я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под грота-гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту.

Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны. Разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, которую разбойники нанесли на подошвах из того болотистого места, где они пьянствовали. На переборках, покрытых белой краской и украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качке, со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. В ней не хватало доброй половины листов; вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа.

Я заглянул в погреб. Бочонков не было; невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу.

Пошарив, я все-таки нашел недопитую бутылку бренди для Хендса. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюму и кусок сыру.

Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана. Я вдоволь напился воды из анкерка и только затем протянул Хендсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки ото рта.

— Клянусь громом,— сказал он,— это-то мне и было нужно!

Я уселся в угол и стал есть.

— Сильно ранены? — спросил я его.

Он проворчал, вернее, даже пролаял:

— Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет... А этот прощелыга помер,— прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке.— Никудышный был моряк... А ты откуда взялся?

— Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хендс,— сказал я.— Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном.

Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок.

— Между прочим,— продолжал я,— мне не нравится этот флаг, мистер Хендс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим.

Я подбежал к мачте, снова уклонясь от гика, дернул конец и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт, в море.

— Боже храни короля! Долой капитана Сильвера! — крикнул я, размахивая шапкой.

Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на его лице было выражение лукавства.

— Я полагаю...— сказал он наконец,— я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом.

— Отчего же,— сказал я,— с большим удовольствием, мистер Хендс. Продолжайте.— И я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом.

— Этот человек...— начал он, слабо кивнув в сторону трупа.— Его звали О' Брайен... ирландец... Мы с ним подняли паруса и хотели вернуться в бухту. Но он умер. Умер, и баста. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Послушай, дай мне поесть и попить, перевяжи рану старым шарфом или платком, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен?

— Только имейте в виду,— сказал я,— на стоянку капитана Кидда я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в Северную бухту и там спокойно пристать к берегу.

— Ладно! — воскликнул он.— Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся и что выигрыш твой. Ну что же? Ты хочешь в Северную бухту? Изволь. У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей виселицы.

Его слова показались мне не лишенными смысла. Мы заключили сделку. Через три минуты «Испаньола» уже шла по ветру вдоль берега Острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть Северный мыс еще до полудня, чтобы войти в Северную бухту до прилива. Тогда мы, ничем не рискуя, под-

ведем «Испаньолу» к берегу, дождемся спада воды и высадимся.

Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хендс перевязал этим платком глубокую колотую кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув два-три глотка бренди, он заметно приободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, словом, сделался другим человеком.

Дул попутный бриз. Корабль несся, как птица. Мелькали берега. Вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова осталась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончился и он. Мы обогнули скалистый холм — самый северный край острова.

Мне нравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Воды и провианта было у меня вдоволь, совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза боцмана. Он с самым издевательским видом неотступно следил за мной, и на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то бессильное и страдальческое — мрачная улыбка старика. И в то же время было в ней что-то насмешливое, что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил, следил, следил за мной.

ГЛАВА XXVI

ИЗРАЭЛЬ ХЕНДС

Ветер, как бы стараясь нам угодить, из южного превратился в западный. Мы без всяких затруднений прошли от северо-восточной оконечности острова до входа в Северную бухту. Однако мы боялись войти в бухту, прежде чем прилив поднимется выше, так как у нас не было якоря. Нужно было ждать. Боцман учил меня, как положить корабль в дрейф, и после долгих стараний это мне удалось. Потом мы оба молча уселись и принялись есть.

— Капитан,— сказал он наконец все с той же недоброй усмешкой,— здесь валяется мой старый товарищ О'Брайен. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую угрызений совести, что отправил его на тот свет. Но, по-моему, он мало украшает наш корабль. А как по-твоему?

— У меня не хватит силы. Да, кроме того, такая работа мне не по вкусу. По-моему, пускай лежит,— сказал я.

— Что за несчастный корабль эта «Испаньола», Джим! — продолжал он, сощурясь.— Сколько людей убито на этой «Испаньоле» и сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль! Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и О'Брайен умер — ведь он и взаправду умер? Я человек неученый, а ты умеешь читать и считать. Скажи мне без обиняков: мертвый так и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет?

— Вы можете убить тело, мистер Хендс, но не душу,— сказал я.— Знайте: О'Брайен сейчас на том свете и, возможно, смотрит на нас.

— Ах! — сказал он.— Как это обидно! Значит, я только даром потратил время. А впрочем, души, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь душ, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... черт подери, я забыл, что мне нужно... да, принеси мне бутылочку вина, Джим. Этот бренди слишком крепок для меня.

Колебания боцмана показались мне подозрительными, и, признаться, я не поверил, что вино нравится ему больше, чем бренди. Все это только предлог. Дело ясное: он хочет, чтобы я ушел с палубы. Но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взор его все время блуждает по сторонам: то он поглядит на небо, то на мертвого О'Брайена. Он все время улыбается, даже кончик языка изо рта высовывает от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я сразу смекнул, как воспользоваться этим случаем. Такого тупицу ничего не стоило провести. Я и вида не подал, что хоть что нибудь подозреваю.

— Вина? — спросил я.— Отлично. Но какого — белого или красного?

— Все равно, приятель, — ответил он. — Лишь бы покрепче да побольше.

— Хорошо... Я принесу вам портвейну, мистер Хендс. Но придется его поискать.

Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, прокрался бесшумно по дощатому проходу в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из переднего сходного тамбура. Хендс никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним. И все же я принял все меры, чтобы не привлечь к себе его внимание. И самые худшие мои подозрения вполне подтвердились.

Он поднялся на четвереньки и довольно проворно пополз по палубе, хотя его раненая нога, очевидно, сильно болела, так как при каждом движении он приглушенно стонал. В полминуты дополз он до шпигата, у которого лежал корабельный канат, сложенный кольцом, и вытащил оттуда длинный нож, или, вернее, короткий кинжал, по самую рукоятку окрашенный кровью. Он осмотрел его, выпятив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и, стремительно сунув его себе за пазуху, пополз на прежнее место у фальшборта.

Я узнал все, что мне было нужно. Израэль может двигаться, он вооружен. Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собирается делать после моей смерти — тащиться ли через весь остров от Северной бухты к лагерю пиратов на болоте или палить из пушки, призывая товарищей на помощь,— этого, конечно, я не знал.

Я мог доверять Хендсу в том, в чем наши интересы совпадали: мы оба хотели привести шхуну в безопасное место, откуда ее со временем можно было бы вывести без особого труда и риска. Пока это еще не сделано, жизнь моя в безопасности. Размышляя, я не терял времени: прокрался назад в каюту, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу.

Хендс лежал, словно тюк, в том самом положении, в каком я его оставил. Глаза его были прищурены, будто он был так слаб, что не мог выносить слишком яркого света. Он поглядел на меня, привычным жестом отбил горлышко бутылки и разом выпил ее почти до дна, сказав, как обычно говорится:

— За твое здоровье!

Потом, передохнув, достал из кармана плитку жевательного табаку и попросил меня отрезать кусочек.

— Будь добр, отрежь,— сказал он,— а то у меня нет ножа, да и сил не хватит. Ах, Джим, Джим, я совсем развалился! Отрежь мне кусочек — видать, уж последний, который мне доведется пожевать в моей жизни. Долго я не протяну. Скоро, скоро мне быть на том свете...

— Ладно, — сказал я. — Отрежу. Но на вашем месте, чувствуя себя так плохо, я помолился бы перед смертью, как подобает христианину.

— Помолился? — спросил он.— О чем?

— Как — о чем? — воскликнул я.— Вы не знаете, о чем вам молиться? Вы вот только что спрашивали меня насчет усопших. Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. Вон у ног ваших лежит человек, только что убитый вами. И вы спрашиваете меня, о чем вам молиться! О милосердии господнем, мистер Хендс, вот о чем!

Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кровавом кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня. А он вновь приложился к бутылке и потом отвечал мне с необыкновенной торжественностью.

— Тридцать лет я плавал по морям, — сказал он. — Видел и плохое и хорошее — и штили, и штормы, и голод, и поножовщину, и мало ли что еще, но поверь мне: ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь!.. Послушай,—сказал он вдруг совсем другим голосом,— довольно болтать чепуху. Прилив поднялся уже высоко. Слушай мою команду, капитан Хокинс, и мы с тобой поставим шхуну в бухту, и дело с концом.

Действительно, нам оставалось пройти не больше двух миль. Но плавание было трудное. Вход в Северную бухту оказался не только узким и мелководным, но и очень извилистым. Понадобилось все наше внимание и умение. Но я был толковый исполнитель, а Хендс — превосходный командир. Мы так искусно лавировали, так ловко обходили все мели, что любо было смотреть.

Как только мы миновали оба мыса, нас со всех сторон окружила земля. Берега Северной бухты так же густо заросли лесом, как берега Южной. Но сама бухта была длиннее, уже и, по правде говоря, скорее напоминала устье ре-

ки, чем бухту. Прямо перед нами, в южном углу, мы увидели полусгнивший остов разбитого корабля. Это было большое трехмачтовое судно. Оно так долго простояло здесь, что водоросли облепили его со всех сторон. На палубе рос кустарник, густо усеянный яркими цветами. Зрелище было печальное, но оно доказало нам, что эта бухта вполне пригодна для нашей стоянки.

— Погляди,— сказал Хендс,— вон хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Чистый, гладкий песок, никакой волны, кругом лес, цветы цветут на том корабле, как в саду.

— А шхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу? — спросил я.

— С мели ее нетрудно будет снять,— ответил он.— Во время отлива протяни канат на тот берег, оберни его вокруг одной из тех больших сосен, конец тащи сюда назад и намотай на шпиль. Потом жди прилива. Когда придет прилив, вся команда разом хватается за канат и тянет. И шхуна сама сойдет с мели, как молодая красавица. А теперь, сынок, не зевай. Мы возле самой мели, а шхуна идет слишком быстро. Правее немного... так... прямо, правей, чуть-чуть левей... прямо... прямо!

Он отдавал приказания, которые я торопливо и четко исполнял... Внезапно он крикнул:

— Приводи к ветру, друг сердечный!

Я изо всей силы налег на руль. «Испаньола» круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом.

Я был так увлечен всеми этими маневрами, что совсем позабыл о своем намерении внимательно следить за боцманом. Меня интересовало только одно: когда шхуна днищем коснется песка. Я забыл, какая мне угрожает опасность, и, перегнувшись через правый фальшборт, смотрел, как под носом пенится вода. Так и пропал бы я ни за что ни про что, если бы внезапное беспокойство не заставило меня обернуться. Быть может, я услышал шорох или краем глаза заметил движущуюся тень, быть может, во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего, но только, обернувшись, я увидел Хендса уже совсем недалеко от меня с кинжалом в правой руке.

Наши взгляды встретились, и мы оба громко закричали. Я закричал от ужаса. Он, как рассвирепевший бык, заревел от ярости и кинулся вперед, на меня. Я отскочил

к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь: он ударил Хендса в грудь, и Хендс остановился.

Прежде чем Хендс успел опомниться, я выскочил из того угла, в который он меня загнал. Теперь в моем распоряжении была вся палуба, и я мог увертываться от него сколько угодно. Перед грот-мачтой я остановился, вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал собачку. Хендс шел прямо на меня. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что порох на затравке подмочен. Я проклял себя за свою небрежность. Почему я не перезарядил свое оружие? Ведь времени у меня было достаточно! Тогда я не стоял бы безоружный, как овца перед мясником.

Несмотря на свою рану, Хендс двигался удивительно быстро. Седоватые волосы упали на его красное от бешенства и усилий лицо. У меня не было времени доставать свой второй пистолет. Кроме того, я был уверен, что и от него мало толку. Одно было ясно: мне надо не прямо отступать, а увертываться от Хендса, а то он загонит меня на нос, как недавно загнал на корму. Если это удастся ему, все девять или десять вершков окровавленного кинжала вонзятся в мое тело. Я обхватил руками грот-мачту, которая была достаточно толста, и ждал, напрягая каждый мускул.

Увидев, что я собираюсь увертываться, Хендс остановился. Несколько секунд он притворялся, что сейчас кинется на меня то справа, то слева. И я чуть-чуть поворачивался то влево, то вправо. Борьба была похожа на игру, в которую я столько раз играл дома среди скал близ бухты Черного Холма. Но, конечно, во время игры у меня сердце никогда не стучало так дико. И все же легче было играть в эту игру мальчишке, чем старому моряку с глубокой раной в бедре. Я несколько осмелел и стал даже раздумывать, чем кончится наша игра. «Конечно, — думал я, — я могу продержаться долго, но рано или поздно он все же прикончит меня...»

Пока мы стояли друг против друга, «Испаньола» внезапно врезалась в песок. От толчка она сильно накренилась на левый бок. Палуба встала под углом в сорок пять градусов, через шпигаты хлынул поток воды, образовав на палубе возле фальшборта широкую лужу.

Мы оба потеряли равновесие и покатились, почти обнявшись, прямо к шпигатам. Мертвец в красном колпаке, с раскинутыми, как прежде, руками, тяжело покатился туда же. Я с такой силой ударился головой о ногу боцмана, что зубы у меня лязгнули. Но, несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить — на Хендса навалился мертвец. Внезапный крен корабля сделал дальнейшую беготню по палубе невозможной. Нужно изобрести другой способ спасения, изобрести, не теряя ни секунды, потому что мой враг сейчас кинется на меня. С быстротою молнии я уцепился за ванты бизань-мачты, полез вверх и ни разу не перевел дыхания, пока не уселся на салинге.

Моя стремительность спасла меня: подо мной, на расстоянии полуфута от моих ног, блеснул кинжал. Раздосадованный неудачей, Израэль Хендс смотрел на меня снизу с широко открытым от изумления и досады ртом.

Я получил небольшую передышку. Не теряя времени, я вновь зарядил пистолет. Затем для большей верности я перезарядил и второй пистолет.

Хендс наблюдал за мной с бессильной злостью. Он начал понимать, что положение его значительно ухудшилось. После некоторого размышления он с трудом ухватился за ванты и, держа кинжал в зубах, медленно пополз вверх, с громкими стонами волоча за собой раненую ногу. Я успел перезарядить оба пистолета, прежде чем он продвинулся на треть отделявшего нас расстояния. И тогда, держа по пистолету в руке, я заговорил с ним.

— Еще один шаг, мистер Хендс,— сказал я,— и я вышибу из вас мозги! Мертвые, как вам известно, не кусаются,— прибавил я, усмехаясь.

Он сразу остановился. По лицу его я заметил, что он что-то обдумывает. Но думал он так тяжело и так медленно, что я, радуясь своей безопасности, громко расхохотался. Наконец, несколько раз проглотив слюну, он заговорил. На лице его по-прежнему было выражение полнейшей растерянности. Он вынул изо рта мешающий ему говорить нож, но с места не двинулся.

— Джим,— сказал он,— мы оба натворили много лишнего, и ты и я. И нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не этот толчок. Но мне никогда не везет, никогда! Делать нечего, мне, старому моряку, придется уступить тебе, корабельному юнге.

Я упивался его словами и радостно посмеивался, гордый, словно петух, взлетевший на забор, но вдруг он взмахнул правой рукой. Что-то просвистело в воздухе, как стрела. Я почувствовал удар и резкую боль. Плечо мое было пригвождено к мачте. От ужасной боли и от неожиданности — не знаю, обдуманно ли или бессознательно,— я, не целясь, нажал оба курка. Мои пистолеты выстрелили и выпали у меня из рук. Но они упали не одни: с приглушенным криком боцман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду.

ГЛАВА XXVII

«ПИАСТРЫ!»

Судно накренилось так сильно, что мачты повисли прямо над водой. Я сидел на салинге, как на насесте, и подо мной была вода залива. Хендс, взобравшийся не так высоко, как я, находился ближе к палубе и упал в воду между мной и фальшбортом. Всего один раз вынырнул он на поверхность в окровавленной пене и погрузился навеки. Когда вода успокоилась, я увидел его. Он лежал, скорчившись, на чистом, светлом песке в тени судна. Две рыбки проплыли над его телом. Иногда благодаря колебанию воды казалось, что он шевелится и пытается встать. Впрочем, он был вдвойне мертвецом: и прострелен пулей и захлебнулся в воде. Он стал пищей для рыб на том самом месте, где собирался прикончить меня.

Я чувствовал тошноту, головокружение, испуг. Горячие струйки крови текли у меня по спине и груди. Кинжал, пригвоздивший мое плечо к мачте, жег меня, как раскаленное железо. Но не боль страшила меня — такую боль я мог бы вынести без стона,— меня ужасала мысль, что я могу сорваться с салинга в эту спокойную зеленую воду, туда, где лежит мертвый боцман.

Я с такой силой обеими руками вцепился в салинг, что стало больно ногтям. Я закрыл глаза, чтобы не видеть опасности. Мало-помалу голова моя прояснилась, сердце стало биться спокойнее, и ко мне вернулось самообладание.

Прежде всего я попытался вытащить кинжал. Однако либо он слишком глубоко вонзился в мачту, либо нервы мои

были слишком расстроены, но я с содроганием отказался от попыток вытащить его. И, как ни странно, именно этот приступ дрожи помог мне. Кинжал задел меня только чуть-чуть, зацепив лишь клочок кожи, и, когда я задрожал, кожа порвалась. Кровь потекла сильнее прежнего, но зато я стал свободен. Впрочем, мой камзол и рубашка все еще были пригвождены к мачте.

Рванувшись, я освободился совсем. На палубу я вернулся по вантам правого борта. Никакая сила не заставила бы меня спуститься по тем самым вантам, с которых только что сорвался Израэль.

Я сошел в каюту и попытался перевязать себе рану. Она причиняла мне сильную боль и все еще кровоточила. Но рана была неглубока и неопасна и не мешала мне двигать рукой. Я осмотрелся вокруг. Теперь корабль принадлежал мне одному, и я стал подумывать, как бы избавиться от последнего пассажира — от мертвого О'Брайена.

Я уже говорил, что он скатился к самому фальшборту. Он лежал там, как страшная, неуклюжая кукла. Огромная кукла, такого же роста, как живой человек, но лишенная всех красок и обаяния жизни. Справиться с ним мне было нетрудно, к тому же за время моих трагических приключений я уже привык к мертвецам и почти перестал их бояться. Я поднял его за пояс, как мешок с отрубями, и одним взмахом швырнул за борт. Он упал с громким всплеском. Красный колпак слетел у него с головы и поплыл. Когда муть улеглась, я отчетливо увидел их обоих: О'Брайена и Израэля. Они лежали рядом. Вода, двигаясь, покачивала их. О'Брайен, несмотря на свою молодость, был совершенно плешив. Он лежал, положив плешивую голову на колени своего убийцы. Быстрые рыбки проносились над ними обоими.

Я остался на корабле один. Только что начался отлив. Солнце стояло уже так низко, что тени сосен западного берега пересекли бухту и достигли палубы. Подул вечерний бриз, и, хотя с востока бухту защищал холм с двумя вершинами, снасти начали гудеть, а паруса раскачиваться и хлопать.

Я увидел, что судну грозит опасность. Быстро убрал я кливера и опустил их на палубу. Но опустить грот было куда труднее. Когда шхуна накренилась, гик перекинулся за борт и конец его с двумя-тремя футами паруса оказался

даже под водой. От этого положение стало еще опаснее. Но задача была столь трудная, что я ни к чему не решился прикоснуться. Наконец я вынул нож и перерезал фалы. Гафель сразу опустился, и большое брюхо повисшего паруса поплыло по водяной поверхности. Как я ни бился, я не мог ничего сделать с ниралом. Это было выше моих сил. Ну что же, приходилось кинуть «Испаньолу» на произвол судьбы. Я ведь и сам был кинут на произвол судьбы.

Тем временем бухту окутали сумерки. Последние солнечные лучи, пробившись через лесную прогалину, сияли на цветущем уборе разбитого трехмачтовика, как драгоценные камни. Становилось холодно. Вода, увлекаемая отливом, уходила, и шхуна все больше ложилась на борт.

Я пробрался на нос и глянул вниз. Под носом было очень мелко, и я, на всякий случай обеими руками уцепившись за конец, осторожно перелез через борт. Вода едва доходила мне до пояса. Песок был плотный, изрытый волнами, и я бодро вышел на берег, оставив «Испаньолу» лежать на боку и полоскать свой парус в воде. Солнце зашло, и в соснах шумел ветер.

Итак, морские мои похождения кончились. И кончились несомненной удачей: шхуна вырвана из рук бандитов, и мы можем хоть сейчас отправиться на ней в океан. Я мечтал поскорее вернуться домой, в нашу крепость, и похвастать своими подвигами. Вероятно, меня слегка пожурят за самовольную отлучку, но захват «Испаньолы» — разительный довод в мою пользу, и даже сам капитан Смоллетт должен будет признать, что я недаром потратил время.

Размышляя таким образом, в прекрасном состоянии духа, я пустился в путь с таким расчетом, чтобы выйти к частоколу, за которым, как я полагал, меня поджидали друзья. Я хорошо помнил, что самая восточная из речушек, впадающих в бухту капитана Кидда, начинается у двуглавого холма. И я свернул налево, к этому холму, рассчитывая перейти речку в самом узком месте. Лес был довольно редкий. Шагая по косогору, я вскоре обогнул край холма и перешел речку вброд.

Это было как раз то место, где я встретил Бена Ганна. Я стал пробираться осторожнее, зорко посматривая по сторонам. Стало почти совсем темно. Пройдя через расселину между двумя вершинами холма, я увидел на фоне неба колеблющийся отблеск костра. Я решил, что, вероятно, Бен

Ганн готовит себе на пылающем костре ужин, и в глубине души подивился его неосторожности. Если этот отблеск вижу я, его может увидеть и Сильвер из своего лагеря на болоте.

Ночь становилась все темнее. Я с трудом находил дорогу. Двуглавый холм позади и вершина Подзорной Трубы справа служили мне единственными вехами, но очертания их все больше расплывались во мраке. Тускло мерцали редкие звезды. В темноте я натыкался на кусты и сваливался в песчаные ямы.

Вдруг стало немного светлее. Я глянул вверх. Бледное сияние озарило вершину Подзорной Трубы. Внизу, сквозь чащу деревьев я увидел что-то большое, серебряное и понял, что это взошла луна.

Идти стало гораздо легче, и я ускорил шаг. По временам я даже бежал — так не терпелось мне поскорее добраться до частокола. Но, вступив в рощу, окружающую нашу крепость, я вспомнил об осторожности и пошел немного медленнее. Печально кончились бы мои похождения, если бы я, принятый по ошибке за врага, был застрелен своими друзьями.

Луна плыла все выше и выше. Все лесные полянки были залиты ее светом. Но прямо перед собой между деревьями я заметил какое-то сияние, совсем не похожее на лунное. Оно было горячее, красное, а по временам как будто становилось темнее. Очевидно, это тлели уголья потухающего костра.

Что же там такое, черт возьми?

Наконец я добрался до опушки. Западный край частокола был озарен луной. Весь остальной частокол и самый дом находились во мраке, кое-где прорезанном длинными серебристыми полосами. А за домом догорал громадный костер. Его багряные отсветы ярко выделялись среди нежных и бледных отсветов луны. Нигде ни души. Ни звука. Только ветер шумит в ветвях.

Я остановился, удивленный и, пожалуй, немного испуганный. Мы никогда не разводили больших костров. По приказанию капитана мы всегда берегли топливо. И я стал опасаться, не случилось ли чего-нибудь с моими друзьями, пока меня не было здесь.

Я пробрался к восточному краю укрепления, все время держась в тени, и перелез через частокол в том месте, где темнота была гуще всего.

Чтобы не поднимать тревоги, я опустился на четвереньки и беззвучно пополз к углу дома. И вдруг облегченно вздохнул. Я терпеть не могу храпа; меня мучат люди, которые храпят во сне. Но на этот раз громкий и мирный храп моих друзей показался мне музыкой. Он успокоил меня, как успокаивает на море восхитительный ночной крик вахтенного: «Все в порядке!»

Одно мне было ясно: с часовыми у них дело поставлено из рук вон скверно. Если бы вместо меня к ним подкрадывался сейчас Сильвер со своей шайкой, ни один из них не увидел бы рассвета. «Вероятно,— думал я,— все это оттого, что капитан ранен». И опять я упрекнул себя за то, что покинул друзей в такой опасности, когда им некого даже поставить на страже.

Я подошел к двери и заглянул внутрь. Там было так темно, что я ничего не мог рассмотреть. Кроме храпа, слышался еще какой-то странный звук: не то хлопанье крыльев, не то постукивание. Вытянув вперед руки, я вошел в дом. «Я лягу на свое обычное место,— подумал я, улыбнувшись,— а утром потешусь, глядя на их удивленные лица».

Я споткнулся о чью-то ногу. Спящий перевернулся на другой бок, простонал, но не проснулся.

И тогда в темноте внезапно раздался резкий крик: «Пиастры! Пиастры! Пиастры! Пиастры! Пиастры!» И так дальше, без передышки, без всякого изменения голоса, как заведенные часы.

Это Капитан Флинт, зеленый попугай Сильвера! Это он хлопал крыльями и стучал клювом, долбя обломок древесной коры. Вот кто охранял спящих лучше всякого часового, вот кто своим однообразным, надоедливым криком возвестил о моем появлении!

У меня не было времени скрыться. Услышав резкий, звонкий крик попугая, спящие проснулись и вскочили. Я услышал голос Сильвера. Он выругался и закричал:

— Кто идет?

Я бросился бежать, но налетел на кого-то, отпрянул и попал в руки другого. Тот крепко схватил меня.

— Ну-ка, Дик, принеси сюда факел,— сказал Сильвер.

Один разбойник выбежал из дома и вернулся с горящей головней.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

КАПИТАН СИЛЬВЕР

ГЛАВА XXVIII

В ЛАГЕРЕ ВРАГОВ

Багровый свет головни озарил внутренность дома, и все самые худшие мои опасения подтвердились. Пираты овладели блокгаузом и всеми нашими запасами. И бочонок с коньяком, и свинина, и мешки с сухарями находились на прежних местах. К ужасу моему, я не заметил ни одного пленника. Очевидно, все друзья мои погибли. Сердце мое сжалось от горя. Почему я не погиб вместе с ними!..

Только шестеро пиратов остались в живых, и они все были тут предо мною. Пятеро, с красными, опухшими лицами, пробудившись от пьяного сна, быстро вскочили на ноги. Шестой только приподнялся на локте. Он был мертвенно-бледен. Голова его была перевязана окровавленной тряпкой. Значит, он ранен, и ранен недавно. Я вспомнил, что во время схватки мы подстрелили одного из пиратов, который затем скрылся в лесу. Вероятно, это он и был.

Попугай сидел на плече у Долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде. На нем все еще красовался нарядный кафтан, в котором он приходил к нам для переговоров, но теперь кафтан этот был перепачкан глиной и изодран шипами колючих кустов.

— Эге,— сказал он,— да это Джим Хокинс, черт меня подери! Зашел в гости, а? Заходи, заходи, это очень мило с твоей стороны.

Он уселся на бочонок с бренди и стал набивать табаком свою трубку.

— Дай-ка мне огонька, Дик,— попросил он. И, закурив, добавил: — Спасибо, друг. Воткни-ка факел между поленьями. А вы, джентльмены, ложитесь, не стесняйтесь. Вы вовсе не обязаны стоять перед мистером Хокинсом навытяжку. Уж он извинит нас, накажи меня бог! Итак, Джим,—

продолжал он, затянувшись, — ты здесь. Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона! Я с первого взгляда увидел, что ты ловкий малый, но теперь я вижу, что ты прямо герой.

Разумеется, я ни слова не сказал в ответ. Они поставили меня у самой стены, и я стоял прямо, стараясь как можно спокойнее глядеть Сильверу в лицо. Но в сердце моем было отчаяние.

Сильвер невозмутимо затянулся раза два и заговорил снова.

— Раз уж ты забрел к нам в гости, Джим,—сказал он,— я расскажу тебе, что у меня на уме. Ты мне всегда был по сердцу, потому что ты не робкого десятка. Глядя на тебя, я вспоминаю то время, когда и я был такой же молодой и красивый. Я всегда хотел, чтобы ты перешел к нам, получил свою долю сокровищ и умер в роскоши, богатым джентльменом. И вот, сынок, ты пришел наконец. Капитан Смоллетт — хороший моряк, я это всегда утверждал, но уж очень требователен насчет дисциплины. «Долг прежде всего», — говорит он, и совершенно прав. Так что от него тебе лучше держаться подальше. Доктор тоже недоволен тобой. «Неблагодарный негодяй»,— называл он тебя. Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться, они тебя не желают принять. И, если ты не хочешь создавать третью команду, тебе придется присоединиться к капитану Сильверу.

Ну, не так еще плохо: значит, мои друзья живы. И, хотя я готов был поверить утверждению Сильвера, что они сердиты на меня за мое дезертирство, я очень обрадовался.

— Я уж не говорю о том, что ты в нашей власти,— продолжал Сильвер,— ты сам это видишь. Я люблю разумные доводы. Я никогда не видел никакой пользы в угрозах. Если тебе нравится у нас, становись в наши ряды добровольно. Но если не нравится, Джим, ты можешь свободно сказать «нет». Свободно, ничего не боясь. Видишь, я говорю с тобой справедливо, честь по чести.

— Вы хотите, чтобы я отвечал? — спросил я дрожащим голосом.

В его насмешливой болтовне я чувствовал смертельную угрозу. Щеки мои пылали, сердце отчаянно колотилось.

— Никто тебя не принуждает, дружок,— сказал Сильвер.— Обдумай хорошенько. Торопиться нам некуда: ведь в твоем обществе никогда не соскучишься.

— Ну что же,— сказал я, несколько осмелев,— раз вы хотите, чтобы я решил, на чью сторону мне перейти, вы должны объяснить мне, что тут у вас происходит. Почему вы здесь и где мои друзья?

— Что происходит? — угрюмо повторил один из пиратов.— Много бы я дал, чтобы понять, что тут у нас происходит.

— Заткнись, пока тебя не спрашивают! — сердито оборвал его Сильвер и затем с прежней учтивостью снова обратился ко мне.—Вчера утром, мистер Хокинс,—сказал он,—к нам явился доктор Ливси с белым флагом. «Вас предали, капитан Сильвер,—сказал он,—корабль ушел». Пока мы пили ром и пели песни, мы прозевали корабль. Я этого не отрицаю. Никто из нас не глядел за кораблем. Мы выбежали на берег, и, клянусь громом, наш старый корабль исчез. Мы просто чуть не повалились на месте. «Что ж,— сказал доктор,— давайте заключать договор». Мы заключили договор — я да он,— и вот мы получили ваши припасы, ваш бренди, вашу крепость, дрова, которые вы так предусмотрительно нарубили, всю, так сказать, вашу оснастку, от салинга до кильсона. А сами они ушли. И где они теперь, я не знаю.

Он снова спокойно затянулся.

— А чтобы ты не возомнил, что и тебя включили в договор,— продолжал он,— так вот последние слова доктора. «Сколько вас уходит?» — спросил я. «Четверо,— ответил он.— Четверо, и один из них раненый. А где этот проклятый мальчишка, не знаю и знать не желаю,— сказал он.— Мы им сыты по горло». Вот его собственные слова.

— Это все? — спросил я.

— Все, что тебе следует знать, сынок,—ответил Сильвер.

— А теперь я должен выбирать?

— Да, теперь ты должен выбирать,—сказал Сильвер.

— Ладно,— сказал я.— Я не так глуп и знаю, что меня ждет. Делайте со мной что хотите, мне все равно. С тех пор, как я встретился с вами, я привык смотреть смерти в лицо. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать,— продолжал я, все больше волнуясь.— Положение ваше скверное; корабль вы потеряли, сокровища вы потеряли, людей своих потеряли. Ваше дело пропащее. И если вы хотите

знать, кто все это сделал, знайте: все это сделал я, и больше никто. Я сидел в бочке из-под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову, и я слышал все, что говорили вы, Джон, и ты, Дик Джонсон, и что говорил Хендс, который теперь на дне моря. И все, что я подслушал, я в тот же час рассказал. Это я перерезал у шхуны якорный канат, это я убил людей, которых вы оставили на борту, это я отвел шхуну в такое потайное место, где вы никогда не найдете ее. Вы в дураках, а не я, с самого начала все карты были в моих руках, и я боюсь вас не больше, чем мухи. Можете убить меня или пощадить, как вам угодно. Но я скажу еще кое-что, и хватит. Если вы пощадите меня, я забуду все прошлое и, когда вас будут судить за пиратство, попытаюсь спасти вас от петли. Теперь ваш черед выбирать. Моя смерть не принесет вам никакой пользы. Если же вы оставите меня в живых, я постараюсь, чтобы вы не попали на виселицу.

Я умолк. Я задыхался. К моему изумлению, никто из них даже не двинулся с места. Они глядели на меня, как бараны. Не дождавшись ответа, я продолжал:

— Мне сдается, мистер Сильвер, что вы здесь самый главный. И, если мне доведется погибнуть, расскажите доктору, что я умер не бесславною смертью.

— Буду иметь это в виду,—сказал Сильвер таким странным тоном, что я не мог понять, насмехается он надо мной или ему пришлось по душе мое мужество.

— Не забудьте...— крикнул старый моряк с темным от загара лицом, по имени Морган, тот самый, которого я видел в таверне Долговязого Джона в Бристольском порту,— не забудьте, что это он опознал тогда Черного Пса!

— Это еще не все,—добавил Сильвер.—Он, клянусь громом, тот самый мальчишка, который вытащил карту из сундука Билли Бонса. Наконец-то Джим Хокинс попал нам в руки.

— Пустить ему кровь!— крикнул Морган и выругался.

И, выхватив нож, он вскочил с такой легкостью, будто ему было двадцать лет.

— На место! — крикнул Сильвер.— Кто ты такой, Том Морган? Быть может, ты думаешь, что ты здесь капитан? Клянусь, я научу тебя слушаться. Только посмей мне перечить! За последние тридцать лет всякий, кто становился у меня на дороге, попадал либо на рею, либо за борт, рыбам

на закуску. Да! Запомни, Том Морган: не было еще человека, который остался бы жить на земле после того, как не поладил со мной.

Том замолк, но остальные продолжали ворчать.

— Том верно говорит,— сказал один.

— Довольно было надо мной командиров,— прибавил другой,— и, клянусь виселицей, Джон Сильвер, я не позволю тебе мною помыкать.

— Джентльмены, кто из вас хочет потолковать со мной по душам? — проревел Сильвер.

Он сидел на бочонке и теперь подался вперед. В правой руке у него тлела трубка.

— Ну, чего же вам надо? Говорите прямо. Или вы онемели? Выходи, кто хочет, я жду. Я не для того прожил столько лет на земле, чтобы какой-нибудь пьяный индюк становился мне поперек дороги. Вы знаете наш обычай. Вы считаете себя джентльменами удачи. Ну что же, выходите, я готов. Пусть тот, у кого хватит духу, вынет свой кортик, и я, хоть и на костыле, увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка!

Никто не двинулся. Никто не ответил ни слова.

— Вот так вы всегда,—продолжал Сильвер, сунув трубку в рот.—Молодцы, нечего сказать! Не слишком-то храбры в бою. Или вы не способны понять простую человеческую речь? Ведь я здесь капитан, я выбран вами. Я ваш капитан, потому что любому из вас до меня — добрая морская миля. Вы не хотите драться со мной, как подобает джентльменам удачи. Тогда, клянусь громом, вы должны меня слушаться! Мне по сердцу этот мальчишка. Я такого мальца еще не видывал. Он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Так слушайте: кто тронет его, будет иметь дело со мной.

Наступило долгое молчание.

Я, выпрямившись, стоял у стены. Сердце мое все еще стучало, как молот, но у меня зародилась надежда. Сильвер сидел, скрестив руки и прислонившись к стене. Он сосал трубку и был спокоен, как в церкви, и только краем глаза зорко следил за своей буйной командой. Пираты отошли в дальний угол и начали перешептываться. Их бормотание звучало у меня в ушах, словно шум реки. Иногда они оборачивались, и багряный свет головни падал на их взволнованные лица. Однако поглядывали они не на меня, а на Сильвера.

— Вы, кажется, собираетесь что-то сказать?— проговорил Сильвер и плюнул далеко перед собой.— Ну что ж, говорите, я слушаю.

— Прошу прощения, сэр,— начал один из пиратов.— Вы часто нарушаете наши обычаи. Но есть обычай, который даже вам не нарушить. Команда недовольна, а между тем, разрешите сказать, у этой команды есть такие же права, как и у всякой другой. Мы имеем право собраться и поговорить. Прошу прощения, сэр, так как вы все же у нас капитан, но я хочу воспользоваться своим правом и уйти на совет.

Изысканно отдав Сильверу честь, этот высокий желтоглазый матрос лет тридцати пяти с недобрым лицом спокойно пошел к выходу и скрылся за дверью. Остальные вышли вслед за ним. Каждый отдавал Сильверу честь и бормотал что-нибудь в свое оправдание.

— Согласно обычаю,— сказал один.

— На матросскую сходку,— сказал Морган.

Мы с Сильвером остались вдвоем у горящей головни.

Кок сразу же вынул изо рта свою трубку.

— Слушай, Джим Хокинс,—проговорил он еле слышным настойчивым шепотом,— ты на волосок от смерти и еще кой-чего пострашней: от пытки. Они хотят разжаловать меня. Но ты заметь: я за тебя горой, и я не отступлюсь от тебя. Сначала мне не хотелось тебя защищать, но ты сказал несколько слов, и я переменил мои планы. Я был в отчаянии от своих неудач, от мысли о виселице, которая мне угрожает. Услыхав твои слова, я сказал себе: заступись за Хокинса, Джон, и Хокинс заступится за тебя. Ты его последняя карта, Джон, а он, клянусь громом, твоя последняя карта! Услуга за услугу, решил я. Ты спасешь себе свидетеля, когда дело дойдет до суда, а он спасет твою шею.

Я смутно начал понимать, в чем дело.

— Вы хотите сказать, что ваша игра проиграна? — спросил я.

— Да, клянусь дьяволом! — ответил он.— Раз нет корабля, значит, остается одна только виселица. Я упрям, Джим Хокинс, но когда я увидел, что в бухте уже нет корабля, я понял: игра наша кончена. А эти пускай совещаются, все они безмозглые трусы. Я постараюсь спасти твою шкуру. Но слушай, Джим, услуга за услугу: ты спасешь Долговязого Джона от петли.

Я был поражен. За какую жалкую соломинку хватается он, старый пират, атаман!

— Я сделаю все, что могу,— сказал я.

— Значит, по рукам! — воскликнул он.— Ты только потверже говори, и тогда, клянусь громом, у меня есть шанс, что меня не повесят.

Он проковылял к головне, горевшей возле поленницы дров, и снова закурил свою трубку.

— Пойми меня, Джим,— продолжал он, вернувшись.— У меня еще есть голова на плечах, и я решил перейти на сторону сквайра. Я знаю, что ты спрятал корабль где-нибудь в безопасном месте. Как ты это сделал, я не ведаю, но я уверен, что корабль цел и невредим. Хендс и О'Брайен оказались глупцами. На них я никогда не надеялся. Заметь: я у тебя ничего не спрашиваю и другим не позволю спрашивать. Я вижу, когда моя карта бита, будь уверен, и настоящего человека я тоже сразу вижу... Эх, с твоим-то молодым задором да с моим опытом и наделали бы мы вдвоем дел!

Он нацедил в жестяную кружку коньяку из бочонка.

— Не хочешь ли выпить, приятель? — спросил он.

Я отказался.

— А я выпью немного, Джим,— сказал он.— Впереди у меня столько хлопот, нужно же мне пришпорить себя! Кстати, о хлопотах. Зачем было доктору отдавать мне эту карту, милый Джим?

На лице моем выразилось такое неподдельное изумление, что он понял бесполезность дальнейших вопросов.

— Да, он дал мне свою карту... И тут, без сомнения, что-то не так. Тут что-то кроется, Джим... плохое или хорошее.

Он снова хлебнул коньяку и покачал своей большой головой с видом человека, ожидающего неминуемых бед.

ГЛАВА XXIX

СНОВА ЧЕРНАЯ МЕТКА

Сходка пиратов продолжалась уже много времени, когда один из них воротился в блокгауз и, с насмешливым видом отдав Сильверу честь, попросил разрешения взять головню. Сильвер изъявил свое согласие, и посланный удалился, оставив нас обоих в темноте.

— Приближается буря, Джим,— сказал Сильвер.

Он стал обращаться со мной по-приятельски.

Я подошел к ближайшей бойнице и глянул во двор. Костер почти догорел. Света он уже не давал никакого; не мудрено, что заговорщикам понадобилась головня. Они собрались в кружок на склоне холма между домом и частоколом. Один из них держал факел, другой стоял посередине на коленях; в руке у него был открытый нож, лезвие которого поблескивало, озаренное то луной, то факелом. Остальные немного согнулись, как будто глядя, что он делает. У него в руках появилась какая-то книга. И не успел я подумать, откуда у него такая неподходящая для разбойника вещь, как он поднялся с колен, и все гурьбой направились к дому.

— Идут,— сказал я.

Я стал на прежнее место. Не желая уронить свое достоинство, я не хотел, чтобы пираты заметили, что я наблюдаю за ними.

— Милости просим, дружок, пусть идут! — весело сказал Сильвер.— У меня еще есть чем их встретить.

Дверь распахнулась, и пятеро пиратов нерешительно столпились у порога, проталкивая вперед одного.

При других обстоятельствах было бы забавно смотреть, как медленно и боязливо подходит выборный, останавливаясь на каждом шагу и вытянув правую руку, сжатую крепко в кулак.

— Подойди ближе, приятель,— сказал Сильвер,— и не бойся: я тебя не съем. Давай, увалень, что там у тебя? Я знаю обычаи. Я депутата не трону.

Ободренный этими словами, разбойник ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам.

Кок глянул на свою ладонь.

— Черная метка! Так я и думал,— проговорил он.— Где вы достали бумагу? Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию?

— Вот видите! — сказал Морган.— Что я говорил? Ничего хорошего не выйдет из этого.

— Ну, теперь уж вам не отвертеться от виселицы,— продолжал Сильвер.— У какого дурака вы взяли эту Библию?

— У Дика,— сказал кто-то.

— У Дика? Ну, Дик, молись богу,—проговорил Сильвер,— потому что твоя песенка спета. Уж я верно тебе говорю.

Но тут вмешался желтоглазый верзила.

— Довольно болтать, Джон Сильвер,— сказал он.— Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано. Тогда ты заговоришь по-иному.

— Спасибо, Джордж,— отозвался Сильвер.— Ты у нас деловой человек и знаешь наизусть наши обычаи. Что ж тут написано? Ага! «Низложен». Так вот в чем дело! И какой хороший почерк! Точно в книге. Это у тебя такой почерк, Джордж? Да ты, брат, прямо-таки в первые люди у нас метишь. Я нисколько не удивлюсь, если теперь выберут капитаном тебя. Дай мне, пожалуйста, головню, а то трубка у меня никак не раскуривается.

— Ну-ну! — сказал Джордж.— Нечего тебе морочить команду. Послушать тебя — ты такой и сякой, но теперь твоя песенка спета. Слезай с этой бочки и не мешай нашим выборам!

— А я думал, ты и вправду знаешь обычаи,— презрительно возразил Сильвер.— Ну, да не беда: ты не знаешь — так знаю я. Тебе придется еще малость подождать, потому что я покуда все еще ваш капитан. Вы должны предъявить мне свои обвинения и выслушать мой ответ. А до той поры ваша черная метка будет стоить не дороже сухаря. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Не бойся, мы-то обычаев не нарушим,— ответил Джордж.— Так вот. Во-первых, ты провалил все дело. У тебя не хватит дерзости возражать против этого. Во-вторых, ты позволил нашим врагам уйти, хотя здесь они были в настоящей ловушке. Зачем они хотели уйти? Не знаю. Но ясно, что они зачем-то хотели уйти. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. О, мы тебя видим насквозь, Джон Сильвер! Ты ведешь двойную игру. В-четвертых, ты заступился за этого мальчишку.

— Это все? — спокойно спросил Сильвер.

— Вполне достаточно,— ответил Джордж.— Нас из-за твоего ротозейства повесят сушиться на солнышке.

— Теперь послушайте, что я отвечу на эти четыре пункта. Я буду отвечать по порядку. Вы говорите, что я провалил все дело? Но ведь вы знаете, чего я хотел. Если

бы вы послушались меня, мы все теперь находились бы на борту «Испаньолы», целые и невредимые, жевали бы себе пудинг с изюмом, да и золото лежало бы в трюме, клянусь громом! А кто мне помешал? Кто меня торопил и подталкивал — меня, вашего законного капитана? Кто прислал мне черную метку в первый же день нашего прибытия на остров и начал всю эту дьявольскую пляску? Прекрасная пляска, я пляшу вместе с вами,— совсем как те плясуны, что болтаются в лондонской петле. А кто все начал? Эндерсон, Хендс и ты, Джордж Мерри. Из этих смутьянов ты один остался в живых. И у тебя хватает наглости лезть в капитаны! У тебя, погубившего чуть не всю нашу шайку! Нет, сколько на свете живу, а такого не видал!

Сильвер умолк. По лицу Джорджа и остальных я видел, что слова его не пропали даром.

— Это пункт первый! — воскликнул Сильвер, вытирая вспотевший лоб. Он говорил с таким жаром, что стены дрожали.— Клянусь, мне тошно разговаривать с вами. У вас нет ни рассудка, ни памяти. Удивляюсь, как это ваши мамаши отпустили вас в море! В море! Это вы-то джентльмены удачи? Уж лучше бы вы стали портными!..

— Перестань ругаться,— сказал Морган.— Отвечай на остальные обвинения.

— А, на остальные! — крикнул Джон.— Остальные тоже хороши. Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как скверно обстоит дело! Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами, пока нас уносит все дальше туда, откуда нет возврата. «Кто это?» — спрашивает один.— «Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал»,— отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас из-за Джорджа Мерри, Хендса, Эндерсона и других идиотов! Затем, черт подери, вас интересует пункт четвертый — вот этот мальчишка. Да ведь он заложник, понимаете? Неужели мы должны попусту уничтожить заложника? Он, быть может, последняя наша надежда. Убить этого мальчишку? Нет, мои милые, не стану его убивать. Впрочем, я еще не ответил по третьему пункту. Отлично, извольте, отвечу. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора, доктора, окончившего колледж? Твоему продырявленному черепу,

Джон, уже не надобен доктор? А ты, Джордж Мерри, которого только шесть часов назад трясла лихорадка, у которого глаза желтые, как лимон,— ты не хочешь лечиться у доктора? Быть может, вы не знаете, что сюда скоро должен прийти второй корабль на помощь? Однако он скоро придет. Вот когда вам пригодится заложник. Затем пункт второй: вы обвиняете меня в том, что я заключил договор. Да ведь вы сами на коленях умоляли меня заключить его! Вы ползали на коленях, вы малодушничали, вы боялись умереть с голоду и подохли бы с голоду, если б не я... Но все это пустяки. Поглядите — вот ради чего я заключил договор!

И он бросил на пол лист бумаги. Я сразу узнал его. Это была та самая карта на желтой бумаге, с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса.

Я никак не мог уразуметь, почему доктор отдал ее Сильверу.

Разбойников вид этой карты поразил еще сильнее, чем меня. Они накинулись на нее, как коты на мышь. Они вырывали ее друг у друга из рук с руганью, с криками, с детским смехом. Можно было подумать, что они не только уже трогают золото пальцами, но везут его в полной сохранности на корабле.

— Да,— сказал один,— это подпись Флинта, можете не сомневаться. Дж. Ф., а внизу шлюпочный узел. Он всегда подписывался так.

— Все это хорошо,— сказал Джордж,— но как мы увезем сокровища, если у нас нет корабля?

Сильвер внезапно вскочил, держась рукой за стену.

— Предупреждаю тебя в последний раз, Джордж!— крикнул он.— Еще одно нахальное слово, и я буду драться с тобой... Как? Почем я знаю, как! Это ты должен мне сказать, ты и другие, которые проворонили мою шхуну с твоей помощью, черт возьми! Но нет, мне незачем ждать от тебя умного слова — ум у тебя тараканий! Но разговаривать учтиво ты должен, или я научу тебя вежливости!

— Правильно, — сказал старик Морган.

— Еще бы! Конечно, правильно! — подхватил кок.— Ты потерял наш корабль. Я нашел вам сокровища. Кто же из нас стоит большего? Но, клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите. С меня довольно!

— Сильвера! — заорали все.— Окорок на веки веков! Окорока в капитаны!

— Так вот что вы теперь запели! — крикнул кок.— Джордж, милый друг, придется тебе подождать до другого случая. Счастье твое, что я не помню худого. Сердце у меня отходчивое. Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.

— А может быть, она еще годится для присяги? — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.

— Библия с отрезанной страницей! — ужаснулся Сильвер.— Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике.

— А что ж, и песенник тоже может пригодиться,— сказал Дик.

— А вот это, Джим, возьми себе на память,— сказал Сильвер, подавая мне черную метку.

Величиной она была с крону. Одна сторона белая— Дик разрезал самую последнюю страницу Библии,— на другой стороне были напечатаны стиха два из Апокалипсиса. Мне врезались в память, между прочим, два слова: «Псы и убийцы». Сторона с текстом была вымазана сажей, которая перепачкала мне пальцы. А на чистой стороне углем было выведено одно слово: «Низложен».

Сейчас эта черная метка лежит передо мною, но от надписи углем остались только следы царапин, как от когтя.

Так окончились события этой ночи. Выпив рому, мы улеглись спать. Сильвер в отместку назначил Джорджа Мерри в часовые, пригрозив ему смертью, если он недоглядит чего-нибудь.

Я долго не мог сомкнуть глаз. Я думал о человеке, которого убил, о своем опасном положении и прежде всего о той замечательной игре, которую вел Сильвер, одной рукой удерживавший шайку разбойников, а другой хватавшийся за всякое возможное и невозможное средство, чтобы спасти свою ничтожную жизнь. Он мирно спал и громко храпел. И все же сердце у меня сжималось от жалости, когда я глядел на него и думал, какими опасностями он окружен и какая позорная смерть ожидает его.

ГЛАВА XXX

НА ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Меня разбудил, вернее, всех нас разбудил, потому что вскочил даже часовой, задремавший у двери, ясный громкий голос, прозвучавший на опушке леса:

— Эй, гарнизон, вставай! Доктор идет!

Действительно, это был доктор. Я обрадовался, услышав его голос, но к радости моей примешивались смущение и стыд. Я вспомнил о своем неповиновении, о том, как я тайком убежал от товарищей. И к чему это все привело? К тому, что я сижу в плену у разбойников, которые могут каждую минуту лишить меня жизни. Мне было стыдно взглянуть доктору в лицо. Доктор, вероятно, поднялся еще до света, потому что день только начинался. Я подбежал к бойнице и выглянул. Он стоял внизу по колено в ползучем тумане, как некогда стоял у этого же блокгауза Сильвер.

— Здравствуйте, доктор! С добрым утром, сэр! — воскликнул Сильвер, уже протерев как следует глаза и сияя приветливой улыбкой.— Рано же вы поднялись! Ранняя птица больше корма клюет, как в пословице говорится... Джордж, очнись, сын мой, и помоги доктору Ливси взойти на борт... Все в порядке, доктор. Ваши пациенты куда веселей и бодрей!

Так он балагурил, стоя на вершине холма с костылем под мышкой, опираясь рукой о стену,— совсем прежний Джон и по голосу, и по ухваткам, и по смеху.

— У нас есть сюрприз для вас, сэр,— продолжал он.— Один маленький пришелец, хе-хе! Новый жилец, сэр, жилец хоть куда! Спит, как сурок, ей-богу. Всю ночь проспал рядом с Джоном, борт о борт.

Доктор Ливси тем временем перелез через частокол и подошел к коку. И я услышал, как дрогнул его голос, когда он спросил:

— Неужели Джим?

— Он самый,— ответил Сильвер.

Доктор внезапно остановился. Было похоже, что он не в состоянии сдвинуться с места.

— Ладно,— выговорил он наконец.— Делу время, потехе час. Такая, кажется, у вас поговорка? Осмотрим сначала больных.

Доктор вошел в дом и, холодно кивнув мне, занялся своими больными. Он держался спокойно и просто, хотя не мог не знать, что жизнь его среди этих коварных людей висит на волоске. Он болтал как домашний врач, который явился с обычным визитом в мирное английское семейство. Его обращение с пиратами, видимо, оказывало на них сильное влияние. Они вели себя с ним, будто ничего не случилось, будто он по-прежнему корабельный врач и они по-прежнему старательные и преданные матросы.

— Тебе лучше, друг мой,— сказал он бандиту с перевязанной головой.— Другой на твоем месте не выжил бы. Но у тебя голова крепкая, как чугунный котел... А как твои дела, Джордж? Да ты весь желтый! У тебя печенка не в порядке. Ты принимал лекарство? Скажите, он принимал лекарство?

— Как же, сэр, как же! Он принимал, сэр,— отозвался Морган.

— С тех пор как я стал врачом у мятежников, или, вернее, тюремным врачом,— сказал доктор Ливси с добродушнейшей улыбкой,— я считаю своим долгом сохранить вас в целости для короля Георга, да благословит его бог, и для петли.

Разбойники переглянулись, но молча проглотили шутку доктора.

— Дик скверно себя чувствует, сэр,— сказал один.

— Скверно? — спросил доктор.— А ну-ка, Дик, иди сюда и покажи язык. О, я нисколько не удивлен, что он скверно себя чувствует! Таким языком можно напугать и французов. У него тоже началась лихорадка.

— Вот что случается с тем, кто портит святую Библию,— сказал Морган.

— Это случается с тем, кто глуп, как осел,— возразил доктор.— С тем, у кого не хватает ума отличить свежий воздух от гнилого, сухую почву от ядовитого и гнусного болота. Вполне вероятно, что все вы схватили малярию, друзья мои,— по крайней мере, так мне кажется,— и много пройдет времени, прежде чем вы от нее избавитесь. Расположиться лагерем на болоте!.. Сильвер, вы меня удивили, ей-богу! Вы не такой дурак, как остальные, но вы не имеете ни малейшего понятия, как охранять здоровье своих подчиненных... Отлично,— сказал доктор, осмотрев пациентов и дав им лекарства, ко-

торые они глотали с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками. — На сегодня хватит. А теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом.— И он небрежно кивнул в мою сторону.

Джордж Мерри стоял в дверях, отплевываясь после какого-то горького снадобья. Услышав просьбу доктора, он весь побагровел, повернулся к нему и закричал:

— Ни за что!

И выругался скверными словами.

Сильвер хлопнул ладонью по бочке.

— Молчать! — проревел он и посмотрел вокруг, как рассвирепевший лев.— Доктор,— продолжал он учтиво,— я был уверен, что вы захотите поговорить с Джимом, потому что знал: этот мальчик вам по сердцу. Мы все так вам благодарны, мы, как видите, чувствуем к вам такое доверие, мы пьем ваши лекарства, как грог. Я сейчас все устрою... Хокинс, можешь ты мне дать честное слово юного джентльмена — потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные,— что ты не удерешь никуда?

Я охотно дал ему честное слово.

— В таком случае, доктор,— сказал Сильвер,— перелезайте через частокол. Когда вы перелезете, я сведу Джима вниз. Он будет с одной стороны частокола, вы — с другой, но это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр! Передайте привет сквайру и капитану Смоллетту.

Едва доктор вышел, негодование пиратов, сдерживаемое страхом перед Сильвером, прорвалось наружу. Они обвиняли Сильвера в том, что он ведет двойную игру, что он хочет выгородить себя и предать всех остальных. Словом, они действительно разгадали его намерения. Я не думал, что ему и на этот раз удастся вывернуться, так прозрачны были на этот раз его уловки. Но он был вдвое умнее всех их, взятых вместе, и его вчерашняя победа дала ему огромную власть над ними. Он обозвал их глупцами, заявил, что без моего разговора с доктором невозможно обойтись, тыкал им в нос карту и спрашивал: неужели они хотят нарушить договор в тот самый день, когда можно приступить к поискам сокровища?

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

— Нет, клянусь громом! — кричал он.— Придет время, и мы натянем им нос, но до той поры я буду ублажать этого доктора, хотя бы мне пришлось смазывать ему сапоги ромом!

Он приказал развести костер, взял костыль, положил руку мне на плечо и заковылял вниз, оставив пиратов в полном замешательстве. Чувствовалось, что на них повлияли не столько его доводы, сколько настойчивость.

— Не торопись, дружок, не торопись,— сказал он мне.— Они разом кинутся на нас, если заметят, что мы оба торопимся.

Мы медленно спустились по песчаному откосу к тому месту, где за частоколом поджидал нас доктор. Сильвер остановился.

— Пусть это мне тоже зачтется, доктор,— сказал он.— И пусть Джим расскажет вам, как я спас ему жизнь, хотя за это чуть не лишился капитанского звания. Ах, доктор, когда человек ведет свою лодку на волосок от погибели, когда он играет в орлянку со смертью, он хочет услышать хоть одно самое маленькое доброе слово! Имейте в виду, что речь идет не только о моей жизни, но и о жизни этого мальчика. Заклинаю вас, доктор, будьте милосердны ко мне, дайте мне хоть тень надежды!

Теперь, отойдя от товарищей и стоя спиной к блокгаузу, Сильвер сразу сделался другим человеком. Щеки его ввалились, голос дрожал. Никогда еще не говорил он так горячо и настойчиво.

— Неужели вы боитесь, Джон? — спросил доктор Ливси.

— Доктор, я не трус. Нет, я даже вот настолько не боюсь,— и он показал кончик пальца,— но говорю откровенно: меня кидает в дрожь при мысли о виселице. Вы добрый человек и правдивый. Лучшего я в жизни своей не видал. Вы не забудете сделанного мною добра, хотя, разумеется, и зла не забудете. Я отхожу в сторону, видите, и оставляю вас наедине с Джимом. Это тоже вы зачтете мне в заслугу, не правда ли?

Он отошел в сторону, как раз на такое расстояние, чтобы не слышать нас, сел на пень и принялся насвистывать. Он вертелся из стороны в сторону, поглядывая то на нас с доктором, то на неукрощенных пиратов, которые сновали от кострища к дому и обратно, разводили огонь, тащили свинину и хлеб для завтрака.

— Итак, Джим,— грустно сказал доктор,— ты здесь. Что посеешь, то и пожнешь, мой мальчик. У меня не хватает духу бранить тебя. Одно только скажу тебе: если бы капитан Смоллетт был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно, ты ушел, когда он был болен и не мог удержать тебя силой.

Должен признаться, что при этих словах я заплакал.

— Доктор,— взмолился я,— пожалуйста, не ругайте меня! Я сам себя достаточно ругал. Моя жизнь на волоске. Я и теперь был бы уже мертвецом, если бы Сильвер за меня не вступился. Смерти я не боюсь, доктор, я боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня...

— Джим...— перебил меня доктор, уже совсем другим голосом,— Джим, этого я не могу допустить. Перелезай через забор и бежим.

— Доктор,— сказал я,— я ведь дал честное слово.

— Знаю, знаю! — воскликнул он.— Что поделаешь, Джим! Уж я возьму этот грех на себя. Не могу же я бросить тебя здесь беззащитного. Прыгай! Один прыжок — и ты на свободе. Мы помчимся, как антилопы.

— Нет,— ответил я.— Ведь вы сами не поступили бы так. Ни вы, ни сквайр, ни капитан. Значит, и я не изменю своему слову. Сильвер на меня положился. Я дал ему честное слово, и я вернусь в блокгауз. Но, доктор, вы меня не дослушали. Если они станут меня пытать, я не выдержу и разболтаю, где спрятан корабль. Мне повезло, доктор, мне посчастливилось, и я увел их корабль. Он стоит у южного берега Северной бухты. Во время прилива он подымается на волне, а во время отлива сидит на мели.

— Корабль! — воскликнул доктор.

Я в нескольких словах рассказал ему все, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании.

— Это судьба,— заметил он, когда я кончил.— Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть? Это была бы плохая награда за все. что ты для нас сделал, мой мальчик. Ты открыл заговор. Ты нашел Бена Ганна. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь, даже если доживешь до ста лет. Этот Бен Ганн — ой-ой-ой! Кстати... Сильвер! — крикнул он.— Сильвер, я хочу дать вам совет,— продолжал он, когда кок приблизился: — не торопитесь отыскивать сокровища.

— Я, сэр, делаю то, что в моих силах, но не требуйте от меня невозможного,— сказал Сильвер.— Только поисками сокровищ я могу спасти свою жизнь и жизнь этого несчастного мальчика.

— Ладно, Сильвер,— ответил доктор,— если так, я дам вам еще один совет: когда отыщете тайник, держите ухо востро.

— Сэр,— сказал Сильвер,— вы сказали мне или слишком много или слишком мало. Что вам нужно? Зачем вы покинули крепость? Зачем вы отдали мне карту? Я этого не понимал и не понимаю. И все же я слепо выполнил все, что вы требовали, хотя вы не обнадежили меня ни одним словом. Нет, это уж чересчур!.. Если вы не хотите прямо объяснить мне, в чем дело, так и скажите, и я выпущу румпель.

— Нет,— задумчиво сказал доктор,— я не имею права посвящать вас в такие дела. Это не моя тайна, Сильвер. Иначе, клянусь париком, я бы вам все рассказал. Если я скажу еще хоть слово, мне здорово влетит от капитана. И все же я дам вам маленькую надежду, Сильвер: если мы оба с вами выберемся из этой волчьей ямы, я постараюсь спасти вас от виселицы, если для этого не нужно будет идти на клятвопреступление.

Лицо Сильвера мгновенно просияло.

— И родная мать не могла бы утешить меня лучше, чем вы! — воскликнул он.

— Это первое, что я могу вам сказать,— добавил доктор.— И второе: держите этого мальчика возле себя и, если понадобится помощь, зовите меня. Я постараюсь вас выручить, и тогда вы увидите, что я говорю не впустую... Прощай, Джим!

Доктор Ливси пожал мне руку через забор, кивнул головой Сильверу и быстрыми шагами направился к лесу.

ГЛАВА XXXI

ПОИСКИ СОКРОВИЩ. УКАЗАТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА ФЛИНТА

— Джим,— сказал Сильвер, когда мы остались одни,— я спас твою жизнь, а ты — мою. И я никогда этого не забуду. Я ведь видел, как доктор уговаривал тебя удрать. Краешком глаза, но видел. Я не слышал твоего

ответа, но я видел, что ты отказался. Этого, Джим, я тебе не забуду. Сегодня для меня впервые блеснула надежда после неудачной атаки на крепость. И опять-таки из-за тебя. К поискам сокровищ, Джим, мы приступаем вслепую, и это мне очень не нравится. Но мы с тобой будем крепко держаться друг друга и спасем наши шеи, несмотря ни на что.

Один из пиратов, возившихся у костра, крикнул нам, что завтрак готов. Мы уселись на песке возле огня и стали закусывать сухарями и поджаренной солониной. Разбойники развели такой костер, что можно было бы зажарить быка. Вскоре костер запылал так сильно, что к нему — и то не без опаски — приближались только с подветренной стороны. Так же расточительно обращались пираты с провизией: нажарили свинины по крайней мере в три раза больше, чем было нужно. Один из них с глупым смехом швырнул все оставшиеся куски в огонь, который запылал еще ярче, поглотив это необычайное топливо.

Никогда в своей жизни не видел я людей, до такой степени беспечных. Все делали они спустя рукава, истребляли без всякого толка провизию, засыпали, стоя на часах, и так далее. Вообще они были способны лишь на короткую вспышку, но на длительные военные действия их не хватало.

Даже Сильвер, сидевший в стороне со своим попугаем, не сделал им ни одного замечания за их расточительность. И это очень меня удивило, так как я знал, какой он осторожный и предусмотрительный человек.

— Да, приятели,— говорил он,— ваше счастье, что у вас есть Окорок, который всегда за вас думает. Я выведал то, что мне нужно. Корабль у них. Пока я еще не знаю, где они его спрятали. Но, когда у нас будут сокровища, мы обыщем весь остров и снова захватим корабль. И тогда, ребята, при том, что шлюпки все в наших руках, мы с вами хозяева положения.

Так разглагольствовал он, набивая себе рот горячей свининой. Он внушал им надежду, он восстанавливал свой пошатнувшийся авторитет и в то же время, как мне показалось, подбадривал самого себя.

— А наш заложник,— продолжал он,— в последний раз имел свидание с тем, кто мил его сердцу. Из разговоров с ним я узнал все, что мне было нужно узнать, и очень ему благодарен за это. Но теперь кончено. Когда мы пой-

дем искать сокровища, я поведу его за собой на веревочке — он нам дороже золота, и мы сохраним его в целости: пригодится в случае чего. А когда у нас будет и корабль и сокровища, когда мы веселой компанией отправимся в море, вот тогда мы и поговорим с мистером Хокинсом как следует и он получит свою долю по заслугам.

Не удивительно, что их охватило веселье.

Что касается меня, я страшно приуныл и пал духом. Если план, только что изложенный Сильвером, будет приведен в исполнение, этот двойной предатель не станет колебаться ни минуты. Он ведет игру на два фронта и, без сомнения, предпочтет свободу и богатство пирата той слабой надежде освободиться от петли, которую могли предложить ему мы.

Но, если обстоятельства принудят Сильвера сдержать данное доктору слово, нам все равно грозит смертельная опасность. Подозрения его товарищей каждую минуту могут превратиться в уверенность. Тогда и ему и мне придется защищать свою жизнь: ему — калеке — и мне — мальчишке — от пятерых здоровенных матросов.

Прибавьте к этим двойным опасениям тайну, которой все еще были покрыты поступки моих друзей. Почему они покинули крепость? Почему они отдали карту? Что значат эти слова, сказанные доктором Сильверу: «Когда отыщете тайник, держите ухо востро»? Не было ничего странного в том, что завтрак показался мне не слишком-то вкусным и что я с тяжелым сердцем поплелся за разбойниками на поиски клада.

Мы представляли довольно странное зрелище: все в измазанных матросских куртках, все, кроме меня, вооруженные до самых зубов. Сильвер тащил два ружья: одно на спине, другое на груди. К поясу его пристегнута была абордажная сабля. В каждый карман своего широкополого кафтана он сунул по пистолету. В довершение всего на плече у него сидел Капитан Флинт, без умолку и без всякой связи выкрикивавший разные морские словечки. Вокруг моей поясницы обвязали веревку, и я послушно поплелся за коком. Он держал конец веревки то свободной рукой, то могучими зубами. Меня вели, как дрессированного медведя.

Каждый тащил что-нибудь: одни несли лопаты и ломы (разбойники выгрузили их на берег с «Испаньолы» прежде

всего остального), другие — свинину, сухари и бренди для обеда. Я заметил, что все припасы были действительно взяты из нашего склада, и понял, что Сильвер вчера вечером сказал сущую правду. Если бы он не заключил какого-то соглашения с доктором, разбойникам, потерявшим корабль, пришлось бы питаться дичью и запивать ее водой. Но к воде у них не было особой любви, а охотиться моряки не умеют. И если они не запаслись даже пищей, то порохом не запаслись и подавно. Как бы то ни было, мы двинулись в путь, даже пират с разбитой головой, которому гораздо полезнее было бы полежать в холодке. Гуськом доковыляли мы до берега, где нас поджидали две шлюпки. Даже эти шлюпки свидетельствовали о глупой беспечности вечно пьяных пиратов: обе были в грязи, на дне вода, а у одной сломана скамья. Решено было разместиться в двух шлюпках, чтобы ни одна не пропала. Разделившись на два отряда, мы наконец отчалили от берега.

Дорогой начались споры о карте. Красный крестик был слишком велик и не мог, конечно, служить точным указателем места. Объяснения на обороте карты были слишком кратки и неясны. Если читатель помнит, в них говорилось следующее:

Высокое дерево на склоне Подзорной Трубы, направление к С. от С.-С.-В.

Остров Скелета В.-Ю.-В. и на В.

Десять футов.

Итак, главным ориентиром было высокое дерево. Прямо перед нами якорная стоянка замыкалась плоскогорьем в двести — триста футов высотой, которое на севере соединялось с южным склоном Подзорной Трубы, на юге переходило в скалистую возвышенность, носившую название Бизань-мачты. На плоскогорье росли и высокие и низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась футов на сорок над соседями. Какое из этих деревьев капитан Флинт назвал высоким, можно было определить только на месте с помощью компаса.

Тем не менее не проплыли мы и половины пути, а уже каждый облюбовал себе особое дерево. Только Долговязый Джон пожимал плечами и советовал подождать прибытия на место.

По указанию Сильвера мы берегли силы, не очень налегали на весла и после долгого плавания высадились

в устье второй реки, той самой, которая протекает по лесистому склону Подзорной Трубы. Оттуда, свернув налево, мы начали взбираться к плоскогорью.

Вначале наше продвижение очень затруднялось топкой почвой и густой болотной растительностью. Но мало-помалу подъем стал круче, почва каменистее, растительность выше и реже. Мы приближались к лучшей части острова. Вместо травы по земле стлался пахучий дрок и цветущий кустарник. Среди зеленых зарослей мускатного ореха там и сям возвышались багряные колонны высоких сосен, бросавших широкую тень. Запах муската смешивался с запахом хвои. Воздух был свеж. Сияло солнце, но легкий ветерок освежал наши лица.

Разбойники шли веером и весело перекликались между собой.

В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер, таща меня за собой на веревке. Трудно было ему взбираться по сыпучему гравию склона. Мне не раз приходилось поддерживать его, а то он споткнулся бы и покатился с холма.

Так прошли мы около полумили и уже достигли вершины, как вдруг разбойник, шедший левее других, громко закричал от ужаса. Он кричал, не переставая, и все побежали к нему.

— Вы думаете, он набрел на сокровища? — сказал старый Морган, торопливо пробегая мимо нас.— Нет, нет, мы еще не добрались до того дерева...

Да, он нашел не сокровища. У подножия высокой сосны лежал скелет человека. Вьющиеся травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Кое-где на нем сохранились остатки истлевшей одежды. Я уверен, что не было среди нас ни одного человека, у которого не пробежал бы по коже мороз.

— Это моряк,— сказал Джордж Мерри, который был смелее остальных и внимательно рассматривал сгнившие лохмотья.— Одежда у него была морская.

— Конечно, моряк,— сказал Сильвер.— Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа. Однако почему эти кости так странно лежат?

И действительно, скелет лежал в неестественной позе. Тут и там мелкие кости были чуть сдвинуты с места (видимо, по вине птиц, клевавших его, или постепенно обвивавших его ползучих трав), но вообще скелет лежал

навытяжку, прямой, как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца,— в другую.

— Эге, я начинаю понимать! — сказал Сильвер.—А ну-ка, вынем компас. Так и есть! Вон торчит, словно зуб, вершина Острова Скелета. Проверьте по компасу, куда указывает этот мертвец.

Проверили. Мертвец действительно указывал в сторону Острова Скелета. Компас показал направление на В.-Ю.-В. и на В.

— Так я и думал! — воскликнул кок.— Это указательная стрелка. Значит, там Полярная звезда, а заодно и звонкие доллары. Клянусь громом, у меня все холодеет при одной мысли о Флинте. Это одна из его милых острот. Он остался здесь с шестью товарищами и укокошил их всех. А потом из одного убитого смастерил себе указатель... Кости длинные, на черепе рыжие волосы. Э, да это Аллардайс, накажи меня бог! Ты помнишь Аллардайса, Том Морган?

— Еще бы,— сказал Морган,— конечно. Он остался мне должен и, кроме того, прихватил с собой мой нож, когда сходил на остров.

— Значит, нож должен быть где-нибудь здесь,— промолвил другой разбойник.— Флинт был не такой человек, чтобы шарить в карманах своего брата моряка. Да и птицы... Не могли же они унести этот нож!

— Ты прав, черт тебя возьми! — воскликнул Сильвер.

— Однако здесь нет ничего,— сказал Мерри, внимательно ощупывая почву.— Хоть медная монетка осталась бы или, например, табакерка. Чудно̀ как-то...

— Верно! Верно! — согласился Сильвер.— Тут что-то не так. Да, дорогие друзья, но только если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Нас шестеро, и тех было шестеро, а теперь от них остались только кости.

— Нет, будь покоен, он умер: я собственными глазами видел его мертвым,— отозвался Морган.— Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медяками на глазах.

— Конечно, он умер,— подтвердил пират с повязкой на голове.— Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Ведь до чего тяжело умирал человек!

— Да, умирал он скверно,— заметил другой.— То приходил в бешенство, то требовал рому, то начинал гор-

ланить «Пятнадцать человек на сундук мертвеца». Кроме «Пятнадцати человек», он ничего другого не пел. И, скажу вам по правде, с тех пор я не люблю этой песни. Было страшно жарко. Окно было открыто. Человеку с минуты на минуту отчаливать на тот свет, а он себе горланит песню во всю мочь, и хоть бы что...

— Ну, будет, будет! — сказал Сильвер.— Довольно болтать! Он умер и не шатается по земле привидением. А если бы даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь привидения показываются только ночами, а сейчас, как вы видите, день... Нечего говорить о покойнике, нас поджидают дублоны.

Мы двинулись дальше. Но, хотя солнце светило вовсю, пираты больше не разбегались в разные стороны и не окликали друг друга издали. Они шли рядом и говорили меж собой вполголоса: такой ужас внушил им умерший пират.

ГЛАВА XXXII

ПОИСКИ СОКРОВИЩ. ГОЛОС В ЛЕСУ

Отчасти вследствие расслабляющего влияния этого ужаса, отчасти же для того, чтобы дать отдохнуть Сильверу и больным пиратам, на вершине плоскогорья весь отряд сделал привал.

Плоскогорье было слегка наклонено к западу, и потому с того места, где мы сидели, открывался вид в обе стороны. Впереди за вершинами деревьев мы видели Лесистый мыс, окаймленный пеной прибоя. Позади видны были не только пролив и Остров Скелета, но также — за косой и восточной равниной — простор открытого моря. Прямо над нами возвышалась Подзорная Труба, то заросшая редким сосняком, то зияющая глубокими пропастями.

Тишина нарушалась только отдаленным грохотом прибоя да жужжанием бесчисленных насекомых. Безлюдье. На море ни единого паруса. Чувство одиночества еще усиливалось широтой окрестных пространств.

Сильвер во время отдыха делал какие-то вычисления по компасу.

— Здесь три высоких дерева,— сказал он,— и все они расположены по прямой линии от Острова Скелета. Склон

Подзорной Трубы, я думаю,— вот эта впадина. Теперь и ребенок нашел бы сокровища. По-моему, неплохо было бы раньше закусить.

— Мне что-то не хочется,— проворчал Морган.— Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу отбило аппетит.

— Да, сын мой, счастье твое, что он умер,— сказал Сильвер.

— И рожа у него была, как у дьявола! — воскликнул третий пират, содрогаясь.— Вся синяя-синяя!

— Это от рома,— добавил Мерри.— Синяя! Еще бы не синяя! От рома посинеешь, это верно.

Вид скелета и воспоминание о Флинте так подействовали на этих людей, что они стали разговаривать все тише и тише и дошли наконец до еле слышного шепота, почти не нарушавшего лесной тишины. И вдруг из ближайшей рощи чей-то тонкий, высокий, чуть надтреснутый голос затянул хорошо знакомую песню:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Смертельный ужас охватил пиратов. У всех шестерых лица сделались сразу зелеными. Одни вскочили на ноги, двое судорожно схватились друг за друга. Морган всем телом припал к земле.

— Это Флинт! — воскликнул Мерри.

Песня оборвалась так же резко, как началась, будто на середине ноты певцу сразу зажали рот. День был солнечный и ясный, голос поющего — живой и приятный, и я не мог понять испуга своих спутников.

— Полно вам! — сказал Сильвер, еле шевеля серыми, как пепел, губами.— Этак ничего у нас не выйдет. Делай крутой поворот, ребята. Конечно, все это очень чудно́, и я не знаю, кто это там куролесит, но уверен, что это не покойник, а живой человек.

Пока он говорил, к нему вернулось мужество, и лицо его чуть-чуть порозовело. Остальные тоже под влиянием его слов ободрились и как будто пришли в себя. И вдруг вдали опять раздался тот же голос. Но теперь он не пел, а кричал словно откуда-то издали, и его крик тихо пронесся невнятным эхом по расселинам Подзорной Трубы.

— Дарби Макгроу! — завывал он.— Дарби Макгроу!

Так он повторял без конца, затем выкрикнул непристойную ругань и снова завыл:

— Дарби, подай мне рому!

Разбойники приросли к земле, и глаза их чуть не вылезли на лоб. Голос давно уже замер, а они все еще стояли как вкопанные и молча глядели вперед.

— Дело ясное,— молвил один.— Надо удирать.

— Это были его последние слова! — простонал Морган.— Последние слова перед смертью.

Дик достал свою Библию и начал усердно молиться. Прежде чем уйти в море и стать бандитом, он воспитывался в набожной семье.

Один Сильвер не сдался. Зубы его стучали от страха, но он и слышать не хотел об отступлении.

— На этом острове никто даже и не слышал о Дарби,— бормотал он растерянно.— Никто, кроме нас...— Потом взял себя в руки и крикнул: — Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад, и никто — ни человек, ни дьявол — не остановит меня. Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаюсь мертвого. В четверти мили от нас лежат семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да к тому же еще и дохлого?

Но его слова не вернули разбойникам мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас.

— Молчи, Джон! — сказал Мерри.— Не оскорбляй привидение!

Остальные были до такой степени скованы страхом, что не могли произнести ни слова. У них даже не хватало смелости разбежаться в разные стороны. Страх заставлял их тесниться друг к другу, поближе к Сильверу, потому что он был храбрее их всех. А ему уже удалось до известной степени освободиться от страха.

— По-вашему, это — привидение? Может быть, и так,— сказал он.— Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень? Если нет тени, значит, нет и эха. Иначе быть не может.

Такие доводы показались мне слабыми. Но вы никогда не можете заранее сказать, что̀ подействует на суеверных людей.

К моему удивлению, Джордж Мерри почувствовал большое облегчение.

— Это верно,— сказал он.— Ну и башка же у тебя на плечах, Джон! Все в порядке, дорогие друзья! Вы просто взяли неправильный курс. Конечно, голос был вроде как у Флинта. И все же он был похож на другой... Скорее это голос...

— Клянусь дьяволом, это голос Бена Ганна! — проревел Сильвер.

— Правильно! — воскликнул Морган, приподнимаясь на колени.— Это был голос Бена Ганна!

— А велика ли разница? — спросил Дик.— Бен Ганн — покойник, и Флинт — покойник.

Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию.

— Плевать на Бена Ганна! — крикнул Мерри.— Живой он или мертвый, не все ли равно?

Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя и как быстро на их лицах опять заиграл румянец. Через несколько минут они как ни в чем не бывало болтали друг с другом и только прислушивались, не раздастся ли опять странный голос. Но все было тихо. И, взвалив на плечо инструменты, они двинулись дальше. Впереди шел Мерри, держа в руке компас Джона, чтобы все время быть на одной линии с Островом Скелета. Он сказал правду: жив ли Бен Ганн или мертв, его не боялся никто.

Один только Дик по-прежнему держал в руках свою Библию, испуганно озираясь по сторонам. Но ему уже никто не сочувствовал. Сильвер даже издевался над его суеверием.

— Я говорил тебе, что ты испортил свою Библию. Неужели ты думаешь, что привидение испугается Библии, на которой нельзя даже присягнуть? Как же! Держи карман! — И, приостановившись на миг, он щелкнул пальцами перед самым носом Дика.

Но Дика уже нельзя было успокоить словами. Скоро мне стало ясно, что он серьезно болен. От жары, утомления и страха лихорадка, предсказанная доктором Ливси, начала быстро усиливаться.

На вершине было мало деревьев, и идти стало значительно легче. Теперь мы спускались вниз, потому что, как я уже говорил, плоскогорье имело некоторый наклон к западу. Сосны — большие и маленькие — были отделены друг от друга широким пространством. И даже среди за-

рослей мускатного ореха и азалий то и дело попадались просторные, выжженные солнечным зноем поляны. Идя на северо-запад, мы приближались к склону Подзорной Трубы. Внизу под нами был виден широкий западный залив, где так недавно меня кидало и кружило в челноке.

Первое высокое дерево, к которому мы подошли, после проверки по компасу оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на двести футов. Это был великан растительного мира с красным стволом в несколько обхватов толщиной. Под его тенью мог бы маршировать целый взвод. С моря эта сосна, безусловно, была видна издалека и с восточной стороны острова и с западной, и ее можно было отметить на карте как мореходный знак.

Однако спутников моих занимали не размеры сосны: они были охвачены волнующим сознанием, что под ее широкой сенью зарыты семьсот тысяч фунтов стерлингов. При мысли о деньгах все их страхи исчезли. Вспыхнули глаза, шаги стали торопливее, тверже.

Они думали только об одном — о богатстве, ожидающем их, о беспечной, роскошной, расточительной жизни, которую принесет им богатство.

Сильвер, подпрыгивая, ковылял на своем костыле. Ноздри его раздувались. Он ругался как сумасшедший, когда мухи садились на его разгоряченное, потное лицо. Он яростно дергал за веревку, поглядывая на меня со смертельной ненавистью. Он больше уже не старался скрывать свои мысли. Я мог читать их, как в книге. Оказавшись наконец в двух шагах от желанного золота, он обо всем позабыл — и о своих обещаниях и о предостережениях доктора. Он, конечно, надеялся захватить сокровища, потом ночью найти «Испаньолу», перерезать всех нас и отплыть в океан, как замышлял вначале.

Потрясенный этими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за пиратами и часто спотыкался о камни. Тогда Сильвер дергал за веревку, бросая на меня кровожадные взоры. Дик плелся позади, бормоча молитвы и ругательства. Лихорадка его усиливалась. От этого я чувствовал себя еще более несчастным. Вдобавок перед моими глазами невольно вставала трагедия, когда-то разыгравшаяся в этих местах. Мне мерещился разбойник с посинев-

шим лицом, который умер в Саванне, горланя песню и требуя рома. Здесь собственноручно он убил шестерых. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных.

Мы вышли из зарослей.

— За мною, приятели! — крикнул Мерри.

И те, что шли впереди, кинулись бежать.

Внезапно, не пробежав и десяти ярдов, они остановились. Поднялся громкий ропот. Сильвер скакал на своей деревяшке, как бешеный. Через мгновение мы оба тоже внезапно остановились.

Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно, так как края у нее уже обвалились, а на дне росла трава. В ней мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок каленым железом была выжжена надпись: «Морж» — название судна, принадлежавшего Флинту.

Все было ясно. Кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровища — семьсот тысяч фунтов стерлингов исчезли.

ГЛАВА XXXIII

ПАДЕНИЕ ГЛАВАРЯ

Кажется, с тех пор как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли как пораженные громом. Сильвер первый пришел в себя. Всей душой стремился он к этим деньгам. Теперь он на мгновение окаменел, но лишь на мгновение. Он не потерял головы, овладел собой и успел изменить план своих будущих действий, прежде чем прочие поняли, какая беда их постигла.

— Джим,— прошептал он,— вот возьми и будь наготове.— И сунул мне в руку двуствольный пистолет.

В то же время он начал потихоньку двигаться к северу, так что яма очутилась между нами обоими и пятью разбойниками. Потом Сильвер посмотрел на меня и кивнул, словно говоря: «Положение нелегкое»,— и я был вполне с ним согласен. Теперь взгляд его снова стал ласков. Меня возмутило такое двуличие. Я не удержался и прошептал:

— Стало быть, вы снова изменили своим.

Но он ничего не успел мне ответить. Разбойники, крича и ругаясь, прыгали в яму и разгребали ее руками, разбрасывая доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету. Он поднял ее, изрыгая потоки брани. Монета была в две гинеи. Несколько мгновений переходила она из рук в руки.

— Две гинеи! — заревел Мерри, протягивая монету Сильверу.— Это, что ли, твои семьсот тысяч? Ты, кажется, любитель заключать договоры? По-твоему, тебе все всегда удается, дубина ты стоеросовая?

— Копайте, копайте, ребята,— сказал Сильвер с холодной насмешкой.— Авось выкопаете два-три земляных каштана.

— Два-три каштана! — в бешенстве взвизгнул Мерри.— Ребята, вы слышали, что он сказал? Говорю вам: он знал все заранее! Гляньте ему в лицо, там это ясно написано.

— Эх, Мерри! — заметил Сильвер.— Ты, кажется, снова намерен пролезть в капитаны? Ты, я вижу, напористый малый.

На этот раз решительно все были на стороне Мерри. Разбойники стали вылезать из ямы, с бешенством глядя на нас. Впрочем, на наше счастье, все они очутились на противоположной стороне.

Так стояли мы, двое против пятерых, и нас разделяла яма. Ни одна из сторон не решалась нанести первый удар. Сильвер стоял неподвижно. Хладнокровный и спокойный, он наблюдал за врагами, опираясь на свой костыль. Он действительно был смелый человек.

Наконец Мерри решил воодушевить своих сторонников речью.

— Друзья,— сказал он,— смотрите-ка, их всего только двое: один — старый калека, который привел нас сюда на погибель, другой — щенок, у которого я давно уже хочу вырезать сердце. Так вот, ребята...

Он поднял руку и возвысил голос, готовясь вести свой отряд в наступление. И вдруг — пафф, пафф, пафф! — в чаще грянули три мушкетных выстрела. Мерри свалился головой вниз, прямо в яму. Пират с повязкой на лбу завертелся юлой и рухнул на бок. Трое остальных пустились в бегство.

В то же мгновение Долговязый Джон выстрелил из обоих стволов своего пистолета прямо в Мерри, который пы-

тался выкарабкаться из ямы. Умирая, Мерри глянул своему убийце в лицо.

— Джордж,— сказал Сильвер,— теперь мы, я полагаю, в расчете.

В зарослях мускатного ореха мы увидели доктора, Грея и Бена Ганна. Мушкеты у них дымились.

— Вперед! — крикнул доктор.— Торопись, ребята! Мы должны отрезать их от шлюпок.

И мы помчались вперед, пробираясь через кусты, порой доходившие нам до груди.

Сильвер из сил выбивался, чтобы не отстать от нас. Он так работал своим костылем, что казалось, мускулы у него на груди вот-вот разорвутся на части. По словам доктора, и здоровый не выдержал бы подобной работы. Когда мы добежали до откоса, он отстал от нас на целых тридцать ярдов и совершенно выбился из сил.

— Доктор,— кричал он,— посмотрите! Торопиться нечего!

Действительно, спешить было некуда. Мы вышли на открытую поляну и увидели, что три уцелевших разбойника бегут в сторону холма Визань-мачты. Таким образом, мы уже находились между беглецами и лодками и могли спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая пот с лица, медленно подошел к нам.

— Благодарю вас от всего сердца, доктор,— сказал он.— Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих... А, так это ты, Бен Ганн? — прибавил он.— Ничего себе, хорош молодчик!

— Да, я Бен Ганн,— смущенно ответил бывший пират, извиваясь перед Сильвером, как угорь.— Как вы поживаете, мистер Сильвер?— спросил он после долгого молчания.— Кажется, неплохо?

— Бен, Бен,— пробормотал Сильвер,— подумать только, какую шутку сыграл ты со мной!

Доктор послал Грея за киркой, брошенной в бегстве разбойниками. Пока мы неторопливо спускались по откосу к нашим шлюпкам, доктор в нескольких словах рассказал, что случилось за последние дни. Сильвер жадно вслушивался в каждое слово. Полупомешанный пустынник Бен Ганн был главным героем рассказа.

По словам доктора, во время своих долгих одиноких скитаний по острову Бен отыскал и скелет и сокровища.

Это он обобрал скелет и выкопал из земли деньги, это его рукоятку от заступа видели мы на дне ямы. На своих плечах перенес он все золото из-под высокой сосны в пещеру двуглавой горы в северо-восточной части острова. Эта тяжкая работа, требовавшая многодневной ходьбы, была окончена всего лишь за два месяца до прибытия «Испаньолы».

Все это доктор выведал у него в день атаки на нашу крепость. Следующим утром, увидев, что корабль исчез, доктор пошел к Сильверу, отдал ему карту, которая теперь не имела уже никакого значения, и предоставил ему крепость со всеми припасами, так как пещера Бена Ганна была в изобилии снабжена соленой козлятиной, которую Бен Ганн заготовил своими руками. Благодаря этому мои друзья получили возможность, не подвергаясь опасности, перебраться из крепости на двуглавую гору, подальше от малярийных болот, и там охранять сокровища.

— Конечно, милый Джим,— прибавил доктор,— твоя участь очень огорчала меня, но прежде всего я должен был подумать о тех, кто добросовестно исполнял свой долг. В конце концов ты сам виноват, что тебя не было с нами.

Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он понял, что, узнав об исчезновении сокровищ, они выместят свою злобу на мне. Поэтому он оставил сквайра охранять капитана, захватил с собой Грея и Бена Ганна и направился наперерез через остров, прямо к большой сосне. Увидев дорогой, что наш отряд его опередил, он послал Бена Ганна вперед, так как у Бена были очень быстрые ноги. Тот решил тотчас же воспользоваться суеверием своих бывших товарищей и нагнал на них страху, а заодно и задержал их. Грей и доктор подоспели и спрятались невдалеке от сосны, прежде чем прибыли искатели клада.

— Как хорошо,— сказал Сильвер,— что со мной был Хокинс! Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня изрубили в куски.

— Еще бы! — ответил доктор Ливси со смехом.

Тем временем мы подошли к нашим шлюпкам. Одну из них доктор сейчас же разбил киркой, а в другой поместились мы все и поплыли вокруг острова к Северной бухте.

Нам пришлось проплыть не то восемь, не то девять миль. Сильвер, несмотря на смертельную усталость, сел за весла и греб наравне с нами. Мы вышли из пролива и оказались в открытом море. На море был штиль. Мы обогнули юго-восточный выступ острова, тот самый, который четыре дня назад огибала «Испаньола».

Проплывая мимо двуглавой горы, мы увидели темный вход в пещеру Бена Ганна и около него человека, который стоял, опершись на мушкет. Это был сквайр. Мы помахали ему платками и трижды прокричали «ура», причем Сильвер кричал громче всех.

Пройдя еще три мили, мы вошли в Северную бухту и увидели «Испаньолу». Она носилась по воде без руля и ветрил. Прилив поднял ее с мели. Если бы в тот день был ветер или если бы в Северной бухте было такое же сильное течение, как в Южной, мы могли бы лишиться ее навсегда. В лучшем случае ее выбросило бы далеко на берег. Но, к счастью, корабль был цел, если не считать порванного грота. Мы бросили в воду на глубину в полторы сажени запасный якорь. Потом на шлюпке отправились в Пьяную бухту — ближайший к сокровищнице Бена Ганна пункт. Там мы высадились, а Грея послали на «Испаньолу», чтобы он стерег корабль в течение ночи.

По отлогому склону поднялись мы к пещере. Наверху встретил нас сквайр.

Со мной он обошелся очень ласково. О моем бегстве не сказал ни одного слова: не хвалил меня и не ругал. Но, когда Сильвер учтиво отдал ему честь, он покраснел от гнева.

— Джон Сильвер,— сказал он,— вы гнусный негодяй и обманщик! Чудовищный обманщик, сэр! Меня уговорили не преследовать вас, и я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова...

— Сердечно вам благодарен, сэр,— ответил Долговязый Джон, снова отдавая ему честь.

— Не смейте меня благодарить! — крикнул сквайр.— Из-за вас я нарушаю свой долг! Отойдите прочь от меня!

Мы вошли в пещеру. Она была просторна и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистейшей воды и втекал в небольшое озерко, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный. Перед пылающим костром лежал капитан Смоллетт. А в дальнем углу тускло сияла груда золотых монет и штабеля слитков.

Это были сокровища Флинта — те самые, ради которых мы проделали такой длинный, утомительный путь, ради которых погибли семнадцать человек из экипажа «Испаньолы». А скольких человеческих жизней, скольких страданий и крови стоило собрать эти богатства! Сколько было потоплено славных судов, сколько замучено храбрых людей, которых заставляли с завязанными глазами идти по доске, перекинутой через борт! Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! На острове все еще находились трое: Сильвер, старый Морган и Бен,— которые некогда принимали участие во всех этих ужасных злодействах и теперь тщетно надеялись получить свою долю богатства.

— Войди, Джим,— сказал капитан.— Ты по-своему, может быть, и неплохой мальчуган, но даю тебе слово, что никогда больше я не возьму тебя в плавание, потому что ты из породы любимчиков... А, это ты, Джон Сильвер! Что привело тебя к нам?

— Вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр,— ответил Сильвер.

— А! — сказал капитан.

И не прибавил ни звука.

Как славно я поужинал в тот вечер, окруженный всеми моими друзьями! Какой вкусной показалась мне соленая козлятина Бена, которую мы запивали старинным вином, захваченным с «Испаньолы»! Никогда еще не было людей веселее и счастливее нас. Сильвер сидел сзади всех, подальше от света, но ел вовсю, стремительно вскакивал, если нужно было что-нибудь подать, и смеялся нашим шуткам вместе с нами — словом, опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым коком, каким был во время нашего плавания.

ГЛАВА XXXIV

И ПОСЛЕДНЯЯ

На следующее утро мы рано принялись за работу. До берега была целая миля. Нужно было перетащить туда все наше золото и оттуда в шлюпке доставить его на борт «Испаньолы» — тяжелая работа для такой немногочисленной кучки людей. Три разбойника, все еще бродившие

по острову, мало беспокоили нас. Достаточно было поставить одного часового на вершине холма, и мы могли не бояться внезапного нападения. Да, кроме того, мы полагали, что у этих людей надолго пропала охота к воинственным стычкам.

Мы трудились не покладая рук. Грей и Бен Ганн отвозили золото в лодке на шхуну, а прочие доставляли его на берег. Больше двух слитков золота, связанных веревкой и перекинутых через плечо, взрослому человеку было не снести, да и то приходилось шагать медленно. Так как мне носить тяжести было не под силу, меня оставили в пещере и велели насыпать деньги в мешки из-под сухарей.

Как и в сундуке Билли Бонса, здесь находились монеты самой разнообразной чеканки, но, разумеется, их было гораздо больше. Мне очень нравилось сортировать их. Английские, французские, испанские, португальские монеты, гинеи и луидоры, дублоны и двойные гинеи, муадоры и цехины, монеты с изображением всех европейских королей за последние сто лет, странные восточные монеты, на которых изображен не то пучок веревок, не то клок паутины, круглые монеты, квадратные монеты, монеты с дыркой посередине, чтобы их можно было носить на шее,— в этой коллекции были собраны деньги всего мира. Их было больше, чем осенних листьев. От возни с ними у меня ныла спина и болели пальцы.

День шел за днем, а нашей работе не было видно конца. Каждый вечер груды сокровищ отправляли мы на корабль, но не меньшие груды оставались в пещере. И за все это время мы ни разу ничего не слыхали об уцелевших разбойниках.

Наконец — если не ошибаюсь, на третий вечер,— когда мы с доктором поднимались на холм, снизу, из непроглядной тьмы, ветер внезапно принес к нам не то крик, не то песню. Как следует расслышать нам ничего не удалось.

— Прости им боже, это разбойники,— сказал доктор.

— Все пьяны, сэр,— услышал я за спиной голос Сильвера.

Сильвер пользовался полной свободой и, несмотря на всю нашу холодность, снова начал держать себя с нами, как привилегированный и дружелюбный слуга. Он как бы не замечал всеобщего презрения к себе и каждому старался услужить, был со всеми неустанно вежлив. Но

обращались все с ним, как с собакой. Только я и Бен Ганн относились к нему несколько лучше. Бен Ганн все еще боялся как огня прежнего своего квартирмейстера, а я был ему благодарен за свое спасение от смерти, хотя, конечно, имел причины думать о нем еще хуже, чем кто бы то ни был другой,— ведь я не мог позабыть, как он собирался предать меня вновь. Вот и сейчас доктор резко откликнулся на замечание Сильвера.

— А может быть, они больны и бредят...

— Правильно, сэр,— сказал Сильвер,— но нам с вами это вполне безразлично.

— Я полагаю, вы вряд ли претендуете на то, друг Сильвер, чтобы я считал вас сердечным, благородным человеком,— заметил насмешливо доктор,— и я знаю, что мои чувства покажутся вам несколько странными. Но если бы я был действительно уверен, что хоть один из них болен и в бреду,— а я не сомневаюсь, что по крайней мере одного из них треплет лихорадка,— я, даже рискуя своей жизнью, отправился бы к ним, чтобы оказать им врачебную помощь.

— Прошу прощения, сэр, вы сделали бы большую ошибку,— возразил Сильвер.— Потеряли бы свою драгоценную жизнь, только и всего. Я теперь на вашей стороне и душой и телом и не хотел бы, чтобы ваш отряд лишился такого человека, как вы. Я очень многим вам обязан. А эти люди ни за что не могли бы сдержать свое честное слово. Мало того, они никогда не поверили бы и вашему слову.

— Зато вы хорошо умеете держать свое слово,— сказал доктор.— В этом можно было убедиться недавно.

Больше о трех пиратах мы почти ничего не узнали. Только однажды до нашего слуха донесся отдаленный ружейный выстрел; мы решили, что они занялись охотой. Между нами состоялось совещание, и было постановлено не брать их с собой, а оставить на острове. Бен Ганн страшно обрадовался такому решению. Грей тоже его одобрил. Мы оставили им большой запас пороха и пуль, груду соленой козлятины, немного лекарств и других необходимых вещей, инструменты, одежду, запасной парус, несколько ярдов веревок и, по особому желанию доктора, изрядную порцию табака.

Больше нам нечего было делать на острове. Корабль был уже нагружен и золотом, и пресной водой, и на

всякий случай остатками соленой козлятины. Наконец мы подняли якорь и вышли из Северной бухты. Над нами развевался тот самый флаг, под которым мы сражались, защищая нашу крепость от пиратов.

Тут обнаружилось, что разбойники следили за нами гораздо внимательнее, чем мы думали, ибо, выйдя из пролива и приблизившись к южной оконечности острова, мы увидели их троих: они стояли на коленях на песчаной косе и с мольбой простирали к нам руки. Нам было тяжело оставлять их на необитаемом острове, но другого выхода у нас не было. Кто знает, не поднимут ли они новый мятеж, если мы возьмем их на корабль. Да и жестоко везти на родину людей, которых там ожидает виселица. Доктор окликнул их, сообщил им, что мы оставили для них пищу и порох, и принялся объяснять, как эти припасы найти. Но они называли нас по именам, умоляли сжалиться над ними и не дать им умереть в одиночестве.

Под конец, видя, что корабль уходит, один из них — не знаю, который — с диким криком вскочил на ноги, схватил свой мушкет и выстрелил. Пуля просвистела над головой Сильвера и продырявила грот.

Мы стали осторожнее и спрятались за фальшбортом. Когда я решился выглянуть из-за прикрытия, пиратов уже не было на косе, да и самая коса почти пропала из виду. А незадолго до полудня, к невыразимой моей радости, исчезла за горизонтом и самая высокая гора Острова Сокровищ.

Нас было так мало, что приходилось работать сверх сил. Капитан отдавал приказания, лежа на корме на матраце. Он поправился, но ему все еще был нужен покой. Мы держали курс на ближайший порт Испанской Америки, чтобы подрядить новых матросов: без них мы не решались идти домой. Ветер часто менялся и сбивал наш корабль с курса; кроме того, два раза испытали мы свирепые штормы и совсем измучились, пока добрались до Америки.

Солнце уже садилось, когда мы наконец бросили якорь в живописной закрытой гавани. Нас окружили лодки с неграми, мулатами и мексиканскими индейцами, которые продавали нам фрукты и овощи и были готовы ежеминутно нырять за брошенными в воду монетами. Добродушные лица (главным образом черные), вкусные тропические фрукты и, главное, огоньки, вспыхнувшие в городе,—

все это было так восхитительно не похоже на мрачный, залитый кровью Остров Сокровищ! Доктор и сквайр решили провести вечер в городе. Они захватили с собой и меня. На берегу мы встретились с капитаном английского военного судна, разговорились и отправились к нему на корабль. Там мы очень приятно провели время и вернулись на «Испаньолу», когда уже начался рассвет.

На палубе был только один человек — Бен Ганн, и, как только мы взошли на корабль, он принялся каяться и обвинять себя в ужасном проступке, делая самые дикие жесты. Оказалось, что Сильвер удрал. Бен признался, что сам помог ему сесть в лодку, так как был убежден, что нам всем угрожает опасность, «пока на борту остается этот одноногий дьявол». Но кок удрал не с пустыми руками. Он незаметно проломил переборку и похитил мешочек с деньгами — триста или четыреста гиней, которые, несомненно, пригодятся ему в дальнейших скитаниях. Мы были довольны, что так дешево от него отделались.

Не желая быть многословным, скажу только, что, взяв к себе на корабль нескольких новых матросов, мы прибыли благополучно в Бристоль.

«Испаньола» вернулась как раз к тому времени, когда мистер Блендли уже начал подумывать, не послать ли нам на помощь второй корабль. Из всего экипажа только пятеро вернулись домой. «Пей, и дьявол тебя доведет до конца» — вот пророчество, которое полностью оправдалось в отношении всех остальных. Впрочем, «Испаньола» все же оказалась счастливее того корабля, о котором пели пираты:

Все семьдесят пять не вернулись домой:
Они потонули в пучине морской.

Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, а другие, напротив, глупо, в соответствии со своим темпераментом. Капитан Смоллетт оставил морскую службу. Грей не только сберег свои деньги, но, внезапно решив добиться успеха в жизни, занялся прилежным изучением морского дела. Теперь он штурман и совладелец превосходного и хорошо оснащенного судна. Он женился и ныне уже отец семейства. Что же касается Бена Ганна, он получил свою тысячу фунтов и истратил все в три недели, или, точнее, в девят-

надцать дней, так как на двадцатый явился к нам нищим. Сквайр сделал с Беном именно то, чего Бен так боялся: дал ему место привратника в парке. Он жив до сих пор, ссорится и дружит с деревенскими мальчишками, а по воскресным и праздничным дням отлично поет в церковном хоре.

О Сильвере мы больше ничего не слыхали. Зловещий одноногий моряк навсегда ушел из моей жизни. Вероятно, он отыскал свою чернокожую жену и живет где-нибудь в свое удовольствие с нею и с Капитаном Флинтом. Будем надеяться на это, ибо его шансы на лучшую жизнь на том свете совсем невелики. Остальная часть клада — серебро в слитках и оружие — все еще лежит там, где ее зарыл покойный Флинт. И, по-моему, пускай себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. До сих пор мне снятся по ночам буруны разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос Капитана Флинта: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!»

Повесть
из времен войны
Алой и Белой розы

ПРОЛОГ

ДЖОН МЩУ-ЗА-ВСЕХ

Как-то раз после полудня поздней весною колокол на башне Тэнстоллского замка Мот зазвонил в неурочное время. Повсюду, в лесу и в полях, окружающих реку, люди побросали работу и кинулись навстречу звону; собрались и в деревушке Тэнстолл бедняки-крестьяне; они с удивлением прислушивались к колоколу.

В те времена — в царствование старого короля Генриха VI[1] — деревушка Тэнстолл имела почти такой же вид, как теперь. По длинной зеленой долине, спускающейся к реке, было разбросано десятка два домов, построенных из тяжелых дубовых бревен. Дорога шла через мост, потом подымалась на противоположный берег, исчезала в лесных зарослях и, вынырнув, тянулась до замка Мот и дальше, к аббатству Холивуд. Перед деревней, на склоне холма, стояла церковь, окруженная тисовыми деревьями. А кругом, куда ни кинешь взор, тянулись леса, над которыми возвышались вершины зеленых вязов и начинавших зеленеть дубов.

Возле самого моста на бугре стоял каменный крест; у креста собралась кучка людей — шесть женщин и долговязый малый в красной холщовой рубахе; они спорили о том, что может означать звон колокола. Полчаса назад через деревню проскакал гонец; у харчевни он вы-

[1] Генрих VI (Ланкастерский) — английский король, царствовавший в XV веке. Начавшаяся при нем междоусобная война между династиями Йорков и Ланкастеров, так называемая война Алой и Белой розы, привела к свержению в 1461 году Генриха VI.

пил кружку пива, не слезая с лошади,— так он торопился; но он и сам ничего не знал, он вез запечатанные письма сэра Дэниэла Брэкли сэру Оливеру Отсу — священнику, который управлял замком Мот, пока хозяин был в отъезде.

Внезапно раздался стук копыт; из леса выехал юный Ричард Шелтон, воспитанник сэра Дэниэла, и звонко проскакал по гулкому мосту. Он-то уж наверняка знает, что́ случилось,— его окликнули и попросили объяснить. Он охотно остановился. Это был загорелый сероглазый юноша лет восемнадцати в куртке из оленьей кожи с черным бархатным воротником; на голове у него был зеленый капюшон, за плечами висел стальной арбалет. Гонец, как оказалось, привез важные известия. Предстояла битва. Сэр Дэниэл прислал приказ собрать всех мужчин, способных натягивать лук или тащить алебарду, и гнать как можно скорее в Кэттли, а всем, кто ослушается, он грозил своим гневом; но о том, с кем и где придется сражаться, Дик не знал ничего. Скоро явится сюда сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч уже вооружается, потому что вести отряд поручено ему.

— Война — разорение для нашей доброй страны,— сказала одна из женщин.— Когда бароны воюют, крестьяне едят корни и траву.

— Нет,— сказал Дик.— Всякий, кто пойдет за сэром Дэниэлом, будет получать по шесть пенсов в день, а лучники — по двенадцать.

— Для тех, кто останется жив,— ответила женщина,— оно, быть может, и так. Ну, а те, кого убьют, сударь?

— Умереть за своего законного господина — лучшая смерть на свете,— сказал Дик.

— Он мне не господин,— сказал малый в красной рубахе.— Я стоял за Уэлсингэмов; все мы здесь, в Брайерли, стояли за Уэлсингэмов; так было до сретенья позапрошлого года. А теперь я должен стоять за Брэкли! И все по закону! Где ж справедливость? Нас совсем одолел этот сэр Дэниэл со своим сэром Оливером, который постиг все законы, кроме законов чести, между тем, как у меня один-единственный законный господин — несчастный король Гарри Шестой, благослови его бог, который сейчас все равно, что малое дитя, еще не научившееся отличать правую руку от левой.

— Скверный у тебя язык, приятель,— ответил Дик.— Ты клевещешь и на своего славного господина и на его величество короля. Но король Гарри — хвала святым! — снова в добром разуме и скоро восстановит мир. Какой ты смелый, когда сэр Дэниэл не слышит тебя! Ну, да я не доносчик. И довольно об этом!

— На вас, мастер Ричард, я не держу зла,— проговорил крестьянин.— Вы еще мальчик. А вот вырастете и увидите, что карманы ваши пусты. Больше я ничего не скажу. Да помогут святые соседям сэра Дэниэла и да защитит богородица его воспитанников!

— Клипсби! — сказал Ричард.— Честь моя не позволяет мне внимать таким речам. Сэр Дэниэл—мой добрый господин и мой опекун.

— Ну, если так,— сказал Клипсби,— я вам задам загадку. На чьей стороне сэр Дэниэл?

— Не знаю,— ответил Дик и слегка покраснел, потому что его опекун в это смутное время беспрестанно переходил с одной стороны на другую и после каждой измены богатства его увеличивались.

— Никто этого не знает,— сказал Клипсби.— Он ложится спать сторонником Ланкастера, а просыпается сторонником Йорка.

На мосту раздался стук железных подков; все обернулись и увидели скачущего Беннета Хэтча. Это был седеющий мужчина с тяжелой рукой и суровым обветренным лицом; на голове у него был стальной шлем, на плечах — кожаная куртка, меч на поясе и копье в руке. Он был большой человек в тех краях — правая рука сэра Дэниэла в мирное и военное время, а сейчас, по приказу своего господина,— бейлиф округа.

— Клипсби,— крикнул он,— отправляйся в замок Мот и пошли туда всех остальных бездельников! Оружейник выдаст тебе кольчугу и шлем. Мы должны двинуться в путь до вечернего звона. Смотри же, кто явится на сбор последним, того сэр Дэниэл накажет. Помни об этом! Я знаю, какой ты мошенник! Нэнс,— прибавил он, обращаясь к одной из женщин,—старик Эппльярд в деревне?

— Копается у себя в огороде,— ответила женщина.— Где же ему быть?

Народ разошелся. Клипсби лениво побрел через мост, а Беннет и юный Шелтон поехали вместе вверх по дороге через деревню и миновали церковь.

— Поглядим на старого ворчуна,— сказал Беннет.— Он будет так длинно восхвалять Гарри Пятого, что, слушая его болтовню, успеешь подковать лошадь. И все оттого, что он воевал с французами!

Дом, к которому они направлялись, стоял особняком в самом конце деревни среди кустов сирени; с трех сторон его огибали луга, тянувшиеся до опушки леса.

Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор и вместе с Диком пошел в поле, где старый солдат, стоя по колена в капусте, рыл землю и время от времени запевал надтреснутым голосом начало какой-то песни. Вся одежда его была кожаная; только капюшон и воротник были сделаны из черной байки и завязаны красными тесемками; лицо Эппльярда и цветом и морщинами напоминало скорлупу грецкого ореха; но его старые серые глаза были еще ясны и видели хорошо. То ли он был глуховат, то ли считал недостойным старого стрелка, участвовавшего в битве при Ажинкуре, обращать внимание на всякие мелочи, но ни громкие призывы набата, ни появление Беннета с мальчиком не сдвинули его с места. Он продолжал упрямо копать землю, напевая очень тонким, скрипучим голосом:

Леди, леди, умоляю,
Пожалей меня.

— Ник Эппльярд,— сказал Хэтч,— сэр Оливер шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть в замок Мот и принять начальство над гарнизоном.

Старик поднял голову.

— Да храни вас бог, господа,— проговорил он насмешливо.— А куда отправляется мастер Хэтч?

— Мастер Хэтч едет в Кэттли и забирает с собой всех, кто может сесть на коня,— ответил Беннет.— Предстоит битва, и моему господину требуются подкрепления.

— Ах, вот как! — сказал Эппльярд.— А сколько человек ты оставишь мне?

— Я оставлю тебе шесть добрых молодцов и сэра Оливера в придачу,— ответил Хэтч.

— Этого недостаточно,— сказал Эппльярд.— Для защиты замка требуется человек сорок.

— Вот потому мы к тебе и обратились, старый ворчун! — ответил Хэтч.— Кто, кроме тебя, может защитить такой замок с таким гарнизоном?

— Ага! Когда болит мозоль, вспоминают о старом башмаке,— сказал Ник.— Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алебарду держать. А как вы все стреляете из лука, святой Михаил! Если бы старик Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять в себя и платил по фартингу за выстрел.

— Нет, Ник, есть еще люди, которые умеют как следует натянуть тетиву,— сказал Беннет.

— Натянуть тетиву? — вскричал Эппльярд.— Да, натянуть тетиву умеют и сейчас! А покажите мне хоть один хороший выстрел! Для хорошего выстрела нужен верный глаз, нужна голова на плечах. Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы хорошим, Беннет Хэтч?

— Если бы чья-нибудь стрела долетела отсюда до леса,— сказал Беннет, озираясь,— это был бы славный выстрел на дальнее расстояние.

— Да, это был бы хороший выстрел,— сказал старик, глядя через плечо.— Отсюда до леса далеко.

Внезапно он поднес руку к глазам и стал из-под руки разглядывать что-то вдали.

— Кого ты там увидел? — спросил, смеясь, Беннет.— Уж не Гарри ли Пятого?

Старый солдат ничего не ответил и продолжал смотреть вдаль.

Солнце ярко озаряло луга на отлогих склонах холмов; белые овцы щипали траву; было тихо; только далекий колокол гудел, не умолкая.

— Ну, что там, Эппльярд? — спросил Дик.

— Птицы,— сказал Эппльярд.

И действительно, там, где лес врезывался в луга длинным клином, кончавшимся двумя зелеными вязами, как раз на расстоянии полета стрелы от поля Эппльярда, испуганно металась стая птиц.

— Что нам за дело до птиц? — сказал Беннет.

— Вот ты, мастер Беннет, отправляешься на войну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что птицы — прекрасные часовые,— ответил Эппльярд.— Они первые дают знать о предстоящей битве. Если бы мы сейчас находились в лагере, я бы сказал, что нас выслеживают вражеские стрелки. А ты бы ничего не заметил!

— Брось, старый ворчун! — сказал Хэтч.— Поблизости нет никаких стрелков, кроме тех, которыми командует сэр Дэниэл в Кэттли; мы с тобой тут в безопасности, слов-

но в лондонском Тауэре, а ты пугаешь людей из-за каких-то зябликов и воробьев!

— Нет, вы только послушайте его! — ухмыльнулся Эппльярд.— Да разве мало здесь негодяев, которые дали бы отрезать себе оба уха, чтобы застрелить меня или тебя! Святой Михаил! Да мы им ненавистнее, чем парочка хорьков!

— Они ненавидят сэра Дэниэла, а не нас,— ответил Хэтч, помрачнев.

— Они ненавидят сэра Дэниэла и всех, кто ему служит,— сказал Эппльярд.— И особенно им ненавистны Беннет Хэтч и старый Николас-лучник. Вот ответь: если бы там, на опушке леса, находился ловкий малый, а мы с тобой стояли бы так, что ему удобно было бы целиться в нас (как мы, клянусь святым Георгием, и стоим сейчас!), кого бы он выбрал: тебя или меня?

— Бьюсь об заклад, тебя,— ответил Хэтч.

— Ставлю свою куртку против кожаного пояса, что тебя! — вскричал старый стрелок.— Ведь это ты сжег Гримстон, и уж будь покоен, Беннет, они тебе этого не простят. А я и так, с божьей помощью, скоро попаду в надежное место, где меня не достанет ни стрела, ни пушечное ядро. Я старый человек и быстро приближаюсь туда, где мне уготовано ложе. А тебя, Беннет, я покину, на твою погибель, в этом мире, и если тебе дадут дожить до моих лет и не повесят, значит, истинный английский дух утас.

— Ты самый болтливый дурак во всем Тэнстоллском лесу,— сказал Хэтч, которого явно покоробило от такого пророчества.— Делай свое дело, снаряжайся в путь, пока не пришел сэр Оливер, да попридержи свой язык. Если ты столько разговаривал с Гарри Пятым, в его ушах звону было больше, чем в его кармане.

Стрела пропела в воздухе, как большой шершень, впилась старому Эппльярду между лопаток и пронзила его насквозь. Он упал лицом в капусту. Хэтч резко вскрикнул и подскочил; потом согнулся вдвое и побежал к дому, ища прикрытия. А Дик Шелтон спрятался за кустом сирени, прижал свой арбалет к плечу, натянул тетиву и стал целиться в выступ леса.

Ни один листок не шелохнулся. Овцы спокойно щипали траву; птицы уселись на ветви. Между тем старик лежал, и из спины его торчала стрела, Хэтч стоял в сенях за

дверью, и Дик затаился за кустом сирени, готовый пустить стрелу.

— Вы кого-нибудь видите? — крикнул Хэтч.

— Ни одна ветка не движется,— ответил Дик.

— Стыдно так оставлять старика,— сказал Беннет и нерешительно шагнул вперед; лицо его побледнело.— Следите за лесом, мастер Шелтон, не спускайте глаз с леса. Да помогут нам святые! Но каков выстрел!

Беннет приподнял старого стрелка и положил к себе на колено. Он был еще жив; лицо его подергивалось, полные мучительной боли глаза то открывались, то закрывались.

— Ты слышишь меня, старый Ник? — спросил Хэтч.— Нет ли у тебя какого-нибудь последнего желания, старина?

— Выньте стрелу и дайте мне умереть, во имя богоматери! — задыхаясь, сказал Эппльярд.— Я покончил со старой Англией. Выньте стрелу!

— Мастер Дик,— сказал Беннет,— подойдите и дерните хорошенько стрелу. Он сейчас отойдет, бедный грешник.

Дик положил свой арбалет и с силой выдернул стрелу из раны. Хлынула кровь; старый лучник кое-как приподнялся на ноги, призвал бога и рухнул мертвым. Хэтч, стоя на коленях среди капусты, усердно молился о спасении отлетавшей души. Но видно было, что даже во время молитвы мысли его заняты другим: он не сводил глаз с того уголка леса, откуда прилетела стрела. Окончив молитву, он встал, снял железную рукавицу и вытер лицо, бледное и мокрое от страха.

— Теперь моя очередь,— сказал он.

— Кто его убил, Беннет?— спросил Ричард, все еще держа в руке стрелу.

— Одним святым это ведомо,— сказал Хэтч.— Мы с ним выгнали из домов и усадеб по крайней мере сорок христианских душ. Он уже уплатил свой долг, бедный ворчун; быть может, скоро придется платить и мне. Сэр Дэниэл правит слишком сурово.

— Странная стрела,— сказал мальчик, вертя стрелу в руке.

— И правда, странная! — воскликнул Беннет.— Черная, с черным оперением. Зловещая стрела! Черный цвет, говорят, предвещает похороны. На ней что-то написано. Сотрите кровь. Прочитали?

— «Эппльярду от Джона Мщу-за-всех»,— прочел Шелтон.— Что это значит?

— Дело плохо,— сказал слуга сэра Дэниэла, опустив голову.— Джон Мщу-за-всех! Ну и прозвище у этого негодяя! Но чего ради мы стоим здесь, словно мишень для стрельбы? Берите его за ноги, добрый мастер Шелтон, а я возьму за плечи, и отнесем его в дом. Какой страшный удар для бедного сэра Оливера! Он побелеет, как бумага, и будет молиться, размахивая руками, словно ветряная мельница.

Они подняли старого лучника и отнесли в дом, где он жил один. Положив его на пол, чтобы не пачкать тюфяка, они старательно выпрямили его руки и ноги.

В доме у Эппльярда было чисто и голо. Кровать, покрытая синим одеялом, шкаф, большой сундук, два табурета, откидной стол возле камина — вот и вся обстановка.

На стенах висели луки и кольчуги старого воина. Хэтч разглядывал все с любопытством.

— У Ника были деньги,— сказал он.— Он накопил фунтов шестьдесят. Хорошо бы их найти! Когда теряешь старого друга, мастер Шелтон, лучшее утешение — стать его наследником. Посмотрите, какой сундук. Бьюсь об заклад, там груда золота. Он легко брал и с трудом отдавал, этот Эппльярд-лучник. Упокой, господи, его душу! Почти восемьдесят лет он ходил по земле и добывал добро; а теперь он лежит себе на спине, и ничего ему больше не надо. И если все добро достанется его приятелю, бедному ворчуну, наверное, будет веселее в небесах.

— Оставь, Хэтч,— сказал Дик.— Имей уважение к его незрячим глазам. Неужели ты хочешь обокрасть мертвеца? Смотри, он рассердится и встанет!

Хэтч несколько раз перекрестился; однако краска вернулась к его щекам, и он не хотел отказаться от своего замысла. Сундуку пришлось бы плохо, но внезапно скрипнула калитка, отворилась дверь, и в дом вошел рослый человек в стихаре и черной рясе, на вид лет пятидесяти, румяный и черноглазый.

— Эппльярд! — проговорил вошедший и вдруг замер.— Дева Мария! — воскликнул он.— Да защитят нас святые! Что это за шутки?

— Скверные шутки, сэр священник,— ответил Хэтч без особенного уныния в голосе.— Эппльярда застрелили у дверей его собственного дома, и теперь он входит во

врата чистилища. Там, если говорят правду, ему не понадобится ни кадило, ни свечка.

Сэр Оливер с трудом добрался до табуретки и сел на нее, дрожащий и бледный.

— Вот он, божий суд! О, какой удар! — произнес он сквозь слезы и начал торопливо бормотать молитвы.

Хэтч набожно снял свой шлем и опустился на колени.

— За что его убили, Беннет? — спросил священник, очнувшись.— И кто это сделал?

— Вот стрела, сэр Оливер. Посмотрите, что на ней написано,— сказал Дик.

— Такое имя противно даже выговорить! — воскликнул священник.— Джон Мшу-за-всех! Вполне подходящее прозвище для еретика! И зловещая черная стрела! Господа, эта стрела мне не нравится. Надо посоветоваться. Кто бы это мог быть? Подумай, Беннет. Кто из бесчисленных наших недоброжелателей способен с такою дерзостью выступить против нас? Симнэл? Сомневаюсь. Уэлсингэмы? Нет, до этого они еще не дошли; они еще надеются победить нас с помощью закона, когда переменятся времена. Может быть, Саймон Мэлмсбэри? Как думаешь, Беннет?

— А не кажется ли вам, сэр,— сказал Хэтч,— что это Эллис Дэкуорт?

— Нет, Беннет, никогда! Нет, не он,— проговорил священник.— Бунт, Беннет, никогда не начинается снизу,— все здравомыслящие летописцы сходятся в этом. Бунт всегда идет сверху вниз; когда Дики, Томы и Гарри хватаются за свои алебарды, вглядись внимательно и увидишь, кому из лордов это выгодно. Сэр Дэниэл, как известно, снова примкнул к партии королевы и в немилости у лордов партии Йорка. Они-то и нанесли нам удар, Беннет. Подробности я еще выясню, но главное мне уже ясно.

— Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не правы,— сказал Беннет.— В стране начинается пожар, и я давно уже чую запах гари. Бедный грешник Эппльярд тоже чуял этот запах. С вашего позволения, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без обиняков: вот вы оба, служитель церкви и лорд, держащий нос по ветру, разоряете, грабите, избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон — каким уж образом, я не знаю,— всегда оказывается на вашей стороне. Вы дума-

ете, на том и делу конец? Как бы не так! С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограбленный вами человек непременно затаит ярость, и в какой-нибудь несчастный день, когда его попутает нечистый, он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу длиною в целый ярд.

— Ты все врешь, Беннет, и твое счастье, Беннет, что я ни во что не ставлю твою болтовню,— сказал сэр Оливер.— Ты пустомеля, Беннет, болтун и трещотка! У тебя рот до ушей, Беннет, и я очень советую тебе его сократить.

— Я не скажу больше ни слова. Пусть будет по-вашему,— ответил Хэтч.

Священник встал с табуретки и из футляра, висевшего у него на груди, вынул сургуч, свечку, кремень и огниво. Хэтч уныло смотрел, как он накладывает печать сэра Дэниэла на шкаф и на сундук. Когда печати были наложены, все трое осторожно выскользнули из дома и добрались до своих коней.

— Нам пора уже быть в пути, сэр Оливер,— сказал Хэтч, помогая священнику всунуть ногу в стремя.

— Многое изменилось, Беннет,— ответил священник.— Я хотел оставить Эппльярда в замке, но Эппльярд убит, упокой господи его душу! Я оставлю тебя, Беннет. Я хочу, чтобы в эти дни, когда кругом летают черные стрелы, возле меня был верный человек. «Стрела во дне летящая», говорится в Евангелии; не помню, как там дальше, я нерадивый священник, я слишком погружен в мирские дела. Скорей, скорей, Хэтч! Всадники, наверно, уже у церкви.

Они помчались по дороге; ветер раздувал полы священнической рясы; за их спинами медленно подымавшиеся тучи уже скрыли солнце. Они проскакали мимо трех домиков, раскинувшихся на окраине деревушки Тэнстолл, свернули на повороте и увидели церковь. Перед нею толпилась дюжина домишек, а за нею начинались луга. У ворот кладбища собралось человек двадцать; одни уже сидели в седлах, другие стояли возле своих лошадей. Вооружены они были кое-как и все по-разному: у одного копье, у другого алебарда, у третьего лук; на многих лошадях еще не засохла грязь пашни: это были самые захудалые из местных крестьян, так как все лучшие кони и люди давно уже ушли в поход вместе с сэром Дэниэлом.

— Клянусь крестом Холивуда, отряд неплохой! Сэр Дэниэл будет доволен,— сказал священник, подсчитывая воинов.

— Кто идет? — проревел Беннет.— Стой, если ты честный человек!

Кто-то крался по церковному двору между вязами; услышав окрик Хэтча, незнакомец перестал скрываться и со всех ног бросился к лесу. Люди, стоявшие в воротах, только сейчас увидели незнакомца и встрепенулись. Пешие кинулись к лошадям, верховые сразу поскакали в погоню; но им пришлось огибать церковь и кладбище, и скоро стало ясно, что добыча ускользнет от них. Хэтч, громко ругаясь, хотел перескочить через изгородь, но конь его отказался прыгать, и всадник шлепнулся в пыль.

Хотя он сразу же вскочил на ноги и схватил коня за узду, время было упущено, и беглец находился уже так далеко, что не оставалось никакой надежды догнать его.

Умнее всех поступил Дик Шелтон. Вместо того, чтобы напрасно гнаться за беглецом, он снял со спины свой арбалет, натянул его и вложил в него стрелу; потом повернулся к Беннету и спросил, нужно ли стрелять.

— Стреляй! Стреляй!— закричал священник с кровожадной яростью.

— Попадите в него, мастер Дик,— сказал Беннет.— Пусть он свалится, как спелое яблочко.

Беглецу оставалось сделать всего несколько прыжков, чтобы оказаться в безопасности, но конец луга круто подымался вверх по склону холма, и бежать приходилось медленно. Уже начались сумерки, и попасть в бегущего человека было нелегко. Целясь, Дик почувствовал нечто вроде жалости; по правде сказать, он хотел бы промахнуться. Стрела полетела.

Человек споткнулся и упал; Хэтч радостно вскрикнул, и все кругом закричали. Но радовались они преждевременно. Человек с легкостью поднялся, издевательски махнул им на прощание своей шляпой и исчез в чаще леса.

— Чума его возьми! — крикнул Беннет.— У него ноги быстрые, как у вора, клянусь святым Бенбери! Однако вы его ранили, мастер Шелтон. Он украл вашу стрелу, но я о ней не жалею!

— Зачем он тут шатался, возле церкви? — спросил сэр Оливер.— Чует мое сердце, что не к добру. Клипсби, дружок, слезь с коня и пошарь хорошенько среди вязов.

Клипсби скоро вернулся с какой-то бумагой в руках.

— Вот этот листок был приколот к церковным дверям,— сказал он, подавая его священнику.— Больше я ничего не нашел, сэр.

— Клянусь могуществом нашей матери-церкви,— вскричал сэр Оливер,— это похоже на святотатство! Только королю или лорду можно разрешить вывешивать приказы на церковных дверях. Но чтобы всякий бродяга в зеленой куртке мог прибивать бумаги к церковным дверям!.. Нет, это слишком похоже на святотатство. Многих сжигали и не за такие преступления! Но что здесь написано? Смотрите, как скоро стемнело! Мастер Ричард, дружок, у тебя молодые глаза. Прочти мне, пожалуйста, эту писульку.

Дик Шелтон взял у него бумагу и прочел ее вслух. Это были грубые, кое-как срифмованные вирши, полуграмотно написанные крупными буквами:

Четыре я стрелы пущу,
И четверым я отомщу,
Злодеям гнусным четверым,
Старинным недругам моим.

Одной стрелы уж нет — пронзен
Злой Эппльярд, и умер он.
Стрела вторая ищет встреч
С тобою, мастер Беннет Хэтч.

Третьей стреле сэр Оливер мил,
Что Гарри Шелтона убил.
Сэр Дэниэл, исчадье зла,
Тебе четвертая стрела!

Они черны и до конца
Вонзятся в черные сердца!
Они без промаха летят
И никого не пощадят.

Джон Мщу-за-всех из Зеленого леса
и его веселые товарищи.

Кстати, у нас в запасе есть стрелы и хорошие пеньковые веревки для всех ваших сторонников.

— Куда девалось милосердие? Где христианские добродетели? — горестно воскликнул сэр Оливер.— Господа,

мы живем в скверном мире, и с каждым днем он становится все хуже! Я готов поклясться на кресте Холивуда, что я так же неповинен в убийстве славного рыцаря, о котором здесь говорится, как новорожденный младенец! Да никто его не убивал! Это — заблуждение, есть еще живые свидетели.

— Напрасно вы об этом говорите, сэр священник,— сказал Беннет.— Совсем ненужный разговор.

— Нет, мастер Беннет, ты не прав. Знай свое место, добрый Беннет,— ответил священник.— Я докажу свою невиновность. Я вовсе не желаю быть убитым по ошибке. Беру всех в свидетели, что я чист в этом деле. В то время меня даже не было в замке Мот. Меня отослали куда-то по делу, когда еще не было девяти часов.

— Сэр Оливер,— перебил его Хэтч,— так как вам не угодно прервать эту проповедь, я приму свои меры. Гофф, труби, чтобы садились на коней.

Пока трубила труба, Беннет подошел вплотную к удивленному священнику и яростно зашептал ему в ухо.

Священник взглянул на Дика Шелтона с испугом, и Дик заметил этот взгляд. Дику было над чем поразду мать. Ведь сэр Гарри Шелтон был его родной отец. Но он не сказал ни слова, и ни один мускул не дрогнул на его лице.

Хэтч и сэр Оливер между тем обсуждали изменившуюся обстановку. В замке Мот решено было оставить десять человек — они же должны были охранять священника на его пути через лес. Так как Беннет теперь оставался при гарнизоне, командование отрядом, который отправляли на подкрепление к сэру Дэниэлу, поручили Дику Шелтону. Другого выбора не было: отряд состоял из темных, неповоротливых людей, неопытных в военном деле, а Дика любили: он был смел и не по годам рассудителен. Хотя всю юность свою он прожил в глуши, он получил кое-какое образование: сэр Оливер выучил его грамоте, а Хэтч — владеть оружием и командовать войсками. Беннет Хэтч всегда хорошо относился к Дику; он был из тех людей, которые жестоки к врагам, но по-своему, грубовато преданны друзьям. И теперь, когда сэр Оливер скрылся в ближайшем доме, чтобы написать своим четким, красивым почерком донесение обо всех последних событиях сэру Дэниэлу Брэкли, Беннет подошел к своему ученику, чтобы пожелать ему успеха.

— Идите дальним путем, в обход, мастер Шелтон,— сказал он.— Держитесь подальше от моста, если вам дорога́ жизнь. Пусть в пятидесяти шагах перед вами все время идет верный человек. Соблюдайте осторожность, пока не минуете лес. Если негодяи нападут на вас, удирайте. Принимать бой вам не следует: вас слишком мало. И удирайте вперед, мастер Шелтон, а не назад, если вам дорога жизнь; помните, что здесь, в Тэнстолле, некому вам помочь. Так как и вы отправляетесь на великую войну за короля и я остаюсь здесь, где жизни моей грозит опасность, и так как только святые знают, увидимся ли мы еще с вами на этом свете, позвольте дать вам мое последнее напутствие: остерегайтесь сэра Дэниэла. Доверять ему нельзя. Не полагайтесь на этого шута священника: он не злой человек, но он исполняет чужую волю; он орудие сэра Дэниэла! Там, куда вы направляетесь, найдите себе хорошего покровителя; приобретайте дружбу сильных людей. И поминайте в своих молитвах Беннета Хэтча. На свете немало негодяев и хуже Беннета. Желаю вам удачи!

— Да поможет тебе бог! — ответил Дик.— Ты всегда относился ко мне по-дружески, и я этого не забуду.

— Послушайте,— прибавил Хэтч смущенно,— если этот Мщу-за-всех проткнет меня стрелой, пожертвуйте золотую марку,— нет, лучше целый фунт, за упокой моей бедной души. А то, боюсь, как бы мне не пришлось скверно в чистилище.

— Твоя воля будет исполнена, Беннет,— ответил Дик.— Но ты напрасно тревожишься, друг. Там, где мы с тобой скоро встретимся, тебе будет нужней эль, чем заупокойная обедня.

— Дай-то бог, мастер Дик! — сказал Хэтч.— Но вот идет сэр Оливер. Если бы он так же ловко владел луком, как владеет пером, из него вышел бы славный воин.

Сэр Оливер вручил Дику запечатанный пакет, на котором было написано: «Моему глубокочтимому господину сэру Дэниэлу Брэкли, рыцарю. Передать немедленно».

Дик сунул пакет за пазуху, приказал отряду следовать за собой и двинулся из деревушки на запад.

КНИГА ПЕРВАЯ

ДВА МАЛЬЧИКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОД ВЫВЕСКОЙ «СОЛНЦА» В КЭТТЛИ

Сэр Дэниэл и его воины разместились на эту ночь в Кэттли и ближайших окрестностях по теплым, хорошо охраняемым домам. Но тэнстоллский рыцарь был из тех людей, которые ни на минуту не прекращают погоню за деньгами; и даже теперь, накануне похода, в котором он должен был либо победить, либо погибнуть, он поднялся в час ночи, чтобы выколотить деньги из своих бедных соседей. Он наживался на спорных наследствах. Обычно он покупал право наследства у какого-нибудь безнадежного претендента и потом с помощью могущественных лордов, окружавших короля, добивался неправильных решений в свою пользу; если же это было слишком хлопотно, он попросту захватывал спорное поместье силой оружия, а затем с помощью своих связей и сэра Оливера, который умел вертеть законами как угодно, удерживал захваченное. Таким способом совсем недавно он наложил свою лапу и на деревню Кэттли; здесь он все еще встречал отпор со стороны крестьян, и, чтобы запугать недовольных, он и привел сюда свои войска.

В два часа ночи сэр Дэниэл сидел в харчевне возле самого очага, так как по ночам в окруженном болотами Кэттли было холодно. У его локтя стояла кружка эля, приправленного пряностями, он снял свой шлем с забралом и сидел — лысый, тощий, смуглый, закутанный в кроваво-красный плащ,— опустив голову на руку. В дальних углах комнаты расположились его воины — человек двенадцать; одни из них караулили у двери, другие спали на скамьях; несколько ближе, на полу, завернувшись в плащ, спал мальчик лет двенадцати-тринадцати. Хозяин «Солнца» стоял перед своим господином.

— Слушайся моих повелений, хозяин,— говорил сэр Дэниэл,— и я всегда буду тебе добрым господином. Я желаю, чтобы моими деревнями управляли хорошие люди; я желаю, чтобы Адам-э-Мор был избран главным констеб-

лем; позаботься об этом. Если вы изберете другого, вам будет плохо. Я вам спускать не собираюсь, вы все провинились передо мной, потому что вы все платили оброк Уэлсингэму. И ты тоже платил, мой любезный.

— Славный рыцарь,— сказал хозяин,— я готов присягнуть на кресте Холивуда, что я платил Уэлсингэму только по принуждению. Нет, достойный рыцарь, я не люблю негодных Уэлсингэмов. Они бедны, словно воры, достойный рыцарь. Мне по сердцу могущественные лорды вроде вас. Спросите кого угодно,— все скажут, что я всегда стоял за Брэкли.

— Может быть,— сухо проговорил сэр Дэниэл.— И поэтому ты заплатишь вдвое.

Кабатчик скорчил гримасу, впрочем, в те беспокойные времена подобные невзгоды были не в диковинку, и в глубине души он, вероятно, был рад, что так дешево отделался.

— Введи старика, Сэлдэн! — крикнул рыцарь.

Один из воинов ввел в комнату оборванного, сгорбленного старика, бледного, как свеча, и дрожащего от болотной лихорадки.

— Как тебя зовут? — спросил сэр Дэниэл.

— С позволения вашей милости,— ответил старик,— меня зовут Кондолл. Кондолл из Шорби, с разрешения вашей милости.

— Мне рассказывали о тебе много дурного,— сказал рыцарь.— Ты, оказывается, изменник, негодяй! Шляешься повсюду и разносишь небылицы. Тебя подозревают в убийстве не одного человека. Вот какой ты, оказывается, храбрец! Не беспокойся, я тебя усмирю!

— Глубокочтимый и высокоуважаемый лорд,— вскричал старик,— тут какая-то путаница! Я бедный человек, я никогда никого не обижал.

— Помощник шерифа отзывался о тебе очень скверно,— сказал рыцарь.— «Схватите,— велел он,— этого Тиндэла из Шорби».

— Меня зовут Кондолл, мой добрый лорд,— сказал несчастный.

— Кондолл или Тиндэл — это все равно,— холодно ответил сэр Дэниэл.— Ты попался, и я сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею от петли, напиши мне сейчас же обязательство уплатить двадцать фунтов.

— Двадцать фунтов, мой добрый лорд! — вскрикнул Кондолл.— Это безумие! Все мое имущество не стоит и семидесяти шиллингов.

— Кондолл или Тиндэл,— сказал сэр Дэниэл, осклабившись,— я готов пойти на этот риск. Напиши мне обязательство на двадцать фунтов, я получу с тебя все, что могу, и по своей доброте прощу тебе остальное.

— Увы, мой добрый лорд, я не умею писать,— сказал Кондолл.

— Увы, мой бедный Кондолл,— передразнил его рыцарь,— придется принять крутые меры. Мне так хотелось пощадить тебя, Тиндэл, но совесть не позволяет... Сэлдэн, возьми этого старого ворчуна и подведи его потихонечку к ближайшему вязу да повесь там понежнее за шею, чтобы я его видел, когда буду проезжать мимо... Доброго пути вам, славный мастер Кондолл, милый мастер Тиндэл! Вы на всем скаку въедете в рай! Доброго вам пути!

— О лорд, вы большой шутник! — ответил Кондолл и заставил себя подобострастно улыбнуться.— Вам подобает требовать, а мне подобает подчиняться, и я, несмотря на все мое неумение, попробую написать обязательство.

— Друг,— сказал сэр Дэниэл,— теперь ты напишешь на сорок. Полно! Ты хитер, и имущество твое стоит не семьдесят шиллингов. Сэлдэн, последи, чтобы он все написал как следует и чтобы подпись его была правильно засвидетельствована.

И сэр Дэниэл, самый веселый рыцарь в Англии, хлебнув пряного эля, с улыбкой откинулся на спинку кресла.

Мальчик на полу шевельнулся, сел и испуганно оглядел комнату.

— Иди сюда,— сказал сэр Дэниэл; и когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно подошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался.— Клянусь распятием! — крикнул он.— Какой крепыш!

Мальчик покраснел от гнева, и в темных его глазах сверкнула ненависть. Теперь, когда он стоял, трудно было определить его возраст. Лицо у него было свежее, как у ребенка, но выражение лица было уже не детское; телом он был необычайно тонок и ходил несколько неуклюже.

— Вы позвали меня, сэр Дэниэл,— сказал он,— для того, чтобы посмеяться над моим печальным положением?

— А почему не посмеяться? — спросил рыцарь.— Будь

добр, разреши уж мне посмеяться. Если бы ты мог видеть себя, ты первый бы расхохотался.

— Когда вы будете платить за все, вы заплатите и за это,— сказал мальчик, густо краснея.— А пока смейтесь сколько вам угодно!

— Не думай, что я насмехаюсь над тобой, милый братец,— ответил сэр Дэниэл, перестав смеяться.— Это только шутки. Я ведь просто шучу по-родственному, по-приятельски. Я устрою твой брак, получу за него тысячу фунтов и буду очень тебя любить. Правда, я несколько грубо тебя похитил, но другого выхода не было. Однако отныне я буду служить тебе от всего сердца. Ты станешь миссис Шелтон... нет, леди Шелтон, клянусь небом, потому что мальчик далеко пойдет. Вздор! Нечего стесняться честного смеха, смех разгоняет печаль. Дурные люди никогда не смеются, добрый братец... Почтеннейший хозяин, дай поужинать моему братцу, мастеру Джону... Садись, мой друг, и кушай.

— Нет,— сказал мастер Джон,— есть я не стану. Вы вовлекли меня в грех, и мне нужно подумать о своей душе... Добрый хозяин, будь любезен, принеси мне кружку чистой воды; ты очень обяжешь меня своей любезностью.

— Ты получишь отпущение всех грехов, черт побери! — крикнул рыцарь.— Исповедуешься — и делу конец! Ешь и ни о чем не тревожься!

Но мальчик был упрям: он выпил чашку воды, завернулся в свой плащ, сел в дальний угол и мрачно задумался.

Под утро в деревне поднялась суматоха, послышались оклики часовых, зазвенело оружие, застучали копыта; отряд всадников подъехал к дверям харчевни, и Ричард Шелтон, забрызганный грязью, перешагнул через порог.

— Да хранит вас небо, сэр Дэниэл! — сказал он.

— Как! Дикки Шелтон! — вскричал рыцарь. Сидевший в углу мальчик, услышав имя Дика, с любопытством поднял голову.— А где Беннет Хэтч?

— Вот вам, сэр рыцарь, пакет от сэра Оливера. Прочтите, что он пишет, и все узнаете,— ответил Ричард, подавая ему письмо священника.— И, пожалуйста, поторопитесь, потому что нужно скакать во весь опор к Райзингэму. На пути мы повстречали гонца, бешено мчавшегося с письмами; он сообщил нам, что милорду Райзингэму грозит поражение и он ждет от нас помощи.

— Как ты сказал? Грозит поражение? — переспросил рыцарь.— Ну нет, тогда мы будем во весь опор сидеть

здесь, добрый Ричард. В нашем несчастном английском королевстве, кто тише едет, тот дальше будет. Говорят, что медлить опасно, а, по-моему, опаснее всего спешить. Запомни это, Дик. Но прежде дай мне поглядеть, что за скотину ты пригнал сюда. Сэлдэн, запри за мной дверь на засов!

Сэр Дэниэл вышел на деревенскую улицу и при красном свете факела осмотрел свои новые войска. Его не любили как соседа, не любили как господина, но те, кто сражался под его знаменами, очень любили его как военачальника. Его решительность, его испытанное мужество, его заботы об удобствах солдат, даже его грубые шутки — все это нравилось храбрецам в латах и шлемах.

— Клянусь распятием,— крикнул он,— что за жалкие псы! Одни изогнулись, как луки, другие тощи, как копья! Друзья, во время битвы я пущу вас вперед; таких, как вы, беречь не стоит, друзья. Дайте мне разглядеть этого старого дурака на пегой кляче! Двухлетний баран верхом на свинье больше похож на солдата, чем ты. А, Клипсби! И ты здесь, старая крыса? Вот человек, которым я совсем не стану дорожить! Ты поедешь впереди всех, а на груди у тебя будет нарисована мишень, чтобы неприятельские стрелки не промахнулись. Итак, решено, ты будешь скакать впереди и показывать мне дорогу.

— Я покажу вам любую дорогу, сэр Дэниэл, но только не ту, что ведет к измене,— бесстрашно ответил Клипсби.

Сэр Дэниэл громко расхохотался.

— Неплохо сказано! — воскликнул он.— Язык у тебя хорошо подвешен, черт тебя побери! Прощаю тебе твою шутку. Сэлдэн, накорми людей и коней.

И рыцарь вернулся в харчевню.

— Ну, друг Дик, начинай,— сказал он.— Вот славный эль, вот свинина. Ешь, а я пока почитаю.

Он вскрыл пакет, прочел письмо и нахмурился. Несколько минут он сидел, размышляя. Потом внимательно посмотрел на своего воспитанника.

— Дик,— спросил он,— ты читал эти скверные стишки?

Мальчик ответил утвердительно.

— В них поминают твоего отца,— сказал рыцарь,— и какой-то помешанный обвиняет нашего несчастного болтуна-священника в том, что он убил его.

— Сэр Оливер это отрицает,— ответил Дик.

— Отрицает? — воскликнул рыцарь резко.— А ты не слушай его! У него язык без костей, болтает, словно сорока. Я когда-нибудь в свободную минутку все сам тебе расскажу, Дик. В убийстве твоего отца подозревали некоего Дэкуорта; но время было смутное, и добиться правосудия нам не удалось.

— Отца убили в замке Мот?— спросил Дик, и сердце его забилось.

— Между замком Мот и Холивудом,— ответил сэр Дэниэл спокойным голосом, однако метнув на Дика хмурый, подозрительный взгляд.— Ну, ешь поскорее,— прибавил рыцарь,— ты повезешь мое письмо в Тэнстолл.

У Дика вытянулось лицо.

— Прошу вас, сэр Дэниэл,— воскликнул он,— пошлите кого-нибудь из крестьян! Позвольте мне принять участие в битве. Я буду храбро сражаться!

— Не сомневаюсь,— ответил сэр Дэниэл и сел писать письмо.— Но нас, Дик, вовсе не ждут воинские почести. Я буду сидеть тут, в Кэттли, до тех пор, пока не станет ясно, кто победит в этом сражении, и тогда присоединюсь к победителю. Не говори, что это трусость, Дик; это — всего лишь благоразумие. Наше несчастное государство измучено бунтами, король то на троне, то в тюрьме, и никто не может знать, что̀ будет завтра. Пустомели и Ветрогоны сражаются на одной стороне или на другой, а лорд Здравый Смысл сидит и выжидает.

С этими словами сэр Дэниэл повернулся к Дику спиной и, усевшись за другим концом стола, принялся писать. Углы губ его подергивались. История с черной стрелой очень встревожила его.

Тем временем молодой Шелтон усердно ел. Вдруг кто-то тронул его за руку, и над ухом его раздался шепот.

— Не подавайте виду, что вы слышите, умоляю вас!— шептал чей-то голос.— Окажите мне услугу, объясните, какой дорогой можно быстрее добраться до Холивуда. Умоляю вас, добрый мальчик, помогите несчастному, попавшему в беду, укажите мне путь к спасению.

— Идите мимо ветряной мельницы,— ответил Дик тоже шепотом.— Тропинка доведет вас до переправы через Тилл. Там вам расскажут, как идти дальше.

Он даже головы не повернул и снова принялся за еду. Но уголком глаза он заметил, как мальчик, которого называли «мастер Джон», осторожно выскользнул из комнаты.

«Он ничуть не старше меня,— подумал Дик.— И он осмелился назвать меня мальчиком! Да если бы я знал, что со мной так разговаривает мальчишка, я бы скорее повесил его, чем указал дорогу! Ну, да я его нагоню где-нибудь в болоте и оттаскаю за уши!»

Полчаса спустя сэр Дэниэл вручил Дику письмо и приказал ему мчаться в замок Мот. А через полчаса после того, как Дик уехал, в комнату влетел запыхавшийся гонец милорда Райзингэма.

— Сэр Дэниэл,— сказал гонец,— вы теряете прекрасный случай заслужить славу! Утром на рассвете возобновилась битва. Мы разбили их передовые части и рассеяли правое крыло. Только центр еще держится. У вас свежие силы, и вы можете опрокинуть неприятеля в реку. Что вы скажете, сэр рыцарь? Неужели вы явитесь последним? Это обесславит вас.

— Я только что собирался выступить! — вскричал рыцарь.— Сэлдэн, труби поход! Сэр, я следую за вами. Бо́льшая часть моего отряда пришла сюда всего два часа назад, сэр. Что тут будешь делать? Если коня слишком пришпоривать, он сдохнет... Живо, ребята!

В утреннем воздухе весело запела труба; воины сэра Дэниэла сбегались со всех сторон на главную улицу и строились перед харчевней. Они спали с оружием в руках, не расседлывая лошадей, и через десять минут сто копьеносцев и лучников, прекрасно оснащенных и обученных, стояли в строю, готовые двинуться в бой. Почти все были одеты в цвета сэра Дэниэла — темно-красный с синим,— и это придавало им нарядный вид. Те, которые были лучше вооружены, построились впереди, а сзади всех, в конце колонны, расположилось жалкое подкрепление, явившееся накануне вечером. Сэр Дэниэл с гордостью оглядел свой отряд.

— С такими молодцами не пропадешь! — сказал он.

— Воины отличные, ничего не скажешь,— ответил гонец.— Глядя на них, я еще больше грущу, что вы не выступили раньше.

— На пиру все лучшее подают вначале, а на поле брани — в конце, сэр,— сказал рыцарь и вскочил в седло.— Эй! — заорал он.— Джон! Джоанна! Клянусь святым распятием! Где она? Хозяин, где девчонка?

— Девчонка, сэр Дэниэл? — спросил кабатчик.— Я не видел никакой девчонки, сэр.

— Ну мальчишка, дурак! — крикнул рыцарь.— Неужели ты не разглядел, что это девка? На ней темно-красный плащ. Она позавтракала кружкой воды; помнишь, негодяй! Где же она?

— Да спасут нас святые! Вы называли ее «мастер Джон»,— сказал хозяин.— А я-то не догадался... Он уехал. Я видел его... ее... я видел ее в конюшне час назад. Она седлала серую лошадь.

— Клянусь распятием! — вскричал сэр Дэниэл.— Девка принесла бы мне пятьсот фунтов, если не больше!

— Сэр рыцарь,— с горечью сказал гонец,— пока вы здесь кричите о пятистах фунтах, решается судьба английского трона.

— Хорошо сказано,— ответил сэр Дэниэл.— Сэлдэн, возьми с собой шестерых арбалетчиков. Выследи ее и поймай. Я хочу, чтобы к моему возвращению она находилась в замке Мот, чего бы мне это ни стоило. Ты отвечаешь за это головой!.. Ну вот, сэр гонец, мы готовы!

Войска поскакали рысью, а Сэлдэн с шестью воинами остался посреди улицы в Кэттли, окруженный глазеющими крестьянами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА БОЛОТЕ

Часу в шестом майского утра Дик подъехал к болоту, через которое пролегал его путь к замку Мот. Сияло голубое небо; веселый ветер дул шумно и ровно; крылья ветряных мельниц быстро кружились; ивы, склоненные над болотом, колыхались под ветром и внезапно светлели, словно пшеница. Дик всю ночь провел в седле, но сердце у него было здоровое, тело крепкое, и он бодро продолжал свой путь.

Тропинка мало-помалу спускалась все ниже, все ближе к топям; где-то далеко позади на холме возле Кэттли высилась мельница, и так же далеко впереди маячили верхушки Тэнстоллского леса. По обе стороны тропинки колыхались на ветру ивы и камыши; лужи пенились под ветром; предательские трясины, зеленые, как изумруд, поджидали и заманивали неосторожного путника. Тропа шла напрямик через топь; это была очень древняя тропа,

ее проложили еще римские солдаты; с тех пор прошли века, и во многих местах ее залили стоячие воды болота.

Отъехав на милю от Кэттли, Дик приблизился как раз к такому месту; тропа здесь заросла ивой и камышом, и это хоть кого могло сбить с толку. Да и трясина была здесь шире, чем всюду; человек, не знакомый с этими местами, легко мог попасть в беду. У Дика сжалось сердце, когда он вспомнил о мальчике, которому он так невразумительно объяснил дорогу. За себя он не беспокоился; взглянув назад, туда, где вертящиеся крылья ветряной мельницы отчетливо чернели на голубом небе, и вперед, на возвышенность, покрытую Тэнстоллским лесом, он уверенно поехал напрямик, хотя конь его погрузился в воду по колена.

Уже половина трясины была позади, и он уже видел сухую тропинку, бегущую вверх, как вдруг справа от себя он услышал плеск воды и заметил провалившуюся по брюхо в тину серую лошадь, которая отчаянно билась. Словно почуяв приближение помощи, она вдруг пронзительно заржала. Ее налившийся кровью глаз был полон безумного страха; она барахталась в трясине, и тучи насекомых кружились над нею.

«Неужели несчастный мальчишка погиб? — подумал Дик.— Это его лошадь. Славная серая лошадь! Как печально ты смотришь на меня, милая! Я сделаю для тебя все, что возможно. Я не оставлю тебя медленно тонуть, вершок за вершком!»

Он натянул арбалет и всадил в голову лошади стрелу.

Совершив это исполненное сурового милосердия дело, Дик двинулся дальше. На душе у него было невесело. Он пристально смотрел по сторонам, надеясь найти хоть след того мальчика, которого направил на эту дорогу.

«Нужно было рассказать ему все гораздо подробнее,— думал он.— Боюсь, он погиб в болоте».

Вдруг кто-то окликнул его по имени, и, глянув через плечо, Дик увидел лицо мальчика, смотревшего на него из камышей.

— Ты здесь! — воскликнул Дик, останавливая лошадь.— Ты так забился в камыши, что я чуть не проехал мимо. Я видел твою лошадь; ее затянуло в трясину, и я избавил ее от мучений. Клянусь небом, если бы ты был добрее, ты сам бы ее пристрелил. Ну, вылезай. Тут тебя никто не обидит.

— Добрый мальчик, у меня нет никакого оружия; да мне и не нужно оружия, потому что я все равно не умею им пользоваться,— отвстил беглец, выходя на тропинку.

— Как ты смеешь называть меня мальчиком? — крикнул Дик.— Я, наверное, старше тебя.

— Прости меня, добрый мастер Шелтон,— сказал беглец.— Я вовсе не хотел тебя обидеть. Напротив, я хочу просить тебя о помощи, так как я попал в беду, сбился с дороги, потерял плащ и своего бедного коня. У меня есть хлыст и шпоры, а ехать не на чем. А главное,— прибавил он, оглядев свою одежду,— я такой грязный!

— Вэдор! — воскликнул Дик.— Подумаешь, искупался — что же тут такого! Кровь ран и грязь странствий только украшают мужчину.

— Если так, я предпочитаю мужчин без украшений,— ответил мальчик.— Но что мне делать? Прошу тебя, добрый мастер Ричард, дай мне совет. Если я не доберусь до Холивуда, я погиб.

— Я дам тебе не только совет,— сказал Дик, слезая с лошади.— Я дам тебе своего коня, а сам побегу рядом. Когда я устану, мы поменяемся. Так будет скорее.

Мальчик сел на коня, и они двинулись в путь, невольно замедляя ход из-за неровностей трясины. Дик шагал рядом с мальчиком, положив руку ему на колено.

— Как тебя зовут? — спросил Дик.

— Зови меня Джон Мэтчем,— ответил мальчик.

— А что тебе нужно в Холивуде? — спросил Дик.

— Я спасаюсь от обидчика,— сказал Джон Мэтчем.— Добрый аббат Холивуда всегда защищает слабых.

— А как ты попал к сэру Дэниэлу, мастер Мэтчем?— спросил Дик.

— Он захватил меня силой,— ответил Джон Мэтчем.— Он выкрал меня из моего родного дома, одел меня в этот наряд, вез меня так долго, что у меня чуть не разорвалось сердце, насмехался так, что я чуть не плакал. А когда мои друзья погнались за нами, он посадил меня к себе за спину, чтобы их стрелы попали в меня! Одна из них ранила меня в ногу, и теперь я слегка хромаю. Но придет день суда, и он заплатит за все!

— Уж не надеешься ли ты попасть в луну из арбалета? — сказал Дик.— Он храбрый рыцарь, и рука у него железная. И если он догадается, что я помог тебе удрать, мне будет плохо.

— Бедный мальчик! — сказал Джон Мэтчем.— Он твой опекун, я знаю. По его словам, он и мой опекун тоже. Он, кажется, купил право на устройство моего брака. Я в этом плохо разбираюсь, но у него есть какой-то повод притеснять меня.

— Ты опять называешь меня мальчиком! — сказал Дик.

— А разве ты хочешь, чтобы я тебя называл девочкой, добрый Ричард? — спросил Мэтчем.

— Только не девочкой,— ответил Дик.— Я девчонок терпеть не могу!

— Ты говоришь, как мальчишка,— сказал Джон Мэтчем.— Ты гораздо более думаешь о девчонках, чем хочешь сознаться.

— Вот уж нет! — решительно сказал Дик.— О девчонках я никогда и не вспоминаю. Черт с ними! Я люблю охоту, сражения, пиры, я люблю веселую жизнь в лесах. А девчонки на такие дела не годятся. Была, впрочем, одна не хуже мужчины. Но ее, бедняжку, сожгли, как ведьму, за то, что она вопреки природе одевалась по-мужски.

Мастер Мэтчем набожно перекрестился и прошептал молитву.

— Что ты делаешь? — спросил Дик.

— Молюсь за ее душу,— ответил Мэтчем дрогнувшим голосом.

— За душу ведьмы? — воскликнул Дик.— Ну что ж, молись за нее. Это была лучшая девушка в Европе, и звали ее Жанна д'Арк. Старый Эппльярд-лучник рассказывал, как удирал от нее, словно от нечистой силы. Это была храбрая девушка.

— Если ты не любишь девушек, добрый мастер Ричард,— возразил Мэтчем,— ты не настоящий мужчина. Ибо господь нарочно разделил род человеческий на две части и послал в мир любовь для ободрения мужчин и утешения женщин.

— Вздор! — сказал Дик.— Ты много думаешь о женщинах потому, что ты молокосос, младенец! По-твоему, я не настоящий мужчина. Ну что ж, слезай с коня, и я чем угодно — кулаками, или мечом, или стрелой — на твоей собственной персоне покажу тебе, мужчина я или нет.

— Я не воин,— сказал Мэтчем поспешно.— Я вовсе не хотел тебя обидеть. Я просто пошутил. А о женщинах я заговорил потому, что слышал, будто ты скоро женишься.

— Я? Женюсь? — воскликнул Дик.— Первый раз слышу! На ком же я женюсь?

— На Джоанне Сэдли,— ответил Мэтчем, краснея.— Это затея сэра Дэниэла. Эта свадьба ему выгодна: он получит деньги и жениха и невесты. Мне говорили, что несчастная девушка горько плачется на судьбу. Не знаю, быть может, она, так же как ты, питает отвращение к брачной жизни, а может быть, ей просто не нравится жених.

— От свадьбы, как от смерти, никуда не уйдешь,— проговорил Дик покорно.— Так она убивается, говоришь? Видишь, какие бестолковые эти девчонки! Убивается, хотя ни разу меня не видела. Разве я убиваюсь? Нисколько. Если мне придется жениться, я плакать не стану... Ты знаешь ее? Расскажи мне, какая она. Красавица или урод? И какой у нее нрав: добрый или сварливый?

— А не все ли тебе равно? — сказал Мэтчем.— Если нужно жениться, ты женишься. Какое тебе дело, урод она или красавица? Это все пустяки. Ты ведь не молокосос, мастер Ричард. Если тебе придется жениться, ты плакать не станешь.

— А ты умеешь поддеть! — ответил Шелтон.— Разумеется, мне все равно.

— Приятный муж будет у твоей жены! — сказал Мэтчем.

— У нее будет такой муж, какого ей сулило небо,— возразил Дик.— Я не лучше других и не хуже.

— Несчастная девушка! — воскликнул Мэтчем.

— Чем же она такая несчастная? — спросил Дик.

— Она выходит замуж за человека, сделанного из дерева,— сказал Мэтчем.— О горе! Деревянный муж!

— Я, вероятно, действительно сделан из дерева,— сказал Дик,— раз ты едешь на моем коне, а я иду пешком. Но если из дерева, так из хорошего.

— Добрый Дик, прости меня! — воскликнул Мэтчем.— Я пошутил. У тебя самое доброе сердце во всей Англии! Прости меня, милый Дик!

— Вздор,— сказал Дик, смущенный пылкостью своего товарища.— Ты меня ничуть не обидел. Я, хвала святым, не обидчив.

Ветер дул им в спину и внезапно донес до них резкий звук трубы; это трубил трубач сэра Дэниэла.

— Тише! — сказал Дик.— Труба!

— Ах! — сказал Мэтчем.— Они заметили, что я удрал, а у меня нет коня!

Он смертельно побледнел.

— Не трусь! — ответил Дик.— Ты их здòрово обогнал, а до перевоза уже рукой подать. Это у меня нет коня, а не у тебя.

— Увы, меня поймают! — воскликнул беглец. —Дик, добрый Дик, помоги мне!

— А разве я тебе не помогаю? — сказал Дик.— Мне жаль тебя, только уж очень ты труслив. Слушай же, Джон Мэтчем,— если тебя. действительно. зовут Джон Мэтчем: я, Ричард Шелтон, даю слово доставить тебя невредимым в Холливуд. Да покинут меня святые, если я покину тебя. Ободрись, сэр Трус. Дорога уже становится лучше. Пришпорь коня. Скорей! Скорей! Обо мне не заботься: я бегаю, как олень.

Конь бежал крупной рысью, но Дик без труда поспевал за ним; так миновали они болото и добрались до хижины перевозчика на берегу реки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕВОЗ У БОЛОТА

Широкая, медленная, илистая река Тилл вытекала из болот и бесчисленными своими протоками огибала низкие островки, поросшие ивняком.

Река была мутна; но в это яркое прелестное утро все казалось красивым. На открытых местах ветер рябил воду, а в тихих затонах отражались клочья голубого улыбающегося неба.

Тропа упиралась в маленькую бухту; на самом берегу под крутым обрывом лепилась хижина перевозчика, построенная из жердей и глины; на крыше ее зеленела трава.

Дик отворил дверь. Внутри на обветшалом и грязном домотканом плаще лежал перевозчик. Это был долговязый, тощий человек, изнуренный болезнью; его трясла болотная лихорадка.

— А, мастер Шелтон,— сказал он.— Собираетесь на ту сторону? Плохие времена, плохие времена! Будьте осторожны. Здесь разбойничает целая шайка. Поезжайте лучше через мост.

— Я тороплюсь,— ответил Дик.— У меня нет времени, Хью-Перевозчик. Я очень спешу.

— Упрямый вы человек,— сказал перевозчик, вставая.— Вам очень повезет, если вы благополучно доберетесь до замка Мот. Больше я ничего не скажу.

Он заметил Мэтчема.

— А это кто? — спросил он, прищурив глаз и останавливаясь на пороге своей хижины.

— Это мой родственник, мастер Мэтчем,— ответил Дик.

— Здравствуй, добрый перевозчик,— сказал Мэтчем, слезая с коня и взяв его под уздцы.— Пожалуйста, спусти лодку; мы очень торопимся.

Тощий перевозчик продолжал внимательно его разглядывать.

— Черт возьми! — крикнул он наконец и захохотал во всю глотку.

Мэтчем покраснел до ушей и вздрогнул, а Дик, рассвирепев, схватил невежу за плечо.

— Как ты смеешь, грубиян!—крикнул он.—Делай свое дело и не смейся над людьми, которые выше тебя по рождению.

Хью-Перевозчик ворча отвязал свою лодку и столкнул ее в воду. Дик ввел в лодку коня. Мэтчем тоже взобрался в лодку.

— Какой же вы маленький,— сказал Хью, усмехаясь.— Вас, верно, делали по особой мерке... Ну, мастер Шелтон, я к вашим услугам,— прибавил он, берясь за весло.— Даже кошке разрешается смотреть на короля. А я ведь всего лишь позволил себе взглянуть на мастера Мэтчема.

— Молчать! — сказал Дик.— Налегай на весла!

Они выехали из бухточки, и вся ширь реки открылась перед ними. Ежеминутно низкие острова загораживали им путь. Тянулись глинистые отмели, качались ветви ив, дрожали камыши, ныряли и пищали болотные крысы. Безлюдным, как пустыня, казался этот водный лабиринт.

— Сударь,—проговорил перевозчик, работая одним веслом,— говорят, здесь, на острове, засел Болотный Джон. Он ненавидит всех, кто держит руку сэра Дэниэла. Не лучше ли нам подняться вверх по реке и высадиться на расстоянии полета стрелы от тропинки? Не советую вам связываться с Болотным Джоном.

— Он тоже в той шайке разбойников? — спросил Дик.

— Об этом я говорить не буду,—сказал Хью.—Но, по-моему, надо плыть вверх по реке, мастер Дик. А то еще, чего доброго, в мастера Мэтчема попадет стрела.

И он опять рассмеялся.

— Пусть будет по-твоему, Хью,— ответил Дик.

— Тогда снимите свой арбалет,— продолжал Хью.— Вот так. Теперь натяните тетиву. Хорошо. Вложите стрелу. Цельтесь прямо в меня и глядите на меня как можно злее.

— Это еще зачем? — спросил Дик.

— Я имею право перевезти вас, только подчиняясь насилию,— ответил перевозчик.— Если Болотный Джон догадается, что я перевез вас добровольно, мне будет плохо.

— Разве эти негодяи так сильны? — спросил Дик.— Неужели они осмеливаются распоряжаться лодкой, которая принадлежит сэру Дэниэлу?

— Запомните мои слова,— прошептал перевозчик и подмигнул.—Сэр Дэниэл падет. Время его прошло. Он падет. Молчок!

И склонился над веслами.

Они долго плыли вверх по реке, обогнули один из островов и осторожно двинулись вниз по узкой протоке вдоль противоположного берега. Затем Хью повернул лодку поперек ручья.

— Я высажу вас здесь, за ивами,— сказал Хью.

— Тут нет тропинки,— сказал Дик.— Тут только ивы, болота и трясина.

— Мастер Шелтон,—ответил Хью,—я не могу везти вас дальше. Я о вас беспокоюсь, не о себе. Он все время следит за моим перевозом, держа наготове лук. Всех сторонников сэра Дэниэла он подстреливает, как кроликов. Он поклялся распятием, что ни один друг сэра Дэниэла не уйдет отсюда живым. Я сам слышал. Если бы я не знал вас издавна, когда вы были вот таким, я ни за что не повез бы вас. Но в память прежних дней и ради вот этой игрушки, которую вы везете с собой и которая не создана для ран и для войны, я рискнул своей несчастной головой и согласился перевезти вас на тот берег. Будьте довольны и этим. Больше я сделать ничего не могу, клянусь вам спасением своей души!

Хью еще продолжал грести и разговаривать, как вдруг на острове из самой гущи ив кто-то громко крикнул; раз-

дался треск ветвей — видимо, какой-то сильный человек торопливо продирался сквозь чащу.

— Чума его возьми! — крикнул Хью.— Он все время был на острове!

И Хью энергично погреб к берегу.

— Грозите мне луком, добрый Дик! — взмолился он.— Грозите так, чтоб это было видно. Я старался спасти ваши шкуры, спасите теперь мою!

Лодка с треском влетела в чащу ив. Дик сделал знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным лицом проворно пробежал по скамейкам лодки и выскочил на берег. Дик взял лошадь под уздцы и хотел последовать за ним, но справиться с лошадью в густой чаще ветвей было не так-то легко, и он замешкался. Лошадь била ногами и ржала, а лодка качалась из стороны в сторону.

— Здесь невозможно вылезть на берег, Хью! — крикнул Дик, продолжая, однако, отважно тащить в чащу заупрямившуюся лошадь.

На берегу острова появился высокий человек с луком в руке. Краем глаза Дик увидел, как человек этот, раскрасневшись от быстрого бега, изо всех сил натягивал тетиву.

— Кто идет? — крикнул незнакомец.— Хью, кто идет?

— Это мастер Шелтон, Джон,— ответил перевозчик.

— Стой, Дик Шелтон! — крикнул человек на острове.— Клянусь распятием, я не сделаю тебе ничего плохого! Стой!.. А ты, Хью, поезжай назад.

Дик ответил дерзкой насмешкой.

— Ну, если так, ты пойдешь пешком! — крикнул человек на острове.

И пустил стрелу.

Лошадь, пораженная стрелой, забилась от боли и ужаса; лодка опрокинулась, и через минуту все уже барахтались в воде, борясь с течением.

Прежде чем Дик вынырнул на поверхность, его отнесло на целый ярд от мели; он ничего еще не успел толком разглядеть, как рука его судорожно ухватилась за какой-то твердый предмет, который с силой поволок его куда-то вперед. Это был хлыст, ловко протянутый ему Мэтчемом с ивы, повисшей над водой.

— Клянусь небом,— воскликнул Дик,— когда Мэтчем выволок его на берег,— ты спас мне жизнь! Я плаваю, как пушечное ядро.

Он обернулся и глянул в сторону острова.

Хью-Перевозчик плыл рядом со своей лодкой и был уже на полпути между берегом и островом. Болотный Джон яростно орал на него, требуя, чтобы он плыл быстрее.

— Бежим, Джон,—сказал Шелтон.—Бежим! Пока Хью переправит свою лодку на остров и они приведут ее в порядок, мы будем уже так далеко, что они нас не найдут.

И, подавая пример, он побежал, продираясь сквозь заросли ив и прыгая с кочки на кочку. У него не было времени выбирать направление; он мчался наугад, стараясь как можно дальше убежать от реки.

Однако почва постепенно стала подыматься, и это убедило его, что направление выбрано им правильно. Наконец болото осталось позади; под их ногами была сухая, твердая земля, а вокруг среди ив стали появляться вязы.

Мэтчем, сильно отставший, внезапно упал.

— Брось меня, Дик! — крикнул он, задыхаясь.— Я не могу больше бежать.

Дик повернулся и подошел к нему.

— Бросить тебя, Джон?! — воскликнул он.— Нет, на такую подлость я не способен. Ведь ты не бросил меня, когда я тонул, хотя тебя могли застрелить, а спас мою жизнь. Ты и сам мог утонуть, потому что одни только святые знают, как это я не стащил тебя за собою в воду.

— Нет, Дик, я бы не утонул да и тебе бы не дал утонуть,— сказал Мэтчем.— Я умею плавать.

— Умеешь плавать?—воскликнул Дик, широко раскрыв глаза.

Это был единственный из мужских талантов, которым он не обладал. После искусства убивать врага на поединке он больше всего ценил умение плавать.

— Вот мне урок никогда никого не презирать! — сказал он.— Я обещал тебе охранять тебя до самого Холливуда, а вышло так, Джон, что ты охраняешь меня.

— Теперь мы с тобой друзья, Дик,— сказал Мэтчем.

— Я никогда тебе врагом не был,— ответил Дик.— Ты по-своему храбрый малый, хотя, конечно, молокосос. Никогда я таких чудаков не видел. Ну, отдышался? Идем дальше. Тут не место для болтовни.

— У меня очень болит нога,— сказал Мэтчем.

— Я совсем забыл о твоей ноге,— проговорил Дик.— Придется идти потише. Хотел бы я знать, где мы находимся! Я потерял тропинку... Впрочем, это, может быть, к луч-

шему. Если они караулят на перевозе, то могут караулить и на тропинке. Вот бы сэр Дэниэл прискакал сюда с полсотней воинов! Он разогнал бы всю эту шайку, как ветер разгоняет листья. Идем, Джон, обопрись о меня, бедняга. Какой ты низенький, тебе даже не достать до моего плеча. Сколько тебе лет? Двенадцать?

— Нет, мне шестнадцать,— сказал Мэтчем.

— Значит, ты плохо рос,— сказал Дик.— Держи меня за руку. Мы пойдем медленно, не бойся. Я обязан тебе жизнью, а я, Джон, привык расплачиваться за все сполна — и за доброе и за злое.

Они поднимались по откосу.

— В конце концов мы выберемся на дорогу,—продолжал Дик,—и тогда двинемся вперед. Какая у тебя слабая рука, Джон! Я бы стыдился, если бы у меня была такая рука. Хью-Перевозчик, кажется, принял тебя за девчонку,— прибавил он и рассмеялся.

— Не может быть! — воскликнул Мэтчем и покраснел.

— А я готов биться об заклад, что он принял тебя за девчонку!—настаивал Дик.—Да и нельзя его винить. Ты больше похож на девушку, чем на мужчину. И знаешь, мальчишка из тебя вышел довольно нескладный, а девчонка вышла бы очень красивая. Ты был бы хорошенькой девушкой.

— Но ведь ты не считаешь меня девчонкой? — спросил Мэтчем.

— Конечно, не считаю. Я просто пошутил,— сказал Дик.—Из тебя со временем выйдет настоящий мужчина! Еще, пожалуй, прославишься своими подвигами. Интересно знать, Джон, кто из нас первый будет посвящен в рыцари? Мне смертельно хочется стать рыцарем. «Сэр Ричард Шелтон, рыцарь» — вот это здорово звучит! Но и «сэр Джон Мэтчем» звучит недурно.

— Постой, Дик, дай мне напиться,— сказал Мэтчем, останавливаясь возле светлого ключа, вытекавшего из холма и падавшего в песчаную ямку не больше кармана.— Ах, Дик, как мне хочется есть! У меня даже сердце ноет от голода.

— Отчего же ты, глупый, не поел в Кэттли?— спросил Дик.

— Я дал обет поститься, потому что... меня вовлекли в грех,— ответил Мэтчем.— Но теперь я с удовольствием съел бы даже корку сухого хлеба.

— Садись и ешь,— сказал Дик,— а я пойду поищу дорогу.

Он вынул хлеб и куски вяленой свинины из висевшей у него на поясе сумки. Мэтчем с жадностью набросился на еду, а Дик исчез среди деревьев.

Скоро он дошел до оврага, на дне которого, с трудом пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, журчал ручей. За оврагом деревья были выше и раскидистее; там росли уже не ивы и вязы, а дубы и буки. Шелест листьев, колеблемых ветром, заглушал звуки его шагов; несмотря на то, что этот шелест приглушал звуки, подобно тому, как темнота безлунной ночи скрадывает предметы, Дик осторожно крался от одного толстого ствола к другому, зорко оглядываясь по сторонам. Внезапно перед ним, словно тень, мелькнула лань и скрылась в чаще. Он остановился, огорченный: испуганная лань может выдать его врагам. Вместо того, чтобы идти дальше, он подошел к ближайшему высокому дереву и быстро полез вверх.

Ему повезло. Дуб, на который он взобрался, был самым высоким деревом в этой части леса и высился над остальными на добрые полторы сажени. Когда Дик влез на верхний сук и, раскачиваясь на ветру, глянул вдаль, он увидел всю болотную равнину до самого Кэттли, увидел Тилл, вьющийся вокруг лесистых островов, и прямо перед собой— белую полосу большой дороги, бегущей через лес. Лодку уже подняли, перевернули, и она плыла по реке к домику перевозчика. Кроме этой лодки, нигде не было ни малейшего признака присутствия человека; только ветер шумел в ветвях. Дик уже собирался спускаться, как вдруг, кинув последний взгляд вокруг, заметил ряд движущихся точек посреди болота. Очевидно, какой-то маленький отряд шел по тропинке и притом довольно быстро. Это его встревожило; он тотчас соскользнул на землю и вернулся через лес к товарищу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МОЛОДЦЫ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛЕСА

Мэтчем успел отдохнуть и прийти в себя; и мальчики, встревоженные тем, что увидел Дик, поспешно выбрались из чащи, благополучно пересекли дорогу и двинулись вверх

по склону холмистого кряжа, на котором высился Тэнстолльский лес. Здесь, между купами деревьев, простирались песчаные лужайки, заросшие вереском и дроком; кое-где встречались старые тисы. Почва становилась все более неровной; ежеминутно на пути попадались бугры и лощины. Ветер дул все яростнее, заставляя стволы деревьев гнуться, как тонкие удочки.

Они вышли на лужайку. Внезапно Дик упал на землю ничком и медленно пополз назад, к деревьям. Мэтчем, не заметивший никакой опасности и очень удивленный, последовал, однако, примеру товарища. И, только когда они спрятались в чаще, он спросил, что случилось.

Вместо ответа Дик показал ему пальцем на старую сосну, которая росла на другом конце лужайки, возвышаясь над соседним лесом и отчетливо выделяясь на светлом небе своей мрачной зеленью. Внизу ствол ее был прям и толст, как колонна. Но на высоте пятидесяти футов он раздваивался, образуя два толстых сука; между ними, словно моряк на мачте, стоял человек в зеленом камзоле, надетом поверх лат, и зорко смотрел вдаль. Солнце сверкало на его волосах; прикрыв глаза рукой, он бесперебойно, как машина, медленно поворачивал голову то в одну сторону, то в другую.

Мальчики переглянулись.

— Попробуем обойти его слева,— сказал Дик.— Мы чуть не попались, Джон.

Минут через десять они выбрались на хорошо утоптанную тропинку.

— Этой части леса я совсем не знаю,— проговорил Дик.— Куда приведет нас эта тропинка?

— Увидим,— сказал Мэтчем.

Тропинка привела их на вершину холма и стала спускаться в овраг, напоминавший большую чашу. Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, они увидели развалины какого-то дома — несколько обгорелых бревенчатых срубов без крыш да высокую печную трубу.

— Что это? — спросил Мэтчем.

— Клянусь небом, не знаю,— ответил Дик.— Я здесь ничего не знаю. Будем двигаться осторожно.

С бьющимся сердцем они стали медленно спускаться, продираясь сквозь кусты боярышника. Здесь, видимо, еще недавно жили люди. В чаще попадались одичавшие фруктовые деревья и огородные овощи; в траве лежали по-

валенные солнечные часы. Очевидно, тут прежде находился сад. Пройдя еще немного, они вышли к развалинам дома.

Когда-то это было красивое и прочное здание, окруженное глубоким рвом; но теперь ров высох, на дне его валялись камни, упавшее бревно было перекинуто через него словно мост. Две стены еще стояли, и солнце сияло сквозь их пустые окна; но вся остальная часть здания рухнула и лежала грудой обугленных обломков. Внутри уже зеленело несколько молоденьких деревьев, выросших из щелей.

— Я начинаю припоминать,— прошептал Дик,— это, должно быть, Гримстон. Усадьба принадлежала когда-то Саймону Мэлмсбэри, но сэр Дэниэл погубил его. Пять лет назад Беннет Хэтч сжег этот дом. И, сказать по правде, напрасно: дом был красивый.

Внизу, в овраге, было тепло и безветренно. Мэтчем тронул Дика за плечо и предостерегающе поднял палец.

— Тсс! — сказал он.

Странный звук нарушил тишину. Он повторился еще несколько раз, прежде чем они догадались, что он означает. Это откашливался какой-то человек, должно быть, могучего сложения. Затем хриплый, фальшивый голос запел:

Король спросил, вставая, веселых удальцов:
«Зачем же вы живете в тени густых лесов?»
И Гамелин бесстрашный ему ответил сам:
«Кому опасен город, тот бродит по лесам».

Певец умолк; где-то лязгнуло железо, и все затихло.

Мальчики смотрели друг на друга. Их незримый сосед, кто бы он ни был, находился где-то неподалеку от развалин дома. Мэтчем внезапно покраснел и двинулся вперед; по упавшему бревну он перешел через ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик не успел его удержать, и теперь ему оставалось только следовать за ним.

В углу разрушенного дома два бревна упали крестнакрест, отгородив от мусора пустое пространство не больше чулана. Мальчики спустились туда и спрятались. Через маленькую бойницу им было видно все, что происходит позади дома.

То, что они увидели, заставило их оцепенеть от ужаса. Уйти отсюда было немыслимо; они и дышать-то почти не смели. Возле рва, футах в тридцати от того места, где они сидели, пылал костер; над костром висел железный ко-

тел, из которого валил густой пар, а рядом с костром стоял высокий, оборванный, краснолицый человек. В правой руке он держал железную ложку; из-за пояса его торчал охотничий рог и устрашающих размеров кинжал. Казалось, он к чему-то прислушивается; видимо, он слышал, как они пробрались в развалины дома. Это и был, несомненно, певец; он, вероятно, помешивал в котле, когда до его слуха донесся подозрительный шорох, произведенный неосторожным прикосновением ноги к мусорной куче. Немного поодаль лежал, закутавшись в коричневый плащ, еще один человек; он крепко спал. Бабочка порхала над его лицом. Вся лужайка была белая от маргариток. На цветущем кусте боярышника висели лук, колчан со стрелами и кусок оленьей туши.

Наконец долговязый перестал прислушиваться, поднес ложку ко рту, лизнул ее и снова принялся мешать в котле, напевая.

Кому опасен город, тот бродит по лесам,—

хрипло пропел он, возвращаясь к тем самым словам своей песни, на которых остановился.

Сэр, никому на свете мы не желаем зла,
Но в ланей королевских летит порой стрела.

Время от времени он черпал из котла свое варево и, как завзятый повар, дул на него и пробовал. Наконец он, видимо, решил, что похлебка готова, вытащил из-за пояса рог и трижды протрубил призывный сигнал.

Спящий проснулся, перевернулся на другой бок, отогнал бабочку и поглядел во все стороны.

— Чего ты трубишь, брат? — спросил он.— Обедать пора, что ли?

— Да, дурачина, обед,— сказал повар.— Неважный обед, без эля и без хлеба. Невесело сейчас в зеленых лесах. А бывали времена, когда добрый человек мог здесь жить, как архиепископ, не боясь ни дождей, ни морозов: и эля и вина было вдоволь. Но теперь дух отваги угас в людских сердцах; а этот Джон Мшу-за-всех, спаси нас бог и помилуй, просто воронье пугало.

— Тебе лишь бы наесться и напиться, Лоулесс,— ответил его собеседник.— Погоди, еще вернутся хорошие времена.

— Я с детства жду хороших времен,— сказал повар.— Был я монахом-францисканцем, был королевским стрел-

ком; был моряком и плавал по соленому морю; приходилось мне бывать и в зеленом лесу, приходилось подстреливать королевских ланей. И чего же я достиг? Ничего! Напрасно я не остался в монастыре. С игуменом Джоном жить было выгодней, чем с Джоном Мшу-за-всех. Клянусь богородицей, вот и они!

На поляне, один за другим, появлялись рослые, крепкие молодцы, у каждого был нож и кубок, сделанный из коровьего рога; зачерпнув варево из котла, они садились в траву и ели. И одеты и вооружены они были по-разному; одни носили груботканые рубахи, и все оружие их состояло из ножа да старого лука; другие одевались, как настоящие лесные франты: шапки и куртка из темно-зеленого сукна, изящные стрелы, украшенные перьями, за поясом — рог на перевязи, меч и кинжал на боку. Они были очень голодны и потому неразговорчивы; едва прорычав приветствие, каждый жадно набрасывался на еду.

Их собралось уже человек двадцать, когда в кустах боярышника вдруг раздались радостные голоса, и на поляне появились еще пятеро: рослый, плотный человек с сединой в волосах, с загорелым, как прокопченный окорок, лицом, и за ним четверо с носилками. Нетрудно было угадать в первом начальника: за плечами его висел лук, в руке он держал рогатину.

— Ребята! — крикнул он.— Веселые мои друзья! Вы тут ели всухомятку и свистели от голода! Но я всегда говорил: потерпите, счастье еще улыбнется нам. И оно уже начало улыбаться. Вот первый посланец счастья — добрый эль!

И под гул одобрительных возгласов носильщики опустили носилки, на которых оказался большой бочонок.

— Но торопитесь, ребята,— продолжал пришедший.— Нам предстоит дело. К перевозу подошел отряд стрелков. На них красное с синим; каждый из них — мишень, каждый отведает наши стрелы, ни один не выйдет из лесу живым. Нас здесь пятьдесят человек, и каждому из нас нанесена обида: у одного похитили землю, у другого — друзей; одного обесчестили, другого изгнали. Мы все обижены! Кто же нас обидел? Сэр Дэниэл, клянусь распятием! Неужели мы ему позволим спокойно пользоваться похищенным у нас добром? Сидеть в наших домах? Пахать наши поля? Есть мясо наших быков? Нет, не позволим! Его защищает закон; перья судейских писак всегда на его сто-

роне. Но я приберег для него у себя за поясом такие перья, с которыми ему не совладать!

Повар Лоулесс пил уже второй рог эля; он приподнял его, как бы приветствуя оратора.

— Мастер Эллис,— сказал он,— вы помышляете только о мести. Ну что ж, вам так и подобает. Но у нас, у ваших бедных братьев по зеленому лесу, никогда не было ни земель, ни друзей, и нам оплакивать нечего; мы люди маленькие и помышляем мы не о мести, а о прибыли. Самой сладкой мести в мире мы предпочтем благородное золото и мех с канарским вином.

— Лоулесс,— последовал ответ,— чтобы вернуться в замок Мот, сэр Дэниэл должен пройти через лес. Мы позаботимся о том, чтобы этот путь обошелся ему дороже всякой битвы. Все знатные друзья его разбиты, и никто ему не поможет. Мы окружим старого лиса со всех сторон, и он погибнет. Это жирная добыча! Ее хватит на обед нам всем.

— Много я уже едал таких обещанных обедов,— сказал Лоулесс.— Но готовить их — дело трудное, добрый мастер Эллис, можно обжечься. А чем мы занимаемся в ожидании этого жирного обеда? Мы мастерим черные стрелы, мы сочиняем стишки, мы пьем чистую, холодную воду — пренеприятный напиток.

— Ты неверный человек, Уилл Лоулесс. От тебя все еще пахнет монастырской кладовой. Жадность погубит тебя,— ответил Эллис.— Мы забрали двадцать фунтов у Эппльярда. Мы забрали семь марок у гонца вчера ночью. Третьего дня мы забрали пятьдесят у купца...

— А сегодня,— сказал один из молодцов,— я остановил возле Холивуда жирного торговца индульгенциями. Вот его кошелек.

Эллис пересчитал содержимое кошелька.

— Сто шиллингов! — проворчал он.— Дурак, у него наверняка гораздо больше было спрятано в туфлях или вшито в капюшон. Ты младенец, Том Кьюкоу, ты упустил рыбку.

Тем не менее Эллис небрежно сунул кошелек себе в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и разглядывал своих товарищей. Они жадно глотали похлебку из оленины, запивая ее элем. День выдался удачный, им повезло; однако их ждали срочные дела, и они не мешкали над едой. Те, кто пришел первым, уже отобедали и либо повалились в траву и тотчас заснули, как сытые удавы, либо болтали между со-

бой, либо приводили оружие в порядок. Один весельчак поднял рог с элем и запел:

Привольно весной под сенью лесной!
Как запах жаркого хорош,
Как весел и дружен приятельский ужин,
Когда ты оленя убьешь!

Дождешься дождей, холодных ночей,
Короткого зимнего дня,—
С гульбой попрощайся, домой возвращайся,
Сиди до весны у огня.

Мальчики лежали и слушали. Ричард снял свой арбалет и держал наготове железный крючок, чтобы натянуть тетиву. Они не смели шевельнуться; вся эта сцена из лесной жизни прошла перед их глазами, будто в театре. Но тут внезапно наступил антракт: раздался пронзительный свист, затем громкий треск, и обломки стрелы упали к ногам мальчиков. Над тем самым местом, где они притаились, высилась труба; ее-то, верно, и избрал своею мишенью невидимый стрелок — быть может, это был часовой, которого они видели на сосне.

Мэтчем тихонько вскрикнул; даже Дик вздрогнул и выронил крючок. Но людей, сидевших на полянке, стрела эта не испугала; для них она была условным сигналом, которого они давно ожидали. Они все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, проверяя тетивы, вытаскивая из ножен мечи и кинжалы. Эллис поднял руку; лицо его озарилось неукротимой энергией, белки глаз ярко сверкали на загорелом лице.

— Ребята,— сказал он,— вы все знаете свое дело. Пусть ни одна душа не выскользнет живой из ваших рук! Эппльярд — это был всего только глоток виски перед обедом; а сейчас начнется самый обед. Я должен отомстить за троих: за Гарри Шелтона, за Саймона Мэлмсбэри и...— тут он ударил себя кулаком в широкую грудь,— и за Эллиса Дэкуорта. И, клянусь небом, я отомщу!

Какой-то человек, раскрасневшийся от быстрого бега, продрался сквозь кусты и выбежал на поляну.

— Это не сэр Дэниэл! — проговорил он, тяжело дыша.— Их всего семь человек. Стрела долетела до вас?

— Только что,— ответил Эллис.

— Черт побери! — выругался прибежавший.— То-то мне показалось, что я слышу ее свист. Вот я и остался без обеда.

В один миг весь отряд «Черной стрелы» покинул поляну перед разрушенным домом; котел, затухавший костер да оленья туша на кусте боярышника — вот и все, что от них осталось.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КРОВОЖАДНАЯ ОХОТА

Мальчики не двигались до тех пор, пока шум ветра не заглушил топота удаляющихся шагов. Тогда они встали и с большим трудом, так как от неудобного положения у них затекли ноги, выбрались из разрушенного дома и по бревну перешли через ров. Мэтчем поднял оброненный крючок и шел впереди; Дик следовал за ним с арбалетом в руке.

— А теперь идем в Холивуд,— сказал Мэтчем.

— В Холивуд? — воскликнул Дик.— Идти в Холивуд, когда в наших стреляют? Нет, я не пойду в Холивуд. Пусть меня лучше повесят, Джон!

— Неужели ты бросишь меня? — спросил Мэтчем.

— Ну и брошу,— ответил Дик.— Если я не успею предупредить их, я умру вместе с ними. Не могу же я бросить людей, с которыми я прожил всю жизнь! Дай мне крючок от моего арбалета.

Но Мэтчем не собирался отдавать ему крючок.

— Дик,— сказал он,— ты поклялся всеми святыми, что доставишь меня невредимым в Холивуд. Неужели ты нарушишь свою клятву? Неужели ты меня бросишь, клятвопреступник?

— Я клялся искренне,— ответил Дик,— и собирался сдержать свою клятву. Вот что, Джон, пойдем со мной. Позволь мне только предупредить этих людей и, если придется, постоять вместе с ними под стрелами. Тогда совесть моя будет чиста, я выполню свою клятву и отведу тебя в Холивуд.

— Ты смеешься надо мной! — возразил Мэтчем.— Люди, которым ты хочешь помочь, охотятся за мной, чтобы погубить меня.

Дик почесал голову.

— Что ж делать, Джон,— сказал он.— Я не могу иначе. А как бы ты сам поступил на моем месте? Тебе опас-

ность грозит небольшая, а их ждет смерть. Смерть! — повторил он.— Подумай об этом! Какого черта ты меня задерживаешь? Давай сюда крючок! Клянусь святым Георгием, я не дам им всем погибнуть!

— Ричард Шелтон,— сказал Мэтчем, глядя прямо ему в лицо,— неужели ты собираешься сражаться на стороне сэра Дэниэла? Разве у тебя нет ушей? Разве ты не слышал того, что сказал Эллис? Или тебе не дорога родная кровь, кровь твоего отца, которого убил этот человек? «Гарри Шелтон»,— сказал он; а сэр Гарри Шелтон был твой отец, и это так же ясно, как то, что солнце сияет на небе.

— И ты хочешь, чтобы я поверил ворам? — крикнул Дик.

— Я уже давно слышал об убийстве твоего отца,— сказал Мэтчем.— Всем известно, что его убил сэр Дэниэл. В своем собственном доме пролил он невинную кровь. Небеса жаждут отмщения за это убийство! А ты, сын убитого, идешь утешать и защищать убийцу!

— Джон! — воскликнул мальчик.— Я ничего не знаю. Быть может, все это так и было. Откуда мне знать? Но посуди сам: сэр Дэниэл вырастил меня и выкормил; я играл и охотился вместе с его воинами; а ты хочешь, чтобы я покинул их в минуту опасности! Если я покину их, я потеряю честь! Нет, Джон, не проси меня, ты ведь не захочешь видеть меня обесчещенным.

— Ну, а твой отец, Дик? — сказал Мэтчем, несколько, видимо, поколебленный.— Как же твой отец? И клятва, которую ты мне дал? Ведь когда ты давал клятву, ты призвал в свидетели всех святых.

— Мой отец, ты говоришь? — воскликнул Шелтон.— Отец велел бы мне идти и защищать своих. Если правда, что сэр Дэниэл убил его, придет час, и вот эта рука убьет сэра Дэниэла! Но пока сэру Дэниэлу грозит опасность, я буду защищать его. А от клятвы моей ты сам меня освободишь, добрый Джон. Ты освободишь меня от клятвы, чтобы спасти жизнь людей, которые не сделали тебе ничего дурного, и чтобы спасти мою честь.

— Я, Дик, освобожу тебя от клятвы? Никогда! — ответил Мэтчем.— Если ты бросишь меня, ты — клятвопреступник, так и знай.

— Мое терпение лопнуло,— сказал Дик.— Отдай мне мой крючок!

— Не дам,— сказал Мэтчем.— Я спасу тебя против твоей воли.

— Не дашь? — крикнул Дик.— Я тебя заставлю!

— Попробуй! — сказал Мэтчем.

Они смотрели друг другу в глаза, готовые к схватке. Дик бросился первым. Мэтчем отскочил, повернулся и побежал, но Дик нагнал его двумя прыжками, вырвал у него из рук крючок от арбалета, грубо повалил на землю и остановился над ним, сжав кулаки, раскрасневшийся и свирепый. Мэтчем лежал, уткнувшись лицом в траву и не пытаясь сопротивляться.

Дик натянул тетиву.

— Я тебя проучу! — яростно кричал он.— Клялся я или не клялся, а я тебя проучу!

Он повернулся и побежал прочь. Мэтчем вскочил на ноги и помчался за ним вдогонку.

— Что тебе нужно? — крикнул Дик и остановился.— Чего ты бежишь за мною? Отстань!

— Я бегу, куда хочу,— сказал Мэтчем.— Здесь, в лесу, я свободен.

— Нет, ты отстанешь от меня, клянусь богородицей! — ответил Дик, подымая свой арбалет.

— Ах, какой ты храбрец! — сказал Мэтчем.—Стреляй!

Дик смущенно опустил арбалет.

— Послушай,— сказал он,— ты уж и так достаточно мне навредил. Уходи. Уйди по-хорошему. А то я вынужден буду прогнать тебя.

— Ну что ж,— сказал Мэтчем,— ты сильнее. Прогоняй меня. А я от тебя не отстану, Дик. Ты можешь прогнать меня только силой.

Дик едва сдерживался. Совесть не позволяла ему бить беззащитного, но он не знал другого способа избавиться от ненужного спутника, которому к тому же перестал доверять.

— Да помешался ты, что ли? — крикнул он.— Дурак, ведь я иду к твоим врагам! Я несусь прямешенько к ним.

— Ну и пусть,— ответил Мэтчем.— Если тебе суждено умереть, Дик, я умру вместе с тобой. Если тебе суждено попасть в тюрьму, мне лучше будет с тобою в тюрьме, чем без тебя на свободе.

— Ладно,— сказал Дик.— У меня нет времени с тобой препираться. Иди за мной. Но если ты подстроишь мне какую-нибудь пакость, я тебя щадить не стану. Загоню в тебя стрелу, так и знай.

С этими словами Дик повернулся и быстрым шагом направился вдоль чащи, зорко глядя по сторонам. Вскоре он выбрался из оврага. Лес поредел. Слева он увидел небольшой холм, поросший золотистым дроком; на верхушке холма возвышались темные сосны.

«Отсюда мне будет видно все»,— подумал он и полез вверх по открытому, заросшему вереском склону.

Он прошел всего несколько ярдов, как вдруг Мэтчем схватил его за руку и показал что-то вдали. К востоку от холма лежала широкая долина; вереск на ней еще не отцвел, и она напоминала заржавленный щит, на котором пятнами темнели вязы. Десять человек в зеленых куртках поднимались по склону; их вел сам Эллис Дэкуорт,— его легко было узнать по рогатине, которую он держал в руках. Один за другим доходили они до вершины, появлялись на фоне неба и исчезали за холмом.

Дик ласково посмотрел на Мэтчема.

— Значит, ты верен мне, Джон? — спросил он.— А я боялся, что ты на стороне моих врагов.

Мэтчем заплакал.

— Это еще что! — воскликнул Дик.— Святые угодники, помилуйте нас! Я сказал тебе всего одно слово, и ты уже ревешь.

— Ты ушиб меня! — рыдал Мэтчем.— Ты швырнул меня на землю, и я очень больно ушибся. Ты трус, ты пользуешься тем, что ты сильней меня!

— Не болтай глупостей,— грубо сказал Дик.— Какое ты имел право не давать мне мой крючок, мастер Джон! Мне следовало отколотить тебя как следует. Хочешь идти со мной, так слушайся. Ну, идем!

Мэтчем пребывал в нерешительности; но когда он увидел, что Дик продолжает карабкаться вверх по склону, ни разу даже не обернувшись, он побежал за ним вслед. Однако подъем был крутой и неровный, и пока Мэтчем колебался, Дик прошел далеко вперед. А так как он и двигался проворнее, он успел доползти до сосен на вершине и уже расчищал себе гнездышко, когда Мэтчем, дыша, как загнанный олень, плюхнулся наземь рядом с ним.

Внизу, на краю обширной долины, тропа, идущая от деревушки Тэнстолл, спускалась к перевозу. Это была хорошо утоптанная тропа, и ее легко было проследить всю из конца в конец. Лес то отступал от нее, то подходил к ней вплотную; и всюду, где лес близко подходил к тропе, могла

быть засада. Далеко внизу солнечные лучи сияли на семи стальных шлемах; а по временам, когда деревья редели, с холма можно было разглядеть Сэлдэна и его людей, которые ехали рысью, спеша исполнить приказание сэра Дэниэла. Ветер, несколько ослабевший, все еще раскачивал деревья, и, быть может, если бы среди всадников был покойный Эппльярд, он по поведению птиц почуял бы опасность.

— Они уже заехали далеко в лес,— прошептал Дик.— Теперь, чтобы спастись, им надо скакать вперед, а не возвращаться. Видишь вон ту поляну, на самой середине которой выросла маленькая роща, похожая на остров? Там они были бы в безопасности. Только бы они доскакали до этого места, а уж я позабочусь их предупредить. Но надежды мало; их всего семеро, и у них не арбалеты, а простые луки. А арбалет, Джон, всегда одерживает победу над луком.

Между тем Сэлдэн и его спутники продолжали скакать по тропе, не подозревая о грозившей им опасности и постепенно приближаясь к тому месту, где спрятались мальчики. Один раз всадники остановились и, сбившись в кучу, стали прислушиваться и показывать куда-то пальцем. Насторожиться их, должно быть, заставил глухой пушечный рев, который ветер доносил до них издалека. По этим звукам можно было догадываться о ходе великого сражения. Тут было над чем задуматься. Если рев пушек стал слышен в Тэнстоллском лесу, значит, сражение передвинулось к востоку и, следовательно, счастье изменило сэру Дэниэлу и лордам Алой розы [1].

Но вот маленький отряд снова двинулся в путь и скоро добрался до открытой поляны, заросшей вереском; лес вдавался в нее длинным узким клином, доходившим до самой тропы. Едва всадники приблизились к ней, как в воздухе мелькнула стрела. Один из всадников всплеснул руками, конь его вздыбился, и оба они рухнули на землю. Все закричали так громко, что мальчики услышали их крики со своего холма. Оттуда также было видно, как шарахнулись вспугнутые кони, и как, когда всадники немного оправились от неожиданности, один из них пытался спешиться. Еще одна стрела, пущенная с большего расстояния, чем первая, описала в воздухе широкую дугу; второй всадник рухнул в пыль. Воин, слезавший с коня, выпустил узду, и

[1] Лорды Алой розы — то есть сторонники династии Ланкастеров.

конь помчался галопом, волоча его за ногу по земле, колотя об камни, топча копытами. Четверо, оставшихся в седле, разделились — один, громко крича, поскакал назад к перевозу, а трое других, бросив поводья, понеслись во весь опор вперед, к Тэнстоллу. Из-за каждого дерева в них летели стрелы. Вскоре один конь упал, но воин успел вскочить на ноги; он бежал вслед за своими товарищами, пока и его не уложила стрела. Еще один человек упал и еще один конь. Из всего отряда уцелел только один, но и у него уже не было коня. Вдали замер топот трех перепуганных коней, потерявших своих седоков.

За все это время ни один из нападающих не показался из засады. Там и сям на тропе валялись корчившиеся в предсмертной муке кони и люди. Но у их врагов не было милосердия — никто не вышел из засады, чтобы избавить их от страданий.

Уцелевший всадник остановился в растерянности возле своего павшего коня. Он очутился в конце той самой поляны с рощицей, которую Дик указал Мэтчему, на расстоянии каких-нибудь пятисот ярдов от того места, где лежали мальчики. Они ясно видели, как он тревожно озирался по сторонам, ожидая смерти. Но никто его не трогал, и мало-помалу мужество вернулось к нему. Внезапно он скинул с плеча свой лук и натянул тетиву. И Дик узнал его по движению руки. То был Сэлдэн.

При этой попытке к сопротивлению весь лес захохотал. Видимо, в этом жестоком и несвоевременном веселье участвовало не меньше двадцати человек. Над плечом Сэлдэна пролетела стрела. Он вздрогнул и отпрянул. Другая стрела вонзилась в землю у самых его ног. Он спрятался за деревом. Третья стрела, направленная, казалось, ему прямо в лицо, упала в нескольких шагах от него. Затем снова раздался громкий хохот, перебегая, как эхо, от одного куста к другому.

Было ясно, что нападающие просто дразнят несчастного, как в те времена дразнили обычно быка, перед тем как убить, или как кошка и по сей день забавляется с мышью. Сражение давно окончилось. Один из лесных удальцов уже вышел на тропу и спокойно подбирал стрелы, а его товарищи тешили свои жестокие сердца зрелищем страданий ближнего.

Сэлдэн понял, что его дразнят. С яростным воплем он натянул свой лук и наугад пустил стрелу в чащу леса.

Ему повезло — кто-то вскрикнул от боли. Кинув свой лук, Сэлдэн помчался вверх по склону, как раз туда, где лежали Дик и Мэтчем.

Лесные удальцы начали обстреливать его не на шутку. Но они поздно спохватились, и как бы в отместку за их жестокость счастье от них отвернулось и теперь им приходилось стрелять против солнца. Сэлдэн на бегу кидался то вправо, то влево, чтобы сбить их и не дать им прицелиться. Уже тем, что он бросился бежать вверх по склону, он расстроил все их расчеты: по ту сторону тропы у них не было ни одного стрелка, кроме того единственного, которого Сэлдэн не то убил, не то ранил. Шайка, видимо, растерялась. Кто-то трижды свистнул, потом еще два раза. Издалека донесся ответный свист. Весь лес наполнился шумом шагов и треском ветвей. Испуганная лань выскочила на поляну, постояла на трех ногах, понюхала воздух и снова исчезла в чаще.

Сэлдэн продолжал бежать, прыгая из стороны в сторону. Стрелы летели за ним вдогонку, но ни одна не попала в него. Еще немного, казалось, и он спасен. Дик держал наготове свой арбалет, чтобы помочь ему. Даже Мэтчем, позабыв о своей ненависти к сэру Дэниэлу, в глубине души сочувствовал несчастному беглецу. Сердца обоих мальчиков судорожно стучали.

Сэлдэн находился всего в пятидесяти ярдах от них, как вдруг в него попала стрела, и он упал. Правда, через мгновение он уже снова был на ногах; но теперь он шатался на каждом шагу и, словно слепой, побежал в другую сторону.

Дик вскочил на ноги и замахал ему рукой.

— Сюда! — крикнул он.— Сюда! Мы поможем тебе! Беги! Беги!

Но вторая стрела попала Сэлдэну в плечо и, угодив между пластинами его лат, пробила его куртку. Он рухнул на землю.

— Бедняга! — крикнул Мэтчем, всплеснув руками.

А Дик словно остолбенел. Он стоял во весь рост на вершине холма — великолепной мишенью для стрелков.

Его, наверно, немедленно убили бы, так как лесные удальцы были в ярости на самих себя и застигнуты врасплох появлением Дика в тылу своих позиций, но вдруг совсем близко раздался громовой голос Эллиса Дэкуорта.

— Стой! — прогремел он.— Не смейте стрелять! Взять его живьем! Это молодой Шелтон, сын Гарри Шелтона.

Он несколько раз пронзительно свистнул, и со всех сторон леса ему засвистели в ответ. Свист, вероятно, заменял Джону Мщу-за-всех боевую трубу: с его помощью он отдавал свои приказания.

— Беда! — воскликнул Дик.— Мы попались... Бежим, Джон, бежим!

И они повернули назад и помчались через сосновую рощу, покрывавшую вершину холма.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОНЕЦ ДНЯ

Мальчики побежали в самое время: еще немного, и было бы поздно. Молодцы «Черной стрелы» со всех концов устремились к холму. Наиболее проворные из них и те, кому пришлось бежать по открытой местности, быстро опередили остальных и были уже недалеко от цели; а те, которые поотстали, помчались по ложбинам, кто направо, кто налево, стремясь окружить холм, чтобы не дать мальчикам уйти.

Дик влетел в высокую дубовую рощу. Там, под дубами, была твердая почва, и ноги не путались в прутьях кустов. Мальчики бежали быстро, потому что бежать им приходилось с горы. Дубы кончились, перед ними была широкая долина, но Дик свернул влево. Добежав до следующей поляны, он опять свернул влево. Вот каким образом получилось, что мальчики, несколько раз сворачивавшие влево, понеслись по направлению к реке, через которую они переправились два часа назад, а их преследователи помчались совсем в другую сторону, по направлению к Тэнстоллу.

Мальчики остановились, чтобы перевести дух. Преследователей не было слышно. Дик приложил ухо к земле и все же ничего не услышал; впрочем, на слух трудно было положиться, так как ветер, шумевший в ветвях, заглушал все.

— Вперед! — сказал Дик.

Они очень устали, у Мэтчема ныла нога, и все-таки, пересилив себя, они побежали дальше под гору.

Три минуты спустя они врезались в самую гущу кустов остролиста. Над головой кроны дубов образовали сплошную крышу. Казалось, они попали в высокий многоколонный собор. Бежать здесь было нетрудно — трава упруго и мягко пружинила под ногами, и только порой беглецы цеплялись за кусты остролиста.

Но вот чаща поредела, они миновали последние кусты, и сумерки рощи расступились.

— Стой! — крикнул чей-то голос.

Среди толстых стволов в пятидесяти футах от себя они увидели рослого человека в зеленой куртке, запыхавшегося от быстрого бега. Человек этот поспешно вложил в лук стрелу и взял их на прицел. Мэтчем вскрикнул и остановился; но Дик продолжал бежать и, выхватив кинжал, с ходу кинулся на лесного удальца. Быть может, тот растерялся, пораженный смелостью нападения, а быть может, ему было запрещено стрелять: как бы то ни было, он не выстрелил. Не дав ему опомниться, Дик схватил его за горло и швырнул наземь. Лук, загудев тетивой, полетел в одну сторону, стрела — в другую. Обезоруженный лесной удалец попытался сопротивляться; но кинжал дважды сверкнул и дважды опустился. Раздался слабый стон. Дик поднялся. Лесной удалец неподвижно лежал на траве, пораженный в самое сердце.

— Вперед! — крикнул Дик.

Он снова побежал; Мэтчем с трудом поспевал за ним. По правде говоря, оба едва волочили ноги и ловили воздух ртом, как рыбы. У Мэтчема закололо в боку; голова его кружилась. У Дика ноги были как свинцовые. Они бежали из последних сил, но все-таки бежали.

Внезапно чаща кончилась. Перед ними лежала дорога из Райзингэма в Шорби, окаймленная с обеих сторон неприступной стеной леса.

Дик остановился. И тут он услышал какой-то непонятный шум. Непрерывно нарастая, он напоминал завывание ветра, но вскоре в этом завывании Дик различил топот несущихся вскачь лошадей. И вот из-за поворота дороги выскочил отряд вооруженных всадников; он мгновенно пронесся мимо мальчиков и исчез. Всадники мчались в полном беспорядке,— видимо, они спасались бегством; многие из них были ранены. Рядом неслись, высоко подкидывая окровавленные седла, лошади без седоков. Это удирали остатки армии, разгромленные в большом сражении.

Топот лошадей, промчавшихся в сторону Шорби, уже начал замирать вдали, как вновь послышалось цоканье копыт и на дороге появился еще один всадник, судя по его великолепным доспехам, человек высокого положения. Следом за ним потянулись обозные телеги. Возницы неистово подстегивали кляч, и клячи бежали неуклюжей рысью. Эти обозники, видимо, удрали в самом начале сражения, но трусость не принесла им пользы. Едва они поравнялись с тем местом, где стояли удивленные мальчики, как какой-то воин в изрубленных латах, вне себя от бешенства, догнал телеги и начал избивать возниц рукоятью меча. Многие побросали свои телеги и скрылись в лесу. Оставшихся воин рубил направо и налево, нечеловечески громко бранясь и обзывая их трусами.

Между тем шум вдали все усиливался; ветер доносил громыханье телег, конский топот, крики воинов. Ясно было, что целая армия, словно наводнение, хлынула на дорогу.

Дик нахмурился. По этой дороге он собирался идти до поворота на Холивуд, а теперь надо было искать другой путь. А главное, он узнал знамена графа Райзингэма и понял, что сторонники Ланкастерской розы потерпели полное поражение. Успел ли сэр Дэниэл присоединиться к ланкастерцам? Неужели и он тоже разбит? Неужели и он бежал? Или, быть может, он запятнал свою честь изменой и перешел на сторону Йорка? Неизвестно, что хуже.

— Идем,— угрюмо сказал Дик.

И побрел назад в чащу. Мэтчем устало ковылял за ним.

Они молча шли по лесу. Было уже поздно; солнце опускалось в болото за Кэттли; вершины деревьев багровели в его лучах, но тени становились все гуще, и в воздухе повеяло ночным холодом.

— Эх, если бы поесть! — воскликнул Дик, остановившись.

Мэтчем сел на землю и заплакал.

— Вот из-за ужина ты плачешь, зато, когда нужно было спасать людей, ты был спокоен,— презрительно сказал Дик.— На твоей совести семь человек, мастер Джон; и этого я тебе никогда не прощу.

— На моей совести? — воскликнул Мэтчем яростно.— На моей? А на твоем кинжале красная человеческая кровь! За что ты убил беднягу? Он поднял лук, но не выстрелил;

он мог тебя убить, но пощадил! Велика храбрость — убить безоружного, как котенка!

Дик онемел от оскорбления.

— Я убил его в честном бою. Я кинулся на него, когда он поднял лук! — воскликнул он.

— Ты убил его, как трус,— возразил Мэтчем.— Ты крикун и хвастунишка, мастер Дик! У всякого, кто сильнее тебя, ты будешь валяться в ногах! Ты не умеешь мстить. Смерть твоего отца осталась неотмщенной, и его несчастный дух напрасно молит о возмездии. А вот если какое-нибудь слабое существо, не умеющее драться, подружится с тобой, она погибнет.

Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внимание на слово «она».

— Вздор! — крикнул он.— Возьми любых двух человек, и всегда окажется, что один сильнее, а другой слабее. Сильный побеждает слабого, и это правильно. А тебя, мастер Мэтчем, за твою строптивость и неблагодарность следует выдрать ремнем, и я тебя выдеру.

И Дик, умевший в самом сильном гневе казаться спокойным, начал расстегивать свой пояс.

— Вот что ты получишь на ужин,— сказал он, мрачно усмехаясь.

Мэтчем перестал плакать; он был бел как полотно, но твердо смотрел Дику в лицо и не двигался. Дик шагнул вперед, подняв ремень. Но тут же остановился, смущенный большими глазами и осунувшимся, усталым лицом своего товарища. Дик заколебался.

— Признайся, что ты неправ,— запинаясь, проговорил он.

— Нет, я прав,— сказал Мэтчем.— Бей меня! Я хромаю; я устал; я не сопротивляюсь; я не сделал тебе ничего дурного. Так бей же меня, трус!

Услышав эти оскорбительные слова, Дик взмахнул поясом. Но Мэтчем так вздрогнул, так сжался весь от страха, что у Дика снова не хватило решимости нанести удар. Рука с ремнем опустилась; он не знал, как поступить, и чувствовал себя дураком.

— Чтоб ты сдох от чумы! — сказал он.— Если у тебя слабые руки, так придержи свой язык. Но бить я тебя не могу, пусть меня лучше повесят!

И он надел свой пояс.

— Бить я тебя не буду,— продолжал он,— но простить

тебе я никогда не прощу. Я тебя не знал. Ты был врагом моего господина,— я отдал тебе свою лошадь; я отдал тебе свой обед, а ты говорил, что я сделан из дерева. Ты обозвал меня трусом и хвастунишкой. Нет, мера моего терпения переполнена, клянусь! Теперь я вижу, как выгодно быть слабым: ты можешь совершать самые гнусные поступки, и никто тебя не накажет; ты можешь украсть у человека оружие, когда ему грозит опасность, и человек этот не посмеет потребовать его у тебя,— ведь ты такой слабый! Значит, если кто-нибудь направит на тебя копье и крикнет тебе, что он слаб, ты должен дать ему пронзить тебя? Вздор! Глупости!

— А все-таки ты меня не бьешь,— сказал Мэтчем.

— Черт с тобой! — ответил Дик.— Я займусь твоим воспитанием. Ты дурно воспитан, но все же в тебе есть что-то хорошее, и главное, ты вытащил меня из реки. Впрочем, об этом я вспоминать не хочу. Я решил быть таким же неблагодарным, как ты. Однако нужно идти. Если ты хочешь попасть в Холивуд сегодня ночью или хотя бы завтра утром, мы должны торопиться.

Но если к Дику и вернулось его добродушие, Мэтчем не простил ему ничего. Нелегко ему было забыть и грубость Дика, и убийство лесного удальца, и, самое главное, поднятый ремень.

— Приличия ради благодарю тебя,— сказал Мэтчем.— Но, пожалуй, я и без тебя найду дорогу, добрый мастер Шелтон. Лес широк; ты ступай налево, а я пойду направо. Я у тебя в долгу: ты накормил меня обедом и прочитал мне нравоучение,— при случае я отблагодарю тебя. Всего хорошего!

— Ну и убирайся! — крикнул Дик.— И черт с тобой!

Они пошли в разные стороны, не заботясь о направлении и думая только о своей ссоре. Но не прошел Дик и десяти шагов, как Мэтчем окликнул его и побежал за ним.

— Дик,— сказал он,— мы нехорошо с тобой попрощались. Вот тебе моя рука и вот тебе мое сердце. За все, что ты сделал для меня, за твою помощь мне я благодарю тебя, и не из приличия только, а от всей души. Всего тебе хорошего!

— Ну что же, друг,— сказал Дик, пожимая протянутую руку,— желаю, чтоб тебе везло во всем. Но боюсь, что не повезет. Слишком уж ты любишь спорить.

Они расстались во второй раз. И снова разлука их не состоялась, но теперь уже не Мэтчем побежал за Диком, а Дик за Мэтчемом.

— Возьми мой арбалет,— сказал он.— Ведь у тебя нет никакого оружия.

— Арбалет? — воскликнул Мэтчем.— Да у меня не хватит силы натянуть его. К тому же я и целиться не умею. Арбалет не принесет мне никакой пользы, добрый мальчик. Благодарю тебя.

Приближалась ночь, и в тени ветвей они уже с трудом различали лица друг друга.

— Погоди, я немного провожу тебя,— сказал Дик.— Ночь темна. Я доведу тебя хотя бы до тропинки, а то один ты можешь заблудиться.

Не сказав больше ни слова, он пошел вперед, и Мэтчем опять побрел за ним. Становилось все темней и темней; лишь изредка сквозь густые ветви видели они небо, усеянное мелкими звездами. Шум разгромленной армии ланкастерцев все еще доносился до них, но с каждым их шагом он становился слабей и глуше.

Примерно через полчаса они вышли на большую поляну, поросшую вереском. Кое-где, словно островки, над ней возвышались кущи тисов, слабо озаренные мерцанием звезд. Мальчики остановились и посмотрели друг на друга.

— Ты устал? — спросил Дик.

— Я так устал,— ответил Мэтчем,— что хотел бы лечь и умереть.

— Я слышу журчание ручья,— сказал Дик.— Дойдем до него и напьемся; меня мучит жажда.

Местность медленно понижалась, и, действительно, на дне долины они нашли маленький лепечущий ручеек, который бежал между ивами. Они упали ничком на землю и, вытянув губы, вдоволь напились воды, отражавшей звезды.

— Дик,— сказал Мэтчем,— я выбился из сил. Я ничего больше не могу.

— Когда мы спускались сюда, я видел какую-то яму,— сказал Дик.— Залезем в нее и заснем.

— Ах, как я хочу спать! — воскликнул Мэтчем.

Яма была песчаная и сухая; ветви кустов, словно навес, склонялись над ней. Мальчики влезли в яму, легли и крепко прижались друг к другу, чтобы согреться; ссора их была забыта. Сон окутал их, как облако, и они мирно заснули под росою и звездами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧЕЛОВЕК С ЗАКРЫТЫМ ЛИЦОМ

Они проснулись в предрассветных сумерках. Птицы еще не пели, а только неуверенно щебетали; и солнце еще не встало, но весь восточный край неба был охвачен торжественной многоцветной зарей. Голодные, измученные, они неподвижно лежали в блаженной истоме. И вдруг услышали звяканье колокольчика.

— Звонят! — сказал Дик, приподнимаясь.— Неужели мы так близко от Холивуда?

Колокольчик звякнул снова и на этот раз гораздо ближе; надтреснутый звон его, нарушивший утреннюю тишину, уже не умолкал, все время приближаясь.

— Что это? — спросил Дик, окончательно просыпаясь.

— Кто-то идет,— ответил Мэтчем,— и при каждом его шаге звенит колокольчик.

— Я это и сам понимаю,— сказал Дик.— Но кто может бродить здесь с колокольчиком? Кому нужен колокольчик в Тэнстоллском лесу? Джон,— прибавил он,— смейся надо мной, если хочешь, но мне этот звон не нравится.

— Да,— сказал Мэтчем и вздрогнул,— в этом звоне есть что-то тоскливое. Если бы не рассвет...

Но тут колокольчик зазвенел гораздо сильнее и вдруг умолк.

— Можно подумать, что кто-то бежал с колокольчиком, прочитал «отче наш» и с разбегу прыгнул в воду,— заметил Дик.

— А теперь он снова идет медленно,— прибавил Мэтчем.

— Не так уж медленно, Джон,— ответил Дик.— Напротив, он очень быстро к нам приближается. Либо он удирает от кого-то, либо за кем-то гонится сам. Разве ты не слышишь, что звон с каждым мгновением все ближе?

— Он уже совсем рядом,— сказал Мэтчем.

Они стояли на краю ямы; а так как яма была на верхушке небольшого бугра, они видели всю поляну до самого леса. В серых утренних сумерках они ясно различали белую ленту тропинки, которая проходила в каких-нибудь ста ярдах от ямы и пересекала всю поляну с востока на запад. Дик рассудил, что тропинка эта, по всей видимости, должна была вести в замок Мот.

Не успел он это подумать, как на тропинке, выйдя из чащи леса, появился человек, закутанный в белое. Он остановился на мгновение, словно для того, чтобы получше осмотреться; затем, низко пригнувшись к земле, неторопливо двинулся вперед через заросшую вереском поляну. Колокольчик звенел при каждом его шаге. У него не было лица: белый мешок, в котором не были прорезаны даже отверстия для глаз, закрывал всю его голову; человек этот нащупывал дорогу палкой.

Смертельный ужас охватил мальчиков.

— Прокаженный! — сказал Дик, задыхаясь.

— Его прикосновение — смерть,— сказал Мэтчем.— Бежим!

— Зачем бежать? — возразил Дик.— Разве ты не видишь, что он совсем слепой? Он нащупывает дорогу палкой. Давай лежать и не двигаться; ветер дует от нас к нему, и он пройдет мимо, не причинив нам никакого вреда. Бедняга! Он достоин жалости, а не страха!

— Я пожалею его, когда он пройдет,— ответил Мэтчем.

Прокаженный находился уже совсем недалеко от них. Взошло солнце и озарило его закрытое лицо. Когда-то, до того, как страшная болезнь согнула его в три погибели, это, должно быть, был крупный, рослый мужчина, да и сейчас он шел уверенной походкой сильного человека. Зловещий звон колокольчика, стук палки, завешенное безглазое лицо и, главное, сознание того, что он не только обречен смерти и мучениям, но и отвержен людьми,— все это нагоняло на мальчиков удручающую тоску. Человек приближался к ним, и с каждым его шагом они теряли мужество и силы.

Поравнявшись с ямой, он остановился и повернул к ним голову.

— Пресвятая богородица, спаси меня! — еле слышно прошептал Мэтчем.— Он нас видит!

— Вздор!— ответил Дик шепотом.— Он просто прислушивается. Ведь он слеп, дурачок!

Прокаженный смотрел или прислушивался несколько мгновений. Потом побрел дальше, но вдруг снова остановился и снова, казалось, поглядел на мальчиков. Даже Дик смертельно побледнел и закрыл глаза, точно от одного взгляда на прокаженного он мог заразиться. Но скоро колокольчик зазвенел опять. Прокаженный дошел до конца поляны и исчез в чаще.

— Он видел нас,— сказал Мэтчем.— Клянусь, он нас видел!

— Глупости! — ответил Дик, к которому уже вернулось мужество.— Он нас слышал и, верно, очень испугался, бедняга! Если бы ты был слеп и если бы тебя окружала вечная ночь, ты останавливался бы при каждом хрусте сучка под ногой, при каждом писке птицы.

— Дик, добрый Дик, он видел нас,— повторял Мэтчем.— Люди прислушиваются совсем не так, Дик. Он смотрел, а не слушал. Он задумал что-то недоброе. Слышишь, колокольчик умолк...

Он был прав. Колокольчик больше не звенел.

— Это мне не нравится,— сказал Дик.— Это мне совсем не нравится,— повторил он.— Что он затеял? Идем скорее!

— Он пошел на восток,— сказал Мэтчем.— Добрый Дик, бежим прямо на запад! Я успокоюсь только тогда, когда повернусь к этому прокаженному спиной и удеру от него как можно дальше.

— Какой же ты трус, Джон! — ответил Дик.— Мы идем в Холивуд, а чтобы прийти отсюда в Холивуд, нужно идти на север.

Они встали, перешли по камешкам через ручей и полезли вверх по противоположному склону оврага, который был очень крут и подымался до самой опушки леса. Почва тут была неровная — всюду бугры и ямы; деревья росли то поодиночке, то целыми рощами. Нелегко было находить дорогу, и мальчики подвигались вперед очень медленно. К тому же они были утомлены вчерашними своими похождениями, измучены голодом и с трудом передвигали вязнувшие в песке ноги.

Внезапно с вершины бугра они увидели прокаженного— он находился в ста футах от них и шел им наперерез по ложбине. Колокольчик его не звенел, палка не нащупывала дороги, он шел быстрой, уверенной походкой зрячего человека. Через мгновение он исчез в зарослях кустов.

Мальчики сразу спрятались за кустом дрока и лежали, охваченные ужасом.

— Он гонится за нами,— сказал Дик.— Ты заметил, как он прижал язычок колокольчика рукой, чтобы не звенеть? Да помогут нам святые! Против заразы мое оружие бессильно!

— Что ему нужно? — воскликнул Мэтчем.— Чего он хочет? Никогда не слыхал я, чтобы прокаженные бросались

на людей просто так, со зла. Ведь и колокольчик у него для того, чтобы люди, услышав звон, убегали. Дик, тут что-то не так...

— Мне все равно,— простонал Дик.— Я совсем ослабел, ноги у меня как солома. Да спасут нас святые!

— Неужели ты так и будешь тут лежать? — воскликнул Мэтчем.— Бежим назад, на поляну. Там безопаснее. Там ему не удастся подкрасться к нам незаметно.

— Я никуда не побегу,— сказал Дик.— У меня нет сил. Будем надеяться, что он пройдет мимо.

— Так натяни свой арбалет! —воскликнул Мэтчем.— Будь мужчиной.

Дик перекрестился.

— Неужели ты хочешь, чтобы я стрелял в прокаженного? — сказал он.— У меня рука не подымется. Будь что будет! — прибавил он.— Я могу сражаться со здоровыми людьми, но не с привидениями и прокаженными. Не знаю, привидение ли это или прокаженный, но да защитит нас небо и от того и от другого!

— Так вот какова прославленная храбрость мужчины! — сказал Мэтчем.— Как мне жалко несчастных мужчин! Ну что же, если ты ничего не хочешь делать, так давай лежать смирно.

Колокольчик отрывисто звякнул.

— Он нечаянно отпустил язычок,— шепнул Мэтчем.— Боже, как он близко!

Дик ничего не ответил, зубы его стучали.

Прокаженный уже смутно белел за ветвями кустов, потом из-за ствола высунулась его голова, казалось, он внимательно изучал местность. Мальчикам от страха чудилось, что кусты шуршат листьями и трещат ветвями, как живые; и каждому было слышно, как стучит сердце у другого.

Вдруг прокаженный с воплем выскочил из-за кустов и побежал прямо на мальчиков. Громко крича, они кинулись в разные стороны. Но их страшный враг живо догнал Мэтчема и крепко схватил его. Лесное эхо подхватило отчаянный крик Мэтчема. Он судорожно забился и потерял сознание.

Дик услышал крик и обернулся. Он увидел упавшего Мэтчема, и к нему сразу вернулись и силы и мужество. С воэгласом, в котором смешались гнев и жалость, он снял с плеча арбалет и натянул тетиву. Но прокаженный остановил его, подняв руку.

— Не стреляй, Дикон! — послышался знакомый голос.— Не стреляй, храбрец! Неужели ты не узнал друга?

Уложив Мэтчема на траву, человек скинул с головы мешок, и Дик увидел лицо сэра Дэниэла Брэкли.

— Сэр Дэниэл! — воскликнул Дик.

— Да, я сэр Дэниэл,— ответил рыцарь.— Ты чуть не застрелил своего опекуна, мошенник! Но вот этот...— Он кивнул в сторону Мэтчема.— Как ты его называешь, Дик?

— Я его называю мастер Мэтчем,— сказал Дик.— Разве вы его не знаете? А он говорил, что вы его знаете!

— Да, я его знаю,— ответил сэр Дэниэл и усмехнулся.— Он в обмороке, и, клянусь небом, ему есть с чего упасть в обморок. Признайся, Дик, ведь я напугал тебя до смерти?

— Ужасно напугали, сэр Дэниэл,— сказал Дик, вздохнув при одном воспоминании о своем испуге.— Простите меня, сэр, за дерзкие слова, но мне показалось, что я встретил самого дьявола. Сказать по правде, я до сих пор весь дрожу. Почему вы так нарядились, сэр?

Сэр Дэниэл гневно нахмурился.

— Почему я так нарядился? — сказал он.— Потому, Дик, что даже в моем собственном Тэнстоллском лесу моей жизни угрожает опасность. Нам не повезло, мы прибыли к самому разгрому. Где все мои славные воины? Дик, клянусь небом, я не знаю, где они! Мы были смяты. Стрелы косили нас, троих убили у меня на глазах. С тех пор я не видел ни одного моего воина. Мне удалось невредимым добраться до Шорби. Там, опасаясь «Черной стрелы», я нарядился прокаженным и осторожно побрел к замку Мот, позванивая колокольчиком. Это самый удобный наряд на свете; самый дерзкий разбойник пустится наутек, заслышав звон моего колокольчика. Этот звук способен согнать краску с любого лица. Я иду и вдруг натыкаюсь на тебя и Мэтчема. Я очень плохо вижу сквозь мешок и не был уверен, вы это или не вы. И по многим причинам я удивился, встретив вас вместе. Кроме того, я боялся, что на открытой поляне меня могут узнать. Но погляди,— перебил он себя,— бедняга уже почти очнулся. Глоток доброго канарского вина живо его воскресит.

Рыцарь вынул из-под своей длинной одежды большую бутылку. Он растер больному виски и смочил ему губы. Джон пришел в себя и тусклым взором смотрел то на одного, то на другого.

— Какая радость, Джон! — сказал Дик.— Это был вовсе не прокаженный, это был сэр Дэниэл! Посмотри сам!

— Выпей глоточек,— сказал рыцарь.— Ты сразу станешь молодцом. Я вас накормлю, и мы втроем пойдем в Тэнстолл. Признаюсь тебе, Дик,— продолжал он, раскладывая на траве хлеб и мясо,— я буду чувствовать себя в безопасности только тогда, когда окажусь в четырех стенах. С тех пор как я в первый раз сел на коня, мне никогда не приходилось так плохо. Опасность грозит и моей жизни и моему имуществу, а тут еще эти лесные бродяги ополчились на меня. Но я так легко не сдамся! Некоторым моим воинам удастся добраться домой, да у Хэтча осталось десять человек, и у Сэлдэна шесть. Нет, мы скоро снова будем сильны! И если мне удастся купить мир у счастливого и недостойного лорда Йорка, мы с тобой, Дик, скоро снова станем людьми и будем разъезжать верхом на конях!

С этими словами рыцарь наполнил рог канарским вином и поднял его, собираясь выпить за здоровье своего воспитанника.

— Сэлдэн...— начал Дик, запинаясь.— Сэлдэн...

И замолчал.

Сэр Дэниэл отшвырнул рог, не выпив вина.

— Что? — воскликнул он дрогнувшим голосом.— Сэлдэн? Говори! Что случилось с Сэлдэном?

Дик рассказал, как попал в засаду и как был истреблен отряд, посланный сэром Дэниэлом.

Рыцарь слушал молча, но лицо его подергивалось от гнева и горя.

— Клянусь моей правой рукой, я отомщу! — вскричал он.— Если мне не удастся отомстить, если я не убью десять врагов за каждого из моих убитых воинов, пусть эта рука отсохнет! Я сломал этого Дэкуорта, как тростинку, я выгнал его из дома, я сжег крышу над его головой, я изгнал его из этой страны; и теперь он вернулся, чтобы вредить мне? Ну, Дэкуорт, на этот раз тебе придется плохо!

Он замолчал, и только лицо его продолжало подергиваться.

— Что же вы не едите! — крикнул он внезапно.— А ты,— обратился он к Мэтчему,— поклянись мне, что пойдешь со мной в замок Мот.

— Клянусь моей честью,— ответил Мэтчем.

— Что я стану делать с твоей честью? — крикнул рыцарь.— Поклянись мне счастьем твоей матери!

Мэтчем поклялся счастьем матери. Сэр Дэниэл закрыл лицо мешком, взял колокольчик и палку. Увидев его снова в этом ужасном наряде, мальчики почувствовали некоторый трепет. Но рыцарь был уже на ногах.

— Ешьте скорее,— сказал он,— и идите за мною следом в мой замок.

Он повернулся и побрел в лес, колокольчик отсчитывал его шаги. Мальчики не дотронулись до еды, пока страшный этот звон не замолк вдали.

— Итак, ты идешь в Тэнстолл? — спросил Дик.

— Что ж делать,— сказал Мэтчем,— приходится идти! Я храбрее за спиною сэра Дэниэла, чем у него на глазах.

Они наскоро поели и пошли по тропинке, которая вела их все выше в гору. Огромные буки росли среди зеленых лужаек; белки и птицы весело перескакивали с ветки на ветку. Через два часа они были уже на другой стороне гряды холмов и шли вниз; вскоре за вершинами деревьев показались красные стены и крыши Тэнстоллского замка.

— Попрощайся здесь со своим другом Джоном, которого ты никогда уже больше не увидишь,— сказал Мэтчем и остановился.— Прости Джону все, что он тебе сделал дурного, и он тоже с радостью и любовью простит тебя.

— Зачем? — спросил Дик.— Мы оба идем в Тэнстолл и будем видеться там очень часто.

— Ты никогда больше не увидишь бедного Джона Мэтчема, который был так труслив и надоедлив, но все-таки вытащил тебя из реки. Ты больше не увидишь его, Дик, клянусь моей честью!

Он раскрыл объятия. Мальчики обнялись и поцеловались.

— Я предчувствую беду, Дик,— продолжал Мэтчем.— Ты теперь увидишь нового сэра Дэниэла. До сих пор все ему удавалось, счастье само шло ему в руки, но теперь судьба обернулась против него, и он будет дурным господином для нас обоих. Он храбр на поле брани, но у него лживые глаза. Сейчас в глазах его испуг, а страх, Дик, свирепее волка! Мы идем в его замок. Святая Мария, выведи нас оттуда!

Они молча спустились с холма и наконец подошли к лесной твердыне сэра Дэниэла — низкому мрачному зданию с круглыми башнями, с мохом и плесенью на стенах и с глубоким рвом, полным воды, в которой плавали чашечки

лилий. При их появлении ворота распахнулись, подъемный мост опустился, и сэр Дэниэл, сопровождаемый Хэтчем и священником, вышел им навстречу.

КНИГА ВТОРАЯ

ЗАМОК МОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДИК ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

Замок Мот стоял недалеко от лесной дороги. Это было красное каменное прямоугольное здание, по углам которого возвышались круглые башни с бойницами и зубцами. Внутри замка находился узкий двор. Через ров, имевший футов двенадцать в ширину, был перекинут подъемный мост. Вода втекала в ров по канаве, соединявшей его с лесным прудом; канава на всем своем протяжении находилась под защитой двух южных башен. Обороняться в таком замке было удобно. Немного портили дело два высоких ветвистых дерева невдалеке, которые почему-то забыли срубить. Забравшись на них, неприятельские стрелки могли угрожать защитникам замка.

Во дворе Дик застал нескольких воинов из гарнизона, готовившихся к защите и угрюмо рассуждавших о том, удастся ли им удержать замок. Кто изготовлял стрелы, кто точил мечи, давно уже не бывшие в деле; все они с сомнением покачивали головой.

Из всего отряда сэра Дэниэла только двенадцати воинам удалось уйти живыми с поля битвы, пройти через лес и явиться в замок Мот. Но и из них трое были тяжело ранены: двое — в битве при Райзингэме, во время беспорядочного бегства, а один — в лесу, молодцами Джона Мшу-завсех. Вместе с воинами из гарнизона, с Хэтчем, с сэром Дэниэлом и молодым Шелтоном в замке находилось двадцать два человека, способных сражаться. Можно было ожидать, что со временем явится еще кто-нибудь. Опасность, следовательно, заключалась не в малочисленности отряда.

Черные стрелы — вот чего боялись защитники замка. Меньше всего опасались они своих явных врагов — сторонников Йорка. Они утешались мыслью, что «все переменится», как любили говорить в то смутное время, и что беда, быть может, и минует их. Зато перед своими лесными соседями они трепетали. Жители окрестных деревень ненавидели не только сэра Дэниэла. Его воины, пользуясь своей безнаказанностью, тоже обижали и притесняли всех. Жестокие приказания сэра Дэниэла жестоко исполнялись его подручными, и каждый из воинов, собравшихся во дворе замка, совершил немало насилий и преступлений. А теперь, благодаря превратностям войны, сэр Дэниэл уже не мог защитить своих приверженцев; теперь, после битвы, которая длилась всего несколько часов и в которой многие из них даже не принимали участия, они стали маленькой кучкой находящихся вне закона государственных преступников, осажденных в жалкой крепости и предоставленных справедливому гневу своих жертв. К тому же в грозных напоминаниях о том, что их ожидает, недостатка не было.

В течение вечера и ночи к воротам с громким ржанием прискакали семь испуганных лошадей без всадников. Две из них принадлежали воинам отряда Сэлдэна, а пять — тем, кого сэр Дэниэл водил в бой. Перед рассветом ко рву, шатаясь, подошел копьеносец, пронзенный тремя стрелами. Едва его внесли в замок, как он испустил дух; из его предсмертного лепета явствовало, что ни один человек из довольно многочисленного отряда, к которому он принадлежал, не уцелел.

Даже загорелое лицо Хэтча побледнело от тревоги. Когда Дик рассказал ему о судьбе Сэлдэна, он упал на каменную скамью и зарыдал. Воины, сидевшие на табуретках и ступеньках в солнечном углу двора, поглядели на него с удивлением и беспокойством, но ни один не отважился спросить его, отчего он плачет.

— Помните, мастер Шелтон, что я вам говорил? — сказал наконец Хэтч.— Я говорил, что все мы будем убиты. Сэлдэн был молодчина, и я любил его, как брата. Его убили вторым. Ну что ж, мы все отправимся вслед за ним! Как сказано в том подлом стишке про черные стрелы? «Они без промаха летят и никого не пощадят». Так, кажется? Ну что ж — Эппльярд, Сэлдэн, Смит и старый Гэмфри уже убиты. А в замке лежит бедный Джон Картер и призывает, грешник, священника.

Дик прислушался. Он стоял неподалеку от низкого оконца, из которого доносились стоны и причитания.

— Он лежит здесь? — спросил Дик.

— Да, в комнате второго привратника,— ответил Хэтч.— У него уже душа рвется вон, и мы не могли втащить его дальше. При каждом нашем шаге он думал, что умирает. Но сейчас, мне кажется, он испытывает только душевные муки. Он все зовет священника, а сэр Оливер почему-то до сих пор не подошел к нему. Ему придется долго исповедоваться. А бедняга Эппльярд и бедняга Сэлдэн умерли без исповеди.

Дик наклонился и заглянул в окно. В маленькой низкой комнатушке было темно, но все же ему удалось разглядеть старого солдата, стонавшего на соломенной подстилке.

— Картер, бедный друг, как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— Мастер Шелтон,— ответил тот взволнованным шепотом,— ради всего святого, приведите священника! Увы, мне пришел конец! Мне очень плохо, рана моя смертельна. Окажите мне последнюю услугу, приведите священника! Ничего другого вы уже не можете для меня сделать. Ради спасения моей души, поторопитесь! Заклинаю вас, как благородного человека. У меня на совести преступление, которое ввергнет меня в ад.

Картер застонал, и Дик услышал, как он — то ли от боли, то ли от страха — заскрежетал зубами.

В эту минуту во двор вышел сэр Дэниэл. В руке он держал письмо.

— Ребята,— сказал он,— мы разбиты в пух. Разве мы отрицаем это? Нет, мы не отрицаем. Но мы постараемся как можно скорее снова сесть в седло. Старый Гарри Шестой потерпел крушение. Ну что ж, мы умываем руки. Среди приверженцев герцога Йорка у меня есть добрый друг, его зовут лорд Уэнслидэл. Я написал этому моему другу письмо: я прошу у него покровительства и обещаю полностью искупить прошлое и быть лояльным в будущем. Не сомневаюсь, что он отнесется к моей просьбе благосклонно. Но просьба без даров — все равно что песня без музыки. И я наобещал ему, ребята, множество всякого добра, я не поскупился на обещания. Чего ж нам теперь не хватает? Не буду обманывать вас, нам не хватает очень важного. Нам не хватает гонца, чтобы доставить письмо. Леса, как вам известно, кишат нашими недоброжелателями. А

нужно спешить. Но без осторожности и хитрости ничего не выйдет. Кто из вас возьмется доставить это письмо лорду Уэнслидэлу и привезти мне ответ?

Сразу же поднялся один из воинов.

— Я, если позволите,— сказал он.— Я готов рискнуть своей шкурой.

— Нет, Дикки-лучник, не позволю,— ответил рыцарь.— Ты хитер, но неповоротлив. Ты бегаешь хуже всех.

— Ну, тогда я, сэр Дэниэл! — крикнул другой.

— Только не ты! — сказал рыцарь.— Ты бегаешь быстро, а думаешь медленно. Ты сразу угодишь в лагерь к Джону Мшу-за-всех. Вы оба храбрецы, и я благодарю вас. Но оба вы не годитесь.

Тогда вызвался сам Хэтч, но и он получил отказ.

— Ты мне нужен здесь, добрый Беннет. Ты моя правая рука,— ответил ему рыцарь.

Наконец, из многих желающих сэр Дэниэл выбрал одного и дал ему письмо.

— Мы все зависим от твоего проворства и ума,— сказал он ему.— Принеси мне хороший ответ, и через три недели я очищу мой лес от этих дерзких бродяг. Но помни, Трогмортон: дело не легкое. Ты выйдешь из замка ночью и поползешь, словно лисица; уж и не знаю, как ты переправишься через Тилл,— они держат в своих руках и мост и перевоз.

— Я умею плавать,— сказал Трогмортон.— Не бойтесь, я доберусь благополучно.

— Ступай в кладовую, друг,— ответил сэр Дэниэл,— и сначала поплавай в гемном эле.

С этими словами он повернулся и ушел обратно.

— У сэра Дэниэла мудрый язык,— сказал Хэтч Дику.— Другой на его месте стал бы врать, а он всегда говорит своим воинам всю правду. Вот, говорит, какие нам грозят опасности, вот какие нам предстоят трудности, и еще шутит при этом. Клянусь святой Варварой, он прирожденный полководец! Каждого умеет приободрить! Посмотрите, как все принялись за дело.

Это восхваление сэра Дэниэла навело Дика на одну мысль.

— Беннет,— спросил он,— как умер мой отец?

— Не спрашивайте меня об этом,— ответил Хэтч.— Я ничего о его смерти не знаю и не хочу болтать по-пустому, мастер Дик. Человек должен говорить только о том, что

касается его собственных дел, а не о том, что он слышал от других. Спросите сэра Оливера или, если хотите, Картера, но только не меня.

И Хэтч отправился проверять часовых, оставив Дика в глубоком раздумье.

«Почему он не захотел мне ответить? — думал мальчик.— Почему он назвал Картера? Картер... Видимо, Картер принимал участие в убийстве моего отца».

Он вошел в замок, прошел по длинному коридору с низкими сводами и очутился в той комнатушке, где стонал раненый. Картер вздрогнул, увидя его.

— Вы привели священника? — воскликнул он.

— Нет еще,— ответил Дик.— Я прежде хочу сам с тобой поговорить. Ответь мне: как умер Гарри Шелтон, мой отец?

Лицо Картера дернулось.

— Не знаю,— ответил он угрюмо.

— Нет, знаешь,— возразил Дик.— И тебе не удастся меня обмануть.

— Говорю вам, не знаю,— повторил Картер.

— Ну, раз так,— сказал Дик,— ты умрешь без исповеди. Я не двинусь отсюда, и не будет тебе никакого священника. Какая польза в раскаянии, если ты не хочешь исправить сделанное тобою зло? А исповедь без раскаяния не стоит ничего.

— Как легкомысленны ваши слова, мастер Дик,— спокойно сказал Картер.— Дурно угрожать умирающему и, по правде сказать, недостойно вас. Вы поступаете скверно и, главное, ничего этим не добьетесь. Не хотите звать священника — не надо. Душа моя попадет в ад, но вы все равно ничего не узнаете! Это последнее мое слово.

И раненый повернулся на другой бок.

Сказать по правде, Дик чувствовал, что поступил необдуманно, и ему было стыдно своих угроз. Все же он решил сделать еще одну попытку.

— Картер,— сказал он,— пойми меня правильно. Я знаю, что ты выполнял чужую волю: слуга должен повиноваться своему господину. Я тебя ни в чем не виню. Но с разных сторон я слышу, что на мне, молодом и ничего не знающем, лежит великий долг — отомстить за отца. Прошу тебя, добрый Картер, забудь мои угрозы и добровольно, с искренним раскаянием помоги мне.

Раненый молчал. Как ни старался Дик, он не добился от него ни слова.

— Ладно,— сказал Дик,— я приведу тебе священника. И даже если ты и причинил зло мне и моим родным, я не желаю зла никому, и уж меньше всего человеку, ожидающему с минуты на минуту смерти.

Старый солдат выслушал его все так же молчаливо и неподвижно, он даже не стонал. И Дик, выходя из комнаты, почувствовал уважение к этой суровой твердости.

«А между тем,— думал он,— что значит твердость без ума? Если бы у него были чистые руки, ему незачем было бы молчать; его молчание выдало тайну лучше всяких слов. Все улики сходятся. Сэр Дэниэл — либо сам, либо с помощью своих воинов — убил моего отца».

С тяжелым сердцем остановился Дик в каменном коридоре. Неужели в этот час, когда счастье изменило сэру Дэниэлу, когда он осажден лучниками «Черной стрелы» и затравлен победоносными сторонниками Йорка, Дик тоже пойдет против него, против человека, который его выпестовал и воспитал? Сэр Дэниэл сурово его наказывал, это верно, но разве он не охранял его от невзгод во все дни его малолетства? Неужели Дик должен поднять руку на своего покровителя? Жестокий долг — если это и в самом деле его долг!

«Дай бог, чтобы он оказался невиновным»,— думал Дик.

Раздались чьи-то шаги по каменным плитам пола, и сэр Оливер важно прошествовал по коридору.

— Вы очень нужны одному человеку,— сказал Дик.

— Я как раз к нему направляюсь, добрый Ричард,— ответил священник.— Бедный Картер! Ему не поможет уже никакое лекарство.

— Его душа страдает сильнее тела,— заметил Дик.

— Ты его видел? — спросил сэр Оливер, заметно вздрогнув.

— Я только что от него,— ответил Дик.

— Что он сказал? — с жадным любопытством спросил священник.

— Он только жалобно призывал вас, сэр Оливер. Вам лучше бы поторопиться, потому что он ужасно страдает,— ответил мальчик.

— Я иду прямо к нему,— сказал священник.— Все мы грешны, и все мы умрем, добрый Ричард.

— Да, сэр, и хорошо, если перед смертью нам ни в чем не надо будет каяться,— ответил Дик.

Священник опустил глаза и, прошептав благословение, поспешно удалился.

«Он тоже замешан,— подумал Дик.— Он, обучавший меня благочестию! В каком ужасном мире я живу,— все люди, которые вырастили и воспитали меня, виновны в смерти моего отца. Месть! Увы, как печальна моя участь! Я вынужден мстить моим лучшим друзьям!»

При этой мысли он подумал о Мэтчеме. Он улыбнулся, вспомнив о своем странном товарище. Где Мэтчем? С тех пор как они вместе вошли в ворота замка Мот, Мэтчем исчез; а Дику очень хотелось бы поболтать с ним.

Через час после обедни, которую наспех отслужил сэр Оливер, все встретились в зале за обедом. Зала была длинная и низкая. Пол ее был устлан зеленым камышом, на стенах висели гобелены с изображениями свирепых охотников и кровожадных гончих псов, повсюду развешаны были копья, луки и щиты; огонь пылал в огромном камине, вдоль стен стояли покрытые коврами скамьи, посреди залы был накрыт стол, обильная еда ожидала воинов. Ни сэр Дэниэл, ни жена его к обеду не явились. Даже сэр Оливер отсутствовал. И ни одного слова не было сказано о Мэтчеме. Дик начал беспокоиться. Он вспомнил мрачные предчувствия своего товарища. Уж не случилось ли с ним какой-нибудь беды в этом замке?

После обеда он встретил старую миссис Хэтч, которая спешила к миледи Брэкли.

— Гуди,— спросил он,— где мастер Мэтчем? Я видел, как ты увела его, когда мы пришли в замок.

Старуха громко захохотала.

— Ах, мастер Дик,— сказала она,— какие у вас зоркие глаза!

— Но где же он? — настойчиво спрашивал Дик.

— Вы никогда его больше не увидите,—ответила она.— Никогда! И не надейтесь.

— Я хочу знать, где он, и я узнаю,— сказал Дик.— Он пришел сюда не по доброй воле. Какой я ни на есть, я его защитник и не допущу, чтобы с ним дурно поступили. Слишком много тайн кругом. Эти тайны мне надоели!

Дик не успел договорить, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. То была рука Беннета Хэтча, незамет-

но подошедшего сзади. Движением большого пальца Беннет приказал жене удалиться.

— Друг Дик,— сказал он, когда они остались одни,— у вас, кажется, голова не в порядке. Чем ворошить тайны Тэнстоллского замка, вам бы лучше отправиться прямым путем на дно соленого моря. Вы спрашивали меня, вы приставали с расспросами к Картеру, вы перепугали своими намеками нашего шута — священника. Вы ведете себя, как дурак. Если вас призовет к себе сэр Дэниэл, будьте благоразумны и предстаньте перед ним с ласковым лицом. Он подвергнет вас суровому допросу. Отвечая ему, взвешивайте каждое свое слово.

— Хэтч,— сказал Дик,— за всем этим я чую нечистую совесть.

— Если вы не станете умнее, вы скоро почуете запах крови,— ответил Беннет.— Я вас предупредил. А вот уже идут за вами.

И действительно, в эту самую минуту Дика позвали к сэру Дэниэлу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ДВЕ КЛЯТВЫ

Сэр Дэниэл был в зале; он сердито расхаживал перед камином, ожидая Дика. Кроме сэра Дэниэла, в зале находился один только сэр Оливер, который скромно сидел в углу, перелистывая требник и бормоча молитвы.

— Вы меня звали, сэр Дэниэл? — спросил молодой Шелтон.

— Да, я тебя звал.— ответил рыцарь.— Что это за слухи дошли до моих ушей? Неужели я так плохо опекал тебя, что ты перестал мне доверять? Или, быть может, ты хочешь перейти на сторону моих врагов, потому что я потерпел неудачу? Клянусь небом, ты не похож на своего отца! Отец твой был верен своим друзьям и в хорошую погоду и в ненастье... А ты, Дик, видимо, друг на погожий день и теперь ищешь случая отделаться от своих друзей.

— Простите, сэр Дэниэл, но это не так,— твердо сказал Дик.— Я предан и верен всем, кому обязан преданностью и верностью. И прежде чем начать другой разговор, я хочу поблагодарить вас и сэра Оливера. Вы оба больше

всех имеете прав на меня. Я был бы собакой, если бы забыл об этом.

— Говорить ты умеешь,— сказал сэр Дэниэл.

И, внезапно рассвирепев, продолжал:

— Благодарность и верность — это слова, Дик Шелтон. Мне нужны не слова, а дела. В этот час, когда мне грозит опасность, когда имя мое запятнано, когда земли мои конфискованы, когда леса полны людей, которые алчут и жаждут моей гибели,— где твоя благодарность, где верность? У меня остался маленький отряд преданных людей. А ты отравляешь им сердца коварными нашептываниями. Это что же — благодарность? Или верность? Уволь меня от такой благодарности! Но чего же ты хочешь? Говори! Мы на все готовы дать тебе ответ. Если ты что-нибудь имеешь против меня, скажи об этом прямо.

— Сэр,— ответил Дик,— я был младенцем, когда погиб мой отец. До моего слуха дошло, что он был бесчестно убит. До моего слуха дошло — я ничего не хочу утаивать,— что вы принимали участие в его гибели. И я должен откровенно вам объявить, что не могу чувствовать себя спокойным и не могу помогать вам, пока не разрешу всех своих сомнений.

Сэр Дэниэл опустился на скамью. Он подпер подбородок рукою и пристально глянул Дику в лицо.

— И ты полагаешь, что я способен, убив человека, сделаться опекуном его сына?— спросил он.

— Простите меня, если ответ мой будет недостаточно вежливым,— сказал Дик.— Но ведь вы отлично знаете, что быть опекуном очень выгодно. Разве все эти годы вы не пользовались моими доходами и не управляли моими людьми? Разве вы не рассчитываете получить деньги за мой будущий брак? Не знаю, сколько вы за него получите, но кое-какой доход он вам принесет. Еще раз прошу прощения, но, если вы способны были на такую низость, как убийство доверившегося вам человека, отчего же не предположить, что вы могли совершить и другую низость, меньшую, чем первая?

— В твоем возрасте я не был таким подозрительным,— сурово сказал сэр Дэниэл.— А сэр Оливер, священник, как он мог оказаться виновным в таком деле?

— Собака бежит туда, куда ей велит хозяин,— сказал Дик.— Всем известно, что этот священник — ваше послушное орудие. Я, может быть, говорю слишком вольно, но

сейчас, сэр Дэниэл, не время любезничать. На мои откровенные вопросы я хочу получить откровенные ответы. А вы мне ничего не отвечаете! Вы, вместо того чтобы отвечать, задаете мне вопросы. Предупреждаю вас, сэр Дэниэл: таким путем вы не разрешаете моих сомнений, а только поддерживаете их.

— Я дам тебе откровенный ответ, мастер Ричард,—сказал рыцарь.— Я был бы неискренен, если бы скрыл, что ты разгневал меня. Но даже в гневе я хочу быть справедливым. Приди ко мне с этими вопросами, когда ты достигнешь совершеннолетия и руки мои не будут больше связаны опекунством над тобой. Приди ко мне тогда, и я дам тебе ответ, какого ты заслуживаешь,— кулаком в зубы. До тех пор у тебя есть два выхода: либо возьми назад свои оскорбления, держи язык за зубами и сражайся за человека, который кормил тебя и сражался за тебя, когда ты был мал, либо — дверь открыта, леса полны моих врагов — ступай!

Энергия, с какой были произнесены эти слова, взгляд, которым они сопровождались,— все это поколебало Дика. Однако он не мог не заметить, что не получил ответа на свой вопрос.

— Я от всей души хочу поверить вам, сэр Дэниэл,—сказал он.— Убедите меня, что вы не принимали участия в убийстве моего отца.

— Удовлетворит ли тебя мое честное слово, Дик? — спросил рыцарь.

— Да,— ответил мальчик.

— Даю тебе честное слово, клянусь тебе вечным блаженством моей души и тем ответом, который мне придется дать богу за все мои дела, что я ни прямо, ни косвенно не повинен в смерти твоего отца!

Он протянул Дику свою руку, и Дик пылко пожал ее. Оба они не заметили, как священник, услышав эту торжественную и лживую клятву, даже привстал от ужаса и отчаяния.

— Ах,— воскликнул Дик,— пусть ваше великодушие поможет вам простить меня! Какой я негодяй, что позволил сомнению закрасться в мою душу! Но теперь уж я больше никогда сомневаться в вас не буду.

— Я прощаю тебя, Дик,— сказал сэр Дэниэл.— Ты еще не знаешь света, ты еще не знаешь, какое гнездо сплела в нем клевета.

— Я тем более достоин порицания,— прибавил Дик,— что клеветники обвиняли не столько вас, сколько сэра Оливера...

При этих словах он обернулся к священнику и вдруг оборвал свою речь на полуслове. Этот высокий, румяный, толстый и важный человек был совершенно раздавлен: румянец исчез с его лица, руки и ноги дрожали, губы шептали молитвы. Едва Дик устремил на него взор, как он пронзительно вскрикнул и закрыл лицо руками.

Сэр Дэниэл кинулся к нему и в бешенстве схватил его за плечо. И все подозрения Дика разом проснулись снова.

— Пусть сэр Оливер тоже даст клятву,— сказал он.— Ведь это его и обвиняют в убийстве моего отца.

— Он даст клятву,— сказал рыцарь.

Сэр Оливер молча замахал на него руками.

— Клянусь небом, вы дадите клятву! — закричал сэр Дэниэл вне себя от бешенства.— Клянитесь здесь, на этой книге! — продолжал он, подняв с пола упавший требник.— Что? Вы заставляете меня сомневаться в вас! Клянитесь! Я приказываю.

Но священник не мог произнести ни слова. Его душил ужас: он одинаково боялся и сэра Дэниэла и клятвопреступления.

В это мгновение черная стрела, пробив узорное стекло высокого окна, влетела в залу и, трепеща, вонзилась в самую середину обеденного стола.

Громко вскрикнув, сэр Оливер рухнул без сознания на устланный камышом пол. Рыцарь же вместе с Диком кинулся во двор, а оттуда по винтовой лестнице на зубчатую башню. Все часовые были на посту. Солнце спокойно озаряло зеленые луга, над которыми кое-где возвышались купы деревьев и лесистые холмы, замыкавшие горизонт. Никого не было видно.

— Откуда прилетела стрела? — спросил рыцарь.

— Вон из тех деревьев, сэр Дэниэл,— ответил часовой.

Рыцарь задумался. Потом повернулся к Дику.

— Дик,— сказал он,— присмотри за этими людьми, я поручаю их тебе. А священника, если он не заверит меня в своей неповинности, я призову к ответу. Я начинаю разделять твои подозрения. Он даст клятву, ручаюсь тебе, а если не даст, мы признаем его виновным.

Дик ответил довольно холодно, и рыцарь, окинув его испытующим взглядом, поспешно вернулся в залу. Прежде

всего он осмотрел стрелу. Никогда еще не видал он таких стрел. Он взял ее в руки и стал вертеть; мрачный цвет ее вселял невольный страх. На ней была надпись, только три слова: «Зверь в норе».

— Значит, они знают, что я дома,— проговорил он.— В норе! Но у них нет собаки, которая могла бы выгнать меня отсюда.

Сэр Оливер очнулся и с трудом поднялся на ноги.

— Увы, сэр Дэниэл,— простонал он,— вы дали страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков!

— Да, болван,— сказал рыцарь,— я дал скверную клятву, но ты дашь клятву еще хуже. Ты поклянешься святым крестом Холивуда. Смотри же, придумай слова повнушительней. Ты дашь клятву сегодня же вечером.

— Да просветит бог ваш разум! — ответил священник.— Да отвратит он ваше сердце от такого беззакония!

— Послушайте, добрейший отец,— сказал сэр Дэниэл,— если вас беспокоит ваше благочестие, мне говорить с вами не о чем. Поздненько, однако, вспомнили вы о благочестии. Но если у вас осталась хоть капля разума, слушайте меня. Этот мальчишка раздражает меня, как оса. Он мне нужен, потому что я хочу воспользоваться выгодами от его брака. Но говорю вам прямо: если он будет надоедать мне, он отправится к своему отцу. Я приказал переселить его в комнату над часовней. Если вы дадите хорошую, основательную клятву в вашей невиновности, все будет хорошо: мальчик немного успокоится, и я пощажу его. Но если вы задрожите, или побледнеете, или запнетесь, он не поверит вам — и тогда он умрет. Вот о чем вам нужно думать.

— В комнату над часовней! — задыхаясь, проговорил священник.

— В ту самую,— подтвердил рыцарь.— Итак, если вы желаете спасти его, спасайте. Если ж нет, будь по-вашему, убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое! Будь я человек вспыльчивый, я давно уже проткнул бы вас мечом за вашу нестерпимую трусость и глупость. Ну, сделали выбор? Отвечайте!

— Я сделал выбор,— ответил священник.— Да простит меня бог, я выбираю зло ради добра. Я дам клятву, чтобы спасти мальчишку.

— Так-то лучше! — сказал сэр Дэниэл.— Позовите его, да поскорей. Вы останетесь с ним наедине. Но я глаз с вас не спущу. Я буду здесь, в тайнике.

Рыцарь приподнял ковер, висевший на стене, и шагнул за него. Раздался звон щелкнувшей пружины, затем скрип ступенек.

Сэр Оливер, оставшись один, испуганно поглядел на завешенную ковром стену и перекрестился с тоской и ужасом во взоре.

— Коль скоро его поселили в комнате над часовней,— пробормотал он,— я должен спасти его даже ценой моей души.

Три минуты спустя явился Дик, приведенный гонцом. Сэр Оливер стоял возле стола решительный и бледный.

— Ричард Шелтон,— сказал он,— ты потребовал у меня клятвы. Это твое требование для меня оскорбительно, и я имею полное право тебе отказать. Но, помня наши прежние отношения, я смягчил свое сердце; пусть будет потвоему. Клянусь священным крестом Холивуда, я не убивал твоего отца.

— Сэр Оливер,— ответил Дик,— прочитав первое послание Джона Мщу-за-всех, я не усомнился в вашей невиновности. Но теперь разрешите задать вам два вопроса. Вы не убивали моего отца, верю. Но, быть может, вы принимали в этом убийстве косвенное участие?

— Никакого,— сказал сэр Оливер.

И вдруг лицо его передернулось. Он предостерегающе подмигнул Дику. И Дик понял, что этим подмигиванием священник хочет сказать ему что-то такое, чего не смеет произнести вслух.

Дик взглянул на него с удивлением; потом повернулся и внимательно оглядел всю пустую залу.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего,— ответил священник, пытаясь придать лицу спокойное выражение.— Мне дурно; я не совсем здоров. Извини меня, Дик... мне нужно выйти... Клянусь священным крестом Холивуда, я не предавал и не убивал твоего отца. Успокойся, добрый мальчик. Прощай!

И с несвойственной ему поспешностью он вышел из залы.

Внимательный взор Дика скользил по стенам; на лице у него одно за другим отражались самые противоречивые чувства: удивление, сомнение, подозрение, радость. Но мало-помалу, по мере того как ум его прояснялся, подозрения победили; скоро он был уже вполне уверен в самом худшем. Он поднял голову и вздрогнул. На ковре, закрывав-

шем стену, было выткано изображение свирепого охотника. Одной рукой он держал рог, в который трубил; в другой держал копье. Лицо у него было черное, потому что он изображал африканца.

Вот этот африканец и напугал Ричарда Шелтона. Солнце, ослепительно сверкавшее в окнах залы, зашло за тучку. Как раз в это мгновение огонь в камине ярко вспыхнул, озарив потолок и стены, которые до тех пор были окутаны полумраком. И вдруг черный охотник мигнул глазом, как живой; и веко у него было белое.

Дик, не отрываясь, смотрел в этот страшный глаз. При свете огня он сверкал, как драгоценный камень; он был влажный, он был живой. Белое веко опять закрыло его на какую-то долю секунды и опять поднялось. Затем глаз исчез.

Никакого сомнения не оставалось. Это был живой глаз, все время наблюдавший за ним через дырочку в ковре.

Дик мгновенно понял весь ужас своего положения. Все свидетельствовало об одном и том же — и предостережения Хэтча, и подмигивания священника, и этот глаз, наблюдавший за ним со стены. Он понял, что его подвергли испытанию, что он снова выдал себя и что только чудо может спасти его от гибели.

«Если мне не удастся ускользнуть из этого дома,— подумал он,— я конченый человек! Бедняга Мэтчем! Я завел его в змеиное гнездо!»

Он еще раздумывал, когда вдруг явился слуга, чтобы помочь ему перетащить оружие, одежду и книги в другую комнату.

— В другую комнату? — переспросил Дик.— Зачем? В какую комнату?

— В комнату над часовней,— ответил слуга.

— В ней давно никто не жил,— сказал Дик задумчиво.— Что это за комната?

— Хорошая комната,— ответил слуга.— Но говорят,— прибавил он, понизив голос,— что в ней появляется привидение.

— Привидение? — повторил Дик, холодея.— Не слыхал! Чье привидение?

Слуга поглядел по сторонам, потом сказал еле слышным шепотом:

— Привидение пономаря церкви святого Иоанна. Его положили однажды спать в ту комнату, а наутро —

фюйть! — он исчез. Говорят, его утащил сатана; с вечера он был очень пьян.

Дик, полный самых мрачных предчувствий, пошел за слугой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КОМНАТА НАД ЧАСОВНЕЙ

Наблюдатели на башнях больше никаких происшествий не отметили. Солнце медленно ползло к западу и наконец зашло. Несмотря на бдительность часовых, вблизи Тэнстоллского замка не удалось обнаружить ни одного человека.

Когда наступила ночь, Трогмортона отвели в угловую комнату, окно которой приходилось как раз над рвом. Через это окно он со всевозможными предосторожностями вылез; несколько мгновений слышен был плеск воды, потом на противоположном берегу возникла темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр Дэниэл и Хэтч внимательно прислушивались еще полчаса. Кругом было тихо. Гонец благополучно выбрался из замка.

Сэр Дэниэл повеселел. Он обернулся к Хэтчу.

— Беннет,— сказал он,— этот Джон Мшу-за-всех — обыкновенный смертный. Он спит. И мы его прикончим.

Весь вечер Дика посылали то туда, го сюда; один приказ следовал за другим. Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой надо было выполнять их. За все это время он ни разу не встретил ни сэра Оливера, ни Мэтчема, а между тем он все время думал о них обоих. Теперь он мечтал только об одном — как можно скорее удрать из Тэнстоллского замка Мот, но ему хотелось перед бегством поговорить с сэром Оливером и с Мэтчемом.

Наконец, с лампой в руке, он поднялся в свою новую комнату. Комната была просторная, с низким потолком, довольно мрачная. За окном был ров; несмотря на то, что окно это находилось очень высоко, в него была вделана железная решетка. Постель оказалась великолепной: одна подушка была набита пухом, другая — лавандой; на красном одеяле были вышиты розы. Вдоль стен стояли шкафы, запертые на ключ и завешенные темными коврами. Дик обошел всю комнату, приподнял каждый ковер, прощупал каждую стену, попытался открыть каждый шкаф. Он убе-

дился, что дверь крепка и что запирается она на хороший засов; потом поставил лампу на подставку и снова осмотрел все.

Чего ради его поселили в этой комнате? Она больше и лучше, чем его прежняя. Или, быть может, это ловушка? Нет ли здесь потайного входа? Правда ли, что тут водится привидение? По спине у него заходили мурашки. Прямо над его головой, на плоской крыше, раздавались тяжелые шаги часового. Внизу были своды часовни; рядом с часовней находилась зала, из которой, безусловно, вел потайной ход; если бы там не было потайного хода, как бы мог тот глаз следить за Диком из-за ковра? Весьма вероятно, что ход ведет в часовню, а из часовни сюда, в эту комнату.

Он чувствовал, что спать в такой комнате — безрассудство. Держа оружие наготове, он сел в углу возле двери. Если на него нападут, он дорого продаст свою жизнь.

Наверху, на крыше башни, раздался топот ног, потом чей-то голос спросил пароль. Это сменился караул.

И сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в его дверь; до него донесся шепот:

— Дик, Дик, это я!

Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил Мэтчема. Мэтчем был очень бледен; в одной руке он держал лампу, в другой кинжал.

— Закрой дверь! — прошептал он.— Скорее, Дик! Замок полон шпионов. Я слышал, как они шли за мной по коридорам, я слышал их дыхание за коврами.

— Успокойся,— ответил Дик,— дверь закрыта. Покамест мы в безопасности. Впрочем, среди этих стен быть в безопасности невозможно... Я от всего сердца рад тебя видеть. Клянусь небом, я думал, что тебя уже нет в живых. Где тебя прятали?

— Не все ли равно,— ответил Мэтчем.— Мы с тобой встретились, а все остальное неважно. Но, Дик, знаешь ли ты, что тебя ждет? Тебе сказали, что они собираются сделать с тобой завтра?

— Завтра? — переспросил Дик.— Что они собираются делать завтра?

— Завтра или сегодня ночью, не знаю,— сказал Мэтчем.— Я знаю только, что они собираются убить тебя. Знаю с полной достоверностью: я слышал, как они шептались об этом. Они почти прямо мне об этом говорили.

— Вот как! — сказал Дик.— По правде сказать, я и сам догадывался.

И он рассказал Мэтчему все, что случилось с ним за день.

Когда он кончил, Мэтчем поднялся и так же, как Дик, прощупал стены.

— Нет,— сказал он,— не видно никакого входа. А между тем я не сомневаюсь, что вход есть. Дик, я останусь с тобой. И если ты умрешь, я умру с тобою. Я могу помочь тебе: видишь, я украл кинжал! Я буду драться! А если ты отыщешь какую-нибудь лазейку, через которую можно уползти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу любую опасность и убегу с тобой.

— Джон,— сказал Дик,— клянусь небом, Джон, ты самый лучший, самый верный и самый храбрый человек во всей Англии! Дай мне руку, Джон.

И он молча взял Мэтчема за руку.

— Если бы нам добраться до окошка, через которое спустили гонца! — сказал он.— Веревка, должно быть, еще там. Это все-таки надежда.

— Тсс! — прошептал Мэтчем.

Они прислушались. Внизу под полом что-то скрипнуло, умолкло, потом скрипнуло опять.

— Кто-то ходит в комнате под нами,— прошептал Мэтчем.

— Под нами нет комнаты,— ответил Дик.— Мы находимся над часовней. Это мой убийца идет по тайному ходу. Пусть приходит! Я с ним расправлюсь!

И он заскрежетал зубами.

— Потуши свет,— сказал Мэтчем.— Авось, он как-нибудь выдаст себя.

Они потушили обе лампы и притаились, застыв в неподвижности. Осторожные шаги под полом были хорошо слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец скрипнул ключ в замке, и все смолкло.

Потом снова раздались шаги, и вдруг через узкую щелку между половицами в дальнем углу комнаты хлынул свет. Щелка становилась все шире; потайной люк открылся, и свет хлынул еще ярче. Показалась сильная рука, державшая на весу люк. Дик натянул арбалет и ждал, когда появится голова.

Но тут все смешалось. Где-то в дальнем конце замка Мот раздались громкие крики; сначала кричал один голос,

потом к нему присоединилось еще несколько голосов; они повторяли какое-то имя. Этот шум, видимо, встревожил убийцу. Потайной люк закрылся, под полом раздался звук поспешно удаляющихся шагов.

Мальчики получили отсрочку. Дик глубоко вздохнул и тут только прислушался к суматохе, которая спасла их. Крики не утихали, а, напротив, становились все громче. По всему замку бегали люди; всюду хлопали двери. И, заглушая весь этот шум, гремел голос сэра Дэниэла, кричавший:

— Джоанна!

— Джоанна? — повторил Дик.— Какая Джоанна? Здесь нет никакой Джоанны и никогда не было. Что это значит?

Мэтчем молчал. Казалось, он весь ушел в себя. Слабый свет звезд, сиявших за окном, не проникал в тот угол комнаты, где сидели мальчики, и там была полная тьма.

— Джон,— сказал Дик,— я не знаю, где ты был весь день. Видел ты эту Джоанну?

— Нет, не видал,— ответил Мэтчем.

— И ничего о ней не слышал? — настаивал Дик.

Приближались шаги. Сэр Дэниэл на дворе все еще звал громовым голосом Джоанну.

— Ты не слыхал о ней? — повторил Дик.

— Слыхал,— сказал Мэтчем.

— Как дрожит твой голос! Что с тобой? — спросил Дик.— Нам очень повезло, что они ищут эту Джоанну. Она отвлекла их от нас.

— Дик! — воскликнул Мэтчем.— Я погибла! Мы оба погибли! Бежим, пока не поздно. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Нет! Пусти меня к ним одну! Они меня схватят, а ты убежишь. Пусти меня одну. Дик! Добрый Дик, пусти меня к ним!

Она уже нащупала рукой засов, когда Дик наконец все понял.

— Клянусь небом,— воскликнул он,— ты вовсе не Джон! Ты Джоанна Сэдли! Ты та девчонка, которая не хотела выйти за меня замуж!

Девушка молчала и не двигалась. Дик тоже молчал, потом заговорил снова.

— Джоанна,— сказал он,— ты мне спасла жизнь, а я тебе. Мы оба видели, как течет пролитая кровь. Мы были с тобой друзьями, были и врагами,— помнишь, я чуть не

побил тебя ремнем. И все время я считал тебя мальчиком. Но теперь смерть моя близка, и перед смертью я хочу сказать тебе, что ты самая лучшая и самая смелая девушка на земле, и, если б только я остался жить, я был бы счастлив жениться на тебе. Но что бы мне ни было суждено — жизнь или смерть,— ты знай: я люблю тебя!

Она ничего не ответила.

— Ну, говори же, Джон. Будь доброй девочкой, скажи. что ты любишь меня!

— Разве я была бы здесь, Дик, если бы не любила тебя? — воскликнула она.

— Если нам удастся спастись,— продолжал Дик,— мы поженимся. Если суждено умереть, умрем. Вот и все. Но как ты отыскала мою комнату?

— Я спросила у госпожи Хэтч,— ответила она.

— На эту даму можно положиться,— сказал Дик.— Она не выдаст тебя. У нас еще есть время...

Но сразу же, как бы в опровержение его слов, по коридору раздались шаги, и кто-то ударил в дверь кулаком.

— Она здесь! — услышали они чей-то голос.— Откройте, мастер Дик! Откройте!

Дик молчал и не двигался.

— Все кончено,— сказала девушка и обняла Дика.

Люди один за другим собирались у двери. Наконец явился сам сэр Дэниэл, и все притихли.

— Дик,— закричал рыцарь,— не будь ослом! И семь спящих дев проснулись бы от такого шума. Мы знаем, что она здесь. Открой дверь!

Дик молчал.

— Вышибайте дверь! — сказал сэр Дэниэл.

Воины стучали в дверь ногами и кулаками. Дверь была сделана прочно и заперта на крепкий засов, и все же она рухнула бы, если б опять не вмешалась судьба. Среди грохота ударов раздался вдруг крик часового; на башне закричали, зашумели, и сейчас же в ответ весь лес наполнился голосами. Можно было подумать, что обитатели лесов берут приступом замок Мот. И сэр Дэниэл со своими воинами, оставив дверь, кинулся защищать стены замка.

— Мы спасены! — воскликнул Дик.

Он схватил обеими руками старинную кровать и попытался сдвинуть ее с места, но она не поддалась.

— Помоги мне, Джон,— сказал он.— Если тебе дорога жизнь, собери все свои силы и помоги мне!

С огромным трудом сдвинули они тяжелую дубовую кровать и приставили ее к двери.

— Так еще хуже,— печально сказала Джоанна.— Он придет к нам через потайной ход.

— Нет,— ответил Дик.— Он не решится выдать тайну этого хода своим воинам. Мы сами удерем этим ходом... Слушай! Нападение кончилось. Да, пожалуй, и не было никакого нападения.

Действительно, никакого нападения не было; просто группа воинов, потерявших сэра Дэниэла во время битвы при Райзингэме, вернулась, наконец, в замок. Темнота помогла им пройти через лес. Их впустили в ворота, и теперь они слезали во дворе с коней под стук копыт и звон доспехов.

— Он сейчас вернется,— сказал Дик.— Скорее в потайной ход!

Он зажег лампу, и они прошли в угол комнаты. Щель отыскать было не трудно, так как сквозь нее все еще проникал слабый свет. Дик выбрал меч попрочней, вставил его в щель и изо всех сил надавил на рукоять. Доска поддалась и приоткрылась. Ухватившись за нее руками, они открыли ее совсем.

За ней виднелось несколько ступенек, на одной из которых стояла лампа, забытая тем, кто приходил убить Дика.

— Иди вперед,— сказал Дик,— и захвати лампу. Я пойду за тобой и закрою дверь.

Они двинулись в путь. Едва Дик захлопнул за собой люк, как снова раздались громовые удары,— это вышибали дверь его комнаты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОТАЙНОЙ ХОД

Дик и Джоанна очутились в узком, грязном и коротком коридоре. На другом его конце находилась полуоткрытая дверь — безусловно, та самая, которую отмыкал ключом убийца. С потолка свешивалась густая паутина; самый легкий стук шагов гулко раздавался по каменному полу.

За дверью ход раздваивался под прямым углом; Дик свернул наудачу, и они помчались вокруг купола часов-

ни. При слабом мерцании лампы выгнутый купол казался похожим на спину кита. Поминутно им попадались отверстия для подглядывания, скрытые изнутри резьбой карниза. Заглянув в одно из этих отверстий, Дик увидел каменный пол часовни, алтарь с зажженными восковыми свечами и распростертого на ступенях перед алтарем сэра Оливера, который молился, воздев руки.

Обогнув купол, они спустились по короткой лестнице. Проход стал уже. Одна из стен была деревянная; сквозь щели проникал свет и слышался гул голосов. Внезапно Дик заметил круглую дырочку величиной с глаз. Заглянув в эту дырочку, он увидел залу; шестеро мужчин в латах сидели вокруг стола, поедая паштет из дичи и жадно запивая его вином. Это, очевидно, были только что вернувшиеся воины.

— Тут нам не пройти,— сказал Дик,— попробуем вернуться.

— Постой,— сказала Джоанна,— быть может, там дальше есть выход.

И она пошла вперед. Но через несколько ярдов проход окончился маленькой лесенкой, и стало ясно, что, пока воины сидят в зале, скрыться этим путем невозможно.

Они со всех ног побежали назад и принялись исследовать другой проход. Проход этот был чрезвычайно узок — через него с трудом удавалось протиснуться; приходилось беспрестанно подниматься и спускаться по маленьким лесенкам, на которых каждую минуту они рисковали сломать себе шею. Наконец даже Дик потерял всякое представление о том, где они находятся.

И без того узкий, проход становился все уже и ниже; ступеньки вели вниз; стены были сырые и липкие; откуда-то издали раздался писк крыс.

— Мы в подземелье,— сказал Дик.

— А выхода все нет,— прибавила Джоанна.

— Здесь должен быть выход! — ответил Дик.

Коридор круто завернул и через несколько шагов окончился. В конце его было несколько ступенек, ведущих вверх. Огромная каменная плита преградила им путь; они изо всех сил пытались сдвинуть ее. Она не поддавалась.

— Кто-то держит ее,— сказала Джоанна.

— Нет,— сказал Дик.— Даже если бы ее держал человек вдесятеро сильнее нас, она хоть немного, а поддалась бы. Но она неподвижна, как скала. Она придавлена чем-то

тяжелым. Тут нет выхода; и поверь мне, добрый Джон, мы с тобой здесь пленники, все равно как если бы у нас были кандалы на ногах. Давай сядем и поговорим. Немного погодя мы вернемся; быть может, к тому времени они забудут про нас и нам удастся удрать. Но, по чести сказать, я боюсь, что мы пропали.

— Дик! — воскликнула Джоанна.— Зачем только ты меня повстречал! Это я, несчастная и неблагодарная девушка, завела тебя сюда!

— Что за вздор! — возразил Дик.— Все это было нам суждено, а что суждено, то и сбудется, хотим мы этого или нет, все равно. Чего там оплакивать судьбу. Лучше расскажи мне, что ты за девушка и как ты попала в руки сэра Дэниэла.

— Я такая же сирота, как и ты; нет у меня ни отца, ни матери,— сказала Джоанна.— Вдобавок я, на свое, а значит, и на твое, несчастье, богатая невеста. Милорд Фоксгэм был моим опекуном. Но сэр Дэниэл купил у короля право выдать меня замуж и заплатил за это право очень дорого. Я была еще совсем маленькой девочкой, а уже два могущественных и богатых человека вступили между собой в борьбу за право выдать меня замуж! В это время произошел переворот, назначен был новый канцлер, и сэр Дэниэл через голову лорда Фоксгэма купил право опекунства надо мной. Потом произошел новый переворот, и лорд Фоксгэм через голову сэра Дэниэла купил право выдать меня замуж; до сих пор продолжают они враждовать. Но жила я все время у лорда Фоксгэма, и он был со мной очень добр. Наконец он собрался выдать меня замуж, или, вернее, продать. Лорд Фоксгэм должен был получить за меня пятьсот фунтов стерлингов. Жениха моего зовут Хэмли, и как раз завтра, Дик, меня должны были с ним помолвить. Если бы не явился сэр Дэниэл, я вышла бы замуж и никогда не встретилась бы с тобой, Дик! Милый Дик.

Она взяла его руку и с очаровательной грацией поцеловала ее. Дик поднес ее руку к своим губам и тоже ее поцеловал.

— Сэр Дэниэл,— продолжала она,— похитил меня, когда я гуляла в саду, и заставил меня надеть мужское платье, а это для женщины смертный грех. К тому же мужское платье совсем мне не идет. Он отвез меня в Кэттли и, как ты знаешь, сказал мне, что я выйду замуж за тебя. Но я твердо решила назло ему выйти замуж за Хэмли.

— А! — крикнул Дик.— Значит, ты любила Хэмли!

— Нет,— ответила Джоанна.— Я только ненавидела сэра Дэниэла. Но потом, Дик, ты помог мне, ты был очень добр, очень смел, и я против воли полюбила тебя. И теперь, если нам удастся спастись, я с радостью стану твоей женой. И даже если злая судьба не даст мне выйти за тебя, я все-таки буду любить тебя одного. Я буду верна тебе до тех пор, пока бьется мое сердце.

— Пока я не встретил тебя, я женщин ни в грош не ставил,— сказал Дик.— Я привязался к тебе, когда считал тебя мальчиком. Я пожалел тебя, сам не знаю почему. Я хотел выдрать тебя ремнем, но рука моя опустилась. А когда ты созналась, что ты девушка, Джон,— я по-прежнему буду звать тебя Джоном,— я понял, что ты именно та девушка, которая нужна мне. Тише! — перебил он себя.— Кто-то идет!

Действительно чьи-то тяжелые шаги гулко гремели в проходе, и целые полчища крыс заметались из стороны в сторону.

Дик осмотрел свои позиции. Крутой поворот коридора представлял известную выгоду. Можно было, не подвергая себя опасности, стрелять из-за угла. Мешал только свет лампы, стоявшей слишком близко. Он выбежал вперед, поставил лампу посреди коридора и вернулся на свое место.

В дальнем конце коридора появился Беннет. Видимо, он шел один; в руке он нес факел, и благодаря этому факелу целиться в Хэтча было очень легко.

— Стой, Беннет! — крикнул Дик.— Еще один шаг, и ты будешь убит!

— Так вот вы где! — сказал Хэтч, вглядываясь в темноту.— Я вас не вижу. Ага! Вы поступили разумно, Дик,— вы поставили лампу перед собой! Замечаю, что учил вас недаром, и радуюсь, хотя вы, пользуясь моими уроками, собираетесь прострелить мое грешное тело! Зачем вы здесь? Что вам тут нужно? Чего вы целитесь в вашего старого доброго друга? Ах, и барышня с вами?

— Нет, Беннет, спрашивать буду я, а ты будешь отвечать,— сказал Дик.— Почему мне приходится опасаться за свою жизнь? Почему к моей постели подкрадываются убийцы? Почему мне приходится спасаться от погони в неприступном замке моего опекуна? Почему я принужден бежать от людей, которых я с детства привык считать своими друзьями и которым не сделал ничего плохого?

— Мастер Дик, мастер Дик,— сказал Беннет,— что я говорил вам? Вы очень храбрый, но совсем безрассудный мальчик!

— Я вижу, что тебе известно все и что я действительно обречен,— ответил Дик.— Ну что ж! С этого места я не сойду. Пусть сэр Дэниэл возьмет меня, если может.

Хэтч помолчал немного.

— Слушайте,— начал он,— я сейчас пойду к сэру Дэниэлу и расскажу ему, где вы находитесь и что здесь делаете. За этим он меня сюда и послал. Но если вы не дурак, вы уйдете отсюда раньше, чем я вернусь.

— Я давно бы отсюда ушел, если бы знал, как! — сказал Дик.— Я не могу сдвинуть плиту.

— Суньте руку в угол и пошарьте там,— ответил Беннет.— А веревка Трогмортона все еще в коричневой комнате. Прощайте!

Хэтч повернулся и исчез за поворотом коридора.

Дик тотчас же взял лампу и последовал его совету. В углу оказалась глубокая впадина. Дик сунул в нее руку, нащупал железный прут и сильно дернул его. Раздался скрип, и каменная плита внезапно сдвинулась с места.

Путь был свободен. Они без особого труда открыли крышку люка и проникли в комнату со сводчатым потолком, выходившую во двор, где два человека, засучив рукава, чистили коней недавно прибывших воинов. Их озаряли колеблющимся светом два факела, вставленные в железные кольца на стене.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КАК ДИК ПЕРЕШЕЛ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ

Потушив лампу, чтобы не привлекать внимания, Дик поднялся наверх и прошел по коридору. В коричневой комнате он отыскал веревку, привязанную к чрезвычайно тяжелой и древней кровати. Подойдя к окну, Дик начал медленно и осторожно опускать веревку в ночную тьму. Джоанна стояла рядом с ним. Веревка опускалась без конца. Мало-помалу страх поколебал решимость Джоанны.

— Дик,— сказала она,— неужели здесь так высоко? У меня не хватит смелости спуститься. Я непременно упаду, добрый Дик.

Дик вздрогнул и выронил моток из рук. Конец веревки с плеском упал в ров. И сразу же часовой на башне громко крикнул:

— Кто идет?

— Черт побери! — воскликнул Дик.— Все пропало. Живо! Хватайся за веревку и лезь вниз!

— Я не могу,— прошептала она и отшатнулась.

— Раз ты не можешь, не могу и я,— сказал Шелтон.— Как я переплыву ров без твоей помощи? Значит, ты бросаешь меня?

— Дик,— проговорила она, задыхаясь,— я не могу. У меня нет сил.

— Тогда мы оба погибли, клянусь небом! — крикнул он, топнув ногой.

Услышав приближающиеся шаги, он бросился к двери, надеясь запереть ее.

Но прежде чем он успел задвинуть засов, чьи-то сильные руки с другой стороны надавили на дверь. Он боролся не дольше секунды; затем, чувствуя себя побежденным, кинулся назад, к окну. Девушка стояла возле окна, прислонясь к стене; она была почти в обмороке. Дик попытался поднять ее, но она бессильно повисла у него на руках всем телом, как мертвая.

Люди, помешавшие ему затворить дверь, бросились на него. Одного он заколол кинжалом; остальные на мгновение отступили в беспорядке. Он воспользовался суматохой, вскочил на подоконник, схватился обеими руками за веревку и скользнул вниз.

На веревке было много узлов, которые очень облегчали спуск, но Дик так спешил и так был неопытен в подобных упражнениях, что раскачивался в воздухе, словно преступник на виселице. То головой, то руками ударялся он о неровную каменную стену. В ушах у него шумело. Над собой он видел звезды, внизу тоже были звезды, отраженные водою рва и дрожащие, словно сухие листья перед бурей. Потом веревка выскользнула у него из рук, он упал и погрузился в ледяную воду.

Вынырнув на поверхность, он поймал веревку, которая все еще раскачивалась из стороны в сторону. Высоко над ним, на верхушке зубчатой башни, ярко пылали факелы. Багровое их сияние озаряло лица воинов, толпившихся за каменными зубцами. Он видел, как они вглядывались в

тьму, стараясь найти его; но он был далеко внизу, куда свет не достигал, и они искали его напрасно.

Держась за веревку, показавшуюся ему достаточно длинной, Дик кое-как поплыл через ров к противоположному берегу. Он проплыл уже полпути, как вдруг почувствовал, что веревка кончилась и натянулась; она тащила его назад. Выпустив веревку, он изо всех сил взмахнул руками, пытаясь ухватиться за ветви ивы, висевшие над водой; это была та самая ива, которая несколько часов назад помогла гонцу сэра Дэниэла выбраться на берег. Он погрузился в воду, вынырнул, опять погрузился, опять вынырнул, и только тогда ему удалось ухватиться за ветку. С быстротою молнии он вскарабкался на дерево и прижался к стволу. Вода струилась по его одежде, он тяжело дышал, все еще не веря, что ему удалось спастись.

Плеск воды выдал его воинам, собравшимся на башне. Стрелы, прорезая тьму, сыпались кругом, как град; с башни швырнули факел; он сверкнул в воздухе и упал возле самой воды, ярко озарив все кругом. Впрочем, к счастью Дика, факел подскочил, перевернулся, шлепнулся в воду и погас.

Однако он сделал свое дело. Стрелки успели разглядеть и иву и Дика, спрятавшегося в ее ветвях. И хотя Дик, спрыгнув на землю, со всех ног побежал прочь, ему не удалось убежать от стрел. Одна стрела задела его плечо, другая ранила его в голову.

Боль подгоняла его, и Дик побежал еще быстрее. Он выбрался на ровное место и помчался в темноту, не думая о направлении.

Стрелы неслись за ним вдогонку, но скоро он оказался вне их досягаемости. Когда Дик остановился и оглянулся, он был уже далеко от замка Мот; однако факелы, беспорядочно двигавшиеся на стене замка, все еще были видны.

Он прислонился к дереву; кровь и вода струились с его одежды, он был один, без товарища, обессиленный от ушибов и ран. Но все же ему удалось уйти от смерти на этот раз. За то, что Джоанна осталась в руках сэра Дэниэла, он себя не корил: в этом был повинен случай, предотвратить который было не в его воле; к тому же он не очень опасался за ее судьбу,— сэр Дэниэл жесток, но он не осмелится дурно обращаться с девушкой благородного происхождения, могущественные покровители которой могут призвать его к ответу. Вероятнее всего, он будет стараться

как можно скорее выдать ее замуж за кого-нибудь из своих приятелей.

«Ну,— думал Дик,— до тех пор я еще успею укротить этого предателя. Теперь мне уж не за что быть ему благодарным и я свободен от всяких перед ним обязательств. Теперь я могу враждовать с ним открыто, а в открытой войне у каждого одинаковый шанс на победу».

Покуда же он находился в самом плачевном положении.

Он кое-как брел через лес. Раны его ныли, кругом было темно, ноги путались в густых зарослях, мысли мешались, и скоро он был вынужден сесть на землю и прислониться к дереву.

Когда он очнулся от сна, похожего на обморок, ночь уже сменилась предрассветными сумерками. Прохладный ветерок шумел в листве. Глядя спросонья прямо перед собой, Дик заметил, что на расстоянии примерно ста ярдов от него что-то темное раскачивается в ветвях. Между тем в лесу стало заметно светлеть. Сознание Дика тоже прояснилось, и он, наконец, понял, что это человек, повешенный на суку высокого дуба. Голова повешенного была опущена на грудь; при каждом порыве ветра тело его раскачивалось, а руки и ноги дергались, как у игрушечного плясуна.

Дик с трудом поднялся на ноги; пошатываясь, хватаясь за стволы деревьев, он подошел к повешенному.

Сук находился приблизительно в двадцати футах от земли, и бедняга был вздернут своими палачами так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до его сапог; лицо его вдобавок было закрыто капюшоном, и Дик никак не мог узнать, кто он такой.

Дик поглядел направо и налево и заметил, что другой конец веревки привязан к покрытому цветами кусту боярышника, который рос под густою сенью дуба. Юноша вытащил кинжал — единственное свое оружие — и перерезал веревку; труп с глухим стуком упал на землю.

Дик приподнял капюшон; это был Трогмортон, гонец сэра Дэниэла. Недалеко удалось ему уйти от замка! Из-под его куртки торчала какая-то бумага, очевидно, не замеченная молодцами «Черной стрелы». Дик вытащил ее; то было письмо сэра Дэниэла к лорду Уэнслидэлу.

«Если опять будет переворот,— подумал Дик,— вот этим письмом я опорочу сэра Дэниэла и, быть может, даже приведу его на плаху». Он сунул бумагу себе

за пазуху, прочел над мертвым молитву и побрел дальше через лес.

Он был очень слаб и чувствовал себя смертельно усталым; ноги у него подкашивались, от потери крови в ушах звенело, он то и дело терял сознание. Долго кружил и плутал Дик, но наконец вышел на большую дорогу и очутился неподалеку от деревни Тэнстолл.

Грубый голос приказал ему остановиться.

— Остановиться?— повторил Дик.— Клянусь небом, я почти падаю.

И в подтверждение своих слов он рухнул на дорогу.

Из чащи вышли двое мужчин, оба в зеленых лесных куртках, оба с луками, колчанами и короткими мечами.

— Лоулесс,— сказал тот, который был помоложе,— да ведь это молодой Шелтон!

— Да, Джон Мшу-за-всех будет доволен,— сказал другой.— Э, да он побывал в бою. На голове у него рана, которая стоила ему немало крови.

— Плечо тоже пробито,— прибавил Гриншив.— Ему, видимо, здорово досталось. Как ты думаешь, кто это его так отделал? Если кто-нибудь из наших, так пусть молится богу: Эллис наградит его короткой исповедью и длинной веревкой.

— Подымай щенка,— сказал Лоулесс.— Клади его мне на спину.

Взвалив Дика себе на плечи и держа его за руки, бывший монах прибавил:

— Оставайся на посту, брат Гриншив. Я дотащу его один.

Гриншив вернулся в засаду у дороги, а Лоулесс медленно побрел вниз по склону холма, неся на плечах Дика, который так и не пришел в себя. Солнце уже взошло, когда Лоулесс выбрался на опушку леса и увидел за оврагом деревню Тэнстолл. Все, казалось, было спокойно, только с обеих сторон дороги у самого моста лежали стрелки; их было человек десять. Увидев Лоулесса с его ношей, они, как и подобает настоящим часовым, натянули луки.

— Кто идет? — крикнул их командир.

— Уилл Лоулесс, клянусь распятием; и ты знаешь меня как свои пять пальцев,— ответил расстрига презрительно.

— Скажи пароль, Лоулесс! — потребовал командир.

— Ты дурак, и да поможет тебе небо,— ответил Лоу-

лесс.— Разве ты не узнаешь меня? Все вы помешались на игре в солдатики. Когда живешь в лесу, надо жить по-лесному; и вот вам мой пароль: шиш!

— Лоулесс, ты подаешь дурной пример. Скажи пароль, дурак! — крикнул командир.

— А если я его позабыл? — сказал Лоулесс.

— Врешь, не позабыл; а если позабыл, я всажу стрелу в твое жирное брюхо, клянусь небом! — ответил командир.

— Я вижу, вы не понимаете шуток,— сказал Лоулесс.— Так вот вам пароль: «Дэкуорт и Шелтон», а вот и картинка к этому паролю: Шелтон у меня на спине, и я несу его к Дэкуорту.

— Проходи, Лоулесс,— сказал часовой.

— А где Джон? — спросил монах.

— Вершит суд и собирает оброк, словно помещик! — ответил часовой.

Так оно и было. Когда Лоулесс дошел до харчевни, стоявшей в середине села, он увидел Эллиса Дэкуорта, окруженного крестьянами сэра Дэниэла. Он преспокойно собирал с крестьян оброк и выдавал им расписки в получении денег. Видно было, что крестьянам это совсем не нравится,— они отлично понимали, что им придется платить еще раз.

Узнав, кого принес Лоулесс, Эллис тотчас же отпустил крестьян. Лицо его выражало живейшее участие и тревогу; он приказал отнести Дика в заднюю комнату харчевни. Там юноше перевязали раны и самыми простыми средствами привели его в чувство.

— Милый мальчик,— сказал Эллис, пожимая ему руку,— ты находишься в гостях у друга, который любил твоего отца и в память о нем любит тебя. Отдохни немного, ты еще не совсем пришел в себя. А потом ты расскажешь мне все, что с тобой случилось, и мы вместе подумаем, как помочь тебе.

Часа через два, когда Дик, все еще очень слабый, немного отоспался, Эллис подсел к его кровати и попросил именем его отца рассказать, как он удрал из Тэнстоллского замка Мот. В широких плечах Эллиса было столько силы, в смуглом лице столько честности, в глазах столько ума и ясности, что Дик сразу ему повиновался и подробно рассказал все свои приключения за последние два дня.

— Святые оберегают тебя, Дик Шелтон,— сказал Эллис, когда юноша кончил.— Они не только вывели тебя

невредимым из всех бед и опасностей, но вдобавок привели тебя к человеку, который больше всего на свете желает оказать помощь сыну твоего отца. Будь мне верен,— а я вижу, что ты человек верный,— и мы с тобой добьемся смерти гнусного предателя.

— Вы собираетесь взять его замок приступом? — спросил Дик.

— Брать замок приступом — это безумие,— ответил Эллис.— В замке он слишком силен; у него много воинов. Вчера мимо меня проскользнул целый отряд — тот самый, появление которого тебя спасло,— и теперь сэр Дэниэл находится под надежной защитой. Нет, Дик, нам с тобой и нашим славным лучникам нужно как можно скорее убраться отсюда и оставить сэра Дэниэла в покое.

— Меня тревожит судьба Джоан,— сказал мальчик.

— Судьба Джоан? — переспросил Дэкуорт.— А, понимаю, судьба этой девчонки! Обещаю тебе, Дик, что, если пойдут толки о свадьбе, мы будем действовать без промедления. А до тех пор мы все исчезнем, как тени на рассвете. Сэр Дэниэл будет смотреть на восток, будет смотреть на запад и нигде не найдет врагов; клянусь небом, он решит, что мы ему только приснились. Но наши с тобой четыре глаза, Дик, будут внимательно следить за ним, и наши четыре руки — да поможет нам святое ангельское воинство! — одолеют предателя.

Два дня спустя гарнизон замка Мот настолько усилился, что сэр Дэниэл решился на вылазку и во главе сорока всадников проехал, не встретив сопротивления, до деревни Тэнстолл. Ни одна стрела не пролетела; ни одного человека не нашли в лесу; мост никем не охранялся. Проехав через мост, сэр Дэниэл увидел крестьян, боязливо глядевших на него из дверей своих домиков.

Внезапно один из них, набравшись храбрости, вышел вперед и, отвесив низкий поклон, подал рыцарю какое-то письмо. Сэр Дэниэл начал читать, и лицо его нахмурилось. Вот что он прочел:

«Коварному и жестокому джентльмену,
сэру Дэниэлу Брэкли, рыцарю.

Теперь я знаю, что вы вели себя коварно и подло с самого начала. Кровь моего отца на ваших руках; отмыть ее вам не удастся. Предупреждаю вас, что настанет день, когда вы погибнете от моей руки. Предупреждаю вас, далее,

что, если вы попытаетесь выдать замуж благородную даму госпожу Джоанну Сэдли, на которой я сам поклялся жениться, день этот настанет скоро. Первый ваш шаг к устройству ее свадьбы будет первым вашим шагом к могиле.

Рич. Шелтон».

КНИГА ТРЕТЬЯ

МИЛОРД ФОКСГЭМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДОМ НА БЕРЕГУ

С того дня, когда Ричард Шелтон вырвался из рук своего опекуна, прошло несколько месяцев. Немало событий, весьма для Англии важных, произошло за эти несколько месяцев. Ланкастерская партия, совсем уже было погибшая, снова подняла голову. Сторонники Йоркского дома были разбиты, их вождь зарублен насмерть, и к зиме уже казалось, что Ланкастерскому дому удалось восторжествовать над всеми своими врагами. Небольшой городок Шорби-на-Тилле был полон ланкастерских вельмож, съехавшихся из окрестностей. Были тут и граф Райзингэм с тремя сотнями воинов, и лорд Шорби с двумя сотнями, и сам сэр Дэниэл, могущественный, как прежде, разбогатевший от новых конфискаций; он жил в собственном доме на главной улице с шестью десятками воинов. Словом, произошел новый переворот.

Был темный январский вечер; дул ветер, мороз становился все крепче; к утру можно было ждать снега.

В небольшом трактирчике, расположенном в одном из переулков, ведущих в гавань, сидели три человека, запивая элем наспех приготовленную яичницу. Это были крепкие, здоровые люди с обветренными лицами, с сильными руками, со смелыми глазами; и хотя они были одеты, как простые крестьяне, даже пьяный солдат подумал бы дважды, прежде чем затеять с ними ссору.

Неподалеку от них перед ярко горевшим камином сидел молодой человек, почти мальчик; хотя он тоже одет был

по-крестьянски, видно было, что он человек хорошего происхождения и достоин носить шпагу.

— Мне это не нравится,— сказал один из сидевших за столом.— Дело кончится плохо. Здесь не место для веселых ребят. Веселые ребята любят деревню, густой лес и чтобы кругом было не слишком много врагов; а город ими кишмя кишит. И вот увидите, утром еще, как на беду, снег пойдет.

— А все ради мастера Шелтона,— сказал другой, кивнув в сторону юноши, сидевшего перед огнем.

— Я на многое согласен ради мастера Шелтона,— возразил первый.— Но попасть ради него на виселицу — нет, братья, я не желаю!

Дверь трактира распахнулась; какой-то человек вбежал в комнату и подошел к юноше, сидевшему перед огнем.

— Мастер Шелтон,— сказал он,— сэр Дэниэл вышел из дому с двумя факельщиками и четырьмя стрелками.

Дик (ибо то был наш юный друг) сразу вскочил.

— Лоулесс,— сказал он,— ты сменишь Джона Кэппера на наблюдательном посту. Гриншив, следуй за мной. Кэппер, веди нас. Мы не отстанем от сэра Дэниэла ни на шаг, хотя бы он шел до самого Йорка.

Через мгновение все пятеро были на темной улице. Кэппер — так звали новоприбывшего — показал им два факела, пылавшие вдали на ветру.

Город уже крепко спал; незаметно следовать за маленьким отрядом по пустым улицам было совсем нетрудно. Факельщики шагали впереди; за ними шел человек в длинном, развевавшемся на ветру плаще; позади шагали стрелки, держа луки наготове. По кривым, запутанным переулкам они быстро двигались к берегу.

— Он каждую ночь ходит в ту сторону? — шепотом спросил Дик.

— Третью ночь подряд, мастер Шелтон,— ответил Кэппер.— Всякий раз в одно и то же время; и всегда с очень маленькой свитой, словно хочет, чтобы об этом знало поменьше народу.

Сэр Дэниэл и его спутники вышли на окраину города. Шорби не был обнесен стеной, и, хотя засевшие в нем ланкастерские лорды держали караулы на всех больших дорогах, из него можно было выйти маленькими переулочками или даже просто полем.

Переулок, которым шел сэр Дэниэл, внезапно кончился. Впереди возвышалась песчаная дюна, а сбоку шумел морской прибой. Здесь не было ни часовых, ни огней.

Дик и оба его спутника почти поравнялись с сэром Дэниэлом. Городские строения кончились, и вдали они увидели факел, двигавшийся им навстречу.

— Эге,— сказал Дик.— Здесь пахнет изменой!

Тем временем сэр Дэниэл остановился. Факелы воткнули в песок, а люди легли рядом, словно поджидая кого-то.

Те, кого они ждали, приблизились. Это был маленький отряд, состоявший всего из четырех человек: двух стрелков, слуги с факелом и джентльмена в плаще.

— Это вы, милорд? — окликнул его сэр Дэниэл.

— Да, это я. Я самый бесстрашный рыцарь на свете, потому что другие рыцари сражаются с великанами, волшебниками или язычниками, а я не побоялся сразиться с этим проклятым холодом, который страшнее всех язычников, вместе взятых! — ответил предводитель другого отряда.

— Милорд,— сказал сэр Дэниэл,— красавица вознаградит вас за все лишения. Но не отправиться ли нам в путь? Чем скорее вы увидите мой товар, тем скорее мы оба вернемся домой.

— Зачем вы ее держите здесь, славный рыцарь? — спросил незнакомец.— Раз она так молода, так прекрасна, так богата, почему же вы не позволяете ей посещать свет? Вы и замуж ее выдали бы гораздо быстрее и не рисковали бы отморозить себе пальцы или нарваться на стрелу, разгуливая в темноте в такую не подходящую для прогулок погоду.

— Я уже объяснил вам, милорд,— ответил сэр Дэниэл,— что причины, которыми я руководствуюсь, касаются одного меня. Не стану вам рассказывать, в чем дело. Но если вам надоел ваш старый приятель Дэниэл Брэкли, разрубите всему свету, что собираетесь жениться на Джоанне Сэдли, и, даю вам слово, вы скоро от меня избавитесь. Об этом позаботится стрела, всаженная мне в спину.

Оба джентльмена торопливо шагали по пустынному полю. Перед ними несли три факела, пламя которых металось на ветру, раскидывая дым и искры; стрелки замыкали шествие.

Дик шел за ними следом; он, конечно, не слыхал ни слова из разговора двух джентльменов, но в незнакомце он узнал старого лорда Шорби, о нравах которого расска-

зывали много дурного; даже сэр Дэниэл, и тот не раз порицал его на людях.

Они вышли на берег. В воздухе пахло солью; шум прибоя усилился; здесь, в большом саду, окруженном стеною, стоял маленький двухэтажный домик с конюшнями и другими службами.

Шедший впереди факельщик отпер в стене калитку и, когда все вошли в сад, запер ее изнутри на замок.

Дик и его товарищи были, таким образом, лишены возможности идти дальше; они могли бы, конечно, перелезть через стену, но опасались попасть в ловушку.

Они спрятались в зарослях дрока и стали ждать. Красный свет факелов все время двигался за стеной,— видимо, факельщики усердно сторожили сад.

Через двадцать минут оба джентльмена вышли из сада. Изысканно раскланявшись, сэр Дэниэл и барон пошли по домам, каждый со своей свитой и своими факелами.

Едва ветер унес звук их шагов, Дик поспешно вскочил на ноги: он очень озяб.

— Кэппер, подсади меня на стену,— сказал он.

Они втроем подошли к стене. Кэппер нагнулся. Дик влез ему на плечи и взобрался на стену.

— Гриншив,— прошептал Дик,— лезь за мной; лежи на стене плашмя, чтобы тебя не заметили. Если на меня нападут, ты мне поможешь.

С этими словами он спрыгнул в сад.

Было темно, как в могиле; ни в одном окне не горел свет. Ветер пронзительно свистел в голых кустах; прибой с шумом обрушивался на берег; больше ничего не было слышно. Дик осторожно полз вперед, путаясь в прутьях и нащупывая дорогу руками; наконец у него под ногами захрустел гравий, и он понял, что выбрался на аллею.

Он остановился, вынул из-под плаща арбалет, зарядил его и решительно двинулся вперед. Аллея привела его к постройкам.

Постройки были ветхие, полуразрушенные; ставни на окнах едва держались; конюшня была пуста, и двери ее распахнуты настежь; на сеновале — ни клочка сена, в житнице — ни зернышка. Можно было подумать, что здесь никто не живет, но у Дика были основания не верить первому впечатлению. Он продолжал осмотр: заходил во все службы, пробовал отворить каждое окно. Наконец, обойдя кругом, он вышел к той стороне дома, которая была об-

ращена к морю; и в самом деле, в окне второго этажа виднелся слабый свет.

Он немного отошел, и ему показалось, будто по стене двигаются какие-то тени. Он тут же вспомнил, что в конюшне рука его в темноте наткнулась на лестницу; он сбегал за ней, не мешкая; она была очень коротка, но, стоя на верхней ступеньке, Дик достал руками железную решетку окна и, подтянувшись, заглянул внутрь.

В комнате находились две женщины; одну из них он узнал сразу — это была госпожа Хэтч; вторая — высокая, красивая, важная молодая леди в длинном платье, украшенном вышивкой,— неужели это Джоанна Сэдли? Неужели это его лесной товарищ Джон, которого он собирался выдрать ремнем?

Изумленный, он опустился на верхнюю ступеньку лестницы. Никогда он не думал, что его возлюбленная так прекрасна! Его внезапно охватило сомнение, может ли она его любить. Но размышлять было некогда. Совсем рядом кто-то тихо произнес:

— Тсс!

Дик спрыгнул с лестницы.

— Кто здесь? — шепотом спросил он.

— Гриншив,— так же тихо раздалось в ответ.

— Что тебе нужно? — спросил Дик.

— За домом следят, мастер Шелтон,— ответил разбойник.—Не мы одни здесь караулим. Лежа на стене брюхом вниз, я заметил людей, которые бродят во мраке, и слышал, как они тихонько пересвистываются.

— Странно! — сказал Дик.— Это люди сэра Дэниэла?

— В том-то и дело, что нет, сэр,— ответил Гриншив.— Если меня не обманывают глаза, у каждого из них на шляпе белый значок с темными полосками.

— Белый с темными полосками? — переспросил Дик.— Клянусь небом, не знаю я такого значка. В наших местах таких значков нет. Ну, раз так, попробуем как можно тише выбраться из этого сада; здесь мы защищаться не в состоянии. Дом, безусловно, охраняют люди сэра Дэниэла, и у меня нет никакой охоты попасть между двух огней. Возьми лестницу; нужно поставить ее на место.

Они отнесли лестницу в конюшню и ощупью добрались до стены.

Кэппер протянул им сверху руку и втащил на стену сначала одного, потом другого.

Они беззвучно спрыгнули на землю и не нарушали молчания, пока не очутились снова в зарослях дрока.

— Джон Кэппер,— сказал Дик,— беги во весь дух в Шорби. Приведи сюда немедленно всех, кого можешь собрать. Мы встретимся здесь. Если же люди разбрелись в разные стороны и собрать их удастся только к рассвету, мы встретимся где-нибудь поближе к городу, скажем, у самого входа в него. Я останусь здесь с Гриншивом и буду следить за домом. Беги со всех ног, Джон Кэппер, и да помогут тебе святые! А теперь, Гриншив,— прибавил он, когда Кэппер исчез,— обойдем вокруг сада. Я хочу посмотреть, не обманули ли тебя твои глаза.

Стараясь держаться подальше от стены и пользуясь каждым возвышением и каждой впадиной, они прошли вдоль двух стен сада, никого не заметив. Третья сторона садовой стены тянулась вдоль берега, и, чтобы не подходить к ней слишком близко, они пошли по песку. Несмотря на то, что прилив еще только начинался, прибой был таким сильным, а песчаный берег таким плоским, что Дику и Гриншиву при каждой волне приходилось по щиколотки, а то и по колена погружаться в соленую ледяную воду Немецкого моря.

Внезапно на белизне садовой стены возникла, словно тень, фигура человека, делавшего обеими руками какие-то знаки. Человек упал на землю, но тотчас же немного поодаль поднялся другой и повторил те же самые знаки. Так, словно безмолвный пароль, эти знаки обошли вокруг всего осажденного сада.

— Они хорошо караулят,— прошептал Дик.

— Вернемся на сушу, добрый мастер Шелтон,—ответил Гриншив.— Тут негде спрятаться. Нас нетрудно заметить: всякий раз, когда накатывает волна, наши фигуры выделяются на фоне белой пены.

— Ты прав,— сказал Дик.— Скорее на сушу!

ГЛАВА ВТОРАЯ

БОЙ ВО МРАКЕ

Промокшие и озябшие, Дик и Гриншив вернулись в заросли дрока.

— Молю бога, чтобы Кэппер поспел вовремя! — сказал Дик.— Если он вернется не позже чем через час, я

поставлю свечку перед образом святой Марии Шорбийской.

— Чего вы так торопитесь, мастер Дик? — спросил Гриншив.

— Как же мне не торопиться, друг,— ответил Дик.— В этом доме живет та, которую я люблю. А кто эти люди, тайно подстерегающие ее ночью? Конечно же, враги.

— Если Джон вернется скоро, мы славно расправимся с ними,— сказал Гриншив.— Их здесь не больше сорока человек; я сужу по тому, как редко у них расставлены часовые, и наш отряд в двадцать человек разгонит их, словно воробьев. Однако посудите сами, мастер Дик: оттого, что она из рук сэра Дэниэла попадет в другие руки, ей хуже не будет. Любопытно, конечно, узнать, кто это за ней охотится.

— Я подозреваю лорда Шорби,— ответил Дик.— Когда явились эти люди?

— Они подошли, мастер Дик,— сказал Гриншив,— едва вы перелезли через стену. Не пролежал я на стене и минуты, как вдруг заметил первого из них: он осторожно выползал из-за угла.

Свет в доме погас еще тогда, когда они брели по волнам, и теперь невозможно было предугадать, скоро ли люди, окружившие сад, решатся произвести нападение на дом. Из двух зол Дик предпочитал меньшее. Не дай бог, если Джоанна попадет в лапы к лорду Шорби. Нет, пусть уж лучше она останется у сэра Дэниэла. И Дик твердо решил прийти на помощь осажденным, если дом подвергнется нападению.

Но время шло, а на дом никто не нападал. Каждые четверть часа вдоль садовой стены передавались все те же сигналы, словно предводитель осаждающих хотел убедиться, бодрствуют ли его часовые; вокруг дома было спокойно и тихо.

Мало-помалу к Дику стали подходить подкрепления. Задолго до рассвета вокруг него в зарослях дрока собралось уже около двадцати человек.

Дик разбил их на два неравных отряда; маленький отряд он взял себе, а командиром большого назначил Гриншива.

— Слушай, Кит,— сказал он Гриншиву,— поставь своих людей возле ближнего угла садовой стены, выходящей на берег, и жди, пока не услышишь, что я начал нападение

с другой стороны сада. Я хочу напасть на них со стороны моря, потому что там, вероятно, находится их предводитель. Остальные разбегутся. И пусть бегут. Помните, ребята: стрелять не надо — вы можете попасть в своих. Полагайтесь на свои мечи и только на мечи. Если мы одержим победу, я, как только верну себе свое имение, каждому из вас дам по золотому.

Самые храбрые и самые искусные в военном ремесле люди, оказавшиеся среди этих сломанных жизнью людей — воров, убийц и разоренных крестьян, которых сзывал к себе Дэкуорт для осуществления своих мстительных замыслов,— добровольно отправились вместе с Ричардом Шелтоном в Шорби. Им надоело сидеть в городе, выслеживая сэра Дэниэла, и многие из них начали уже роптать и грозили уйти. Теперь же, узнав, что им предстоит горячая схватка и, быть может, добыча, они воспрянули духом и стали весело готовиться к битве.

Они скинули свои длинные плащи; под плащами у одних были зеленые кафтаны, а у других — прочные кожаные куртки; под шапками многие из них носили железные шлемы; вооружение их состояло из мечей, кинжалов, рогатин и дюжины сверкающих алебард. Таким оружием можно было сражаться даже с регулярными войсками феодалов. Спрятав луки, колчаны и плащи в кустах дрока, оба отряда решительно двинулись вперед.

Обойдя вокруг сада, Дик расставил шестерых своих воинов ярдах в двадцати от садовой стены, и сам стал перед ними. С дружным криком бросились они на врагов.

Враги, раскинутые по большому пространству, окоченевшие, застигнутые врасплох, вскочили на ноги и растерянно озирались. Не успели они собраться с духом и сообразить, много ли сил у противника, как с другого конца сада до них донесся такой же крик. Не сомневаясь в своем поражении, они побежали.

Оба отряда «Черной стрелы» с двух сторон подошли к стене, которая тянулась вдоль моря; этим они отрезали возможность отступления для части неприятельского войска; остальные вражеские воины пустились наутек кто куда и исчезли во мраке.

Однако битва еще только начиналась. Дик со своими бродягами напал на неприятеля неожиданно, и в этом заключалось его преимущество; но подвергнувшиеся нападению были многочисленнее нападающих. Между тем насту-

пил прилив; берег превратился в узкую полоску. В темноте между морем и садовой стеной началась яростная схватка не на жизнь, а на смерть, и трудно было сказать, чем она кончится.

Незнакомцы были хорошо вооружены; они молча кинулись на нападающих; сражение разбилось на ряд отдельных стычек. Дик, бросившийся в битву первым, дрался с тремя противниками: одного из них он уложил сразу, но двое других напали на него с таким жаром, что он чуть было не отступил. Один из этих двух был громадный мужчина, почти великан. Держа обеими руками огромный меч, он размахивал им, как легкой тростью. Сражаясь с таким длинноруким противником, Дик, вооруженный алебардой, чувствовал себя беззащитным; если бы и второй противник нападал столь же пылко, гибель юноши была бы неизбежна. Но этот второй противник, пониже ростом и менее проворный, вдруг остановился, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к шуму битвы.

Дик отступал перед великаном, выжидая удобного случая, чтобы нанести удар. Лезвие огромного меча блеснуло над ним и опустилось. Дик отскочил в сторону и прыгнул вперед, наудачу рубя своей алебардой. Раздался оглушительный рев, и, прежде чем раненый успел поднять свой страшный меч, Дик дважды ударил его и свалил на землю.

Теперь у Дика остался только один противник, сражаться с которым можно было на равных условиях. Они были почти одинакового роста; противник Дика превосходно владел искусством отражать удары. Он был вооружен мечом и кинжалом, а у Дика была только алебарда; зато Дик был гораздо проворнее его. Сначала ни тот, ни другой не мог добиться преимущества; но старший из противников был опытней младшего и вел его туда, куда хотел. И вдруг Дик заметил, что они сражаются по колено в воде среди бушующих волн. Здесь все его проворство стало бесполезным; и он был всецело во власти противника. Товарищи Дика были далеко, а искусный противник заставлял его отступать все дальше в море.

Дик стиснул зубы. Он решил как можно скорее привести борьбу к концу, и, когда волна отхлынула, обнажив на мгновение дно, он ринулся вперед, отразил алебардой удар меча и схватил противника за горло. Тот рухнул навзничь, и Дик упал на него; набежавшая волна накрыла побежденного. Пока он лежал под водой, Дик выхва-

тил у него из рук кинжал и поднялся, гордый своею победой.

— Сдавайтесь! — сказал он.— Дарю вам жизнь.

— Сдаюсь,— сказал тот, поднимаясь на колени.— Вы сражаетесь, как сражаются все слишком молодые люди,— неумело и необдуманно, но, клянусь святыми, отважно!

Дик вышел на берег. Ночной бой все еще продолжался, и все еще нельзя было сказать, на чьей стороне окажется победа. Сквозь гул прибоя слышались удары стали о сталь, стоны раненых и победные клики наступающих.

— Отведите меня к своему командиру, молодой человек,— сказал побежденный рыцарь.— Пора прекратить эту бойню.

— Сэр,— ответил Дик,— у этих храбрецов есть только один командир, и он стоит перед вами.

— Так отзовите своих молодцов, а я прикажу своим слугам остановиться,— сказал побежденный рыцарь.

В его голосе и манере держаться было столько благородства, что Дик не опасался обмана.

— Бросайте оружие! — крикнул незнакомый рыцарь.— Я сдался, и мне обещана жизнь.

Это было сказано так властно, что шум битвы смолк немедленно.

— Лоулесс,— крикнул Дик,— ты цел?

— Цел и невредим,— откликнулся Лоулесс.

— Зажги фонарь,— приказал Дик.

— Разве здесь нет сэра Дэниэла? — спросил рыцарь.

— Сэра Дэниэла? — переспросил Дик.— Молю бога, чтоб его тут не было. Если бы он был тут, мне пришлось бы плохо.

— Вам пришлось бы плохо, благородный рыцарь? — переспросил его недавний противник.— Как так? Разве вы не сторонник сэра Дэниэла? Клянусь, я ничего не понимаю. Зачем же вы, в таком случае, напали на мой отряд? Из-за чего нам было ссориться, мой юный и чрезвычайно пылкий друг? Чтобы покончить со всеми недоумениями, откройте мне имя того достойного джентльмена, которому я сдался в плен.

Но прежде чем Дик успел ответить, совсем рядом раздался чей-то голос. Дик мог различить в темноте, что у обладателя голоса был белый с черными полосками значок и что он обращался к своему начальнику с необыкновенной почтительностью.

— Милорд,— сказал он,— если эти джентльмены — враги сэра Дэниэла, то, право, очень жаль, что мы вступили в ними в бой. Но будет еще хуже, если мы останемся здесь. Люди, которые караулят дом, не умерли и не оглохли. Они не могли не слышать, как мы тут бьемся уже целых четверть часа, и уж, конечно, дали знать в город; если мы сейчас же не уйдем отсюда, нам придется сражаться с новым врагом.

— Хоксли прав,— сказал лорд.— Какое вы примете решение, сэр? Куда мы должны идти?

— Куда вам угодно, милорд,— сказал Дик.— Я начинаю думать, что мы с вами можем подружиться. Я представился вам несколько грубовато, и мне не хотелось бы, чтобы наши дальнейшие отношения были похожи на наше первое знакомство. Нам нужно расстаться, милорд. Так пожмем на прощание друг другу руки; а в назначенный вами час и в назначенном вами месте мы встретимся снова и обо всем сговоримся.

— Вы слишком доверчивы, мой мальчик,— сказал рыцарь,— но на этот раз ваша доверчивость не причинит вам зла. Я встречусь с вами на рассвете у креста Святой Девы. Друзья, за мной!

Незнакомцы исчезли во мраке с подозрительной быстротой. Пока разбойники по своему обыкновению грабили мертвецов, Дик в последний раз обошел вокруг садовой стены, чтобы взглянуть на фасад дома. В маленьком чердачном окошке сиял свет; этот свет, вероятно, был хорошо виден из задних окон городского дома сэра Дэниэла. Дик понял, что это и есть тот сигнал, которого так опасался Хоксли, и что скоро сюда явятся воины тэнстоллского рыцаря.

Он приложил ухо к земле, и ему показалось, что он слышит приближающийся стук копыт. Дик поспешно кинулся назад, на берег. Но работа была уже кончена: четверо разбойников тащили к морю последний труп, раздетый догола, чтобы бросить его в воду.

Когда через несколько минут из переулков Шорби вылетели галопом сорок всадников, на пустынном берегу возле маленького дома было тихо и пусто. Дик со своими людьми находился уже в харчевне «Козла и волынки» и снимал с себя доспехи, чтобы хоть немного поспать перед утренним свиданием.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРЕСТ СВЯТОЙ ДЕВЫ

Крест Святой Девы стоял неподалеку от Шорби, на опушке Тэнстоллского леса. Тут соединялись две дороги — одна шла лесом из Холивуда, другая — та, по которой летом отступала разгромленная армия ланкастерцев,— из Райзингэма. Здесь обе дороги сливались в одну, и эта дорога, сбегая с холма, тянулась до самого Шорби. Немного позади того места, где они соединялись, возвышался небольшой бугор, на вершине которого стоял древний, изъеденный непогодами крест.

Дик явился к этому кресту около семи часов утра. Холодно было по-прежнему; земля, покрытая серебряным инеем, казалась седой; на востоке занималась багряно-рыжая заря. Дик сел на ступеньку под крестом, закутался в свой плащ и зорко осмотрелся по сторонам. Ждать ему пришлось недолго. На дороге, ведущей из Холивуда, появился джентльмен в сияющих латах, поверх которых была накинута мантия из драгоценных мехов; он ехал шагом на великолепном боевом коне. Следом за ним, держась на расстоянии двадцати ярдов, двигался отряд всадников, вооруженных копьями; но, увидев крест, воины остановились, и джентльмен в мехах двинулся к кресту один.

Он ехал с поднятым забралом; лицо у него было властное и гордое, под стать его пышному одеянию. И Дик не без смущения двинулся навстречу своему пленнику.

— Благодарю вас, милорд, за точность,— сказал он и низко поклонился.— Не угодно ли вашей светлости сойти на землю?

— Мы здесь одни, молодой человек? — спросил рыцарь.

— Я не так прост,— сказал Дик,— и должен признаться вашей светлости, что в лесу, возле этого креста, лежат мои честные ребята с оружием наготове.

— Вы поступили мудро,— сказал лорд,— и я очень этому рад, потому что вчера вы дрались как безрассудный сарацин, а не как опытный христианский воин. Впрочем, не мне об этом говорить, так как я был побежден.

— Вы были побеждены, милорд, только потому, что упали,— ответил Дик.— Если бы волны не пришли мне на помощь, я бы погиб. Я до сих пор ношу на теле знаки,

которыми отметил меня ваш кинжал. Мне думается, милорд, что весь риск, так же как и все выгоды этой маленькой слепой стычки на берегу, выпал на мою долю.

— Я вижу, вы достаточно умны, чтобы не хвастать своей победой,— заметил незнакомец.

— Нет, милорд,—ответил Дик,—для этого особого ума не нужно. Теперь, когда при свете дня я вижу, какой отважный рыцарь сдался — не мне, а судьбе, темноте и приливу — и как легко бой мог принять совсем другой оборот для такого неопытного и неотесанного воина, как я, я несколько смущен своей победой, и вам, милорд, это не должно казаться странным.

— Вы хорошо говорите,— сказал незнакомец.— Ваше имя?

— Мое имя, если вам угодно знать его, Шелтон,— ответил Дик.

— А меня называют лорд Фоксгэм,— сказал рыцарь.

— Так вы опекун самой милой девушки в Англии, милорд! — воскликнул Дик.— Теперь я знаю, какой мне взять с вас выкуп за вашу жизнь и за жизнь ваших слуг! Я прошу вас, милорд, окажите мне милость, отдайте мне руку моей прекрасной дамы, Джоанны Сэдли, и получите взамен свою свободу, свободу своих слуг и, если желаете, мою благодарность и преданность до самой смерти.

— Разве вы не воспитанник сэра Дэниэла? — спросил лорд Фоксгэм.— Если вы сын Гарри Шелтона, то, насколько мне известно, сэр Дэниэл должен быть вашим опекуном.

— Не угодно ли вам, милорд, сойти с лошади? Я расскажу вам подробно, кто я такой, каково мое положение и на каких основаниях я осмеливаюсь просить у вас руки Джоанны Сэдли. Присядьте, пожалуйста, милорд, вот на эту ступеньку, выслушайте меня до конца и не судите меня строго.

С этими словами Дик протянул лорду Фоксгэму руку и помог ему слезть с лошади; он привел его на бугор к кресту, усадил на то место, где недавно сидел сам, и, почтительно стоя перед своим благородным пленником, рассказал ему всю свою жизнь вплоть до вчерашнего дня.

Лорд Фоксгэм внимательно его выслушал.

— Мастер Шелтон,— сказал он, когда Дик кончил,— вы одновременно и самый счастливый и самый несчастный молодой джентльмен на всем свете. Но счастье свое вы

заслужили, а несчастье получили незаслуженно. Не падайте духом, вы приобрели друга, который может и хочет вам помочь. Хотя человеку вашего происхождения не следует якшаться с разбойниками, я должен признать, что вы храбры и благородны. Во время боя вы опасны, во время мира учтивы. Вы молодой человек с прекрасными возможностями и отважной душой. Имений своих вы не увидите до нового переворота. Пока ланкастерцы стоят у власти, сэр Дэниэл будет пользоваться ими как своими собственными. С моей воспитанницей дело обстоит тоже не просто. Я обещал ее одному джентльмену, моему родственнику, по имени Хэмли; обещание ему дано давно...

— Ах, милорд, тем временем сэр Дэниэл обещал ее милорду Шорби! — перебил Дик.— И, хотя обещание это дано совсем недавно, по всей вероятности, оно скорее будет выполнено, нежели ваше.

— Вы правы,— ответил лорд.— И вот, принимая к тому же во внимание, что я ваш пленник, жизнь которого была в ваших руках, и, главное, что девушка, к несчастью, находится в чужих руках, я даю вам свое согласие. Помогите мне с вашими добрыми молодцами...

— Милорд! — воскликнул Дик.— Ведь это те самые разбойники, за знакомство с которыми вы упрекнули меня!

— Разбойники, нет ли, а сражаться они умеют,— ответил лорд Фоксгэм.— Помогите мне, и, если нам с вами удастся отбить эту девушку, клянусь своей рыцарской честью, она будет вашей женой.

Дик преклонил колено перед своим пленником. Но тот, легко соскочив с подножия креста, поднял юношу и обнял, как сына.

— Раз вы собираетесь жениться на Джоанне,— сказал он,— мы с вами должны стать друзьями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«ДОБРАЯ НАДЕЖДА»

Час спустя Дик снова сидел у «Козла и волынки», завтракал и выслушивал донесения своих гонцов и часовых. Дэкуорта все еще не было в Шорби; впрочем, такие отлучки были нередки, так как у него постоянно было множество самых различных дел в самых различных концах страны. Братство «Черной стрелы», как известно, было

основано разоренным Дэкуортом в целях мести и наживы; многие, впрочем, из тех, кто знал его ближе, смотрели на него как на агента и представителя великого Ричарда, графа Уорвикского, этого прославленного вершителя судеб британского престола.

Как бы то ни было, Дэкуорт отсутствовал, и в Шорби его замещал Ричард Шелтон. Он склонился над тарелкой, озабоченный своими мыслями. Они уговорились с лордом Фоксгэмом сегодня вечером нанести решительный удар и освободить Джоанну силой. Однако трудности этого предприятия были огромны. Разведчики, являвшиеся к нему для доклада, приносили самые неутешительные вести.

Сэр Дэниэл был встревожен вчерашней стычкой на морском берегу. В маленьком домике он увеличил гарнизон; не довольствуясь этим, он расставил всадников на всех прилегающих уличках, приказав им при первом же тревожном сигнале немедленно скакать к нему. В его городском доме стояли оседланные кони, и воины, вооруженные с головы до ног, ждали только знака, чтобы выехать.

Задуманное предприятие с каждым часом казалось все менее осуществимым. Внезапно лицо Дика прояснилось.

— Лоулесс! — крикнул он.— Ведь ты был моряком. Не можешь ли ты украсть для меня корабль?

— Мастер Дик,— ответил Лоулесс,— с вашей поддержкой я готов украсть даже Йоркский собор.

И они сразу же отправились в гавань. Это была довольно обширная бухта, раскинувшаяся среди песчаных холмов и окруженная пустырями, выгонами, кучами полусгнивших бревен и ветхими лачугами городских трущоб. В бухте стояло немало палубных и беспалубных судов,— одни качались на якорях, другие лежали на берегу. Долгая непогода выгнала их из открытого моря и заставила спрятаться в гавани. Черные тучи и сильные ветры с сухим снегопадом предвещали новые бури.

Моряки, спасаясь от холода и ветра, ускользнули на берег и буйно веселились в портовых кабаках. За некоторыми судами, стоявшими на якоре, никто даже не присматривал; и с каждым часом и с каждым свежим порывом ветра таких безнадзорных судов становилось все больше и больше. На эти-то суда, и особенно на те из них, что стояли подальше от берега, Лоулесс и обратил свое внимание. Дик предоставил ему свободу действий, а сам уселся на якорь, до половины зарытый в песок, и, прислушиваясь

то к реву урагана, то к пению моряков в ближайшем кабаке, скоро забыл обо всем, кроме обещания лорда Фокс-гэма.

Лоулесс тронул его за плечо и указал на небольшой корабль, который одиноко качался на волнах у входа в бухту. Прорвавшийся сквозь тучи бледный луч зимнего солнца вдруг озарил палубу, и силуэт судна четко вырисовывался на фоне облака. Дик в это мгновение успел разглядеть на палубе двух мужчин, которые спускали с борта шлюпку.

— Вот вам корабль на эту ночь, сэр,— сказал Лоулесс.— Запомните его хорошенько!

Шлюпка отделилась от корабля; в ней сидело двое мужчин; держась по ветру, они торопливо гребли к берегу.

Лоулесс остановил прохожего.

— Как зовется вон тот корабль? — спросил он, показав ему стоявшее у входа в бухту судно.

— Это «Добрая Надежда» из Дартмута,— ответил прохожий.— А капитана зовут Арблестер. Он гребет на носу вон той шлюпки.

Лоулессу ничего больше и не требовалось знать. Поспешно поблагодарив прохожего, он двинулся на песчаную косу, к которой должна была пристать шлюпка. Там он остановился, поджидая моряков с «Доброй Надежды».

— Кум Арблестер! — закричал он.— Какая счастливая встреча! Клянусь распятием, такую встречу нужно отпраздновать! А это «Добрая Надежда»? Я узнал бы ее среди десяти тысяч кораблей! Прекрасный корабль! Подплывай, кум, мы с тобой славно выпьем! Помнишь, я тебе рассказывал о своем наследстве? Ну вот, я его наконец и получил. Я теперь богат и больше не плаваю по морям. Я плаваю только по элю. Давай руку, приятель! Выпей со старым товарищем.

Шкипер Арблестер, длиннолицый, немолодой, обветренный непогодами человек, с ножом, привязанным к шее тесемкой, и походкой и всеми повадками ничуть не отличавшийся от наших нынешних моряков, удивленно и недоверчиво отшатнулся от Лоулесса. Но упоминание о наследстве и, главное, пьяное добродушие, которое с таким искусством изобразил Лоулесс, скоро победили недоверчивость шкипера, и он пожал руку бродяги.

— Я тебя не помню,— сказал он.— Но что за важность! Я и мой матрос Том, мы всегда готовы выпить с кумом.

Том,— сказал он, обращаясь к своему спутнику,— вот мой кум. Я не помню, как его зовут, но это неважно, он превосходный моряк. Пойдем выпьем с ним и его приятелем.

Лоулесс повел их в недавно открывшийся кабак, стоявший несколько в стороне, и поэтому менее переполненный, чем те, что находились ближе к центру гавани.

Кабак этот представлял собой обыкновенный сарай, наподобие бревенчатых построек, которые в наши дни можно встретить где-нибудь в американских лесах. Вся мебель состояла из двух-трех шкафов, вделанных в стену, нескольких голых скамеек и досок, положенных на пустые бочонки вместо столов. Посреди комнаты горел костер, раздуваемый множеством сквозняков, и пылавшие там обломки кораблей наполняли все помещение густым дымом.

— Вот она, услада моряка,— сказал Лоулесс.— Хорошо посидеть у славного огонька и выпить добрую чарочку, когда на дворе непогода и ветер гуляет по крыше! Пью за «Добрую Надежду»! Желаю ей легкого плавания!

— Да,— сказал шкипер Арблестер,— в такую погоду на берегу куда лучше, чем в море. А как по-твоему, матрос Том? Кум, ты говоришь складно, хотя мне все не удается припомнить, как тебя зовут. Но что за важность, ты говоришь очень складно. Легкого плавания «Доброй Надежде»! Аминь!

— Друг Дикон,— продолжал Лоулесс, обращаясь к своему начальнику,— у тебя, кажется, какие-то важные дела? Так ступай, не стесняйся. А я посижу в этой славной компании, с двумя старыми моряками. Не беспокойся, ты нас застанешь все за тем же делом, когда вернешься, и я ручаюсь, что эти славные ребята от меня не отстанут. Мы ведь не какие-нибудь береговые крысы, мы старые, тертые морские волки.

— Хорошо сказано! — подхватил шкипер.— Ступай, мальчик. А твоего приятеля и моего доброго кума мы задержим здесь до рассвета, клянусь святой Марией! Я так долго пробыл в море, что все кости мои пропитались солью, и теперь, сколько бы я ни выпил, мне все мало.

Провожаемый таким напутствием, Дик встал, попрощался и торопливо пошел сквозь непогоду к «Козлу и волынке». Оттуда он послал сообщить лорду Фоксгэму, что вечером в их распоряжении будет прочный корабль. Потом, захватив с собой двух разбойников, кое-что смысливших в морском деле, он отправился в гавань на песчаную косу.

Шлюпка с «Доброй Надежды» стояла среди множества других шлюпок, но они узнали ее без труда, так как она была самая маленькая и самая хрупкая из всех. Когда Дик с двумя своими спутниками сел в эту жалкую скорлупку и они отчалили от берега, волны и ветер обрушились на них с такой силой, что, казалось, они вот-вот пойдут на дно.

Как мы уже говорили, «Добрая Надежда» стояла на якоре далеко от берега, и волны там были еще больше. Ближайшие корабли находились от нее на расстоянии нескольких кабельтовых, но и на них не было ни одного человека; вдобавок повалил густой снег и стало так темно, что никто при всем желании не мог бы заметить Дика и его товарищей. Стремительно вскарабкались они на палубу, оставив привязанную к корме шлюпку плясать на волнах. Так была захвачена «Добрая Надежда».

Это было славное, прочное судно, закрытое палубой на носу и посредине и открытое на корме. Одномачтовое, оно по роду своей оснастки было чем-то средним между фелюгой и люггером [1]. По-видимому, дела шкипера Арблестера шли превосходно, так как бочонки с французским вином заполняли весь трюм. А в маленькой каюте, кроме образа девы Марии, который свидетельствовал о набожности капитана, находились запертые сундуки, которые говорили о его богатстве и запасливости.

Собака, единственная обитательница корабля, яростно лаяла и хватала похитителей за пятки; пинком ноги ее загнали в каюту и там заперли вместе с ее справедливым гневом. Пираты зажгли фонарь и подняли его на ванты, чтобы корабль был виден с берега; потом открыли один из бочонков и выпили по чаше превосходного гасконского вина за удачу своего предприятия. Затем один из разбойников приготовил лук и стрелы на случай нападения, а другой подтянул шлюпку и спрыгнул в нее.

— Карауль хорошенько, Джек,— сказал молодой командир, готовясь спуститься в шлюпку.— Я вполне на тебя полагаюсь.

— Пока корабль стоит здесь, все будет в порядке,— ответил Джек.— Но чуть только мы выйдем в море... Види-

---

[1] Фелюга — узкое парусное судно, которое может идти на веслах. Люггер — небольшое парусное судно.

те, как он задрожал! Несчастный корабль услышал мои слова, и сердце его забилось в дубовых ребрах. Посмотрите, мастер Дик, как стало темно!

И в самом деле, кругом воцарился необычный мрак. И в этом мраке одна за другой вздымались волны, и «Добрая Надежда» бодро переваливалась с волны на волну. На палубу падал снег, морская пена заливала ее; снасти угрюмо скрипели под ветром.

— Зловещая погода,— сказал Дик.— Но не беда! Это всего только шквал, а шквалы не бывают надолго.

Тем не менее унылый беспорядок, царивший в небе, и визгливые завывания ветра невольно угнетали его дух. Спустившись в шлюпку и отчалив от «Доброй Надежды», он набожно перекрестился, моля бога заступиться за всех, кто пускается в плавание сегодня ночью.

На песчаной косе собралось уже около дюжины разбойников. Дик предоставил шлюпку в их распоряжение и приказал им немедленно отправиться на корабль.

Пройдя несколько шагов в глубь берега, Дик увидел лорда Фоксгэма, который спешил ему навстречу; лицо лорда было закрыто капюшоном; простой крестьянский плащ скрывал от посторонних взглядов его сверкающие латы.

— Юный Шелтон,— сказал он,— неужели вы действительно намерены выйти в море?

— Милорд,— ответил Дик,— дом сторожат всадники; подойти к нему с суши, не подняв тревоги, невозможно; теперь, после того, как сэр Дэниэл узнал о нашем приключении, легче оседлать ветер, чем незаметно подкрасться к этому дому с суши. Отправясь морем, мы, конечно, рискуем утонуть; но зато, если мы не утонем, мы увезем девушку.

— Ведите меня,— сказал лорд Фоксгэм.— Я последую за вами, чтобы потом не пришлось стыдиться своей трусости; но, признаться, я предпочел бы лежать сейчас у себя дома в постели.

— Идемте,— сказал Дик.— Я представлю вам человека, который поведет наш корабль.

И он повел лорда в убогий кабак, где назначил свидание своим подчиненным. Некоторые из разбойников слонялись снаружи возле дверей; другие вошли уже внутрь и столпились вокруг Лоулесса и двоих моряков. Судя по их раскрасневшимся лицам и мутным глазам, они давно перешли границы умеренности; когда Дик, сопровождаемый

лордом Фоксгэмом, появился в кабаке, они вместе с Лоулессом пели древнюю заунывную морскую песню, и ураган подпевал им.

Молодой предводитель окинул взором кабак. В огонь только что подбросили дров, и черный дым валил так густо, что углы просторной комнаты потонули во мраке. И все же он сразу убедился, что разбойников здесь гораздо больше, чем случайных посетителей. Успокоившись на этот счет, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье.

— Эй,— крикнул шкипер пьяным голосом,— кто ты такой?

— Мне нужно поговорить с вами на улице, мастер Арблестер,— сказал Дик.— А разговор будет вот о чем.

И он показал ему золотую монету, которая ярко блеснула при свете костра.

Глаза моряка вспыхнули, хотя он так и не узнал нашего героя.

— Ладно, мальчик,— сказал он,— я пойду с тобой... Кум, я сейчас вернусь. Пей на здоровье, кум!

И, держась за Дика, чтобы не упасть, он двинулся к дверям.

Едва он перешагнул через порог, десять сильных рук схватили его и связали; две минуты спустя, связанный, с затычкой во рту, он уже лежал на сеновале, засыпанный сеном. Рядом с ним бросили его матроса Тома; им предоставили возможность до самого утра размышлять о своей печальной участи.

Скрываться больше было незачем, и лорд Фоксгэм условным сигналом вызвал своих воинов; захватив нужное количество лодок, они целой флотилией двинулись на свет фонаря, прикрепленного к мачте. Не успели они взобраться на палубу, как с берега донесся яростный крик моряков, обнаруживших пропажу своих лодок.

Но ни воротить свои лодки, ни отомстить за них моряки не могли. Из сорока воинов, собравшихся на украденном корабле, восемь человек бывали прежде в море и сразу превратились в матросов. С их помощью поставили паруса. Подняли якорь. Лоулесс, нетвердо держась на ногах и все еще напевая какую-то морскую балладу, взялся за руль. И «Добрая Надежда» сквозь ночную мглу двинулась в открытое море навстречу огромным валам. Дик стоял возле штормовых снастей. Непроглядную тьму ночи прорезали

только свет огней «Доброй Надежды» и отдельные мерцающие огоньки домиков в Шорби, уплывающие вдаль; да еще изредка виднелись, когда «Добрая Надежда» проваливалась между волнами, гребни белой пены; на мгновение они вздымались снежным каскадом и так же быстро исчезали за кормой.

Некоторые из разбойников лежали на палубе, держась за что попало, и громко молились, другие страдали морской болезнью и, забравшись в трюм, разлеглись там среди всякой клади. Эта страшная качка да пьяная лихость Лоулесса заставили бы хоть кого усомниться в благополучном исходе плавания.

Однако Лоулесс, руководимый каким-то чутьем, по громадным волнам провел судно мимо длинной песчаной отмели и благополучно причалил к каменному молу; здесь «Добрую Надежду» наскоро привязали, и она, поскрипывая, качалась в темноте.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (продолжение)

Мол находился совсем недалеко от дома, в котором жила Джоанна; оставалось только переправить людей на берег, ворваться в дом и похитить пленницу. «Добрая Надежда» уже сослужила свою службу, доставив их во вражеский тыл. Они считали, что корабль им больше не понадобится, так как отступать они собирались в лес, где милорд Фоксгэм расставил свои подкрепления.

Однако высадить людей на берег оказалось нелегко: многие мучились от морской болезни, и все поголовно — от холода; в корабельной тесноте и суматохе дисциплина расшаталась; из-за качки и темноты все пали духом. На мол выскочили все разом. Милорду пришлось сдерживать своих людей, угрожая им обнаженным мечом. Конечно, это не обошлось без шума, а шум был сейчас опаснее всего.

Когда порядок был кое-как восстановлен, Дик с кучкой самых отборных воинов двинулся вперед. На берегу было еще темнее: в море там и сям белела пена, в то время как мрак, висевший над сушей, казался плотным, непроницаемым; вой ветра заглушал все звуки.

Но не успел Дик дойти до конца мола, как ветер внезапно стих; в наступившей тишине ему послышался конский топот и лязг оружия. Дик остановил своих спутников и спрыгнул на береговой песок; пройдя несколько шагов, он убедился, что впереди в самом деле движутся кони и люди. Он сильно приуныл. Если враги действительно подстерегали их, если воины сэра Дэниэла окружили конец мола, упиравшийся в берег, им с лордом Фоксгэмом будет очень трудно защищаться, так как позади у них только море и все их воины сбиты в кучу на узком молу. Осторожным свистом он подал условный сигнал.

К сожалению, этот сигнал вызвал совсем не те последствия, на которые он рассчитывал. Из ночной тьмы вылетел град наудачу пущенных стрел. Воины на молу стояли так тесно, что некоторые стрелы попали в цель; раздались крики испуга и боли. Лорд Фоксгэм был ранен и упал. Хоксли тотчас распорядился отнести его на корабль. Воины лорда Фоксгэма остались без всякого руководства. Одни принимали бой, другие совсем растерялись. В этой растерянности и крылась главная причина катастрофы, которая не замедлила разразиться.

Дик с горстью храбрецов в течение целой минуты удерживал конец мола, упиравшийся в берег. С обеих сторон было ранено по два, по три человека, сталь звенела о сталь. Сначала ни той, ни другой стороне не удавалось добиться успеха; но скоро счастье окончательно изменило сторонникам Дика.

Кто-то крикнул, что все погибло. Воины, давно уже павшие духом, с легкостью этому поверили; крик был подхвачен. Затем раздался другой крик:

— На борт, ребята, кому жизнь дорога!

И наконец кто-то с подлинным вдохновением труса крикнул то, что кричат при всех поражениях:

— Измена!

И сразу же вся толпа, толкаясь, с громкими возгласами страха кинулась назад по молу, подставив свои незащищенные спины неприятелю.

Один трус уже принялся отталкивать корму, но другой еще придерживал нос корабля. Беглецы с криком перепрыгивали на корабль, некоторые обрывались и падали в море. Иных зарубили на молу, иных в толкотне задавили насмерть свои же товарищи. Но вот наконец нос «Доброй Надежды» отделился от мола, и вездесущий Лоулесс,

которому удалось с помощью кинжала расчистить себе дорогу и добраться до руля, направил корабль в бушующее море. Кровь стекала с палубы, заваленной мертвыми и ранеными.

Лоулесс вложил кинжал в ножны и сказал своему ближайшему соседу:

— Я, кум, пометил своей печатью многих из этих трусливых псов.

Когда беглецы, спасая жизнь, прыгали на корабль, они даже не заметили ударов кинжалом, которыми Лоулесс, стараясь пробраться к рубке, награждал встречных. Но тут они не то вспомнили про эти удары, не то просто расслышали слова, неосторожно произнесенные рулевым.

Охваченные паникой войска приходят в себя не сразу; обычно люди, запятнавшие себя трусостью, как бы для того, чтобы забыть о своем позоре, бросаются в другую крайность и начинают бунтовать. Так случилось и теперь. Те самые храбрецы, которые побросали свое оружие и которых за ноги втащили на палубу «Доброй Надежды», теперь громко бранили своих предводителей и непременно хотели кого-нибудь наказать.

Вся их злоба обрушилась на Лоулесса.

Чтобы не налететь на камни, старый бродяга направил нос «Доброй Надежды» в сторону открытого моря.

— Глядите! — заорал один из недовольных.— Он ведет нас в море!

— Верно!— крикнул другой.— Нас предали!

Все завопили хором, что их предали и, отчаянно ругаясь, потребовали, чтобы Лоулесс повернул судно и доставил их тотчас на берег. Лоулесс, стиснув зубы, продолжал вести «Добрую Надежду» по громадным волнам в открытое море. Побуждаемый чувством собственного достоинства и поддерживаемый еще не совсем выветрившимся хмелем, он отвечал презрительным молчанием на пустые их страхи и малодушные угрозы. Недовольные собрались возле мачты, петушились и для храбрости подзадоривали друг друга. Еще минута, и они были бы готовы, позабыв стыд и совесть, совершить любую гнусность. Дик начал было подниматься на палубу, чтобы навести порядок, но его опередил один из разбойников, кое-что смысливший в морском деле.

— Ребята,— начал он,— у вас деревянные головы.

Чтобы вернуться в город, нам нужно сначала выйти в открытое море. И вот старый Лоулесс...

Договорить он не успел,— кто-то ударил его в зубы; это подействовало на толпу трусов, как искра, упавшая в стог сена: все набросились на несчастного, опрокинули его и принялись топтать его ногами и колоть кинжалами, покуда не прикончили. Тут уж Лоулесс не выдержал,— гнев его прорвался.

— Ведите корабль сами! — проревел он.

И, не заботясь о последствиях, оставил руль.

В это мгновение «Добрая Надежда» дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой слетела она в провал между волнами. Новая волна поднялась, нависнув над ней, как громадная черная стена; вздрогнув от могучего удара, «Добрая Надежда» врезалась носом в эту гору соленой влаги. Зеленый вал окатил корабль с носа до кормы; люди на палубе по колена погрузились в воду; брызги взлетели выше мачт. Пройдя сквозь волну, «Добрая Надежда» вынырнула, жалобно скрипя и дрожа всем телом, словно раненый зверь.

Шестеро или семеро недовольных было смыто за борт; остальные, чуть только они вновь обрели дар речи, стали призывать на помощь всех святых и умолять Лоулесса снова взяться за руль.

Лоулесса не пришлось просить дважды. Увидев ужасные последствия своего справедливого гнева, он отрезвел окончательно. Он лучше всех понимал, что «Добрая Надежда» чуть было не погибла, и неуверенность, с которой она повиновалась рулю, убеждала его, что опасность еще не вполне миновала.

Волна сбила Дика и едва не утопила его. Он с трудом поднялся и, бредя по колена в воде, выбрался на корму к старому рулевому.

— Лоулесс,— сказал он,— ты один можешь спасти нас. Ты смелый, упорный человек и умеешь управлять кораблем. Я приставлю к тебе трех воинов, на которых можно положиться, и прикажу им охранять тебя.

— Незачем, сударь, незачем,— ответил рулевой, пристально вглядываясь в темноту.— С каждым мгновением мы все дальше уходим от этих песчаных отмелей, и с каждым мгновением море будет все сильнее обрушиваться на нас. Скоро все эти плаксы повалятся с ног, ибо, сударь, дурной человек никогда не бывает хорошим моряком;

почему — не знаю, тут какая-то тайна, но это так. Только честные и смелые люди могут вынести такую качку.

— Это просто поговорка моряков, Лоулесс, и в ней не больше смысла, чем в свисте ветра,— сказал Дик и рассмеялся.— Но как наши дела? Верно ли мы идем? Доберемся ли мы до гавани?

— Мастер Шелтон,— ответил Лоулесс,— я был монахом и благодарю за это свою судьбу. Был воином, был вором, был моряком. Много сменил я одежд, и умереть мне хотелось бы в монашеской рясе, а не в просмоленной куртке моряка. А почему? По двум очень важным причинам: во-первых, я не хочу умереть внезапно, без покаяния, а во-вторых, мне отвратительна эта соленая лужа у меня под ногами! — И Лоулесс топнул ногой.— Но если сегодня ночью я не умру смертью моряка,— продолжал он,— я поставлю высокую свечу пречистой деве.

— Неужели наше дело так плохо? — спросил Дик.

— Очень плохо,— ответил бродяга.— Разве вы не чувствуете, как медленно и тяжело движется «Добрая Надежда» по волнам? Разве вы не слышите, как в трюме плещется вода? «Добрая Надежда» и теперь уже почти не слушается руля. А вот увидите, что будет с ней, когда воды в трюме станет больше; она либо пойдет на дно, как камень, либо разобьется о береговые скалы.

— А между тем ты говоришь так, как будто тебе не страшно,— сказал Дик.— Разве ты не боишься?

— Хозяин,— ответил Лоулесс,— я войду в свою последнюю гавань с таким экипажем, что хуже не бывает. Посудите сами: беглый монах, вор и все, что можно придумать. И все-таки, мастер Шелтон, как это ни удивительно, я не теряю надежды. И если мне суждено утонуть, я утону с ясным взором и до самого конца не выпущу штурвала из рук.

Дик ничего не ответил, но мужество старого бродяги глубоко потрясло его. Опасаясь, как бы Лоулесс опять не подвергся насилию, Дик отправился разыскивать троих воинов, на которых можно положиться. На палубе, беспрестанно поливаемой водой, почти никого не было. От воды и от жестокого зимнего ветра люди укрылись в трюме среди бочонков с вином; трюм озаряли два качающихся фонаря.

Тут шел пир; разбойники и воины щедро угощали друг друга гасконским вином Арблестера. Но «Добрая Надеж-

да» продолжала мчаться по волнам, то взлетая на высокий гребень, то глубоко зарываясь носом или кормою в белую пену,— и с каждой минутой пирующих становилось все меньше. Одни перевязывали свои раны, а другие (таких было большинство) лежали на полу, замученные морской болезнью, и стонали.

Гриншив, Кьюкоу и молодой парень из отряда лорда Фоксгэма, на ум и храбрость которого Дик уже давно обратил внимание, были еще способны понимать приказания и повиноваться. Дик назначил их телохранителями рулевого. Затем, в последний раз окинув взглядом черное небо и черное море, он спустился в каюту, куда слуги лорда Фоксгэма отнесли своего господина.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (окончание)

Стоны раненого барона смешивались с воем корабельной собаки. Грустила ли несчастная собака по своим друзьям, разлученным с нею, или чуяла, что кораблю грозит опасность, но вой ее был так громок, что даже грохот волн и свист ветра не могли заглушить его. Суеверным людям этот вой казался погребальным плачем по «Доброй Надежде».

Лорд Фоксгэм лежал на койке, на меховой своей мантии. Перед образом богоматери мерцала лампадка, и при тусклом ее свете Дик увидел, как бледно лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза.

— Моя рана смертельна,— сказал лорд.— Подойдите ко мне поближе, молодой Шелтон. Пусть будет возле меня хоть один человек благородного происхождения, ибо я всю жизнь прожил в богатстве и роскоши, и мне так грустно сознавать, что я ранен в жалкой потасовке и умираю на грязном холодном корабле, в море, среди всякого отребья и мужичья.

— Милорд,— сказал Дик,— я молю святых исцелить вашу рану и помочь вам благополучно добраться до берега.

— Благополучно добраться до берега? — переспросил лорд.— Разве вы не уверены в том, что мы доберемся благополучно?

— Корабль движется с трудом, море свирепо и бурно,— ответил юноша,— а из слов нашего рулевого я понял, что мы только чудом можем добраться до берега живыми.

— А! — угрюмо воскликнул барон.— Вот при каких ужасных муках моей душе придется расставаться с телом! Сэр, молите бога даровать вам трудную жизнь, тогда вам легче будет умирать. Жизнь баловала меня, а умереть мне суждено среди мук и несчастий! Однако перед смертью мне еще предстоит совершить одно важное дело. Нет ли у вас на корабле священника?

— Нет,— ответил Дик.

— Так займемся моими земными делами,— сказал лорд Фоксгэм.— Надеюсь, после моей смерти вы окажетесь таким же верным другом, каким вы были учтивым врагом при моей жизни. Я умираю в тяжелую годину для меня, для Англии и для всех тех, кто следовал за мной. Моими воинами командует Хэмли — тот самый, который был вашим соперником. Они условились собраться в длинной зале Холивуда. Вот этот перстень с моей руки будет служить доказательством, что вы действуете от моего имени. Кроме того, я напишу Хэмли несколько слов и попрошу его уступить вам девушку. Но выполните ли вы мой приказ? Этого я не знаю.

— А что вы собираетесь мне приказать, милорд? — спросил Дик.

— Приказать?..— повторил барон и нерешительно взглянул на Дика.— Скажите, вы сторонник Ланкастера или Йорка? — спросил он наконец.

— Мне стыдно признаться,— ответил Дик,— но я и сам не знаю. Впрочем, я служу у Эллиса Дэкуорта, а Эллис Дэкуорт стоит за Йоркский дом. Выходит, что и я сторонник Йоркского дома.

— Это хорошо,— сказал лорд,— это превосходно. Если бы вы оказались сторонником Ланкастера, я не знал бы, что мне делать. Но раз вы стоите за Йорка, так слушайте меня. Я прибыл в Шорби, чтобы наблюдать за собравшимися там лордами, пока мой благородный молодой господин, Ричард Глостерский [1], копит силы, готовясь на-

---

[1] В то время, когда происходили события, рассказанные в нашей повести, Ричард Горбун еще не был герцогом Глостерским; но, с позволения читателя, мы будем его так называть для большей ясности. (*Прим. автора.*)

пасть на этих лордов и рассеять их. Я добыл сведения о численности вражеской армии, о расстановке заградительных отрядов, о расположении неприятельских войск. Эти сведения я должен передать моему господину в воскресенье, за час до полудня, у креста Святой Девы возле леса. Явиться на это свидание мне, по видимости, не удастся, и я обращаюсь к вам с просьбой: окажите мне любезность, пойдите туда вместо меня. И пусть ни радость, ни боль, ни буря, ни рана, ни чума не задержат вас! Будьте у назначенного места в назначенное время, ибо от этого зависит благо Англии.

— Даю вам торжественное обещание исполнить вашу волю,— сказал Дик.— Я сделаю все, что будет в моих силах.

— Прекрасно,— сказал раненый.— Милорд герцог даст вам новые приказания, и если вы исполните их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. Пододвиньте ко мне лампаду, я хочу написать письмо.

Он написал два письма. На одном он сделал надпись: «Высокочтимому моему родичу сэру Джону Хэмли»; на другом не надписал ничего.

— Это письмо герцогу,— сказал он.— Пароль — «Англия и Эдуард»; а отзыв — «Англия и Йорк».

— А что будет с Джоанной, милорд? — спросил Дик.

— Джоанну добывайте сами, как умеете,— ответил барон.— В обоих письмах я пишу, что хочу выдать ее за вас, но добывать ее вам придется самому, мой мальчик. Я, как видите, пытался вам помочь, но заплатил за это жизнью. Большего не мог бы сделать ни один человек.

Раненый быстро слабел. Дик, спрятав на груди драгоценные письма, пожелал ему бодрости и вышел из каюты.

Начинался рассвет, холодный и пасмурный. Шел снег. Неподалеку от «Доброй Надежды» тянулся скалистый берег, изрезанный песчаными бухтами, а вдали, за лесами, подымались вершины Тэнстоллских холмов. Ветер немного поутих, море тоже слегка успокоилось, но корабль сидел глубоко в воде и с трудом взбирался на волну.

Лоулесс по-прежнему стоял у руля. Все обитатели судна столпились на палубе и тупо уставились в негостеприимный берег.

— Мы собираемся пристать? — спросил Дик.

— Да,— сказал Лоулесс,— если прежде не попадем на дно.

При этих словах корабль с таким трудом вскарабкался на волну и вода в трюме заклокотала так громко, что Дик невольно схватил рулевого за руку.

— Клянусь небом,— воскликнул Дик, когда нос «Доброй Надежды» вынырнул из пены,— я уж думал, мы тонем. Сердце мое чуть не лопнуло!

На шкафуте[1] Гриншив и Хоксли вместе с лучшими людьми обоих отрядов разбирали палубу и строили из ее досок плот. Дик присоединился к ним и весь ушел в работу, чтобы хоть на минуту забыть об опасности. Но, несмотря на все его усилия, каждая волна, обрушивавшаяся на несчастный корабль, заставляла его сердце сжиматься от ужаса, напоминая о близости смерти.

Внезапно, оторвавшись от работы, он увидел, что они подошли вплотную к какому-то мысу. Подмытый морем утес, вокруг которого клокотала белая пена тяжелых волн, почти навис над палубой. За утесом, на вершине песчаной дюны, как бы увенчивая ее, стоял дом.

Внутри бухты волны бесновались еще неистовее. Они подняли «Добрую Надежду» на свои пенистые спины, понесли ее, нисколько не считаясь с рулевым, выбросили на песчаную отмель и, перекатываясь через корабль, стали швырять его из стороны в сторону. Потом один из громадных валов поднял «Добрую Надежду» и отнес ее ближе к берегу, и, наконец, третий вал, перенеся ее через самые опасные буруны, опустил на мель возле самого берега.

— Ребята,— крикнул Лоулесс,— святые спасли нас! Начинается отлив. Сядем в кружок и выпьем по чарке вина. Через полчаса мы доберемся до берега, как по мосту.

Пробили бочонок. Потерпевшие крушение расселись, стараясь, насколько возможно, укрыться от снега и брызг, и пустили чарку вкруговую; вино согрело их и приободрило.

Дик тем временем вернулся к лорду Фоксгэму, который ничего не знал и лежал в смертельном ужасе. Вода в его каюте доходила до колен, лампадка разбилась и потухла, оставив его в темноте.

— Милорд,— сказал молодой Шелтон,— оставьте ваши страхи, святые оберегают нас. Волны выбросили нас на от-

---

[1] Шкафут — средняя часть палубы корабля, между кормовой и носовой надстройкой.

мель, и как только прилив немного спадет, мы пешком доберемся до берега.

Прошел почти час, прежде чем море отступило от «Доброй Надежды» и мореплавателям удалось наконец пуститься шагом к берегу, смутно видневшемуся сквозь дымку падавшего снега. На прибрежном холме лежал небольшой отряд вооруженных людей, подозрительно следивших за каждым их движением.

— Им следовало бы подойти к нам и оказать помощь,— заметил Дик.

— Раз они к нам не идут, мы пойдем к ним сами,— сказал Хоксли.— Чем скорее мы доберемся до славного огня и сухой постели, тем лучше для моего несчастного лорда.

Но люди на холме внезапно вскочили, и град стрел полетел в потерпевших крушение.

— Назад! Назад! — крикнул лорд.— Ради бога, будьте осторожны! Не отвечайте им!

— Мы не можем драться! — воскликнул Гриншив, вытаскивая стрелу из своей кожаной куртки.— Мы промокли, мы устали, как собаки, мы промерзли до костей. Но, ради любви к старой Англии, объясните мне, зачем они с такой яростью обстреливают своих земляков, попавших в беду?

— Они приняли нас за французских пиратов,— ответил лорд Фоксгэм.— В эти беспокойные и подлые времена мы не можем уберечь даже собственные берега, берега нашей Англии. Наши исконные враги, которых еще не так давно мы побеждали на море и на суше, приезжают сюда, когда им вздумается, и грабят, убивают, и жгут. Несчастная родина! Вот до какого позора мы дожили!

Люди на холме внимательно следили, как пришельцы поднимались на берег и как уходили в глубь страны по долинам между песчаными дюнами. Целую милю шли они следом за усталыми, измученными беглецами, готовые при малейшем подозрении дать по ним новый залп. Только когда Дику удалось наконец вывести своих спутников на большую дорогу и построить их в военном порядке, бдительные охранители английских берегов исчезли за падающим снегом. Они уберегли свои собственные дома и фермы, свои собственные семьи и свой скот — больше им ни до чего не было дела, и их нисколько не беспокоила мысль, что французы вырежут и спалят другие деревни и села английского королевства.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

РЯЖЕНЫЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛОГОВИЩЕ

Дик вышел на большую дорогу недалеко от Холивуда, милях в девяти-десяти от Шорби-на-Тилле; убедившись, что их больше не преследуют, оба отряда разделились. Слуги лорда Фоксгэма понесли своего раненого господина в большое аббатство, где было безопасно и спокойно; когда они исчезли за густой завесой падающего снега, у Дика осталась дюжина бродяг — все, что уцелело от его добровольческого отряда.

Многие из них были ранены; все до одного были взбешены неудачами и долгим странствием; слишком голодные и слишком озябшие, они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо поглядывали на своих главарей. Дик роздал им все, что было у него в кошельке, ничего не оставив себе, и поблагодарил за храбрость, хотя, по правде говоря, гораздо охотнее выбранил бы их за трусость. Несколько смягчив этим впечатление от длительных неудач, он приказал им попарно и в одиночку пробираться к Шорби и ждать его в трактире «Козел и волынка».

Памятуя события, происшедшие на борту «Доброй Надежды», он оставил при себе одного только Лоулесса. Снег падал не переставая и все застилал вокруг, точно слепящее облако; ветер постепенно стихал и наконец исчез совсем; весь мир казался обернутым в белую пелену и погруженным в молчание. Среди снежных сугробов легко было сбиться с пути и завязнуть. И Лоулесс, шагая впереди, вытягивал шею, как охотничья собака, идущая по следу, изучал каждое дерево, внимательно вглядывался в тропинку, словно вел корабль по бурному морю.

Пройдя лесом около мили, они подошли к роще корявых высоких дубов, возле которой скрещивалось несколько дорог. Это место нетрудно было узнать даже в такую погоду, и Лоулесс был, видимо, рад, что нашел его.

— А теперь, мастер Ричард,— сказал он,— если ваша гордость не помешает вам воспользоваться гостеприимством человека, который не родился джентльменом и которого даже нельзя назвать хорошим христианином, я могу предложить вам кубок вина и добрый огонь, чтобы разогреть ваши косточки.

— Веди, Уилл,— ответил Дик.— Кубок вина и добрый огонь! Ради этого я согласен идти куда угодно!

Лоулесс решительно зашагал вперед и, пройдя под оголенными деревьями, скоро дошел до пещеры, чуть ли не наполовину засыпанной снегом. Над входом в пещеру рос громадный бук с обнаженными корнями; старый бродяга, раздвинув кусты, исчез под землей.

Когда-то могучий ураган выкорчевал громадный бук из земли вместе с большим куском дерна; под этим буком Лоулесс и выкопал себе лесное убежище. Корни служили ему стропилами, кровлей был дерн, стенами и полом была матушка сырая земля. В одном углу находился очаг, почерневший от огня, в другом стоял большой дубовый ящик, крепко окованный железом; только по этим предметам и можно было догадаться, что здесь человеческое жилище, а не звериная нора.

Несмотря на то, что в пещеру намело снегу, в ней оказалось гораздо теплее, чем снаружи; а когда Лоулесс высек искру и в очаге вспыхнули и затрещали сухие сучья, стало по-домашнему уютно.

Со вздохом полнейшего удовлетворения Лоулесс протянул свои широкие руки к огню и вдохнул в себя запах дыма.

— Вот,— сказал он,— кроличья нора старого Лоулесса. Молю небо, чтобы собаки не пронюхали о ней! Много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать лет, когда я впервые удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, которые продал за четыре марки. Став паломником и пытаясь спасти свою душу, я побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании; побывал и на море, в этой чужбине всех народов. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, только здесь. Здесь моя родина,— вот эта нора в земле! Дождь ли идет, или светит солнце, в апреле ли, когда поют птицы и цветы падают на мою постель, или зимой, когда я сижу наедине с добрым кумом-огнем и в лесу щебечет реполов,— эта нора заменяет мне все: и церковь, и рынок, и жену, и наследника: где бы

я ни был, я всегда возвращаюсь сюда. И я молю святых угодников, чтобы здесь мне было позволено умереть.

— А что же, у тебя здесь и в самом деле уютный уголок,— ответил Дик,— и тепло, и постороннему глазу не видно.

— Да, он скрыт хорошо, и это самое главное,— подхватил Лоулесс,— ибо сердце мое разбилось бы, если бы его нашли. Вот здесь,— сказал он, принимаясь раскапывать сильными пальцами песчаный пол,— здесь мой винный погреб, и вы сейчас получите флягу превосходной крепкой браги.

И действительно, покопав немного, он вытащил большую кожаную бутыль, на три четверти наполненную крепким, душистым элем. Выпив друг за друга, они подбросили топлива в огонь, и пламя снова засверкало. Они легли и вытянули ноги, блаженствуя в тепле.

— Мастер Шелтон,— заметил бродяга,— за последнее время вы дважды потерпели неудачу; похоже, что вы потеряете и девушку. Правильно я говорю?

— Правильно,— ответил Дик, кивнув головой.

— А теперь,— продолжал Лоулесс,— послушайте старого дурака, который почти всюду побывал и почти все повидал. Слишком много вы исполняете чужих поручений, мастер Шелтон. Вы стараетесь для Эллиса; но Эллис мечтает только о смерти сэра Дэниэла. Вы стараетесь для лорда Фоксгэма... Впрочем, да хранят его святые, у него, без сомнения, хорошие намерения. Однако лучше всего стараться для себя самого, добрый Дик. Ступайте к своей девушке. Ухаживайте за ней, а то как бы она не забыла вас. Будьте наготове, и когда представится случай, берите коня и скачите вместе с нею.

— Ах, Лоулесс, да ведь она же, наверное, находится в доме сэра Дэниэла! — ответил Дик.

— Ну что ж, мы пойдем в дом сэра Дэниэла,— ответил бродяга.

Дик удивленно посмотрел на него.

— Нечего удивляться,— сказал Лоулесс,— если вы мне не верите на слово, взгляните сюда.

И бродяга, сняв с шеи ключ, открыл дубовый сундук; порывшись, он вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки, такие тяжелые, что ими можно было действовать, как оружием.

— Вот,— сказал он,— это для вас. Надевайте!

Когда Дик перерядился в монаха, Лоулесс достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее; едва пробивавшиеся усики Дика превратил в большие усы; несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой монах стал казаться много старше своих лет.

— Теперь я тоже переоденусь,— сказал Лоулесс,— и никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы смело пойдем к сэру Дэниэлу, где из любви к матери-церкви нам окажут радушный прием.

— Чем мне отплатить тебе, дорогой Лоулесс? — вскричал юноша.

— Э, брат,— ответил бродяга,— все, что я делаю, я делаю ради своего удовольствия! Не беспокойтесь обо мне. Клянусь небом, я о себе и сам позабочусь: язык у меня длинный, голос — словно монастырский колокол, и если мне что-нибудь нужно, я буду просить, мой сын. А если просьбы недостаточно, возьму сам.

Старый плут скорчил забавную рожу. И, как Дику ни претило покровительство столь сомнительной личности, он не удержался и захохотал.

Лоулесс вернулся к сундуку и тоже нарядился монахом. Дик с удивлением заметил, что под своей рясой Лоулесс спрятал связку черных стрел.

— Зачем они тебе? — спросил Дик.— Для чего тебе стрелы, если ты не берешь лука?

— Немало придется разбить голов и поломать спин, прежде чем мы выйдем оттуда, куда идем,— весело ответил Лоулесс.— И если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство поддержало свою честь. Черная стрела, мастер Дик, печать нашего аббатства. Она указывает, кем прислан счет.

— У меня с собой важные бумаги,— сказал Дик.— Если их найдут, они погубят и меня и тех, кто дал их мне. Где их спрятать, Уилл?

— Э,— ответил Лоулесс,— я пойду в лес и просвищу три куплета из песни, а вы тем временем закопайте их, где хотите, и разровняйте над ними песок.

— Ни за что! — вскричал Ричард.— Я доверяю тебе, приятель. Я был бы низким человеком, если бы не доверял тебе!

— Брат, ты дитя,— ответил старый бродяга, останавливаясь на пороге логовища и оборачиваясь к Дику.— Я

добрый старый христианин, не предатель и не жалею своей крови ради друга. Но, безумное дитя, я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. Если бы моя бутылка была пуста и у меня пересохло бы во рту, я ограбил бы вас, дорогое дитя, и это так же верно, как то, что я люблю вас, уважаю вас и восхищаюсь вами! Можно ли сказать яснее? Нет!

И, прищелкнув своими крупными пальцами, он пошел прочь и исчез в кустарнике.

Дику было некогда ломать голову над противоречивой натурой своего товарища. Как только он остался один, он поспешно вытащил свои бумаги, перечел их и закопал. Только одну он захватил с собой, потому что она никак не могла повредить его друзьям, а при случае послужила бы уликой против сэра Дэниэла. Это было собственноручное письмо тэнстоллского рыцаря к лорду Уэнслидэлу, посланное наутро после поражения при Райзингэме и найденное Диком на теле убитого гонца.

Дик затоптал тлеющие угли, вышел из логовища и присоединился к старому бродяге. Тот ждал его под оголенными дубами, слегка уже припорошенный снегом. Они взглянули друг на друга и расхохотались,— маскарад удался на славу.

— Жаль, что сейчас не лето,— проворчал Лоулесс.— А то я заглянул бы в лужу и увидел бы себя в ней, как в зеркале. Многие воины сэра Дэниэла знают меня в лицо. Если нас разоблачат, еще неизвестно, что сделают с вами, а уж я не успею и «Отче наш» прочитать, как буду мотаться на веревке.

Итак, они отправились в Шорби; дорога тянулась то лесом, то полем. По сторонам стояли домики бедняков и маленькие фермы.

Увидев один из таких домиков, Лоулесс внезапно остановился.

— Брат Мартин,— сказал он совершенно измененным, елейным, монашеским голосом.— Давайте зайдем и попросим милостыню у этих бедных грешников. Pax vobiscum! [1]. Э,— прибавил он своим обычным голосом,— вот этого-то я и боялся: я уже разучился гнусавить по-монашески. Разрешите мне, добрый мастер Шелтон, немного поупражняться здесь, перед тем как рискнуть своей жирной шеей в доме

[1] Мир вам! *(лат.)*.

сэра Дэниэла. Видите, как полезно быть мастером на все руки! Не будь я моряком, вы непременно пошли бы ко дну на «Доброй Надежде»; не будь я вором, я не мог бы раскрасить вам лицо; и если бы я не походил в монахах и не привык драть глотку в церковном хоре да объедаться монастырскими харчами, эта ряса не сидела бы на мне так ловко, и первая встречная собака облаяла бы нас, как притворщиков.

Он подошел вплотную к дому, поднялся на носки и заглянул в окно.

— Ну,— сказал он,— превосходно! Здесь мы как следует испытаем наш маскарад и в придачу сыграем веселую шутку с братом Кэппером.

С этими словами он открыл дверь и вошел в дом.

Три разбойника из «Черной стрелы» сидели за столом и с жадностью ели. Кинжалы, воткнутые рядом с ними в стол, и мрачные, угрожающие взгляды, которые они бросали на обитателей дома, говорили о том, что разбойники пируют на положении захватчиков, а не званых гостей. Они с негодованием поглядели на двух монахов, которые с подобающим их сану смирением вошли в кухню. Один из них — сам Джон Кэппер, который, по-видимому, был здесь вожаком,— грубо велел им немедленно убираться.

— Нищие нам не нужны! — крикнул он.

Однако другой оказался мягче, хотя тоже, конечно, не узнал ни Дика, ни Лоулесса.

— Не гони их! — сказал он.— Мы люди сильные и берем сами, что нам надо; а они слабы и просят; но в конце концов они спасутся, а мы погибнем... Не обращайте на него внимания, отец. Подходите, выпейте из моей чарки и благословите меня.

— Вы люди легкомысленные, нечестивые и плотские,— заговорил монах.— Святые не позволяют мне пить с вами. Но из сострадания, которое я питаю к грешникам, я подарю вам одну священную вещь, и ради спасения вашей души я приказываю вам целовать и беречь ее.

Лоулесс грохотал и гремел, как подобает проповедующему монаху. Но при этих словах он вытащил из-под рясы черную стрелу, швырнул ее на стол перед тремя изумленными бродягами, повернулся, схватил Дика за руку, выскочил с ним из комнаты и, прежде чем те успели вымолвить хоть слово или пошевелить пальцем, исчез за пеленой падающего снега.

— Итак,— сказал он,— мы испытали наш грим, мастер Шелтон. Теперь я готов рискнуть собственной тушей где угодно.

— Отлично! — ответил Ричард.— Мне не терпится действовать. Идем в Шорби!

ГЛАВА ВТОРАЯ

«В ДОМЕ ВРАГОВ МОИХ»

У сэра Дэниэла был в Шорби высокий, удобный, оштукатуренный дом с резьбой на дубовых рамах и с покатой соломенной крышей. За домом находился фруктовый сад со множеством аллей и заросших зеленью беседок; сад этот тянулся до колокольни монастырской церкви.

В случае надобности дом мог вместить свиту и более важного лица, чем сэр Дэниэл; но и сейчас в нем было очень шумно. На дворе раздавался звон оружия и стук подков; кухня гудела, как улей; в зале резвились шуты, пели менестрели, играли музыканты. Сэр Дэниэл расточительностью, веселостью и любезностью соперничал с лордом Шорби и затмевал лорда Райзингэма.

Гостей принимали радушно. А менестрелей, шутов, игроков в шахматы, продавцов реликвий, снадобий, духов и талисманов, вместе со всевозможными священниками, монахами, странниками, усаживали за стол для слуг и укладывали спать на просторных чердаках или на голых досках в длинной столовой.

На следующий день после крушения «Доброй Надежды» кладовые, кухни, конюшни и даже сараи, окружавшие двор с двух сторон, были набиты праздным людом. Тут находились и слуги сэра Дэниэла в сине-красных ливреях и разные проходимцы, привлеченные в город алчностью, которых рыцарь принимал отчасти из политических соображений, отчасти просто потому, что принимать подобных людей в те времена было в обычае.

Все они были загнаны под крышу снегом, который падал не переставая, морозом и приближением ночи. Вина, эля и денег было сколько угодно. Одни, растянувшись на соломе в амбаре, играли в карты, другие еще с обеда были пьяны. Нам, пожалуй, показалось бы, что город только

что подвергся разгрому; но в те времена во всех богатых и благородных домах на праздниках происходило то же самое.

Два монаха — старый и молодой — пришли поздно и теперь грелись у огня в углу сарая. Пестрая толпа окружала их — фокусники, скоморохи, солдаты. Вскоре старший из монахов вступил с ними в оживленный разговор, в котором было столько шуток и народного остроумия, что толпа вокруг быстро увеличилась.

Младший его спутник, в котором читатель уже узнал Дика Шелтона, сел сзади всех и постепенно отодвигался все дальше. Он слушал внимательно, но не открывал рта; по угрюмому выражению его лица видно было, что его мало занимали шутки товарища.

Наконец его взор, постоянно блуждавший по сторонам и следивший за всеми дверьми, упал на маленькую процессию, вошедшую в главные ворота и наискось пересекавшую двор. Две дамы, закутанные в густые меха, шли в сопровождении двух служанок и четырех сильных воинов. Через мгновение они вошли в дом и исчезли. Дик, проскользнув сквозь толпу гуляк, бросился вслед за ними.

«Та, которая выше ростом, леди Брэкли,— подумал он,— а где леди Брэкли, там и Джоанна».

У дверей четыре воина остановились; дамы поднимались по лестнице из полированного дуба, охраняемые только двумя служанками. Дик пошел за ними по пятам. Смеркалось, и в доме было уже почти совсем темно. На площадках лестницы сверкали факелы в железных оправах; у каждой двери длинного коридора, обитого гобеленами, горела лампа. И, если дверь была открыта, Дик видел стены, увешанные гобеленами, и пол, устланный тростником, поблескивающим при свете пылающих дров.

Так прошли они два этажа, и на каждой площадке дама, что была поменьше ростом и помоложе, оборачивалась и зорко вглядывалась в монаха. А он шел, опустив глаза, со скромностью, подобающей его званию; он только однажды взглянул на нее и не знал, что привлек к себе ее внимание. Наконец на третьем этаже дамы расстались,— младшая отправилась наверх одна, а старшая, в сопровождении служанок, пошла по коридору направо.

Дик быстро достиг площадки третьего этажа и стал из-за угла смотреть, куда дальше направятся эти трое. Не обо-

рачиваясь и не оглядываясь, они шли по коридору. «Все хорошо,— подумал Дик.— Только бы узнать, где комната леди Брэкли, и тогда я без труда разыщу госпожу Хэтч».

Чья-то рука легла ему на плечо. Он подпрыгнул, слегка вскрикнул и обернулся, чтобы схватиться с врагом.

Он был несколько смущен, когда обнаружил, что самым бесцеремонным образом обхватил руками маленькую юную леди в мехах. Испуганная и возмущенная, она трепетала всем своим тоненьким тельцем в его руках.

— Сударыня,— сказал Дик, опуская руки,— умоляю вас простить меня. Но позади у меня нет глаз, и, клянусь небом, я не знал, что вы девушка.

Девушка продолжала смотреть на него, но понемногу ужас у нее на лице сменился удивлением, а удивление — недоверчивостью. Дик, читавший у нее на лице все эти чувства, стал тревожиться за свою безопасность здесь, во враждебном ему доме.

— Прекрасная девушка,— сказал он с притворной непринужденностью,— позвольте мне поцеловать вашу руку в знак того, что вы забудете мою грубость, и я уйду.

— Вы какой-то странный монах, сударь,— смело и проницательно глядя ему в лицо, ответила девушка.— Теперь, когда первое мое удивление отчасти прошло, я вижу по каждому вашему слову, что вы вовсе не монах. Зачем вы здесь? Зачем вы так кощунственно перерядились в священную рясу? С миром вы пришли или с войной? И почему вы, словно вор, следите за леди Брэкли?

— Сударыня,— сказал Дик,— в одном я прошу вас мне поверить: я не вор. И если даже я пришел сюда не с миром,— что до некоторой степени верно,— я не воюю с прекрасными девушками, а потому умоляю вас последовать моему примеру и отпустить меня. Ибо, прекрасная госпожа, если вам вздумается поднять голос и поведать о том, что вам сделалось известно,— бедный джентльмен, стоящий перед вами, конченый человек. Я не хочу думать, что вы будете такой жестокой,— продолжал Дик и, нежно держа руку девушки обеими руками, взглянул ей в лицо с учтивым восхищением.

— Так вы шпион из партии Йорка? — спросила девушка.

— Сударыня,— ответил он,— я действительно йоркист и в некотором роде шпион. Но причина, которая привела

меня в этот дом и которая, безусловно, возбудит сострадание и любопытство в вашем добром сердце, не имеет отношения ни к Йорку, ни к Ланкастеру. Я целиком отдаю свою жизнь в ваше распоряжение. Я влюбленный, и мое имя...

Но тут юная леди внезапно зажала своей рукой рот Дику, поспешно посмотрела вверх и вниз, на запад и на восток и, увидев, что вблизи нет ни души, с силой потащила молодого человека вверх по лестнице.

— Шш! — сказала она.— Идемте! Разговаривать будем потом!

Растерявшись от неожиданности, Дик позволил втащить себя по лестнице. Они быстро пробежали по коридору, и внезапно его втолкнули в комнату, освещенную, как и остальные, пылающим камином.

— А теперь,— сказала молодая леди, усадив его на стул,— сидите здесь и ожидайте моей высочайшей воли. Ваша жизнь и ваша смерть в моих руках, и я не колеблясь воспользуюсь своей властью. Берегитесь, вы чуть не вывихнули мне руку! Он говорит, будто не знал, что я девушка! Если бы он знал, что я девушка, он, верно, взялся бы за ремень!

С этими словами она выскользнула из комнаты, оставив Дика с открытым от изумления ртом; ему казалось, что он спит и что ему снится сон.

— «Взялся бы за ремень!» — повторял он.— «Взялся бы за ремень!»

И воспоминание о том вечере в лесу возникло в его сознании, и он снова увидел трепетавшего Мэтчема, его молящие глаза.

Но он тут же вспомнил об опасностях, которые грозили ему в настоящем. Ему показалось, что в соседней комнате кто-то движется; потом где-то очень близко раздался вздох; послышался шорох платья и легкий шум шагов. Он стоял, насторожившись, и увидел, как колыхнулись гобелены, затем где-то скрипнула дверь, гобелены раздвинулись, и с лампой в руке в комнату вошла Джоанна Сэдли.

Она была одета в роскошные ткани глубоких, мягких тонов, как и подобало одеваться дамам в зимнее снежное время. Волосы у нее были зачесаны вверх и лежали на голове, словно корона. Казавшаяся такой маленькой и неловкой в одежде Мэтчема, она была теперь стройна, как молодая ива, и не шла, а словно плыла по полу.

Не вздрогнув, не затрепетав, она подняла лампу и взглянула на молодого монаха.

— Что вы здесь делаете, добрый брат? — спросила она.— Вы, без сомнения, не туда попали. Кого вам нужно?

И она поставила лампу на подставку.

— Джоанна...— сказал он, и голос изменил ему.— Джоанна,— снова начал он,— ты говорила, что любишь меня. И я, безумец, поверил этому!

— Дик! — воскликнула она.— Дик!

И, к удивлению Дика, прекрасная, высокая молодая леди шагнула вперед, обвила его шею руками и осыпала его поцелуями.

— О безумец! — воскликнула она.— О дорогой Дик! О, если бы ты мог видеть себя! Ах, что я наделала, Дик,— прибавила она, отстраняясь: — я стерла с тебя краску! Но это можно поправить. Но вот чего, боюсь я, нельзя избежать, нельзя поправить: моего замужества с лордом Шорби.

— Это уже решено? — спросил молодой человек.

— Завтра утром, в монастырской церкви, Дик,— ответила она,— будет покончено и с Джоном Мэтчемом и с Джоанной Сэдли. Если бы можно было помочь слезами, я выплакала бы себе глаза. Я молилась, не переставая, но небо глухо к моим мольбам. Добрый Дик, дорогой Дик, так как ты не можешь меня вывести из этого дома до утра, мы должны поцеловаться и сказать друг другу: прощай!

— Ну нет,— сказал Дик.— Только не я; я никогда не скажу этого слова. Положение наше кажется безнадежным, но пока есть жизнь, Джоанна, есть и надежда. Я хочу надеяться. О, клянусь небом и победой! Когда ты была для меня только именем, разве я не пошел за тобой, разве я не поднял добрых людей, разве я не поставил свою жизнь на карту? А теперь, когда я увидел тебя такой, какая ты есть,— прекраснейшей, благороднейшей девушкой в Англии,— ты думаешь, я поверну назад? Если бы здесь было глубокое море, я прошел бы по волнам. Если бы дорога кишела львами, я разбросал бы их, как мышей!

— Не слишком ли много шума из-за голубого шелкового платья! —насмешливо произнесла девушка.

— Нет, Джоанна,— возразил Дик,— не из-за одного платья. Ведь тебя я уже видел ряженой. А теперь я сам

ряженый. Скажи откровенно, я не смешон? Не правда ли, дурацкий наряд?

— Ах, Дик, что правда, то правда,— улыбаясь ответила она.

— Вот видишь,— торжествующе сказал он.— Так в лесу было с тобой, бедный Мэтчем. По правде сказать, у тебя был смешной вид! Зато теперь ты красавица!

Так беседовали они, не замечая времени, держа друг друга за руки, обмениваясь улыбками и влюбленными взглядами; так могли бы они провести всю ночь. Но внезапно послышался шорох, и они увидели маленькую леди. Она приложила палец к губам.

— О боже,— воскликнула она,— как вы шумите! Не можете ли вы быть посдержаннее? А теперь, Джоанна, моя прекрасная лесная девушка, как ты вознаградишь свою подругу за то, что она привела твоего милого?

Вместо ответа Джоанна подбежала к ней и пылко ее обняла.

— А вы, сэр,— продолжала юная леди,— как вы меня поблагодарите?

— Сударыня,— сказал Дик,— я охотно заплатил бы вам той же монетой.

— Ну, подходите,— сказала леди,— вам это разрешается.

Но Дик, покраснев, как пион, поцеловал ей только руку.

— Чем вам не нравится мое лицо, красавец? — спросила она, приседая до самого пола.

Когда Дик, наконец, осторожно обнял ее, она прибавила:

— Джоанна, в твоем присутствии твой милый очень робок. Уверяю тебя, он был гораздо проворнее при нашей первой встрече. Знаешь, подружка, я вся в синяках. Можешь мне больше никогда не верить, если это не так! А теперь,— продолжала она,— наговорились ли вы? Ибо я скоро должна удалить паладина.

Но оба влюбленных заявили, что они еще ничего не сказали друг другу, что ночь только началась и что так рано они не хотят расставаться.

— А ужин? — спросила юная леди.— Разве мы не должны спуститься к ужину?

— О да, конечно! — вскричала Джоанна.— Я забыла!

— Тогда спрячьте меня,— сказал Дик.— Поставьте за занавеску, заприте в ящик, суньте куда хотите, лишь бы

мне можно было вас здесь дождаться. Помните, прекрасная леди,— прибавил он,— что мы в отчаянном положении и, быть может, с сегодняшней ночи до самой смерти никогда не увидим друг друга.

Юная леди смягчилась. И когда, несколько позже, колокол принялся сзывать к столу домочадцев сэра Дэниэла, Дика спрятали у стены, за ковром; он дышал через щель между коврами, в которую он также мог обозревать всю комнату.

Но недолго пробыл он в этом положении.

Здесь, на верхнем этаже, царила тишина, лишь изредка нарушаемая шипением огня да потрескиванием сырых дров в камине; но сейчас до напряженного слуха Дика долетел звук осторожно крадущихся шагов. Затем дверь открылась, и черномазый карлик, в одежде цветов лорда Шорби, просунул в комнату сперва голову, а потом свое искривленное тело. Он открыл рот, казалось, для того, чтобы лучше слышать, глаза его, очень блестящие, быстро и беспокойно бегали по сторонам. Он обошел всю комнату, постукивая по коврам, закрывавшим стены. Однако Дик каким-то чудом избегнул его внимания. Потом карлик заглянул под мебель и осмотрел лампу; и, наконец, видимо, глубоко разочарованный, собирался уже выйти так же тихо, как и вошел; но вдруг, опустившись на колени, поднял что-то с полу, рассмотрел и радостно спрятал в сумку на поясе.

Сердце Дика упало, ибо то была кисть от его собственного пояса. Ему было ясно, что этот карлик — шпион, выполняющий свои гнусные обязанности с упоением,— не теряя времени, отнесет находку своему хозяину, лорду Шорби. У него было искушение отодвинуть ковер, напасть на негодяя и, рискуя жизнью, отобрать у него кисточку. Покуда он колебался, возникла новая тревога. На лестнице раздался грубый, пропитой голос и по коридору загремели неровные, тяжелые шаги.

— Зачем же вы живете в тени густых лесов? — пропел этот голос.— Зачем же вы живете? Эй, ребята, зачем же вы здесь живете? — прибавил он с пьяным хохотом.

И запел опять:

Вижу, в пиво ты влюблен,
Мой толстяк, игумен Джон.
Ты за пиво, я за снедь,
Кто же в церкви будет петь?

Лоулесс — увы, мертвецки пьяный — бродил по дому, отыскивая уголок, где бы проспаться после попойки. Дик внутренне кипел от ярости. Шпион сначала испугался, но сразу успокоился, поняв, что имеет дело с пьяным; с быстротою кошки он выскользнул из комнаты, и Дик больше его не видел.

Что было делать? Без Лоулесса Дику не удастся ни разработать план похищения Джоанны, ни этот план осуществить. С другой стороны, шпион, быть может, спрятался где-нибудь поблизости, и в таком случае, если Дик заговорит с Лоулессом, последствия будут самые роковые.

Тем не менее Дик все же решился заговорить с Лоулессом. Выскользнув из-за ковра, он остановился в дверях и угрожающе поднял руку. Лоулесс, багровый, с налитыми кровью глазами, шатаясь, подходил все ближе. Наконец, он смутно разглядел своего начальника и, невзирая на повелительные знаки Дика, громко приветствовал его по имени.

Дик набросился на пьяницу и стал его яростно трясти.

— Скотина! — прошипел он.— Скотина, а не человек! Дурак хуже изменника! Твое пьянство погубит нас!

Но Лоулесс только смеялся и, пошатываясь, старался похлопать молодого Шелтона по спине.

И вдруг тонкий слух Дика уловил быстрое шуршание за коврами. Он бросился на звук. Через мгновение один из ковров полетел со стены, и в складках его барахтались Дик и шпион. Они катались, путаясь в ковре, хватая друг друга за горло, безмолвные в своей смертельной ярости. Но Дик был гораздо сильнее; и скоро шпион уже лежал, придавленный коленом Дика. Взмахнув длинным кинжалом, Дик убил его.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕРТВЫЙ ШПИОН

Лоулесс беспомощно следил за этой яростной короткой схваткой; даже когда все было кончено и Дик, поднявшись на ноги, с напряженным вниманием прислушивался к отдаленному шуму в нижнем этаже дома, старый бродяга еще качался на ногах, словно куст на ветру, и тупо смотрел в лицо мертвого шпиона.

— Хорошо, что нас никто не слышал,— сказал наконец Дик.— Хвала святым! Но что я теперь буду делать с этим несчастным шпионом? Во всяком случае, я вытащу из его сумки кисть от моего пояса.

С этими словами Дик открыл сумку; он нашел в ней несколько монет, свою кисть, а также письмо, адресованное лорду Уэнслидэлу и запечатанное печатью лорда Шорби. Это имя напоминало Дику о многом; он сейчас же сломал сургуч и прочел письмо. Оно было коротко, но, к радости Дика, неопровержимо доказывало, что лорд Шорби изменнически переписывался с домом Йорков.

Молодой человек всегда носил при себе рог с чернилами и прочие письменные принадлежности; опустившись на колено рядом с телом мертвого шпиона, он написал на клочке бумаги следующие слова:

«Милорд Шорби, знаете ли вы, написавший письмо, почему умер ваш слуга? Позвольте дать вам совет: не женитесь.

Джон Мшу-за-всех».

Он положил эту бумажку на грудь мертвеца. И Лоулесс, следивший за Диком уже с некоторыми проблесками сознания, вытащил из-под своей рясы черную стрелу и приколол ею бумагу к груди мертвеца. Увидев такое неуважение и даже, как ему показалось, жестокость к мертвецу, молодой Шелтон испуганно вскрикнул; но старый бродяга только засмеялся.

— Я желаю поддержать честь своего ордена,— сказал он, икая.— Моим веселым приятелям это будет лестно...

Закрыв глаза и открыв рот, он загремел страшным голосом:

Вижу, в пиво ты влюблен...

— Молчи, болван! — крикнул Дик и с силой пихнул его к стене.— В тебе вина больше, чем разума, но постарайся понять меня! Именем девы Марии заклинаю тебя: убирайся из этого дома. Если ты здесь останешься, ты доведешь до виселицы и себя и меня! Держись же на ногах! Поворачивайся, а не то, клянусь небом, я могу позабыть и то, что я твой начальник, и то, что я твой должник! Ступай!

Разум стал понемногу возвращаться к мнимому монаху, и, видя сверкающие глаза Дика, он начал мало-помалу понимать его.

— Клянусь небом,— вскричал Лоулесс,—если я не нужен, я могу уйти!

Шатаясь, он повернулся, прошел коридор и стал спускаться по лестнице, спотыкаясь и натыкаясь на стены.

Едва он скрылся из виду, Дик вернулся в свое убежище, твердо решив довести дело до конца. Разум советовал ему уйти, но любовь и любопытство пересилили.

Медленно тянулось время для молодого человека, прижавшегося к стене за ковром. Огонь в камине потухал, лампа догорала и начала коптить. Между тем никто не приходил, и отдаленный гул голосов и звон посуды, доносившийся снизу, все не прекращался. А за пеленой падающего снега лежал безмолвный город Шорби.

Но вот наконец на лестнице раздались голоса, загремели шаги. Гости сэра Дэниэла поднялись на площадку, двинулись по коридору, увидели сорванный со стены ковер и труп шпиона.

Все заметались, поднялся переполох, все кричали.

Со всех сторон сбежались гости, воины, дамы, слуги — словом, все обитатели большого дома; крику прибавилось. Затем толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниэл в сопровождении жениха, лорда Шорби.

— Милорд,— сказал сэр Дэниэл,— не говорил ли я вам об этой подлой «Черной стреле»? Вот вам черная стрела. Возьмите ее, пусть она вам докажет правдивость моих слов! Клянусь распятием, куманек, она воткнута в грудь одного из ваших людей, во всяком случае, он носит вашу ливрею!

— Это был мой человек,— ответил лорд Шорби и попятился.— Хотел бы я иметь побольше таких людей. У него был нюх, как у гончей, и он был скрытен, как крот.

— Правда, кум?— насмешливо спросил сэр Дэниэл.— А что он вынюхивал в моем бедном жилище? Ну, больше уж ему не придется нюхать.

— С вашего позволения, сэр Дэниэл,— сказал один из слуг,— к его груди приколота бумага, на которой что-то написано.

— Дайте мне бумагу и стрелу,— сказал рыцарь.

Взяв стрелу в руки, он угрюмо и задумчиво рассматривал ее.

— Да,— сказал он, обращаясь к лорду Шорби,— вот ненависть, которая преследует меня по пятам. Эта черная палочка или другая, похожая на нее, когда-нибудь прикончит меня. Позвольте неученому рыцарю предостеречь вас, кум: если эти псы начнут вас преследовать,— бегите! Они

прилипчивы, как заразная болезнь! Посмотрим, что они написали, однако... Да, то самое, что я и думал, милорд; вы отмечены, словно старый дуб лесничим; завтра или послезавтра на вас обрушится топор. А что вы написали в своем письме?

Лорд Шорби снял бумагу со стрелы, прочел ее и скомкал; подавив отвращение, он опустился на колени перед убитым и стал поспешно рыться в его сумке.

Потом поднялся с расстроенным лицом.

— Кум,— сказал он,— у меня действительно пропало очень важное письмо. Если бы я мог схватить негодяя, который похитил это письмо, он немедленно украсил бы виселицу. Но прежде всего нужно загородить все выходы из дома. Клянусь святым Георгием, с меня хватит бед!

Вокруг дома и сада расставили караулы; на каждой площадке лестницы стоял часовой, целый отряд воинов дежурил у главного входа; другой отряд сидел вокруг костра в сарае. Воины лорда Шорби присоединились к воинам сэра Дэниэла. Людей и оружия было вполне достаточно и для защиты дома и для того, чтобы поймать врага, если он еще укрывался в доме. А труп шпиона пронесли под падающим снегом через сад и положили в монастырской церкви.

И только, когда все смолкло, девушки вытащили Ричарда Шелтона из его тайника и рассказали ему о том, что происходит в доме. Со своей стороны, Дик рассказал им о том, как шпион прокрался в комнату, как обнаружил его и как был убит.

Джоанна в изнеможении прислонилась к завешанной коврами стене.

— От всего этого ничего не изменится,—сказала она.— Завтра утром меня все равно обвенчают!

— Как? — вскричала ее подруга.— Ведь здесь наш паладин, который разгоняет львов, как мышей! У тебя, видно, мало веры в него! Ну, укротитель львов, утешьте нас. Дайте нам услышать отважный совет.

Дик смутился, когда ему дерзко кинули в лицо его собственные хвастливые слова; он покраснел, но все же заговорил.

— Мы в трудном положении,— сказал он.—Однако, если бы мне удалось выбраться из этого дома хотя бы на полчаса, все было бы отлично. Венчание было бы предотвращено...

— А львы,— передразнила девушка,— разогнаны.

— Я сейчас не склонен хвастать,— сказал Дик.— Я прошу помощи и совета. Если я не пройду мимо часовых и не выйду из этого дома, мне ничего не удастся сделать. Прошу вас, поймите меня правильно!

— Отчего ты говорила, что он неотесан, Джоанна? — спросила девушка.— Язык у него хорошо подвешен. Когда нужно, его речь находчива, когда нужно — нежна, когда нужно — отважна. Чего тебе еще?

— Моего друга Дика подменили,— с улыбкой вздохнула Джоанна,— это совершенно ясно. Когда я познакомилась с ним, он был грубоват. Но все это пустяки... Никто не поможет моей беде, и я стану леди Шорби.

— А все-таки,— сказал Дик,— я попытаюсь выйти из дома. На монаха мало обращают внимания, и если я нашел добрую волшебницу, которая привела меня наверх, я могу найти и такую, которая сведет меня вниз. Как звали этого шпиона?

— Пройдоха,— сказала юная леди.— Вполне подходящее прозвище! Но что вы собираетесь делать, укротитель львов? Что вы задумали?

— Я попытаюсь пройти мимо часовых,— ответил Дик.— И если кто-нибудь остановит меня, я спокойно скажу, что иду молиться за Пройдоху. В церкви уже, вероятно, молятся о его бедной душе.

— Выдумка несколько простовата,— сказала девушка,— но может сойти.

— Тут дело не в выдумке, а в дерзости,— возразил молодой Шелтон.— В трудную минуту дерзость лучше всяких ухищрений.

— Вы правы,— сказала она.— Хорошо, ступайте, и да хранит вас небо! Вы оставляете здесь несчастную девушку, которая любит вас, а также другую, которая питает к вам самую нежную дружбу. Помня о нас, будьте осторожны и не подвергайте себя опасности.

— Иди, Дик,— сказала Джоанна.— Уходя, ты подвергаешь себя не большей опасности, чем оставаясь здесь. Иди, ты уносишь с собой мое сердце. Да хранят тебя святые!

Дик прошел мимо первого часового с таким уверенным видом, что тот только изумленно взглянул на него. Но на второй площадке воин преградил ему путь копьем, спросил, как его зовут и зачем он идет.

— Pax vobiscum,— ответил Дик.— Я иду помолиться за душу бедного Пройдохи.

— Охотно верю,— ответил часовой,— но идти одному не разрешается.

Он перегнулся через дубовые перила и пронзительно свистнул.

— К вам идет человек! — крикнул он и позволил Дику пройти.

В конце лестницы стояла стража, ожидавшая его прихода. И когда часовой еще раз повторил свои слова, начальник стражи приказал четырем воинам проводить его до церкви.

— Не давайте ему ускользнуть, молодцы,— сказал он.— Отведите его к сэру Оливеру, если вам жизнь дорога!

Открыли дверь. Двое воинов взяли Дика под руки, третий пошел впереди с факелом, а четвертый, держа наготове лук и стрелу, замыкал шествие. В таком порядке они проследовали через сад, сквозь плотную ночную тьму и падающий снег и подошли к слабо освещенным окнам монастырской церкви.

У западного портала стоял пикет запорошенных снегом стрелков, которые прятались от ветра под аркой. Проводники Дика сказали им несколько слов, и только тогда их пропустили в святилище.

Церковь была слабо освещена восковыми свечами, горевшими в алтаре, и двумя-тремя лампами, висевшими на сводчатом потолке перед усыпальницами знатных семей. Посреди церкви, в гробу, лежал мертвый шпион с набожно сложенными руками.

Под сводами раздавалось торопливое бормотание молящихся; на клиросе стояли коленопреклоненные фигуры в рясах, а на ступенях высокого алтаря священник в облачении служил обедню.

При виде новоприбывших один из одетых в рясу мужчин поднялся на ноги и, сойдя с клироса, спросил шедшего впереди воина, что привело их в церковь. Из уважения к службе и покойнику они разговаривали вполголоса; но эхо громадного пустого здания подхватывало их слова и глухо повторяло в боковых приделах.

— Монах! — сказал сэр Оливер (ибо это был он), выслушав донесение стрелка.— Брат мой, я не ожидал вашего прихода,— продолжал он, поворачиваясь к молодому Шел-

тону.— Кто вы? И по чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?

Дик, не снимая капюшона с лица, сделал сэру Оливеру знак отойти немного в сторону от стрелков. И как только священник отошел, Дик сказал:

— Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь в ваших руках.

Сэр Оливер вздрогнул, его толстые щеки побледнели; он долго молчал.

— Ричард,— сказал он наконец,— я не знаю, что привело тебя сюда; наверно, что-нибудь дурное. Но во имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной; ты просидишь со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчан; если все вернутся домой невредимыми, если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь куда захочешь. Но если ты пришел сюда ради крови, кровь эта падет на твою голову. Аминь!

Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю.

Он сказал несколько слов солдатам, взял Дика за руку, провел его на клирос и посадил рядом с собой на скамью. Молодой человек приличия ради сейчас же опустился на колени и, казалось, погрузился в молитву.

Но мысли его и глаза блуждали по сторонам. Он заметил, что трое воинов, вместо того чтобы вернуться домой, спокойно уселись в боковом притворе; и он не сомневался, что они остались здесь по приказанию сэра Оливера. Итак, он в западне. Эту ночь он проведет в церкви, среди мерцающих огоньков и призрачных теней, глядя на бледное лицо убитого им человека; а утром его возлюбленную у него на глазах обвенчают с другим.

Но, несмотря на грустные мысли, он овладел собой и терпеливо ждал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В МОНАСТЫРСКОЙ ЦЕРКВИ

В монастырской церкви города Шорби служба шла, не прекращаясь, всю ночь, то под пение псалмов, то под звон колокола.

За шпиона Пройдоху молились усердно. Он лежал так, как его положили: мертвые руки, скрещенные на груди, мертвые глаза, устремленные в потолок. А рядом, на скамье, юноша, убивший его, ожидал в сильнейшей тревоге наступления утра.

Только однажды в продолжение этих часов сэр Оливер обернулся к своему пленнику.

— Ричард,— прошептал он,— сын мой, если ты задумал сделать мне зло, я хочу уверить тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я сам признаю себя грешным перед лицом небес; но перед тобой я безгрешен.

— Отец мой,— так же тихо ответил Дик,— верьте мне, я ничего против вас не замышляю; однако я не могу забыть, как неловко вы оправдывались.

— Человек может совершить преступление неумышленно,— ответил священник.— Человек может быть ослеплен, может выполнять чужую волю. не ведая, что творит. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню. Но я не ведал, что творил, и да будет мне свидетелем бог, который видит нас с тобой в этом священном месте.

— Весьма возможно,— ответил Дик.— Однако посмотрите, какую страшную паутину вы сплели; я одновременно и пленник ваш и судья. Вы одновременно и угрожаете мне смертью и стараетесь умилостивить меня. Мне кажется, если бы вы всегда были честным человеком и добрым священником, вам не пришлось бы ни бояться меня, ни ненавидеть. А посему вернитесь к своим молитвам. Я повинуюсь вам, так как мне ничего другого не остается; но я не желаю обременять себя вашим обществом.

Священник опустил голову на руки, точно склоняясь под бременем горя, и вздохнул так тяжело, что чуть было не пробудил в сердце юноши чувство, похожее на сострадание. Сэр Оливер больше не пел псалмов. Дик слышал лишь, как стучали четки в его руках и как он сквозь зубы бормотал молитвы.

Еще немного, и серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна церкви; мерцающие огоньки свеч побледнели. Свет понемногу становился все ярче, и вдруг сквозь окна на юго-восточной стороне церкви прорвались розовые солнечные лучи и заиграли на стенах. Буря кончилась; снежные тучи ушли, и новый зимний день весело озарил покрытую снегом землю.

Церковнослужители засуетились; гроб отнесли в покой-

ницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачили зловещим своим видом свадьбы лорда Шорби. Лица духовных особ, такие скорбные ночью, стали веселее, чтобы не испортить предстоявшую радостную церемонию. Возвещая приближение дня, в церкви появились набожные прихожане. Они падали ниц перед алтарем и дожидались своей очереди исповедоваться.

Началась суета, во время которой нетрудно было обмануть бдительность часовых сэра Дэниэла, стоявших у дверей. Обводя церковь усталым взором, Дик остановил его на монахе, который оказался не кем иным, как Уиллом Лоулессом.

Бродяга тоже узнал своего начальника и украдкой подмигнул ему.

Дик вовсе не собирался прощать старому плуту несвоевременное пьянство, однако не хотел впутывать его в свою беду и дал ему понять, как мог яснее, чтобы он убирался.

Лоулесс, казалось, понял его, так как сразу исчез за колонной; Дик облегченно вздохнул.

Каков же был его ужас, когда он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, и увидел рядом с собой старого разбойника, погруженного в молитву.

Внезапно сэр Оливер встал со своего места и, проскользнув мимо скамеек, подошел к воинам, стоявшим в боковом приделе. Если так легко было возбудить подозрения священника, значит, уже поздно, и Лоулесс такой же пленник, как и Дик.

— Не шевелись,— прошептал Дик.— Мы в отчаянном положении, и все из-за твоего вчерашнего свинства. Неужели, увидев меня здесь, где я не имею ни права, ни охоты находиться, ты — чтоб тебе издохнуть! — не мог почуять недоброе и убраться?

— Нет,— ответил Лоулесс,— я думал, вы получили вести от Эллиса и сидите здесь по его поручению.

— От Эллиса? — спросил Дик.— Разве Эллис вернулся?

— Конечно,— ответил бродяга.— Он вернулся прошлой ночью и жестоко отколотил меня за то, что я был пьян. Итак, вы отомщены, мастер Шелтон! Бешеный человек этот Эллис Дэкуорт! Он прискакал сюда из Кравена, чтобы расстроить свадьбу, а уж если он что задумал, то добьется своего.

— Что касается нас с тобою, брат,— хладнокровно сказал Дик,— мы оба — люди конченые. Я сижу здесь в качестве заложника и должен отвечать головой за ту самую свадьбу, которую он собирается расстроить. Клянусь распятием, у меня прекрасный выбор — потерять возлюбленную или жизнь! Ладно, жребий брошен, пусть пропадает жизнь!

— Клянусь небом!— воскликнул Лоулесс, приподнимаясь.— Я ухожу!

Но Дик положил руку ему на плечо.

— Друг Лоулесс, сиди смирно,— сказал он.— У тебя есть глаза, взгляни-ка вон туда в угол, за алтарь. Разве ты не видишь, что при малейшей твоей попытке подняться вон те вооруженные люди встанут и схватят тебя? Покорись, друг. Ты был храбр на корабле, когда думал, что утонешь в море; будь храбр и теперь, когда придется умирать на виселице.

— Мастер Дик,— задыхаясь, сказал Лоулесс,— уж очень неожиданно все это обрушилось на меня. Дайте мне минутку передохнуть, и, клянусь обедней, я буду таким же храбрецом, как вы.

— Я в храбрости твоей не сомневаюсь! — сказал Дик.— Если бы ты знал, как мне не хочется умирать, Лоулесс! Но раз слезами горю не поможешь, стоит ли плакать?

— Вы правы! — согласился Лоулесс.— Э, что тревожиться из-за смерти! Она все равно придет, начальник, рано или поздно! А смерть на виселице, говорят, легкая смерть, хотя ни один повешенный еще не вернулся с того света, чтобы подтвердить это!

Кончив свою речь, отважный плут откинулся на спинку скамьи, скрестил руки и принялся поглядывать вокруг с самым наглым и беспечным видом.

— Сейчас надо вести себя смирно,— сказал Дик.— Мы ведь не знаем, что задумал Дэкуорт. Если дело обернется плохо, мы все-таки попытаемся убраться отсюда.

Умолкнув, они услышали отдаленные звуки веселой музыки, которая, приближаясь, становилась все громче и веселей. Колокола на колокольне гудели оглушительно, церковь наполнилась людьми, которые стряхивали с себя снег, похлопывали руками и дули на окоченевшие пальцы. Западная дверь широко распахнулась, и за ней стала видна часть залитой солнцем заснеженной улицы. Утрен-

ний холод ворвался в церковь. Все это свидетельствовало о том, что лорд Шорби хочет венчаться как можно раньше и что свадебная процессия приближается.

Воины лорда Шорби уже расчищали проход в среднем приделе, оттесняя народ копьями. Затем показались музыканты. Флейтисты и трубачи побагровели от натуги, а барабанщики и цимбалисты колотили так, точно старались заглушить друг друга.

Подойдя к дверям храма, они остановились и построились в два ряда, отбивая такт ногами по мерзлому снегу. Пышный свадебный кортеж прошел между рядами; наряды были так разнообразны и ярки, столько было выставлено напоказ шелка и бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев, что процессия эта сверкала на снегу, словно клумба цветов или расписное окно в стене.

Впереди шла невеста, печальная, бледная, как снег. Она опиралась на руку сэра Дэниэла; ее сопровождала подружка, маленькая леди, с которой Дик познакомился прошлой ночью. Следом за невестой шел в сверкающей одежде сам жених, приволакивая подагрическую ногу. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовела от волнения его лысина.

И вот наступил час Эллиса Дэкуорта.

Оглушенный, раздираемый противоречивыми чувствами, Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи. Вдруг он заметил движение в толпе. Люди подались назад, глядя вверх и воздевая руки. Подняв голову, Дик увидел трех человек, которые, натянув луки, склонились с хоров. Взлетели стрелы, и прежде чем толпа успела вскрикнуть, неведомые стрелки, как птицы, вспорхнули со своих жердочек и исчезли.

В церкви поднялся невообразимый переполох; священнослужители в ужасе повскакали со своих мест; музыка смолкла; колокола звонили еще несколько мгновений, но слух о беде скоро долетел даже до колокольни, и звонари, раскачивавшиеся на веревках, тоже прекратили свою веселую работу.

Прямо посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Невеста упала в обморок. Возвышаясь над толпой, стоял разъяренный и застигнутый врасплох сэр Дэниэл; длинная стрела, трепеща, торчала из его левого предплечья; другая задела его темя, и по лицу струилась кровь.

Задолго до того, как начались поиски, виновники этого трагического происшествия прогремели по винтовой лестнице и скрылись через боковую дверь.

Несмотря на то, что Дик и Лоулесс были заложниками, они вскочили при первой тревоге и отважно пытались пробиться к дверям. Но им помешали тесно сдвинутые скамейки и столпившиеся в испуге священники. Они стоически возвратились на свои места.

Внезапно сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся на ноги и, указывая рукой на Дика, подозвал сэра Дэниэла.

— Вот Ричард Шелтон! — крикнул он.— О горький час! Он виновен в пролитой крови! Хватайте его! Прикажите его схватить! Ради спасения нас всех хватайте его и крепко свяжите. Он поклялся нас погубить!

— Где он? — проревел сэр Дэниэл, ослепленный гневом и горячей кровью, что струилась по его лицу.— Тащите его сюда! Клянусь крестом Холивуда, он раскается в своем преступлении!

Толпа расступилась, и стрелки хлынули на клирос. Дика схватили, стащили со скамьи и поволокли за плечи по ступеням алтаря. Лоулесс сидел тихо, как мышь.

Сэр Дэниэл, отирая кровь и мигая, смотрел на своего пленника.

— А,— сказал он,— попался, дерзкий изменник! Клянусь самыми страшными клятвами, за каждую каплю крови, которая сейчас стекает мне в глаза, ты заплатишь стоном! Ведите его прочь! — продолжал он.— Здесь ему не место! Тащите его в мой дом! Я измучу пыткой каждый вершок его тела.

Но Дик, оттолкнув стражников, возвысил голос.

— Я в храме,— воскликнул он.— В священном храме! Сюда, отцы мои! Меня хотят вытащить из храма...

— Из храма, который ты осквернил убийством, мальчик,— перебил какой-то человек высокого роста, одетый в пышное платье.

— Где доказательства? — вскричал Дик.— Меня обвиняют в преступлении и не приводят ни одного доказательства. Да, я домогался руки этой девушки! И она, беру на себя смелость заявить об этом, благосклонно относилась к моим домогательствам. Ну и что ж? Любить девушку не преступление; добиваться ее любви — тоже не преступление. Ни в чем больше я не виновен.

Дик так отважно настаивал на своей невиновности, что кругом раздался одобрительный ропот. Однако немало было и обвинителей, громко рассказывавших, как нашли его прошлой ночью в доме сэра Дэниэла, кощунственно переодетого монахом. Среди этой суматохи сэр Оливер внезапно указал на Лоулесса как на сообщника. Его тоже стащили со скамейки и усадили рядом с Диком. Страсти разгорелись, и пока одни тащили пленников то туда, то сюда, чтобы помочь им убежать, другие ругали их и колотили кулаками. У Дика шумело в ушах, кружилась голова, точно он попал в бешеный водоворот. Но рослому человеку, который заговорил с Диком, удалось громкими приказаниями добиться тишины и восстановить порядок.

— Обыщите их,— сказал он,— нет ли у них оружия. Тогда мы узнаем об их намерениях.

У Дика не нашли никакого оружия, кроме кинжала, и это говорило в его пользу, пока кто-то услужливо не вытащил этот кинжал из ножен; кровь Пройдохи не успела на нем просохнуть. Приверженцы сэра Дэниэла заорали, но рослый человек повелительным жестом и властным взглядом заставил их замолчать. Однако, когда дошла очередь до Лоулесса, под его рубашкой нашли пук стрел, таких же, как те, которыми был убит злополучный жених.

— Ну, что вы теперь скажете? — сурово спросил Дика рослый человек.

— Сэр,— ответил Дик,— я нахожусь под защитой храма. Но по вашей осанке, сэр, я вижу, что вы человек важный и могущественный; на вашем лице я читаю знаки справедливости и благочестия. Вам я сдаюсь в плен добровольно и отказываюсь от своего права убежища в храме господнем. Убейте меня своею благородной рукой, но только не отдавайте во власть этого человека, которого я громогласно обвиняю в убийстве моего родного отца и в незаконном присвоении моих поместий и доходов. Вы своими ушами слышали, как он угрожал мне пытками еще тогда, когда я не был признан виновным. Вы поступите неблагородно, если выдадите меня моему заклятому врагу и старому притеснителю. Судите меня по закону и, если я действительно окажусь виновным, предайте меня милосердной казни.

— Милорд,— крикнул сэр Дэниэл,— зачем вы слушаете этого волка! Окровавленный кинжал уличает его во лжи.

— Ваша горячность, добрый рыцарь,— ответил высокий незнакомец,— свидетельствует против вас.

И вдруг невеста, которая только что очнулась и с ужасом глядела на эту сцену, вырвалась из рук тех, кто держал ее, и бросилась на колени перед рослым человеком.

— Милорд Райзингэм,— вскричала она,— выслушайте меня во имя справедливости! Меня насильно заточил здесь этот человек, похитив у родных. С тех пор я не видела ни жалости, ни утешения, никто не поддержал меня, кроме Ричарда Шелтона, которого теперь обвиняют и хотят погубить. Милорд, он был вчера ночью в доме сэра Дэниэла, он пришел туда из-за меня; он пришел, услышав мои молитвы, и не замышлял зла. Пока сэр Дэниэл был добр к нему, Ричард честно бился вместе с ним против «Черной стрелы»; но когда гнусный опекун стал покушаться на его жизнь и он, спасая жизнь, был вынужден бежать ночью из дома кровожадного злодея — куда было ему деваться, беззащитному и без гроша в кармане? И если он попал в дурное общество, кого следует винить — юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг?

Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной.

— А я, мой добрый лорд,— сказала она,— я, ваша родная племянница, могу засвидетельствовать перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. Это я, недостойная, привела молодого человека в дом.

Граф Райзингэм слушал их, не говоря ни слова, и когда они умолкли, он еще долго молчал. Потом он подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться; впрочем, надо заметить, он не оказал подобной же любезности той, которая называла себя его племянницей.

— Сэр Дэниэл,— сказал он,— это в высшей степени запутанное дело; с вашего позволения, я возьму на себя расследовать его. Итак, будьте покойны. Ваше дело в надежных руках; его решат по справедливости. А сейчас идите немедленно домой и перевяжите свои раны. Сегодня холодно, и вы можете простудиться.

Он сделал знак рукой; усердные слуги, следившие за каждым его движением, передали этот знак дальше. Мгновенно снаружи резко завыла фанфара; через открытый портал стрелки и воины, одетые в цвета лорда Райзингэма, вошли в церковь, взяли Дика и Лоулесса и, сомкнув ряды вокруг пленников, увели их.

Джоанна протянула обе руки к Дику и крикнула: «Прощай!» А подружка невесты, нимало не смущенная явным неудовольствием дяди, послала Дику поцелуй со словами: «Мужайтесь, укротитель львов!» И в толпе впервые появились на лицах улыбки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГРАФ РАЙЗИНГЭМ

Несмотря на то, что граф Райзингэм был самым важным вельможей в Шорби, он скромно обитал в частном доме одного джентльмена на окраине города. Лишь воины у дверей и гонцы, то приезжавшие, то уезжавшие, свидетельствовали, что в этом доме остановился знатный лорд.

Дом был тесен, и Дика заперли вместе с Лоулессом.

— Вы хорошо говорили, мастер Ричард,— сказал бродяга,— замечательно хорошо говорили, и я от души благодарю вас. Здесь мы в отличных руках; нас будут судить справедливо и, вернее всего, сегодня вечером благопристойно повесят вместе на одном дереве.

— Ты прав, мой бедный друг,— ответил Дик.

— У нас есть еще одна надежда,— сказал Лоулесс.— Таких, как Эллис Дэкуорт,— единицы на десятки тысяч. Он очень любит вас и ради вас самих и ради вашего отца. Зная, что вы ни в чем не виноваты, он перевернет небо и землю, чтобы выручить вас.

— Не думаю,— сказал Дик.— Что он может сделать? У него только горстка людей! Увы, если бы эта свадьба была назначена на завтра... да, завтра... встреча перед полуднем... мне оказали бы помощь, и все пошло бы иначе... А сейчас ничем не поможешь.

— Ладно,— сказал Лоулесс,— вы будете отстаивать мою невиновность, а я — вашу. Это нисколько не поможет нам, но если меня повесят, так, во всяком случае, не оттого, что я мало божился.

Дик задумался, а старый бродяга свернулся в углу, надвинул свой монашеский капюшон на лицо и лег спать. Вскоре он захрапел; долгая жизнь, полная приключений и тяжелых лишений, притупила в нем чувство страха.

День уже подходил к концу, когда дверь открылась и Дика повели вверх по лестнице в теплую комнату, где граф Райзингэм в раздумье сидел у огня.

Когда пленник вошел, граф поднял голову.

— Сэр,— сказал он,— я знал вашего отца. Ваш отец был благородный человек, и это заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Но не могу скрыть, что тяжелые обвинения тяготеют над вами. Вы водитесь с убийцами и разбойниками; есть совершенно очевидные доказательства, что вы нарушали общественный порядок; вас подозревают в разбойничьем захвате судна; вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись в чужое обличье; в тот же вечер был убит человек...

— Если позволите, милорд,— прервал Дик,— я хочу сразу признаться в том, в чем виноват. Я убил этого Пройдоху, а в доказательство,— сказал он, роясь за пазухой,— вот письмо, которое я вынул из его сумки.

Лорд Райзингэм взял письмо, развернул и дважды прочел его.

— Вы его читали? — спросил он.

— Да, я его прочел,— ответил Дик.

— Вы за Йорков или за Ланкастеров? — спросил граф.

— Милорд, мне совсем недавно предложили этот самый вопрос, и я не знал, как на него ответить,— сказал Дик.— Но ответив однажды, я отвечу так же и во второй раз. Милорд, я за Йорков.

Граф одобрительно кивнул.

— Честный ответ,— сказал он.— Но тогда зачем вы передаете это письмо мне?

— А разве не все партии борются против изменников, милорд? — вскричал Дик.

— Хотел бы я, чтобы было так, как вы говорите,— ответил граф.— Я одобряю ваши слова. В вас больше юношеского задора, чем злостного умысла. И если бы сэр Дэниэл не был могущественным сторонником нашей партии, я защищал бы вас. Я навел справки и получил доказательства, что с вами поступили жестоко, и это извиняет вас. Но, сэр, я прежде всего вождь партии королевы; и, хотя я по натуре, как мне кажется, человек справедливый и даже склонный к излишнему милосердию, сейчас я должен действовать в интересах партии, чтобы удержать у нас сэра Дэниэла.

— Милорд,— ответил Дик,— не сочтите меня дерзким

и позвольте мне предостеречь вас. Неужели вы рассчитываете на верность сэра Дэниэла? По-моему, он слишком часто переходил из партии в партию.

— Нынче у нас в Англии это вошло в обычай, чего же вы хотите? — спросил граф.— Но вы несправедливы к тэнстоллскому рыцарю. Он верен нам, ланкастерцам, насколько верность вообще свойственна теперешнему неверному поколению. Он не изменил нам даже во время наших недавних неудач.

— Если вы пожелаете,— сказал Дик,— взглянуть на это письмо, вы несколько перемените свое мнение о нем.

И он протянул графу письмо сэра Дэниэла к лорду Уэнслидэлу.

Граф переменился в лице; он стал грозным, как разъяренный лев, и рука его невольно схватилась за кинжал.

— Вы и это читали? — спросил он.

— Читал,— сказал Дик.— Как видите, он предлагает лорду Уэнслидэлу ваше собственное поместье.

— Да, вы правы, мое собственное поместье,— ответил граф.— Я должен отныне за вас молиться. Вы указали мне лисью нору. Приказывайте же мне, мастер Шелтон! Я не замедлю отблагодарить вас, и — йоркист вы или ланкастерец, честный человек или вор — начну с того, что возвращу вам свободу. Идите, во имя пресвятой девы! Но не сетуйте на меня за то, что я задержу и повешу вашего приятеля Лоулесса. Преступление совершено публично, и наказание тоже должно быть публичным.

— Милорд, вот первая моя просьба к вам: пощадите и его,— сказал Дик.

— Это старый негодяй, вор и бродяга, мастер Шелтон,— сказал граф.— Он уже давно созрел для виселицы. Если его не повесят завтра, он будет повешен днем позже. Так отчего же не повесить его завтра?

— Милорд, он пришел сюда из любви ко мне,— ответил Дик,— и я был бы жесток и неблагодарен, если бы не вступился за него.

— Мастер Шелтон, вы строптивы,— строго заметил граф.— Вы избрали ненадежный путь для преуспеяния на этом свете. Но для того, чтобы отделаться от вашей назойливости, я еще раз угожу вам. Уходите вместе, но идите осторожно и поскорей выбирайтесь из Шорби. Ибо этот сэр Дэниэл — да накажут его святые! — алчет вашей крови.

— Милорд, позвольте покуда выразить вам мою благодарность словами; надеюсь в самом ближайшем времени хотя бы частично отплатить вам услугой,— ответил Дик и вышел из комнаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СНОВА АРБЛЕСТЕР

Уже наступил вечер, когда Дик и Лоулесс задним ходом потихоньку улизнули из дома, где стоял лорд Райзингэм со своим гарнизоном.

Они спрятались за садовой стеной, чтобы обсудить, как им быть дальше. Опасность была чрезвычайно велика. Если кто-нибудь из челяди сэра Дэниэла увидит их и поднимет тревогу, сбежится стража, и они будут убиты. К тому же для них было одинаково опасно оставаться в Шорби, этом городе, кишащем врагами, и пытаться уйти открытым полем, где они рисковали наткнуться на стражу.

Недалеко от стены сада они увидели ветряную мельницу и рядом с ней огромный хлебный амбар, двери которого были распахнуты настежь.

— А не укрыться ли нам здесь до наступления ночи? — сказал Дик.

Так как Лоулесс не мог предложить ничего лучшего, они бегом бросились к амбару и спрятались в соломе. Дневной свет скоро угас, и луна озарила серебряным сиянием мерзлый снег. Теперь наконец можно незаметно добраться до «Козла и волынки» и снять эти ставшие уже опасными рясы. Из благоразумия они пошли в обход города, окраинами, минуя рыночную площадь, где их могли опознать и убить.

Дорога, которую они избрали, была долгой. Повернув к морю, они пошли темным и в этот поздний час безлюдным берегом, покуда не достигли гавани. При ясном лунном свете они видели, что многие корабли подняли якоря и, воспользовавшись спокойным морем, ушли. Береговые кабаки (ярко озаренные, несмотря на то, что закон запрещал зажигать по ночам огни) пустовали; не гремели в них хоровые песни моряков.

Высоко подобрав полы своих длинных ряс, Дик и Лоулесс поспешно, почти бегом, двигались по глубокому снегу, пробираясь сквозь лабиринты хлама, выброшенного морем на берег. Они уже почти миновали гавань, как вдруг дверь одного кабака распахнулась и ослепительный поток света ярко озарил их бегущие фигуры.

Они сразу остановились и сделали вид, что увлечены разговором.

Один за другим вышли из кабака три человека и закрыли за собой дверь. Все трое пошатывались — видимо, они пьянствовали весь день. Они стояли, раскачиваясь в лунном свете, и, казалось, не знали, что им делать дальше. Самый высокий из них громко жаловался на судьбу.

— Семь бочек самого лучшего гасконского,— говорил он,— лучшее судно Дартмутского порта, вызолоченное изображение святой девы, тринадцать фунтов добрых золотых монет...

— У меня тоже большие убытки,— прервал его другой.— Я тоже потерял немало, кум Арблестер. В день святого Мартина у меня украли пять шиллингов и кожаную сумку, которая стоила девять пенсов.

При этих словах сердце Дика сжалось. До сих пор он, пожалуй, ни разу не подумал о бедном шкипере, который разорился, лишившись «Доброй Надежды»; в те времена дворяне беспечно относились к имуществу людей из низших сословий. Но эта внезапная встреча напомнила Дику, как беззаконно он завладел судном и как печально окончилось его предприятие. И оба — Дик и Лоулесс — отвернулись, чтобы Арблестер случайно их не узнал.

Каким-то чудом корабельный пес с «Доброй Надежды» спасся и вернулся в Шорби. Он теперь следовал за Арблестером. Понюхав воздух и насторожив уши, он внезапно бросился вперед, неистово лая на мнимых монахов.

Его хозяин, пошатываясь, пошел за ним.

— Эй, приятели! — крикнул он.— Нет ли у вас пенни для бедного старого моряка, дочиста разоренного пиратами? В четверг я еще мог бы напоить вас обоих; а сегодня суббота, и я должен клянчить на кружку пива! Спросите моего матроса Тома, если вы не верите мне! Семь бочек превосходного гасконского вина, мой собственный корабль, доставшийся мне по наследству от отца, изображение святой девы из полированного дерева с позолотой и тринадцать фунтов золотом и серебром — что вы скаже-

те? Вот как обокрали человека, который воевал с французами! Да, я дрался с французами. Я на море перерезал французских глоток больше, чем любой другой дартмутский моряк. Дайте мне пенни!

Дик и Лоулесс не решались ответить ему, так как он узнал бы их по голосам. И они стояли беспомощные, словно корабли на якоре, и не знали, как поступить.

— Ты что, парень, немой? — спросил шкипер.— Друзья,— икнув, продолжал он,— это немые. Терпеть не могу неучтивости. Вежливый человек, даже если он немой, отвечает, когда с ним говорят.

Между тем матрос Том, мужчина очень сильный, казалось, что-то заподозрил. Он был трезвее капитана. Внезапно он вышел вперед, грубо схватил Лоулесса за плечо и, ругаясь, спросил его, из-за какой такой болезни он держит на привязи свой язык. На это бродяга, решив, что им терять уже нечего, ответил ему таким ударом, что моряк растянулся на песке. Крикнув Дику, чтобы он следовал за ним, Лоулесс со всех ног помчался по берегу.

Все это произошло в одно мгновение. Не успел Дик броситься бежать, как Арблестер вцепился в него. Том подполз на животе и схватил Дика за ногу, а третий моряк размахивал кортиком над его головой.

Не страх мучил молодого Шелтона — его мучила досада, что, избегнув сэра Дэниэла, убедив в своей невиновности лорда Райзингэма, он попал в руки старого пьяного моряка. Досаднее всего было то, что он и сам чувствовал себя виновным, чувствовал себя несостоятельным должником этого человека, чей корабль он украл и погубил, и поздно проснувшаяся совесть громко говорила ему об этом.

— Тащите его в кабак, я хочу разглядеть его лицо,— сказал Арблестер.

— Ладно, ладно,— ответил Том.— Только мы сперва разгрузим его сумку, чтобы другие молодцы не потребовали своей доли.

Однако они не нашли ни одного пенни, хотя обыскали Дика с головы до ног; не нашли ничего, кроме перстня с печатью лорда Фоксгэма. Они сорвали этот перстень с его пальца.

— Поверните его к лунному свету,— сказал шкипер, и, взяв Дика за подбородок, он больно вздернул кверху его голову.

— Святая дева! — вскричал он.— Это наш пират!

— Ну? — воскликнул Том.

— Клянусь непорочной девой Бордосской, он самый! — повторил Арблестер.— Ну, морской вор, ты у меня в руках! — кричал он.— Где мой корабль? Где мое вино? Нет, на этот раз не уйдешь. Том, дай-ка мне сюда веревку. Я свяжу этому морскому волку руки и ноги, я свяжу его, как жареного индюка, а потом буду его бить! О, как я буду его бить!

Продолжая говорить, он со свойственной морякам ловкостью обвивал Дика веревкой, яростно затягивая ее, завязывая тугие узлы.

Наконец молодой человек превратился в тюк, беспомощный и неподвижный, как труп. Шкипер, держа его на вытянутой руке, громко захохотал. Потом дал ему оглушительную затрещину в ухо; затем начал медленно поворачивать его и неистово колотить. Гнев, как буря, поднялся в груди Дика; гнев душил его; ему казалось, он вот-вот умрет от злости. Но когда моряк, утомленный своей жестокой забавой, бросил его на песок и отвернулся, чтобы посоветоваться с приятелями, Дик мгновенно овладел собой. Это была минутная передышка; прежде чем они снова начнут мучить его, он, быть может, найдет способ вывернуться из этого унизительного и рокового приключения.

Пока его победители спорили, как поступить с ним, он собрался с духом и твердым голосом заговорил.

— Досточтимые господа,— начал он,— вы что, совсем с ума сошли? Небо дает вам в руки случай чудовищно разбогатеть. Вы тридцать раз поедете в море, а второго такого случая не найдете. А вы — о небо!— что вы сделали? Избили меня? Да так поступает рассерженный ребенок! Но ведь вы не дети, вы опытные, пропахшие смолой моряки, которым не страшны ни огонь, ни вода, которые любят золото, любят мясо. Нет, вы поступили безрассудно.

— Знаю,— сказал Том,— теперь, когда ты связан, ты будешь дурачить нас!

— Дурачить вас! — повторил Дик.— Ну, если вы дураки, дурачить вас нетрудно! Но если вы люди умные — а вы мне кажетесь людьми умными,— вы сами поймете, в чем ваша выгода. Когда я захватил ваш корабль, нас было много, мы были хорошо одеты и вооружены. А ну, сообразите, кто может собрать такой отряд? Только тот, бесспорно, у

кого много золота. И если, будучи богатым, он все еще продолжает поиски, не останавливаясь перед трудностями, то, подумайте-ка хорошенько, не спрятано ли где-нибудь сокровище?

— О чем он говорит? — спросил один из моряков.

— Так вот, если вы потеряли старое судно и несколько кружек кислого, как уксус, вина,— продолжал Дик,— забудьте о них, потому что все это дрянь. Лучше поскорее присоединяйтесь к предприятию, которое через двенадцать часов либо обогатит вас, либо окончательно погубит. Только поднимите меня. Пойдемте куда-нибудь и потолкуем за кружкой, потому что мне больно, я озяб и мой рот набит снегом.

— Он старается одурачить нас,— презрительно сказал Том.

— Одурачить! Одурачить! — крикнул третий гуляка.— Хотел бы я посмотреть на человека, который мог бы меня одурачить! Уж это был бы плут! Ну, да я ведь не вчера родился. Когда я вижу дом с колокольней, я понимаю, что это церковь. И по-моему, кум Арблестер, этот молодой человек говорит дело. Уж не выслушать ли нам его? Давайте послушаем.

— Я охотно выпил бы кружку крепкого эля, добрый мастер Пиррет,— ответил Арблестер.— А ты что скажешь, Том? Да ведь кошелек-то пуст!

— Я заплачу,— сказал Пиррет,— я заплачу. Я хочу узнать, в чем дело. Мне кажется, тут пахнет золотом.

— Ну, если мы снова примемся пьянствовать, все пропало! — вскричал Том.

— Кум Арблестер, вы слишком много позволяете своему слуге,— заметил мастер Пиррет.— Неужели вы допустите, чтобы вами командовал наемный человек? Фу, фу!

— Тише, парень! — сказал Арблестер, обращаясь к Тому.— Заткни глотку. Матросы не смеют учить шкипера!

— Делайте что хотите,— сказал Том.— Я умываю руки.

— Поставьте его на ноги,— сказал Пиррет.— Я знаю укромное местечко, где мы можем выпить и потолковать.

— Если вы хотите, чтобы я шел, друзья мои, развяжите мне ноги,— сказал Дик, когда его подняли и поставили, словно столб.

— Он прав,— рассмеялся Пиррет.— Так ему далеко не уйти. Вытащи свой нож и разрежь веревки, кум.

Даже Арблестер заколебался при этом предложении. Но так как его товарищ настаивал, а у Дика хватило разума сохранять самое деревянное, равнодушное выражение лица и лишь пожимать плечами, шкипер наконец согласился и разрезал веревку, которая связывала ноги пленника. Это не только дало возможность Дику идти, но и вообще ослабило все веревки. Он почувствовал, что рука за спиной стала двигаться свободнее, и начал надеяться, что со временем ему удастся ее совсем высвободить. Он уже и так многим был обязан глупости и жадности Пиррета.

Этот достойный человек взял на себя руководство и привел их в тот самый кабак, где Лоулесс пил с Арблестером во время урагана. Сейчас кабак был пуст; огонь потух, и только груда раскаленного пепла дышала приятным теплом. Они уселись; хозяин поставил перед ними кастрюлю с горячим элем. Пиррет и Арблестер вытянули ноги и скрестили руки,— видно было, что они собираются приятно провести часок-другой.

Стол, за который они сели, как и остальные столы в кабаке, представлял собой тяжелую квадратную доску, положенную на два бочонка. Собутыльники заняли все четыре стороны стола,— Пиррет сидел против Арблестера, а Дик против матроса.

— А теперь, молодой человек,— сказал Пиррет,— начинайте свой рассказ. Кажется, вы действительно несколько обидели нашего кума Арблестера; но что из этого? Поухаживайте за ним, укажите ему способ разбогатеть, и я бьюсь об заклад, что он простит вас.

До сих пор Дик говорил наудачу; но теперь, под наблюдением трех пар глаз, необходимо было придумать и рассказать необыкновенную историю и, если возможно, получить обратно такое важное для него кольцо. Прежде всего надо выиграть время. Чем дольше они здесь пробудут, тем больше выпьют и тем легче будет убежать.

Дик не умел сочинять, и то, что он рассказал, очень напоминало историю Али-бабы, только Восток был заменен Шорби и Тэнстоллским лесом, а количество сокровищ пещеры было скорее преувеличено, чем преуменьшено. Как известно читателю, это превосходная история, и в ней только один недостаток: в ней нет ни капли правды. Но три простодушных моряка слышали ее в первый раз; глаза у них вылезли на лоб от удивления, рты их раскрылись, точно у трески на прилавке рыботорговца.

Очень скоро пришлось заказать вторую порцию горячего эля, а пока Дик искусно сплетал нити приключений, за ней последовала и третья.

Вот в каком положении находились присутствующие, когда история приближалась к концу.

Арблестер, на три четверти пьяный и на одну четверть сонный, беспомощно откинулся на спинку стула. Даже Том увлекся рассказом, и его бдительность значительно ослабла. А Дик тем временем успел высвободить свою правую руку из веревок и был готов попытать счастья.

— Итак,— сказал Пиррет,— ты один из них?

— Меня заставили,— ответил Дик,— против моей воли; но если бы мне удалось достать мешок-другой золота на свою долю, я был бы дураком, оставаясь в грязной пещере, подвергая себя опасности, как простой солдат. Вот нас здесь четверо. Отлично! Пойдем завтра в лес перед восходом солнца. Если бы мы достали осла, было бы еще лучше; но так как осла достать нельзя, придется все тащить на своих четырех спинах. Спины у нас сильные, однако на обратном пути мы будем шататься под тяжестью сокровищ.

Пиррет облизнулся.

— А ну, друг, скажи это волшебное слово, от которого откроется пещера,— попросил он.

— Никто не знает этого слова, кроме трех начальников,— ответил Дик.— Но, на ваше великое счастье, как раз сегодня вечером мне сообщили слова заклинания, которыми открывают пещеру. Это большая удача, ибо мой начальник обычно никому не доверяет своей тайны.

— Заклинание! — вскричал Арблестер, просыпаясь и косясь на Дика одним глазом.— Чур меня! Никаких заклинаний! Я хороший христианин, спроси моего матроса Тома, если не веришь.

— Да ведь это белая магия,— сказал Дик.— Она ничего общего не имеет с дьяволом; она связана с таинственными свойствами чисел, трав и планет.

— Э,— сказал Пиррет,— ведь это только белая магия, кум. Тут нет греха, уверяю тебя. Но продолжай, добрый юноша. Что же это за заклинание?

— Я сейчас вам скажу,— ответил Дик.— При вас кольцо, которое вы сняли с моего пальца? Прекрасно! Теперь вытяните руку и держите кольцо кончиками пальцев прямо перед собой, чтобы на него падал свет от углей. Вот так! Сейчас вы услышите слова заклинания!

Быстро оглянувшись, Дик увидел, что между ним и дверью нет ни души. Он мысленно прочел молитву. Потом, протянув руку, он схватил кольцо, поднял стол и опрокинул его прямо на матроса Тома. Бедняга, крича, барахтался под обломками. И прежде чем Арблестер успел заподозрить что-либо неладное, а Пиррет собраться с мыслями, Дик кинулся к двери и исчез в лунной ночи.

Луна сияла ярко, снег сверкал, в гавани было светло, как днем. И молодой Шелтон, бежавший, подоткнув рясу, среди мусорных куч, был виден издалека.

Том и Пиррет помчались за ним, громко крича. На их крики из каждого кабака выскакивали моряки и тоже бежали вдогонку за Шелтоном. Скоро Дика преследовала целая орава матросов. Но в пятнадцатом столетии, как и в наше время, моряк на суше не отличался проворством; Дик с самого начала сильно опередил всех, и расстояние между ним и его преследователями все увеличивалось. Наконец он вбежал в какой-то узкий переулочек, остановился, поглядел назад и засмеялся.

За ним гнались все моряки города Шорби; как чернильные кляксы, темнели они вдали на белом снегу. Каждый кричал, вопил; каждый махал руками; то один падал в снег, то другой; на упавшего сразу падали все, кто бежал за ним.

Эти дикие вопли, долетавшие чуть ли не до самой луны, и смешили беглеца и пугали. Впрочем, боялся Дик вовсе не этих моряков, так как был уверен, что ни один из них его не догонит. Дик боялся поднятого моряками шума, который мог разбудить весь Шорби и заставить стражу выползти на улицу, а это было бы действительно опасно; заметив темную дверь в углу, он спрятался за нею. Его неуклюжие преследователи, раскрасневшиеся от быстрого бега, вывалянные в снегу, крича, размахивая руками, пронеслись мимо. Однако прошло еще немало времени, прежде чем окончилось это великое нашествие гавани на город и водворилась тишина.

Еще долго по всем улицам города раздавались крики заблудившихся моряков. Они поминутно затевали ссоры то между собой, то с часовыми; мелькали ножи, сыпались удары, и не один труп остался на снегу.

Когда, спустя час, последний моряк, ворча, вернулся в гавань, в свой излюбленный кабачок, он, конечно, не мог бы сказать, за кем он гнался. На следующее утро возник-

ло немало самых различных легенд, и скоро весь город Шорби поверил, что ночью его улицы посетил дьявол. Однако возвращение последнего моряка еще не освободило юного Шелтона из его холодного заточения за дверью.

Еще долго по улицам бродили патрули, разосланные знатными лордами, которых разбудили и встревожили крики моряков.

Ночь уже подходила к концу, когда Дик покинул свое убежище и пришел, целый и невредимый, но страшно озябший и покрытый синяками, к дверям «Козла и волынки». В соответствии с законом харчевня была погружена во мрак: не горела ни одна свеча, и огонь в очаге был погашен; Дик ощупью пробрался в угол холодной комнаты для гостей, нашел конец одеяла, укутал им свои плечи и, прижавшись к какому-то спящему человеку, скоро забылся крепким сном.

КНИГА ПЯТАЯ

ГОРБУН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗОВ ТРУБЫ

Дик встал на следующее утро еще до рассвета, снова надел свое прежнее платье, снова вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логовище Лоулесса. Там (как, вероятно, помнит читатель) он оставил бумаги лорда Фоксгэма; чтобы взять их и успеть на свидание с юным герцогом Глостером, нужно было выйти рано и идти как можно скорее.

Мороз усилился, от сухого, безветренного воздуха пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел ясно и весело. Было уже светло без фонаря, а морозный воздух не располагал к медлительности.

Дик почти пересек все поле, лежавшее между Шорби и лесом, подошел к подножию холма и находился в ка-

кой-нибудь сотне ярдов от креста Святой Девы, как вдруг тишину утра прорезал звук трубы. Никогда еще не слыхал он такого ясного и пронзительного звука. Труба пропела и смолкла, опять пропела, потом послышался лязг оружия.

Молодой Шелтон прислушался, вытащил меч и помчался вверх по холму.

Он увидел крест; на дороге перед крестом происходила яростная схватка. Нападающих было человек семь или восемь, а защищался только один; но он защищался так проворно и ловко, так отчаянно кидался на своих противников, так искусно держался на льду, что, прежде чем Дик подоспел, он уже убил одного и ранил другого, а остальные нападавшие отступали.

Было просто чудо, как мог он устоять до сих пор. Малейшая случайность — поскользнись он, промахнись рука — стоила бы ему жизни.

— Держитесь, сэр! Иду к вам на помощь! — воскликнул Ричард.

И с криком:

— Держись, ребята! Стреляй! Да здравствует «Черная стрела»!— бросился с тылу на нападающих, забыв, что он один и что возглас этот сейчас неуместен.

Но нападающие тоже были не из робких, они не дрогнули; обернувшись, они яростно обрушились на Дика. Четверо против одного: сталь сверкала над ними при звездном сиянии. Искры летели во все стороны. Один из его противников упал, в пылу битвы Дик едва понял, что случилось; потом он сам получил удар по голове; стальной шлем выдержал удар, однако Дик опустился на колено, и мысли его закружились, словно крылья ветряной мельницы.

Человек, к которому Дик пришел на помощь, вместо того чтобы теперь помочь ему, отскочил в сторону и снова затрубил еще пронзительнее и громче, чем раньше. Противники опять бросились на него, и он снова летал, нападал, прыгал, наносил смертельные удары, падал на одно колено, пользуясь то кинжалом и мечом, то ногами и руками с несокрушимой смелостью, лихорадочной энергией и быстротой.

Но резкий призыв был наконец услышан. Раздался заглушенный снегом топот копыт, и в счастливую минуту для Дика, когда мечи уже сверкали над его головой, из леса с двух сторон хлынули потоки вооруженных всадников, закованных в железо, с опущенными забралами, с копьями

наперевес, с поднятыми мечами. У каждого всадника за спиной сидел стрелок; эти стрелки один за другим соскакивали на землю.

Нападавшие, видя себя окруженными, молча побросали оружие.

— Схватить этих людей! — сказал человек с трубой. и, когда его приказание было исполнено, он подошел к Дику и заглянул ему в лицо.

Дик тоже посмотрел на него и удивился, увидев, что человек, проявивший такую силу, такую ловкость и энергию, был юноша, не старше его самого, неправильного телосложения — с бледным, болезненным и безобразным лицом [1]. Но глаза его глядели ясно и отважно.

— Сэр,— сказал юноша,— вы подоспели ко мне в самый раз.

— Милорд,— ответил Дик, смутно догадываясь, что перед ним знатный вельможа,— вы так удивительно владеете мечом, что справились бы с нападающими и без меня. Однако мне очень повезло, что ваши люди не запоздали.

— Как вы узнали, кто я? — спросил незнакомец.

— Даже сейчас, милорд, я не знаю, с кем говорю,— ответил Дик.

— Так ли это? — спросил юноша.— Зачем же вы очертя голову ринулись в эту неравную битву?

— Я увидел, что один человек храбро дерется против многих,— ответил Дик,— и счел бы бесчестным не помочь ему.

Презрительная усмешка появилась на губах молодого вельможи, когда он ответил:

— Отважные слова. Но, самое главное, за кого вы стоите: за Ланкастеров или за Йорков?

— Не буду скрывать, милорд, я стою за Йорков,— ответил Дик.

— Клянусь небом,— вскричал юноша,— вам повезло!

И он обернулся к одному из своих приближенных.

— Дайте мне посмотреть,— продолжал он тем же презрительным, жестким тоном,— дайте мне посмотреть на праведную кончину этих храбрых джентльменов. Вздерните их!

---

[1] Ричард Горбатый в действительности был в это время гораздо моложе. *(Прим. автора.)*

Только пятеро из нападавших были еще живы. Стрелки схватили их за руки, поспешно отвели к опушке леса, поставили под дерево подходящей высоты и приладили веревки. Стрелки с концами веревок в руках быстро взобрались на дерево. Не прошло и минуты, как все было кончено. Все пятеро болтались на веревке.

— А теперь,— крикнул горбатый предводитель,— возвращайтесь на свои места и, когда я в следующий раз позову вас, будьте попроворней!

— Милорд герцог,— сказал один из подчиненных,— молю вас: оставьте при себе хотя бы горсть воинов. Вам нельзя быть здесь одному.

— Вот что, любезный,— сказал герцог,— я не выбранил вас за опоздание, так не перечьте мне. Пусть я горбат, но я могу положиться на силу своей руки. Когда звучала труба, ты медлил, а теперь ты слишком торопишься со своими советами. Но так уж повелось: последний в битве — всегда первый в разговоре. Впредь пусть будет наоборот.

И суровым, не лишенным благородства жестом он удалил их.

Снова пехотинцы уселись на коней позади всадников, и отряд медленно удалился и, рассыпавшись в разных направлениях, скрылся в лесу.

Звезды уже начали меркнуть, занимался день. Серый предутренний свет озарил лица обоих юношей, которые снова взглянули друг другу в лицо.

— Вы видели сейчас,— сказал герцог,— что месть моя беспощадна, как острие моего меча. Но я бы не хотел — клянусь всем христианским миром! — чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы пришли ко мне на помощь со славным мечом и достойной удивления отвагой! Если вам не противно мое безобразие, обнимите меня!

И юный вождь раскрыл объятия.

В глубине души Дик испытывал страх и даже ненависть к человеку, которого спас; но просьба была выражена такими словами, что колебаться или отказать было бы не только невежливо, но и жестоко, и он поспешил подчиниться желанию незнакомца.

— А теперь, милорд герцог,— сказал он, освободясь из его объятий,— верна ли моя догадка? Вы милорд герцог Глостерский.

— Я Ричард Глостер,— ответил тот.— А вы? Как вас зовут?

Дик назвал себя и подал ему перстень лорда Фоксгэма, который герцог сразу же узнал.

— Вы пришли сюда раньше назначенного срока,— сказал он,— но могу ли я на это сердиться? Вы похожи на меня: я пришел сюда за два часа до рассвета и жду. Это первый поход моей армии; я либо погибну, либо стяжаю себе славу. Там залегли мои враги под начальством двух старых искусных вождей — Брэкли и Райзингэма. Они, вероятно, сильны, но сейчас они стиснуты между морем, гаванью и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, что тут-то и нужно напасть на них, и мы нападем на них бесшумно и внезапно.

— Конечно, я тоже так полагаю! — пылко вскричал Дик.

— У вас при себе записки лорда Фоксгэма? — спросил герцог.

Дик, объяснив, почему их у него сейчас нет, осмелился предложить герцогу свои собственные наблюдения.

— Мне кажется, милорд герцог,— сказал он,— если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно, ибо с рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем у них нет постоянных караульных на постах — они всего лишь объезжают окраины верхами. Теперь самое время на них напасть: караульные уже сняли с себя доспехи, а остальные воины только что проснулись и сидят за утренней чаркой вина.

— Сколько, по-вашему, у них человек? — спросил Глостер.

— У них нет и двух тысяч,— ответил Дик.

— Здесь, в лесу, у меня семьсот воинов,— сказал герцог.— Еще семьсот идут из Кэттли и вскоре будут здесь; вслед за ними двинутся еще четыреста, а еще дальше следует столько же; у лорда Фоксгэма пятьсот в Холивуде — они могут стянуться сюда к концу дня. Подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас?

— Милорд,— сказал Дик,— повесив этих пятерых несчастных, вы сами решили вопрос. Хотя они люди не знатные, но время беспокойное: их хватятся, станут искать, и поднимется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите напасть врасплох, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе.

— Я тоже так думаю,— ответил горбун.— Не пройдет и часа, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание, врезавшись в толпу врагов. Я пошлю проворного человека в Холивуд с перстнем лорда Фоксгэма и еще одного — на дорогу, поторопить моих мямлей! Ну, Шелтон, клянусь распятием, дело выйдет!

С этими словами он снова приставил трубу к губам и затрубил.

На этот раз ему не пришлось долго ждать. В одно мгновение поляна вокруг креста покрылась пешими и конными воинами. Ричард Глостер, усевшись на ступенях, посылал гонца за гонцом, созывая семьсот человек, спрятанных в ближайших лесах. Не прошло и четверти часа, как армия его выстроилась перед ним. Он сам встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби.

План его был прост. Он решил захватить квартал города Шорби, лежавший справа от большой дороги, хорошенько укрепиться в узких переулках и держаться там до тех пор, пока не подоспеет подкрепление.

Если лорд Райзингэм захочет отступить, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между двух огней; если же он предпочтет защищать город, он будет заперт в ловушке и в конце концов разбит превосходящим его численно неприятелем.

Но была одна большая опасность, почти неминуемая: семьсот человек Глостера могли быть опрокинуты и разбиты при первой же стычке, и, чтобы избежать этого, следовало во что бы то ни стало обеспечить внезапность нападения.

Итак, пехотинцы снова уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за самим Глостером. Покуда лес скрывал их, войска медленно подвигались вперед, но когда лес, окаймлявший большую дорогу, кончился, они остановились, чтобы передохнуть и изучить местность.

Солнце, окруженное морозным желтым сиянием, уже совсем взошло, освещая город Шорби, над снежными крышами которого вились струйки утреннего дыма.

Глостер обернулся к Дику.

— В этом бедном городишке,— сказал он,— где жители сейчас готовят себе завтрак, либо вы станете рыцарем, а я начну жизнь, полную великих почестей и громкой славы, либо мы оба умрем, не оставив по себе даже памяти. Мы

оба Ричарды. Ну, Ричард Шелтон, мы должны прославиться, и вы и я — два Ричарда! Мечи, ударяясь о наши шлемы, прозвучат не так громко, как прозвучат наши имена в устах народа!

Дик был изумлен страстным голосом и пылкими словами, в которых звучала такая жажда славы. Весьма разумно и спокойно он ответил, что выполнит свой долг и не сомневается в победе, если остальные поступят так же.

К этому времени лошади хорошо отдохнули; предводитель поднял меч, опустил поводья, и кони, с двумя седоками каждый, поскакали с грохотом вниз по холму, пересекая снежное поле, за которым начинался Шорби.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БИТВА ПРИ ШОРБИ

До города было не больше четверти мили. Но не успели они выехать из-под прикрытия деревьев, как заметили людей, с криком бегущих прочь по снежному полю по обе стороны дороги. И сразу же в городе поднялся шум, который становился все громче и громче. Они еще не проскакали и половины пути до ближайшего дома, как на колокольне зазвонили колокола.

Юный герцог заскрежетал зубами. Он боялся, как бы враги не успели подготовиться к защите. Он знал, что, если он не успеет укрепиться в городе, его маленький отряд будет разбит и истреблен.

Однако дела ланкастерцев были плохи. Все шло так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои доспехи; остальные — разутые, неодетые, не подготовленные к битве — все еще сидели по домам. Во всем Шорби было, пожалуй, не больше пятидесяти вооруженных мужчин и оседланных коней.

Звон колоколов, испуганные крики людей, которые бегали по улицам и колотили в двери, очень быстро подняли на ноги человек сорок из этих пятидесяти. Они поспешно вскочили на коней и, так как не знали, откуда грозит опасность, помчались в разные стороны.

Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорби, у входа в улицу его встретила только горсточка воинов, которая была разметена им, точно ураганом.

Когда они проскакали шагов сто по городу, Дик Шелтон притронулся к руке герцога. Герцог натянул поводья, приложил трубу к губам, протрубил условный сигнал и свернул направо. Весь его отряд, как один человек, последовал за ним и, пустив коней бешеным галопом, промчался по узкому переулку. Последние двадцать всадников остановились у входа в него. Тотчас же пехотинцы, которых они везли позади себя, соскочили на землю; одни стали натягивать луки, другие захватывать дома по обеим сторонам улицы.

Удивленные неожиданно изменившимся направлением отряда Глостера и обескураженные решимостью его арьергарда, ланкастерцы, посовещавшись, повернули коней и поскакали к центру города за подкреплением.

Та часть города, которую по совету Дика занял Ричард Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти маленьких уличек с убогими домишками, в которых ютилась беднота.

Каждую из этих пяти уличек поручили охранять сильным караулам; резерв укрепился в центре, вдали от выстрелов, готовый подоспеть на помощь, если понадобится.

Эта часть города была так бедна, что ни один ланкастерский лорд не жил тут, даже слуги их ее избегали. Обитатели этих улиц сразу побросали свои дома и, крича во все горло, побежали прочь, перелезая через заборы.

В центре, где сходились все пять улиц, стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Эту харчевню герцог Глостер избрал своей главной квартирой.

Дику он поручил охрану одной из пяти улиц.

— Ступайте,— сказал он,— заслужите себе рыцарское звание. Заслужите мне славу — Ричард за Ричарда! Если я возвышусь, вы возвыситесь вместе со мною. Ступайте,— прибавил он, пожимая ему руку.

Чуть только Дик ушел, герцог обернулся к маленькому оборванному стрелку.

— Иди, Дэттон, и поскорее,— сказал он.— Иди за ним. Если ты убедишься в его верности, ты головой отвечаешь за его жизнь. И горе тебе, если ты возвратишься без него! Но если он окажется изменником или если ты хоть на одно мгновение усомнишься в нем,— заколи его ударом в спину.

Между тем Дик торопился укрепить свои позиции. Улица, которую он должен был охранять, была очень узка и тесно застроена с двух сторон домами, верхние этажи которых, выступая вперед, нависали над мостовой. Но она выходила на рыночную площадь, и исход битвы, по всей вероятности, должен был решиться здесь.

Всю рыночную площадь заполняла толпа беспорядочно мечущихся горожан, но неприятеля, готового ринуться в атаку, еще не было видно, и Дик решил, что у него есть некоторое время, чтобы приготовиться к обороне.

В конце улицы стояли два пустых дома, двери их после бегства жильцов так и остались распахнутыми. Дик поспешно вытащил оттуда всю мебель и построил из нее баррикаду у входа в улицу. В его распоряжении было сто человек, и бо́льшую часть их он разместил в домах: лежа там под прикрытием, они могли стрелять из окон. Вместе с остальными он засел за баррикадой.

Между тем в городе продолжалось сильнейшее смятение. Звонили колокола, трубили трубы, мчались конные отряды, кричали командиры, вопили женщины, и все это сливалось в общий нестерпимый шум. Но наконец шум этот начал понемногу стихать, и вскоре воины и стрелки стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади.

Очень многие из этих воинов были одеты в синее и темно-красное, а в конном рыцаре, строившем их в ряды, Дик тотчас узнал сэра Дэниэла.

Потом наступило затишье, и вдруг в четырех концах города одновременно затрубили четыре трубы. Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сразу же ряды войск пришли в движение. Град стрел перелетел через баррикаду и просыпался на стены обоих укрепленных домов.

По общему сигналу атакующие обрушились на все пять улиц. Глостер был окружен со всех сторон, и Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на свои сто человек.

Семь залпов стрел один за другим обрушились на баррикаду. В самый разгар стрельбы кто-то тронул Дика за руку. Он увидел пажа, который протягивал ему кожаную куртку, непроницаемую для стрел, так как ее покрывали металлические пластинки.

— Это от милорда Глостера,— сказал паж.— Он заметил, сэр Ричард, что у вас нет лат.

Дик, польщенный тем, что его называли «сэр Ричард», с помощью пажа облачился в куртку. Только успел он надеть ее, как две стрелы громко ударились о пластинки, не причинив ему вреда, а третья попала в пажа; смертельно раненный, он упал к ногам Дика.

Между тем неприятель упорно шел в наступление; враги были уже так близко, что Дик приказал отвечать на выстрелы. Немедленно из-за баррикады и из окон домов на врага обрушился ответный град смертоносных стрел.

Но ланкастерцы, как по сигналу, дружно закричали, и их пехота пошла в наступление. Кавалерия держалась позади с опущенными забралами.

Начался упорный рукопашный бой, не на жизнь, а на смерть. Нападающие, держа меч в одной руке, другою растаскивали баррикаду. Защищавшие баррикаду, в свою очередь, свободной от оружия рукой с отчаянным упорством ее восстанавливали. Некоторое время борьба шла почти в полном молчании; тела воинов падали друг на друга. Однако разрушать всегда легче, чем защищать, и когда звук трубы подал нападающим знак к отступлению, баррикада была уже почти развалена, стала вдвое ниже и грозила совсем рухнуть.

Пехота ланкастерцев расступилась, чтобы дать дорогу всадникам. Всадники, построенные в два ряда, внезапно повернулись, превратив свой фланг в авангард. И длинной, закованной в сталь колонной, стремительной, как змея, они бросились на полуразрушенную баррикаду.

Один из первых двух всадников упал вместе с лошадью, и его товарищи проскакали по нему. Другой вскочил прямо на вершину укрепления, пронзив неприятельского стрелка копьем. Почти в то же мгновение его самого стащили с седла, а коня его убили.

Неистовый, стремительный натиск отбросил защитников. Ланкастерцы, карабкаясь по телам своих павших товарищей, бурей ринулись вперед, прорвали линию защитников, оттеснили их в сторону и с грохотом хлынули в переулок, подобно потоку, прорвавшему плотину.

Но битва еще не кончилась. В узком проходе Дик и несколько его воинов, оставшихся в живых, работали своими алебардами, как дровосеки, и вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из павших бойцов и их лошадей с развороченным брюхом, которые бились в предсмертной агонии.

Сбитый с толку этим новым препятствием, арьергард ланкастерской кавалерии дрогнул и отступил; и тут же на них хлынул из окон такой ураган стрел, что их отступление больше походило на бегство.

А всадники, ускакавшие вперед, которым удалось пересечь баррикаду и ворваться в переулок, домчались до дверей харчевни с шахматной вывеской; встретив здесь грозного горбуна и все резервное войско йоркистов, они в замешательстве и беспорядке кинулись назад.

Дик и его воины бросились на них. Выскочив из домов, на ланкастерцев со свежими силами напали воины, еще не участвовавшие в рукопашном бою; жестокий град стрел обрушился на беглецов, а Глостер уже догонял их с тыла. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого ланкастерца.

И только тогда Дик поднял окровавленный, дымящийся меч и закричал «ура».

Глостер слез с коня и осмотрел место боя. Лицо его было бледнее полотна; но глаза сверкали словно чудесные драгоценные камни, и голос его, когда он заговорил, звучал грубо и хрипло, возбужденный битвой и победой. Он взглянул на укрепление, к которому ни друг, ни враг не могли подойти,— так неистово бились там кони в предсмертной агонии,— и вид этой страшной бойни вызвал у него кривую усмешку.

— Прикончите лошадей,— сказал он,— чтобы не мешались... Ричард Шелтон,— прибавил он,— я доволен вами. Преклоните колено.

Ланкастерцы снова взялись за луки, и стрелы густым дождем сыпались в улицу. Но герцог, не обращая на них ни малейшего внимания, вытащил свой меч и тут же посвятил Дика в рыцари.

— А теперь, сэр Ричард,—продолжал он,—если вы увидите лорда Райзингэма, немедленно пришлите мне гонца. Пришлите мне гонца даже в том случае, если этот гонец— последний ваш воин. Я скорее потеряю свои позиции, чем упущу случай встретиться с ним в бою... запомните вы все,— прибавил он, возвысив голос.— Если граф Райзингэм падет не от моей руки, я буду считать эту победу поражением.

— Милорд герцог,— сказал один из его приближенных,— разве ваша милость еще не устали бесцельно под-

вергать свою драгоценную жизнь опасности? Стоит ли нам здесь мешкать?

— Кэтсби,— ответил герцог,— исход битвы решается здесь. Все остальные стычки не имеют значения. Здесь мы должны победить. А что касается опасности, так будь вы безобразный горбун, которого даже дети дразнят на улице, вы дешевле ценили бы свою жизнь и охотно отдали бы ее за час славы... Впрочем, если хотите, поедем и осмотрим другие позиции. Мой тезка, сэр Ричард, будет удерживать эту залитую кровью улицу. На него мы можем положиться... Но заметьте, сэр Ричард: не все еще кончено. Худшее впереди. Не спите!

Он подошел прямо к молодому Шелтону, твердо заглянул ему в глаза и, взяв его руку в свои, так сильно сжал ее, что у Дика чуть не брызнула кровь из-под ногтей. Дик оробел под его взглядом. В глазах герцога он прочел безумную отвагу и жестокость, и сердце его сжалось от страха за будущее. Этот юный герцог действительно был храбрец, сражавшийся в первых рядах во время войны; но и после битв, в дни мира, в кругу преданных людей, он, казалось, все так же будет сеять смерть.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БИТВА ПРИ ШОРБИ (окончание)

Дик, снова предоставленный самому себе, огляделся. Стреляли реже, чем раньше. Враг отступал повсюду; большая часть площади была уже совсем пуста; снег местами превратился в оранжевую грязь, местами покрылся запекшейся кровью; вся площадь была усеяна трупами людей и лошадей, и оперенные стрелы торчали густо, точно щетина.

Потери Дика были огромны. Въезд в уличку и обломки баррикады были завалены убитыми и умирающими; перед битвой у него было сто человек, теперь у него не осталось и семидесяти, способных держать оружие.

Время, впрочем, было на его стороне. Каждую минуту могли прийти свежие подкрепления; и ланкастерцы, измученные своею отчаянной, но безуспешной атакой, не очень-то были настроены противостоять новому вторжению.

В стене одного из крайних домов были солнечные часы, и при свете морозного зимнего солнца они показывали десять часов утра.

Дик обернулся к стоявшему позади маленькому, невзрачному на вид стрелку, который перевязывал себе руку.

— Славная была битва,— сказал он,— и, клянусь, им не захочется снова на нас нападать.

— Сэр,— сказал маленький стрелок,— вы хорошо сражались за Йоркский дом и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил такой пост человеку, которого совсем не знал. Но берегите свою голову, сэр Ричард! Если вы будете побеждены, если вы отступите хоть на один шаг, вас ждет секира или веревка. Я приставлен сюда, чтобы следить за вами, и мне поручено, если вы покажетесь мне подозрительным, прикончить вас ударом в спину.

Дик с изумлением взглянул на маленького человечка.

— Тебе! — вскричал он.— Ударом в спину!

— Совершенно верно,— ответил стрелок,— и так как мне не нравится такое поручение, я вам все рассказал. Вы должны быть осторожны, сэр Ричард, иначе вам грозит опасность. О, наш Горбун — храбрый малый и славный воин, но любит, чтобы все в точности исполняли его приказания. Всякого, кто не исполнит какого-нибудь его повеления, убивают.

— Святые угодники! — вскричал Ричард.— Неужели это правда? И неужели люди идут за таким вождем?

— Идут с радостью,— ответил стрелок.— Он строго наказывает, но зато и щедро награждает. Он не жалеет чужого пота и крови, но не щадит и себя; в бою он всегда в первом ряду, спать он всегда ложится последним. Он далеко пойдет, горбатый Дик Глостер!

Молодой рыцарь и раньше был смел и бдителен, а теперь стал еще храбрее и внимательнее. Он начал понимать, что внезапная любовь герцога несла в себе и опасность. Отвернувшись от стрелка, он еще раз тревожно оглядел площадь. Она была по-прежнему пуста.

— Не нравится мне это спокойствие,— сказал он.— Вероятно, они готовят нам какую-нибудь неожиданность.

Словно в ответ на его слова, к баррикаде снова начали подходить стрелки, и снова густо посыпались стрелы. Но что-то нерешительное было в этом нападении. Стрелки точно чего-то ожидали.

Дик беспокойно глядел по сторонам, стараясь догадаться, где же скрыта опасность. И вдруг из окон и дверей маленького дома, стоявшего в центре улицы, хлынул поток ланкастерских стрелков. Выскочив оттуда, они быстро построились в ряды, натянули луки и стали осыпать стрелами отряд Дика с тыла.

И сразу же те, которые нападали на Дика с рыночной площади, усилили стрельбу и стали решительно подступать к баррикаде.

Дик вызвал из домов всех своих воинов, построил их, сказал им несколько ободряющих слов, и отряд его стал отстреливаться, хотя неприятельские стрелы теперь сыпались с двух сторон.

Между тем все в новых и новых домах открывались настежь двери и окна, и оттуда с победоносными кликами выбегали и выскакивали все новые и новые ланкастерцы, и наконец в тылу у Дика стало почти столько же врагов, сколько их было впереди. Он увидел, что свою позицию ему не удержать; мало того, даже если бы он ее удержал, позиция эта была теперь бесполезной. Вся армия йоркистов очутилась в безнадежном положении, ей грозил полный разгром.

Те, которые напали на Дика с тыла, представляли главную опасность, и Дик, повернувшись, повел свой отряд на них. Атака его была так стремительна, что ланкастерские стрелки дрогнули, отступили и в конце концов, смешав свои ряды, снова начали забиваться в дома, из которых только что вылезли с таким победоносным видом.

Тем временем воины, нападавшие с рыночной площади, перелезли через никем не защищаемую баррикаду, и Дику снова пришлось повернуться, чтобы отогнать их.

Отвага его воинов опять одержала верх. Они очистили улицу от врагов и торжествовали, но в это время из домов снова выскочили стрелки и в третий раз напали на них с тыла.

Йоркистов мало-помалу рассеивали во все стороны. Не раз Дик оказывался один среди врагов и вынужден был усиленно работать мечом, чтобы спасти свою жизнь;

не раз его ранили. А между тем битва на улице продолжалась все еще без решительного исхода.

Внезапно Дик услыхал громкие звуки трубы; они доносились с окраин. Повторяемый множеством ликующих голосов, к небу взлетел боевой клич йоркистов. Неприятель, дрогнув, бросился из переулка на рыночную площадь. Кто-то громко крикнул: «Бежим!» Трубы гремели как безумные; одни из них трубили сбор, другие призывали к наступлению. Было ясно, что ланкастерцам нанесен сильный удар и что они, во всяком случае на время, отброшены и смяты.

Затем, словно в театре, разыгрался последний акт битвы при Шорби. Воины, нападавшие на Дика, повернули, словно собаки, которых хозяин свистнул домой, и помчались с быстротой ветра. Им вдогонку через рыночную площадь пронесся вихрь всадников; ланкастерцы, оборачиваясь, отбивались мечами, а йоркисты кололи их копьями.

В самой гуще битвы Дик увидел Горбуна. Он уже в то время показывал задатки той яростной храбрости и умения биться на поле брани, которые многие годы спустя, в сражении при Босуорте, когда Ричард был уже запятнан преступлениями, чуть не решили исход битвы и судьбу английского престола. Увертываясь от ударов, топча павших, рубя направо и налево, он так искусно управлял своим могучим конем, так ловко защищался, такие стремительные удары расточал врагам, что вскоре оказался далеко впереди своих могучих рыцарей; окровавленным мечом пробивал он дорогу прямо к лорду Райзингэму, собравшему вокруг себя самых храбрых ланкастерцев. Еще мгновение — и они должны были встретиться: высокий, величественный, прославленный воин и безобразный, болезненный юноша.

Тем не менее Шелтон не сомневался в исходе поединка; и когда на мгновение поредели ряды, он увидел, что граф исчез, а Дик-Горбун, размахивая мечом, снова гонит своего коня в самую гущу битвы.

Так, благодаря отваге Шелтона, удержавшего вход в улицу при первой атаке, и благодаря тому, что подкрепление из семисот человек прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под проклятым именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

РАЗГРОМ ШОРБИ

Враги исчезли бесследно. Дик, с грустью оглядывая остатки своего доблестного войска, стал подсчитывать, во что обошлась победа. Теперь, когда опасность миновала, он чувствовал себя таким утомленным, больным и разбитым, раны и ушибы его так ныли, бой так измучил его, что, казалось, он уже ни к чему не был способен.

Но для отдыха время еще не пришло. Шорби был взят приступом, и, хотя беззащитных жителей никак нельзя было обвинить в сопротивлении, было очевидно, что свирепые воины будут не менее свирепы после окончания битвы и что самое ужасное еще впереди. Ричард Глостер был не из тех вождей, которые защищают горожан от своих разъяренных солдат; впрочем, даже если бы он и захотел их защитить, еще вопрос — послушались ли бы его.

Вот почему Дик должен был во что бы то ни стало разыскать Джоанну и взять ее под свою защиту. Он внимательно оглядел лица своих воинов. Выбрав троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он отозвал их в сторону и, пообещав щедро наградить и рассказать о них герцогу, повел их через опустевшую рыночную площадь в отдаленную часть города.

Там и сям на улице происходили еще небольшие стычки; там и сям осаждали какой-нибудь дом, и осажденные швыряли столы и стулья на головы осаждающих. Снег был усеян оружием и трупами; впрочем, если не считать участников этих маленьких стычек, улицы были пустынны; в одних домах двери были распахнуты настежь, в других они были закрыты и забаррикадированы. И только редко где из трубы тянулся дымок.

Дик, осторожно обходя дерущихся, быстро повел своих спутников по направлению к монастырской церкви; но когда он подошел к главной улице, крик ужаса сорвался с его уст. Большой дом сэра Дэниэла был взят приступом, разбитые в щепки ворота болтались на петлях, и толпы людей хлынули в дом за добычей. Однако в верхних этажах грабителям оказывали некоторое сопротивление, и как раз в то мгновение, когда подошел Дик, окно наверху распахнулось, и какого-то бедняту в темно-красном

и синем, кричащего и сопротивляющегося, выбросили на улицу.

Самые мрачные опасения овладели Диком. Как безумный, бросился он вперед, расталкивая встречных, и, не останавливаясь, добежал до комнаты в третьем этаже, где расстался с Джоанной. Здесь царил полный разгром: мебель была разбросана, шкафы раскрыты, ковер, сорванный со стены, тлел, подожженный искрой, упавшей из камина.

Дик почти машинально затоптал начинавшийся пожар и остановился в отчаянии. Сэр Дэниэл, сэр Оливер, Джоанна — все исчезли. Но кто мог сказать, убиты ли они во время побоища или выбрались из Шорби невредимыми?

Он схватил проходившего мимо стрелка за плащ.

— Молодец,— спросил он,— ты был здесь, когда брали дом?

— Пусти! — сказал стрелок.— Пусти, а не то я ударю!

— Я тоже могу ударить,— ответил Ричард.— Стой и рассказывай!

Но воин, разгоряченный битвой и вином, одной рукой ударил Дика по плечу, а другой вырвал полу своего плаща. Тут молодой предводитель не в силах был сдержать свой гнев. Он схватил стрелка в могучие свои объятия и, как ребенка, прижал к своей закованной груди; потом, поставив его перед собой, приказал ему говорить.

— Прошу вас, сжальтесь! — задыхаясь, проговорил стрелок.— Если бы я знал, что вы такой сердитый, я был бы осторожнее. Я видел, как брали этот дом.

— Знаешь ли ты сэра Дэниэла? — спросил Дик.

— Очень хорошо его знаю,— ответил стрелок.

— Был он в доме?

— Да, сэр,— сказал стрелок.— Но как только мы ворвались во двор, он убежал через сад.

— Один? — вскричал Дик.

— Нет, с ним было человек двадцать солдат,— ответил стрелок.

— Солдат! А женщин не было? — спросил Шелтон.

— Право, не знаю,— сказал стрелок.— В доме мы не нашли ни одной женщины.

— Благодарю тебя,— сказал Дик.— Вот тебе монета за труды.— Но, порывшись у себя в сумке, Дик ничего не нашел.— Завтра спросишь меня,— прибавил он.— Ричард

Шелтон. Сэр Ричард Шелтон,— поправился он.— Я щедро вознагражу тебя.

Вдруг в голове у Дика мелькнула догадка. Он поспешно спустился во двор, что было духу промчался через сад и очутился у главного входа церкви. Церковь была открыта настежь. Ее переполняли горожане с семьями; она была набита их имуществом, а в главном алтаре священники в полном облачении молили бога о милости. Когда Дик вошел, громкий хор загремел под высокими сводами.

Он поспешно растолкал беглецов и подошел к лестнице, которая вела на колокольню. Но тут высокий священник встал перед ним и загородил ему дорогу.

— Куда ты, сын мой? — сурово спросил он.

— Отец мой,— ответил Дик,— я послан сюда по важному делу. Не останавливайте меня. Я здесь распоряжаюсь именем Глостера.

— Именем милорда Глостера? — повторил священник.— Неужели битва окончилась так печально?

— Битва, отец мой, окончилась, ланкастерцы разгромлены, милорд Райзингэм — упокой господи его душу! — остался на поле битвы. А теперь, с вашего позволения, я буду делать то, ради чего пришел.

И, отстранив священника, пораженного новостями, Дик толкнул дверь и побежал вверх по лестнице, прыгая сразу через четыре ступени, не останавливаясь и не спотыкаясь, покуда не вышел на открытую площадку.

С колокольни он увидел, как на карте, не только город Шорби, но и все, что его окружало,— и сушу и море. Время близилось к полудню; день был ослепительный, снег сверкал. Дик поглядел вокруг и, как на ладони, увидел все последствия битвы.

Неясный, глухой шум стоял над улицами, то тут, то там изредка раздавался лязг стали. Ни одного корабля, ни одной лодки не осталось в гавани, зато в открытом море было множество парусных и гребных судов, наполненных беглецами. А на суше, по засыпанным снегом лугам, мчались кучки всадников; одни из них старались пробиться к лесам, а другие, без сомнения, йоркисты, смело останавливали их и гнали обратно в город. Всюду, куда ни кинешь взор, валялись трупы лошадей и людей, отчетливо видные на снегу.

Пехотинцы, которые не нашли себе места на судах, все еще продолжали отстреливаться в порту под прикры-

тием прибрежных кабаков. Многие дома пылали; в морозном солнечном сиянии дым подымался высоко и улетал в море.

Кучка всадников, мчавшаяся по направлению к Холивуду и уже приблизившаяся к опушке леса, привлекла внимание молодого наблюдателя на колокольне. Их было довольно много, этих всадников,— это был самый крупный из отступающих ланкастерских отрядов. Они оставляли за собой на снегу широкий след, и по этому следу Дик видел весь путь, проделанный ими с той минуты, когда они выехали из города.

Пока Дик наблюдал за ними, они беспрепятственно достигли опушки оголенного леса; здесь они свернули в сторону, и луч солнца на мгновение озарил их одежды, отчетливо видные на фоне темных деревьев.

— Темно-красный и синий!—вскричал Дик.— Клянусь, темно-красный и синий!

И кинулся вниз по лестнице.

Теперь прежде всего нужно было отыскать герцога Глостера, так как в этом всеобщем беспорядке один только герцог мог дать ему отряд воинов. Сражение в центре города было, в сущности, окончено. Бегая по городу в поисках герцога, Дик видел, что улицы полны слоняющимися солдатами; одни из них шатались под тяжестью добычи, другие были пьяны и орали. Никто из них не имел ни малейшего представления о том, где находится герцог. Дик совершенно случайно увидел герцога, когда тот, сидя на коне, отдавал распоряжение выбить вражеских стрелков из гавани.

— Сэр Ричард Шелтон,— сказал он,— вы пришли вовремя. Я обязан вам и тем, что ценю мало,— своей жизнью, и тем, за что никогда не в состоянии буду отплатить вам,— победой... Кэтсби, если бы у меня было десять таких командиров, как сэр Ричард, я мог бы идти прямо на Лондон!.. Ну, сэр, требуйте себе награды.

— Требую открыто, милорд,— сказал Дик,— открыто и во всеуслышание. Человек, которого я ненавижу, убежал и увез с собой девушку, которую я люблю и почитаю. Дайте мне пятьдесят воинов, чтобы я мог догнать их, и ваша милость будет полностью освобождена от всяких обязательств по отношению ко мне.

— Как зовут этого человека? — спросил герцог.

— Сэр Дэниэл Брэкли,— ответил Ричард.

— Ловите этого перебежчика!—вскричал Глостер.—Это не награда, сэр Ричард. Вы оказываете мне новую услугу. Если вы принесете мне его голову, мой долг вам только увеличится... Кэтсби, дай ему солдат... А вы тем временем обдумайте, сэр, какую я могу доставить вам радость, честь или выгоду.

Как раз в эту минуту йоркисты взяли один из портовых кабаков, окружив его с трех сторон, и захватили в плен его защитников. Горбатый Дик был доволен этим подвигом и, подъехав к кабаку, приказал показать ему пленников.

Их было четверо: двое слуг милорда Шорби, один слуга лорда Райзингэма и, наконец, последний — но не последний в глазах Дика — высокий седеющий старый моряк, неуклюжий и полупьяный, за которым по пятам, визжа и прыгая, следовала собака. Молодой герцог сурово оглядел их.

— Повесить! — сказал он.

И повернулся, чтобы наблюдать за ходом битвы.

— Милорд,— сказал Дик,— теперь я знаю, что попросить у вас в награду. Даруйте жизнь и свободу этому старому моряку.

Глостер обернулся и глянул Дику в лицо.

— Сэр Ричард,— сказал он,— я сражаюсь не павлиньими перьями, а стальными стрелами и без всякого сожаления убиваю своих врагов. В английском королевстве, разодранном на клочки, у каждого моего сторонника есть брат или друг во вражеской партии. И если бы я начал раздавать помилования, мне пришлось бы вложить меч в ножны.

— Возможно, милорд. Но я хочу быть дерзким и, рискуя навлечь на себя ваше нерасположение, напомню вам ваше обещание.

Ричард Глостер вспыхнул.

— Запомните хорошенько,— сурово сказал он,— что я не люблю ни милосердия, ни торговли милосердием. Сегодня вы положили основание блестящей карьере. Если вы будете настаивать на исполнении данного вам слова, я уступлю. Но, клянусь небом, на этом и кончатся мои милости!

— Я вынужден смириться с потерей ваших милостей,— сказал Дик.

— Дайте ему его моряка,— сказал герцог и, тронув своего коня, повернулся спиной к молодому Шелтону.

Дик не был ни опечален, ни обрадован. Он уже достаточно изучил юного герцога и не полагался на его благосклонность; слишком быстро и легко она возникла и потому не внушала большого доверия. Он боялся только одного: как бы мстительный вождь не отказался дать солдат. Но он неверно судил о чести Глостера (какова бы она ни была) и, главное, о его твердости. Если он уже однажды решил, что Дик должен преследовать сэра Дэниэла, он не менял своего решения; он громко приказал Кэтсби поторопиться, напоминая ему, что рыцарь ждет.

Между тем Дик повернулся к старому моряку, который, казалось, был равнодушен и к грозившей ему казни и к внезапному освобождению.

— Арблестер,— сказал Дик,— я причинил тебе много зла. Но теперь, клянусь распятием, мы в расчете.

Однако старый моряк только тупо взглянул на него и промолчал.

— Жизнь все же есть жизнь, старый ворчун,— продолжал Дик,— и стоит она больше, чем корабли и вина. Ну, скажи, что прощаешь меня. Если твоя жизнь тебе ничего не стоит, то мне она стоила всей моей будущности. Я дорого заплатил за нее. Ну, не будь же таким неблагодарным.

— Если бы у меня был мой корабль,— сказал Арблестер,— я находился бы в открытом море в безопасности вместе с моим матросом Томом. Но ты отнял у меня корабль, кум, и я нищий; а моего матроса Тома застрелил какой-то негодяй. «Чтоб тебе издохнуть!» — промолвил Том, умирая, и больше никогда не скажет ни слова. «Чтоб тебе издохнуть!» — были его последние слова, и бедная душа его отлетела. Я никогда уже больше не буду плавать с моим бедным Томом.

Раскаяние и жалость охватили Дика; он пытался взять шкипера за руку, но Арблестер отдернул руку.

— Нет,— сказал он,— оставь. Ты сыграл со мной дьявольскую шутку и будь доволен этим.

Слова застряли у Ричарда в горле. Сквозь слезы видел он, как бедный старик, вне себя от горя, опустив голову, шатаясь, побрел по снегу, не замечая собаки, скулившей у его ног. И в первый раз Дик понял, какую безнадежную

игру мы ведем в жизни и что сделанное однажды нельзя ни изменить, ни исправить никаким раскаянием.

Но у него не было времени предаваться напрасным сожалениям. Кэтсби собрал всадников, подъехал к Дику, соскочил на землю и предложил ему своего коня.

— Сегодня утром,— сказал он,— я немного завидовал вашему успеху. Но успех ваш оказался непрочным, и сейчас, сэр Ричард, я от души предлагаю вам эту лошадь, чтобы вы на ней ускакали прочь.

— Объясните мне,— сказал Дик,— чем был вызван мой успех?

— Вашим именем,— ответил Кэтсби.— Имя — главный предрассудок милорда. Если бы меня звали Ричардом, я завтра же был бы графом.

— Благодарю вас, сэр,— ответил Дик.— И так как маловероятно, что я добьюсь новых милостей, позвольте мне попрощаться с вами. Не стану утверждать, будто я равнодушен к успеху; однако я не очень огорчен, распростившись с ним. Власть и богатство, конечно, славные вещи, но, между нами, ваш герцог — страшный человек.

Кэтсби рассмеялся.

— Да,— сказал он,— но тот, кто едет за Горбатым Диком, может уехать далеко. Ну, да хранит вас бог от всякого зла! Желаю вам удачи!

Дик встал во главе своего отряда и, приказав ему следовать за собой, двинулся в путь. Он проехал через город, полагая, что следует по стопам сэра Дэниэла, и все время оглядывался кругом в надежде найти доказательства, которые бы подтверждали справедливость его предположения. Улицы были усеяны мертвыми и ранеными; положение раненых в такой морозный день было весьма печальным. Шайки победителей ходили из дома в дом, грабя, убивая, распевая песни.

Со всех сторон до Дика доносились крики ограбленных и обиженных; он слышал то удары молота в чью-нибудь забаррикадированную дверь, то горестные вопли женщин.

Сердце Дика только что пробудилось. Он впервые увидел жестокие последствия своих собственных поступков; мысль обо всех несчастьях, обрушившихся на город Шорби, наполняла его душу отчаянием.

Наконец он достиг предместий города и нашел ши-

рокий, утоптанный след на снегу, замеченный им с колокольни. Он поскакал быстрее, внимательно вглядываясь в трупы людей и лошадей, лежавших по обе стороны тропы. Многие из убитых были одеты в цвета сэра Дэниэла, и Дик даже узнавал лица тех, которые лежали на спине.

Между городом и лесом на отряд сэра Дэниэла, очевидно, напали стрелки; здесь всюду валялись трупы, пронзенные стрелами. Среди лежавших Дик заметил юношу, лицо которого показалось ему странно знакомым.

Он остановился, слез с лошади и приподнял голову юноши. От этого движения капюшон откинулся, и длинные, густые темные волосы рассыпались по плечам. Юноша открыл глаза.

— А! Укротитель львов! — произнес слабый голос.— Она впереди. Скачите скорей!

И бедняжка снова лишилась сознания.

У одного из воинов Дика была с собой фляжка с каким-то крепким вином, и при помощи этого напитка Дику удалось привести ее в чувство. Он усадил подругу Джоанны к себе на седло и поскакал к лесу.

— Зачем вы подняли меня? — сказала девушка.— Я вас только задерживаю.

— Нет, госпожа Райзингэм,— ответил Дик.— Шорби полон крови, пьянства и разгула. А со мной вы в безопасности. Будьте довольны этим.

— Я не хочу быть обязанной никому из вашей партии! — вскричала она.— Пустите меня!

— Сударыня, вы не знаете, что говорите,— ответил Дик.— Вы ранены...

— Нет,— сказала она,— у меня убита лошадь, а я цела.

— Я не могу вас оставить одну в снежном поле, среди врагов,— ответил Ричард.— Хотите вы или не хотите, а я возьму вас с собой. Я счастлив, что мне представился такой случай, ибо он дает мне возможность заплатить вам хоть часть моего долга.

Она промолчала. Потом внезапно спросила:

— А мой дядя?

— Милорд Райзингэм?— переспросил Дик.— Хотел бы я принести вам добрые вести, но у меня их нет. Я видел его раз во время битвы, только один раз... Будем надеяться на лучшее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НОЧЬ В ЛЕСУ. АЛИСИЯ РАЙЗИНГЭМ

Сэр Дэниэл, по всей видимости, держал путь в замок Мот, но из-за глубокого снега, позднего времени, необходимости избегать больших дорог и пробираться только лесом он не мог надеяться попасть в замок до утра.

Дик стоял перед выбором: либо по-прежнему идти по следам рыцаря и, если удастся, напасть на него ночью, когда он расположится в лесу лагерем, либо выбрать себе другую дорогу и пойти сэру Дэниэлу наперерез.

Оба плана вызывали серьезные возражения, и Дик, боявшийся, как бы Джоанна в бою не подверглась опасности, доехал до опушки леса, так и не решив, на котором из них остановиться.

Здесь сэр Дэниэл свернул налево и затем углубился в величественную лесную чащу. Он растянул свой отряд узкой лентой, чтобы легче было двигаться между деревьями, и след на снегу здесь был гораздо глубже. Этот след шел все прямо и прямо под оголенными дубами; деревья подымали над ним узловатые сучья и дремучие хитросплетения ветвей. Не слышно было ни человека, ни зверя; не слышно было даже пения реполова; лучи зимнего солнца золотили снег, исчерченный сложным узором теней.

— Как, по-твоему,— спросил Дик у одного из воинов,— скакать ли нам за ними или двигаться наперерез?

— Сэр Ричард,— ответил воин,— я бы скакал вслед за ними до тех пор, пока они не разъедутся в разные стороны.

— Ты, конечно, прав,— сказал Дик,— но мы собрались в дорогу слишком поспешно и не успели как следует подготовиться к походу. Здесь нет домов, некому нас приютить и накормить, и вплоть до завтрашнего утра мы будем и голодать и мерзнуть... Что вы скажете, молодцы? Согласны ли вы потерпеть немного, чтобы добиться удачи? Если вы не согласны, мы можем повернуть в Холивуд и поужинать там за счет святой церкви. Я не уверен в успехе нашего похода и потому никого не принуждаю. Но если вы хотите послушать моего совета, выбирайте первое.

Все в один голос ответили, что последуют за сэром Ричардом, куда он пожелает.

И Дик, пришпорив коня, снова двинулся вперед.

Снег на следу был плотно утоптан, и догонявшим было легче скакать, чем удиравшим. Отряд Дика мчался крупной рысью; двести копыт стучали по твердому снегу; лязг оружия и фырканье лошадей создавали воинственный шум под сводами безмолвного леса.

Наконец широкий след вывел их к большой дороге, которая вела на Холивуд, и здесь потерялся. И когда немного дальше след этот снова появился на снегу, Дик с удивлением заметил, что он стал гораздо у́же и снег на нем не так хорошо утоптан. Очевидно, воспользовавшись хорошей дорогой, сэр Дэниэл разделил свой отряд на две части.

Так как шансы казались одинаковыми, Дик поехал прямо, по главному следу. Через час он был уже в самой чаще леса. И вдруг общий след разделился на десятки разрозненных следов, которые разбегались во все стороны.

Дик в отчаянии остановил коня. Короткий зимний день подходил к концу; матовый красно-оранжевый шар солнца медленно опускался за голыми сучьями деревьев; тени, бежавшие по снегу, растянулись на целую милю; мороз жестоко кусал кончики пальцев; пар вздымался над конями, смешивался с застывающим дыханием людей и облаком летел вверх.

— Нас перехитрили,— признался Дик.— Придется в конце концов ехать в Холивуд. Судя по солнцу, до Холивуда ближе, чем до Тэнстолла.

Они повернули налево, подставив красному щиту солнца свои спины, и направились к аббатству. Но теперь перед ними не было дороги, утоптанной неприятелем. Им приходилось медленно пробираться по глубокому снегу, поминутно утопая в сугробах и беспрестанно останавливаясь, чтобы обсудить, куда ехать дальше. И вот солнце зашло совсем; свет на западе погас; они блуждали по лесу в полной тьме, под морозными звездами.

Скоро взойдет луна и озарит вершины холмов; тогда легко будет двигаться вперед. Но до тех пор один необдуманный шаг — и они собьются с дороги. Им ничего не оставалось, как расположиться лагерем и ждать.

Расставив часовых, они очистили от снега небольшую площадку и после нескольких неудачных попыток разожгли костер. Воины уселись вокруг огня, делясь скудными запасами еды, и пустили фляжку вкруговую. Дик выбрал лучшие куски из грубой и скудной пищи и спес их пле-

мянице лорда Райзингэма, сидевшей под деревом, в стороне от солдат.

Ей подстелили конскую попону и дали накинуть на плечи другую; она сидела, устремив взор на огонь. Когда Дик предложил ей поесть, она вздрогнула, словно ее разбудили, и молча отказалась.

— Сударыня,— сказал Дик,— умоляю вас, не наказывайте меня так жестоко. Не знаю, чем я оскорбил вас. Правда, я увез вас силой, но из дружеских побуждений, я заставляю вас ночевать в лесу, но моя поспешность происходит оттого, что надо спасти другую девушку, такую же слабую и беззащитную, как вы. И, наконец, сударыня, не наказывайте себя и поешьте хоть немножко. Даже если вы не голодны, вы должны поесть, чтобы поддержать свои силы.

— Я не приму пищу из рук человека, убившего моего дядю,— ответила она.

— Сударыня! — вскричал Дик.— Клянусь вам распятием, я не дотронулся до него!

— Поклянитесь мне, что он еще жив,— сказала она.

— Я не хочу лукавить,— ответил Дик.— Сострадание приказывает мне огорчить вас. В глубине души я убежден, что его нет в живых.

— И вы осмеливаетесь предлагать мне еду!—воскликнула она.— А! Вас теперь величают сэром Ричардом! Мой добрый дядюшка убит, и за это вас посвятили в рыцари. Если бы я не оказалась такой дурочкой, а заодно и изменницей, если бы я не спасла вас в доме вашего врага, погибли бы вы, а он — он, который стóит дюжины таких, как вы,— он был бы жив!

— Подобно вашему дяде, я делал все, что мог, для своей партии,— ответил Дик.— Если бы он был жив,— клянусь небом, я желал бы этого! — он одобрил бы, а не порицал меня.

— Сэр Дэниэл говорил мне,— ответила она,— что видел вас на баррикаде. Если бы не вы, говорил он, ваша партия была бы разбита; это вы выиграли сражение. Значит, это вы убили моего доброго лорда Райзингэма. И, даже не умыв рук после убийства, вы предлагаете мне есть вместе с вами? Сэр Дэниэл поклялся погубить вас. Он отомстит за меня!

Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумье. Он вспомнил старого Арблестера и громко застонал.

— И вы считаете, что на мне лежит такой грех? — сказал он.— Вы, защищавшая меня? Вы, подруга Джоанны?

— Зачем вы вмешались в битву?—возразила она.—Вы вне партий, вы всего только мальчик, руки, ноги и туловище, не управляемые разумом! Из-за чего вы сражались? Единственно из любви к насилию!

— Я и сам не знаю, из-за чего я сражался! — вскричал Дик.— Но так уже водится в английском королевстве, что если бедный джентльмен не сражается на одной стороне, он непременно должен сражаться на другой. Он не может не сражаться, это противоестественно.

— Тот, у кого нет своих убеждений, не должен вытаскивать меча из ножен,— ответила молодая девушка.— Вы, случайно принимающий участие в битве,— чем вы лучше мясника? Войну облагораживает только цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее.

— Сударыня,— ответил несчастный Дик,— я вижу свою ошибку. Я слишком поторопился... я действовал преждевременно. Я украл корабль, думая, что поступаю хорошо, и этим погубил много невинных и причинил горе бедному старику, встреча с которым, словно кинжал, пронзила меня сегодня. Я добивался победы и славы только для того, чтобы жениться, и вот чего я достиг! Из-за меня погиб ваш дядя, который был так добр ко мне! Увы, я посадил Йорка на трон, а это, быть может, принесет Англии только горе! О сударыня, я вижу свой грех! Я не гожусь для этой жизни. Как только все кончится, я уйду в монастырь, чтобы молиться и каяться до конца дней своих. Я откажусь от Джоанны, откажусь от военного ремесла. Я буду монахом и до самой смерти буду молиться за душу вашего бедного дяди...

Униженному, полному раскаяния Дику вдруг почудилось, что юная леди рассмеялась.

Подняв голову, он увидел при свете костра, что она смотрит на него как-то странно, но совсем не сердито.

— Сударыня! — воскликнул он, полагая, что смех только послышался ему, хотя ее изменившееся лицо внушало ему надежду, что он тронул ее сердце.— Сударыня, вам мало этого? Я отказываюсь от всех радостей жизни, чтобы загладить зло, которое я причинил. Я своими молитвами обеспечу рай лорду Райзингэму. Я отказываюсь от всего в тот самый день, когда был посвящен в рыцари и считал себя счастливейшим молодым джентльменом на земле!

— О мальчик,— сказала она,— славный мальчик!

И, к величайшему изумлению Дика, она сначала очень нежно отерла слезы с его щек, а потом, точно подчиняясь внезапному побуждению, обвила его шею руками, привлекла к себе и поцеловала. И простодушный Дик совсем смутился.

— Вы здесь начальник,— очень весело сказала она,— и вы должны есть. Почему вы не ужинаете?

— Дорогая госпожа Райзингэм,— ответил Дик,— я хочу, чтобы пленница моя поела первой. Сказать по правде, раскаяние мешает мне глядеть на пищу. Я должен поститься и молиться, дорогая леди.

— Зовите меня Алисией,— сказала она.— Ведь мы с вами старые друзья, не так ли? А теперь давайте я буду есть вместе с вами: я — кусок, и вы — кусок, я — глоток, и вы — глоток. Если вы ничего не будете есть, и я не буду; а если вы съедите много, и я наемся, как пахарь.

С этими словами она принялась за еду, и Дик, у которого был прекрасный аппетит, последовал ее примеру, сначала с неохотой, но постепенно со все большим воодушевлением и усердием. В конце концов он даже позабыл следить за той, которая служила ему примером, и хорошенько вознаградил себя за труды и волнение дня.

— Укротитель львов,— сказала она наконец,— разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?

Луна уже взошла, и теперь они только ждали, когда отдохнут усталые кони. При лунном свете все еще раскаивающийся, но уже сытый Ричард заметил, что она смотрит на него почти кокетливо.

— Сударыня...— начал было он и запнулся, удивленный такой переменой.

— Ну,— перебила она,— отпираться бесполезно. Джоанна рассказала мне все. Но, сэр — укротитель львов, взгляните-ка на меня, разве я так уж некрасива? А?

И она сверкнула глазами.

— Вы несколько малы ростом...— начал Дик.

Она звонко захохотала, окончательно смутив его и сбив с толку.

— Мала ростом! — вскричала она.—Нет, будьте столь же честны, сколь вы отважны; я карлица, ну, может быть, чуть-чуть повыше карлицы. Но, признайтесь, несмотря на свой рост, я все же довольно хороша. Разве не так?

— О сударыня, вы очень хороши,— сказал многостра-

дальный рыцарь, делая жалкую попытку казаться развязным.

— И всякий мужчина был бы очень рад жениться на мне? — продолжала она свой допрос.

— О сударыня, разумеется! — согласился Дик.

— Зовите меня Алисией,— сказала она.

— Алисия! — сказал сэр Ричард.

— Ну, хорошо, укротитель львов,— продолжала она.— Так как вы убили моего дядю и оставили меня без поддержки, вы, по чести, должны возместить мне это. Не так ли?

— Конечно, сударыня,— сказал Дик.— Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виновным в смерти этого храброго рыцаря.

— А, так вы хотите увернуться! — вскричала она.

— Нет, сударыня. Я уже говорил вам, что, если вы желаете, я даже готов стать монахом,— сказал Ричард.

— Значит, по чести, вы принадлежите мне? — заключила она.

— По чести, сударыня, я полагаю...— начал молодой человек.

— Перестаньте!— перебила она.— У вас и так слишком много уловок. По чести, разве вы не принадлежите мне до тех пор, покуда не загладите содеянное вами зло?

— По чести, да,— сказал Дик.

— Ну, так слушайте,— продолжала она.— Мне кажется, из вас вышел бы плохой монах. И так как я могу располагать вами, как мне заблагорассудится, я возьму вас себе в мужья... Ни слова! — воскликнула она.— Слова вам не помогут. Справедливость требует, чтобы вы, лишивший меня одного дома, заменили бы мне этот дом другим. А что касается Джоанны, то, поверьте, она первая одобрит такую замену. В конце концов, раз мы с ней такие близкие подруги, не все ли равно, на которой из нас вы женитесь? Никакой разницы!

— Сударыня,— сказал Дик,— только прикажите, и я пойду в монастырь. Но ни по принуждению, ни из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, кроме Джоанны Сэдли. Простите меня за откровенность, но, когда девушка смела, несчастному мужчине приходится быть еще смелее.

— Дик,— сказала она,— милый мальчик, вы должны подойти и поцеловать меня за эти слова... Нет, не бойтесь,

вы поцелуете меня за Джоанну, а когда мы встретимся, я возвращу ей поцелуй и скажу, что украла его у нее. А что касается вашего долга мне, дорогой простачок, я думаю, не вы один участвовали в этом большом сражении. И даже если Йорк будет на троне, то не вы посадили его на трон. Но у вас хорошее, доброе и честное сердце, Дик. Если бы я была способна позавидовать хоть чему-нибудь из того, что есть у Джоанны, я позавидовала бы только вашей любви к ней.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НОЧЬ В ЛЕСУ (окончание). ДИК И ДЖОАННА

Тем временем лошади прикончили скудный запас корма и вполне отдохнули. По приказанию Дика костер засыпали снегом. Пока его люди снова устало садились в седло, он сам, несколько поздно вспомнив о предосторожностях, необходимых в лесу, выбрал высокий дуб и быстро взобрался на самую верхнюю ветку. Отсюда ему видна была лесная даль, занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе темнел тот заросший вереском холм, где его и Джоанну когда-то так напугал «прокаженный». На склоне этого холма он заметил ярко-красное пятнышко величиной с булавочную головку.

Он выругал себя за то, что так поздно влез на дерево. Что, если это яркое пятнышко — костер в лагере сэра Дэниэла? Ведь он уже давно мог заметить его и подойти к нему. И уж, во всяком случае, не следовало разрешать своим воинам разводить костер, который, вероятно, выдал их сэру Дэниэлу. Нельзя было больше терять ни минуты. Напрямик до холма было около двух миль; но на пути нужно было пересечь глубокий, обрывистый овраг, по которому нельзя было проехать верхом, и Дик решил, что, спешившись, они скорее доберутся до места. Оставив десять человек сторожить лошадей и договорившись об условном сигнале, Дик повел свой отряд вперед. Рядом с ним отважно шагала Алисия Райзингэм.

Чтобы облегчить себя, солдаты сняли тяжелые латы и оставили копья. Они бодро шли по замерзшему снегу, озаренному веселым лунным сиянием. Молча, в полном по-

рядке перешли они через овраг, на дне которого ручей со стоном рвался сквозь снег и лед. За оврагом, в полумиле от замеченного Диком костра, отряд остановился, чтобы передохнуть перед нападением.

В безмолвии громадного леса малейший звук был слышен издалека. Алисия, у которой был тонкий слух, предостерегающе подняла палец и остановилась, прислушиваясь. Все последовали ее примеру, но, кроме глухого шума ручья да отдаленного лисьего лая, Дик, как он ни напрягал свой слух, не услышал ничего.

— Я слышала сейчас лязг оружия,— прошептала Алисия.

— Сударыня,— ответил Дик, боявшийся этой девушки больше, чем десятка храбрых неприятельских воинов,— я не осмелюсь сказать, что вы ошиблись... однако, быть может, этот звук донесся из нашего лагеря.

— Нет, он донесся с запада,— заявила она.

— Что будет, то будет,— ответил Дик.— Да исполнится воля небес. Нечего раздумывать, пойдем поскорее и узнаем, в чем дело. Вперед, друзья, довольно отдыхать!

По мере того как они продвигались вперед, на снегу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Было ясно, что они приближаются к большому лагерю. Наконец они увидели за деревьями красноватый дым, озаренный снизу, и летящие во все стороны яркие искры.

По приказанию Дика воины развернули свои ряды и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сторон окружить неприятельский лагерь. Сам Дик, оставив Алисию под прикрытием громадного дуба, крадучись направился прямо к костру.

Наконец в просвете между деревьями он увидел весь лагерь. На холмике, покрытом вереском, с трех сторон окруженном чащей, горел костер; языки пламени взвивались с ревом и треском.

Вокруг костра сидело человек двенадцать, закутанных в плащи; но, хотя снег был утоптан так, словно здесь стоял целый полк, Дик тщетно искал взором лошадей. Он с ужасом подумал, что его, быть может, перехитрили. И в ту же минуту он понял, что высокий человек в стальном шлеме, который протягивал руки к огню, был его старый друг и добрый враг Беннет Хэтч; а в двух других, сидящих за Беннетом, он узнал Джоанну Сэдли и жену сэра Дэниэла, одетых в мужское платье.

«Ну что же,— подумал он.— Пусть я и потеряю своих лошадей,— только бы мне добыть мою Джоанну, и я не буду жаловаться!»

И вот раздался тихий свист, означавший, что воины Дика окружили лагерь со всех сторон.

Услышав свист, Беннет вскочил на ноги, но, прежде чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул его.

— Беннет! — сказал он.— Беннет, старый друг, сдавайся. Ты только напрасно прольешь человеческую кровь, если будешь сопротивляться.

— Клянусь святой Барбарой, это мастер Шелтон! — вскричал Хэтч.— Сдаваться? Вы требуете слишком многого. Какие у вас силы?

— Слушайте, Беннет, нас больше, чем вас, и вы окружены,— сказал Дик.— Сам Цезарь и сам Карл Великий просили бы на твоем месте пощады. На мой свист откликаются сорок человек, и одним залпом я могу перестрелять вас всех.

— Мастер Дик,— сказал Беннет,— я бы охотно вам сдался, но совесть не позволяет — я должен исполнить свой долг. Да помогут нам святые!

С этими словами он поднес ко рту рожок и затрубил. Наступило некоторое замешательство. Пока Дик, опасаясь за дам, мешкал начинать бой, маленький отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для круговой обороны — спина к спине, готовясь к отчаянному сопротивлению. Во время этой суматохи Джоанна вскочила и, как стрела, помчалась к своему возлюбленному.

— Я здесь, Дик! — вскричала она, схватив его за руку.

Дик все еще колебался. Он был молод и не привык к неизбежным ужасам войны, и при мысли о старой леди Брэкли слова команды застревали у него в горле. Воины его начали проявлять нетерпение. Некоторые из них окликали его по имени, другие принялись стрелять, не дожидаясь приказания. И первая же стрела сразила бедного Беннета. Тут Дик очнулся.

— Вперед! — крикнул он.— Стреляйте, ребята, и не высовывайтесь из кустов! Англия и Йорк!

Но в это мгновение в ночной тишине внезапно раздался глухой стук множества копыт о снежную дорогу, приближавшийся с невероятной быстротой и становившийся все громче, и рога затрубили в ответ на призыв Хэтча.

— Все сюда! — вскричал Дик.— Скорей ко мне, если вы дорожите жизнью!

Но его пешие воины, рассчитывавшие на легкую победу, были застигнуты врасплох; одни еще мешкали, другие бросились бежать и исчезли в лесу. И когда первые всадники кинулись в атаку, им удалось заколоть лишь нескольких отставших; бо́льшая же часть отряда Дика растаяла при первых звуках, возвестивших о приближении неприятеля.

Дик стоял, с горечью глядя на последствия своей опрометчивой и неблагоразумной отваги. Сэр Дэниэл заметил его костер. Он двинулся к нему со своими главными силами, чтобы атаковать преследователей или обрушиться на них с тыла, если они отважатся напасть на лагерь. Он действовал, как опытный предводитель. Дик же вел себя, как пылкий мальчик. И вот у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку. А все его воины и кони затерялись в темном лесу, точно булавки в сене. «Да поможет мне бог!— подумал он.— Хорошо, что меня посвятили в рыцари за утреннее сражение, ибо эта битва делает мне мало чести».

И, увлекая за собой Джоанну, он бросился бежать.

Теперь ночную тишину нарушали крики тэнстолльских воинов, мчавшихся во все стороны, разыскивая беглецов. Дик продирался через кусты и бежал вперед, словно олень. Все открытые места были залиты серебристым лунным светом, и от этого в лесной чаще казалось еще темнее. Побежденные разбежались по всему лесу и увели за собой преследователей. Дик и Джоанна спрятались в густой чаще и остановились, прислушиваясь к голосам, понемногу затихавшим в отдалении.

— Если бы я оставил резерв,— горько воскликнул Дик,—я бы еще мог поправить дело! Да, жизнь учит нас! В следующий раз я буду умнее, клянусь распятием!

— Не все ли равно, Дик,— сказала Джоанна,—раз мы снова вместе?

Он взглянул на нее. Опять, как в былое время, она была Джоном Мэтчемом, одетым по-мужски. Но теперь он знал, что это девушка. Она улыбалась ему и даже в этом неуклюжем одеянии вся искрилась любовью, наполняя его сердце восторгом.

— Любимая,— сказал он,— если ты прощаешь все мои промахи, стоит ли мне о них горевать? Пойдем прямо в Хо-

ливуд; там находится твой опекун и мой добрый друг лорд Фоксгэм. Там мы и обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, прославлен или безвестен? Любовь моя, сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу. Я уже считал себя самым лучшим воином во всей Англии. И вот я сначала лишился благосклонности вельмож, а затем был разбит в бою и потерял всех своих солдат. Какой удар по моему тщеславию! Но, дорогая, я не горюю. Если ты любишь меня, если ты согласна обвенчаться со мной, я готов сложить с себя рыцарское звание и нисколько не буду жалеть об этом.

— Мой Дик! — вскричала она.— Неужели тебя посвятили в рыцари?

— Да, моя дорогая. И отныне ты миледи! — нежно ответил он.— Вернее, завтра утром ты станешь ею — ведь ты согласна?

— Согласна, Дик, согласна всей душой! — ответила она.

— Вот как, сэр! А я-то думала, что вы собираетесь податься в монахи!

— Алисия! — вскричала Джоанна.

— Она самая,— ответила, приближаясь, юная леди.— Та самая Алисия, которую вы считали мертвой и которую нашел ваш укротитель львов, вернул к жизни и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать!

— Я не верю этому! — вскричала Джоанна.— Дик!

— «Дик»! — передразнила Алисия.— Вот вам и Дик!.. Да, сэр, и вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде? — продолжала она, повернувшись к молодому рыцарю.— Вы оставляете их под сенью дуба, а сами уходите. Видно, правду говорят, что пора рыцарства миновала.

— Сударыня,— в отчаянии вскричал Дик,— клянусь своей душой, я совершенно позабыл о вас! Сударыня, постарайтесь простить меня! Вы видите, я только что нашел Джоанну!

— Я и не думала, что вы бросили меня намеренно,— возразила она.— Но все равно я жестоко отомщу. Я выдам леди Шелтон одну тайну... вернее — будущей леди Шелтон,— прибавила она, делая реверанс.— Джоанна,— продолжала она,— клянусь душой, я верю, что твой возлюбленный отважен в сражении, но... позволь мне сказать все: он самый мягкосердечный простак в Англии. Бери его себе на здоровье! А сейчас, глупые дети, сперва поцелуйте ме-

ня каждый по очереди — это принесет вам счастье, а потом целуйте друг друга ровно одну минуту по часам и ни одной секунды больше. А затем мы все втроем отправимся в Холливуд и пойдем как можно быстрее, потому что в этих лесах и холодно и небезопасно.

— Но неужели мой Дик ухаживал за тобой? — спросила Джоанна, прижимаясь к своему возлюбленному.

— Нет, глупая девочка,— ответила Алисия,— это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне выйти замуж за кого-нибудь другого. Так он и сказал. Словом, он не столь любезен, сколь прямодушен... А теперь, дети, будем благоразумны и пойдем вперед. Ну как, мы опять полезем через овраг или двинемся прямо в Холливуд?

— Недурно бы достать коня,— сказал Дик.— За последние дни меня так много били, что мое несчастное тело превратилось в сплошной синяк. Однако, если мои воины, сторожащие коней, разбежались, услышав шум битвы, мы только даром пройдемся. Прямым путем до Холливуда всего три мили. Колокол еще не пробил и девяти часов, снег крепок, луна ярко светит. Как вы думаете — не отправиться ли нам пешком?

— Решено! — вскричала Алисия.

А Джоанна только крепче прижалась к Дику.

Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки, испытывая райское блаженство. А их легкомысленная спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, шла за ними и то подшучивала над их молчанием, то рисовала счастливые картины их будущей совместной жизни.

Далеко в лесу слышны были крики тэнстоллских воинов, продолжавших погоню; время от времени доносился шум голосов, раздавался лязг оружия,— видимо, стычки все еще продолжались.

Но в этих молодых людях, выросших среди военных тревог и только что избегнувших множества опасностей, нелегко было разбудить страх или жалость. Довольные тем, что шум погони удалялся, они всем сердцем отдались своей радостной прогулке, которую Алисия назвала свадебной процессией. И ни суровое безлюдье леса, ни холод морозной ночи не могли омрачить их счастье.

Наконец с вершины холма они увидели долину Холливу-

да. В больших окнах лесного аббатства сияли факелы и свечи; высокие башни и шпили, отчетливые и безмолвные, вздымались к небу, и золотое распятие на самой верхушке ярко горело, озаренное лунным светом. Вокруг Холивуда на широких полянах пылали костры лагерей, теснились хижины; на дне долины застыла, скованная льдом, извилистая река.

— Клянусь небом,— сказал Ричард,— здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгэма! Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Ну, тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниэлу достойную встречу.

Но воины лорда Фоксгэма продолжали стоять лагерем у Холивуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили второго гонца, который приказал им вернуться туда, где они стояли утром, чтобы преградить дорогу отступающим ланкастерцам и держаться как можно ближе к главной армии йоркистов. Ричард Глостер, выиграв битву и разбив своих врагов в этом округе, уже шел на соединение со своим братом. И вскоре после того, как войска лорда Фоксгэма вернулись в Холивуд, Горбун сам остановил коня у дверей аббатства. Вот в честь какого высокого гостя светились огнями окна. Когда Дик явился в Холивуд вместе со своей возлюбленной и ее подругой, герцог и вся его свита пировали в трапезной, где их принимали с великолепием, достойным такого могущественного и богатого монастыря. Дика привели в трапезную, куда он вошел без большой охоты. Глостер, разбитый усталостью, сидел, подперев рукой свое бледное, грозное лицо. Лорд Фоксгэм, едва оправившийся от раны, сидел на почетном месте, слева от него.

— Ну как, сэр?— спросил Ричард.— Принесли вы мне голову сэра Дэниэла?

— Милорд герцог,— ответил Дик довольно твердым голосом, хоть и робея в душе,— мне так не повезло, что я не мог даже вернуться вместе со своим отрядом. Я, с позволения вашей милости, совершенно разбит.

Глостер взглянул на него и грозно нахмурился.

— Кроме пятидесяти всадников, сэр, я дал вам пятьдесят пехотинцев,— сказал он.

— Милорд герцог, у меня было лишь пятьдесят всадников,— ответил юный рыцарь.

— Как так? — сказал Глостер.— Он ведь просил у меня и конницу и пехоту.

— Не гневайтесь, ваша милость,— вкрадчиво ответил Кэтсби,— но для погони мы дали ему лишь пятьдесят всадников.

— Прекрасно.— сказал Ричард.— Шелтон, вы можете идти.

— Постойте! — сказал лорд Фоксгэм.— У этого молодого человека было поручение и от меня. Может быть, он его выполнил лучше... Скажите, мастер Шелтон, вы нашли девушку?

— Хвала святым, милорд,— сказал Дик,— она в этом доме.

— Это верно?.. В таком случае, милорд герцог,— продолжал лорд Фоксгэм,— завтра утром, с вашего позволения, перед тем как войско выступит, нужно сыграть свадьбу. Этот молодой сквайр...

— Молодой рыцарь,— перебил Кэтсби.

— Вы называете его рыцарем, сэр Уильям?— вскричал лорд Фоксгэм.

— Я сам посвятил его в рыцари за отважную службу,— сказал Глостер.— Он дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй. Но ему не хватает железной твердости мужчины. Он не возвысится, лорд Фоксгэм. Этот человек будет храбро сражаться, но все равно у него сердце зайца. Тем не менее, если ему нужно жениться,— жените его во имя пресвятой девы, и конец!

— Он храбрый юноша, и мне это известно,— сказал лорд Фоксгэм.— Радуйтесь, сэр Ричард! С мастером Хэмли я все уладил, и утром вас обвенчают.

Дик решил, что теперь благоразумнее всего удалиться. Но не успел он еще выйти из трапезной, как какой-то человек, только что спешившийся у ворот, помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через четыре ступени, прорвался сквозь ряды слуг и бросился на одно колено перед герцогом.

— Победа, милорд! — вскричал он.

И прежде чем Дик добрался до комнаты, отведенной ему как гостю лорда Фоксгэма, в толпе у костров раздались восторженные крики. Ибо в этот же самый день в каких-нибудь двадцати милях отсюда могуществу Ланкастера был нанесен второй сокрушительный удар.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МЕСТЬ ДИКА

На следующее утро Дик встал до рассвета, оделся как можно лучше, воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгэма, и, наведавшись о Джоанне, пошел погулять, чтобы умерить свое нетерпение.

Он побродил среди солдат, облачавшихся в свои доспехи при свете зимней зари и красном блеске факелов; вышел в поле, обошел аванпосты и направился один в замерзший лес, дожидаясь восхода солнца.

Мысли его были покойны и счастливы; он не жалел о потере скоротечной благосклонности герцога. Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровителя, как лорд Фоксгэм, он мог смотреть на свое будущее с надеждой. О прошлом он сожалел мало.

Он шел, погруженный в размышления, а утренняя заря разгоралась все торжественней и ярче, и резкий ветерок вздымал морозную снежную пыль. Он повернулся, чтобы идти домой, и вдруг заметил какого-то человека за деревом.

— Стой! — крикнул Дик.— Кто идет?

Человек вышел из-за дерева и взмахнул рукой, как немой. Хотя он был в одежде пилигрима и на лицо его был опущен капюшон, Дик мгновенно узнал сэра Дэниэла.

Дик шагнул к нему, обнажив меч. А рыцарь, сунув руку за пазуху, словно для того, чтобы выхватить спрятанное там оружие, спокойно ожидал его приближения.

— Ну что, Дикон,— сказал сэр Дэниэл,— как же ты думаешь поступить? Неужели ты нападешь на побежденного?

— Я не посягал на вашу жизнь,— ответил юноша.— Я был вашим верным другом до тех пор, покуда вы не захотели убить меня. О, как жадно мечтали вы о моей смерти!

— Только из самозащиты,—ответил рыцарь.—А теперь, мальчик, вести об этой битве и присутствие молодого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно меня сломили. Я пойду в Холивуд, и его святые стены защитят меня. Потом отправлюсь за море, захватив с собой все, что возможно, и начну новую жизнь в Бургундии или во Франции.

— Вам нельзя в Холивуд,— сказал Дик.

— Как так нельзя? — спросил рыцарь.

— Послушайте, сэр Дэниэл, сегодня — день моей свадьбы,— сказал Дик,— и солнце, которое сейчас взойдет, озарит самый светлый день моей жизни. Вашей жизнью вы должны заплатить и за смерть моего отца и за попытку убить меня. Но и сам я натворил достаточно. Я был причиной смерти многих людей... И в этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Если бы вы были самим дьяволом, я не поднял бы на вас руки. Просите прощения у бога, а я щедро дарую вам свое. Но в Холивуд я вас не пущу. Я стою за Йорк и не позволю шпионам проникнуть в наше войско. Если вы сделаете хоть один шаг, я крикну и прикажу ближайшему часовому схватить вас.

— Ты издеваешься надо мной! — сказал сэр Дэниэл.— Только Холивуд может спасти меня.

— Это уже не мое дело,— ответил Ричард.— Идите на восток, на запад, на юг, но на север я вас не пущу. Холивуд для вас закрыт. Уходите и не пытайтесь вернуться, ибо, едва вы уйдете, я предупрежу все наши караулы, и они будут так зорко следить за каждым пилигримом, что, будь вы сам дьявол, вам не удастся пройти.

— Ты обрекаешь меня на гибель,— мрачно сказал сэр Дэниэл.

— Нет, не обрекаю,— ответил Ричард.— Если вам хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на поединок. И пусть это — предательство по отношению к моей партии, я приму ваш вызов. Я буду биться с вами один на один и никого не позову на помощь. Так, с чистой совестью, я отомщу за своего отца.

— Ну да,— сказал сэр Дэниэл,— у тебя длинный меч, а у меня всего кинжал!

— Я полагаюсь только на милость неба,— ответил Дик, швыряя свой меч в снег.— А теперь, если ваш злой рок приказывает вам,— выходите! И если будет угодно всемогущему, я скормлю ваши кости лисицам.

— Я только испытывал тебя, Дик,— ответил рыцарь, выдавив из себя подобие смеха.— Я не хочу проливать твою кровь.

— Ну тогда уходите, пока не поздно,— ответил Шелтон.— Через пять минут я позову часовых. Я и так слишком терпелив. Если бы вы оказались на моем месте, а я на вашем, я бы уже давно был связан по рукам и ногам.

— Хорошо, Дикон, я уйду,— ответил сэр Дэниэл.— Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь, что поступил со мной так жестоко.

С этими словами рыцарь повернулся и побрел прочь, в лесную чащу. Дик со странным, смешанным чувством наблюдал, как сэр Дэниэл шел, быстро и осторожно, все время бросая злобные взгляды на юношу, который пощадил его и которому он тем не менее не доверял.

Вот он подошел к чаще, густо переплетенной зеленым плющом и непроницаемой для взора даже зимой. Внезапно раздался короткий, чистый звук спущенной тетивы. Пролетела стрела, и с громким, сдавленным криком боли и гнева тэнстоллский рыцарь взмахнул руками и упал лицом вниз. Дик подбежал к нему и поднял его. Страшная гримаса пробежала по лицу, все тело корчилось в судорогах.

— Стрела черная? — задыхаясь, спросил он.

— Черная! — торжественно ответил Дик.

И прежде чем он успел прибавить хоть слово, отчаянная боль пронзила раненого с головы до ног; он дернулся в руках Дика последний раз, и, когда боль утихла, душа его безмолвно отлетела. Юноша осторожно положил его на снег и принялся молиться за нераскаянную, грешную душу. Пока он молился, взошло солнце и реполовы запели в плюще.

Поднявшись, Дик увидел, что в нескольких шагах позади него стоит на коленях и молится другой человек. С обнаженной головой ждал Дик конца этой молитвы. Человек молился долго, склонив голову и закрыв лицо руками. Рядом с ним лежал лук, и Дик догадался, что это стрелок, убивший сэра Дэниэла.

Наконец он поднялся, и Дик узнал Эллиса Дэкуорта.

— Ричард,— торжественно сказал он,— я слышал ваш разговор от слова до слова! Ты избрал лучшую долю и простил. Я избрал худшую — и вот лежит прах моего врага. Молись за меня!

И он сжал его руку.

— Сэр,— сказал Ричард,— я охотно буду молиться за вас, но не знаю, помогут ли вам мои молитвы. Если месть, которой вы так долго жаждали, теперь огорчает вас, подумайте, не лучше ли простить тех, кто еще остался в живых? Хэтч убит, бедняга, хотя я вовсе не хотел его убивать. Вот лежит труп сэра Дэниэла... Умоляю вас, пощадите хоть священника!

Глаза Эллиса Дэкуорта сверкнули.

— Дьявол еще силен во мне!— сказал он.— Но будь спокоен: черная стрела никогда больше не просвистит в воздухе; братство наше распалось. Те, кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь в срок, определенный небом. А ты ступай навстречу своей счастливой судьбе и забудь о злосчастном Эллисе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Около девяти часов утра лорд Фоксгэм повел свою воспитанницу, снова одетую так, как подобает ее полу, и сопровождаемую Алисией Райзингэм, в холивудскую церковь. Ричард Горбатый с омраченным заботой лицом пересек им дорогу и остановился перед ними.

— Это и есть та девушка? — спросил он. Когда лорд Фоксгэм ответил утвердительно, он продолжал:— Невеста, поднимите головку, дайте мне взглянуть на ваше лицо.

Он угрюмо поглядел на нее.

— Вы прекрасны,— наконец промолвил он,— и, как мне рассказывали, богаты. Что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?

— Милорд герцог,— ответила Джоанна,— если угодно вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда.

— Почему? — резко спросил он.— Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард,— позвольте мне сказать откровенно,— умрет сэром Ричардом.

— Я прошу у неба только одной милости, милорд: дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда,— ответила Джоанна.

— Посмотрите, милорд! — сказал Глостер, обращаясь к лорду Фоксгэму.— Вот странная пара. Когда я предложил юноше выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я предостерегал его, но он упорствовал в своей глупости. «На этом кончатся мои милости»,— сказал я. А он ответил мне с дерзкой самоуверенностью: «Мне придется смириться с потерей ваших милостей». Ну что ж! Так тому и быть!

— Он так сказал?—воскликнула Алисия.—Хорошо сказано, укротитель львов!

— А это что за девушка? — спросил герцог.

— Это пленница сэра Ричарда,— ответил лорд Фоксгэм,— госпожа Алисия Райзингэм.

— Выдайте ее замуж за надежного человека,— сказал герцог.

— Я имел в виду своего родственника Хэмли, если будет угодно вашей милости,— ответил лорд Фоксгэм.— Он хорошо послужил нашему делу.

— Одобряю ваш выбор,— сказал Ричард.— Пусть они поскорее обвенчаются... Скажите, прекрасная девушка, вы хотите выйти замуж?

— Милорд герцог,— сказала Алисия,— если это человек честный и не урод...

Тут она растерялась, и язык прилип к ее гортани.

— Он не урод, сударыня,— спокойно сказал Ричард.— Я единственный горбун во всей армии; все остальные сложены хорошо... Леди и вы, милорд,— внезапно сказал он с преувеличенной любезностью,— не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может распоряжаться своим временем.

И с изящным поклоном он удалился в сопровождении своей свиты.

— Увы,— вскричала Алисия,— я погибла!

— Вы его не знаете,— ответил лорд Фоксгэм.— Это пустяки, он тут же забыл ваши слова.

— В таком случае он цвет рыцарства! — сказала Алисия.

— Нет, просто он думает о другом,— ответил лорд Фоксгэм.— Однако не будем больше мешкать.

В церкви их ждал Дик в сопровождении нескольких молодых людей. Там его обвенчали с Джоанной. Когда, торжественно-счастливые, они вышли на мороз и на солнце, армия уже тянулась по дороге. Среди коней, двигающихся от аббатства, среди целого леса коней развевалось знамя герцога Глостера. За знаменем, окруженный закованными в сталь рыцарями, ехал честолюбивый, смелый, жестокосердый горбун навстречу своему короткому царствованию и вечному позору. Но свадебное шествие свернуло в другую сторону, и вскоре гости уселись за стол и предались своему веселью без разгула. Отец-эконом угощал гостей и сидел за столом вместе с ними. Хэмли, забыв

о ревности, принялся ухаживать за Алисией, к полному ее удовольствию. Под пение труб, под лязг оружия, под топот лошадей уходившей армии Дик и Джоанна сидели рядом, любовно держась за руки, и со все возрастающей нежностью глядели друг другу в глаза.

С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеленом лесу, где возникла их любовь.

А в деревушке Тэнстолл в довольстве и мире, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был моряком и до конца своих дней продолжал оплакивать своего матроса Тома. Другой, человек бывалый и повидавший виды, под конец жизни сделался набожным и благочестиво скончался в соседнем аббатстве под именем брата Гонестуса. Так исполнилась заветная мечта Лоулесса: он умер монахом.

РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ

ОКАЯННАЯ ДЖЕНЕТ

Его преподобие Мердок Соулис очень долго прослужил пастором на болотах в приходе Болвири, что в долине реки Дьюлы. Суровый старик с холодным и жестким лицом, внушавший страх всем своим прихожанам, последние годы он жил совсем один, без родных и без прислуги, в уединенном пасторском домике, стоявшем на отшибе, близ горы Хэнгин-Шоу. Вопреки железному спокойствию в чертах лица взгляд у него был дикий, испуганный и неуверенный, а в то время, когда он беседовал наедине с кем-либо из прихожан о будущем нераскаянных грешников, казалось, будто этот взгляд проникает сквозь грозы времен в страшные тайны вечности. Многие из молодых людей, что бывали у него, готовясь к причастию, приходили в ужас от его речей. Каждое первое воскресенье после семнадцатого августа он читал проповедь на текст из первого послания апостола Петра (гл. V, стих 8): «Диавол, аки лев рыкающий...» В этот день он обычно превосходил самого себя, и слушателей пробирал мороз по коже как от самой проповеди, так и от грозной манеры проповедника. Дети пугались до припадков, а старики после проповеди смотрели пророками и весь день беспрестанно намекали на то, против чего так восставал Гамлет. Пасторский домик стоял над водами Дьюлы, в густой сени деревьев; над ним с одной стороны нависала гора Шоу, а с другой — множество вершин подымалось к небу; почти с самого начала пастырского служения мистера Соулиса осторожные люди стали обходить стороной этот дом, особенно в сумерки; а старики, завсегдатаи деревенской

пивной, только покачивали головами при одной мысли о том, чтобы пройти поздним вечером мимо такого дома. Собственно, там было одно особенно страшное место. Дом пастора стоял между рекой и большой дорогой; задняя его стена была обращена к небольшому селению Болвири, в полумиле от него, где была церковь; бедный сад перед домом, огороженный терновником, занимал все пространство между рекой и дорогой. Дом был двухэтажный, с двумя большими комнатами в каждом этаже. Выход из него открывался не прямо в сад, а на мощеную дорожку, которая тоже выходила не в сад, а с одной стороны на большую дорогу, с другой же упиралась в высокие ветлы и кусты бузины, окаймлявшие реку. Вот этот-то кусок дорожки и пользовался среди юных прихожан Болвири особенно дурной славой. Священник часто прогуливался там в сумерки, время от времени прерывая молитву без слов громкими стонами; а когда его не бывало дома и дверь оказывалась заперта, самые отчаянные из школьников, играя в салки, отваживались пробегать с сильно бьющимся сердцем через это место, ставшее легендарным.

Такая атмосфера страха, окружавшая слугу божьего, человека с безупречной репутацией и наделенного твердой верой в господа бога, обычно вызывала удивление и любопытство среди немногих чужаков, которых случай или дело приводили в эту глухую и отдаленную местность. Но даже среди прихожан многие не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса, а из тех, кто был осведомлен лучше, одни были молчаливы по природе, другие же боялись касаться этой темы. И только время от времени кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стаканчика, рассказывал о том, почему пастор у них и с виду такой странный и живет отшельником.

Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис только что приехал в Болвири, он был еще совсем молодой человек, или, как у нас говорили, «сосунок», полный книжной учености: проповеди он читал хорошо, но, как оно и полагается молодому человеку, в делах религии смыслил еще мало. Которые помоложе из прихожан, те очень увлекались его ученостью и умением говорить, а те, что постарше, люди степенные и серьезные, молились за этого молодого человека: им казалось, что он, так сказать, заблуждается на свой счет и приходу это вовсе не на пользу.

Это было давно, еще до «умеренных» [1], задолго до них; да ведь все дурное, как и все хорошее, приходит не сразу, а мало-помалу. Находились и такие люди, которые говорили, что бог покинул университетских профессоров, а молодежи, чем учиться у них, лучше бы сидеть в торфяной яме, как делывали деды, когда их преследовали за веру, с Библией под мышкой и с молитвой в сердце. Как бы то ни было, нечего и сомневаться, что мистер Соулис заучился в этом своем университете: он заботился и беспокоился о многом, но только не о том единственном, о чем нужно было беспокоиться. Книг с собой он привез пропасть, у нас в приходе раньше столько и не видывали, и возчику пришлось порядком с ними побиться; он едва не утопил их в болоте между Черной горой и Килмакерли. Книги были все божественные, само собой, так они, во всяком случае, назывались; а люди серьезные держались того мнения, что куда их столько: ведь слово божие можно завязать в маленький уголок платка. И вот наш пастор сидел над этими книгами дни и ночи — а куда же это годится,— все писал да пйсал, не иначе; сначала боялись, что он будет сам сочинять проповеди, потом оказалось, что он пишет книжку, а это уж совсем неподходящее дело для такого неопытного молодого человека.

Как бы то ни было, ему полагалось взять себе для хозяйства какую-нибудь приличную, хорошего поведения пожилую женщину, она бы ему и обеды готовила. Кто-то ему указал на одну старуху по имени Дженет Макклоур. Он никого толком не расспросил и взял ее в служанки. А ведь многие ему не советовали, потому что эта Дженет была у почтенных людей нашего прихода на дурном счету. Когда-то давным-давно у нее был ребенок от одного драгуна, к тому же она уже больше тридцати лет не ходила к исповеди, и деревенские мальчишки не раз слышали, как она бормочет что-то себе под нос, в сумерки, на вершине горы Киз-Лоан, а ведь и время и место совсем неподходящие для богобоязненной женщины. Надо, однако, сказать, что сам лорд-помещик первый указал пастору на Дженет, а в те времена наш пастор сделал бы все что хочешь, лишь бы угодить помещику. Когда люди ему стали говорить, будто эта самая Дженет связалась с дьяволом, он ответил, что это, на его взгляд, одно суе-

[1] Религиозное течение в Шотландии.

верне, а когда ему упомянули про Библию и про Эндорскую волшебницу, он сказал, что эти дни давно миновали, а дьявол с тех пор укрощен; все это, мол, сущие предрассудки.

Ну, ладно. Когда по деревне прошел слух, что Дженет Макклоур будет служанкой в пасторском доме, то народ и на нее и на него сильно осердился. Некоторые наши женщины не придумали ничего лучше, как пойти к ее дому и выложить ей вслух все то, в чем ее обвиняли, и все, что про нее было известно — от солдатского младенца до двух коров Джона Томсона. Говорить она была не охотница. Когда люди ее не трогали, она им давала волю болтать сколько хотят, а сама молчок — ни «здравствуйте», ни «прощайте», но уж если, бывало, ее заденут за живое, так язык у нее начинал молоть, что твоя мельница. Вот и тут Дженет взбеленилась (припомнила все старые сплетни и мало ли еще что), они ей слово, а она им два; в конце концов женщины до нее добрались, стащили с нее платье и поволокли по деревне к реке, посмотреть: ведьма она или нет, потонет или выплывет? Шум поднялся такой, что слышно было под Хэнгин-Шоу; сама Дженет дралась за десятерых, и долго после этого, чуть ли не по сию пору, у многих наших женщин видны следы от ее когтей; и как бы вы думали, кто подоспел к самому разгару драки? Новый наш пастор (должно быть, за грехи бог его наказал).

— Женщины!— крикнул он (а голос у него был зычный).— Заклинаю вас именем господа, отпустите ее!

Дженет бросилась к нему, едва живая от страха, и стала его молить, христа ради, чтоб он ее спас от погибели, а женщины тоже не отставали и рассказали ему все, что знали про Дженет, а может, даже и больше того.

— Женщина,— спросил он у Дженет,— правда ли все это?

— Как господь меня видит, как господь меня сотворил, ни слова правды тут нету! И про ребенка тоже,— прибавила она.— Я всегда была порядочной женщиной.

— Хочешь ли ты отречься от дьявола и дел его, во имя божие передо мной, его недостойным слугою?

Что ж, надо прямо сказать: когда пастор ее спрашивал, она так ухмыльнулась, что всех, кто это видел, бросило в дрожь от страха, и всем было слышно, как зубы у нее застучали друг об дружку; но ничего иного ей де-

лать не оставалось, и Дженет, подняв кверху руку, отреклась от дьявола и от дел его перед всеми.

— А теперь,— сказал мистер Соулис,— идите по домам, все до одной, и будем молить бога, чтоб он помиловал нас.

Он подал Дженет руку, хоть из одежды на ней мало что оставалось, кроме рубахи, и повел по деревне к ее собственному дому, будто леди-помещицу; а она визжала и хохотала так, что совестно было слушать.

В ту ночь многие почтенные люди долго молились перед сном, а когда наступило утро, такой страх одолел весь приход Болвири, что детишки попрятались, и даже взрослые мужчины не решались выйти за дверь. По улице шла Дженет — она или ее подобие,— никто не мог бы сказать наверное: шея у нее была свернута, голова скривилась набок, словно у висельника, и на лице усмешка, словно у трупа, еще не снятого с виселицы. Мало-помалу люди к этому пригляделись и даже стали спрашивать у нее, что такое с ней случилось, но с этого дня она уже не могла говорить, как подобает христианке, а только пускала слюни да стучала зубами, словно ножницами; и начиная с этого дня ни разу ее уста не произнесли имени божьего. Когда она хотела его выговорить, ничего у ней не выходило: видно, ей было невозможно назвать имя божье. Кто знал, в чем тут дело, помалкивал, но уж больше никто не называл эту тварь именем Дженет Макклоур, ибо прежняя Дженет, как все думали, давно была в аду кромешном. Но ведь пастору не прикажешь и рот ему не заткнешь, а он только и твердил в своих проповедях, что о жестокости людской, которая будто бы довела Дженет до паралича, бранил мальчишек, которые ее дразнили и приставали к ней, и в тот же самый вечер взял ее к себе, и стали они жить вдвоем в пасторском доме под горой Хэнгин-Шоу.

Ну, ладно, прошло после этого довольно много времени, и люди праздномыслящие начали было смотреть на это сквозь пальцы и стали даже забывать о том черном деле. О священнике все были теперь самого хорошего мнения: по вечерам он долго сидел за своим писанием. Люди видели, что свеча у него в доме, на берегу Дьюлы, горит и за полночь, и сам он как будто был доволен собой и держался так же, как и прежде, хотя всякому было видно, что он теперь стал совсем не тот. А что касается

Дженет, так она свободно расхаживала всюду, и если она и раньше говорила мало, то теперь и подавно; правда, она никого не трогала, только смотреть на нее было страшно, и все у нас в Болвири удивлялись, как это ей доверили пасторский дом.

К концу июля настала такая погода, какой отродясь не видывали в наших местах: стояла жара, жестокая, гнетущая жара. Стада обессилели и не могли взобраться по склону Черной горы, дети не могли играть и скоро уставали, а к тому же порывы горячего ветра шумели в листве, и временами налетал дождь, но не освежал нисколько. Каждый день мы думали, что к утру, должно быть, соберется гроза, но наступило одно утро и другое утро, а погода была все та же, ни на что не похожая, тяжкая для людей и животных. Из нас никто так не страдал от жары, как мистер Соулис: он не мог ни спать, ни есть — так он говорил церковному совету — и, если он не писал свою книжку, то бродил по окрестностям, словно одержимый, и это в такое время, когда все были рады сидеть дома, в прохладе.

Поблизости от Хэнгин-Шоу, там, где поднимается Черная гора, есть у нас одно огороженное место с этакой чугунной решеткой: в старые времена там как будто было кладбище прихода Болвири, основанное папистами еще до того, как свет господень озарил наше королевство. Сад был большой и, во всяком случае, подходящий для мистера Соулиса: в нем он, бывало, сидел и обдумывал свои проповеди, да и вправду там всегда было пустынно и тихо. Вот сидит он однажды на обрыве Черной горы и видит сначала двух, потом четырех, а там и семерых воронов, они всё летают да летают вокруг старого кладбища. Летали они низко и тяжело и на лету каркали: мистер Соулис понял, что они чего-то испугались и слетели с деревьев. Пастор наш был неробкого десятка, взял да и пошел прямо туда, и как бы вы думали, что он увидел? Внутри ограды, на могиле, сидел кто-то — то ли человек, то ли одна видимость человека. Высокого роста, черный, как ад, и глаза какие-то очень странные [1]. Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных лю-

[1] В Шотландии распространено поверье, будто дьявол показывается в образе черного человека. Так свидетельствуют процессы ведьм, то же есть и в «Мемориалах» Лоу, этом собрании всего необычного и таинственного *(прим. автора)*.

дях; но в этом черном человеке было что-то такое, отчего и пастора бросило в дрожь. Как ни жарко было, его проняло холодом до мозга костей, но он все-таки заговорил с ним и спросил:

— Друг мой, вы как будто нездешний?

Черный человек ничего ему не ответил, а вскочил на ноги и, хромая, отбежал к дальней стене кладбища; однако он все оглядывался на пастора, а тот стоял и глядел ему вслед до тех пор, пока черный человек, перебравшись через стенку кладбища, не побежал к березовой роще. Мистер Соулис, сам не зная, для чего, побежал за ним; но он уже устал от ходьбы, да и погода была жаркая, нездоровая, и сколько он ни старался, а все не мог подобраться поближе к черному человеку; тот только мелькнул раза два среди берез и наконец спустился с горы вниз. А внизу священник увидел его еще раз: хромая и ковыляя, он перешел через реку и направился к пасторскому домику.

Мистеру Соулису не очень-то понравилось, что это страшилище так вольно ведет себя в пасторских владениях; он зашагал быстрее, тоже перебрался через поток и помчался вверх по садовой дорожке, но дьявола, или черного человека, уже нигде не было видно. Пастор вышел на большую дорогу, осмотрелся, но и там никого не было; обошел весь сад кругом — нет нигде черного человека! Прошел он весь сад до конца и не без опасения, что было вполне естественно, приподнял дверную щеколду и вошел к себе в дом — и тут как тут перед ним встала Дженет Макклоур со своей кривой шеей, как будто не слишком довольная тем, что пастор вернулся домой. А его самого, как только он увидел Дженет, вновь пронизал могильный холод.

— Дженет,— спросил пастор,— не видели вы черного человека?

— Черного человека? — отозвалась она.— Упаси боже! Да что вы, пастор! Сколько ни ищи, а у нас в Болвири не сыщешь черного человека.

Но она это говорила не как все люди, а сами можете себе представить как: словно лошадь, которая грызет удила.

— Ну что ж, Дженет,— сказал пастор,— если здесь не было черного человека, значит, я говорил с Врагом рода человеческого.

И сел, а сам весь дрожит, словно в лихорадке, и зубы у него застучали.

— Пустяки! Как только вам не совестно, пастор? — сказала Дженет и дала ему глоточек бренди, которое у нее всегда водилось.

После этого мистер Соулис сейчас же ушел к себе в кабинет, где у него было очень много книг. Комната была длинная, темная, зимой в ней было холодно, как в могиле, и даже в разгаре лета сыро, оттого что пасторский дом стоял у самой реки. Вот он сел и стал думать обо всем, что случилось в Болвири за то время, что он здесь живет; вспомнился ему родной дом и те дни, когда он был еще мальчишкой и бегал по лесам и лугам, а этот черный человек все не выходил у него из головы, словно припев какой-то песни. И чем больше он думал, тем больше ему думалось про черного человека. Он попробовал молиться, да слова никак не шли у него с языка; говорят, пробовал он и писать свою книгу, но и это ему не удалось. Временами ему казалось, что черный человек стоит рядом, и тогда он весь покрывался потом, холодным, как колодезная вода, а временами он приходил в чувство и помнил обо всем этом не больше, чем новорожденный младенец.

Наконец пастор подошел к окну и долго стоял перед ним, глядя на воды Дьюлы. Деревья там растут очень густо, а вода возле пасторского домика глубокая и черная; смотрит он и видит, что Дженет полощет белье на берегу, подоткнув юбку. Она стояла спиной к пастору, и он даже не очень видел, что перед ним. Но вот она обернулась, и он увидел ее лицо. Мистера Соулиса опять пробрала та же холодная дрожь, что пробирала его дважды за этот день, и ему вспомнилось, как люди болтали, будто Дженет давным-давно умерла и сам дьявол вселился в ее холодное, как лед, тело. Пастор отступил немного назад и начал ее пристально разглядывать. Она топтала ногами белье и что-то про себя напевала, и — боже ты мой милостивый, спаси нас! — какое страшное было у нее лицо! Временами она начинала петь громче, но ни один человек, рожденный женщиной, не мог бы понять ни единого слова из ее песни; а иногда начинала поглядывать искоса куда-то вниз, хоть смотреть там было не на что. Омерзение пронизало пастора до самых костей... И это было ему предостережением свыше! Но мистер Соулис все-таки винил одного только себя: как можно думать так

дурно о несчастной, свихнувшейся женщине, у которой никого не было, кроме него. Он помолился за нее и за себя, и выпил холодной воды — еда ему была противна,— и лег на голые доски своей кровати; а наступили уже сумерки.

Эта ночь была такая, какой не запомнят в приходе Болвири: ночь на семнадцатое августа одна тысяча семьсот двенадцатого года. Днем все стояла жара, как мы уже говорили, но в эту ночь было особенно жарко и душно: солнце село в зловещие тучи, и сразу стало темно, как в яме; ни звездочки, ни ветерка; в темноте не видно было собственной ладони перед лицом, и даже старые люди сбрасывали с себя простыни и лежали на своих постелях, задыхаясь от жары. Со всем тем, что было у пастора на душе, не мудрено, что ему не спалось. Он то лежал неподвижно, то метался в кровати; чистая, прохладная постель словно прожигала его насквозь; он то засыпал, то просыпался; то он слышал бой церковных часов, то вой собаки на болоте, словно перед чьей-то смертью; иной раз ему казалось, что по комнате бродят призраки, а может, он видел и чертей. Уж не заболел ли он, так ему подумалось; да он и вправду был болен, но не болезнь его пугала.

Потом в голове у него немного прояснилось, он уселся в одной рубашке на краю постели и снова задумался о черном человеке и о Дженет. Он не мог бы сказать, отчего, может, оттого, что ноги у него озябли, но ему пришло в голову, что между этими двумя что-то есть общее и что либо один из них, либо они оба нечистые духи. И как раз в эту минуту в комнате Дженет, которая была рядом, послышался топот и шум, словно там кто-то боролся, потом раздался громкий стук, потом ветер засвистел вокруг всех четырех стен дома, и снова стало тихо, как в могиле.

Мистер Соулис не боялся никого: ни человека, ни дьявола. Он достал огниво, зажег свечу и сделал три шага к двери Дженет. Дверь была заложена щеколдой; он приподнял ее и, распахнув дверь настежь, бесстрашно заглянул в комнату.

Комната у Дженет была большая, такая же большая, как у самого пастора, и обставленная тяжелыми, громоздкими вещами, потому что иной мебели у пастора не водилось. Там стояла кровать о четырех столбах со старинным

пологом, стоял еще дубовый шкаф, битком набитый божественными книгами — их поставили здесь, чтоб было посвободнее у пастора в комнате,— да кое-какие вещички Дженет валялись, разбросанные по полу. А самой Дженет нигде не было видно; не было видно и никаких следов борьбы. Пастор вошел (и очень немногие последовали бы за ним), огляделся по сторонам, прислушался. Но ничего не было слышно ни в пасторском доме, ни во всем приходе Болвири, и видно тоже ничего не было, только тени метались вокруг свечи. Вдруг сердце пастора сильно забилось и сразу же замерло, а по волосам словно пробежал холодный ветер; и такую страсть увидели глаза мистера Соулиса! Дженет висела на гвозде рядом со старым дубовым шкафом, голова у нее свалилась на плечо, глаза выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, и пятки торчали ровно в двух футах над полом.

«Господи, помилуй нас!— подумал мистер Соулис.— Бедная Дженет умерла».

Он подошел ближе к трупу — и сердце вовсю заколотилось у него в груди: каким уж это образом, человеку даже и судить не подобает, но только Дженет висела на одном гвоздике, на одной тоненькой шерстинке, какой штопают чулки.

Страшно это — очутиться среди ночи одному против таких козней дьявольских, но мистера Соулиса укрепляла вера в господа. Он повернулся и вышел из комнаты, запер за собой дверь, спустился вниз по лестнице, ступая со ступеньки на ступеньку тяжелыми, словно свинец, ногами, и поставил свечу на стол у подножия лестницы. Он не мог ни молиться, ни думать, только весь обливался холодным потом и не слышал ровно ничего, кроме «стук-стук-стук» своего собственного сердца. Так он простоял час, а может, и два — он потом не помнил,— как вдруг услышал смех, какую-то страшную возню и шум наверху; кто-то ходил взад и вперед по той комнате, где висел труп Дженет, а дверь в нее была открыта, хотя пастор помнил хорошо, что запер ее; вслед за этим раздались шаги на площадке лестницы, и ему показалось, будто мертвая Дженет перегнулась через перила и смотрит вниз, на него.

Он опять взял свечу (потому что в доме свет больше ему не был нужен) и тихо, как только мог, выбрался из дома на дорожку, в самый дальний ее конец. Было

темно, как в аду; пламя свечи, когда он поставил ее на землю, горело ровно, как в комнате, не колеблясь; ничто нигде не шевелилось, только воды Дьюлы шипели и плескались о берег, а те нечестивые шаги в доме все приближались, спускаясь по лестнице. Пастор очень хорошо знал эту походку: это была походка Дженет,— и от ее шагов, которые все близились, холод пробрал его еще глубже, до самых кишок. Поручив свою душу ее творцу и хранителю, он стал молиться. «О господи,— взывал он,— дай мне силы на эту ночь, дай мне силы бороться со злом!»

Теперь шаги уже направлялись по коридору к двери; пастор слышал, как рука шуршала, скользя по стене: эта нездешняя гостья словно нащупывала себе дорогу.

Ветлы закачались и зашумели, сталкиваясь ветвями, над холмами пронесся долгий вздох, пламя свечи заметалось: перед ним стоял труп Окаянной Дженет, в ее всегдашнем домотканом платье, в черном платке, все с той же ухмылкой на лице, и голова все так же на плечо; совсем как живая — но только мистер Соулис знал, что она мертвая,— Дженет стояла на пороге пасторского дома.

Удивительно, до чего крепко сидит душа человеческая в его смертном теле! Священник видел все это, и сердце у него не разорвалось.

Дженет недолго стояла на пороге дома: она снова двинулась вперед и медленно пошла к мистеру Соулису, туда, к ветлам, под которыми он стоял. Вся жизнь его тела, вся сила его духа теперь светились и горели в его глазах. Она как будто хотела заговорить, но слов у нее не нашлось, и она сделала ему знак левой рукой. Дохнул ветер, словно кошка фыркнула, задул свечу, ветлы застонали человеческим голосом, и мистер Соулис понял, что останется он жив или умрет, а этому должно положить конец.

— Ведьма, колдунья, дьяволица! — воскликнул он.— Заклинаю тебя властью бога, уходи, если ты мертва, в могилу, если ты проклята богом,— в ад!

И в эту самую минуту божья десница поразила с небес нечестивый призрак: дряхлое, мертвое, осквернённое тело ведьмы, надолго разлученное с могилой и обитаемое дьяволом, вспыхнуло серным огнем и тут же распалось в прах; грянул гром, раскат за раскатом, потом хлынул

ливень, и мистер Соулис, кое-как пробравшись сквозь живую изгородь, опрометью бросился бежать в деревню.

В то же утро, когда пробило шесть часов, Джон Кристи видел черного человека около Макл-Керна; но еще не было и восьми, когда его видели около дома менялы в Нокдоу; а немногим позже Сэнди Маклеллан видел, как черный человек спускался по склону с Килмакерли. Тут нечего и сомневаться: это он жил так долго в теле Дженет, но в конце концов ему пришлось все-таки уйти; и с тех пор дьявол больше не появлялся у нас в приходе Болвири.

А для священника это было тяжким испытанием: он долго лежал больной и все бредил; но с того самого часа он и сделался таким, каким вы сейчас его знаете.

ВЕСЕЛЫЕ МОЛОДЦЫ

ГЛАВА I

ЭЙЛИН АРОС

Было прекрасное утро на исходе июля, когда я последний раз отправился пешком в Арос. Накануне вечером я сошел с корабля в Гризеполе. Багаж я оставил в маленькой гостинице, намереваясь как-нибудь приехать за ним на лодке, и после скромного завтрака весело зашагал через полуостров.

Я не был уроженцем этих мест. Все мои предки жили в равнинной Шотландии. Но мой дядя Гордон Дарнеуэй после тяжкой, омраченной нуждой юности и нескольких лет, проведенных в море, нашел себе на островах молодую жену. Ее звали Мери Маклин, она была круглой сиротой, и, когда она умерла, дав жизнь дочери, дядя оказался единственным владельцем Ароса — опоясанной морем фермы. Она приносила ему лишь скудное пропитание, но мой дядя всю жизнь был неудачником и, оставшись с малюткой дочерью на руках, побоялся вновь отправиться на поиски счастья, а так и продолжал жить на Аросе, бессильно проклиная судьбу. Год проходил за годом, не принося ему в его уединении ни довольства, ни душевного покоя. Тем временем поумирали почти все наши родичи на равнинах — нашу семью вообще преследовали неудачи, и, пожалуй, счастье улыбнулось лишь моему отцу, ибо он не только умер последним, но и оставил родовое имя сыну вместе с небольшим состоянием, которое могло поддержать достоинство этого имени.

Я учился в Эдинбургском университете, и мне жилось неплохо, но я был очень одинок, пока дядя Гордон не прослышал обо мне у себя на гризеполском Россе и, твердо придерживаясь правила, что кровь не вода, тут же не написал мне, прося считать Арос моим родным домом. Вот почему я начал проводить каникулы в этой глуши, вдали от людей и удобств городской жизни, в обществе трески и болотных курочек; и вот почему теперь, по окончании занятий, я в это июльское утро так весело возвращался туда.

Росс, как мы его называли,— это полуостров, не очень широкий и не очень высокий, но столь же дикий ныне, как и в первый день творения. С двух сторон его окружает глубокое море, усеянное скалистыми островками и рифами, весьма опасными для кораблей; на востоке же над ним господствуют высокие утесы и крутой пик Бен-Кайо. Говорят, что Бен-Кайо по-гэльски значит «гора туманов», и если это так, то название выбрано очень удачно. Ибо пик, имеющий в высоту более трех тысяч футов, притягивает с моря все облака, и подчас мне даже казалось, что он их сам порождает, ибо и в ясные дни, когда чистое небо простиралось до самого горизонта, Бен-Кайо все равно бывал окутан тучами. Однако это обилие влаги, на мой взгляд, делало гору только красивее: когда солнце озаряло ее склоны, ручьи и мокрые скалы блестели, как драгоценные камни, и сверкание их было видно даже на Аросе, в пятнадцати милях оттуда.

Я шел по овечьей тропке. Она была такой извилистой, что путь мой почти удваивался. Порой она вела по огромным валунам, и мне приходилось прыгать с одного камня на другой, а порой ныряла в сырые ложбины, где мох почти достигал моих колен. Нигде на всем протяжении десяти миль между Гризеполом и Аросом не было видно ни обработанных полей, ни человеческого жилья. На самом деле дома здесь были — целых три, но они отстояли так далеко от тропы, что человек, чужой в этих местах, никогда бы их не обнаружил. Почти весь Росс покрыт большими гранитными скалами, иные из которых по величине превосходят двухкомнатную хижину, а в узких расселинах между ними, среди высоких папоротников и вереска, плодятся гадюки. Откуда бы ни дул ветер, он всегда нес с собой запах моря, столь же соленый, как на кораблях, чайки были столь же законными обитатель-

ницами Росса, как болотные курочки, и стоило взобраться на валун, как взгляд поражала яркая синева моря. Весной в ветреные дни мне даже в самом центре полуострова доводилось слышать грозный рев аросского Гребня и громовые, наводящие ужас голоса валов, которые мы прозвали Веселыми Молодцами.

Сам Арос (местные жители называют его Арос-Джей, и, по их утверждению, это означает «Дом Божий»), строго говоря, не относится к Россу, хотя он и не остров в собственном смысле слова. Это клочок суши на юго-западе полуострова, примыкающий к нему почти вплотную и отделенный от него лишь узеньким морским рукавом, не достигающим в самом узком месте и сорока футов ширины. При полном приливе вода в проливчике бывает прозрачной и неподвижной, точно в заводи большой реки, только водоросли и рыбы тут другие, да вода кажется зеленой, а не коричневой. Раза два в месяц при полном отливе с Ароса на полуостров можно перейти посуху. На Аросе было несколько лужков с хорошей травой, где паслись овцы моего дяди. Возможно, трава на островке была лучше потому, что он поднимается над морем немного выше, чем полуостров; впрочем, я слишком плохо разбираюсь в подобных вопросах, чтобы сказать, так ли это. Двухэтажный дом дяди в этих краях считался очень хорошим. Фасадом он был обращен на запад, к бухточке с небольшой пристанью, и с порога мы могли наблюдать, как клубится туман на Бен-Кайо.

По всему побережью Росса, и особенно вблизи Ароса, те огромные гранитные скалы, о которых я уже упоминал, группами спускаются в море, точно скот в летний день. Они торчат там совсем так же, как их соседки на суше, только вместо безмолвной земли между ними всхлипывает соленая вода, вместо вереска на них розовеет морская гвоздика, и у их подножия извиваются не ядовитые сухопутные гадюки, а морские угри. В дни, когда море спокойно, можно долгие часы плавать в лодке по этому лабиринту, где вам сопутствует гулкое эхо, но в бурю... господь спаси и помилуй человека, который заслышит кипение этого котла.

У юго-западной оконечности Ароса этих скал особенно много, и тут они особенно велики. И чем дальше, тем, должно быть, чудовищнее становится их величина, ибо они простираются в море миль на десять и стоят так же часто,

как дома на деревенской улице, некоторые — вздымаясь над волнами на тридцать футов, другие — прячась под водой, но те и другие равно гибельные для кораблей. Как-то в погожий день, когда дул западный ветер, я с вершины Ароса насчитал целых сорок шесть подводных рифов, на которых белой пеной дробились тяжелые валы. Однако самая грозная опасность подстерегает корабль у берега, так как прилив здесь, стремительно мчась, точно по мельничному водостоку, образует у оконечности суши длинную полосу сшибающихся волн — Гребень, как мы ее называем. Я часто приходил туда во время полного штиля при отливе, и было очень странно наблюдать, как волны закручиваются в водоворотах, вздуваются и клокочут, точно в водопаде, а порой раздается бормотание и ропот, словно Гребень разговаривает сам с собой. Но, когда начинается прилив да еще в бурную погоду, в мире не нашлось бы человека, который сумел бы благополучно провести лодку ближе, чем в полумиле от этого места, и не один корабль не мог бы уцелеть тут. Рев волн разносится вокруг не меньше, чем на шесть миль. Ближе к открытому морю вода особенно буйствует, и именно там пляшут пляску смерти огромные валы, которые в этих краях были прозваны Веселыми Молодцами. Я слышал, что они достигают в высоту пятидесяти футов, но, конечно, в виду имелась только зеленая вода, так как пена и брызги взлетают вверх и на сто футов. Получили ли они это имя за свои движения, быстрые и прихотливые, или за шум, который они поднимают, сотрясая весь Арос, когда прилив достигает высшей точки, я сказать не могу.

При юго-западном ветре эта часть нашего архипелага превращается в настоящую ловушку. Если бы даже кораблю удалось благополучно миновать рифы и выдержать натиск Веселых Молодцов, его все равно выбросило бы на берег на южной оконечности Ароса в Песчаной бухте, где столько несчастий обрушилось на нашу семью, о чем я теперь и намерен рассказать. Воспоминание обо всех этих опасностях, таящихся в местах, так давно мне знакомых, заставляет меня особенно радоваться работам, которые теперь ведутся там, чтобы построить маяки на мысах и отметить буями фарватеры у берегов наших закованных в скалы, негостеприимных островов.

Местные жители рассказывают немало историй про Арос, и я вдосталь наслушался их от Рори, старого слуги

моего дяди, который издавна служил Маклинам и навсегда остался в доме своих прежних хозяев. Существовала, например, легенда о неприкаянном морском духе, который обитал в кипящих волнах Гребня, занимаясь там злыми делами. Как-то в Песчаной бухте русалка подстерегла одного волынщика и всю долгую ясную летнюю ночь напролет пела ему, так что наутро он лишился рассудка и с той поры до дня своей смерти повторял только одну фразу. Как она звучала по-гэльски, я не знаю, но переводили ее так: «Ах, чудесное пение, доносящееся из моря!» Были известны случаи, когда тюлени, облюбовавшие эти берега, заговаривали с людьми на человечьем языке и предсказывали великие несчастья. Именно здесь ступил на землю некий святой, когда отправился из Ирландии обращать в христианство жителей Гебридских островов. И право, на мой взгляд, он заслуживает названия святого, ибо пройти на утлом суденышке тех далеких времен по такому бурному морю и благополучно высадиться на столь коварном берегу, безусловно, значило сотворить чудо. Ему, а может быть, кому-нибудь из монахов, его учеников, построившему здесь келью, Арос и обязан своим святым и прекрасным названием — Дом Божий.

Однако среди всех этих сказок была одна, которая казалась мне правдоподобнее других. Рассказывали, что буря, разметавшая корабли Непобедимой Армады у северо-западных берегов Шотландии, выбросила один большой галеон на камни Ароса, и он на глазах кучки зрителей на вершине холма через мгновение затонул со всей командой, не спустив флага. Эта легенда могла таить в себе долю истины, потому что другой корабль Армады затонул у северного берега, в двадцати милях от Гризепола. Мне казалось, что эта история рассказывается намного серьезнее и с гораздо большими подробностями, чем остальные предания, а одна деталь и вовсе убедила меня в ее правдивости: легенда сохранила название корабля, и, на мой взгляд, оно, несомненно, было испанским. Он назывался «Эспирито Санто» — огромный корабль со многими пушечными палубами, нагруженный сокровищами, цветом испанской знати и свирепыми «солдадос», который теперь, покончив с войнами и плаваниями, навеки упокоился на дне Песчаной бухты у западной оконечности Ароса. Никогда больше не загремят пушки этого могучего корабля «Дух Святой», и попутный ветер не понесет его

в дальние страны, навстречу удаче. Ему остается только тихо гнить среди чащи водорослей и слушать вопли Веселых Молодцов, когда подымается прилив. С самого начала эта мысль казалась мне удивительной, и она становилась все удивительнее по мере того, как я ближе знакомился с Испанией, откуда этот корабль отплыл в обществе стольких горделивых товарищей, и с королем Филиппом, богатым королем, отправившим его в это плавание.

А теперь я должен сказать вам, что в этот день, когда я шел из Гризепола к Аросу, мои мысли были заняты как раз «Эспирито Санто». Тогдашний ректор Эдинбургского университета, прославленный писатель доктор Робертсон, был обо мне хорошего мнения, и по его поручению я занялся разбором старинных документов, чтобы отделить истинно ценные от неинтересных и ненужных. И вот, к моему большому удивлению, я нашел среди них заметку об этом самом корабле «Эспирито Санто» — в ней указывалось имя капитана, сообщалось, что корабль этот вез значительную часть испанской казны и погиб у Росса под Гризеполом, но где именно, осталось неизвестным, так как полудикие племена, обитавшие там в те времена, не пожелали ничего сообщить королевским чиновникам. Сопоставив между собой все эти сведения — местное предание и результаты расследования, произведенного по приказу короля Якова,— я проникся твердым убеждением, что местом, которое он тщетно разыскивал, могла быть только маленькая Песчаная бухта на островке моего дяди; и будучи человеком практической складки, интересующимся механикой, я с тех пор все время прикидывал, каким способом можно было бы поднять этот галеон со всеми его золотыми слитками и дублонами, чтобы вернуть нашему роду Дарнеуэй его давно забытое достоинство и богатства.

Однако мне вскоре пришлось с раскаянием отказаться от своих планов. Мои мысли внезапно обратились к совсем иным предметам, и с тех пор, как я стал свидетелем странной божьей кары, мысль о сокровищах мертвецов стала мне противна. Но даже и в то время двигали мною не жадность и не корыстолюбие, ибо если я и мечтал о богатстве, то не ради себя, а ради той, которая была бесконечно дорога моему сердцу — ради Мери-Урсулы, дочери моего дяди. Она получила хорошее воспитание и училась в пансионе, хотя бедняжке жилось бы легче,

если бы она прозябала в невежестве. Арос был неподходящим для нее местом; она видела там только старика Рори и своего отца, одного из самых несчастных людей в Шотландии, который вырос в обнищавшем поместье, среди суровых приверженцев Камерона, долгое время плавал между Клайдом и островами, а теперь без всякой охоты занимался овцеводством и ловил рыбу, чтобы прокормить себя и дочь. Если даже я, проводя на Аросе месяц-два, начинал иногда скучать, то представьте, как тяжко приходилось Мери, которая была вынуждена жить в этой глуши круглый год, видеть только овец да чаек и слушать, как поют и пляшут Веселые Молодцы.

ГЛАВА II

ЧТО ПРИНЕС АРОСУ РАЗБИТЫЙ КОРАБЛЬ

Когда я вышел к морю напротив Ароса, уже начался прилив, и мне оставалось только свистом вызвать Рори с лодкой, а самому ждать на дальнем берегу. Повторять сигнал не было нужды. Едва я свистнул, как в дверях появилась Мери и помахала мне платком, а старый длинноногий слуга, ковыляя по песку, поспешно спустился к пристани. Как он ни торопился, бухту он пересек не так уж скоро: несколько раз он клал весла, нагибался над кормой и внимательно вглядывался в воду. Когда Рори приблизился к берегу, мне показалось, что он сильно состарился, исхудал и как-то странно избегает моего взгляда. Ялик подновили — на нем появились две новые скамейки и несколько заплат из редкостного заморского дерева, названия которого я не знаю.

— Послушай-ка, Рори,— сказал я, когда мы отправились в обратный путь,— какое хорошее дерево! Откуда оно у вас?

— Не больно-то оно поддается рубанку,— с неохотой пробормотал Рори. Бросив весла, он наклонился над кормой точно так же, как когда он плыл за мной, и, опираясь на мое плечо, стал с выражением ужаса вглядываться в волны.

— Что случилось? — спросил я, растерявшись.

— Опять эта рыбища,— ответил старик, берясь за весла.

Больше мне ничего не удалось от него добиться — на все мои вопросы он только таинственно на меня поглядывал и зловеще качал головой. Поддавшись необъяснимой тревоге, я также стал всматриваться в воду за кормой. Она была прозрачной и зеркальной, но тут, на середине бухты, очень глубокой. Некоторое время я ничего не видел, но потом мне почудилось, будто что-то темное, может быть, большая рыба, а может быть, просто тень, настойчиво следует за яликом. И тут я вспомнил один из суеверных рассказов Рори о том, как в Морвене на переправе, во время какой-то кровавой усобицы между кланами, невиданная прежде рыба несколько лет провожала паром, так что в конце концов никто уже не осмеливался переправляться на другую сторону.

— Она поджидает... знает кого,— сказал Рори.

Мери встретила меня у самой воды, и мы поднялись с ней вверх по склону к аросскому дому. И снаружи и внутри я заметил много перемен. Сад был обнесен оградой из того же дерева, какое пошло на починку лодки; на кухне стояли кресла, обтянутые чужеземной парчой, на окне висели парчовые занавески, на комоде красовались часы, но они не шли; с потолка свисала медная лампа; накрытый к обеду стол щеголял тонкой скатертью и серебряной посудой. Все эти новые богатства были выставлены напоказ в убогой, так хорошо мне знакомой, старой кухне, где все еще стояли скамья с высокой спинкой и табуреты, а в нише — кровать Рори; где солнце светило сквозь широкую трубу на тлеющий в очаге торф; где на полке над очагом лежали трубки, а на полу стояли треугольные плевательницы, наполненные вместо песка ракушками; где каменные стены ничем не были украшены, а на простом деревянном полу лежали три половичка, прежде единственное украшение кухни,— три ковра бедняка, невиданные в городах, сплетенные из холстины, черного сукна воскресных сюртуков и грубой дерюги, залоснившейся оттого, что она долго терлась о лодочные скамьи. Эта кухня, как и весь дом, славилась в этих краях — такой она была чистенькой и уютной, и теперь, увидев эти нелепые, недостойные ее добавления, я возмутился и даже почувствовал гнев. Если вспомнить, зачем я сам в этот раз приехал в Арос, то подобное чувство следовало бы назвать неоправданным и несправедливым. Но в первую минуту оно опалило мое сердце огнем.

— Мери,— сказал я,— я привык звать это место моим родным домом, а теперь я его не узнаю.

— А для меня это место всегда было родным домом,— ответила она,— домом, где я родилась и где я хотела бы умереть. И мне тоже не по душе эти вещи, не по душе, как они попали к нам, и все то, что они принесли с собой. Лучше бы им сгинуть в море, чтобы теперь над ними плясали Веселые Молодцы.

Мери всегда была серьезной — это, пожалуй, была единственная черта, унаследованная ею от отца,— однако тон, которым она произнесла эти слова, был не только серьезным, но даже мрачным.

— Да,— сказал я,— я так и опасался, что вещи эти принесло кораблекрушение, то есть смерть. Правда, когда скончался мой отец, я вступил во владение его имуществом без угрызений совести.

— Твой отец умер чистой смертью, как говорится,— ответила Мери.

— Верно,— продолжал я,— а кораблекрушение подобно божьей каре. Как называлось это судно?

— Оно звалось «Христос-Анна»,— произнес голос позади меня, и, обернувшись, я увидел в дверях дядю.

Это был невысокий угрюмый человек с длинным лицом и очень темными глазами; в пятьдесят шесть лет он был еще крепок и подвижен и с виду походил не то на пастуха, не то на матроса. Ни разу в жизни я не слышал его смеха. Он постоянно читал Библию, много молился, как в обычае у камероніян, среди которых он рос; он вообще представляется мне во многом схожим с этими горцами-проповедниками кровавых времен, предшествовавших революции. Однако благочестие не принесло ему утешения и даже, как мне казалось, не служило ему опорой. У него бывали припадки черной тоски, когда он изнывал от страха перед адом, но в прошлом он вел не очень-то праведную жизнь, о которой все еще вспоминал со вздохом, и по-прежнему оставался грубым, суровым, мрачным человеком.

Пока он стоял на пороге, солнце освещало шотландский колпак на его голове и трубку, заткнутую в петлицу куртки, а когда он вошел в кухню, я заметил, что он, как и Рори, постарел и побледнел, что его лицо избороздили глубокие морщины, а белки глаз отливают желтизной, точно старые слоновьи клыки или кости мертвецов.

— «Христос-Анна»,— повторил он, растягивая первое слово.— Кощунственное название.

Я поздоровался с ним и похвалил его цветущий вид, сказав при этом, что я опасался, не был ли он болен.

— Плоть моя здорова,— ответил он резко,— да, здорова и грешна, как и твоя. Обедать!— крикнул он Мери, а затем вновь повернулся ко мне.— Неплохие вещи, а? Часы-то какие! Только они не ходят, а скатерть самая что ни на есть льняная. Хорошие, дорогие вещи! Вот за такое-то добро люди нарушают заповеди господни; за такое-то добро, а может, даже и похуже, люди восстают на бога и его заветы и горят за это в аду; потому-то в Писании и называется оно проклятым. Эй, Мери,— вдруг раздраженно крикнул он,— почему ты не поставила на стол оба подсвечника?

— А к чему они нам среди бела дня?— спросила она.

Однако дядя ничего не желал слушать.

— Мы будем любоваться на них, пока можно,— сказал он.

И пара массивных подсвечников чеканного серебра была водружена на стол, убранство которого и так уже не подходило простой деревенской кухне.

— Их выбросило на берег десятого февраля, часов так в десять вечера,— начал рассказывать мне дядя.— Ветра не было, но волна шла крупная, ну, Гребень их и затянул, как я полагаю. Мы с Рори еще днем видели, как они старались выйти к ветру. Не слишком-то он слушался руля, этот «Христос-Анна», все уваливался под ветер. Да, тяжеленько им пришлось. Матросы так и не слезали с реев, а холод стоял страшный — вот-вот снег пойдет. А ветер-то чуть подымется и тут же стихнет, только подразнит их надеждой. Да, тяжеленько, тяжеленько им пришлось. Уж тот, кто добрался бы до берега, мог бы возгордиться.

— И все погибли?— воскликнул я.— Да смилуется над ними бог!

— Ш-ш,— сказал он строго,— я не позволю молиться за мертвецов у моего очага.

Я возразил, что в моем восклицании не было ничего папистского, а он принял мои извинения с несвойственной ему покладистостью и тут же заговорил о том, что, по-видимому, стало для него излюбленной темой:

— Мы с Рори отыскали его в Песчаной бухте, а все это добро было внутри. В Песчаной бухте порой бывает толчея — то воду гонит к Веселым Молодцам, а то, когда идет прилив и слышно, как у дальнего конца Ароса ревет Гребень, обратное течение заворачивает в Песчаную бухту. Оно-то и подхватило этого «Христа-Анну» и понесло кормой вперед — нос лежит теперь куда ниже кормы, и все днище открылось. Ну и треск был, когда его ударило о камни! Господи, спаси нас и помилуй! Нелегко живется морякам, холодная у них, опасная жизнь. Я сам немало времени провел над пучиной морской. И зачем только господь сотворил эту скверную воду! Он создал долины и луга, сочные зеленые пастбища, тучную красивую землю...

И ликуют они и поют,
Ибо радость Ты им даровал,

как говорится в стихотворном переложении псалмов. Не то чтобы от этого они стали благочестивее, но зато красивы, да и запоминать их легче. «Кто в море уходит на кораблях»,— как в них еще говорится,—

И трудится над бездной вод,
Тому господь свои труды
И чудеса узреть дает.

Ну, говорить-то легко. Давид, наверно, не слишком хорошо знал море, а я одно скажу: да не будь это напечатано в Библии, так я бы уж подумал, что не господь, а сам проклятый черный дьявол сотворил море. От него не жди ничего хорошего, кроме рыбы. Ну, да Давид, небось, думал о том, как господь несется на крыльях бури. Ничего не скажешь — хорошенькие чудеса дал господь узреть «Христу-Анне». Да что там чудеса! Кара это была, кара во тьме ночной посередь чудищ морской пучины. А души их — ты только подумай! — души их, может, не были еще готовы! Море — проклятое преддверье ада!

Я заметил, что в голосе моего дяди слышалось неестественное волнение, и он подкреплял свою речь жестами, чего прежде никогда не делал. При этих последних словах, например, он наклонился, оперся о мое колено растопыренными пальцами и, побледнев, заглянул мне в лицо, и я увидел, что его глаза горят глубоким огнем, а у рта залегли дрожащие складки.

Вошел Рори, и мы приступили к обеду, но это лишь ненадолго отвлекло дядю от прежних мыслей. Правда он задал мне несколько вопросов о моих успехах в колледже, но я заметил, что думает он о другом, и даже когда он произносил свою импровизированную благодарственную молитву (как всегда, длинную и бессвязную), я и в ней услышал отзвуки все той же темы, ибо он молился, чтобы господь «был милосерден к бедным, безрассудным, сбившимся с пути грешникам, всеми покинутым здесь у великих и мрачных вод». Затем он повернулся к Рори.

— Была она там? — спросил дядя.

— Была,— сказал Рори.

Я заметил, что они оба говорили как бы между собой и с некоторым смущением, а Мери покраснела и опустила взгляд. Отчасти желая показать свою осведомленность и тем рассеять неловкость, а отчасти потому, что меня снедало любопытство, я вмешался в их разговор.

— Вы имели в виду рыбу? — спросил я.

— Какую еще рыбу!— вскричал мой дядя.— Он про рыбу говорит! Рыба! У тебя мозги зажирели. Только и думаешь, что о плотских желаниях. Это злой дух, а не рыба!

Он говорил с большой горячностью, словно рассердившись. Должно быть, мне не понравилось, что меня так резко оборвали,— молодежи свойственна строптивость. Во всяком случае, насколько помню, я возразил ему и с жаром стал обличать детские суеверия.

— А еще учишься в колледже! — язвительно произнес дядя Гордон.— Одному богу известно, чему они вас там учат. Что же, по-твоему, в этой соленой пустыне нет ничего — там, где растут морские травы и копошатся морские звери, куда солнце заглядывает изо дня в день? Нет, море похоже на сушу, только куда страшнее. И раз есть люди на берегу, значит, есть люди и в море — может, они и мертвецы, но все равно люди; а что до дьяволов, так нет ужаснее морских дьяволов. Если уж на то пошло, то от сухопутных дьяволов нет большого вреда. Давным-давно, когда я еще был мальчишкой и жил на юге, так в Пиви-Мосс водился старый лысый дух. Я своими глазами его видел — сидел он на корточках в трясине, а сам серый, что могильный камень. Жуткий такой, вроде жабы, только трогать он никого не трогал. Ну, конечно,

шел бы мимо распутник, от которого господь отвернулся, какой-нибудь там нераскаянный грешник, так эта тварь на него набросилась бы,— а вот в пучине морской водятся дьяволы, которые и доброго христианина не пощадят. Да, господа хорошие, коли бы вы утонули вместе с беднягами на «Христе-Анне», вы бы теперь на себе испробовали милосердие моря. Поплавай вы по нему с мое, так ненавидели бы его еще лютее, чем я. Да гляди вы глазами, которыми вас одарил господь, так поняли бы всю злобу моря, коварного, холодного, безжалостного,— и всего, что водится в нем с господнего соизволения: крабы всякие, которые едят мертвецов, чудовища-киты и рыбы — весь их рыбий клан — с холодной кровью, слепые, жуткие твари. Знали бы вы,— вскричал он,— как оно ужасно, море!

Эта неожиданная вспышка потрясла нас всех, а дядя после последнего хриплого выкрика погрузился было в свои мрачные мысли. Однако Рори, любитель и знаток всяческих суеверий, вывел его из задумчивости, задав ему вопрос:

— Да неужто вы видели морского дьявола?

— Видел, только неясно,— ответил дядя.— А коли бы простой человек увидел его ясно, так, наверное, он и часа не прожил бы. Приходилось мне плавать с одним пареньком — звали его Сэнди Габарт,— так вот он дьявола увидел. Ну, и пришел ему тут же конец. Мы семнадцать дней как вышли из Клайда — и пришлось нам тяжеленько, а шли мы на север с зерном и всякими товарами для Маклеода. Ну, добрались мы почти до самых Катчалнов — как раз прошли Соэу и начали длинный галс, думая, что так и дотянем до Копнахау. Я эту ночь никогда не забуду: луна была в тумане, дул хороший ветер, да не очень ровный. А еще — и жутко же это было слушать — другой ветер завывал наверху, среди страшных каменных вершин Катчалнов. Ну, так Сэнди стоял у стакселя, и нам его не было видно с грот-мачты, где мы крепили парус. Вдруг он как закричит! Я потянул сезень, точно с ума свихнулся, потому что мне почудилось, будто мы повернули на Соэу. Да только я ошибся — был это смертный крик бедняги Сэнди Габарта, ну, может, предсмертный, потому что умер он через полчаса. И успел еще сказать, что у самого бушприта вынырнул морской дьявол, или, может, морской дух, или еще какая-то морская нечисть, и этот дьявол посмотрел на него холодным жутким взглядом. И

когда Сэнди помер, мы поняли, какой это знак и почему ветер выл на Катчалнах. Тут он и обрушился на нас — и не ветер это был, а гнев божий. И всю эту ночь мы работали, как сумасшедшие, а когда опомнились, смотрим: мы уже в Лох-Ускева, и на Бенбекуле поют петухи.

— Это, небось, была русалка,— сказал Рори.

— Русалка?!— вскричал мой дядя с невыразимым презрением.— Бабьи россказни! Никаких русалок нет!

— Ну, а на что он был похож? — спросил я.

— На что он был похож? Упаси бог, чтобы нам довелось это узнать! Была у него какая-то голова, а больше Сэнди ничего не мог сказать.

Тогда Рори, уязвленный до глубины души, поведал несколько историй про русалок, морских духов и морских коней, которые выходили на берег на островах или нападали на рыбачьи суда в открытом море. Мой дядя, несмотря на свой скептицизм, слушал старика с боязливым любопытством.

— Ладно, ладно,— сказал он,— может, оно и так, может, я и ошибся, да только в писании про русалок ни слова не сказано.

— И про аросский Гребень там тоже, небось, ни словечка не сказано,— возразил Рори, и его довод, по-видимому, показался дяде убедительным.

После обеда дядя повел меня на холм позади дома. День был безветренный и очень жаркий, зеркальную поверхность моря не морщила даже легкая рябь, и тишину нарушали только привычное блеяние овец да крики чаек. Не знаю, подействовала ли разлитая в природе благость на моего родича, но, во всяком случае, он держался более разумно и спокойно, чем раньше. С интересом, почти даже с увлечением обсуждая мое будущее, он только время от времени возвращался к погибшему судну и к сокровищам, которые оно принесло Аросу. Я же слушал его в каком-то тихом оцепенении, жадно впивая глазами столь хорошо знакомый мне пейзаж, и с наслаждением вдыхал морской воздух и дымок от горящего торфа — это Мери развела огонь в очаге.

Миновал час, и мой дядя, который все это время исподтишка поглядывал на маленькую бухту, встал и позвал меня за собой. Тут следует упомянуть, что мощная приливная волна у юго-западной оконечности Ароса вызывает волнение у всех его берегов. В Песчаной бухте на юге

в определенные часы прилива и отлива возникает сильное течение, но в северной бухточке (бухте Арос, как ее называют), у которой стоит дом и на которую теперь глядел мой дядя, волнение возникает только перед самым концом отлива, да и тогда его бывает трудно заметить, настолько оно незначительно. Когда дует ветер, его вообще не видно, но в тихие дни, выпадающие не так уж редко, на зеркальной поверхности бухты появляются странные, непонятные знаки — назовем их морскими рунами. Подобное явление можно наблюдать в сотнях мест по всему побережью, и, наверно, есть немало юношей, которые забавы ради пытались найти в этих рунах какой-нибудь намек на себя или на людей близких им и дорогих. На эти-то знаки и указал мне теперь дядя, причем с какой-то неохотой.

— Видишь вон ту рябь на воде? — спросил он.— Там, возле серой скалы? Видишь? Ведь верно, что она похожа на букву?

— Конечно,— ответил я,— я сам это часто замечал. Похоже на букву «Х».

Дядя испустил тяжкий вздох, словно мой ответ горько его разочаровал, и еле слышно произнес:

— Да, да... «Христос-Анна».

— А я, сэр, всегда полагал, что этот знак послан мне и означает «храм».

— Значит, ты его и раньше видел? — продолжал он, не слушая меня.— Дивное дело, страшное дело. Может, он поджидал здесь, как говорится, изначала века. Странное, страшное дело.— Тут он добавил другим тоном: — А еще такой знак ты видишь?

— Вижу,— ответил я,— и очень ясно. У того берега, где дорога спускается к воде,— большое «У».

— «У»,— повторил он вполголоса и, помолчав, спросил:— А как ты это толкуешь?

— Я всегда думал, что это указывает на Мери, сэр: ведь ее второе имя — Урсула,— ответил я, краснея, так как не сомневался, что вот сейчас должен буду объявить ему о своих намерениях. Однако мы думали о разном и оба не следили за ходом мысли собеседника. Дядя вновь не обратил ни малейшего внимания на мои слова и угрюмо понурился. Я решил бы, что он просто ничего не слышал, если бы следующая его фраза не прозвучала, как отголосок моей.

— Мери лучше ничего об этих письменах не говорить,— сказал он и зашагал вперед.

По берегу бухты Арос тянется полоска травы, удобная для ходьбы, и я молча следовал по ней за моим безмолвным родичем. Признаюсь, я был немного расстроен тем, что лишился столь удобного случая сказать дяде про мою любовь. Однако меня гораздо больше занимала происшедшая в нем перемена. Он никогда не был добродушным, общительным человеком в буквальном смысле этого слова, но то, каким он бывал прежде даже в самые черные минуты, все же не подготовило меня к столь странному преображению. Одно, во всяком случае, было несомненно: его, как говорится, что-то грызло. И я принялся мысленно перебирать слова, начинающиеся с буквы «У»,— «уныние», «успех», «удача» и все в том же духе, как вдруг словно споткнулся о слово «убийство». Я все еще размышлял над зловещим звучанием и роковым смыслом этого слова, когда мы достигли места, откуда открывался вид на весь остров — позади виднелась бухта Арос и дом, впереди расстилался океан, усеянный на севере островками, а на юге — синий и ничем не ограниченный. Тут мой проводник остановился и некоторое время молча смотрел на бесконечный водный простор. Затем он повернулся ко мне и сильно сжал мой локоть.

— По-твоему, там ничего нет? — спросил он, указывая трубкой на океан, и тут же вскричал с каким-то диким торжеством: — Послушай, что я тебе скажу! Там все дно кишит мертвецами, как крысами.

Тут он повернулся, и мы направились к дому, не сказав больше друг другу ни слова.

Я мечтал остаться с Мери наедине, но только после ужина мне наконец удалось улучить минуту, чтобы поговорить с ней. Я знал, что нас скоро могут прервать, а поэтому не стал тратить времени и сразу высказал все, что было у меня на душе.

— Мери,— сказал я,— я приехал в Арос, чтобы проверить одну свою догадку. Если я не ошибся, то мы все сможем уехать отсюда, не заботясь более о хлебе насущном,— я сказал бы и больше, только не хочу давать обещания, которые могут оказаться опрометчивыми. Но я лелею надежду, которая для меня важнее всех богатств в мире,— тут я помолчал.— Ты ведь знаешь, о чем я говорю, Мери.

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

Она молча отвела глаза от моего лица, но и это меня не остановило.

— Я всегда думал только о тебе,— продолжал я,— время идет, а я думаю о тебе все больше, и ты мне все дороже. Без тебя мне в жизни нет ни счастья, ни радости. Ты зеница моего ока.

Она по-прежнему не смотрела на меня и ничего мне не ответила, но мне показалось, что ее рука дрожит.

— Мери! — вскричал я со страхом.— Может быть, я тебе не нравлюсь?

— Ах, Чарли,— сказала она,— разве сейчас время говорить об этом? Не говори со мной пока, ни о чем меня не спрашивай. Труднее всего будет ждать не тебе!

В ее голосе слышались слезы, и я думал только о том, как бы ее утешить.

— Мери-Урсула,— сказал я,— не говори больше ничего. Я приехал не для того, чтобы огорчать тебя. Как ты хочешь, так и будет,— и тогда, когда назначишь ты. К тому же ты сказала мне все, что я хотел узнать. Еще только один вопрос: что тебя тревожит?

Она призналась, что тревожится из-за отца, но ничего не захотела объяснить и, покачав головой, сказала только, что он нездоров, стал совсем на себя не похож и что у нее сердце разрывается от жалости. О погибшем корабле она ничего не знала.

— Я туда и не ходила,— сказала она.— Зачем мне было на него смотреть, Чарли? Все эти бедняги давно покинули наш мир — и почему только они не взяли с собой свое добро! Бедные, бедные!

После этого мне не просто было рассказать ей про «Эспирито Санто». Тем не менее я сообщил ей о моем открытии, и при первых же словах она вскрикнула от удивления.

— В мае в Гризепол приезжал человек,— сказала она.— Маленький такой, желтолицый, с черными волосами — так люди рассказывали. Бородатый, с золотыми кольцами на пальцах. И он всех встречных и поперечных расспрашивал про этот самый корабль.

Доктор Робертсон поручил мне разобрать старинные документы в конце апреля. И тут я вдруг вспомнил, что их разбирали по просьбе испанского историка (во всяком случае, так он себя называл), который явился к ректору с самыми лестными рекомендациями и объяснил, что соби-

рает сведения о дальнейшей судьбе кораблей Непобедимой Армады.

Сопоставив эти факты, я решил, что приезжий «с золотыми кольцами на пальцах» был, вероятно, тем же мадридским историком, который посетил доктора Робертсона. В таком случае он скорее разыскивал сокровище для себя, а вовсе не собирал сведения для какого-нибудь ученого общества. Я подумал, что мне не следует терять времени, а нужно браться за дело, и если на дне Песчаной бухты и правда покоится корабль, как, быть может, предполагал не только я, но и он, то его богатства должны достаться не этому авантюристу в кольцах, а Мери и мне и всему доброму старому честному роду Дарнеуэев.

ГЛАВА III

МОРЕ И СУША В ПЕСЧАНОЙ БУХТЕ

На следующее утро я встал спозаранку и, перекусив на скорую руку, приступил к поискам. Какой-то голос в моей душе шептал мне, что я непременно отыщу испанский галеон, и хотя я старался не поддаваться столь радужным надеждам, тем не менее на сердце у меня было легко и радостно. Арос — скалистый островок, весь в каменных россыпях, где косматятся папоротник и вереск. Мой путь вел почти прямо с севера на юг через самый высокий холм, и хотя пройти мне было нужно всего две мили, времени и сил на это потребовалось больше, чем на четыре мили по ровной дороге. На вершине я остановился. Холм этот не очень высок — не более трехсот футов, но все же он гораздо выше прилегающих к морю низин Росса, и с него открывается великолепный вид на море и окрестные острова. Солнце взошло уже довольно давно и сильно припекало мне затылок; воздух застыл в тяжелой грозовой неподвижности, но был удивительно прозрачен; далеко на северо-западе, где островки были особенно густы, висела небольшая гряда лохматых облаков, а голову Бен-Кайо окутывали уже не ленты, а плотный капюшон тумана. Погода таила в себе угрозу. Море, правда, было гладким, как стекло,— Гребень был лишь морщинкой, а Веселые Молодцы — легкими шапками пены;

однако мое зрение и слух, давно свыкшиеся с этими местами, различали в море скрытую тревогу; и на вершине холма я услышал, как оно вдруг словно глубоко вздохнуло, и даже Гребень, несмотря на свое спокойствие, казалось, замышлял какое-нибудь злодеяние. Тут следует упомянуть, что все мы, обитатели здешних мест, приписываем этому странному и опасному порождению приливов если не пророческий дар, то, во всяком случае, способность предупреждать о несчастье.

Я прибавил шагу и вскоре уже спустился по склону к той части Ароса, которую мы зовем Песчаной бухтой. Она довольно велика, если принять во внимание малые размеры острова, хорошо укрыта почти от всех ветров, кроме самого постоянного, на западе мелка и окаймлена невысокими песчаными дюнами, но в восточном ее конце глубина достигает нескольких саженей, а берег встает из воды отвесными скалами. Туда-то в определенный час каждого прилива и заворачивает сильное течение, упомянутое моим дядей. Чуть позже, когда Гребень вздымается круче, появляется обратное подводное течение, которое, по моему мнению, и углубило дно в этой части бухты. Из Песчаной бухты не видно ничего, кроме кусочка горизонта или — во время бури — огромных валов, взлетающих ввысь над подводным рифом.

На полдороге я увидел корабль, потерпевший крушение в феврале,— довольно большой бриг, который, переломившись почти пополам, лежал на берегу у восточной границы песков. Я направился прямо к нему и уже почти достиг песка, как вдруг мой взгляд привлекла полянка, где папоротники и вереск были выполоты, чтобы освободить место для одной из тех длинных узких и сходных с человеческим телом насыпей, которые мы так часто видим на кладбище. Я остановился, словно пораженный громом. Никто ни словом не упомянул при мне, что на острове был кто-то похоронен. Рори, Мери и мой дядя — все хранили молчание. Правда, я не сомневался, что Мери ничего не знает, но тем не менее здесь, перед моими глазами, было бесспорное доказательство этого факта. Я смотрел на могилу, с ужасом спрашивая себя, что за человек спит последним сном в этом уединенном, омытом морем склепе, ожидая трубы последнего суда, и не находил иного ответа на этот вопрос, кроме того, которого страшился. Во всяком случае, он попал сюда с погибшего ко-

рабля — быть может, подобно морякам испанской Армады, он явился из какой-то далекой и богатой страны, а может быть, это был мой земляк, которому суждено было погибнуть у самого порога своего дома. Несколько минут я, обнажив голову, медлил подле него, и мне было грустно, что наша религия не позволяет мне помолиться за несчастного или, наподобие древних греков, почтить его кончину каким-нибудь торжественным обрядом. Я знал, что, хотя его кости упокоились здесь, став частью Ароса до Судного дня, бессмертная душа его была далеко отсюда и испытывала сейчас то ли блаженство вечного воскресения, то ли адские муки. Я знал это, и все же меня охватил страх при мысли, что, быть может, он пребывает совсем близко от меня, пока я стою здесь, над его могилой, что он не покинул места, где встретил свой злополучный конец.

Помрачнев, я отвернулся от могилы и стал рассматривать разбитый бриг — зрелище, едва ли менее меланхоличное. Его нос лежал чуть выше линии прилива; переломился он позади фок-мачты — впрочем, мачт на нем уже не было, так как обе были потеряны во время бури. Берег здесь очень крут, а нос лежал на много футов ниже кормы, так что место разлома ничто не загораживало, и корпус просматривался насквозь. Название брига почти стерлось, и я так и не разобрал: то ли он назывался «Христиания» в честь норвежского города, то ли носил имя «Христианы», добродетельной супруги Христиана из «Пути паломника», этой старинной нравоучительной книги. Судя по постройке, корабль не был английским, но установить его национальность я не мог. Он был некогда выкрашен в зеленый цвет, но краска выцвела, побурела и отставала от дерева длинными полосками. Рядом с корпусом лежал обломок грот-мачты, почти занесенный песком. Зрелище поистине было печальным, и на мои глаза навертывались слезы, пока я глядел на еще сохранившиеся обрывки снастей, которых прежде так часто касались руки перекликающихся матросов, на узкий трап, по которому они подымались и спускались, повинуясь словам команды, на бедного безносого ангела под бушпритом, который на своем веку нырял в такое множество бегущих волн.

Не знаю, был ли тому причиной бриг или могила, но пока я стоял там, положив руку на разбитые бревна борта, я предавался тягостным размышлениям. Мое воображе-

ние поразила горькая судьба и бесприютность не только людей, но и неодушевленных кораблей, которым суждена гибель у чужих берегов. Извлекать выгоду из подобного величайшего несчастья — что могло быть трусливее и гнуснее! И мои собственные поиски показались мне кощунственными. Но тут я вспомнил Мери, и ко мне вернулась решимость. Я знал, что дядя никогда не согласится на ее брак с бедняком, а она, как я был твердо убежден, ни за что не пошла бы под венец без его разрешения и одобрения. И мне подобало не сидеть сложа руки, но трудиться ради моей будущей жены. Усмехнувшись, я подумал, что величественная морская крепость «Эспирито Санто» сложила свои кости в Песчаной бухте несколько веков назад, и можно уже не заботиться о правах, столь давно исчезнувших, и не оплакивать несчастье, уже давным-давно забытое.

Я твердо знал, где мне следует искать останки галеона. И направление течения и глубина указывали на то, что, вероятнее всего, они лежат в восточном конце бухты, под скалами. Если «Эспирито Санто» действительно погиб в Песчаной бухте и если за эти долгие века от него хоть что-то сохранилось, то найти эти обломки я мог только там. Как я уже упоминал, дно здесь уходит вниз очень круто, и даже у самых скал глубина достигает нескольких саженей. Я шел по их краю, и взгляд мой далеко охватывал песчаное дно бухты; солнечные лучи проникали в чистую, прозрачную глубину, и бухта казалась одним огромным незамутненным кристаллом, вроде тех, какие выставляются напоказ в мастерской камнереза; о том, что передо мной была вода, можно было догадаться только по вечному внутреннему трепету, по дрожащей игре солнечных отблесков и сетки теней в глубине да по редкому всплеску и лопающимся пузырям у берега. Тени скал тянулись от их подножий довольно далеко, и моя собственная тень, скользившая, медлившая и склонявшаяся на вершине их теней, иногда достигала середины бухты. Именно в этой полосе теней я и искал «Эспирито Санто», так как именно там подводное течение достигало наибольшей силы и при приливе и при отливе. Хотя в этот томительно жаркий день вода казалась прохладной повсюду, здесь она выглядела еще более прохладной и таинственно манящей. Однако, как ни напрягал я зрение, я ничего не мог разглядеть, кроме нескольких рыб,

темной заросли водорослей да нескольких камней, которые некогда скатились с берега, а теперь лежали, разбросанные по песчаному дну. Я дважды прошел скалы из конца в конец, но не обнаружил никаких следов разбитого корабля и убедился, что обломки могли находиться лишь в одном месте. На глубине пяти саженей над песчаным дном вздымался широкий уступ, казавшийся сверху продолжением скал, по которым я ходил. Он весь зарос густыми водорослями, и колышущаяся чаща мешала мне разглядеть, что находится под ней. Однако по форме и размерам уступ этот напоминал корпус корабля. Во всяком случае, он был единственной моей надеждой. Если эти водоросли не скрывали «Эспирито Санто», значит, в Песчаной бухте его нет. И я решил немедленно покончить с неизвестностью и либо вернуться в Арос богачом, либо навсегда излечиться от мечты стать богатым.

Я разделся донага, но остановился у самого края скалы, в нерешительности стиснув руки. Бухта подо мной была абсолютно спокойна, и тишину нарушал только плеск, доносившийся из-за мыса, где резвилась стая дельфинов. И все же меня удерживал какой-то непонятный страх. Море навевало на меня тоску, мне вспомнились суеверные слова дяди; в голове у меня проносились мысли о мертвецах, могилах, старых разбитых кораблях. Но солнце, припекавшее мне плечи, наполнило жаром мое сердце, и, наклонившись, я нырнул в воду.

Мне еле-еле удалось уцепиться за плеть одной из тех водорослей, которыми так густо порос уступ; но этот ненадежный якорь все же на мгновение удержал меня на глубине, а потом я ухватил целую горсть толстых скользких стеблей и, упершись ногами в край уступа, огляделся по сторонам. Кругом простирался светлый песок, достигавший подножия скал — приливы и течение разровняли его так, что он походил на аллею в каком-нибудь парке. И передо мной, насколько хватал глаз, тянулся все тот же чуть волнистый песок, устилавший залитое солнцем дно бухты. Однако выступ, на котором я в ту минуту держался, покрывали водоросли, густые, точно вереск на каком-нибудь пригорке, а утес, к которому он примыкал, был под поверхностью воды увит бурыми лианами. В этом ровно колышущемся хаосе трудно было различить что-нибудь определенное, и я никак не мог разобрать, прижаты ли мои подошвы к камням или к бревнам испанско-

го галеона, но тут весь пучок водорослей в моей руке подался, и через мгновение я уже очутился на поверхности, где сверкающая вода и берега бухты заплясали, закружились вокруг меня в ярко-алом тумане.

Я вскарабкался назад на скалы и бросил наземь все еще зажатый в руке пучок водорослей. Раздался легкий звон, словно рядом упала монета. Я наклонился — передо мной лежала железная пряжка от башмака, покрытая коркой рыжей ржавчины. При виде этого трогательного напоминания о давно оборвавшейся жизни мое сердце преисполнилось нового чувства. Но то была не надежда и не страх, а только безысходная грусть. Я стоял, держа пряжку, и в моем воображении встал образ ее прежнего владельца. Я видел его обветренное лицо, покрытые мозолями матросские ладони, слышал его голос, охрипший от ритмичных криков у кабестана, видел даже его ногу, некогда украшенную этой пряжкой и торопливо ступавшую по качающимся палубам,— я видел перед собой человека, подобно мне, с волосами, кровью, зрячими глазами; то был не призрак, подстерегший меня в этом уединенном солнечном местечке, но друг, которого я низко предал. Действительно ли тут, на дне, покоился огромный галеон с пушками, якорями и сокровищами, такой, каким он отплыл когда-то из Испании? Правда ли, что эта старинная, многолюдная морская крепость превратилась теперь в риф в Песчаной бухте, что ее палубы укрыл лес водорослей, в каютах мечет икру рыба, и в них не слышно ни звука, кроме шороха воды, и не заметно иного движения, кроме вечного колыхания водорослей? А может быть (и это казалось мне вероятнее), тут лежал лишь обломок разбитого иностранного брига — и эту пряжку купил совсем недавно и носил человек, который был моим современником, слышал изо дня в день те же самые новости, думал о том же самом и даже молился в том же храме, что и я?

Но как бы то ни было, мной овладели мрачные мысли, в ушах звучали слова дяди: «Там мертвецы...»,— и хотя я решил нырнуть еще раз, к краю скалы я подошел с большой неохотой. В эту минуту вся бухта внезапно переменилась. Она не была уже прозрачной, видимой насквозь, точно дом со стеклянной крышей, тихой опочивальней зеленых солнечных лучей. Чуть заметный ветер разбил зеркало, и глубина исполнилась смятенным мраком, в котором метались проблески света и клубящиеся тени. Даже

выступ подо мной словно раскачивался и дрожал. Теперь он грозил опасностью, был полон тайных ловушек, и когда я прыгнул в море вторично, сердце мое сжималось от страха.

Как и в первый раз, я уцепился за водоросли и стал шарить в их колышущейся чаще. Все, до чего касались мои пальцы, было холодным, мягким и липким. Среди стеблей бегало бочком взад и вперед множество крабов и омаров. Я стиснул зубы при виде этих тварей, питающихся мертвечиной. И всюду я ощущал шероховатую поверхность и трещины твердого, монолитного камня — никаких досок, никакого железа, ни малейших следов погибшего корабля «Эспирито Санто» тут не было. Я помню, что почувствовал почти облегчение, когда убедился в своем просчете, и уже готов был неторопливо подняться на поверхность, как вдруг случилось нечто, от чего я вынырнул стремительно. вне себя от ужаса. Я слишком замешкался с моими поисками — начался прилив, течение в Песчаной бухте усиливалось, и она уже не была безопасным местом для одинокого пловца. Ну, так вот: в последнюю секунду в водоросли внезапно ударила волна течения, я потерял равновесие, опрокинулся на бок и, инстинктивно ища опоры, ухватился за что-то твердое и холодное. По-моему, я сразу же понял, что это было такое. Во всяком случае, я немедленно выпустил водоросли, которые еще сжимал в другой руке, рванулся из глубины вверх и через мгновение уже вылезал на дружелюбные скалы, держа в руке берцовую кость человека.

Люди — существа материальные, тугодумы, с трудом улавливающие связи причин и следствий. Могила, обломки брига, заржавевшая пряжка, несомненно, были красноречивее всяких слов. Ребенок мог бы разгадать по этим знакам всю грустную историю. Однако, лишь коснувшись этих реальных человеческих останков, я постиг бесконечный ужас океана-кладбища. Я положил кость рядом с пряжкой, схватил свою одежду и опрометью бросился прочь по скалам, думая только о том, чтобы уйти подальше от этого страшного места — никакие богатства не соблазнили бы меня вернуться туда. Я знал, что больше уже никогда не потревожу костей утопленников, покачиваются ли они среди водорослей или над грудами золотых монет. Однако едва я ступил на ласковую землю и прикрыл свою наготу от палящих лучей солнца, как опустился

на колени возле обломков брига и излил сердце в долгой и страстной молитве за все бедные души на море. Бескорыстная молитва никогда не бывает тщетной: пусть в просьбе будет отказано, но просящему обязательно будет ниспослано облегчение. Во всяком случае, мой ужас рассеялся, и я мог уже без смятения смотреть на великое сверкающее создание божье — океан; и когда я решил вернуться домой и начал взбираться по каменистому склону Ароса, от моей недавней тревоги осталась только глубокая решимость никогда больше не искать добычи на разбитых судах, не посягать на сокровища мертвецов.

Я уже был недалеко от вершины холма, когда остановился, чтобы передохнуть, и поглядел назад.

Зрелище, открывшееся моему взору, было вдвойне удивительным.

Буря, которую я предугадал, надвигалась теперь почти с тропической быстротой. Сверкающая поверхность моря потемнела и приобрела зловещий свинцовый оттенок; в отдалении ветер, еще не достигший Ароса, уже гнал белые волны — «дочерей шкипера», и вдоль всего полумесяца Песчаной бухты бурлила вода, так что шум ее доносился даже до того места, где я стоял. Перемена в небе была еще более разительной. С юго-запада подымалась огромная хмурая туча, кое-где пронизанная пучками солнечных лучей, и от нее по всему еще безоблачному небу тянулись длинные чернильные полосы. Опасность была грозной и неотвратимой. На моих глазах солнце скрылось за краем тучи. В любой миг буря могла обрушить на Арос всю свою мощь.

Эта внезапная перемена приковала мой взгляд к небу, так что прошло несколько секунд, прежде чем он обратился на бухту, расстилавшуюся у моих ног и через мгновение погрузившуюся в тень. Склон, на который я только что поднялся, господствовал над небольшим амфитеатром невысоких холмов, спускавшихся к морю, под которыми изгибалась желтая дуга пляжа Песчаной бухты. Это был пейзаж, на который я часто смотрел и прежде, но никогда его не оживляла ни одна человеческая фигура. Всего лишь несколько минут назад я покинул бухту, где не было никого,— так вообразите же мое удивление, когда я вдруг увидел в этом пустынном месте шлюпку и несколько человек. Шлюпка стояла возле скал. Двое матросов, без шапок, с засученными рукавами, багром удержи-

вали ее на месте, так как течение с каждой секундой становилось сильнее. Над ними на вершине скалы два человека в черной одежде, которых я счел за начальников, о чем-то совещались. Секунду спустя я понял, что они сверяются с компасом, а затем один из них развернул какую-то бумагу и прижал к ней палец, словно указывая место по карте. Тем временем еще один человек расхаживал взад и вперед, вглядываясь в щели между скал и всматриваясь в воду. Я еще наблюдал за ними — мой ошеломленный изумлением рассудок был не в силах осознать то, что видели мои глаза,— как вдруг этот третий человек остановился, точно пораженный громом, и позвал своих товарищей так нетерпеливо, что его крик донесся до холма, где я стоял. Те бросились к нему, в спешке уронив компас, и я увидел, что они передают друг другу кость и пряжку с жестами, выражающими чрезвычайное удивление и интерес. Тут моряки в шлюпке окликнули стоящих на берегу и указали на запад, на тучу, которая все быстрее и быстрее одевала чернотой небо. Люди на берегу, казалось, что-то обсуждали, но опасность была слишком велика, чтобы ею можно было пренебречь, и они, спустившись в шлюпку вместе с моими находками, поспешили прочь из бухты со всей быстротой, с какой могли их нести весла.

Я не стал долее размышлять об этом деле, а повернулся и опрометью побежал к дому. Кем бы ни были эти люди, о них следовало немедленно сообщить дяде. В те дни еще можно было ожидать высадки якобитов, и, может быть, среди троих начальников на скалах находился и сам принц Чарли, которого, как я знал, мой дядя ненавидел. Однако, пока я бежал, перепрыгивая с камня на камень, и наспех обдумывал случившееся, с каждой минутой это предположение казалось мне все менее и менее правдоподобным. Компас, карта, интерес, вызванный пряжкой, а также поведение того, кто так часто заглядывал в воду,— все указывало на совсем иное объяснение их присутствия на этом пустынном, безвестном островке западного побережья. Мадридский историк, документы доктора Робертсона, бородатый незнакомец с кольцами, мои собственные бесплодные поиски, которыми я не далее чем час назад занимался в глубинах Песчаной бухты, всплывали все вместе в моей памяти, и я уже не сомневался, что видел испанцев, занятых поисками старинных

сокровищ и погибшего корабля Непобедимой Армады. Людям, живущим на одиноких островках, вроде Ароса, приходится самим заботиться о своей безопасности: им не к кому обратиться за защитой или даже за помощью,— и появление в подобном месте чужеземных авантюристов — нищих, алчных и, вполне возможно, не признающих никаких законов— заставило меня опасаться не только за деньги моего дяди, но даже и за его дочь. Я все еще изыскивал способ, как мы могли бы от них избавиться, когда наконец, запыхавшись, поднялся на вершину Ароса. Весь мир уже погрузился в угрюмый сумрак, и только на самом востоке дальний холм Росса еще сверкал в последнем луче солнца, как драгоценный камень. Упали первые, редкие, но крупные капли дождя, волнение на море усиливалось с каждой минутой, и уже вокруг Ароса и вдоль берегов Гризепола протянулась белая полоса пены. Шлюпка еще не вышла из бухты, но мне теперь открылось то, что внизу от меня заслоняли скалы,— у южной оконечности Ароса стояла большая красивая шхуна с высокими мачтами. Утром, когда я внимательно вглядывался в горизонт и, разумеется, не мог бы не заметить паруса, столь редкого в этих пустынных водах, я ее не видел — следовательно, прошлую ночь она простояла на якоре за необитаемым мысом Эйлин-Гур, а это неопровержимо доказывало, что шхуна появилась у наших берегов впервые — ведь бухта Эйлин-Гур, хотя и очень удобная на вид, на самом деле настоящая ловушка для кораблей. Столь невежественным морякам у этих грозных берегов надвигающаяся буря могла нести на своих крыльях только смерть.

ГЛАВА IV

БУРЯ

Дядя стоял возле дома с трубкой в руках и поглядывал на небо.

— Дядя,— сказал я,— в Песчаной бухте были какие-то люди.

Я внезапно умолк — я не только забыл, что собирался сказать, но позабыл о своей усталости, так странно подействовали на дядю Гордона эти несколько слов. Он

уронил трубку и бессильно прислонился к стене, рот у него открылся, глаза выпучились, длинное лицо побелело, как бумага. Мы молча смотрели друг на друга не менее четверти минуты, и лишь потом он ответил мне следующим непонятным вопросом:

— А на нем была мохнатая шапка?

И я понял так, словно видел собственными глазами, что у человека, похороненного в Песчаной бухте, была меховая шапка и что до берега он добрался живым. В первый и последний раз я почувствовал злость к человеку, который был моим благодетелем и отцом девушки, которую я надеялся назвать моей женой.

— Это были живые люди,— сказал я.— Может быть, якобиты, а может быть, французы, пираты или авантюристы, которые разыскивают здесь испанские сокровища, но, как бы то ни было, они могут оказаться опасными, хотя бы для вашей дочери и моей кузины, а что до ужасов, которые рисует вам нечистая совесть, так мертвец спиг спокойно там, где вы его закопали! Я сегодня утром стоял у его могилы. Он не восстанет до Судного дня.

Пока я говорил, дядя, моргая, смотрел на меня, потом устремил взгляд в землю и стал нелепо перебирать пальцами. Было ясно, что он лишился дара речи.

— Полно,— сказал я — Вам надо думать о других. Пойдемте со мной на холм, поглядите на этот корабль.

Он послушался, не ответив мне ни словом, ни взглядом, и медленно поплелся следом за мной. Его тело словно утратило гибкость, и он тяжело взбирался на камни, вместо того, чтобы перепрыгивать с одного на другой, как он это делал раньше. Я нетерпеливо его окликал, но это не заставило его поторопиться. Ответил он мне только раз — тоскливо, словно испытывая телесную боль:

— Ладно, ладно, я иду.

К гому времени, когда мы добрались до вершины, я уже не испытывал к нему ничего, кроме жалости. Если преступление было чудовищным, то и кара была соразмерной. Наконец мы поднялись на гребень холма и могли оглядеться. Повсюду взгляд встречал только бурный сумрак — последний проблеск солнца исчез, поднялся ветер, правда, еще не сильный, но неровный и часто меняющий направление; дождь, впрочем, перестал. Хотя прошло совсем немного времени, волны вздымались гораздо выше, чем когда я стоял здесь в последний раз. Они уже

перехлестывали через рифы и громко стонали в подводных пещерах Ароса. Я не сразу нашел взглядом шхуну.

— Вон она,— сказал я наконец. Но ее новое местоположение и курс, которым она шла, удивили меня.— Неужто они думают выйти в открытое море? — воскликнул я.

— Это самое они и думают,— ответил дядя, словно с радостью.

В этот миг шхуна повернула, легла на новый галс, и я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос: чужестранцы, заметив приближение бури, решили выйти на океанский простор, но ветер, который грозил вот-вот обрушиться на эти усеянные рифами воды, и мощное противное течение обещали им на этом пути верную смерть.

— Господи! — воскликнул я.— Они погибли!

— Да,— подхватил дядя,— все, все погибли. Им бы укрыться за Кайл-Дона, а так им не спастись, будь у них лоцманом хоть сам дьявол. А знаешь,— продолжал он, дернув меня за рукав,— хорошая будет ночка для кораблекрушения! Два за год! Ну и потанцуют же сегодня Веселые Молодцы!

Я поглядел на него, и впервые во мне зародилось подозрение, что он лишился рассудка. Он поглядывал на меня, словно ожидая сочувствия, с робкой радостью в глазах. Новая грозящая катастрофа уже изгладила из его памяти все, что произошло между нами.

— Если бы только я мог успеть,— воскликнул я в негодовании,— то взял бы ялик и попробовал бы их догнать, чтобы предупредить!

— Ни-ни-ни,— возразил он,— и думать не смей вмешиваться. Тут тебе делать нечего. Это его,— тут он сдернул с головы шапку,— это его воля. Ну, до чего же хорошая будет ночка!

В мою душу закрался страх, и, напомнив дяде, что я еще не обедал, я позвал его домой. Напрасно! Он не пожелал покинуть свой наблюдательный пост.

— Я должен видеть, как творится его воля, Чарли,— объяснил он и добавил, когда шхуна легла на новый галс: — А они с ней хорошо управляются! Куда там «Христу-Анне»!..

Люди на борту шхуны, вероятно, уже начали понимать, хотя далеко еще не в полной мере, какие опасности подстерегают их обреченный корабль. Всякий раз, когда затихал капризный ветер, они, несомненно, замечали,

насколько быстро течение относит их назад. Галсы становились все короче, так как моряки убеждались, что толку от лавирования нет никакого. Каждое мгновение волна гремела и вскипала на новом подводном рифе, и все чаще ревущие водопады обрушивались под самый нос шхуны, а за ним открывался бурый риф и пенная путаница водорослей. Да, им приходилось отчаянно тянуть снасти — видит бог, на борту шхуны не было лентяев. И вот это-то зрелище, которое преисполнило бы ужасом любое человеческое сердце, мой дядя смаковал с восторгом знатока. Когда я повернулся, чтобы спуститься с холма, дядя улегся на землю, его вытянутые вперед руки вцепились в вереск, он словно помолодел духом и телом.

Я возвратился в дом в тягостном настроении, а когда я увидел Мери, у меня на сердце стало еще тяжелее. Закатав рукава по локоть и обнажив сильные руки, она месила тесто. Я взял с буфета булку и молча стал ее есть.

— Ты устал, Чарли? — спросила Мери несколько минут спустя.

— Устал,— ответил я, подымаясь на ноги,— устал от отсрочек, а может, и от Ароса. Ты меня хорошо знаешь и не истолкуешь мои слова превратно. И вот, Мери, что я тебе скажу: лучше бы тебе быть где угодно, только не здесь.

— А я тебе отвечу,— возразила она,— что буду там, где мне велит быть долг.

— Ты забываешь, что у тебя есть долг перед самой собой,— указал я.

— Да неужто? — ответила она, продолжая месить тесто.— Ты это что же, в Библии вычитал?

— Мери,— сказал я мрачно,— не смейся надо мной. Бог свидетель — мне сейчас не до смеха. Если мы уговорим твоего отца поехать с нами, тем лучше. Но с ним или без него, я хочу увезти тебя отсюда. Ради тебя самой, и ради меня, и даже ради твоего отца тебе лучше отсюда уехать. Я возвращался сюда с совсем другими мыслями, я возвращался сюда домой, но теперь все изменилось, и у меня осталось только одно желание, одна надежда: бежать отсюда — да, это самое верное слово — бежать, вырваться с этого проклятого острова, как птица вырывается из силков птицелова.

Мери уже давно оставила свою работу.

— И что ж ты думаешь? — спросила она.— Что ж ты думаешь, у меня нет ни глаз, ни ушей? Что ж ты думаешь, я бы не была рада выбросить в море это добро? (Как он его называет, господи прости его и помилуй!) Что ж ты думаешь, я жила с ним здесь изо дня в день и не видела того, что ты увидел за какой-нибудь час? Нет,— продолжала она,— я знаю, что случилась беда, а какая беда, я не знаю и знать не хочу. И мне не доводилось слышать, чтобы зло можно было поправить, вмешавшись не в свое дело. Только, Чарли, не проси меня уехать от отца. Пока он жив, я его не покину. А ему осталось недолго жить, Чарли. Это я могу тебе сказать. Недолго... На лбу у него печать, и, может, так оно и лучше.

Я помолчал, не зная, что ответить на это, а когда я, наконец, поднял голову, собираясь заговорить, Мери меня опередила.

— Чарли,— сказала она,— мой долг ведь не твой долг. Этот дом омрачен грехом и бедой. Ты здесь посторонний. Так бери свою сумку и иди в лучшие места, к лучшим людям. А если когда-нибудь задумаешь вернуться назад— будь то даже через двадцать лет — все равно я буду ждать тебя здесь.

— Мери-Урсула,— сказал я,— я просил тебя стать моей женой, и ты дала мне понять, что согласна. И теперь мы связаны навек. Где будешь ты, там буду и я — бог мне свидетель.

Едва я произнес эти слова, как внезапно взревел ветер, а потом вдруг все вокруг дома смолкло и словно задрожало. Это был пролог, первый удар надвигающейся бури. Мы вздрогнули и вдруг заметили, что в доме воцарилась полутьма, будто уже настал вечер.

— Господи, смилуйся над всеми, кто в море! — сказала Мери.— Отец теперь не вернется до рассвета.

И тогда-то, когда мы сидели у очага, прислушиваясь к ударам ветра, Мери рассказала мне, как произошла с моим дядей эта перемена.

Всю прошлую зиму он был угрюм и раздражителен. Когда Гребень вздымался особенно высоко, или, как выразилась Мери, когда плясали Веселые Молодцы, дядя много часов подряд лежал на мысу, если была ночь, а днем — на вершине Ароса, смотрел на бушующее море и вглядывался в горизонт, не покажется ли там парус. После десятого февраля, когда на берег в Песчаной бухте был

выброшен обогативший его бриг, дядя вначале был неестественно весел, и это возбуждение не проходило, но только менялось и из радостного стало мрачным. Он не работал и не давал работать Рори. Они часами шептались за домом с таинственным, почти опасливым видом. А если она задавала вопросы тому или другому (вначале она пыталась их расспрашивать), они отвечали уклончиво и смущенно. С тех пор, как Рори заметил у переправы большую рыбу, дядя всего один раз побывал на Россе. Это случилось в разгар весны, при сильном отливе, и он перешел туда посуху, но задержался на дальнем берегу и, возвращаясь, увидел, что прилив вот-вот отрежет его от Ароса. С отчаянным воплем он перепрыгнул через полоску воды и добрался до дома вне себя от ужаса. Его мучил страх перед морем, постоянные и неотвязные мысли о море — этот страх сквозил в его разговорах, в молитвах, даже в выражении лица, когда он молчал.

К ужину вернулся только Рори. Но чуть позже в дом вошел дядя, взял под мышку бутылку, сунул в карман хлеб и снова отправился на свой наблюдательный пост — на этот раз в сопровождении Рори. Дядя сказал, что шхуну несет к бурунам, но команда по-прежнему с безнадежным упрямством и мужеством пытается отстоять каждый дюйм. От этого известия на душе у меня стало совсем черно. Вскоре после заката ярость бури достигла полной силы — мне еще не приходилось видеть летом подобных бурь, да и зимние никогда не налетали так внезапно. Мы с Мери молчали и слушали, как скрипит, содрогаясь, дом, как воет снаружи ветер, а огонь в очаге между нами шипел от дождевых брызг. Наши мысли были далеко отсюда — с несчастными моряками на шхуне, с моим столь же несчастным дядей на мысу среди разбушевавшихся стихий. Но то и дело мы вздрагивали и отвлекались от своих раздумий, когда ветер обрушивался на дом, как тяжелая скала, или внезапно замирал, затихал, и пламя в очаге вытягивалось длинными языками, а наши сердца начинали отчаянно биться в груди. То буря схватывала все четыре угла кровли и встряхивала ее, ревя, как разгневанный Левиафан, то наступало затишье, и ее холодное дыхание, всхлипывая, пробиралось в комнату и шевелило волосы у нас на голове. А потом ветер вновь заводил тоскливую многоголосую песню, стонал в трубе, плакал, как флейта, вокруг дома.

Часов в восемь вошел Рори и таинственно поманил меня к дверям. Дядя, по-видимому, напугал даже своего верного товарища, и Рори, встревоженный его выходками, попросил меня пойти с ним и разделить его стражу. Я поспешил исполнить его просьбу — с тем большей охотой, что страх, ужас и электрическая атмосфера этого вечера пробуждали во мне беспокойство и желание действовать. Я велел Мери не тревожиться, обещал присмотреть за ее отцом и, закутавшись в плед, вышел вслед за Рори на улицу.

Хотя лето было в разгаре, ночь казалась чернее январской. Порой сумрачные отблески на мгновение рассеивали чернильный мрак, но в мятущемся хаосе небес нельзя было уловить причину этой перемены. Ветер забивался в ноздри и в рот, небо над головой гремело, как один гигантский парус, а когда на Аросе вдруг наступало затишье, было слышно, как шквалы с воем проносятся вдали. Над низинами Росса ветер, наверно, бушевал с той же яростью, что и в открытом море, и только богу известно, какой рев стоял у вершины Бен-Кайо. Дождь, смешанный с брызгами, хлестал нас по лицу. Вокруг Ароса всюду пенились буруны, и валы с непрерывным грохотом обрушивались на рифы и пляжи. В одном месте этот оглушительный оркестр играл громче, в другом — тише, хотя общая масса звука почти не менялась, но, вырываясь из нее, господствуя над ней, гремели прихотливые голоса Гребня и басистые вопли Веселых Молодцов. И в эту минуту я вдруг понял, почему они получили такое прозвище: их рев, заглушавший все остальные звуки этой ночи, казался почти веселым, полным какого-то могучего добродушия; более того, в нем было что-то человеческое. Словно орда дикарей перепилась до потери рассудка и, забыв членораздельную речь, принялась выть и вопить в веселом безумии. Именно так, чудилось мне, ревели в эту ночь смертоносные буруны Ароса.

Держась за руки, мы с Рори с трудом пробирались против ветра. Мы скользили на мокрой земле, мы падали на камни. Наверно, прошел почти час, когда, промокшие насквозь, все в синяках, измученные, мы наконец спустились на мыс, выходящий на Гребень. По-видимому, именно он и был излюбленным наблюдательным пунктом моего дяди. На самом его краю, в том месте, где утес наиболее высок и отвесен, земляной пригорок образу-

ет нечто вроде парапета, где человек, укрывшись от ветра, может любоваться тем, как прилив и бешеные волны ведут спор у его ног. Оттуда он может смотреть на пляску Веселых Молодцов, словно из окна дома на уличные беспорядки. В подобную ночь, разумеется, он видит перед собой только чернильный мрак, в котором кипят водовороты, волны сшибаются с грохотом взрыва, и пена громоздится и исчезает в мгновение ока. Мне еще не доводилось видеть, чтобы Веселые Молодцы так буйствовали. Их исступление, высоту и прихотливость их прыжков надо было видеть — рассказать об этом невозможно. Белыми столпами они взлетали из мрака высоко над утесом и нашими головами и в то же мгновение пропадали, точно призраки. Порой они взметывались по трое сразу, а порой ветер подхватывал кого-нибудь из них и опрокидывал на нас брызги, тяжелые, как волна. Тем не менее зрелище это не столько впечатляло своей мощью, сколько раздражало и заражало своим легкомыслием. Оглушительный рев не давал думать, и в мозгу возникала блаженная пустота, родственная безумию. По временам я замечал, что мои ноги двигаются в такт танцу Веселых Молодцов, словно где-то играли джигу.

Дядю я разглядел, когда мы находились от него еще в нескольких ярдах, потому что в это мгновение черноту ночи рассеял один из тех отблесков, о которых я уже упоминал. Дядя стоял позади холмика, откинув голову и прижимая ко рту бутылку. Когда он поставил бутылку на землю, он увидел нас и помахал нам рукой.

— Он пьян? — закричал я Рори.

— Он всегда пьет, когда дует ветер,— ответил Рори таким же громовым голосом; но я его еле расслышал.

— Так, значит... так было... и в феврале? — спросил я.

«Да» старого слуги исполнило меня радостью. Следовательно, убийство было совершено не хладнокровно, не по расчету. Это был поступок сумасшедшего, который так же не подлежал осуждению, как и прощению. Конечно, мой дядя был опасным безумцем, но не жестоким, низким негодяем, как я страшился. Но какое место для попойки, какой немыслимый порок избрал для себя бедняга! Я всегда считал пьянство страшным, почти кощунственным удовольствием, более демоническим, нежели человеческим. Но напиваться здесь, в ревущей тьме, на самом краю утеса, над адской пляской волн, где голова кружит-

ся, как сам Гребень, нога балансирует на краю смерти, а чутко настороженный слух ждет, чтобы раздался треск гибнущего корабля,— казалось бы, если бы и нашелся человек, способный на это, то уж никак не мой дядя, неколебимо верующий в ад и возмездие, терзаемый самыми мрачными суевериями. И все же это было так. А когда мы укрылись за пригорком и могли перевести дух, я заметил, что глаза дяди сверкают в темноте дьявольским блеском.

— Эгей, Чарли, красота-то какая! — воскликнул он.— Ты только посмотри...— продолжал он, подтаскивая меня к краю бездны, откуда вздымался этот оглушающий рев и взлетали тучи брызг.— Посмотри-ка, как они пляшут! Уж это ли не грех?

Последнее слово он произнес со вкусом, и я подумал, что оно подходит к этому зрелищу.

— Они воют, так им не терпится заполучить шхуну,— продолжал он, и его визгливый безумный голос было легко расслышать под прикрытием пригорка.— И ее тянет все ближе, и ближе, и ближе, и ближе, и ближе... И все они знают это, знают, что им пришел конец! Чарли, они на шхуне там все напились, залили себе глаза вином. На «Христе-Анне» все под конец были пьяны. В море трезвыми не тонут! Что ты об этом знаешь! — с внезапной яростью крикнул он.— Я тебе говорю, и так оно и есть: никто не посмеет пойти на дно трезвым. Возьми-ка,— добавил он, протягивая бутылку,— выпей глоток.

Я хотел было отказаться, но Рори предостерегающе дернул меня за рукав, да и я сам уже передумал. Поэтому я взял бутылку и не только сделал большой глоток, но и постарался пролить на землю как можно больше.

Это был чистый спирт, и я чуть не задохнулся, пытаясь его проглотить. Не заметив, насколько убыло содержимое бутылки, дядя вновь запрокинул голову и допил все до конца. Затем с громким хохотом швырнул бутылку Веселым Молодцам, которые, казалось, с воплями подпрыгнули повыше, чтобы поймать ее.

— Эй, ребята,— крикнул он,— вот вам подарочек! А до утра получите и кое-что получше!..

Внезапно в черном мраке под нами, всего в каких-нибудь двухстах ярдах от нас, в секунду затишья ясно прозвучал человеческий голос. Тут же ветер с воем опрокинул-

ся на мыс, и Гребень заревел, закипел, затанцевал с новой яростью. Но мы успели расслышать этот голос и с мучительным ужасом поняли, что гибель обреченного корабля уже недалека и до нас донеслась последняя команда его капитана. Сбившись в кучку на краю утеса, мы, напрягая все чувства, ждали неизбежного конца. Однако прошло немало времени, которое нам показалось вечностью, прежде чем шхуна на мгновение вырисовалась на фоне гигантской горы сверкающей пены. Я до сих пор вижу, как захлопал ее зарифленный грот, когда гик тяжело упал на палубу, я все еще вижу черный силуэт ее корпуса, и мне все еще кажется, что я успел различить фигуру человека, навалившегося на румпель. А ведь шхуна возникла перед нами лишь на кратчайшее мгновение, и та самая волна, которая показала ее нам, навеки погребла ее под водой. На миг раздался нестройный хор голосов, но этот предсмертный вопль тут же заглушили своим ревом Веселые Молодцы. На этом трагедия кончилась. Крепкий корабль со всеми своими снастями и фонарем, быть может, еще горящим в каюте, с жизнями стольких людей, возможно, дорогими кому-нибудь еще и, уж во всяком случае, драгоценными, как райское блаженство, для них самих — все это в мгновение ока было поглощено бушующими водами. Все они исчезли, как сон. А ветер по-прежнему буйствовал и вопил, а бессмысленные волны Гребня по-прежнему взметывались ввысь и рассыпались пеной.

Не знаю, сколько времени мы пролежали у края утеса все трое, молча и неподвижно, но, во всяком случае, его прошло немало. Наконец, по очереди и почти машинально, мы опять заползли за пригорок. Я лежал, прижимаясь к земле, вне себя от ужаса, не владея рассудком, и слышал, как дядя что-то бормочет про себя — возбуждение сменилось у него унынием. То он повторял плаксивым тоном: «Так они старались, так старались... Бедняги, бедняги...» — то принимался сожалеть о зря пропавшем «добре» — ведь шхуна погибла среди Веселых Молодцов и ее не выкинуло на берег,— и все время он твердил одно название — «Христос-Анна», повторяя его с дрожью ужаса. Буря тем временем быстро стихала. Через полчаса дул уже только легкий бриз, и эта перемена сопровождалась, а может, была вызвана проливным холодным секущим дождем. Я, по-видимому, заснул, а когда очнулся, мокрый

насквозь, окоченевший, с тяжелой головой, уже занялся рассвет — серый, сырой, унылый рассвет. Ветер налетал легкими порывами, шел отлив, Гребень совсем спал, и только сильный прибой, еще накатывавшийся на берега Ароса, свидетельствовал о ночной ярости бури.

ГЛАВА V

ЧЕЛОВЕК ИЗ МОРЯ

Рори отправился домой, чтобы согреться и поесть, но дядя во что бы то ни стало хотел осмотреть берег, и я не мог отпустить его одного. Он был теперь спокоен и кроток, но очень ослабел и духом и телом и занимался поисками с любопытством и непоследовательностью ребенка. Он забирался на рифы, он гонялся по песку за отступающими волнами, любая щепка или обрывок каната казались ему сокровищами, которые следовало спасти хотя бы с опасностью для жизни. Замирая от ужаса, я смотрел, как, спотыкаясь, на подгибающихся от усталости ногах, он бредет навстречу прибою или пробирается по коварным и скользким рифам. Я поддерживал его за плечи, хватал за полы, помогал отнести его жалкие находки подальше от набегающей волны — точно так вела бы себя нянька с семилетним ребенком.

Но, как ни ослабел он после ночных безумств, страсти, таившиеся в его душе, были страстями взрослого человека. А ужас перед морем, хотя дядя, казалось, и подавлял его, был по-прежнему силен — он отшатывался от волн так, словно перед ним было огненное озеро, а когда, поскользнувшись, дядя оказался по колено в воде, вопль, вырвавшийся из самых глубин его сердца, был полон смертной муки. Несколько минут после этого он сидел неподвижно, тяжело дыша, точно усталый пес, но алчное стремление воспользоваться добычей, оставшейся после кораблекрушения, вновь взяло верх над страхом, и он вновь принялся рыскать среди полос застывшей пены, ползать по камням среди лопающихся пузырей и жадно подбирать обломки, годившиеся разве что для растопки. Эти находки доставляли ему большое удовольствие, но все же он не переставал сетовать на преследующие его неудачи.

— Арос,— сказал он,— гиблое место: не бывает тут кораблекрушений. Сколько лет я тут прожил, а это всего лишь второе, да и все, что получше, пошло на дно!

— Дядя,— сказал я, воспользовавшись тем, что в эту минуту мы шли по ровной полосе песка, где ничто не отвлекало его внимания.— Вчера ночью я видел вас, как не чаял видеть,— вы были пьяны.

— Нет-нет,— ответил он.— До этого дело не дошло. Но пить-то я пил. И сказать тебе божескую правду, так я тут ничего поделать не могу. Трезвее меня человека не найти, но как начнет выть ветер, так я словно умом трогаюсь.

— Но ведь вы верующий,— сказал я.— А это грех.

— Верно! — ответил он.— Только не будь тут греха, не знаю, стал бы я пить. Это ведь все наперекор делается. В море непочатый край грехов: оно и в покое не место для христианина, а как разыграется, да ветер взвоет — они с ветром в родстве, это уж так,— да Веселые Молодцы заревут и запляшут, как полоумные, а бедняги на тонущих кораблях всю-то долгую ночь терпят муку мученическую — тут и начинает меня разбирать. Уж не знаю, дьявол в меня вселяется, что ли. Только бедных моряков мне и не жалко нисколько — я с морем заодно, с ним и с Веселыми Молодцами.

Я решил найти уязвимое место в его броне и повернулся к морю. Там весело неистовствовал прибой; волны с развевающимися гривами бесконечной чередой накатывались на берег, вздымались, нависали, рассыпались и сталкивались на изрытом песке. Дальше — соленый воздух, испуганные чайки и бесчисленная армия морских коней, которые с призывным ржанием сплачивались вместе, чтобы обрушиться на Арос, а прямо перед нами та черта на плоском пляже, преодолеть которую их орда не может, как бы они ни ярились.

— Тут твой предел,— сказал я,— его да не преступишь!

А потом как мог торжественнее произнес стих из псалма, который прежде уже не раз примеривал к хору валов:

— «Но паче шума вод многих сильных волн морских силен в вышних господь!»

— Да,— отозвался дядя,— господь под конец восторжествует, разве я спорю? Но тут на земле глупые людиш-

ки преступают его заветы перед самым его оком. Неразумно это — я и не говорю, что разумно,— но какая гордыня глаз, какая алчба жизни, какая радость!

Я промолчал, так как мы вышли на мысок, отделявший нас от Песчаной бухты, и я решил воззвать к лучшим чувствам моего несчастного родича, когда мы окажемся на месте его преступления. Умолк и дядя, но шаг его стал тверже. Мои слова подхлестнули его рассудок, и он уже больше не искал никчемные обломки, а погрузился в какие-то мрачные, но горделивые мысли. Минуты через три-четыре мы достигли вершины холма и начали спускаться в Песчаную бухту. Море обошлось с разбитым кораблем безжалостно: нос повернуло в противоположную сторону и стащило еще ниже, а корму немного подняло— во всяком случае, они теперь совсем разделились. Когда мы поравнялись с могилой, я остановился, обнажил голову, подставив ее сильному дождю, посмотрел дяде прямо в лицо и обратился к нему со следующей речью.

— По божьему соизволению,— начал я,— человеку было дано спастись от смертельных опасностей; он был беден, он был наг, он был истомлен, он был здесь чужим — он имел все права на сострадание; может, он был солью земли, святым, добрым и деятельным, а может,— нераскаянным грешником, для которого смерть была лишь преддверием адских мук. Перед лицом небес я спрашиваю тебя, Гордон Дарнеуэй: где человек, за которого Христос умер на кресте?

При последних словах дядя вздрогнул, но ничего не ответил, и в его глазах отразилась лишь смутная тревога.

— Вы брат моего отца,— продолжал я.— Вы научили меня смотреть на ваш дом, как на мой отчий дом; мы оба с вами грешники, бредущие перед лицом господа по стезе греха и искушений. Бог ведет нас к добру через наше зло; мы грешим... не смею сказать — по его завету, но с его соизволения; и для всякого человека, если только он не стал зверем, его грехи служат началом мудрости. Бог предостерег вас через это преступление, он предостерегает вас и сейчас — этой могилой у ваших ног, но если вы не покаетесь, если ваше сердце не смягчится и не обратится к нему, то чего остается нам ждать, как не какой-нибудь грозной кары?

Я еще не договорил, но глаза дяди уже не были устремлены на меня. Его лицо вдруг претерпело неописуемую

перемену: все черты словно съежились, щеки покрылись свинцовой бледностью, дрожащая рука поднялась и указала на что-то за моим плечом, а с губ сорвалось столько раз уже повторявшееся название:

— «Христос-Анна»!

Я повернулся и хотя не ощутил подобного ужаса, для которого, благодарение небу, у меня не было причин, но все же был поражен зрелищем, открывшимся моему взору. На палубной надстройке разбитого судна спиной к нам стоял человек — он, по-видимому, вглядывался в морскую даль, приставив руку козырьком ко лбу, и вся его высокая, очень высокая фигура четко рисовалась на фоне воды и неба. Я сто раз повторял здесь, что я не суеверен, но в миг, когда мои мысли были заняты смертью и грехом, непонятное появление чужого человека на этом опоясанном морем пустынном островке исполнило меня изумлением, граничащим с паническим страхом. Не верилось, что простой смертный мог выбраться на берег в бурю, которая бушевала накануне вокруг Ароса, когда единственное судно, оказавшееся в этих водах, на наших глазах погибло среди Веселых Молодцов. Мной овладели сомнения, и, не выдержав неопределенности, я сделал шаг вперед и окликнул незнакомца, как окликают корабль.

Он обернулся и, как мне показалось, вздрогнул при виде нас. Мужество тут же возвратилось ко мне, и я, крикнув, сделал знак рукой, чтобы он подошел поближе, а он тотчас спрыгнул на песок и направился к нам, но то и дело в нерешительности останавливался. Эти робкие колебания придали мне смелости, и я сделал еще один шаг вперед, а потом дружески закивал и замахал рукой незнакомцу, подбодряя его. Нетрудно было догадаться, что потерпевший крушение слышал мало хорошего о гостеприимстве наших островов, да и правду сказать, в то время у людей, живших дальше к северу, слава была самая скверная.

— Он черный! — воскликнул я вдруг.

И в то же мгновение рядом со мной раздался голос, который я узнал лишь с трудом,— мой дядя разразился проклятиями, мешая их со словами молитвы. Я оглянулся на него: он упал на колени, лицо его исказилось от муки, и по мере того, как незнакомец приближался к нам, голос дяди становился все пронзительнее, а ярость его красноречия удваивалась. Я назвал эти крики молитвой, но, право же,

никогда еще Творцу не доводилось слышать из уст одного из его созданий столь бессвязных и непристойных речей—если молитва может быть грешной, то безумные излияния дяди были греховны. Я подбежал к нему, схватил его за плечи и заставил встать.

— Замолчите!—сказал я.—Почитайте бога если не деяниями, то хотя бы словами. На том самом месте, где вы преступили его заповедь, он посылает вам средство искупления. Вперед! Воспользуйтесь им: как отец, приветствуйте бедняка, который, дрожа, взывает к вашему милосердию.

И я попытался увлечь дядю навстречу чернокожему, но он повалил меня наземь, вырвался из моих рук, оставив в них лацкан своей куртки, и быстрее оленя помчался вверх по склону. Я с трудом поднялся на ноги, весь в синяках и несколько оглушенный. Негр в удивлении — или, быть может, в ужасе — остановился на полпути между мной и разбитым кораблем, а дядя тем временем был уже далеко и по-прежнему с отчаянной быстротой перепрыгивал с камня на камень; два разных долга призывали меня в разные стороны, и я на миг заколебался, не зная, какому зову последовать. Однако я решил — и молю бога, чтобы решение это было правильным,— в пользу бедняги на берегу; он-то, во всяком случае, не был виноват в своем несчастье, и к тому же ему я мог оказать истинную помощь, а дядю к этому времени я уже считал неизлечимым и страшным безумцем. Поэтому я пошел навстречу негру, который ожидал меня, скрестив руки на груди, с видом человека, готового принять уготованную ему участь. Когда я приблизился, он поднял руку величественным жестом священника на кафедре и голосом, также напоминавшим голос священника, произнес несколько слов, увы, мне непонятных. Я заговорил с ним по-английски, а потом на гэльском языке, но напрасно — было ясно, что нам придется положиться на язык взглядов и жестов. Поэтому я сделал ему знак следовать за мной, и он подчинился с торжественным смирением, словно низложенный король, а на его лице все это время не отражалось ничего — ни тревоги, пока он ожидал, ни облегчения теперь, когда он убедился, что опасения его были напрасны. Если я не ошибся в моей догадке и он действительно был чьим-то рабом, мне оставалось только заключить, что у себя на родине он занимал высокое положение, но и в его падении

я не мог не восхищаться им. Когда мы проходили мимо могилы, я остановился и поднял глаза и руку к небу в знак печали и уважения к мертвым, а он, словно в ответ, низко поклонился и широко развел руками — этот странный жест был ему привычен и, наверное, принят в его стране. Затем он указал на моего дядю, который как раз добрался до вершины холма, и коснулся пальцем лба, давая понять, что перед нами сумасшедший.

Я выбрал длинный путь берегом, боясь, как бы дядя не впал в исступление, если мы пойдем напрямик через остров, и пока мы шли, я успел обдумать небольшую пантомиму, с помощью которой намеревался успокоить мою тревогу. И вот, остановившись на камне, я принялся изображать перед негром поступки человека, который накануне искал что-то в Песчаной бухте, сверяясь с компасом. Он сразу же меня понял и, в свою очередь, обозначил, где была шлюпка, а потом указал в сторону моря, словно на шхуну, и на край утесов, повторяя при этом слова «Эспирито Санто» со странным произношением, но достаточно внятно. Следовательно, мои заключения были справедливы. Притворные исторические розыски служили лишь ширмой для поисков сокровищ, и человек, обманувший доктора Робертсона, был тем самым иностранцем, который приезжал в Гризепол весной, а теперь вместе со многими другими лежал мертвый под аросским Гребнем, куда их привела алчность и где волны будут вечно играть их костями. Тем временем негр продолжал свой безмолвный рассказ и то поглядывал на небо, словно следя за приближением бури, то в роли матроса махал остальным со шлюпки, поторапливая их, то изображал офицера и бежал по скалам к шлюпке, то, наконец, наклонялся над воображаемыми веслами с видом озабоченного гребца — и все с такой торжественной серьезностью, что мне ни разу и в голову не пришло засмеяться. В заключение с помощью пантомимы, которую невозможно передать словами, он показал, как сам ушел осмотреть обломки неизвестного корабля и, к своему горю и негодованию, был покинут товарищами на берегу бухты. Затем он вновь скрестил руки на груди и склонил голову, словно смиряясь с судьбой.

Теперь, когда тайна его присутствия на острове объяснилась, я с помощью рисунка на песке сообщил ему, что случилось со шхуной и всеми, кто был на ее борту. Он не выразил ни удивления, ни печали, но, внезапно под-

няв ладонь кверху, казалось, предал своих бывших друзей или хозяев на волю божью. Чем больше я приглядывался к нему, тем больше внушал он мне уважения; я видел, что он наделен острым умом и спокойным, суровым характером, а я всегда любил общество подобных людей. Так что, когда мы добрались до дома, я уже почти забыл и совсем простил ему мрачный цвет его кожи.

Мери я рассказал все, что произошло, и ничего от нее не утаил, хотя, признаюсь, сердце у меня мучительно сжималось; но я напрасно усомнился в ее справедливости.

— Ты поступил правильно,— сказала она.— На все божья воля.

И она тотчас же собрала нам поесть.

Когда я насытился, то велел Рори приглядывать за негром, который еще продолжал есть, а сам отправился на поиски дяди. Я не прошел и нескольких шагов, как увидел, что он сидит на том же месте, где я видел его в последний раз,— на самой вершине холма — и как будто все в той же позе. Оттуда, как я уже упоминал, перед ним открывался вид почти на весь Арос и на прилегающие низины Росса — они расстилались у его ног, точно карта. Несомненно, дядя бдительно смотрел по сторонам: не успела моя голова показаться из-за первой скалы, как он вскочил на ноги и повернулся, словно намереваясь броситься на меня. Я окликнул его тем же тоном и теми же словами, как в прежние дни, когда приходил звать его к обеду. Он ничего не ответил и даже не пошевелился. Я сделал несколько шагов вверх по тропе и снова попробовал с ним заговорить — и снова тщетно. Однако едва я двинулся дальше, как им вновь овладел безумный страх, и, храня все то же глухое молчание, он с невероятной быстротой побежал прочь от меня по каменистому гребню холма. Всего час назад он был разбит усталостью, а я был относительно свеж. Но теперь жар безумия придал ему новые силы, и я понял, что мне его не догнать. Более того, я подумал, что подобная попытка только усугубит его ужас и тем самым ухудшит наше и без того тяжелое положение. Мне оставалось только удалиться восвояси и поведать Мери грустные новости.

Она выслушала их, как и первый мой рассказ, сохраняя спокойствие, потом посоветовала мне прилечь и отдохнуть, так как я совсем измучился, а сама отправилась искать своего несчастного отца. Я был тогда в том возра-

сте, когда только чудо помешало бы мне спать и есть. Я уснул крепким, глубоким сном, и день уже начинал клониться к вечеру, когда я проснулся и спустился в кухню. Мери, негр и Рори молча сидели там у горящего очага, и я заметил, что Мери недавно плакала. Как я вскоре узнал, причин для слез было более чем достаточно. Сначала она, потом Рори искали дядю — оба по очереди находили его на вершине холма, и от обоих по очереди он быстро и молча убегал. Рори попробовал догнать его, но не сумел: безумие придало ему ловкости, он перепрыгивал с камня на камень через широкие расселины, мчался по склонам, как ветер, петлял и увертывался, точно заяц, спасающийся от собак, и Рори в конце концов отказался от своего намерения. Но даже в самый разгар погони, когда быстроногий слуга чуть было не схватил его, бедный безумец не издал ни единого звука. Он бежал молча, как зверь, и это молчание напугало преследователя.

Мы оказались в мучительном тупике. Как изловить безумца, как покуда его кормить и что с ним делать, когда мы его схватим,— таковы были три трудности, которые нам предстояло разрешить.

— Припадок этот вызвал чернокожий,— сказал я.— Может быть, дядя прячется на холме из-за его присутствия в доме. Мы поступили как должно: он поел и согрелся под этим кровом, а теперь пусть Рори перевезет его на ялике через бухту и проводит в Гризепол.

Мери охотно согласилась с моим планом, и, знаками пригласив негра следовать за нами, мы все трое спустились к пристани. Но небеса поистине обратились против Гордона Дарнеуэя. Случилось то, чего еще никогда не случалось на Аросе: во время бури ялик сорвался с причала, ударился о крепкие сваи пристани и теперь с разбитым бортом лежал на дне на глубине четырех футов. Починка должна была потребовать не меньше трех дней. Но я не пожелал сдаться и повел всех к тому месту, где пролив был у́же всего, переплыл на другой берег и поманил негра за собой. Он ответил знаками, столь же ясно и спокойно, как и раньше, что не умеет плавать, и в его жестах была искренность, в которой мы не могли усомниться. И вот, обманутые и этой надеждой, мы были вынуждены вернуться в дом в том же порядке, в каком ушли из него, и негр шел с нами без всякого смущения.

Больше мы в этот день ничего сделать не могли и только еще раз попробовали урезонить бедного безумца. Вновь он сидел на своем сторожевом посту и вновь бежал оттуда в молчании. Однако теперь мы оставили ему еду и большой плащ. К тому же дождь прекратился, а ночь обещала быть даже теплой. Мы решили, что можем спокойно ожидать следующего дня; нам всем требовался отдых, который подкрепил бы наши силы перед трудным утром, разговаривать никому не хотелось, и мы разошлись в ранний час.

Я долго не мог уснуть, обдумывая завтрашнюю облаву. Негра я намеревался поставить в Песчаной бухте, откуда он должен будет отпугнуть дядю по направлению к дому, Рори будет поджидать его на западе, а я — на востоке. Чем дольше я размышлял над географией островка, тем больше крепло во мне убеждение, что, несмотря на все трудности, мы все-таки можем добиться успеха и вынудить дядю спуститься в низину у бухты Арос, а там даже силы, придаваемые ему безумием, не откроют ему путь к спасению. Больше всего я рассчитывал на страх, который внушал ему негр: я не сомневался, что дядя ни за что не решится побежать в сторону человека, которого он считал воскресшим мертвецом, и, значит, об одном направлении можно было не беспокоиться.

Наконец я уснул, но только для того, чтобы вскоре пробудиться от кошмара, в котором причудливо мешались разбитые корабли, чернокожие люди и подводные приключения; совсем разбитый, чувствуя лихорадочный жар, я встал с постели, спустился по лестнице и вышел из дома. Позади меня на кухне спали Рори и чернокожий, передо мной раскинулось прекрасное звездное небо, кое-где испещренное клочками облаков — последними напоминаниями об унесшейся буре. Приближался час полного прилива, и рев Веселых Молодцов далеко разносился в безветренной тиши ночи. Никогда еще—и в самый разгар урагана—не внимал я их песне с таким трепетом. Даже теперь, когда ветер удалился на покой, когда бездна морская вновь убаюкивала себя, погружаясь в летнюю дремоту, а звезды лили кроткий свет на сушу и на воды, голос этих бурунов все еще грозил бедой. Они поистине казались частицей мирового зла и трагизма жизни. Но безмолвие ночи нарушалось не только их бессмысленными воплями. Ибо я слышал, что реву Гребня аккомпанирует человеческий голос,

то пронзительный и громкий, то заглушаемый грохотом волн. Я узнал голос дяди, и меня обуял великий страх перед неисповедимостью путей господних и перед злом, правящим в мире. Я вернулся во мрак дома, ища в нем приюта, и еще долго лежал без сна, размышляя над этими тайнами.

Когда я вновь очнулся, час был уже поздний, и, торопливо одевшись, я поспешил в кухню. Там никого не было: Рори и чернокожий уже давно тихонько ушли из дома, и мое сердце упало при этом открытии. Я верил в добрые намерения Рори, но не мог положиться на его рассудительность. Если он вот так ушел из дому тайком, значит, он думал помочь дяде. Но каким образом мог он помочь ему, даже будь он один, и тем более в обществе человека, который стал для дяди живым воплощением его страхов? Возможно, я уже опоздал предотвратить какую-то непоправимую ошибку, но, во всяком случае, мешкать было нельзя. Я бросился вон из дома, и хотя мне не раз приходилось бегать по каменистым склонам Ароса, я еще никогда не бегал так стремительно, как в то роковое утро. По-моему, я достиг вершины менее чем за двенадцать минут.

Мой дядя покинул свой наблюдательный пост. Правда, корзина была открыта и еда разбросана по траве, но, как мы обнаружили позднее, он не съел ни кусочка. Нигде вокруг, насколько хватал глаз, не было видно ни малейших признаков человека. Рассвет уже озарил ясные небеса, солнце окрасило розовым румянцем вершину Бен-Кайо, но скалистые склоны Ароса подо мной и широкий щит моря еще купались в прозрачном сумраке ранней зари.

— Рори! — крикнул я и, помолчав, снова закричал: — Рори!

Звук моего голоса замер, но я не услышал никакого ответа. Если сейчас действительно шла охота на моего дядю, преследователи не полагались на быстроту своих ног, а рассчитывали подкрасться к нему незаметно. Я побежал дальше, придерживаясь наиболее высоких вершин и оглядываясь по сторонам, пока не оказался на холме над Песчаной бухтой. Я увидел разбитый бриг, обнажившуюся полосу песка, длинную гряду скал, а по обеим сторонам бухты дикое нагромождение утесов, валуны и расселины. И ни единого человека.

Внезапно солнечный свет пал на Арос, и ожили все тени и цвета. Мгновение спустя ниже по склону и к западу от того места, где я стоял, метнулись врассыпную испуганные овцы. Раздался крик. Я увидел дядю, который тут же кинулся бежать. Я увидел негра, который помчался за ним; но прежде, чем я успел понять, что происходит, появился Рори и принялся выкрикивать по-гэльски распоряжения, словно собаке, гонящей овец.

Я опрометью бросился вниз, чтобы вмешаться, но лучше бы я остался там, где я стоял, ибо теперь я отрезал безумцу последний путь к отступлению. С этой минуты перед ним не было уже ничего, кроме могилы, разбитого корабля и моря в Песчаной бухте. Но, бог свидетель, я думал сделать как лучше!

Дядя Гордон заметил, к какому страшному для него месту гонят его преследователи, и попытался свернуть в сторону. Он метался вправо и влево, но хотя лихорадка безумия и придавала быстроту его ногам, чернокожий был еще проворнее. Куда бы дядя ни поворачивал, его намерения предвосхищались, и он все приближался и приближался к месту своего преступления. Внезапно он начал пронзительно кричать, и по всему берегу эхо подхватило его вопли. Теперь уже и я и Рори кричали негру, чтобы он остановился. Но тщетно! Ибо суждено было иное. Преследователь продолжал гнаться, преследуемый продолжал, вопя, бежать перед ним; они обогнули могилу, промчались под самыми обломками брига, в одно мгновение пересекли пески, но дядя ни на секунду не замедлил бега и кинулся прямо в волны, а чернокожий, уже почти касавшийся его рукой, последовал за ним. Мы с Рори остановились, ибо не в силах человеческих было что-либо изменить: на наших глазах свершалось предначертание господне. Конец редко наступает так быстро: здесь берег обрывался в море очень круто, и они со второго шага ушли под воду с головой, а оба не умели плавать. На мгновение негр вынырнул с придушенным криком, но течение уже подхватило обоих и потащило в море; а если они и всплыли вновь, что ведомо только богу, то лишь через десять минут у дальнего конца аросского Гребня, где над водой парят чайки, высматривая рыбу.

— Да, сэр,— сказал хозяин лавки,— в нашем деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет удача. Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят мне проценты. Попадаются люди бесчестные...— Тут он поднял свечу повыше, так что свет резко ударил в лицо его собеседнику.— Но в таком случае,— заключил он,— я выгадываю на своем добром имени.

Маркхейм только что вошел в лавку с залитой светом улицы, и его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, разреженной кое-где яркими бликами. Эти неспроста сказанные слова и близость горящей свечи заставили его болезненно сморщиться и отвести взгляд в сторону.

Антиквар усмехнулся.

— Вы приходите ко мне в первый день Рождества,— продолжал он,— зная, что, кроме меня, в доме никого нет, что окна в лавке закрыты ставнями и что я ни в коем случае не буду заниматься торговлей. Ну что ж, вам это будет накладно. Вы поплатитесь за то, что я потрачу время на подсчет нового итога в моей приходной книге, а также за некую странность вашего поведения, которая уж очень заметна сегодня. Я сама скромность и никогда не задаю лишних вопросов, однако, если клиент не смотрит мне в глаза, с него за это причитается.

Антиквар снова усмехнулся, но тут же перешел на свой обычный деловой тон, хотя все еще с оттенком иронии.

— Как всегда, вы, разумеется, дадите мне исчерпывающее объяснение, каким образом вещь попала к вам в ру-

«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

ки,— сказал он.— Все из того же шкафчика вашего дядюшки? Какой он у вас замечательный собиратель редкостей, сэр!

И тщедушный, сгорбленный антиквар чуть не привстал на цыпочки, всматриваясь в Маркхейма поверх золотой оправы очков и с явным недоверием покачивая головой. Маркхейм ответил ему взглядом, полным бесконечной жалости и чуть ли не ужаса.

— На этот раз,—сказал он,—вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет никаких диковинок на продажу; в шкафчике моего дядюшки хоть шаром покати. Но если бы даже он был набит, как прежде, я, пожалуй, скорее занялся бы его пополнением, потому что за последнее время мне сильно везло на бирже. Цель моего сегодняшнего прихода проще простого. Я подыскиваю рождественский подарок для одной дамы.— Он говорил все свободнее, входя в колею заранее приготовленной речи.— И, разумеется, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил вас по столь ничтожному поводу. Но вчера я не удосужился заняться этим; мое скромное подношение надо сделать сегодня за обедом, а, как вы сами отлично понимаете, богатой невестой пренебрегать не годится.

Последовала пауза, во время которой антиквар как бы взвешивал слова Маркхейма. Тишину нарушало только тиканье множества часов, висевших в лавке среди прочей старинной рухляди, да отдаленное громыхание экипажей на соседней улице.

— Хорошо, сэр,—сказал антиквар.—Пусть будет по-вашему. В конце концов вы мой давний клиент, и если вам действительно удастся сделать хорошую партию, не мне быть этому помехой. Вот, пожалуйста, отличный подарок для дамы,— продолжал он.— Ручное зеркальце. Пятнадцатый век, подлинный и из хорошей коллекции. Из чьей именно, я умолчу в интересах моего клиента, который, подобно вам, уважаемый сэр, приходится племянником и единственным наследником одному замечательному коллекционеру.

Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после

себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.

— Зеркало,— хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно:— Зеркало? На Рождество? Да можно ли?

— А что тут такого? — воскликнул антиквар.— Почему не подарить зеркало?

Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.

— Вы спрашиваете почему? — сказал он.— Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет! И никому не может быть приятно.

Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:

— Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.

— Я пришел к вам,— сказал Маркхейм,— за рождественским подарком, а вы... вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало — это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажите о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.

Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.

— Куда вы клоните? — спросил антиквар.

— Неужто не сердобольный? — хмуро проговорил Маркхейм.— Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?

— Сейчас я вам скажу, все или не все,— резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся.— Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.

— А-а! — воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством.— А вы-то сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.

— Я? — воскликнул антиквар.— Я — и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?

— Куда нам спешить? — возразил ему Маркхейм.— Стоим, беседуем — это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни — обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческое. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?

— Мне осталось сказать вам только одно,— проговорил антиквар.— Покупайте или уходите вон из моей лавки!

— Правильно, правильно,—сказал Маркхейм.—Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.

Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость,— и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.

— Может, вот это вам подойдет? — сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.

Время заговорило в лавке десятками негромких голосов—и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее огонек с торжественной мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся

лавка полнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.

Полный страха, блуждающий взгляд Маркхейма вернулся к телу его жертвы, которая лежала съежившись и в то же время словно распластавшись на полу и казалась до невероятия маленькой и, как ни странно, еще более жалкой, чем при жизни. В своей убогой, ветхой одежонке, в этой нелепой позе антиквар стал похож на кучу опилок. Минуту назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а оказалось — вот только и всего! И тем не менее под его взглядом эта охапка заношенной одежды и лужа крови начинали обретать весьма выразительный голос. Вот так оно будет лежать; некому привести в действие хитроумные пружинки этого тела или управлять чудом движения — так ему и придется лежать до тех пор, пока его не обнаружат. Обнаружат! А тогда что? Тогда эта мертвая плоть так возвысит свой голос, что он разнесется по всей Англии и отзвуки погони наполнят весь мир. Да, мертвый, живой ли, он все еще враг. «Было время, когда у жертвы череп размозжен, кончался человек, и все кончалось» [1],— вспомнилось ему, и мысль его сразу ухватилась за это слово: время! Теперь, после того как дело сделано, время, остановившееся для жертвы, обрело огромное, безотлагательное значение для убийцы.

Эта мысль все еще владела Маркхеймом, когда сначала одни, потом другие — в разном темпе, на разные голоса, то густые, как у колокола на соборной колокольне, то звонко отстукивающие начальные такты вальса — часы начали отбивать три пополудни.

Внезапный говор стольких языков, нарушивших безмолвие, ошеломил Маркхейма. Он заставил себя прийти в движение среди зыбких теней, которые обступали его со всех сторон, и со свечой в руке заходил по лавке, обмирая от страха при виде своих беглых отражений, возникавших то тут, то там. Эти отражения, точно скопище шпио-

[1] Шекспир «Макбет», акт III, сцена IV.

нов, замелькали в богатых зеркалах — английской, венецианской и голландской работы; глаза Маркхейма встречались с собственным шарящим взглядом, звуки собственных шагов, хоть и приглушенных, будоражили окружающую тишину. И пока он набивал себе карманы, разум с томительным упорством твердил ему о тысяче просчетов в его замысле. Надо было выбрать час затишья; надо было позаботиться об алиби; не надо было убивать ножом; надо было действовать осмотрительнее и только связать антиквара и засунуть ему в рот кляп; или же, напротив, проявить большую смелость и убить заодно и служанку — все надо было делать по-иному. Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь, как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим непоправимо содеянного. И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи, точно крысы, снующие на заброшенном чердаке, поднимали бурю в далеких уголках его мозга: вот рука констебля тяжело ложится ему на плечо — и нервы его дергались, как рыба на крючке; перед ним вихрем проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб.

Мысль о прохожих на улице осаждала его со всех сторон, как неприятельское войско. Ведь не может же быть, думал он, чтобы отзвуки насилия не достигли чьего-либо слуха, не пробудили чьего-либо любопытства. И он представлял себе, что в соседних домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись,— одиночки, встречающие рождество воспоминаниями о прошлом и вдруг оторванные от этого сладостного занятия, и счастливые, семейные, и вот они тоже замолкают за праздничным столом, и мать предостерегающе поднимает палец. Сколько их, самых разных — по возрасту, положению, характеру, и ведь хотят дознаться, и прислушиваются, и плетут веревку, на которой его повесят. Иногда ему казалось, будто он ступает недостаточно тихо; позвякивание высоких бокалов богемского стекла отдавалось в его ушах, как удары колокола; опасаясь полнозвучного тиканья часов, он готов был остановить маятники. А потом тревога начинала нашептывать ему, что самая тишина лавки зловеща, что она насторожит прохожих и заставит их задержать шаги. И он ступал смелее, не остерегаясь, шарил среди вещей, загромождавших лавку, и старательно, с напускной храбростью под-

ражал движениям человека, не спеша и деловито хозяйничающего у себя дома.

Но теперь страхи так раздирали Маркхейма, что покуда одна часть его мозга была начеку и всячески хитрила, другая трепетала на грани безумия. И с особой силой завладела им одна галлюцинация. Бледный как полотно сосед, замерший у окна, или прохожий, во власти страшной догадки остановившийся на тротуаре,— эти в худшем случае могут только заподозрить что-то, а не знать наверное: сквозь каменные стены и ставни на окнах проникают лишь звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Да, разумеется, один. Ведь он выследил служанку, когда она отправилась по своим амурным делам в убогом праздничном наряде, каждый бантик которого и каждая ее улыбка говорили: «Уж погуляю сегодня вволю». Нет, конечно, он здесь один. И все же где-то наверху, в недрах этого пустынного дома, ему явственно слышался шорох тихих шагов — сам не зная почему, он ясно ощущал чье-то присутствие здесь. Да, несомненно! В каждую комнату, в каждый закоулок дома следовало за *этим* его воображение; вот *оно*, безликое, но зрячее, вот превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара, вновь ожившего, вновь коварного и злого.

Время от времени он через силу заставлял себя посмотреть на открытую дверь, которая все еще как бы отталкивала от себя его взгляд. Дом был высокий, фонарь в крыше маленький, грязный, день слепой от тумана, и свет, еле просачивающийся сверху до нижнего этажа, чуть заметно лежал у порога лавки. И все же — не тень ли чья-то колыхалась там, в этом мутном световом пятне?

Вдруг какой-то чрезвычайно весело настроенный джентльмен начал колотить снаружи палкой во входную дверь лавки, сопровождая удары возгласами, шуточками и то и дело окликая антиквара по имени. Оледенев от ужаса, Маркхейм бросил взгляд на мертвеца. Нет, убитый лежал неподвижно; он ушел далеко-далеко, туда, куда не достигали эти призывы и стук, утонул в пучине безмолвия, и его имя, которое он различил бы прежде даже сквозь рев бури, стало пустым звуком. Вскоре, однако, весельчак бросил ломиться в дверь и удалился.

Вот он, красноречивый намек, что надо поскорее все доделать, уйти из этих мест, которые несут в себе осуждение, погрузиться в глубь лондонского людского моря

и достичь — уже по ту сторону минувшего дня — своей постели, этой надежной, оберегающей от улик гавани. Один гость сюда уже наведался; в любую минуту может появиться другой, более настойчивый. Но сделать то, что сделано, и не пожать плодов — такая неудача будет непереносима. Деньги — вот о чем думал теперь Маркхейм, и средством к достижению этой цели были ключи.

Он оглянулся через плечо на дверь, где все еще маячила, колыхаясь на пороге, та самая тень, и без душевного содрогания, но чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве. В ней не осталось ничего живого, человеческого. Руки и ноги, разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками, и все же в этом трупе было что-то отталкивающее. На взгляд он такой жалкий, невзрачный, но когда прикоснешься, не почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного? Маркхейм взял антиквара за плечи и перевернул его навзничь. Он был на удивление легкий и податливый, руки и ноги, будто сломанные, под несуразными углами легли на пол. Лицо лишено всякого выражения, желтое, как воск, а на правом виске страшно расползлась кровь. Только это и резнуло Маркхейма и мгновенно унесло его назад, к одному памятному ярмарочному дню в рыбацкой деревушке: серый день, посвистывающий ветер, людские толпы на улице, рев медных труб, буханье барабанов, гнусавый голос уличного певца и маленький мальчик, шныряющий среди взрослых. Мальчика раздирает любопытство и страх, и, пробившись наконец на площадь, туда, где толпа всего гуще, он видит балаган и большую доску с нелепыми, грубо размалеванными картинками: Элизабет Браунриг со своим подмастерьем, чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом, и еще десятка два других прогремевших на всю страну преступников. Это возникло перед ним, как видение; он снова был тем маленьким мальчиком, снова с таким же чувством гадливости разглядывал мерзкие картинки, оглушительная барабанная дробь по-прежнему звучала у него в ушах. В памяти пронесся обрывок песенки, услышанной в тот день, и тут впервые его охватила дурнота и чуть затошнило, и он почувствовал слабость во всех членах, которую надо было немедленно пресечь и побороть.

Он решил, что разумнее будет не отмахиваться от этих новых мыслей и не бежать их, а смелее взглянуть в мерт-

вое лицо, заставить себя осознать сущность и огромность своего преступления. Ведь совсем недавно в этом лице отражалась каждая смена чувств, эти бледные губы выговаривали слова, это тело было согрето волею к действию, а теперь, после того, что сделал он, Маркхейм, эта частичка жизни остановлена, подобно тому, как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов. Но тщетны были все его доводы: на угрызения совести он не мог себя подвигнуть. Сердце, содрогавшееся когда-то при виде аляповатых изображений убийств, бестрепетно взирало на действительность. Он чувствовал лишь проблеск жалости к тому, кто, будучи наделен всеми способностями, которые могут превратить мир в волшебный сад, так и не использовал их, и не жил настоящей жизнью, и теперь лежал мертвый. Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени.

И, стряхнув с себя все эти мысли, он отыскал ключи и подошел к внутренней двери; она все еще стояла приоткрытая. На улице хлынул ливень, и шум дождевых струй по крыше прогнал тишину. Точно в пещере, со сводов которой капает, по дому ходило несмолкаемое эхо дождя, глушившее слух и мешавшееся с громким тиканьем часов. И когда Маркхейм подошел к двери, он услышал в ответ на свою осторожную поступь чьи-то шаги, удаляющиеся вверх по лестнице. Тень у порога все еще переливалась зыбью. Он подтолкнул свою мускулатуру всем грузом решимости и затворил дверь.

Слабый свет туманного дня тусклым отблеском лежал на голом полу и ступеньках, на серебристых рыцарских доспехах с алебардой в рукавице, загромождавших лестничную площадку, на резных фигурках и на картинах в рамах, развешанных по желтым стенным панелям. Шум дождя так громко отдавался во всем доме, что в ушах Маркхейма он начинал дробиться на разные звуки. Шаги и вздохи, маршевая поступь солдат где-то в отдалении, звяканье монет при счете и скрип осторожно открываемых дверей — все это как бы сливалось со стуком дождя по крыше и хлестаньем воды в сточных трубах. Чувство, что он не один здесь, доводило Маркхейма почти до безумия. Какие-то призраки следили за ним, обступали его со всех сторон. Ему чудилось движение в верхних комнатах; слышалось, как в лавке встает с пола мертвец, и, когда он с огромным усилием стал под-

ниматься по лестнице, чьи-то ноги тихо ступали впереди него и тайком следовали за ним. Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа была бы спокойна! И тут же, вслушиваясь с обостренным вниманием, он снова и снова благословлял это недреманное чувство, которое все время было начеку, точно верный часовой, охраняющий его жизнь. Он непрестанно вертел головой по сторонам; глаза его, чуть ли не вылезавшие из орбит, всюду вели слежку, и всюду мелькало нечто, чему не подобрать имени, и всякий раз скрывалось в последний миг. Двадцать четыре ступеньки на верхний этаж были для Маркхейма пыткой, перенесенной двадцать четыре раза.

Там, наверху, три приотворенные двери, точно три засады, грозившие пушечными жерлами, хлестнули его по нервам. Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным от все примечающих людских взглядов; ему хотелось домой, под охрану своих стен,— зарыться в постель и стать невидимым для всех, кроме бога. И тут он подивился, вспомнив рассказы о других убийцах, об их страхе перед карой небесной. Нет, с ним так не будет. Он страшился законов природы — как бы они, следуя своим жестоким, непреложным путем, не изобличили его. И еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов. Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила, выводя следствия из причин. Но что если природа, как побежденный самодур, опрокидывающий шахматную доску, поломает форму этой взаимосвязи? Нечто подобное (как утверждают историки) случилось с Наполеоном, когда зима изменила время своего прихода. Так же может случиться и с ним: плотные стены вдруг станут прозрачными и обнаружат его здесь, как пчелу, хлопочущую в стеклянном улье; крепкие половицы вдруг уйдут из-под ног, точно трясина, и удержат его в своих цепких объятиях; да и более заурядные случаи могут принести ему погибель. Вдруг дом рухнет и заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний и со всех сторон к нему двинутся пожарные. Вот что его страшило, и ведь в какой-то мере все это можно будет счесть десницей господней, подъятой против греха. Впрочем, с богом он как-нибудь поладит: он содеял, бесспорно, нечто исключительное, но, как известно богу, не

менее исключительны и причины, приведшие его к этому. И там, в небесах, а не от людей, ждал он справедливого суда.

Когда он благополучно добрался до гостиной и затворил за собой дверь, у него отлегло от сердца. Комната эта была в полном беспорядке, к тому же без ковра, ее загромождали упаковочные ящики и самая сборная мебель: высокие трюмо, в которых он отражался под разными углами, точно актер на сцене, много картин в рамах и без рам — все поставленные лицом к стене, прекрасный шератоновский буфет, горка с инкрустацией и широкая старинная кровать под гобеленовым пологом. Окна здесь шли до самого пола, но, по великому счастью, нижняя половина их была закрыта ставнями, и это скрывало Маркхейма от соседей. И вот, придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи. Дело это оказалось затяжным, да и докучным, ибо ключей было много, а в горке могло и не найтись то, что он искал, между тем как время летело быстро. Однако кропотливость этого занятия успокоила его. Уголком глаза он видел дверь — изредка даже посматривал на нее, точно полководец в осаде, довольный надежностью своей обороны. Да, он был спокоен. Дождь за окнами шумел так естественно и уютно. А вот на другой стороне улицы проснулось чье-то фортепьяно, и хор детских голосов подхватил напев и слова гимна. Какая величавая и умиротворяющая мелодия! Какая свежесть в юных голосах! Подбирая ключи, Маркхейм с улыбкой слушал их, и в памяти у него толпились ответные мысли и картины: дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками, плывущими в небе по ветру; а с новой строфой гимна он снова в церкви, и снова дремотность летних воскресных дней, сладкий тенор пастора (вспомянутый с легкой улыбкой), раскрашенные надгробия времен короля Якова и полустертые буквы на доске с Десятью заповедями в часовне.

Так он сидел, машинально перебирая ключи, и вдруг вскочил на ноги. Ледяная волна, волна огненная, кровь, забурлившая в жилах, захлестнули его; потрясенный, он замер на месте. Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул, и дверь отворилась.

Страх тисками сжимал Маркхейма. Он не знал, чего

ему ждать. Кто это? Мертвец ли идет сюда, или должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель, который случайно забрел в лавку и теперь препроводит его на виселицу? Но вот чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем — кивок и дружеская, словно знакомому, улыбка, а вслед за тем лицо это исчезло, дверь затворилась, и страх, с которым Маркхэйм уже не мог совладать, вырвался наружу в хриплом крике. И, услышав его, неведомый посетитель вернулся.

— Ты звал меня? — приветливо спросил он, вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Маркхейм стоял и смотрел на него не отрываясь. Оттого ли, что глаза ему застилало туманом, очертания этого пришельца словно бы менялись и подергивались зыбью, как у тех фарфоровых божков в зыбком освещении лавки. И то ему казалось, будто он знает его, то мерещилось в нем сходство с самим собой; и ужас глыбой давил ему грудь при мысли, что перед ним предстало нечто чуждое и земле и небесам.

Однако в пришельце этом, с улыбкой смотревшем на Маркхейма, было что-то самое заурядное, и когда он спросил: — Ты, наверно, ищешь деньги? — вопрос его прозвучал равнодушно-вежливо.

Маркхейм ничего ему не ответил.

— Я должен предупредить тебя,— снова заговорил пришелец,— что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обычного и скоро вернется. Если мистера Маркхейма застанут здесь, мне не надо объяснять ему, что из этого воспоследует.

— Ты меня знаешь? — воскликнул убийца.

Неизвестный улыбнулся.

— Ты мой давний любимец,— сказал он,— я долгие годы наблюдаю за тобой и не раз старался тебе помочь.

— Кто ты? — воскликнул Маркхейм.— Дьявол?

— Важна услуга,— возразил ему неизвестный,— а кто ее окажет, не имеет значения.

— Нет, имеет! — воскликнул Маркхейм.— Имеет! Принять помощь от тебя? Никогда! Только не от тебя! Ты еще меня не знаешь. Благодарение богу, ты не знаешь меня!

— Я тебя знаю,— ответил неизвестный сурово, но без злобы.— Я знаю тебя наизусть.

— Знаешь? — воскликнул Маркхейм.— Кто меня может знать? Моя жизнь — пародия и поклеп на меня самого. Я прожил ее наперекор своей натуре. Все так живут. Человек лучше той личины, что прикрывает и душит его. Жизнь волочит нас за собой, точно наемный убийца, который хватает свою жертву и набрасывает на нее плащ. Если б люди могли распоряжаться собой, если б можно было видеть их истинные лица, они предстали бы перед светом совсем иными, они воссияли бы подобно святым и героям! Я хуже многих, я обременен грехами, как никто другой, но то, что послужит мне оправданием, знаю только я и господь бог. И будь у меня сейчас время, я раскрыл бы себя до конца.

— Передо мной? — спросил неизвестный.

— Прежде всего перед тобой,— ответил убийца.— Я полагал, что ты умен. Я думал, что — раз уж ты существуешь — ты сердцевед. А ты хочешь судить меня по моим делам! Подумать только — по делам! Я родился и жил в стране великанов. Великаны тащили меня за руки с того первого часа, как мать даровала мне жизнь. Великаны эти — обстоятельства нашего существования. А ты хочешь судить меня по моим делам! Но разве тебе не дано заглянуть мне в душу? Не дано понять, что зло ненавистно мне? Неужто ты не видишь там, в глубине, четкие письмена совести, хотя и пребывающие нередко втуне, но ни разу не перечеркнутые измышлениями ложного ума? Неужто тебе не дано распознать во мне существо самое заурядное среди людей — грешника поневоле?

— Все это изложено с большим чувством,— последовал ответ,— но я тут ни при чем. Твои логические выкладки меня не касаются, и мне безразлично, какие именно силы влекли тебя за собой, важно, что ты подчинился им. Но время летит; служанка идет не торопясь, разглядывает встречных на улице и щиты с афишами, но все-таки она подходит все ближе и ближе. И помни, это все равно, что сама виселица шагает сюда по праздничным улицам. Ты примешь мою помощь — помощь того, кому ведомо все? Сказать тебе, где лежат деньги?

— А что ты потребуешь взамен? — спросил Маркхейм.

— Пусть это будет моим рождественским подарком,— ответил неизвестный.

Маркхейм не удержался от горькой, но торжествующей улыбки.

— Нет,— сказал он.— Из твоих рук мне ничего не надо Если б я умирал от жажды и твоя рука поднесла бы мне кувшин к губам, у меня хватило бы мужества отказаться. Пусть это покажется неправдоподобным, но я не сделаю ничего такого, что ввергнет меня во власть зла.

— Я не возражаю против покаянной исповеди на смертном одре,— сказал незнакомец.

— Потому что не веришь в ее действенность! — воскликнул Маркхейм.

— Дело не в этом,— возразил ему неизвестный.— Пойми, что я смотрю на все такое под другим углом, и, когда жизнь человеческая подходит к концу, мой интерес к ней угасает. Человек жил у меня в услужении, бросал на ближних своих черные взгляды, прикрываясь благочестием, или же, подобно тебе, сеял плевелы между пшеницей, безвольно потворствуя обуревающим его страстям, и на пороге своего освобождения он может сослужить мне еще одну службу — покаяться, умереть с улыбкой на устах, и этим подбодрить более робких моих приверженцев, из тех, что еще живы, и вселить в них надежду. Я не такой уж суровый властелин. Испытай меня. Прими мою помощь. Ублажай себя в жизни, как ты это делал до сих пор; ублажай себя вволю, сядь за пиршественным столом повольготнее, а когда ночь начнет сгущаться и настанет время спустить шторы на окнах — поверь мне, ради собственного спокойствия,— тебе будет совсем нетрудно уладить свои неурядицы с совестью и раболепно вымолить мир у господа бога. Я только что от такого смертного одра, и комната была полна людей, которые искренне скорбели и проникновенно внимали последним словам умирающего; и, взглянув ему в лицо, прежде такое каменное, не ведавшее милосердия, я увидел, как оно осветилось улыбкой надежды.

— И ты полагаешь, что я тоже такой?—спросил Маркхейм.— Что побуждения у меня низкие: грешить, грешить и грешить и под конец пробраться в царство небесное? Мне претит самая мысль об этом. Так вот оно, твое знание человеческой натуры! Или ты подозреваешь меня в такой низости только потому, что я попался тебе на месте преступления? Неужто же убийство — деяние столь нечестивое, что оно способно иссушить и самые источники добра?

— Я не ставлю его в какой-то особый ряд,— ответил неизвестный.— Всякий грех — убийство, так же как вся

жизнь — война. На мой взгляд, род человеческий подобен морякам, гибнущим на плоту в открытом море, когда они вырывают крохи у голода, пожирая друг друга. Я веду счет грехам и после мига их свершения и убеждаюсь, что конечный итог каждого греха — смерть. В моих глазах хорошенькая девушка, которая мило капризничает и перечит матери, собираясь на бал, так же обагрена человеческой кровью, как и ты — убийца. Я сказал, что веду счет грехам? Добродетель я тоже не упускаю из виду, и разница между ними не толще гвоздя: порок и добродетель всего лишь серп в длани ангела, пожинающего жатву Смерти. Зло, ради которого я существую, коренится не в делах, а в натуре человеческой. Дурной человек — вот кто дорог мне, но никак не дурные дела, ибо плоды этих дел, если проследить их в сокрушительном водовороте веков, могут стать более благотворными, чем плоды редчайших добродетелей. И я хочу помочь тебе скрыться не потому, что ты убил какого-то антиквара, а потому, что ты Маркхейм.

— Я буду откровенен с тобой до конца,— ответил Маркхейм.— Преступление, за которым ты меня застал, мое последнее. На пути к нему я усвоил не один урок, и оно само стало для меня уроком, серьезнейшим уроком. До сих пор я внутренне противился тому, что делал. Я был в рабстве у нищеты, она преследовала, бичевала меня. Есть на свете несокрушимая добродетель, которая способна устоять перед искушениями; моя не такова: я жаждал радостей жизни. Но сегодня, из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение и богатство — то есть силу и новую решимость стать самим собой. Отныне я буду свободен во всех своих поступках, я уже вижу себя совсем другим человеком, вот эти руки творят добро, это сердце обретает мир. Что-то из прошлого возвращается ко мне: что-то такое, что я прозревал впереди, обливаясь слезами над великими книгами, о чем мечтал по воскресным вечерам под звуки церковного органа или беседовал с матерью в пору невинного детства. Вот он, мой жизненный путь: были годы, когда я отклонялся от него, но теперь передо мной снова встает вдали мое предназначение.

— Надо полагать, ты пойдешь с этими деньгами на биржу? — сказал незнакомец.— И если не ошибаюсь, несколько тысяч ты уже проиграл там?

— О да! — воскликнул Маркхейм.— Но на сей раз я буду действовать наверняка.

— И на сей раз тоже проиграешь,— спокойно ответил ему неизвестный.

— Но половину-то я приберегу! — воскликнул Маркхейм.

— Эти деньги тоже проиграешь,— сказал неизвестный.

На лбу у Маркхейма выступил пот.

— Ну и что же?—вскричал он.—Пусть я все проиграю, пусть я снова впаду в нищету, но неужели же половина моей натуры, худшая половина, всегда, до самого конца, будет одолевать лучшую? Зло и добро с равной силой влекут меня каждое в свою сторону. Нет во мне любви к чему-то одному — я люблю все. Я могу отдать должное великим свершениям, жертвенности, мученичеству, и хоть я и пал так низко, что совершил убийство, чувство жалости не чуждо мне. Я жалею бедных: кому другому лучше знать их злоключения? Я жалею бедных и помогаю им. Я готов славить любовь и люблю искренний смех. Все доброе, все истинное, что только есть на свете, все любо моему сердцу. И разве мою жизнь так и будут направлять пороки, а добродетели останутся лежать втуне, как мертвый груз? Нет, этого не может быть. Добро тоже способно побуждать к действию.

Но его собеседник предостерегающе поднял палец.

— Все тридцать шесть лет, что ты живешь на земле, я слежу за тобой,— сказал он,— я знаю твои колебания и постигшие тебя превратности судьбы и вижу, как ты падаешь все ниже и ниже. Пятнадцать лет назад ты бы содрогнулся при мысли о краже. Три года назад слово «убийство» заставило бы тебя побледнеть. Есть ли такое преступление, есть ли такая жестокость или низость, от которой ты еще способен отшатнуться? Через пять лет ты сам убедишься, что нет. Твой жизненный путь идет под уклон, все под уклон, и, кроме смерти, ничто тебя не остановит.

— Да, верно,— хрипло проговорил Маркхейм.— В какой-то мере я покорился злу. Но ведь это можно отнести ко всем людям: даже святые, поскольку жизнь идет своим чередом, день ото дня становятся все менее взыскательны к себе и под конец сливаются с окружающей их средой.

— Я задам тебе простой вопрос,— сказал собеседник Маркхейма,— и в зависимости от ответа прочту тебе твой

духовный гороскоп. Ты стал во многих отношениях не так строг к себе; что ж, может быть, это и правильно, поскольку все люди таковы. Хорошо, допустим. Но есть ли что-нибудь — пусть это будет мелочь,— есть ли что-нибудь, с чем тебе труднее примириться в твоих поступках, или ты даешь себе волю во всем?

— Есть ли что-нибудь? — в мучительном раздумье повторил Маркхейм.— Нет,— с отчаянием проговорил он наконец.— Ничего такого нет. Я опустился во всем.

— Тогда,— сказал неизвестный,— принимай себя таким, каков ты есть, ибо тебе уже не измениться и твоя роль на этой сцене определена до конца.

Маркхейм долго стоял молча. Молчание первым прервал неизвестный.

— А если это так,— сказал он,— открыть тебе, где лежат деньги?

— А милосердие? — воскликнул Маркхейм.

— Разве ты не искал его сам? — возразил ему неизвестный.— Разве я не видел тебя года два или три назад на молитвенных собраниях и не громче ли всех звучал твой голос в гимне?

— Да, это правда,— сказал Маркхейм.— И теперь я знаю твердо, что делать, знаю, в чем состоит мой долг. Благодарю тебя от всего сердца за твои поучения; глаза мои открылись, и я наконец-то вижу себя таким, каков я есть.

В этот миг по всему дому разнесся резкий звон дверного колокольчика, и, будто дождавшись условного сигнала, неизвестный сразу заговорил по-другому.

— Служанка! — крикнул он.— Я предупреждал, что она вот-вот должна вернуться, и теперь тебе предстоит сделать еще один трудный шаг. Скажи ей, что ее хозяин занемог; впусти ее; вид у тебя должен быть уверенный и серьезный — не улыбайся, но и не переигрывай, и я обещаю тебе победу. Девушка войдет, дверь за ней захлопнется, и та же сноровка, с которой ты разделался с антикваром, поможет тебе убрать эту последнюю опасность с твоего пути. У тебя впереди будет весь вечер, а если понадобится, то и вся ночь, чтобы отыскать спрятанные здесь сокровища и благополучно скрыться. Под личиной опасности к тебе идет помощь. Спеши! — воскликнул он.— Спеши, друг мой! Твоя жизнь колеблется на весах! Действуй!

Маркхейм устремил твердый взгляд на своего собеседника.

— Если я обречен на злодеяния,— сказал он,— одна дверь, ведущая к свободе, для меня еще открыта — ведь от действия можно отказаться. Если моя жизнь порочна, от нее можно отказаться. Хоть я и поддаюсь, как ты говоришь, любым ничтожным искушениям, я могу сделать решительный шаг и уйти из-под их власти, моя любовь к добру — пустоцвет, ну что ж, пусть так! Но ненависть ко злу во мне еще жива, и ты убедишься, к своему горькому разочарованию, что из этой ненависти я почерпну силу и мужество.

Чудесная, радующая взор перемена вдруг преобразила лицо неизвестного; оно смягчилось и просветлело чувством торжества и нежности, и, светлея, черты его стали таять и расплываться. Но Маркхейм не потратил ни минуты на то, чтобы проследить до конца или осмыслить это преображение. Он распахнул дверь и медленно, в глубоком раздумье спустился по лестнице. Прошлое потекло перед его трезвым взглядом; он видел его таким, каким оно было, безобразным и изнурительным, точно страшный сон, в нем властвовала беспорядочная игра случая — вот она, картина полного поражения! Жизнь, представшая перед ним, уже не искушала его; но по ту сторону жизни ему виделась тихая пристань, ожидающая его челн. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где возле убитого все еще горела свеча. Какая странная тишина была там! Он смотрел на труп, и мысли об антикваре вихрем проносились у него в мозгу. Дверной колокольчик снова разразился нетерпеливым звоном.

Маркхейм встретил служанку у порога с подобием улыбки на губах.

— Сходите за полицией,— сказал он.— Я убил вашего хозяина.

ОЛАЛЛА

— Ну вот,— сказал доктор.— Мое дело сделано, и могу не без гордости сказать, что сделано хорошо. Остается только отправить вас куда-нибудь из этого сырого, гиблого места, чтобы вы пожили месяца два на свежем воздухе и со спокойной душой. Последнее зависит от вас. Что касается первого, то в этом, кажется, я могу вам помочь. Все вышло случайно. На днях ко мне заглянул священник одного сельского прихода; а так как мы с ним давние приятели, хотя и противоположных профессий, то он обратился ко мне с просьбой, не могу ли я помочь одной семье из его прихода. Это знатное семейство, но вы чужестранец, и вряд ли знаете наши аристократические имена, так что я скажу только, что когда-то это был богатый и славный род. Теперь же потомки его находятся на грани нищеты. Все их владения составляет родовой замок и несколько лиг скалистой пустоши, где и коза не прокормится. Но замок старинной красивой постройки, он стоит высоко в горах, и место там очень здоровое. Я тотчас подумал о вас и сказал ему, что у меня есть офицер, оправляющийся от ран, которые он получил, сражаясь за благородное дело, так не пустят ли они его к себе. Лицо священника, как я и предполагал злорадно, потемнело. «Нет,— сказал он,— об этом не может быть речи». «Тогда пусть голодают,— ответил я,— терпеть не могу спесивых оборванцев благородных кровей». С тем мы и расстались, не очень довольные друг другом; вчера, к моему удивлению, падре вдруг возвращается и говорит, что дело оказалось не таким трудным, как он предполагал. Словом, эти гордецы спрятали гордость в карман, когда он все-таки рискнул

заговорить о моем предложении. Я обо всем договорился и снял для вас в самом замке комнату — теперь дело за вами. Горный воздух обновит вашу кровь, а тишина и покой тех мест стоят всех лекарств мира.

— Доктор,— ответил я,— вы с первых минут нашего знакомства мой ангел-хранитель, и ваш совет равен для меня приказанию. Прошу вас только рассказать подробнее о семье, в которой мне предстоит жить.

— Я и хочу,— продолжал доктор.— Тут, видите ли, есть одно щекотливое обстоятельство. Эти бедняки, как я уже сказал, очень высокого происхождения, и гордость их доходит порой до самого непомерного чванства, чему сейчас нет, конечно, никакого основания. Вот уже несколько поколений этой семьи живут как бы в вакууме: богатые аристократические семьи недосягаемы для них, а бедные люди — слишком низкая компания; и даже теперь, когда нужда заставляет их открыть двери родового замка для постояльца, они не могут сделать этого, не оговорив одного обидного условия: постоялец должен держаться на почтительном расстоянии. Вас будут обслуживать, как полагается, но никаких попыток к сближению.

Не стану отрицать, самолюбие мое было задето, но, видно, именно поэтому мне очень захотелось поехать — я был уверен, что если захочу, то сумею расположить к себе этих гордецов.

— Ничего обидного не вижу в этом условии,— ответил я доктору.— Я понимаю их чувства, даже разделяю их.

— Правда, они вас не видели,— продолжал доктор учтиво.— Если бы они знали, что вы самый приятный и красивый из всех англичан, какие бывали у нас (в Англии, я слыхал, красивые мужчины не редкость, а вот приятных не так много), то они отнеслись бы к вам более любезно. Но поскольку вы так спокойно приняли их каприз, тем лучше. Что до меня, то мне кажется их требование оскорбительным. Впрочем, в конечном счете вы окажетесь в выигрыше — семейство вряд ли представило бы для вас интерес. Их всего трое — мать, сын и дочь. Старуха, говорят, полоумная, сын — деревенский дурачок, дочь — простая девушка, о которой очень высокого мнения духовник, из чего можно заключить, что, по всей вероятности,— тут доктор улыбнулся,— красотой она не блещет. Как видите, ничего соблазнительного для такого блестящего офицера, как вы.

— Однако, вы говорите, они очень высокого происхождения,— заметил я.

— Это не совсем точно,— возразил доктор.— Мать — да. Дети — нет. Мать — последний потомок очень знатного рода, обедневшего и захудалого. Отец ее был не только беден, он был поврежден в рассудке. Дочь росла безо всякого присмотра. Когда отец умер, не оставив ей ровным счетом ничего, ей еще воли прибавилось, пока она вдруг не вышла замуж — бог знает за кого — не то за погонщика мулов, не то за контрабандиста. Ходила молва, будто церковным браком они не сочетались и что Фелип и Олалла — незаконнорожденные. Как бы там ни было, союз этот окончился трагически. Жили они замкнуто, да к тому же тогда у нас было очень неспокойно, так что истинная причина смерти супруга известна только одному священнику, а может, и ему неизвестна.

— Я начинаю подумывать, что меня ждут необычайные приключения.

— Я бы на вашем месте умерил свою фантазию,— ответил доктор.— Боюсь, что вас ждет самое прозаическое существование. Я видел Фелипа. Что можно о нем сказать? Хитрый, неотесанный деревенский парень, и к тому же, я думаю, немного тронутый. Остальная семья, наверное, под стать ему. Нет, нет, сеньор капитан, я вам советую поискать приятелей среди наших величественных гор! В них-то, если, конечно, вы любитель природы, вы не разочаруетесь, могу вам смело обещать.

На следующий день Фелип заехал за мной в грубой деревенской повозке, запряженной мулом; а около полудня, распрощавшись с доктором, хозяином гостиницы и другими добрыми людьми, которые ухаживали за мной во время моей болезни, я покинул город через восточные ворота, и скоро повозка наша затряслась по горной дороге. Я так долго был затворником, с тех пор как меня оставили здесь почти в безнадежном состоянии, что радовался даже запаху земли. Местность, по которой мы ехали, была дика и скалиста; горы местами заросли лесом, пробковый дуб чередовался с огромными испанскими каштанами, там и здесь по каменистому ложу неслись вниз горные речки. Сияло солнце, веял прохладный ветерок; мы проехали уже несколько миль и оставленный позади город стал казаться незначительным бугорком на равнине, когда внимание мое привлек, наконец, мой возница. Это был невысокий, но

хорошо сложенный деревенский парень с простоватым выражением лица — точь-в-точь как его описывал доктор: очень подвижный и живой, как ртуть, но абсолютно невоспитанный — таково было мое первое впечатление (для многих оно так и оставалось неизменным). Помня о поставленном мне условии, я немного удивился его несмолкаемой, дружелюбной болтовне, смысл которой было трудно уловить частью из-за скверной дикции, частью из-за поразительного непостоянства мыслей. Правда, я и раньше встречал людей подобного душевного склада: они, как и Фелип, живут только чувствами, единственная пища для их ума — то, что в данную минуту попадает в поле их зрения, они не способны по собственной воле переключить внимание с одного предмета на другой. Слушая краем уха его болтовню, я подумал, что так обычно говорят с седоками ямщики, ум которых большею частью ничем не занят, а перед глазами нескончаемой вереницей проходят все одни и те же дорожные картины. Но Фелип не принадлежал к их числу, по его собственным словам, он был домосед. «Как хорошо, если бы мы были уже дома!» — воскликнул он и тут же, увидав у дороги дерево, начал рассказывать, как однажды, когда он проезжал мимо, на этом дереве сидела ворона.

— Ворона? — повторил я, изумленный этим неожиданным ходом мысли и решив, что ослышался.

Но Фелип был уже занят другим: склонив голову набок и наморщив лоб, он напряженно прислушивался к чему-то. Грубо толкнув меня, он велел мне молчать. Потом улыбнулся и покачал головой.

— Что ты там услышал? — спросил я.

— Да так, ничего,— ответил он и стал понукать мула криками, которые громким эхом отдавались в горах.

Я пригляделся к нему. Он был на редкость хорошо сложен, легкий, гибкий и сильный; черты лица правильные и приятные; только большие карие глаза, пожалуй, не очень выразительны. В общем, это был красивый юноша; на мой взгляд, в его внешности не было недостатков, за исключением разве очень смуглого цвета лица и некоторого излишка растительности — я не любитель ни того, ни другого. Но особенно меня заинтересовал его интеллект. Я вспомнил, что доктор назвал его тронутым, и задумался над тем, соответствует ли это истине. Тем временем дорога спустилась в глубокое узкое ущелье, где с ревом и грохотом мчался горный поток, и весь распадок был на-

полнен шумом, мелкой водяной пылью и порывами ветра, сопровождавшего стремительный бег воды. Зрелище было внушительное; впрочем, дорога в этом месте была укреплена каменной стеной, мул уверенно шагал вперед, и я не без удивления заметил, что лицо моего возницы побледнело. Шум воды не был монотонен: он то затихал, как бы утомившись, то переходил в оглушительный рокот, когда пенистые бугры, рожденные на миг, в неистовстве набрасывались на каменные стены. Я заметил, что с каждым яростным наскоком Фелип сильно вздрагивал, а лицо его становилось еще белее; я вспомнил шотландскую легенду о злом речном духе Келпи и подумал, нет ли в Испании схожего поверья.

— Что с тобой? — спросил я, повернувшись к нему.

— Страшно,— ответил он.

— Страшно? По-моему, это самое безопасное место на всей дороге.

— Сильно шумит,— проговорил он, и в его голосе прозвучал первобытный страх. Я успокоился.

Мой возница умом был пятилетний ребенок. Ум его, как и тело, был подвижен и быстр, но развитие его остановилось много лет назад. С этой минуты я стал испытывать к нему нечто похожее на жалость. А болтовня его, которую я слушал сперва снисходительно, скоро даже начала мне нравиться.

Около четырех часов пополудни мы распрощались с заходящим солнцем, перевалили через хребет и стали спускаться по восточному склону; дорога шла по ущельям в тени сумрачных лесов, голоса водопадов, уже не грозные и оглушающие, а веселые и мелодичные, переговаривались друг с другом. Настроение моего возницы, видимо, улучшилось, и он запел тонким, высоким голосом; в песне его не было мелодии, но слушать его было приятно — так поют птицы, естественно и непринужденно. Темнело, и я все больше поддавался очарованию этого безыскусственного пения, ожидая, что вот-вот пойму, о чем он поет, но так и не дождался.

— О чем ты поешь? — наконец спросил я.

— Ни о чем,— ответил он.— Пою — и все!

Особенно нравилось мне, как он повторяет через короткие промежутки одну и ту же ноту. В этом не было однообразия, как могло бы показаться, не было, во всяком случае, ничего навязчивого, пение его дышало той умиротво-

ренностью, какой воображение наше любит наделять строгую тишину леса или неподвижную водную гладь.

Ночь опустилась еще до того, как мы выехали на плато. Скоро впереди стал виден плотный сгусток темноты, и я догадался, что это и есть старый замок. Мой провожатый соскочил с повозки и долго свистел и звал кого-то, наконец откуда-то из темноты вынырнул старик крестьянин и подошел к нам, держа в руке зажженную свечу. В ее слабом свете я различил большие сводчатые, окованные железом ворота в мавританском стиле. В одной из створок Фелип отворил маленькую калитку. Старик увел куда-то мула с повозкой, а мы с Фелипом вошли в калитку, и она затворилась за нами. При слабом мерцании свечи мы пересекли двор, поднялись по каменным ступеням, затем по открытой галерее дошли до лестницы, которая привела нас наконец к дверям большой полупустой комнаты, которая, как я догадался, была предназначена мне. В комнате было три узких окна, стены обиты покрытыми лаком деревянными панелями и увешаны шкурами диких зверей. В очаге ярко горел огонь, бросая на пол и стены живые отблески; ближе к огню стоял стол, накрытый для ужина; дальний угол занимала уже постланная на ночь постель. Мне была приятна такая заботливость, и я сказал об этом Фелипу. Фелип со свойственным ему простодушием, как эхо, отозвался на мои похвалы.

— Хорошая комната,— сказал он.— Очень хорошая. И огонь хороший, от него по телу идет тепло. И кровать,— прибавил он, идя со свечой в дальний угол.— Смотрите, какие хорошие простыни, гладкие-гладкие, как шелковые!

С этими словами он провел свободной рукой по простыням, нагнулся и зарылся лицом в постель с выражением полного блаженства. Это меня слегка покоробило, я взял у него свечу, боясь, что он еще устроит пожар, и вернулся к столу, где стоял кувшин с вином. Налив чашку, я позвал Фелипа. Он сейчас же вскочил на ноги и подбежал ко мне. Но, увидев, что я протягиваю ему вино, затряс головой.

— Нет, нет! — вскричал он.— Это для вас. Фелип это не любит.

— Прекрасно, сеньор,— сказал я.— Тогда позвольте мне выпить за ваше здоровье, а также за процветание вашего дома и всей вашей семьи. А уж коли разговор пошел о семье,— прибавил я, осушив чашку,— позвольте мне

лично представиться сеньоре вашей матери, чтобы почтительно припасть к ее ногам.

Когда Фелип услыхал эти мои слова, все простодушие и детскость как ветром сдуло с его лица — оно стало хитрым и замкнутым. В мгновение ока он отскочил от меня, точно перед ним был лютый зверь, готовый к прыжку, или разбойник с обнаженным кинжалом, и бросился к двери. В дверях он обернулся, и я заметил, как у него сузились зрачки.

— Нет,— отрезал он и бесшумно выскользнул из комнаты. Я слышал, как на лестнице затихали его шаги, легкие, как капли дождя, и тишина вновь окутала дом.

Поужинав, я придвинул стол к постели и стал готовиться ко сну. Свеча теперь озаряла светом другую стену, и я увидел портрет, который сразу пленил мое воображение. Это был портрет молодой женщины. Судя по платью и по приглушенной гармонии красок на полотне, она уже давно покинула этот мир, но живость глаз и всего лица, особая непринужденность позы превращали портрет в зеркало, куда смотрелась сама жизнь. Фигура женщины была тонкой и сильной и правильных пропорций; рыжие косы, как корона, венчали голову; глаза, золотисто-карие, смотрели на меня совсем как живые; совершенную красоту ее лица портило только жестокое, мрачное и слишком чувственное выражение. Что-то в этих чертах и фигуре, почти неуловимо, как эхо эха, напоминало черты и фигуру Фелипа; несколько времени я стоял перед картиной, не отрывая от нее глаз, в каком-то раздражении чувств, и размышлял о странном сходстве. Осквернённая простой грубой кровью, ветвь рода, который рождал когда-то прекрасных дам, подобных той, что глядела сейчас на меня с полотна, получила иное назначение: ее отпрыски носят теперь крестьянское платье, правят запряженной мулом повозкой и прислуживают постояльцам. Но, возможно, в Фелипе живет как связующее звено крошечный кусочек той деликатной плоти, которую когда-то облачали в шелк и парчу, и теперь эта плоть содрогается от прикосновения грубой ткани костюма Фелипа.

Первые утренние лучи падали прямо на портрет. Я уже проснулся и смотрел на него, испытывая все большее наслаждение. Коварными сетями опутало мое сердце это

прекрасное лицо, и голос благоразумия становился все глуше; я понимал, что любить такую женщину — значит подписать приговор своему роду, но я знал также, что, если бы я ее встретил, я бы полюбил ее. День ото дня я все глубже постигал ее жестокое сердце и все яснее видел свою слабость. Я мечтал о ней дни и ночи, ради ее глаз я пошел бы на преступление. Черной тенью легла она на мою жизнь. Бродя в окрестностях, дыша свежим воздухом и чувствуя, как возвращаются силы, я благодарил бога, что моя колдунья спит спокойно в могиле, что волшебная палочка ее красоты рассыпалась в прах, уста навсегда умолкли, а приворотное зелье ее испарилось.

Но порой меня вдруг мороз подирал по коже: а что, если она не умерла, а живет, воскреснув в одном из своих потомков?

Трапезы свои я совершал у себя в комнате в одиночестве. Прислуживал мне Фелип. Сходство его с портретом преследовало меня. Временами оно исчезало, временами вновь возникало, пугая, как привидение. Особенно он походил на портрет, когда бывал в дурном расположении духа. Фелип полюбил меня — это несомненно: был счастлив и горд, когда я говорил с ним; чтобы привлечь мое внимание, прибегал ко множеству детских, незамысловатых уловок; любил сидеть в моей комнате возле огня и вести несвязный разговор или петь свои странные, бесконечные песни без слов; иногда он гладил, как бы лаская, мое платье. Не скрою, эта полная любви ласка приводила меня в замешательство, которого я стыдился. Вместе с тем ему были свойственны вспышки беспричинного гнева, а порой на него находило беспросветно мрачное настроение. Бывало, в ответ на мое замечание он опрокидывал тарелку с супом, даже не пытаясь притвориться, что сделал это нечаянно; то же было, когда я пытался кое о чем расспросить его. Мое любопытство было вполне естественно — ведь я жил в незнакомом месте, среди незнакомых людей,— но стоило мне хотя бы обиняком спросить о чем-то, он уходил в себя, лицо его темнело, и я чувствовал тогда, что с ним шутки плохи. Вот тогда на какой-то миг можно было принять этого простого деревенского парня за брата прекрасной дамы на портрете. Но эти вспышки быстро проходили, и с ними вместе умирало сходство.

В первые дни мое общество составлял только Фелип, если не считать дамы на портрете. Хладнокровие мое мо-

жет вызвать улыбку недоверия — ведь Фелип был явно слаб рассудком и к тому же подвержен приступам необузданной ярости. Сказать по правде, первое время в его присутствии мне было не по себе, но очень скоро я возымел над ним такую власть, что совсем перестал его бояться.

Случилось это вот как. Фелип по природе был склонен к безделью и бродяжничеству. Однако все свое время он проводил дома и не только прислуживал мне, но трудился каждый день в саду, или, вернее, на маленькой ферме, которая находилась в южной части усадьбы. Ему помогал крестьянин — тот, что встретил нас в день моего приезда, живший в полумиле от господского дома в простой хижине; из окна мне было видно, что из этих двоих Фелип работает куда больше, хотя время от времени он бросал лопату и ложился спать под те самые деревья и кусты, которые окапывал; его упорство и энергия, похвальные сами по себе, вызывали у меня тем большее восхищение, что они не были врожденными добродетелями, и ему явно приходилось делать над собой усилие. Но, восхищаясь им, я не переставал спрашивать себя: что пробудило и поддерживает в этом слабоумном деревенском парне такое непоколебимое чувство долга? Я спрашивал себя, до какой степени это чувство властно над его инстинктами. Возможно, это заслуга священника. Но как-то священник при мне приехал в усадьбу. Пробыв около часа, он уехал. Я видел приезд его и отъезд — я сидел неподалеку на бугре и рисовал. Все это время Фелип неотлучно работал в саду.

Однажды, каюсь, я решил совратить Фелипа с пути истинного и, подкараулив его у калитки, без особого труда уговорил отправиться со мной на прогулку. Был чудесный день. В лесу, куда я его повел, было зелено и прохладно, упоительно пахло всеми запахами земли и леса, жужжали пчелы, порхали над цветами бабочки. Здесь Фелип открылся мне с новой стороны: он самозабвенно предавался веселому безделью, меня это даже немного смущало, и в то же время он был так ловок и грациозен, что я глаз не мог оторвать от него. Он скакал вокруг меня, как дикая коза, потом вдруг останавливался, смотрел кругом, прислушивался,— казалось, он пьет окружающий мир, как эликсир жизни; одним прыжком он взлетал на деревья и раскачивался на ветках, как обезьяна. За время прогулки он произнес всего несколько ничего не значащих слов, но более

беспокойного спутника (хотя и очень приятного) у меня никогда не было: меня приводила в восторг его простодушная радость, восхищала красота и точность движений. Быть может, из легкомыслия и эгоизма я постарался бы ввести эти прогулки в обычай, если бы судьба не позаботилась вмешаться самым жестоким образом. Фелип, ловкий и быстрый, поймал на верхушке дерева белку. Он был далеко, но я видел, как он спрыгнул с дерева и, присев, кричал от восторга, точно ребенок. Его чистая, наивная радость умилила меня, я прибавил шагу, и вдруг жалобный визг белки, как ножом, полоснул меня по сердцу. Я много слыхал о жестокости мальчишек, особенно деревенских, и многое видел, но то, что происходило сейчас перед моими глазами, привело меня в неописуемую ярость. Я отшвырнул Фелипа в сторону, вырвал из его рук несчастного зверька и добил его, чтобы избавить от мучений. Затем повернулся к мучителю и стал гневно упрекать его. Я не жалел эпитетов, и он все ниже опускал голову; наконец я махнул рукой в сторону замка и велел ему немедленно убираться, потому что, сказал я ему, я хочу, чтобы рядом со мной был человек, а не дикий зверь. Он бросился предо мной на колени, и слова так и полились из его груди: он умолял меня простить его, забыть то, что он сделал, поверить ему — речь его в этот раз была на удивление связной.

— О, я буду стараться,— говорил он,— о капитан, простите Фелипа, только на этот раз! Он никогда, никогда больше не будет вести себя, как дикий зверь.

Я не подал виду, что его горячие мольбы тронули меня, но дал себя уговорить и под конец в знак прощения пожал ему руку. В наказание я заставил его похоронить белку, и пока он рыл ямку, я говорил ему о красоте этой маленькой лесной твари, о том, какие мучения она вынесла и как подло и низко злоупотреблять силой.

— Послушай, Фелип,— говорил я ему,— ты действительно силен, но по сравнению со мной ты так же слаб, как этот крохотный обитатель леса. Дай мне руку. Тебе не вырвать ее из моей. А теперь вообрази, что я жесток, как ты, и нахожу удовольствие в причинении боли. Я только чуть-чуть сжал твою руку, и видишь, как тебе больно!

Фелип громко вскрикнул, лицо его стало серым, как пепел, и покрылось мелкими каплями пота; когда я отпустил его, он сел на землю, качая руку, стал дуть на нее и заплакал, как ребенок. Но урок не пропал даром: то ли

на него подействовало то новое понятие, которое он имел теперь о моей силе, то ли его задело за сердце все сказанное мной, только его прежняя привязанность сменилась собачьим обожанием и преданностью.

Здоровье мое тем временем быстро поправлялось. Замок стоял на возвышении в центре каменистого плато, со всех сторон стесненного отрогами гор; только с крыши, которую венчала сторожевая башня, был виден в расщелине глубоко внизу кусочек равнины, который на расстоянии синел, как море. Потоки воздуха на этих высотах двигались вольно и большими массами; здесь скапливались во множестве облака, ветер рвал их в клочья и развешивал по зубцам гор; со всех сторон слышалось глухое, низкое бормотание горных речек и водопадов; природа являлась здесь человеку в своем изначальном, древнем и диком обличье. Я с первого дня поддался очарованию этих привольных мест, изменчивой погоды, старинного полуразрушенного жилища. Дом представлял собой продолговатый четырехугольник с выступами в виде бастионов на двух противоположных сторонах, один из которых нависал над входной дверью. Бастионы были прорезаны бойницами для стрелков, нижний этаж совсем не имел окон, так что, если бы в замке засел вражеский отряд, без пушек его нельзя было бы взять. В замке был внутренний дворик, где росли гранатовые деревья; широкая мраморная лестница вела оттуда на открытую галерею, поддерживаемую тонкими колоннами. С галереи несколько внутренних лестниц вели в верхние этажи дома. Окна, выходящие наружу и во двор, были плотно закрыты ставнями; каменная кладка наверху кое-где обвалилась, крыша в одном месте была сорвана, видимо, ветром, который по временам достигает в этих местах ураганной силы. Весь этот дом, залитый ярким солнцем, возвышающийся над рощей низкорослых пробковых дубов, покрытый многовековым слоем пыли, поглотившей разнообразие красок, походил на сказочный спящий замок. Средоточием этого сонного царства был дворик. На карнизах дремотно ворковали голуби; воздух был неподвижен — ветры залетали сюда, только если снаружи бушевал ураган. Пыль с гор падала тогда во двор дождем, одевая серой вуалью красные цветы граната, забранные ставнями глухие окна и пустая галерея под арочным сводом дополняли картину мертвого сна. В течение дня только солнце вносило оживление

во двор, рисуя поочередно на всех четырех стенах ломаные профили и раскладывая на полу галереи ряды колонн. В одной из стен в первом этаже была глубокая ниша, носившая, однако, следы человеческого пребывания. Ниша представляла собой скорее комнату без одной стены; несмотря на это, в ней был сложен очаг, в котором постоянно горел веселый огонь, а плиточный пол был устлан звериными шкурами.

Здесь я и увидел впервые свою хозяйку. Она вытянула одну из шкур на солнце и сидела, прислонившись спиной к колонне, залитая его горячими лучами. Мне сразу бросилось в глаза ее платье очень ярких, контрастных тонов. С ним могли соперничать в этом сером дворике только красные цветы граната. Я взглянул на нее еще раз и поразился ее красоте. Она сидела, откинувшись, и наблюдала за мной, как мне казалось, невидящим взором; лицо ее выражало почти идиотское добродушие и удовлетворенность, но непринужденная благородная поза и совершенство черт превращали ее в прекрасную статую. Проходя мимо, я снял шляпу, но мое почтительное приветствие осталось без ответа, только по лицу ее пробежало беспокойство — так рябит дуновение ветерка зеркальную гладь озера. В этот день я совершал свою обычную прогулку в некотором душевном смущении, преследуемый этой почти идолоподобной невозмутимостью. Когда я вернулся, сеньора сидела все в той же позе, переехав, правда, вместе со шкурой к следующей колонне вслед за солнцем. На этот раз, однако, она сказала мне несколько слов обычного, вполне вежливого приветствия; голос у нее был глубокий, грудной, но говорила она так же невнятно, как ее сын,— мне то и дело приходилось напрягать слух, чтобы понимать ее. Я отвечал наугад, и не только потому, что половины не понял,— сеньора вдруг открыла глаза, и я ахнул. Они были огромные, раек золотистый, как у Фелипа, но зрачки так широко раскрыты, что глаза казались совсем черными; однако поразила меня не величина ее глаз, а отсутствие в них всякого выражения. Более откровенно глупого взгляда я не встречал. Отвечая на приветствие, я стоял, опустив голову, и поднимался к себе сбитый с толку и расстроенный. Войдя в комнату, я взглянул на портрет и снова подивился чуду многовековой устойчивости рода. Моя хозяйка, бесспорно, была старше и дороднее дамы на портрете, глаза ее были другого цвета, а лицо не только

не имело того жестокого выражения, которое отталкивало и вместе пленяло в прекрасной даме, оно вообще было лишено всякого выражения, и доброго и злого. Чистейшая нравственная невинность, в полном смысле слова — нуль. И тем не менее сходство было явное, не внешнее, не в отдельных чертах, а во всем облике, сходство крови. И я подумал, что художник, поставивший подпись под этой мрачной картиной, хотел, видно, не только воссоздать образ молодой женщины со змеиным взглядом, но запечатлеть на холсте какое-то самое существенное свойство рода.

Начиная с этого дня, отправляясь ли на прогулку или возвращаясь домой, я всякий раз видел сеньору: она то сидела на солнце, прислонившись к колонне, то полулежала на шкуре возле очага; иногда я заставал ее на верхней площадке мраморной лестницы, но и здесь выражение безучастия не сходило с ее лица. Во все эти дни жажда деятельности ни разу не пробудилась в ней, она только вновь и вновь расчесывала щеткой свои обильные медно-красные волосы да, увидев меня, лепетала свое обычное приветствие грудным, чуть надтреснутым голосом. Это и были два главных удовольствия ее жизни, если не считать, конечно, наслаждения покоем. Она высказывала свои суждения с видом превосходства, точно они полны были глубины и остроумия, хотя это были весьма пустые замечания, что, впрочем, свойственно разговору весьма почтенных людей, и касались они самого узкого круга предметов, но никогда не были ни бессмысленны, ни бессвязны — отнюдь: в ее речи была своя прелесть, она дышала тем безмятежным всеприятием, которым было проникнуто все ее существо. То она говорила о том, что очень любит тепло (как и ее сын), то о цветах граната, то о белых голубях и острокрылых ласточках, колыхавших в стремительном полете чедвижный воздух двора. Птицы волновали ее. Когда они, проносясь мимо, овевали прохладой ее лицо, она вздрагивала, оживлялась, слегка приподнимаясь,— казалось, наконец-то она пробуждается от оцепенения. Все дни напролет она лежала, томно погруженная в себя, нежась и предаваясь лени. Ее несокрушимая удовлетворенность всем и вся поначалу раздражала меня, но постепенно я стал привыкать к ее спокойному, отрешенному виду и даже отдыхал душой, глядя на нее. Скоро я привык четыре раза в день — уходя на прогулку и возвращаясь — присаживаться к ней.

Мы лениво говорили о чем-то — о чем, не могу сказать. Мне стало доставлять удовольствие соседство этого вялого, почти растительного существования, ее глупость и красота умиротворяли и забавляли меня. Я стал видеть в ее замечаниях недоступную простому пониманию глубину, ее безграничное благодушие восхищало меня и вызывало зависть. Возникшая симпатия была обоюдной; она радовалась моему присутствию подсознательно, как радуется журчанию ручья человек, сидящий на его берегу в глубоком раздумье. Не скажу, чтобы лицо ее при виде меня светлело от удовольствия, ибо удовольствие было постоянно написано на ее лице. Я догадался о ее расположении по более интимным признакам. Однажды, когда я сидел подле нее на мраморной ступеньке, она вдруг потянулась ко мне и погладила мою руку. Жест был мгновенный, и она тут же погрузилась в полудрему, не успел я осознать, что произошло. Я быстро поднял голову и заглянул ей в глаза, но они смотрели, как всегда, бездумно и отрешенно. Было ясно, что она не придала никакого значения этой мгновенной ласке, и я упрекнул себя за легкомыслие.

Внешность матери и более близкое с ней знакомство (если это можно назвать знакомством) укрепили меня во мнении, сложившемся от общения с сыном. Кровь этой семьи оскудела, по всей вероятности, от длительного инбридинга. Ведь известно, что чванливая аристократия питает пагубное пристрастие к кровным бракам. Вырождение не коснулось, однако, физических качеств: красота и здоровье передавались из поколения в поколение без изъяна, и лица моих хозяев вышли из-под резца природы такими же прекрасными, как лицо, изображенное на портрете два столетия назад. Но интеллект (это более ценное наследие) носил все признаки вырождения; фамильная сокровищница ума опустела, и потребовалась здоровая плебейская кровь погонщика мулов или горного контрабандиста, чтобы полуидиотизм матери превратить в инфантильную резвость сына. Однако из этих двоих я отдавал предпочтение матери. Что касается Фелипа, мстительного и вместе покладистого, порывистого и робкого, непостоянного, как бег зайца, то мне он даже начал казаться носителем какого-то разрушительного начала. О матери же я не мог сказать ничего плохого. Я заметил в их отношениях враждебность и, не осведомленный до конца, как все зрители, поспешил взять сторону матери, хотя по большей части именно она выка-

зывала эту враждебность. Иной раз, когда Фелип подходил к ней, у нее вдруг прерывалось дыхание, а зрачки ничего не выражающих глаз суживались, как от сильного страха. Все, что она чувствовала, легко читалось на ее лице, и это затаенное отвращение очень занимало меня. Что могло породить его, чем провинился перед ней Фелип?

Я провел в замке уже десять дней, когда с гор налетел сильный ветер, неся с собой тучи пыли. Пыль поднимается с болотистых низин, зараженных малярией, и ветер несет ее по горным ущельям через снежные отроги. Люди с трудом переносят этот ветер: нервы взвинчены до предела, глаза засыпаны пылью, ноги подкашиваются. Ветер слетел с гор и обрушился на дом с завыванием и свистом, от которых разламывалась голова и болели уши. Он дул не порывами, а постоянно, без отдыха, как мчится горный поток, не затихая ни на минуту. Высоко в горах он достигал, вероятно, ураганной силы, ибо время от времени где-то вверху оглушительно завывало и над далекими уступами поднимались столбы пыли, похожие на дым после взрыва.

Проснувшись утром, я еще в постели почувствовал какую-то тяжесть и напряженность в воздухе. К полудню это ощущение усилилось. Тщетно я пытался сопротивляться погоде, отправившись по обычаю на утреннюю прогулку,— я был побежден неистовой, бессмысленной яростью бури, дух мой был сломлен, силы иссякли, и мне ничего не оставалось, как вернуться в замок, пышущий сухим жаром и облепленный вязкой пылью. Дворик являл собой вид самый жалкий, солнца не было, оно лишь изредка прорывалось сквозь тучи пыли; ветер буйствовал и здесь — гнул деревья, срывал цветы и хлопал ставнями. Сеньора ходила в своей нише взад и вперед, щеки у нее раскраснелись, глаза горели, мне показалось, что она что-то шепчет, как человек, охваченный гневом. Я обратился к ней с обычным приветствием, но она резко махнула рукой и продолжала ходить. Погода вывела из равновесия даже это безмятежное существо. Поднимаясь к себе по лестнице, я меньше стыдился своей слабости.

Ветер дул весь день. Я сидел у себя в комнате, пытаясь читать, или вскакивал и ходил по комнате из угла в угол, прислушиваясь к разбушевавшимся стихиям. Наступил вечер, у меня не было даже свечи. Меня потянуло к людям, и я вышел во двор. В синих сумерках выде-

лялось красное пятно ниши. Поленья в очаге были сложены высоким костром, и сильная тяга била из стороны в сторону языки красного пламени. Залитая ярким, пляшущим светом, сеньора продолжала ходить от стены к стене, то крепко сжимая ладони, то простирая руки вверх и закидывая назад голову, точно посылая небесам мольбу. Движения ее были беспорядочны, и это еще подчеркивало ее красоту и грацию, но глаза горели таким странным огнем, что у меня мурашки побежали по коже. Постояв несколько времени молча, я пошел прочь, по-видимому, незамеченный, и снова поднялся к себе.

К тому времени, как Фелип принес свечи и ужин, нервы мои сдали совсем. Будь он таким, как всегда, я бы силой задержал его, только бы не оставаться в этом нестерпимом одиночестве. Но, увы, погода подействовала и на Фелипа. Весь день его как будто лихорадило; теперь же, с наступлением темноты, он совсем впал в уныние и был словно чем-то напуган, так что в его присутствии было еще хуже. Настороженный взгляд, бледность и то, что он то и дело к чему-то прислушивался и вздрагивал,— все это вконец деморализовало меня. Когда он нечаянно уронил тарелку и она разбилась, я так и подпрыгнул на стуле.

— Все мы сегодня точно с ума сошли,— сказал я, силясь улыбнуться.

— Это все черная буря,— уныло проговорил Фелип.— Такое чувство, что надо что-то делать, а что — неизвестно.

И у меня было такое чувство. Фелип это точно подметил — он подчас обладал поразительной способностью выражать свои физические ощущения в самых верных словах.

— А как твоя мать? — спросил я.— Она, по-моему, очень тяжело переносит непогоду. Не боишься, что она заболеет?

Фелип внимательно посмотрел на меня.

— Нет,— отрезал он почти со злобой.

Потом, приложив руку ко лбу, запричитал, жалуясь на ветер и шум, от которого голова кружится, как мельничное колесо.

— Кто это может вынести? — вскричал он.

Ответить ему я мог только тем же вопросом. Мне было не лучше.

Я лег спать рано, замученный этим тягостным днем, но убийственный ветер, его злобные, беспрестанные завывания не давали уснуть. Я лежал, ворочаясь с боку на бок,

чувствуя, что все мои душевные силы на пределе. Иногда я забывался сном, тяжелым и кратким, и снова просыпался; эти чередования сна и бодрствования окончательно лишили меня представления о времени. Но, вероятно, было уже за полночь, когда тишину дома нарушили жалобные, полные муки вопли. Я соскочил с постели, думая, что это во сне, но вопли продолжались; в них было столько боли и ярости, столько протеста и дикой, необузданной силы, что сердце леденело в страхе и тоске. Нет, это был не сон — кто-то бесчеловечно истязал живое существо. Чьи это вопли — дикого зверя или жалкого безумца? Молнией мелькнула мысль о Фелипе и белке. Я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи. Я мог колотить в нее сколько угодно — тюрьма моя была прочной. А вопли все продолжались. Временами ухо ловило в них членораздельные звуки, тогда я не сомневался, что кричит человек; но потом дикий рев снова сотрясал стены, как будто все адские силы вырвались на свободу. Я стоял у двери и слушал, пока вопли не смолкли. Но еще долго после мне чудились они в завывании ветра. Постояв несколько времени у двери, я вернулся в комнату и повалился на постель. Сердце мое сжималось от неизвестности и ужаса.

Не удивительно, что до утра я так и не сомкнул глаз. Почему меня заперли? Что происходило в доме? Кто издавал эти неописуемые, кошмарные крики? Человек? Невозможно поверить. Зверь? Но и звери так не кричат. Да и кто, кроме льва или тигра, мог бы сотрясать своим ревом мощные стены замка? Размышляя над всеми этими загадками, я вдруг вспомнил, что еще ни разу не видел дочери. А разве так уж трудно предположить, что дочь сеньоры, сестра Фелипа, безумна и что эти тупые, невежественные люди считают самым лучшим обращением с душевнобольной жестокость? Вот и разгадка! Но стоило мне вспомнить, с какой неистовой силой издавались крики (отчего меня опять забила дрожь), и я усомнился в верности своих заключений. Даже самая изощренная жестокость не могла бы исторгнуть такие вопли из безумной груди. Одно для меня было ясно: я не могу жить в доме, где происходит подобное, и оставаться в бездействии. Я должен все узнать и, если окажется необходимым, вмешаться.

Наступило утро, ветер улегся, ничего вокруг не напоминало об ужасах прошедшей ночи. Фелип подошел к моей

постели с самым радостным видом; а проходя через двор, я увидел, что сеньора, как всегда, ко всему безучастная, греется на солнце; за воротами усадьбы скалы и лес встретили меня строгой, чистой улыбкой; небо холодно синело над головой; в нем неподвижно стояли, как острова в море, большие белые облака; тень их пятнала склоны гор, залитые солнцем. Короткая прогулка восстановила мои силы и укрепила намерение во что бы то ни стало проникнуть в тайну этого дома, и когда я с верхушки моего бугра увидел, что Фелип идет работать в сад, я тотчас поспешил в замок, чтобы начать действовать. Сеньора, по-видимому, спала, я немного понаблюдал за ней — она не шевелилась; если даже поведение мое предосудительно, сеньоры опасаться нечего; я тихонько пошел от нее, поднялся по лестнице на галерею и начал обследовать дом.

Все утро я ходил из одной двери в другую, попадая в просторные, но обветшалые комнаты; в одних окна были наглухо заколочены, другие заливало солнце, но везде было пусто и пахло нежилым. Когда-то это был богатый дом, но блеск его успел потускнеть от дыхания времени, а пыль веков довершила дело — надежда навсегда оставила его. Там растянул паутину паук; здесь жирный тарантул поспешно юркнул за карниз; муравьи проложили многолюдные тропы на полу торжественных залов; большие зеленые мухи — вестницы смерти, зарождающиеся в падали, гнездились в трухлявых балках, их тяжелое, густое жужжание стояло во всех комнатах. Забытая табуретка, софа, кровать, большое резное кресло, как островки, торчали на голом полу, свидетельствуя об ушедшей жизни, и во всех комнатах стены были увешаны портретами умерших. По этим рассыпающимся в прах портретам я мог судить, какому красивому, могущественному роду принадлежал дом, где я сейчас бродил. Грудь мужчин с благородной осанкой украшали ордена, а женщины были в роскошных туалетах; почти все полотна принадлежали кисти знаменитых мастеров. Но не это свидетельство былого величия, такое красноречивое на фоне сегодняшнего запустения и упадка, поразило мое воображение. В этих прекрасных лицах и стройных фигурах я читал биологическую летопись семьи. Никогда раньше не открывалась мне с такой наглядностью история целого рода: появление новых физических качеств, их переплетение, искажение и возрождение в следующих поколениях. То, что сын или дочь — дитя своей матери,

что это дитя, вырастая, становится — неизвестно в силу каких законов — человеческим существом, облачается во внешность своих отцов, поворачивает голову, как один из предков, протягивает руку, как другой,— это все чудеса, ставшие банальными от постоянного повторения. Но общее выражение глаз, одинаковость черт и осанки, прослеживаемые во всех поколениях рода, смотревшего на меня со стен замка,— это было чудо, осязаемое и зримое. На моем пути мне попалось старинное зеркало; я долго стоял перед ним, всматриваясь в собственные черты, выискивая в них наследственные формы и линии, которые связывают меня с моим родом.

Наконец поиски завели меня в комнату, явно обитаемую. Она была очень просторная и выходила окнами на север, где горы громоздились особенно круто и неприступно. В камине тлели и дымились красные угольки, рядом стояло кресло. Весь вид комнаты говорил о том, что в ней живет человек скромных, даже аскетических привычек; кресло было жесткое, стены и пол голые, и, кроме книг, разбросанных всюду, не было ничего, что выдавало бы интересы и склонности хозяина. Никаких признаков полезной работы или любимого занятия. Это множество книг в доме, где живет сеньора со своим слабоумным сыном, несказанно поразило меня, и я начал торопливо, боясь быть застигнутым, перелистывать книги одну за другой. Книги были самые разнообразные: религиозные, исторические, научные, но почти все старинные и на латыни. Вид некоторых говорил о том, что их постоянно читают; другие были надорваны, как будто читавший не одобрил их и с негодованием отшвырнул. Оглядев комнату в последний раз, я заметил на столике у окна листки бумаги, исписанные карандашом. Поддавшись глупому любопытству, я взял один. Это были примитивно рифмованные стихи на староиспанском языке, которые на моем языке звучали бы приблизительно так:

Наслаждение приносит боль и стыд,
Печаль украшена венком из лилий,
Наслаждение, как солнце, манит.
Господь мой, Иисус, как ярко оно светит!
Печаль иссохшей рукой на тебя
Указывает, господь мой, Иисус!

Стыд и замешательство охватили меня; положив листок на место, я немедленно покинул комнату. Ни Фелип, ни

его мать не могли, конечно, читать этих книг или написать эти неумелые, но проникновенные строки. Было ясно, что я кощунственной ногой осквернил жилище дочери. Бог свидетель, как я ругал себя за мою чудовищную бестактность! Мысль, что я воровски проник в комнату этой странной девушки и коснулся самого ее сокровенного и что она может узнать об этом, доводила меня до отчаяния. Я считал себя преступником, и еще я упрекал себя за те поспешные догадки, которые, как мне тогда казалось, объясняли тайну прошедшей ночи. Я не представлял себе, как могла мне прийти в голову идиотская мысль, будто те ужасные вопли исторгались из груди слабой девушки. Она казалась мне теперь святой, бесплотным духом, изнуренным занятиями и служением религии; я жалел ее, живущую в семье, чуждой ей по духу, а значит, в полном одиночестве; я стоял, облокотившись на балюстраду галереи, и смотрел вниз на пышное, обильное цветение и ярко одетую женщину, которая сонно потягивалась и изящно облизывала губы,— олицетворение безделья и неги — и не мог не сравнить этот залитый солнцем двор с холодной комнатой наверху, выходящей на север, в сторону гор, где жила дочь.

После полудня, когда я сидел с рисованием на своем любимом бугре, я увидел, как в ворота замка вошел падре. То, что я узнал о дочери, полонило мое воображение и совсем вытеснило ужасные события прошлой ночи, но, увидев этого почтенного старика, я тотчас вспомнил все. Сойдя с бугра и поколесив по лесу, я вышел к дороге и расположился в ожидании у обочины. Скоро появился падре, я вышел к нему навстречу и представился. У падре было волевое, открытое лицо, и я легко прочел на нем смешанные чувства, вызванные мною, чужеземцем и еретиком, но вместе и человеком, который получил ранение, сражаясь за благородное дело. О семействе, живущем в замке, он говорил сдержанно, но с уважением. Я заметил, что еще не видал дочери, на что он ответил мне, что, видно, так нужно, и посмотрел на меня искоса. Под конец я набрался храбрости и упомянул о воплях, которые мне не дали спать этой ночью.

— Вы нюхаете табак? — спросил он, протягивая табакерку, и, когда я отказался, прибавил: — Я старый человек и думаю, мне позволительно напомнить вам, что вы в замке гость.

— Это значит,— твердо ответил я, хотя и покраснел, уловив в словах священника нравоучение,— что вы советуете мне ни во что не вмешиваться и предоставить все естественному ходу вещей.

— Да,— ответил он и, попрощавшись со мной несколько смущенно, повернулся и пошел прочь.

Следствием разговора с падре было то, что совесть моя успокоилась, а деликатность пробудилась. Я еще раз постарался забыть ночное происшествие и снова стал думать о благочестивой поэтессе. Не мог я выбросить из головы только то, что ночью был заперт, и когда Фелип принес ужин, осторожно повел на него наступление.

— Я еще не видел твоей сестры,— между прочим заметил я.

— Не видели,— согласился он.— Она очень, очень хорошая.— И внимание его тут же переключилось на другое.

— Она очень благочестива? — спросил я в следующую паузу.

— О,— горячо воскликнул Фелип, сжав ладони,— настоящая святая! Она учит меня, как стать лучше.

— Тебе повезло,— ответил я.— Ведь большинство, в том числе и я, знает только, как быть хуже.

— Сеньор,— возразил Фелип убежденно,— не говорите так. Не искушайте своего ангела-хранителя. Если человек будет делаться все хуже и хуже, то каким же он станет под конец?

— Скажи, пожалуйста, Фелип! — удивился я.— А я и не подозревал в тебе дара проповедника. Это, конечно, заслуга твоей сестры?

Фелип кивнул, глядя на меня круглыми глазами.

— Она, конечно,— продолжал я,— поругала тебя за твою жестокость.

— Двенадцать раз! — воскликнул чудак. Это было его любимое число (он никогда не говорил: двадцать или сто раз, всегда двенадцать).— Я ей сказал, что вы тоже ругали меня, я ведь не забыл,— гордо прибавил он,— и ей это понравилось.

— Тогда скажи мне, Фелип, что это за вопли я слышал в ту ночь? Кто кого мучил?

— Это выл ветер,— сказал Фелип, глядя то в окно, то на огонь в камине.

Я взял его руку в свою, и он радостно улыбнулся, думая, что я хочу приласкать его, чем почти обезоружил меня. Но я, подавив в себе слабость, продолжал:

— Ты говоришь, ветер. А я так думаю, что вот эта самая рука,— и я сжал его руку крепче,— ночью заперла меня в моей комнате.

Мальчишка весь задрожал, но не сказал ни слова.

— Хорошо,— сказал я, выпустив его руку.— Я здесь гость и посторонний человек, и я не буду вмешиваться в твои дела, а тем более судить их. У тебя есть сестра, и она, я не сомневаюсь, рассудит лучше. Что же касается меня лично, то я никому не позволю обращать меня в пленника. И я требую, чтобы ты дал мне ключ.

Через полчаса дверь распахнулась, ключ со звоном влетел ко мне в комнату и упал к моим ногам.

День-два спустя я возвращался со своей обычной прогулки немного позже полудня. Сеньора лежала в сонной истоме на пороге своей ниши; голуби дремали под карнизами, как снежные комки, дом был погружен в глубокую полуденную сиесту, только неугомонный ветерок, летящий с гор, пробегал по галереям, шелестел кронами гранатовых деревьев и мягко шевелил тени. Это сонное оцепенение подействовало и на меня, я легкими, неслышными шагами пересек двор и стал подниматься по мраморной лестнице. Только я ступил на верхнюю площадку, как одна из дверей отворилась, и я лицом к лицу столкнулся с Олаллой. От неожиданности я остановился как вкопанный: красота девушки поразила меня в самое сердце; в густой тени галереи лицо ее сияло, как бриллиант чистой воды; глаза ее встретились с моими, и мы впились взглядами друг в друга. Мы стояли будто прикованные один к другому — это были святые мгновения, в которые души сочетаются браком. Не знаю, сколько прошло времени, пока я очнулся; торопливо поклонившись, я сорвался с места и бросился вверх по лестнице. Олалла не двинулась и глядела мне вслед своими огромными, жаждущими глазами. Мне почудилось, что, проводив меня взглядом, она побледнела и как-то поникла.

Придя к себе, я раскрыл окно. Как все изменилось кругом! Суровые очертания гор радовали теперь гармоничностью и нежностью красок. Наконец-то я увидел ее — Олаллу! Камни гор пели мне — Олалла! Глубокая, безмолвная лазурь пела — Олалла! Бледный призрак

святой — плод моего воображения — исчез, его место занял образ прекрасной девушки, полной жизни; природа не пожалела для нее самых ярких красок, создала ее резвой, как олень, и тонкой, как тростник, зажгла в огромных глазах небесный огонь. Это юное существо, трепетное и сильное, как молодая лань, вдруг стало мне родным; красота ее души, светившаяся в глазах, пленила мое сердце, заставила петь. Олалла вошла в мою кровь, слилась со мной.

Не могу сказать, чтобы по зрелом размышлении восторг мой стал остывать. Моя ликующая душа походила на пленницу в крепости, осажденную трезвыми и печальными мыслями. Сомнений не было, я полюбил Олаллу с первого взгляда и полюбил так страстно и самозабвенно, как не любил никогда. Что теперь будет? Она дитя вырождающейся семьи, дочь сеньоры, сестра Фелипа, об этом говорила даже ее красота. Подобно Фелипу, она была резва, как олень, и легка, как капля росы; подобно матери, она сияла ярким цветком на тусклом фоне окружающего ее мира. Но ведь я не мог назвать братом этого дурачка, не мог назвать матерью эту неподвижную, красивую куклу, чьи бессмысленные глаза и глупая улыбка вспоминались мне сейчас с особенным отвращением. А если я не могу жениться, что тогда? Олалла была вполне беззащитна предо мной; тот единственный долгий взгляд в наше единственное свидание сказал мне, что Олалла столь же в моей власти, сколько и я в ее. Но я ведь знал другую Олаллу —сурового книжника, обитающего в мрачной, смотрящей на север комнате, поэта, сочинившего те печальные строки; это знание обезоружило бы и самого бессердечного злодея. Бежать? Это было сверх моих сил, и я дал себе клятву быть как можно осмотрительнее.

Отвернувшись от окна, я нечаянно взглянул на портрет. Блеск его померк для меня, как меркнет пламя свечи при восходе солнца; теперь на меня смотрели с картины не живые глаза, а пятна краски. Но я сразу уловил сходство и снова подивился устойчивости типа в этой деградирующей семье; и все же разница поглощала сходство. Мне всегда казалось, что портрет изображает красоту, не существующую в жизни, созданную искусством живописца, а не тонким вкусом природы. И я еще раз восхитился живой прелестью Олаллы. Я видал на своем веку красавиц — они не трогали меня, чаще меня привлекали

женщины, казавшиеся красивыми только мне; в Олалле же соединялось все, о чем я мечтал, не веря, впрочем, что подобное совершенство возможно.

На другой день я не видел Олаллы. Сердце мое истомилось, глаза всюду искали ее. На третий, возвращаясь с прогулки, я опять столкнулся с ней на галерее, и опять взгляды наши встретились и слились. Я бы подошел к ней, заговорил: меня тянуло к ней как магнитом, и вместе с тем что-то властно удерживало меня. Увидев ее, я только поклонился и прошел мимо; она же, не ответив на мое приветствие, долго смотрела мне вслед своими прекрасными глазами.

Теперь я знал Олаллу. Мысленно вглядываясь в ее черты, я читал ее сердце. В одежде ее узнавалась кокетливость матери и ее любовь к ярким тонам. Платье, несомненно, сшитое самой Олаллой, изящно облегало ее гибкий стан; лиф, согласно испанской моде, глубоко открывал смуглую грудь, на которой покоилась висевшая на ленточке монетка из золота, хотя это был и обедневший дом. Весь ее туалет доказывал (нужно ли, однако, было доказывать?) природное жизнелюбие и сознание собственной красоты. В ее глазах, неотрывно смотревших на меня, я угадывал, однако, бездонные глубины страсти и страдания, видел свет поэзии и надежды, мрак отчаяния и работу мысли, парившей над земными заботами. Плоть ее была прекрасна, но и душа была вполне достойна своей оболочки. Неужели я должен оставить этот несравненный цветок, чтобы он увял здесь, среди диких скал, вдали от людей? Как могу я пренебречь великим даром, который подносили мне в красноречивом молчании ее глаза? Предо мной была душа в заточении, так не мой ли долг разрушить темницу? Все сторонние соображения отлетели от меня: будь она дочь Ирода, клянусь, я бы не отступился от нее; и в тот же вечер, стыдясь собственного криводушия, я принялся обхаживать Фелипа. Возможно, я смотрел теперь на него более благосклонно, а возможно, что всякий раз, как Фелип, эта ущербная душа, заговаривал о сестре, он оборачивался к людям своей самой лучшей стороной, только мне он показался в этот раз куда более симпатичным, а его сходство с Олаллой хотя и было не очень приятно, но вместе и умиляло меня.

Еще один день прошел в тщетном ожидании, часы тянулись бесплодные, как пустыня. Я боялся упустить малей-

шую возможность и весь день торчал во дворе. Для видимости я дольше, чем обычно, разговаривал в тот день с сеньорой. Господь свидетель, я стал присматриваться к ней с более искренним и сочувственным интересом и вообще сразу стал более терпим и к матери и к сыну. Но все-таки она приводила меня в изумление. Даже разговаривая со мной, она нет-нет и забывалась недолгим сном; очнувшись же, продолжала беседовать, как ни в чем не бывало. Меня потрясала эта невозмутимость и еще то, как сильна была в ней любовь к физическим удовольствиям. С каким вкусом и наслаждением она разминалась, потягивалась, время от времени меняя позы почти незаметными грациозными движениями! Она жила только радостями тела; сознание ее поглотила плоть, и оно не стремилось вырваться на свободу. Но больше всего меня изумляли ее глаза. Всякий раз, как она обращала ко мне огромные, прекрасные, бессмысленные глаза свои, широко открытые на мир божий и слепые перед вопрошающим взглядом собеседника, я видел, как зрачки ее мгновенно расширяются и тут же обращаются в точку. Меня охватывало при этом какое-то странное, неопределенное чувство, это было и разочарование, и как будто страх, и даже отвращение. О чем только я не пытался заговорить с ней в тот день, и все с равным успехом или, вернее, неуспехом! Наконец с уст моих слетело имя ее дочери. Она и тут осталась безучастна, сказала только, что дочь у нее красивая, что для нее (как и для детей) служило наивысшей похвалой; добиться чего-нибудь более вразумительного я так и не мог. Когда я заметил, что Олалла показалась мне молчаливой, она зевнула мне в лицо и поучительно изрекла, что, если нечего говорить, так уж лучше молчать. «Люди любят говорить, очень любят»,— прибавила она, глядя на меня расширившимися зрачками, потом опять зевнула, показав изящное, как игрушечное, горло. На этот раз я понял намек. Оставив ее дремать, я пошел к себе, сел возле открытого окна и стал невидящим взглядом смотреть на горы, предаваясь сладким мечтам и наслаждаясь в воображении звуками голоса, который я еще не слышал.

На пятое утро я проснулся со счастливым предчувствием, готовый бросить вызов судьбе. Я был снова самим собой, сердце радостно билось, и я решил без промедления сказать Олалле о своей любви. Довольно ей ле-

жать безъязыкой в моей груди, в оковах молчания; я не хочу, чтобы она жила только взглядами, как любовь зверей; пора ей заговорить, пора узнать радость человеческого общения. Я мечтал об этом, обуреваемый самыми сладкими, безумными надеждами, как мечтают об Эльдорадо; я больше не боялся пуститься в путешествие по прекрасной, незнакомой стране ее души. И все-таки, когда я в тот день встретил Олаллу, страсть вспыхнула во мне с такой силой, что вся решимость сразу исчезла, язык отнялся, и я приблизился к ней, как человек, боящийся высоты, приближается к краю пропасти. Она чуть отступила, но глаза ее все так же не отрывались от моих; это придало мне храбрости, и я шагнул к ней. Теперь она стояла на расстоянии вытянутой руки от меня. Я не мог произнести ни слова. Еще шаг, и я прижал бы ее к своей груди! Так мы стояли секунду, чувствуя, что нас неодолимо тянет друг к другу, и сопротивляясь этому чувству; потом, сделав над собой невероятное усилие и вдруг ощутив пустоту разочарования, я повернулся и все так же молча пошел к себе.

Какая сила отняла у меня дар речи? А Олалла? Почему молчала она? Почему стояла предо мной, как немая, с завороженным взглядом? Что это — любовь? Или просто тяготение полов, неподвластное разуму и неизбежное, как притяжение железа к магниту? Мы совсем не знали друг друга, не обмолвились и словом, но уже стали безвольными пленниками чьей-то могучей воли. Это злило меня. Ведь я знал Олаллу, видел ее книги, читал ее стихи, я, можно сказать, окунулся в ее душу. А она? При этой мысли меня даже пробрал озноб. Она ничего обо мне не знала, она чувствовала только, как ее тянет ко мне. Законы природы, которым подчиняется все на земле, отдавали ее мне, не спрашивая ее желания. Ее влекла ко мне та же сила, под действием которой на землю падает камень. Я содрогнулся, представив себе союз, основанный только на такой любви, и даже почувствовал ревность к себе. Я хотел, чтобы меня любили иначе. Вдруг меня охватила нестерпимая жалость к Олалле. Я подумал, как больно, должно быть, сознавать ей собственное унижение: вести жизнь затворника и книголюба, быть духовной наставницей Фелипа — и вдруг такое падение, полюбить с первого взгляда человека, с которым не было сказано и двух слов! И сразу же все остальное потеряло значение, теперь я хотел

увидеть ее только затем, чтобы утешить и пожалеть, сказать ей, что и я полюбил так же сильно и что выбор ее, хотя и сделан вслепую, достоин ее.

Погода на следующий день была великолепная. Горы цепь за цепью уходили в бездонную небесную синеву, солнце светило ослепительно, шелест листьев и звон бесчисленных горных ручьев наполняли воздух чистой, неумолкаемой мелодией. Но я был печален, сердце мое звало Олаллу, как дитя зовет мать. Я сидел на большом камне у самого края гряды, окаймлявшей плато с севера. Отсюда мне была видна поросшая лесом долина горной речки; место было безлюдное, и в этом была отрада: не я один тосковал по Олалле. И я вдруг подумал — в первый раз,— какой восторг, какое счастье жить среди этих гор, где так легко дышится, с моей Олаллой! Слезы выступили у меня на глазах, и тут же меня захлестнула такая неистовая радость, что я почувствовал себя могучим и сильным, как Самсон.

В этот миг я увидел Олаллу. Она вышла из рощи пробковых дубов, направляясь прямо ко мне; я поднялся с камня и стал ждать. Сколько было в ней жизни, огня, грации, хотя шла она медленно! Я знал, если бы не ее выдержка, она побежала бы, полетела ко мне, как птица. Но такой уж это был сильный характер. Олалла шла медленно, опустив глаза; подойдя совсем близко и не поднимая глаз, она заговорила. У меня захватило дух (вот оно, последнее испытание моей любви): у нее оказался точно такой голос, как я ожидал. И, конечно, безупречная дикция, ясная и чистая, не то, что у матери и брата. Голос у нее был глубокий, женственный и вместе по-юному звонкий. Он слагался, как музыкальный аккорд, из нескольких тонов: бархатных, контральтовых и легкой хрипотцы, точь-в-точь ее косы, в которых красно-рыжие пряди переплетались с пепельными. Я был пленен не только красотою голоса — он рассказал мне новое о моей Олалле. Но то, что я услышал, ввергло меня в отчаяние.

— Вы должны уехать отсюда,— сказала она,— сегодня же.

Дар речи вернулся и ко мне, точно груз свалился с моих плеч, точно сняли с меня заклятие. Не помню, какие слова нашел я для ответа. Помню только, что, стоя там, на горе, я говорил Олалле о своей любви со всем пылом страсти, я говорил, что живу только мыслями о ней,

ложусь спать, чтобы увидеть во сне ее прелестное лицо, что я с радостью откажусь от родины, языка, друзей, только бы никогда с ней не расставаться. Потом, совладав с собой, я принялся уже более спокойно говорить ей о том, какого верного друга она найдет во мне, что я понимаю ее, преклоняюсь перед ее святой, самоотверженной жизнью, готов разделять ее бремя и облегчить его и быть всегда ей опорой. «Мы должны слушаться голоса природы,— говорил я ей,— противиться ему — значит погубить себя. Если нас так неодолимо потянуло друг к другу — это и есть чудо любви, это значит, души наши родные, и мы созданы друг для друга. Только безумцы, восстающие на бога, осмеливаются не подчиниться этому зову».

Олалла покачала головой.

— Вы должны уехать сегодня,— повторила она, потом махнула рукой и изменившимся, охрипшим голосом прибавила:

— Нет, не сегодня, завтра!

Видя, что решимость ее поколебалась, я снова обрел надежду. Я протянул к ней руки и позвал: «Олалла!» Она метнулась ко мне и крепко прижалась к моей груди. Горы заходили вокруг нас, земля под ногами закачалась: точно сильный удар обрушился на меня, и я на мгновение ослеп и оглох. Но Олалла тут же оттолкнула меня, резко вырвалась и замелькала между деревьями, как быстроногая лань.

Я стоял на холме и кричал во весь голос, рассказывая горам о своей любви. Потом я пошел домой. Нет, не пошел — полетел. Олалла оттолкнула меня, пусть. Но стоило мне позвать ее, она кинулась ко мне в объятия, все остальное — девичьи причуды, которые свойственны даже ей, так непохожей на всех других женщин. Уехать отсюда? О нет, моя Олалла, я не уеду! Совсем близко от меня запела птица — в это время года птицы поют редко, и я подумал, что это — доброе предзнаменование. И снова вся природа — тяжелые незыблемые горы, легчайший листок, крохотная, быстрая в полете мушка, тенистые рощи,— все опять поплыло передо мной, все приняло новое обличье, полное жизни и ликующей радости. Солнце ударило по склонам гор, как молот по наковальне, и горы заколебались; земля, облитая мощным потоком света, откликнулась пьянящими ароматами, леса заалели огнем. Я ощутил, как животворящие токи заходили в земле, на-

полняя ее экстазом. Что-то первозданное, дикое, необузданное и неистовое было в моей любви, вот он, ключ к тайнам природы! Камни под ногами, и те ожили и стали моими единомышленниками. Олалла! Ее прикосновение пробудило во мне то древнее чувство общности с землей, то ликующее настроение, которое человек утратил среди своих цивилизованных собратьев. Любовь пылала во мне, как гнев, нежность яростно клокотала, я ненавидел, обожал, жалел, боготворил ее. Мне казалось, что она связывает меня и с миром ушедших и с чистым и милосердным богом: Олалла была для меня сразу и святой и диким животным; воплощением невинности и скрытых, неукротимых сил земли.

Голова моя кружилась, когда я вступил во дворик замка, но вид сеньоры тут же отрезвил меня. Она была вся лень и довольство; щурилась от яркого солнца, наслаждаясь бездельем; ее безмятежная отрешенность подействовала на меня, и я застыдился своего восторга. Я остановился на секунду и, стараясь подавить в голосе дрожь, сказал ей как можно сдержаннее два-три слова. Она посмотрела на меня со своим безграничным добродушием; ее приглушенный голос шел из царства покоя, царства снов, и первый раз за все время я вдруг почувствовал что-то похожее на уважение к этому невинному, неизменно счастливому существу и подивился на себя, что оказался способным на такое сильное возмущение духа.

На моем столе лежал листок той самой желтой бумаги, какую я видел в комнате, выходящей на север; на ней было что-то написано карандашом рукой Олаллы; я взял листок, и сердце у меня тревожно забилось. Олалла писала: «Если у вас есть хоть капля жалости к Олалле, если сердце ваше способно сострадать несчастью другого, уезжайте отсюда сегодня же, заклинаю вас богом, честью, вашим добрым сердцем, уезжайте». Я смотрел на записку в полном отупении, мало-помалу жизнь стала представать предо мной, как она есть,— горькая и безрадостная; солнечный свет померк над голыми вершинами, и меня затрясло от предчувствия надвигающейся беды. Вдруг разверзшаяся пустота причинила почти физическую боль. На карту были поставлены не просто счастье, любовь,— дело шло о самой жизни. Я не могу потерять ее. Я повторял и повторял эти слова, потом, как во сне, подошел к окну, толкнул раму и сильно поранил руку о стекло. Кровь

так и брызнула из запястья. Самообладание тотчас вернулось ко мне, и я зажал большим пальцем пульсирующую струйку и стал думать, что делать. В моей полупустой комнате не было ничего, чем можно было остановить кровь. К тому же один я бы не справился. Олалла поможет мне, с надеждой подумал я, вышел из комнаты и бросился вниз, все еще зажимая пальцами ранку.

Ни Олаллы, ни Фелипа не было видно, и я пошел к нише; сеньора дремала возле самого очага, ибо никакая жара, по-видимому, не была для нее слишком сильной.

— Простите меня,— начал я, обращаясь к сеньоре,— за то, что я беспокою вас. Мне нужна ваша помощь.

Она взглянула на меня сонно и спросила, в чем дело; в тот же миг дыхание ее прервалось, она стала точно принюхиваться к чему-то, раздувая ноздри, вдруг очнулась ото сна и вполне ожила.

— Я порезался,— сказал я,— и, боюсь, довольно сильно. Посмотрите! — И я протянул к ней обе руки, по которым текла, капая на пол, кровь.

Ее огромные глаза стали еще больше, а зрачки совсем обратились в точки, безразличие спало с лица, оно стало выразительным, хотя и загадочным. Меня немного удивило такое превращение; но не успел я ничего сказать, как она быстро поднялась с ложа, подошла ко мне и схватила мою руку. В тот же миг рука была у нее во рту и она прокусила ее до кости. Острая боль, фонтан крови, ужасное сознание происходящего потрясли меня, и я с силой оттолкнул ее; но она снова бросилась на меня, как львица, издавая нечеловеческие вопли; я сразу узнал их: я слышал их в ночь, когда с гор налетел ветер. Сила безумных известна, я же с каждой минутой слабел от потери крови; голова моя кружилась от этого внезапного и гнусного нападения, и мне уже некуда было отступать: спина моя коснулась стены. Вдруг как из-под земли между мной и матерью выросла Олалла; следом за ней, преодолев двор чуть ли не одним прыжком, на помощь подоспел Фелип. Он бросился на мать и повалил ее на пол.

Страшная слабость охватила меня, я, как в трансе, все видел, слышал и чувствовал, но не мог шевельнуть пальцем. Я слышал у моих ног возню, слышал звериный вой безумной, у которой отняли добычу. Чувствовал, как Олалла крепко схватила меня (волосы ее падали мне на лицо) и

почти с мужской силой потащила по лестнице в комнату. Дотащив меня до кровати, Олалла бросилась к двери и заперла ее, прислушиваясь к нечеловеческим воплям, сотрясавшим дом. Потом, легкая и быстрая, как луч света, опять нагнулась ко мне и стала перевязывать мою руку, качая ее и прижимая к груди. При этом она что-то приговаривала, воркуя, как голубица. Это не были слова, но лепетание ее было прекраснее любых слов, бесконечно ласковое, бесконечно нежное; и все-таки, слушая ее, я не мог отделаться от мысли, которая жгла мое сердце, ранила, как кинжал, точила, как точит червь прекрасный цветок, оскверняя мою великую, святую любовь. Да, это были прекрасные звуки, и родило их человеческое сострадание, но не было ли это безумием?

Я лежал весь день. Еще долго крики и вопли злосчастного существа, борющегося со своим слабоумным отпрыском, оглашали дом, вселяя в мою душу отвращение, отчаяние и печаль. Это был похоронный плач над моей любовью, любовь моя была смертельно ранена, и не только ранена, она стала для меня проклятием; и все-таки, что бы я ни чувствовал, что бы ни думал, она жила во мне, затопляя сердце нежностью; глядя на Олаллу, чувствуя ее прикосновение, я забывал все. Это чудовищное нападение, мои сомнения относительно Олаллы, что-то дикое, животное, отличающее не только характер ее родных, но и бывшее в основе нашей любви,— все это хотя и ужасало меня, делало больным, сводило с ума, не могло, однако, разрушить очарования, под которое я попал.

Когда крики наконец смолкли, в дверь заскреблись. Это был Фелип; Олалла вышла и что-то сказала ему. Кроме этих минут, Олалла все время была со мной,— то стояла на коленях возле моей кровати и горячо молилась, то сидела рядом и смотрела не отрываясь на меня. Так и получилось, что я целых шесть часов наслаждался ее красотой, вчитывался в ее лицо. Я видел золотую монету, колыхавшуюся на ее груди, видел ее глаза, огромные, потемневшие, в которых по-прежнему было одно выражение — бесконечной доброты, видел безупречное лицо и угадывал под складками платья безупречные линии фигуры. Наступил вечер, и в сгущающихся сумерках очертания ее медленно исчезли, но и теперь ее нежная, говорящая рука грела мою ладонь. Я лежал в полнейшем изнеможении, упиваясь каждой черточкой моей возлюбленной, и любовь моя

постепенно оправлялась от шока. Я убеждал самого себя, что все не так страшно, и скоро мог думать о случившемся без содрогания. Я опять принимал все. Ничто на свете не имеет значения, если любовь моя устояла, испытав такое потрясение, а взгляд Олаллы все так же заманчив и неотразим, если и сейчас, как и раньше, каждая клеточка моего тела тянется к ней и желает ее! Было уж совсем поздно, когда силы стали возвращаться ко мне.

— Олалла,— тихо начал я,— все это не страшно, мне ничего не надо объяснять. Я принимаю все. Я люблю тебя, Олалла.

Она опустилась на колени и стала молиться, а я с благоговением смотрел на нее. Взошла луна, свет ее падал на левую стенку проема всех трех окон, и в комнате стоял призрачный полумрак, в котором я различал неясный силуэт Олаллы. Она поднялась с колен и перекрестилась.

— Я буду говорить,— сказала она,— а ты слушай. Я знаю, ты можешь только догадываться. Как я молилась, чтобы ты уехал! Я просила тебя об этом. И я знаю, что ты исполнишь мою волю. Позволь мне так думать!

— Я люблю тебя,— повторил я.

— Но ты жил в свете,— продолжала она после некоторой паузы.— Ты мужчина, и ты умный, а я перед тобой всего дитя. Не сердись за то, что я тебя учу, я, знающая так же мало, как деревья наших гор. Но те, кто многое изучает, скользят лишь по поверхности знания, они схватывают законы, постигают величие замысла, но не видят трагической сути повседневности. Только тот, кто, как я, живет со злом бок о бок, помнит о нем, знает о нем и умеет сострадать. Так что уходи лучше, уходи теперь же и не забывай меня. Я буду жить в самых сокровенных уголках твоей памяти, жить почти так же, как я живу в этой бренной оболочке.

— Я люблю тебя,— еще раз сказал я, слабой рукой взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал.

Она не отдернула руки, а только слегка нахмурилась, но взгляд ее не был сердитый, а печальный и растерянный. Потом, видимо, призвав на помощь всю свою смелость, она притянула к себе мою руку и, склонившись ко мне, прижала ее к своей груди.

— Послушай,— сказала она,— ты слышишь биение жизни. Она твоя. Но принадлежит ли она мне? Конечно,

я могу отдать тебе ее, как эту золотую монетку или ветку с дерева. И все-таки жизнь моя не принадлежит мне! Я живу — или думаю, что живу (если я вообще существую),— где-то далеко отсюда, в каком-то отчуждении, немощная пленница, чьи жалобы заглушает толпа призраков. Эта капсула, что бьется, как у всякого живого существа в грудной клетке, признает тебя хозяином. Так знает своего хозяина собака. Да, это сердце любит тебя! А душа? Любит ли душа? Думаю, что нет. Не знаю. Я боюсь заглянуть в себя. Когда же ты говоришь о любви, ты обращаешься к моей душе, тебе душа нужна, не только мое тело.

— Олалла! — возопил я.— Но ведь тело и душа одно, особенно в любви. Тело выбирает — душа любит. Тело и душа нераздельны, говорит господь. И низшая ступень, если можно хоть что-нибудь в человеке назвать низшим, только основание, пьедестал высшей.

— Ты видел,— не слушала меня Олалла,— портреты в доме моих отцов. Ты знаешь мою мать и Фелипа, а разве взгляд твой ни разу не останавливался вот на этой картине? Та, что изображена на нем, умерла сотни лет назад, немало зла причинив людям. А теперь взгляни на нее еще раз. Разве это не моя рука, не мои глаза, волосы? Что же тогда во мне истинно мое и что такое я сама? Разве не принадлежит все в этом несчастном теле (которое ты любишь и потому наивно считаешь, что любишь меня), каждый изгиб, каждый жест, выражение глаз, даже сейчас, когда я говорю с тем, кого люблю, разве не принадлежит все это другим? Сотни лет назад другие женщины глядели с нежностью на своих возлюбленных моими глазами, другие мужчины уже слышали голос, который звенит сейчас в твоих ушах. В меня вдета рука, точно в куклу из кукольного театра, она двигает мной, оживляет меня, и я во всем подчиняюсь ей. Я всего только вместилище черт и свойств, которые много-много лет назад отделились в тиши могилы от своего хозяина, носителя зла. Что же, мой друг, ты любишь меня? Или весь мой род? Девушку, которая не знает, что в ней она сама, и потому не может за себя отвечать, или весь поток, где она лишь случайное завихрение. Род пребывает вечно, он древен и всегда юн. И он исполняет свое предначертание. Как волны по челу океана, так по его челу, сменяя друг друга, движутся отдельные индивиды; они верят в свободу воли, но это само-

обман — ее нет. Мы говорим о душе, но душа-то принадлежит роду.

— Ты не согласна с человеческим и божьим законом,— прервал я ее.— Ты восстаешь против общего порядка вещей. Разве ты не чувствуешь, как сильно говорит в тебе и во мне голос природы? Твоя рука льнет к моей, я касаюсь тебя, и сердце твое начинает бешено колотиться; составляющие нас элементы, сущность которых мы не ведаем, устремляются друг к другу, стоит нашим взглядам встретиться; прах земной, вспоминая свою изначальную жизнь, жаждет соединить нас; мы влечемся друг к другу, подчиняясь тому же закону, который управляет движением звезд в небе, приливами и отливами — вещами более древними и могучими, чем род человеческий.

— Увы,— ответила Олалла,— что мне сказать тебе? Мои предки восемьсот лет назад правили всей этой областью, они были умные, сильные, хитрые и жестокие. Это был знатнейший род в Испании; их знамена всегда были первые на войне; короли звали их братьями; простые же люди, видя пепелища на месте своих хижин или готовую для них перекладину с веревкой, проклинали их имена. А потом все изменилось. Человек развивается от низшего к высшему, и если предок его дикий зверь, то, деградируя, он возвращается к начальному состоянию. Усталость коснулась моего рода, человеческое стало в нем слабеть, связи рваться; ум все чаще впадал в спячку; страсти вспыхивали сильнее, бурные и внезапные, как ветер в ущельях гор; красота, правда, переходила из поколения в поколение, но путеводный разум и добродетель исчезли; семя передавалось, его одевала плоть, плоть покрывала кости, но это были кости и плоть животных, мозг же был мушиный. Я объясняю, как умею, но ты и сам видел, как повернулось вспять колесо судьбы для моего несчастного рода. Я стою на крошечном возвышении посреди мертвой пустыни, смотрю вперед, оглядываюсь назад. И сравниваю то, что мы утратили, с тем, на что обречены. Скажи, могу ли я, живущая вдали от людей в этом зачумленном доме, понимая, что путь всех смертных не для меня, имею ли я право продолжить заклятие, тяготеющее над моим родом? Могу ли обрекать еще одного человека, такого же чувствительного ко злу, на жизнь в этой околдованной, сломанной бурями семье, в недрах которой уже страдает одна душа? Имею ли право заново наполнить проклятый

сосуд отравленной плотью и передать его как смертоносный снаряд следующим поколениям? Нет, не имею. Я поклялась, что род наш исчезнет с лица земли. В эту минуту брат мой готовит все к твоему отъезду, скоро послышатся на лестнице его шаги, ты отправишься с ним, и я больше никогда не увижу тебя. Вспоминай иногда обо мне, жизнь отнеслась ко мне сурово, но я не потеряла мужества. Я действительно люблю тебя, но я ненавижу себя, ненавижу так, что самая любовь моя ненавистна мне. Я отсылаю тебя прочь, но сердцем рвусь к тебе. Я так хочу скорее забыть тебя и так боюсь быть забытой!

Она говорила это, уже подходя к двери, ее грудной голос звучал мягче и приглушеннее. Еще мгновение, и она ушла, а я остался один в залитой лунным светом комнате. Не знаю, что бы я стал делать, будь у меня силы, а пока я лежал, предаваясь полному и беспросветному отчаянию. Немного погодя в дверях блеснул красный огонек фонаря, вошел Фелип, не говоря ни слова, взвалил меня на плечи и вынес за ворота, где нас ждала повозка. В лунном свете силуэты гор темнели, как вырезанные из картона; посреди серебристого плато, над низкими деревьями, которые качались от ветра, переливаясь листвой, возвышался черный массивный короб старого замка, и только три слабо освещенных окошка в северной стене над воротами прорезали мрак. Это были окна Олаллы; трясясь в телеге, я не отрываясь смотрел на них, пока дорога не свернула в ущелье и свет их навсегда не погас для меня. Фелип молча шагал рядом с телегой, иногда придерживал мула и оглядывался, а один раз приблизился ко мне и положил руку мне на лоб. Его прикосновение было как ласка животного, такое доброе и бесхитростное, что слезы брызнули у меня из глаз, точно кровь из артерии.

— Фелип,— сказал я ему,— отвези меня туда, где никто ни о чем не будет спрашивать.

Он не ответил ни слова, повернул мула обратно, и несколько времени мы ехали по той же дороге, потом свернули на проселок и скоро оказались в горной деревушке с церковью — «киркгоне», как их называют у нас в Шотландии. Обо всем, что было дальше, у меня остались смутные воспоминания. Стало светать, телега остановилась, чьи-то руки подхватили меня, и я впал в долгий и глубокий, как сон, обморок. На другой день и во все последую-

щие ко мне часто наведывался старый священник с табакеркой и молитвенником. Увидев, что силы возвращаются ко мне и что состояние мое больше не внушает опасения, он посоветовал мне поспешить с отъездом. Он не стал ничего объяснять, а только взял понюшку табаку и взглянул на меня искоса. Я не хотел притворяться, что ничего не понял; я догадался, что священник видел Олаллу.

— Святой отец,—сказал я,—вы ведь знаете, что я спрашиваю не из праздного любопытства. Расскажите мне все об этой семье.

Он ответил, что это очень несчастные люди, что, по всей вероятности, это вырождающийся род, что они очень бедны и очень невежественны.

— Только не Олалла,— возразил я.— Она умна и образованна, как редко кто из женщин, и это, без сомнения, ваша заслуга.

— Да,— ответил старик,— сеньорита многому училась. Но остальная семья очень невежественна.

— И мать? — спросил я.

— Да, и мать тоже,— ответил падре, нюхая табак.— Но Фелип — добрый мальчик.

— В матери есть что-то странное.

— Да, есть.

— Напрасно мы играем в прятки, отец,— сказал я.— Вам ведь известно все, что произошло, вы только не показываете вида. И вы понимаете, что мое любопытство не случайно. Умоляю вас, будьте со мной откровенны.

— Сын мой,— ответил старик.— Я буду с вами откровенен, насколько позволяет мне моя осведомленность. Не так уж трудно молчать о том, чего не знаешь. Я не уклоняюсь от разговора, и я понимаю вас. Но что я могу сказать, кроме того, что все мы в руках господних и что пути его неисповедимы? Я советовался даже с епископом, но и он не знает, чем тут помочь. Это великая тайна.

— Она помешанная?

— Объясню вам, как понимаю сам. По-моему, нет,— ответил падре.— Раньше, во всяком случае, она была здорова. Когда она была молодой — боюсь, что я мало уделял внимания этой заблудшей овечке, да простит мне господь,— она, несомненно, была здорова, хотя кое-какие признаки болезни, не столь разительные, впрочем, были заметны уже тогда. Но то же самое было с ее отцом, да и с дедом. Так что я не очень опасался за нее. Но болезнь

развивается, и развивается не только на протяжении жизни одного человека, но и целого рода.

— А в молодости...— начал было я, и голос у меня прервался. Собравшись духом, я продолжал:—Она очень походила на Олаллу?

— Господь запретит говорить такое о моей самой любимой прихожанке! — воскликнул падре.— Нет, нет, сеньорита, если не считать ее красоты (но, честное слово, лучше б уж она не была так красива), ни капельки не похожа на свою мать. Вы не должны так думать, хотя, кто знает, может, было бы лучше, если бы вы думали так.

Я приподнялся в постели и стал рассказывать священнику о нашей любви и о решении Олаллы, признался, какой я испытал ужас и какие меня терзали сомнения, но прибавил, что все это позади, и под конец с искренним смирением попросил его рассудить нас.

Он выслушал все терпеливо и безо всякого удивления. Когда я кончил, он сидел несколько времени молча. Потом сказал:

— Церковь...— но тут же, прервав себя, извинился: — Я совсем забыл, сын мой, что вы не христианин. Хотя в этом из ряда вон выходящем случае даже церковь едва ли может что-нибудь посоветовать. Если же вас интересует мое мнение, то вот оно: сеньорита в этом деле лучший судья. Я бы на вашем месте подчинился ее решению.

С этими словами он ушел и в дальнейшем посещал меня реже, когда же я стал понемногу ходить, он, видимо, избегал меня, но не из личной неприязни, а просто бежал от меня, как бегут от сфинкса. Крестьяне этой деревни тоже меня чуждались, смотрели искоса; самые суеверные крестились при моем приближении (в чем я имел случай убедиться), никто не хотел быть моим проводником в горах во время прогулок. Сперва я объяснял это тем, что не был католиком, но потом меня осенило, что виной этому моя недолгая жизнь в замке. Подобные дикарские понятия крестьян обычно мало кого трогают. я же почувствовал, как мою любовь опять омрачила тень. Это не убило любви, но пыл мой убавился.

С вершины одной из гор, в нескольких милях к западу от деревни, глубоко внизу было видно плато, где стоял замок; каждый день я отправлялся туда. На верши-

не шумела рощица, к ней вела тропинка, почти у самой вершины над тропинкой нависала скала, на которой высилось грубое распятие в рост человека, чересчур натуралистично изображавшее страдание. Я любил сидеть на этой скале и смотреть вниз, на плато, на старый замок; я видел Фелипа, работающего в саду, он казался не больше мухи; иногда плато задергивал туман, но налетал ветер, и в разрывах снова появлялась знакомая картина; иногда она лежала передо мной как на ладони, залитая солнцем, иногда расплывалась в струях дождя. Это уединенное место, откуда по временам был виден замок, обитатели которого столь странным образом вошли в мою жизнь, прекрасно гармонировало с моим состоянием духа.

Однажды, когда я сидел так на своей скале, мимо меня прошел тощий крестьянин, закутанный в плащ. Он был не здешний и, по-видимому, ничего не слыхал обо мне, ибо вместо того, чтобы, увидев меня, сделать крюк, он приблизился и сел рядом; скоро мы разговорились. Между прочим, он рассказал мне, что был когда-то погонщиком мулов и в прежние годы часто бывал в этих местах, потом он со своим мулом стал маркитантом, скопил немного денег и теперь живет с семьей на покое.

— Вы знаете, что это за дом? — спросил я его, указывая на замок, ибо мне очень скоро надоедал любой разговор, отвлекавший мои мысли от Олаллы.

Крестьянин мрачно посмотрел на меня и перекрестился.

— Очень хорошо знаю,— ответил он.— В этом доме один мой товарищ продал душу дьяволу, не введи нас, господи, во искушение! — он уплатил за это сполна — горит сейчас в самом жарком пламени ада.

Я поежился. Немного погодя крестьянин снова заговорил, как бы размышляя вслух.

— Да, да, я знаю. Как-то я проходил поздно мимо их ворот, дорогу засыпало снегом, начиналась пурга. В такую ночь в горах путнику смерть, но под крышей оказалось еще хуже. Я схватил его за руку, сеньор, и выволок вон; стоя на коленях в снегу, я заклинал его всем, что было ему свято и дорого, уйти со мной оттуда; я видел, что мои мольбы начали действовать. Но в этот момент на галерею вышла она и стала звать его; он обернулся на зов — она стояла с фонарем в руках и, улыбаясь, звала его назад. Я стал громко молиться, обхватил его обеи-

ими руками, но он оттолкнул меня и вернулся. Он сделал выбор, господи, спаси и помилуй нас! Я молился за него, но какой толк? Есть грехи, которые не может отпустить даже папа.

— А ваш товарищ? — спросил я его.— Что сталось с ним?

— Один господь ведает,— сказал он.— Если то, что говорят, правда, конец его был так же ужасен, как и его грех,— волосы становятся дыбом, как подумаешь.

— Вы хотите сказать, что его убили? — спросил я.

— Конечно, убили,— ответил погонщик мулов.— Но как? Да, как? Есть вещи, о которых говорить и то грех.

— Люди, живущие в этом доме...— начал было я.

— Люди! — прервал он меня в бешенстве.— Какие люди? В этом доме дьявола обитают не люди! Что? Вы прожили здесь так долго и ничего не слышали?

С этими словами он приблизил губы к моему уху и зашептал, точно боялся, что птицы в лесу услышат его и попадают замертво от ужаса.

То, что он рассказал мне, было выдумкой, и к тому же неоригинальной,— новая версия старой, как мир, легенды, созданная крестьянским невежеством. Меня испугала не самая легенда, а вывод из нее. В старое время, говорил он, церковь выжгла бы это гнездо василисков, но теперь церковь стала беззубой; товарищ его, Мигуэль, избежал наказания от рук человеческих, зато понес ужасную кару, обратив на себя гнев господень. Это неправильно, впредь будет по-другому. Падре уже в преклонных годах, да и сам он поддался бесовским чарам; но прихожане видят, какая опасность им грозит. Придет день, очень скоро придет, когда поднимется до небес дым над проклятым домом.

Он ушел, а я остался сидеть на скале. Мне было страшно. Я не знал, что предпринять: то ли идти к священнику и предупредить его, то ли отправиться в замок и самому принести его обреченным обитателям известие об опасности. Судьба решила за меня: взвешивая тот и другой вариант, я вдруг увидел, как по тропинке в мою сторону поднимается женщина, лицо которой скрыто вуалью. Никакая вуаль не могла бы обмануть меня: каждая линия тела, каждое движение были мне знакомы — я сразу узнал Олаллу; спрятавшись за выступ скалы, я подождал, пока она взойдет на вершину, и вышел из-за скалы. Она узнала

меня и остановилась, не сказав ни слова. Я тоже молчал, некоторое время мы нежно и печально смотрели друг на друга.

— Я думала, что вы уехали,— сказала она наконец.— Единственное, что вы можете сделать для меня,— это уехать. Только об этом я и просила вас. А вы все еще здесь. Разве вы не знаете, что каждый день, проведенный вами здесь, стократ увеличивает смертельную опасность, которая грозит не только вам, но и моей семье. В горах прошел слух, что вы меня полюбили,— этого нам не простят.

Я понял, что она знает об опасности, и это немного успокоило меня.

— Олалла,— сказал я,— я готов ехать сегодня, сейчас, сию минуту, но не один.

Она отступила на шаг и опустилась перед распятием на колени, я стоял подле и смотрел то на нее — живое воплощение кающейся грешницы,— то на предмет ее поклонения — грубую фигуру Спасителя с торчащими ребрами и ярко раскрашенными ранами и лицом. Молчание нарушали только крики больших птиц, круживших вокруг вершины в удивлении и тревоге. Олалла поднялась на ноги, повернулась ко мне; не снимая руки с креста, встала с колен, подняла вуаль и посмотрела на меня — лицо у нее было бледное и печальное.

— Видите, моя рука на кресте,— проговорила она.— Падре сказал, что вы не христианин, но попытайтесь взглянуть на Спасителя моими глазами, вглядитесь в его лицо. Мы такие же, каким был он, на всех нас вина первородного греха, и мы должны нести свой крест, должны искупить прошлую вину, хотя бы и не нашу. Ведь во всех нас, и даже во мне, есть искра божия. Подобно ему, мы должны потерпеть, пока утро не возвестит освобождения. Позвольте мне пройти мой путь в одиночестве, только так я буду менее всего одинока, со мной будет он, друг всех страждущих. Я тогда буду истинно счастлива, когда скажу прости земному счастию и до дна изопью предназначенную мне чашу страданий.

Я взглянул на распятие, и, хотя я не люблю идолов, а это грубое изображение бога, вырезанное рукой вульгарного подражателя, было неприятно мне, истинный его смысл все-таки не ускользнул от меня. Лицо искажено смертной мукой, но вокруг него сияет нимб славы, напо-

миная, что искупительная жертва принесена добровольно. Распятие стояло здесь, венчая вершину, как стоит на других дорогах множество таких же распятий, тщетно взывая к прохожим. Стояло как символ горьких и благородных истин: что наслаждение преходяще и не оно — высшая цель, что сильные духом идут тернистым путем страданий, что у человека есть долг, а испытания только закаляют его. Я повернулся и, не сказав ни слова, пошел вниз; когда я обернулся в последний раз перед тем, как лес скрыл от меня распятие, Олалла все еще смотрела мне вслед, не снимая руки с креста.

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА

Посвящается Катарине де Маттос

Храните нерушимость этих уз —
С ветрами, с вереском незыблем наш союз.
Вдали от родины мы знаем, что для нас
Цветет на севере душистый дрок сейчас.

ИСТОРИЯ ДВЕРИ

Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным — и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей, и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь; зато она говорила не только в этих безмолвных средоточиях послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой: когда обедал в одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крывше-

муся в их грехах, а когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать.

— Я склонен к каиновой ереси,— говаривал он со скрытой усмешкой.— Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу.

А потому судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде.

Без сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из той же вселенской благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая; этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил либо с родственниками, либо с давними знакомыми; его привязанность, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее и тот и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела.

И вот как-то раз в такое воскресенье случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по-видимому, преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки прибылей употребляли на прихорашивание; поэтому витрины по обеим ее сторонам источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была пустынна, все же по сравнению с окружающим убожеством она сияла, точно костер в лесу,— аккуратно выкрашен-

ные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного прохожего.

Через две двери от угла, по левой стороне, если идти к востоку, линия домов нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна — только дверь внизу да слепой лоб грязной стены над ней,— и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, дети играли «в магазин» на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств.

Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но, когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него.

— Вы когда-нибудь обращали внимание на эту дверь?— спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил: — С ней связана для меня одна очень странная история.

— Неужели? — спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом.— Какая же?

— Дело было так,— начал мистер Энфилд.— Я возвращался домой откуда-то с края света часа в три по-зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все спят, улица за улицей, освещенные, словно для какого-нибудь торжества, и опустелые, как церковь, так что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры: в восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет девяти. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое: мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и непроизвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский

Джаггернаут. Я закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и потащил назад, туда, где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испариной, точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся возле девочки,— ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что, конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый, говорил он с сильным эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке. Так вот, сэр. С ним случилось то же, что и со всеми нами,— стоило ему взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и, хотя убить негодяя, к сожалению, все-таки было нельзя, мы все же постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ославить его на весь Лондон,— и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах, а негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость,— я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам Сатана. «Если вы решили нажиться на этой случайности,— заявил он,— то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете?» В конце концов мы выжали из него сто фунтов для родных девочки; он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги, и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери! Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес десять гиней и чек на банк Куттса, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану на-

зывать, хотя в ней-то и заключена главная соль моей истории; скажу только, что фамилия эта очень известна и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит: только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на сто фунтов. Но он и бровью не повел. «Не беспокойтесь,— заявил он презрительно.— Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все — врач, отец девочки, наш приятель и я — отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало! Подпись оказалась подлинной.

— Так-так! — заметил мистер Аттерсон.

— Я вижу, вы разделяете мой взгляд,— сказал мистер Энфилд.— Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек,— воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и (что только ухудшает дело) принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж: честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. «Дом шантажиста» — вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все! — Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив:

— Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?

— В таком-то доме? — возразил мистер Энфилд.— К тому же я прочел на чеке его адрес — какая-то площадь.

— И вы не наводили справок... о доме с дверью? — осведомился мистер Аттерсон.

— Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов: в наведении справок есть какой-то привкус Судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы: вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни; какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике,

и все это обрушивается на него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило: чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов.

— Превосходное правило,— согласился нотариус.

— Однако я занялся наблюдением за этим зданием,— продолжал мистер Энфилд.— Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе; окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое.

Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон.

— Энфилд,— сказал он,— это ваше правило превосходно.

— Да, я и сам так считаю,— ответил Энфилд.

— Тем не менее,— продолжал нотариус,— мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка.

— Что же,— сказал мистер Энфилд,— не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайд.

— Гм! — отозвался мистер Аттерсон.— А как он выглядит?

— Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное... что-то неприятное... попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство, такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается: я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами.

Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая.

— А вы уверены, что у него был собственный ключ? — спросил он наконец.

— Право же...— начал Энфилд, даже растерявшись от изумления.

— Да, конечно,— перебил его Аттерсон.— Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей.

— Вам следовало бы предупредить меня,— обиженно ответил мистер Энфилд,— но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ: я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад.

Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил:

— Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме.

— С величайшей охотой,— ответил нотариус.— Совершенно с вами согласен, Ричард.

ПОИСКИ МИСТЕРА ХАЙДА

В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с каким-нибудь сухим богословским трактатом на пюпитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Аттерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф, достал из тайника документ в конверте, на котором значилось: «Завещание д-ра Джекила», и, нахмурившись, принялся его штудировать. Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Аттерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время наотрез отказался принять участие в его составлении; согласно воле завещателя, все имущество Генри Джекила, доктора медицины, доктора права, члена Королевского общества и т. д., переходило «его другу и благодетелю Эдварду Хайду», не только в случае его смерти — в случае «исчезновения или необъяснимого отсут-

ствия означенного доктора Джекила свыше трех календарных месяцев»; означенный Эдвард Хайд также должен был вступить во владение его имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам доктора. Этот документ давно уже был источником мучений для нотариуса. Он оскорблял его и как юриста и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. До сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде, теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайда оставалось для него только именем, положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами и из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ.

— Мне казалось, что это простое безумие,— пробормотал нотариус, убирая ненавистный документ в сейф.— Но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна.

Мистер Аттерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению к Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг знаменитый доктор Лэньон.

«Если кто-нибудь и может пролить на это свет, то только Лэньон»,— решил он.

Важный дворецкий почтительно поздоровался с мистером Аттерсоном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк с гривой рано поседевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности, однако приветливость его была неподдельна и порождало ее искреннее чувство: доктор Лэньон и мистер Аттерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету, они питали глубокое взаимное уважение и к тому же (что далеко не всегда сопутствует подобному уважению у людей, так же уважающих и самих себя) очень любили общество друг друга.

Несколько минут они беседовали о том о сем, а затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший.

— Пожалуй, Лэньон,— сказал он,— мы с вами самые старые друзья Генри Джекила?

— Жаль, что не самые молодые! — рассмеялся доктор Лэньон.— Но, наверное, так оно и есть. Почему вы об этом упомянули? Я с ним теперь редко вижусь.

— Неужели? А я думал, что вас сближают общие интересы.

— Так оно и было,— ответил доктор.— Но вот уже десять с лишним лет, как Генри Джекил занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути — я говорю о путях разума,— и, хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, вот уже несколько лет я вижусь с ним чертовски редко. Подобный ненаучный вздор заставил бы даже Дамона отвернуться от Финтия,— заключил доктор, внезапно побагровев.

Эта вспышка несколько развеяла тревогу мистера Аттерсона. «Они поссорились из-за каких-то научных теорий,— подумал он, и, так как науки его нисколько не интересовали (если только речь не шла о теориях передачи права собственности), он даже с облегчением добавил про себя: — Ну, это пустяки!»

Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Аттерсон наконец задал вопрос, ради которого и пришел сюда:

— А вам знаком его протеже... некий Хайд?

— Хайд? — повторил Лэньон.— Нет. В первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня.

Это были единственные сведения, полученные нотариусом, и он мог сколько душе угодно размышлять над ними, ворочаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов.

Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Аттерсона, пробили шесть, а он все еще ломал голову над этой загадкой; вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес, но теперь было уже затронуто, а вернее, порабощено, и его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжкой тьме своей плотно занавешенной спаль-

ни, а в его сознании, точно свиток с огненными картинами, развертывалась история, услышанная от мистера Энфилда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города, затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины, затем — бегущая от врача девочка, они сталкивались, Джаггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил, грезил во сне и улыбался, но тут дверь спальни отворялась, занавески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью,— даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет; если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть: она еще более беззвучно крадась по затихшим домам или еще быстрее, еще стремительнее — с головокружительной быстротой — мелькала в еще более запутанных лабиринтах освещенных фонарями улиц, на каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стонов. И по-прежнему у этой фигуры не было лица, по которому он мог бы ее опознать,— даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами прежде, чем он успевал рассмотреть хоть одну черту; в конце концов в душе нотариуса родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Мистер Аттерсон не сомневался, что стоит ему только взглянуть на это лицо — и тайна рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивают загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, он найдет объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него (называйте это как хотите), а быть может, поймет и причину столь необычного условия, оговоренного в завещании. Да и в любом случае на это лицо стоит посмотреть — на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило в сердце флегматичного Энфилда глубокую и непреходящую ненависть.

С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий

в конторе, днем, когда дел было много, а времени — мало, вечером под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты нотариус являлся на выбранный им пост.

«Как бы он ни прятался, я его увижу»,— упрямо твердил он себе.

И наконец его терпение было вознаграждено. Был ясный, сухой вечер, холодный воздух чуть покусывал щеки, улицы были чисты, как бальные залы, фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина, хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко, на обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов, а шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производят шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимания так резко и властно, и он скрылся под аркой ворот с суеверной уверенностью в успехе.

Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на таком расстоянии нотариус почувствовал в нем что-то отталкивающее. Неизвестный направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Аттерсон сделал шаг вперед и, коснувшись его плеча, сказал:

— Мистер Хайд, если не ошибаюсь?

Мистер Хайд попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако его испуг был мимолетен, и хотя он не смотрел нотариусу в лицо, но ответил довольно спокойно:

— Да, меня зовут так. Что вам нужно?

— Я вижу, вы собираетесь войти сюда,— сказал нотариус.— Я старый друг доктора Джекила, мистер Аттерсон с Гонт-стрит. Вы, вероятно, слышали мое имя, и, раз уж мы так удачно встретились, я подумал, что вы разрешите мне войти с вами.

— Вам незачем заходить, доктора Джекила нет дома,— ответил мистер Хайд, продувая ключ, а потом, все еще не поднимая головы, внезапно спросил:— А как вы меня узнали?

— Прежде чем я отвечу, не окажете ли вы мне одну любезность? — сказал мистер Аттерсон.

— Извольте. А какую?

— Покажите мне свое лицо,— попросил нотариус.

Мистер Хайд, казалось, колебался, но потом, словно внезапно на что-то решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Теперь я вас всегда узнаю,— заметил мистер Аттерсон.— Это может оказаться полезным.

— Да,— ответил мистер Хайд,— пожалуй, хорошо, что мы встретились, и à propos[1] мне следует дать вам мой адрес,— и он назвал улицу в Сохо и номер дома.

«Боже великий! — ужаснулся мистер Аттерсон.— Неужели и он подумал о завещании?»— однако он сдержался и только невнятно поблагодарил за адрес.

— Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали? — потребовал мистер Хайд.

— По описанию.

— А кто вам меня описал?

— У нас есть общие друзья.

— Общие друзья?— сипло переспросил мистер Хайд.— Кто же это?

— Например, Джекил,— ответил нотариус.

— Он вам ничего не говорил!— воскликнул мистер Хайд, гневно покраснев.— Я не ждал, что вы мне солжете.

— Пожалуйста, выбирайте выражения,— сказал мистер Аттерсон.

Мистер Хайд издал свирепый смешок и через мгновение, с немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней.

Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где

---

[1] Кстати *(франц.)*.

его оставил мистер Хайд, и на лице его были написаны тревога и недоумение. Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. Быть может, задача, которую он пытался решить, вообще не имела решения. Мистер Хайд был бледен и приземист, он производил впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем заметно не было, улыбался он крайне неприятно, держался с нотариусом как-то противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и прерывистый — все это говорило против него, но и все это, вместе взятое, не могло объяснить, почему мистер Аттерсон почувствовал дотоле ему неизвестное отвращение, гадливость и страх.

— Тут кроется что-то другое! — в растерянности твердил себе нотариус.— Что-то совсем другое, но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого! Он более походит на троглодита. А может быть, это случай необъяснимой антипатии? Или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает? Пожалуй, именно так, да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекил, на лице твоего нового друга явственно видна печать Сатаны.

За углом была площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив былое величие, сдавалось поквартирно людям самых разных профессий и положений — граверам, архитекторам, адвокатам с сомнительной репутацией и темным дельцам. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом; перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Он постучал. Дверь открыл старый прекрасно одетый слуга.

— Доктор Джекил дома, Пул?— осведомился нотариус.

— Сейчас узнаю, мистер Аттерсон,— ответил Пул, впуская гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом, где (точно в помещичьем доме) пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки.

— Вы подождете тут у огонька, сэр, или зажечь лампу в столовой?

— Благодарю вас, я подожду тут,— ответил нотариус и оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекила, и сам Аттерсон не раз называл ее самой приятной комнатой в Лондоне. Но в этот вечер по его жилам струился холод, повсюду ему чудилось лицо Хайда, он испытывал (большая для него редкость) гнетущее отвращение к жизни; его смятенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул. Дворецкий сообщил, что доктор Джекил куда-то ушел.

— Я видел, Пул, как мистер Хайд входил в дверь бывшей секционной,— сказал нотариус.— Это ничего? Раз доктора Джекила нет дома...

— Это ничего, сэр,— ответил слуга.— У мистера Хайда есть свой ключ.

— Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку, Пул,— задумчиво продолжал нотариус.

— Да, сэр, очень,— ответил Пул.— Нам всем приказано исполнять его распоряжения.

— Мне, кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь? — спросил Аттерсон.

— Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает,— выразительно ответил дворецкий.— По правде говоря, в доме мы его почти не видим; он всегда приходит и уходит через лабораторию.

— Что же! Доброй ночи, Пул.

— Доброй ночи, мистер Аттерсон.

И нотариус с тяжелым сердцем побрел домой. «Бедный Гарри Джекил! — думал он.— Боюсь, над ним нависла беда! В молодости он вел бурную жизнь — конечно, это было давно, но божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так: тень какого-то старинного греха, язва скрытого позора, кара, настигшая его через много лет после того, как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинение». Испугавшись этой мысли, нотариус задумался над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти, полный страха, что оттуда, точно чертик из коробочки, вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно — немного нашлось бы людей, ко-

торые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни, и все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его во прах, чтобы затем он мог воспрянуть, с робкой и смиренной благодарностью припомнив, от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету, и в сердце вспыхнула искра надежды. «Этим молодчиком Хайдом следовало бы заняться: у него, несомненно, есть свои тайны — черные тайны, если судить по его виду, тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джекила покажутся солнечным светом. Так больше продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь воровато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает! И какая опасность ему грозит — ведь если этот Хайд проведает про завещание, ему, быть может, захочется поскорее получить свое наследство! Да-да, мне следует вмешаться... Только бы Джекил позволил мне вмешаться,— добавил он.— Только бы он позволил». Ибо перед его умственным взором вновь, словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания.

ДОКТОР ДЖЕКИЛ БЫЛ СПОКОЕН

По счастливому стечению обстоятельств две недели спустя доктор Джекил дал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей — людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного — он далеко не в первый раз уходил из гостей позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кров; многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе, нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекил не был исключением из этого правила, и теперь, когда он расположился по другую сторону камина — крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет пятидесяти, с лицом, быть может, не совсем открытым, но, бесспорно, умным и добрым,— вы легко заключили бы по его взгляду,

что он питает к мистеру Аттерсону самую теплую привязанность.

— Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекил,— сказал нотариус.— О вашем завещании.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что тема эта доктору неприятна, однако он ответил нотариусу с веселой непринужденностью.

— Мой бедный Аттерсон! — воскликнул он.— На этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэньона, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. О, я знаю, что он превосходный человек — не хмурьтесь, пожалуйста. Да, превосходный, и я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще; но это не мешает ему быть упрямым педантом — невежественным, надутым педантом! Я ни в ком так не разочаровывался, как в Лэньоне.

— Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным,— продолжал мистер Аттерсон, безжалостно игнорируя попытку доктора переменить разговор.

— Мое завещание? Да, конечно, знаю,— ответил доктор с некоторой резкостью.— Вы мне это уже говорили.

— Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз,— продолжал нотариус.— Мне стало кое-что известно про Хайда.

По крупному красивому лицу доктора Джекила разлилась бледность, его глаза потемнели.

— Я не желаю больше ничего слушать,— сказал он.— Мне кажется, мы согласились не обсуждать этого вопроса.

— Но то, что я слышал, отвратительно.

— Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении,— сбивчиво ответил доктор.— Оно крайне щекотливо, Аттерсон, крайне щекотливо и странно, очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь.

— Джекил,— сказал Аттерсон,— вы знаете меня. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне, и я не сомневаюсь, что сумею вам помочь.

— Мой дорогой Аттерсон,— сказал доктор.— Вы очень добры, очень, и я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я верю вам безусловно и полагаюсь

на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя, но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется, и дело обстоит далеко не так плохо; и, чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь: стоит мне захотеть, и я легко и навсегда избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что, Аттерсон (и надеюсь, вы поймете меня правильно): это — мое частное дело, и я прошу вас не вмешиваться.

Аттерсон некоторое время размышлял, глядя на огонь.

— Разумеется, это ваше право,— наконец сказал он, вставая.

— Ну, раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, в последний раз,— сказал доктор,— мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. Я знаю, что вы его видели — он мне об этом рассказывал,— и боюсь, он был с вами груб. Однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке; если меня не станет, то прошу вас, Аттерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, знай вы все, а ваше обещание снимет камень с моей души.

— Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию,— сказал Аттерсон.

— Об этом я не прошу,— грустно произнес Джекил, положив руку на плечо нотариуса.— Я прошу только о справедливости; я только прошу вас помочь ему, ради меня, когда меня не станет.

Аттерсон не мог удержаться от глубокого вздоха.

— Хорошо,— сказал он.— Я обещаю.

УБИЙСТВО КЭРЬЮ

Одиннадцать месяцев спустя, в октябре 18... года, Лондон был потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Те немногие подробности, которые были известны, производили ошеломляющее впечатление. Служанка, оставшаяся одна в доме неподалеку от реки, поднялась в одиннадцатом часу к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок,

куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, служанка была романтической натурой: во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни (со слезами повторяла она, когда рассказывала о случившемся), ни разу в жизни не испытывала она такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру. Вскоре она заметила, что к их дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами, а навстречу ему идет другой, низенький джентльмен, на которого она сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились (это произошло почти под самым окном служанки), пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Видимо, речь шла о каком-то пустяке — судя по его жесту, можно было заключить, что он просто спрашивает дорогу, однако, когда он заговорил, на его лицо упал лунный свет, и девушка залюбовалась им — такой чистой и старомодной добротой оно дышало, причем эта доброта сочеталась с чем-то более высоким, говорившим о заслуженном душевном мире. Тут она взглянула на второго прохожего и, к своему удивлению, узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к ее хозяину и к которому она сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, которой все время поигрывал; он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в дикую ярость — затопал ногами, взмахнул тростью и вообще повел себя, по словам служанки, как буйнопомешанный. Почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайд, словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов — служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой, и от ужаса лишилась чувств.

Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам — с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один

расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой, без сомнения, унес убийца. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный, возможно, нес на почту и который был адресован мистеру Аттерсону.

Письмо доставили нотариусу на следующее утро, когда он еще лежал в постели. Едва он увидел конверт и услышал о случившемся, его лицо стало очень озабоченным.

— Я ничего не скажу, пока не увижу тела,— объявил он.— Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь.

Все так же хмурясь, он наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул.

— Да,— сказал он.— Я его узнаю. Должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Дэнверс Кэрью.

— Боже великий!—воскликнул полицейский.—Неужели, сэр?— В его глазах вспыхнуло профессиональное честолюбие.— Это наделает много шума,— заметил он.— Может быть, вам известен убийца?— Тут он кратко сообщил суть рассказа служанки и показал нотариусу обломок трости.

Когда мистер Аттерсон услышал имя Хайда, у него сжалось сердце, но при виде трости он уже не мог долее сомневаться: хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу.

— Этот мистер Хайд невысок ростом? — спросил он.

— Совсем карлик и необыкновенно злобный—так утверждает служанка,— ответил полицейский.

Мистер Аттерсон задумался, а потом поднял голову и сказал:

— Если вы поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом.

Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся пары, и пока кеб медленно полз по улицам, перед глазами мистера Аттерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек: то вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара, то туман на мгнове-

ние рассеивался совсем и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы,— этот район, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. Кроме того, нотариуса одолевали самые мрачные мысли, и, когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми.

Когда кеб был уже близок к цели, туман немного разошелся, и взгляду мистера Аттерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый, точно глина, туман вновь сомкнулся и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где жил любимец Генри Джекила, человек, которому предстояло унаследовать четверть миллиона фунтов!

Дверь им отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манеры ее не оставляли желать ничего лучшего. Да, ответила она, мистер Хайд проживает здесь, но его нет дома; он вернулся поздно ночью, но ушел, не пробыв тут и часа; нет, это ее не удивило: он всегда приходил и уходил в самое неурочное время и часто пропадал надолго; например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия.

— Прекрасно. В таком случае проводите нас в его комнаты,— сказал нотариус и, когда старуха объявила, что никак не может исполнить его просьбу, прибавил:— Вам следует узнать, кто со мной. Это инспектор Ньюкомен из Скотленд-Ярда.

Лицо старухи вспыхнуло злобной радостью.

— А! — сказала она.— Попался, голубчик! Что он натворил?

Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядом.

— Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью,— заметил инспектор.— А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где.

Во всем доме, где не было никого, кроме старухи, мистер Хайд пользовался только двумя комнатами, зато они были обставлены со вкусом и всевозможной роскошью. В стенном шкафу стояли ряды винных бутылок, посуда была серебряной, столовое белье очень изящным; на стене висела хорошая картина — подарок Генри Джекила, решил мистер Аттерсон, знатока и любителя живописи; ковры были пушистыми и красивыми. Однако теперь в комнате царил величайший беспорядок, словно совсем недавно кто-то торопливо ее обыскивал: на полу была раскидана одежда с вывернутыми карманами, ящики были выдвинуты, а в камине высилась пирамидка серого пепла, как будто там жгли множество бумаг. Из этой кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня; за дверью они нашли второй обломок трости, и инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия.

— Уж поверьте, сэр,—объявил он мистеру Аттерсону,—теперь он от меня не уйдет! Он совсем голову потерял от страха, иначе он унес бы палку, а главное, ни за что не стал бы жечь чековую книжку. Ведь деньги для него — сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет.

Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто: у него почти не было знакомых — даже хозяин служанки видел его всего два раза, не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался, а те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном: у всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно.

ЭПИЗОД С ПИСЬМОМ

День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался наконец у двери доктора Джекила. Ему открыл Пул и немедленно проводил его через черный ход и двор,

некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, но, питая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон, но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный; кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Аттерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами; кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол; три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джекил, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку и поздоровался с ним голосом, совсем не похожим на прежний.

— Так вот,— сказал мистер Аттерсон, едва Пул удалился,— вы слышали, что произошло?

Доктор содрогнулся всем телом.

— Газетчики кричали об этом на площади,— сказал он.— Я слышал их даже в столовой.

— Погодите,—перебил его нотариус.—Кэрью был моим клиентом, но и вы — мой клиент, и поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя?

— Аттерсон, клянусь богом!— воскликнул доктор.— Клянусь богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончено. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи; вы не знаете его так, как знаю я: он нашел себе надежное убежище, очень надежное! И — помяните мое слово — больше о нем никто никогда не услышит.

Нотариус нахмурился; ему не нравилось лихорадочное возбуждение его друга.

— Вы, по-видимому, уверены в нем,— заметил он.— И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь, если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя.

— Да, я в нем совершенно уверен,— ответил Джекил.— Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я... я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его вам, Аттерсон,— я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю.

— Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след? — спросил нотариус.

— Нет,—ответил доктор Джекил.—Право, мне безразлично, что станет с Хайдом; я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которую эта гнусная история может бросить тень.

Аттерсон задумался: он был удивлен эгоизмом своего друга и в то же время почувствовал облегчение.

— Что же,— сказал он наконец.— Покажите мне это письмо.

Письмо было написано необычным, прямым почерком, в конце стояла подпись «Эдвард Хайд»; оно очень кратко сообщало, что благодетель пишущего, доктор Джекил, которому он столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может не тревожиться о нем: у него есть верное и надежное средство спасения. Нотариус прочел письмо с некоторым облегчением, так как оно бросало на эти странные отношения гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать, и он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения.

— А конверт? — спросил он.

— Я его сжег,— ответил доктор Джекил.— Прежде чем сообразил, что я делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посыльный.

— Могу я взять его с собой и принять решение утром? — спросил Аттерсон.

— Я целиком полагаюсь на ваше суждение,— ответил доктор.— Себе я больше не верю.

— Хорошо, я подумаю, что делать,— сказал нотариус.— А теперь последний вопрос: это Хайд потребовал,

чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении?

Доктор, казалось, почувствовал дурноту; он крепко сжал губы и кивнул.

— Я знал это,— сказал Аттерсон.— Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели.

— Куда важнее другое! — угрюмо возразил доктор.— Я получил хороший урок! Бог мой, Аттерсон, какой я получил урок! — И он на мгновение закрыл лицо руками.

Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться двумя-тремя словами с Пулом.

— Кстати,— сказал он.— Сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный?

Но Пул решительно объявил, что в этот день письма приносил только почтальон, да и то лишь одни печатные объявления.

Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через дверь лаборатории, возможно даже, что оно было написано в кабинете, а это придавало ему совсем иную окраску, и воспользоваться им можно было лишь с большой осторожностью. Вокруг на тротуарах охрипшие мальчишки-газетчики вопили: «Специальный выпуск! Ужасное убийство члена парламента!» Таково было надгробное напутствие его старому другу и клиенту, а если его опасения окажутся верны, то доброе имя еще одного его друга могло безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение, и хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета было невозможно, но, может быть, решил он, его удастся получить косвенным образом.

Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина, напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк, а между ними в надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари, и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной.

Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорий собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. От мистера Геста у него почти не было секретов, а может быть, как он иногда подозревал, их не было и вовсе. Гест часто бывал по делам у доктора Джекила, он был знаком с Пулом, несомненно, слышал о том, как мистер Хайд стал своим человеком в доме, и, наверное, сделал для себя кое-какие выводы. Разве не следовало показать ему письмо, разъяснявшее тайну? А Гест, большой знаток и любитель графологии, разумеется, сочтет это вполне естественной любезностью. К тому же старший клерк отличался немалой проницательностью, и столь странное письмо, конечно, понудит его высказать какое-нибудь мнение, которое, в свою очередь, может подсказать мистеру Аттерсону, как ему следует поступить.

— Какой ужасный случай — я имею в виду смерть сэра Дэнверса,— сказал он.

— Да, сэр, ужасный! Он вызвал большое возмущение,— ответил Гест.— Убийца, конечно, был сумасшедшим.

— Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет,— продолжал Аттерсон.— У меня есть один написанный им документ... это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой — в любом случае дело оборачивается очень скверно. Но как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе — автограф убийцы.

Глаза Геста заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма.

— Нет, сэр,— сказал он наконец.— Это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный.

— И, судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также далеко не обычному,— добавил нотариус.

В эту минуту вошел слуга с запиской.

— От доктора Джекила, сэр?— осведомился клерк.— Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное, мистер Аттерсон?

— Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть?

— Только взгляну. Благодарю вас, сэр.— И клерк, положив листки рядом, принялся тщательно их сравни-

вать.— Благодарю вас, сэр,— повторил он затем и вернул оба листка нотариусу.— Это очень интересный автограф.

Наступило молчание, а потом мистер Аттерсон после некоторой внутренней борьбы внезапно спросил:

— Для чего вы их сравнивали, Гест?

— Видите ли, сэр,— ответил тот,— мне редко встречались такие схожие почерки, они почти одинаковы — только наклон разный.

— Любопытно,— заметил Аттерсон.

— Совершенно верно: очень любопытно.

— Лучше ничего никому не говорите про это письмо,— сказал патрон.

— Конечно, сэр, я понимаю,— ответил клерк.

Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда.

«Как! — думал он.— Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы!» И кровь застыла в его жилах.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭПИЗОД С ДОКТОРОМ ЛЭНЬОНОМ

Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Дэнверса вызвала всеобщее негодование, но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом — гнусных подробностей: о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, которой, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него,— но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он наутро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял, и постепенно тревога мистера Аттерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Дэнверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином; а если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благоче-

стие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим — его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним.

Восьмого января Аттерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу — среди приглашенных был Лэньон, и хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. Двенадцатого января, а затем и четырнадцатого дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. «Доктор не выходит,— объявил Пул,— и никого не принимает». Пятнадцатого мистер Аттерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором, и снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно, и это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающе. На пятый день он пригласил Геста пообедать с ним, а на шестой отправился к доктору Лэньону.

Тут его, во всяком случае, приняли, но, войдя в комнату, он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Лэньона ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражение глаз и вся манера держаться, свидетельствовавшие, казалось, о том, что его томит какой-то неизбывный тайный ужас. Трудно было поверить, что доктор боится смерти, но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон. «Да,— рассуждал нотариус,— он врач и должен понимать свое состояние, должен знать, что дни его сочтены, и у него нет сил вынести эту мысль». Однако в ответ на слова Аттерсона о том, как он плохо выглядит, Лэньон ответил, что он обречен, и сказал это твердым и спокойным голосом.

— Я перенес большое потрясение,— сказал он.— И уже не оправлюсь. Мне осталось лишь несколько недель. Что же, жизнь была приятной штукой, мне она нравилась; да, прежде она мне очень нравилась. Теперь же я думаю иногда, что, будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней.

— Джекил тоже болен,— заметил нотариус.— Вы его видели?

Лицо Лэньона исказилось, и он поднял дрожащую руку.

— Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем,— сказал он громким, прерывающимся голосом.— Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминаний о том, кого я считаю умершим.

— Так-так! — произнес мистер Аттерсон и после долгой паузы спросил: — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое — старые друзья, Лэньон, и новых уже не заведем.

— Помочь ничем нельзя,— ответил Лэньон.— Спросите хоть у него самого.

— Он отказывается меня видеть,— сказал нотариус.

— Это меня не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти, Аттерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло. Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом, то оставайтесь — я очень рад вас видеть, но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то, ради бога, уйдите, потому что я этого не вынесу.

Едва вернувшись домой, Аттерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома, и осведомляясь о причине его прискорбного разрыва с Лэньоном. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Лэньоном был окончателен. «Я ни в чем не виню нашего старого друга,— писал Джекил,— но я согласен с ним: нам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь — не удивляйтесь и не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя кару и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики и мои страдания. Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас, а вы, Аттерсон, можете облегчить мою судьбу только одним: не требуйте, чтобы я нарушил молчание».

Аттерсон был поражен: черное влияние Хайда исчезло, доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, лишь неделю назад все обещало ему бодрую и почтенную старость, и вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Такая огром-

ная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие, однако поведение и слова Лэньона наводили на мысль о какой-то иной причине.

Неделю спустя доктор Лэньон слег, а еще через две недели скончался. Вечером после похорон, чрезвычайно его расстроивших, Аттерсон заперся у себя в кабинете и при унылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. «Личное. Вручить только Г. Дж. Аттерсону, а в случае, если он умрет прежде меня, сжечь, не вскрывая» — таково было категорическое распоряжение на конверте, и испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. «Я похоронил сегодня одного друга,— думал он.— Что, если это письмо лишит меня и второго?» Затем, устыдившись этого недостойного страха, он сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт, на котором было написано: «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила». Аттерсон не верил своим глазам. Но нет — и тут говорилось об исчезновении: как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору, тут вновь объединялись идея исчезновения и имя Генри Джекила. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайд, и ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэньон, когда его рука писала это слово? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайнам, однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее — конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа невскрытым.

Но одно дело — подавить любопытство и совсем другое — избавиться от него вовсе; с этого дня Аттерсон уже не искал общества второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятение и страх. Он даже заходил к нему, но, пожалуй, испытывал только облегчение, когда его не принимали; пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с Пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уединившимся там загадочным отшельником. Пул к тому же не мог сообщить ему ничего утешительного. Доктор теперь постоянно запирался в кабинете над лабораторией и иногда даже ночевал там;

он пребывал в постоянном унынии, стал очень молчалив, ничего не читал, и казалось, его что-то гнетет. Аттерсон так привык к этим неизменным сообщениям, что его визиты мало-помалу становились все более редкими.

ЭПИЗОД У ОКНА

Однажды в воскресенье, когда мистер Аттерсон, как обычно, прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все в той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее.

— Во всяком случае,— сказал Энфилд,— эта история окончилась, и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда.

— Надеюсь, что так,— ответил Аттерсон.— Я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы?

— Это само собой разумеется — увидев его, не почувствовать отвращение было просто невозможно,— заметил Энфилд.— Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекила! Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал.

— Так вы это знаете?—сказал Аттерсон.—В таком случае, мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит, и я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему помочь.

Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и, хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено, и Аттерсон увидел, что возле него, вероятно, решив подышать свежим воздухом, сидит доктор Джекил, невыразимо печальный, словно неутешный узник.

— Как! Джекил! — воскликнул нотариус.— Надеюсь, вам лучше?

— Я очень плох, Аттерсон,— ответил доктор тоскливо,—очень плох. Благодарение богу, скоро все это должно кончиться.

— Вы слишком мало выходите на воздух,— сказал Аттерсон.— Вам бы следовало побольше гулять, разгонять

кровь, как делаем мы с Энфилдом. (Мой родственник мистер Энфилд, доктор Джекил.) Вот что: берите-ка шляпу и идемте с нами.

— Вы очень любезны,— со вздохом ответил доктор.— Я был бы в восторге... Но нет, нет, нет, это невозможно, я не смею. Право же, Аттерсон, я счастлив видеть вас, это большая радость для меня. Я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок...

— В таком случае,— добродушно ответил нотариус,— мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами, не сходя с места.

— Именно это я и хотел предложить,— с улыбкой согласился доктор, но не успел он договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, и только когда оказались на соседней большой улице, оживленной, даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон, наконец, посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх.

— Да простит нас бог, да простит нас бог! — сказал мистер Аттерсон.

Но мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед, по-прежнему храня молчание.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Как-то вечером, когда мистер Аттерсон сидел после обеда у камина, к нему неожиданно явился Пул.

— Бог мой, что вас сюда привело, Пул? — изумленно воскликнул нотариус и, поглядев на старого слугу, добавил: — Что с вами? Доктор заболел?

— Мистер Аттерсон,— ответил дворецкий,— случилась какая-то беда.

— Садитесь, выпейте вина,— сказал нотариус.— И не спеша объясните мне, что вам нужно.

— Вы ведь знаете, сэр, привычки доктора,— ответил Пул,— как он теперь ото всех запирается. Так вот: он опять

заперся в кабинете, и мне это не нравится, сэр... очень не нравится, право слово. Мистер Аттерсон, я боюсь.

— Успокойтесь, мой милый,— сказал нотариус.— Говорите яснее. Чего вы боитесь?

— Я уже неделю как боюсь,— продолжал Пул, упрямо не отвечая на вопрос.— И больше у меня сил нет терпеть.

Весь облик Пула подтверждал справедливость его слов; он и держался иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариусу в лицо. Он сидел, придерживая на колене полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол.

— Больше сил моих нет терпеть,— повторил он.

— Успокойтесь же,— сказал нотариус.— Я вижу, Пул, что у вас есть веские основания так говорить, я вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело!

— Я думаю, тут произошло преступление,— хрипло ответил Пул.

— Преступление! — воскликнул нотариус раздраженно, так как он был очень испуган.— Какое преступление? О чем вы говорите?

— Не смею объяснить, сэр,—ответил Пул.—Но, может, вы пойдете со мной и сами посмотрите?

Вместо ответа мистер Аттерсон встал, надел пальто и взял шляпу; при этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице дворецкого, но еще больше нотариус удивился, когда Пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина.

Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь, бледный месяц опрокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра, а по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлестал по щекам, что к ним приливала кровь. Кроме того, он, казалось, вымел с улиц прохожих — во всяком случае, мистеру Аттерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность эта угнетала его, ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей — как он ни разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли, чахлые деревья за садовой решеткой хлестали друг друга ветвями. Дворецкий, который всю дорогу держался шагах в двух впереди, те-

перь остановился посреди мостовой и, несмотря на рёзкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как ни быстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой — лицо его побелело, голос, когда он заговорил, был сиплым и прерывистым.

— Что ж, сэр,— сказал он.— Вот мы и пришли. Дай-то бог, чтобы все оказалось хорошо.

— Аминь,— ответил нотариус.

Дворецкий осторожно постучал, дверь приоткрылась на цепочке, и кто-то негромко спросил:

— Это вы, Пул?

— Да-да,— сказал Пул.— Открывайте.

Прихожая была ярко освещена, в камине пылал огонь, а возле, словно овцы, жались все слуги доктора — и мужчины и женщины. При виде мистера Аттерсона горничная истерически всхлипнула, а кухарка с воплем «Благодарение богу! Это мистер Аттерсон!» кинулась к нотариусу, будто намереваясь заключить его в объятия.

— Как так? — кисло сказал нотариус.— Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорбный непорядок, ваш хозяин будет очень недоволен.

— Они все боятся,— сказал Пул.

Последовало глухое молчание, никто не возразил дворецкому, и только горничная, уже не сдерживаясь больше, зарыдала в голос.

— Помолчите-ка! — прикрикнул на нее Пул со свирепостью, показывавшей, насколько были расстроены его собственные нервы; более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки, все вздрогнули и повернулись к двери, ведущей в комнаты, с таким выражением, словно ожидали чего-то ужасного.

— Ну-ка, подай мне свечу,— продолжал дворецкий, обращаясь к кухонному мальчишке,— и мы сейчас же со всем этим покончим.

После этого он почтительно попросил мистера Аттерсона следовать за ним и через черный ход вывел его во двор.

— А теперь, сэр,—сказал он,—идите тихонько: я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы вас не слышали. И вот что еще, сэр: если он вдруг пригласит вас войти, вы не входите.

Нервы мистера Аттерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесия; однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут Пул сделал ему знак остановиться и слушать, а сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимое усилие, поднялся по ступеням и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном.

— Сэр, вас хочет видеть мистер Аттерсон,— сказал он громко и снова судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько.

Из-за двери донесся голос.

— Скажите ему, что я никого не принимаю,— произнес он жалобно и раздраженно.

— Слушаю, сэр,—отозвался Пул почти торжествующим тоном и, взяв свечу, вывел мистера Аттерсона во двор, а оттуда направился с ним в большую кухню,—огонь в большой плите был погашен, и по полу сновали тараканы.

— Сэр,— спросил он, глядя мистеру Аттерсону прямо в глаза,— это был голос моего хозяина?

— Он очень изменился,— ответил нотариус, побледнев, но не отводя взгляда.

— Изменился? Еще бы! — сказал дворецкий.— Неужто, прослужив здесь двадцать лет, я не узнал бы голоса хозяина? Нет, сэр. Хозяина убили; его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к богу; а что теперь там вместо него и почему оно там остается... это вопиет к небесам, мистер Аттерсон!

— Вы рассказываете странные вещи, Пул; это какая-то нелепость, любезный,— ответил мистер Аттерсон, прикусывая палец.— Предположим, произошло то, что вы предполагаете — предположим, доктор Джекил был... ну, допустим... убит. Так зачем убийце оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу.

— Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, но все равно я вам докажу! — ответил Пул.— Всю эту неделю, вот послушайте, он... оно... ну, то, что поселилось в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он — хозяин то есть — имел привычку писать на листке, что ему было нужно, и выбрасывать листок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего, кроме листков, не видели — ничего, только лист-

ки да закрытую дверь; даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, сэр, каждый день по два, по три раза на дню только и были, что приказы да жалобы, и я обегал всех лондонских аптекарей. Чуть я принесу это снадобье, так тотчас нахожу еще листок с распоряжением вернуть его аптекарю,— дескать, оно с примесями,— и обратиться еще к одной фирме. Очень там это снадобье нужно, сэр, а уж для чего — неизвестно.

— А у вас сохранились эти листки? — спросил мистер Аттерсон.

Пул пошарил по карманам и вытащил скомканную записку, которую нотариус, нагнувшись поближе к свече, начал внимательно разглядывать. Содержание ее было таково: «Доктор Джекил с почтением заверяет фирму Мау, что последний образчик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 18... году доктор Джекил приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем тщанием проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джекилу крайне важно получить этот препарат». До этой фразы тон письма был достаточно деловым, но тут, как свидетельствовали чернильные брызги, пишущий уже не мог совладать со своим волнением. «Ради всего святого,— добавлял он,— разыщите для меня старый препарат!»

— Странное письмо,— задумчиво произнес мистер Аттерсон и тут же резко спросил: — А почему оно вскрыто?

— Приказчик у Мау очень рассердился, сэр, и швырнул его мне прямо в лицо,— ответил Пул.

— Это ведь почерк доктора, вы видите? — продолжал нотариус.

— Похож-то он похож,— угрюмо согласился дворецкий и вдруг сказал совсем другим голосом: — Только что толку от почерка? Я же его самого видел!

— Видели его? — повторил мистер Аттерсон.— И что же?

— А вот что! — ответил Пул. — Было это так: я вошел в лабораторию из сада. А он, наверное, прокрался туда искать это свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, а он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и ки-

нулся вверх по лестнице в кабинет. Я и видел-то его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом, что твои перья. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил! И еще...— Дворецкий умолк и провел рукой по лицу.

— Все это очень странно,— сказал мистер Аттерсон,— но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться — дай бог, чтобы надежда его не обманула! Вот что я думаю, Пул. Это очень печально, даже ужасно, но, во всяком случае, понятно и естественно, все объясняет и избавляет нас от излишних тревог.

— Сэр,— сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами,— это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин, — тут он оглянулся и перешел на шепот, — мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик...

Аттерсон попробовал возражать, но Пул перебил его.

— Ах, сэр! — воскликнул он.— Что ж, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него двадцать лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро чуть ли не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот в маске не был доктором Джекилом. Одному богу известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекил; и я знаю, что произошло убийство.

— Пул,— сказал нотариус,— раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина (а это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив), но я считаю, что мой долг — взломать эту дверь.

— И правильно, мистер Аттерсон! — вскричал дворецкий.

— Однако возникает новый вопрос,— продолжал Аттерсон.— Кто это сделает?

— Мы с вами,— мужественно ответил дворецкий.

— Прекрасно сказано,— воскликнул нотариус.— И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали.

— В лаборатории есть топор,— продолжал Пул,— а вы, сэр, возьмите кочергу.

Нотариус поднял это нехитрое, но тяжелое оружие и взвесил его в руке.

— А вы знаете, Пул, — сказал он, глядя на дворецкого,— что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение?

— А как же, сэр! Понятное дело,— ответил дворецкий.

— В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными,— заметил нотариус.— Мы оба говорим не все, что думаем, так выскажемся начистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру?

— Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайд, так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проворность, да и кто еще мог войти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, сэр, что у него был ключ, когда случилось то убийство. И мало того! Я не знаю, мистер Аттерсон, вы этого мистера Хайда встречали?

— Да,— ответил нотариус.— Я однажды беседовал с ним.

— Ну, тогда вы, как и все мы, наверное, замечали, что есть в нем какая-то странность... отчего человеку не по себе становится... не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр,— вроде как сразу мороз до костей пробирает.

— Признаюсь, и я испытал нечто подобное,— сказал мистер Аттерсон.

— Так вот, сэр,— продолжал Пул,— когда эта тварь в маске запрыгала, точно обезьяна, среди ящиков и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Аттерсон, настолько-то и я учен. Но что человек чувствует, то он чувствует: я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайд.

— Да-да,— ответил нотариус.— Я сам этого опасался. Боюсь, эту связь породило зло, и сама она могла породить только зло. Да, я верю вам, я верю, что бед-

ный Гарри убит, и я верю, что его убийца (для чего, только богу ведомо) все еще прячется в комнате своей жертвы. Ну, да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу.

Лакей тотчас явился, бледный и испуганный.

— Возьмите себя в руки, Брэдшоу,— сказал нотариус.— Я понимаю, что эта неопределенность измучила вас всех; но теперь мы намерены положить ей конец. Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Если все благополучно, ответственность я возьму на себя. Но если действительно что-то случилось, злодей может попытаться спастись через черный ход, поэтому вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам десять минут, чтобы вы успели добраться до своего поста.

Брэдшоу вышел, а нотариус поглядел на свои часы.

— А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост,— сказал он и, взяв кочергу под мышку, вышел во двор. Луну затянули тучи, и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов в кабинете.

— Оно расхаживает так все дни напролет, сэр,— прошептал Пул. — Да и почти всю ночь тоже. Перестает только, когда приносят от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть — лютый враг покоя! И каждый этот шаг, сэр,— капля безвинно пролитой крови! Послушайте, послушайте, мистер Аттерсон! Внимательно послушайте и скажите мне, разве это походка доктора?

Шаги были легкие и странные — несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость, и они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекила. Аттерсон вздохнул.

— И больше ничего не бывает слышно? — спросил он.

Пул многозначительно кивнул.

— Один раз,— сказал он,— один раз я слышал, что оно плачет.

— Плачет? Как так? — воскликнул нотариус, внезапно похолодев от ужаса.

— Точно женщина или неприкаянная душа,— пояснил

дворецкий.— И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал.

Тем временем десять минут истекли. Пул извлек топор из-под вороха упаковочной соломы, свеча была водворена на ближайший к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим, и они, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук терпеливых шагов.

— Джекил,— громко воскликнул Аттерсон,— я требую, чтобы вы меня впустили! — Ответа не последовало, и он продолжал: — Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе и я должен увидеть вас — и увижу. Если не добром, так силой, если не с вашего согласия, то взломав эту дверь!

— Аттерсон! — раздался голос за дверью.— Сжальтесь, во имя бога!

— Это не голос Джекила! — вскричал Аттерсон.— Это голос Хайда! Ломайте дверь, Пул!

Пул взмахнул топором, все здание содрогнулось от удара, а обитая красным сукном дверь подпрыгнула на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный вопль, полный животного ужаса. Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки, вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно, и первые четыре удара не достигли цели; только после пятого замок расскочился, и сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете.

Аттерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет: в камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку чайник, на письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги, два-три ящика были слегка выдвинуты, столик у камина был накрыт к чаю — более мирную комнату трудно было себе представить, и, если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне.

Посреди нее на полу, скорчившись, лежал человек — его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика — она пришлась бы впору человеку сложения доктора Джеки-

ла; вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасла, и Аттерсон, заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы.

— Мы явились слишком поздно и чтобы спасти и чтобы наказать,— сказал он угрюмо.— Хайд покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина.

Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху; кабинет находился на антресолях и был обращен окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вел коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких темных чуланов и обширного подвала, никаких других помещений в здании больше не было. Мистер Аттерсон и дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом. В чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, а судя по слою пыли на дверях, в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим еще ко временам хирурга, предшественника Джекила, но стоило им открыть дверь, как с нее сорвался настоящий ковер паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мертвого, оказались тщетными.

Пул, топая и прислушиваясь, прошел по каменным плитам коридора.

— Наверное, он похоронил его тут,— сказал дворецкий.

— А может быть, он бежал,— отозвался Аттерсон и подошел к двери, выходившей на улицу. Она была заперта, а на полу вблизи нее они обнаружили ключ, уже слегка покрывшийся ржавчиной.

— Им, кажется, давно не пользовались,— заметил нотариус.

— Не пользовались? — переспросил Пул.— Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан? Словно на него наступили.

— Верно,— ответил Аттерсон.— И место излома тоже заржавело.

Они испуганно переглянулись.

— Я ничего не понимаю, Пул,— сказал нотариус.— Вернемся в кабинет.

Они молча поднялись по лестнице и, с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать все, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заметить следы химического опыта: на стеклянных блюдечках лежали разной величины кучки какой-то белой соли, точно несчастному помешали докончить проводимое им исследование.

— То самое снадобье, которое я ему все время разыскивал,—сказал Пул, но тут чайник вскипел, и вода с шипеньем пролилась на огонь.

Это заставило их подойти к камину — к нему было пододвинуто покойное кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг; раскрытый том лежал на столике возле чашки — это был богословский трактат, о котором Джекил не раз отзывался с большим уважением, но теперь Аттерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора.

Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные, испуганные лица.

— Это зеркало видело странные вещи, сэр,— прошептал Пул.

— Но ничего более странного, чем оно само,—так же тихо ответил нотариус. — Для чего Джекил...— при этом слове он вздрогнул и умолк, но тут же справился со своей слабостью.— Зачем оно понадобилось Джекилу?

— Кто знает! — ответил Пул.

Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Аттерсона. Нотариус распечатал его, и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого,— как духовная на случай смерти и как дарственная на случай исчезновения; однако вместо имени Эдварда Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании имя Габриэля Джона Аттерсона. Он посмотрел на Пула, затем снова на документ и, наконец, пе-

ревел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре.

— У меня голова кругом идет,— сказал он.— Хайд был здесь полным хозяином несколько дней, у него не было причин любить меня, он, несомненно, пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства,— и все-таки он не уничтожил завещания!

Он поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора, сверху стояла дата.

— Ах, Пул! — вскричал нотариус.— Он был сегодня здесь, и он был жив. За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно — значит, он жив, значит, он бежал! Но почему бежал? И как? Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду.

— Почему вы не прочтете записку, сэр?—спросил Пул.

— Потому что я боюсь,— мрачно ответил нотариус.— Дай-то бог, чтобы мой страх не оправдался!

Он поднес бумагу к глазам и прочел следующее:

«Дорогой Аттерсон! Когда вы будете читать эти строки, я исчезну — при каких именно обстоятельствах, я не могу предугадать, однако предчувствие и немыслимое положение, в котором я нахожусь, убеждают меня, что конец неотвратим и, вероятно, близок. В таком случае начните с письма Лэньона, которое он, если верить его словам, собирался вам вручить; если же вы пожелаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которую оставляет вам ваш недостойный и несчастный друг Генри Джекил».

— Тут было вложено что-то еще? — спросил Аттерсон.

— Вот, сэр,— ответил Пул и вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах сургучом.

Нотариус спрятал его в карман.

— Об этих бумагах нельзя говорить никому. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. Сейчас десять часов, я должен пойти домой, чтобы без помехи прочесть эти бумаги, но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.

Они вышли, заперли дверь лаборатории, и Аттерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны.

ПИСЬМО ДОКТОРА ЛЭНЬОНА

Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джекила. Это меня очень удивило, так как у нас с ним не было обыкновения переписываться, а я видел его — собственно говоря, обедал у него — только накануне; и, уж во всяком случае, я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение. Я приведу его полностью.

«9 января 18... года.

Дорогой Лэньон, вы — один из моих старейших друзей, и хотя по временам у нас бывали разногласия из-за научных теорий, наша взаимная привязанность как будто нисколько не охладела — во всяком случае, с моей стороны. Я не могу припомнить дня, когда, скажи вы мне: «Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок»,— я не пожертвовал бы левой рукой, лишь бы помочь вам. Лэньон, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок — если вы откажете сегодня в моей просьбе, я погиб. Подобное предисловие может навести вас на мысль, что я намерен просить вас о какой-то неблаговидной услуге. Но судите сами.

Я прошу вас освободить этот вечер от каких-либо дел — если даже вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь! Возьмите кеб, если только ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей, и с этим письмом (для справок) поезжайте прямо ко мне домой. Пулу, моему дворецкому, даны надлежащие указания — он будет ждать вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем пусть они взломают дверь моего кабинета, но войдете в него вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева (помеченный буквой «Е») — если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий, считая снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувств я могу дать вам неправильные указания, но даже если я ошибся, вы узнаете нужный ящик по его содержимому: порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю вас, отвезите этот ящик прямо, как он есть, к себе на Кавендиш-сквер.

Это первая часть услуги, которой я от вас жду. Теперь о второй ее части. Если вы поедете ко мне немедленно после получения письма, вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи, но я даю вам срок до этого часа — не только потому, что опасаюсь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда ваши слуги будут уже спать. Так вот: в полночь будьте у себя и непременно одни — надо, чтобы вы сами открыли дверь тому, кто явится к вам от моего имени, и передали ему ящик, который возьмете в моем кабинете. На этом ваша роль окончится, и вы заслужите мою вечную благодарность. Затем через пять минут, если вы потребуете объяснений, вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что, пренебреги вы хотя бы одной из них, какими бы нелепыми они вам ни казались, вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии.

Как ни уверен я, что вы свято исполните мою просьбу, сердце мое сжимается, а рука дрожит при одной только мысли о возможности обратного. Подумайте: в этот час я нахожусь далеко от дома, меня снедает черное отчаяние, которое невозможно даже вообразить, и в то же время я знаю, что стоит вам точно выполнить все мои инструкции — и мои тревоги останутся позади, как будто я читал о них в книге. Помогите мне, дорогой Лэньон, спасите

вашего друга

Г. Дж.

P. S. Я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится и вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Лэньон, выполните мое поручение в течение дня, когда вам будет удобнее, и снова ожидайте моего посланца в полночь. Но возможно, будет уже поздно, и если ночью к вам никто не явится, знайте, что вы уже никогда больше не увидите Генри Джекила».

Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума, но тем не менее счел себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности, а оставить без внимания столь отчаянную моль-

бу значило бы взять на себя тяжкую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекила. Дворецкий уже ждал меня: он тоже получил с вечерней почтой заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и за плотником. Они явились, когда мы еще разговаривали, и мы все вместе направились в секционную покойного доктора Денмена, откуда (как вам, несомненно, известно) легче всего попасть в кабинет Джекила. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок — чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить, и слесарь тоже совсем было отчаялся. Однако он оказался искусным мастером, и через два часа замок все же поддался его усилиям. Шкаф, помеченный буквой «Е», не был заперт, я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простыней, а затем поехал с ним к себе на Кавендиш-сквер.

Там я внимательно рассмотрел его содержимое. Порошки были завернуты очень аккуратно, но все же не так, как завернул бы их настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью — она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и какой-то эфир. Что еще входило в нее, сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбиков дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более чем годовой давности. Иногда возле даты имелось какое-нибудь примечание, чаще всего — одно слово. «Удвоено» встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, а где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилось: «Полнейшая неудача!!!» Все это только раздразнило мое любопытство, но ничего не объяснило. Передо мной был флакончик с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записи каких-то опытов, которые (подобно подавляющему большинству экспериментов Джекила) не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги? Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в

другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить его приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слуг спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться.

Не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвещавший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открыть дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста.

— Вы от доктора Джекила? — осведомился я.

Он судорожно кивнул, а когда я пригласил его войти, он прежде тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках, и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую.

Все это, признаюсь, мне не понравилось, и, следуя за ним в ярко освещенный кабинет, я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут, наконец, мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок; меня поразило омерзительное выражение его лица, сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и — в первую очередь — странное, неприятное ощущение, которое возникало у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением пульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идиосинкразией и только подивился четкости симптомов; однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры и определяется она началом более благородным, нежели ненависть.

Неизвестный (с первой же секунды своего появления вызвавший во мне чувство, которое я могу назвать только смесью любопытства и гадливости) был одет так, что, будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежно велик и широк — брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле, талия сюртука приходилась на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в самой сущности стоявшего пере-

до мной незнакомца чувствовалось что-то ненормальное и уродливое — что-то завораживающее, жуткое и гнусное,— и такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натура этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете.

Эти наблюдения, хотя они и занимают здесь немало места, потребовали всего нескольких секунд. К тому же моего посетителя, казалось, снедало жгучее нетерпение.

— Он у вас? — вскричал он.— У вас?

Его лихорадочное возбуждение было так велико, что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь встряхнуть.

Я отстранил его руку, почувствовав, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна.

— Простите, сэр,— сказал я.— Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте.

И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, словно передо мной был пациент, и стараясь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель.

— Прошу извинения, доктор Лэньон,— ответил он достаточно учтиво.— Ваш упрек совершенно справедлив — мое нетерпение забежало вперед вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги доктора Генри Джекила в связи с весьма важным делом — насколько я понял...— Он умолк, прижав руку к горлу, и я заметил, что, несмотря на свою сдержанность, он лишь с трудом подавляет припадок истерии.— Насколько я понял... ящик...

Но тут я сжалился над мучительным нетерпением моего посетителя, а может быть, и над собственным растущим любопытством.

— Вот он, сэр,— сказал я, указывая на ящик, который стоял на полу позади стола, все еще накрытый простыней.

Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь.

— Успокойтесь,— сказал я.

Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке, и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Увидев содержимое ящика, он испустил всхлипывающий вздох, полный такого невыразимого облегчения, что я окаменел. А затем, уже почти совсем овладев своим голосом, он спросил:

— Нет ли у вас мензурки?

Я встал с некоторым усилием и подал ему просимое. Он поблагодарил меня кивком и улыбкой, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов начала светлеть, с шипением пузыриться и выбрасывать облачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет медленно сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня.

— А теперь,— сказал он,— последнее. Может быть, вы будете благоразумны? Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений? Или ваше любопытство слишком сильно? Подумайте, прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется, как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее, хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу! Либо, если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе — здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого Сатаны.

— Сэр,— ответил я с притворным спокойствием, которого отнюдь не ощущал,— вы говорите загадками, и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особенного доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца.

— Пусть так,— ответил мой посетитель.— Лэньон, вы помните нашу профессиональную клятву? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь, теперь, человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавший самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей,— смотри!

Он поднес мензурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Раздался короткий вопль, он покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом; и вдруг я заметил, что он меняется... становится словно больше... его лицо вдруг почернело, черты расплылись, преобразились — и в следующий миг я вскочил, отпрянул к стене и поднял руку, заслоняясь от этого видения, теряя рассудок от ужаса.

— Боже мой! — вскрикнул я и продолжал твердить «Боже мой!», ибо передо мной, бледный, измученный, ослабевший, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых,— передо мной стоял Генри Джекил!

Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, я слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана; однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было,— и не знаю ответа. Моя жизнь сокрушена до самых ее корней, сон покинул меня, дни и ночи меня стережет смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены и я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого (если вы заставите себя поверить) будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил — по собственному признанию Джекила — имя Хайда, и его разыскивали по всей стране, как убийцу Кэрью.

Хейсти Лэньон.

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ГЕНРИ ДЖЕКИЛА

Я родился в году 18... наследником большого состояния; кроме того, я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, высоко ставил уважение умных и благородных людей и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит источником счастья; однако я не мог примирить эти наклонности с моим

настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной. Немало людей гордо выставляли бы напоказ те уклонения со стези добродетели, в которых я был повинен, но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия. Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений — те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей. Та же причина заставляла меня упорно и настойчиво размышлять над тем суровым законом жизни, который лежит в основе религии и является самым обильным источником человеческого горя. Но, несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером: обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность — я был самим собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству и когда при свете дня усердно трудился на ниве знания или старался облегчить чужие страдания и несчастья. Направление же моих ученых занятий, тяготевших к области мистического и трансцендентного, в конце концов повлияло и пролило яркий свет на эту вечную войну двух начал, которую я ощущал в себе. Таким образом, с каждым днем обе стороны моей духовной сущности — нравственная и интеллектуальная — все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю «двоичен» потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов. Я же благодаря своему образу жизни мог продвигаться в одном и только в одном направлении. В своей личности абсолютную и изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере

нравственности. Наблюдая в себе соперничество двух противоположных натур, я понял, что назвать каждую из них своей я могу только потому, что и та и другая равно составляют меня; еще задолго до того, как мои научные изыскания открыли передо мной практическую возможность такого чуда, я с наслаждением, точно заветной мечте, предавался мыслям о полном разделении этих двух элементов. Если бы только, говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой; дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благой стезей, творя добро согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары, которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла. Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев, эта непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить?

Вот куда уже привели меня мои размышления, когда, как я упоминал, на лабораторном столе забрезжил путеводный свет. Я начал осознавать глубже, чем кто-либо осознавал это прежде, всю зыбкую нематериальность, всю облачную бесплотность столь неизменного на вид тела, в которое мы облечены. Я обнаружил, что некоторые вещества обладают свойством колебать и преображать эту мышечную оболочку, как ветер, играющий с занавесками в беседке. По двум веским причинам я не стану в своей исповеди подробно объяснять научную сторону моего открытия. Во-первых, с тех пор я понял, что предопределенное бремя жизни возлагается на плечи человека навеки и попытка сбросить его неизменно кончается одним: оно вновь ложится на них, сделавшись еще более неумолимым и тягостным. Во-вторых, как — увы! — станет ясно из этого рассказа, открытие мое не было доведено до конца. Следовательно, достаточно будет сказать, что я не только распознал в моем теле всего лишь эманацию и ореол неких сил, составляющих мой дух, но и сумел приготовить препарат, с помощью которого эти силы лишались верховной власти, и возникал второй облик, который точно так же принадлежал мне, хотя он был выражением и нес на себе печать одних низших элементов моей души.

Я долго колебался, прежде чем рискнул подвергнуть эту теорию проверке практикой. Я знал, что опыт легко может кончиться моей смертью: ведь средство, столь полно подчиняющее себе самый оплот человеческой личности, могло вовсе уничтожить призрачный ковчег духа, который я надеялся с его помощью только преобразить,— увеличение дозы на ничтожнейшую частицу, мельчайшая заминка в решительный момент неизбежно привели бы к роковому результату. Однако соблазн воспользоваться столь необыкновенным, столь неслыханным открытием в конце концов возобладал над всеми опасениями. Я уже давно изготовил тинктуру, я купил у некой оптовой фирмы значительное количество той соли, которая, как показали мои опыты, была последним необходимым ингредиентом, и вот в одну проклятую ночь я смешал элементы, увидел, как они закипели и задымились в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна.

Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришел в себя, словно после тяжелой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая легкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным — рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом.

Тогда в моем кабинете не было зеркала: то, которое стоит сейчас возле меня, я приказал поставить здесь позже — именно для того, чтобы наблюдать эту метаморфозу. Однако на смену ночи уже шло утро — утро, которое, как ни черно оно было, готовилось вот-вот породить день,— моих домочадцев крепко держал в объятиях непробудный сон, и я, одурманенный торжеством и надеждой, решил отправиться в моем новом облике к себе в спальню. Я про-

шел по двору, и созвездия, чудилось мне, с удивлением смотрели на первое подобное существо, которое им довелось узреть за все века их бессонных бдений; я прокрался по коридору — чужой в моем собственном доме — и, войдя в спальню, впервые увидел лицо и фигуру Эдварда Хайда.

Далее следуют мои предположения — не факты, но лишь теория, представляющаяся мне наиболее вероятной. Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявшей из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность и тем самым сохранял его силы. Вот почему, думается мне, Эдвард Хайд был ниже ростом, субтильнее и моложе Генри Джекила. И если лицо одного дышало добром, лицо другого несло на себе ясный и размашистый росчерк зла. Кроме того, зло (которое я и теперь не могу не признать губительной стороной человеческой натуры) наложило на этот облик отпечаток уродства и гнилости. И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я. Образ в зеркале казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, он был более четким отражением духа, более выразительным и гармоничным, чем та несовершенная и двойственная внешность, которую я до тех пор привык называть своей. И в этом я был, без сомнения, прав. Я замечал, что в облике Эдварда Хайда я внушал физическую гадливость всем, кто приближался ко мне. Этому, на мой взгляд, есть следующее объяснение: обычные люди представляют собой смесь добра и зла, а Эдвард Хайд был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла.

Я медлил перед зеркалом не долее минуты — мне предстояло проделать второй и решающий опыт: я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу, снова испытал муки преображения и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила.

В ту ночь я пришел к роковому распутью. Если бы к моему открытию меня привели более высокие побуждения, ес-

ли бы я рискнул проделать этот опыт, находясь во власти благородных или благочестивых чувств, все могло бы сложиться иначе и из агонии смерти и возрождения я восстал бы ангелом, а не дьяволом. Само средство не обладало избирательной способностью, оно не было ни божественным, ни сатанинским, оно лишь отперло темницу моих склонностей и, подобно узникам в Филиппах, наружу вырвался тот, кто стоял у двери. Добро во мне тогда дремало, а зло бодрствовало, разбуженное тщеславием, и поспешило воспользоваться удобным случаем — так возник Эдвард Хайд. В результате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой остался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему.

Даже и в то время я еще не полностью преодолел ту скуку, которую внушало мне сухое однообразие жизни ученого. Я по-прежнему любил развлечения, но мои удовольствия были (мягко выражаясь) не слишком достойными, а я не только стал известным и уважаемым человеком, но достиг уже пожилого возраста, и раздвоенность моей жизни с каждым днем делалась для меня все тягостнее. Тут мне могло помочь мое новообретенное могущество, и, не устояв перед искушением, я превратился в раба. Мне стоило только выпить мой напиток, чтобы сбросить с себя тело известного профессора и, как плотным плащом, окутаться телом Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли — тогда она показалась мне забавной — и занялся тщательной подготовкой. Я снял и меблировал тот дом в Сохо, до которого впоследствии полиция проследила Хайда, и поручил его заботам женщины, которая, как мне было известно, не отличалась щепетильностью и умела молчать. Затем я объявил моим слугам, что некий мистер Хайд (я описал его внешность) может распоряжаться в доме, как у себя,— во избежание недоразумений я несколько раз появился там в моем втором облике, чтобы слуги ко мне привыкли. Далее я составил столь возмутившее вас завещание; если бы с доктором Джекилом что-нибудь произошло, я благодаря этому завещанию мог бы окончательно преобразиться в Эдварда Хайда, не утратив при этом моего состояния. И вот, обезопасившись, как

мне казалось, от всех возможных случайностей, я начал извлекать выгоду из странных привилегий моего положения.

В старину люди пользовались услугами наемных убийц, чтобы их руками творить свои преступления, не ставя под угрозу ни себя, ни свою добрую славу. Я был первым человеком, который прибегнул к этому способу в поисках удовольствий. Я был первым человеком, которого общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд и, подобно вырвавшемуся на свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но в отличие от этого школьника мне в моем непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал! Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье — я бдительно следил за тем, чтобы тинктура и порошки всегда были у меня под рукой,— и Эдвард Хайд, что бы он ни натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джекил, человек, который, мирно трудясь у себя дома при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями.

Удовольствия, которым я незамедлительно стал предаваться в своем маскарадном облике, были, как я уже сказал, не очень достойными, но и только; однако Эдвард Хайд вскоре превратил их в нечто чудовищное. Не раз, вернувшись из подобной экскурсии, я дивился развращенности, обретенной мной через его посредство. Этот фактотум, которого я вызвал из своей собственной души и послал одного искать наслаждений на его лад, был существом по самой своей природе злобным и преступным; каждое его действие, каждая мысль диктовались себялюбием, с животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное изваяние. Генри Джекил часто ужасался поступкам Эдварда Хайда, но странность положения, неподвластного обычным законам, незаметно убаюкивала совесть. Ведь в конечном счете виноват во всем был Хайд и только Хайд. А Джекил не стал хуже, он возвращался к лучшим своим качествам как будто таким же, каким был раньше. Если это было в его силах, он даже спешил загладить зло, причиненное Хайдом. И совесть его спала глубоким сном.

Я не хочу подробно описывать ту мерзость, которой потворствовал (даже и теперь мне трудно признать, что ее творил я сам), я намерен только перечислить события, которые указывали на неизбежность возмездия и на его приближение. Однажды я навлек на себя большую опасность, но так как этот случай не имел никаких последствий, я о нем здесь только упомяну. Моя бездушная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я узнал в вашем кузене в тот раз, когда вы видели меня у окна; к нему на помощь пришли родные девочки и врач, и были минуты, когда я уже опасался за свою жизнь; чтобы успокоить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд был вынужден привести их к двери лаборатории и вручить им чек, подписанный Генри Джекилом. Однако я обеспечил себя от повторения подобных случаев, положив в другой банк деньги на имя Эдварда Хайда; а когда я научился писать, изменяя наклон, и снабдил моего двойника подписью, я решил, что окончательно перехитрил судьбу.

Месяца за два до убийства сэра Дэнверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева и резьбу на ее спинке — что-то продолжало настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мысли и, поддавшись моему обычному интересу к психологии, начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на свою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекила по форме и размерам была настоящей рукой врача — крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полусжатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда.

Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объял ужас, внезапный и оглушающий, как грохот литавр,— вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как можно это объяснить? — спросил я себя и тут же с новым приливом ужаса задал себе второй вопрос: как это исправить? Утро было в разгаре, слуги давно встали, все мои порошки хранились в кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом, двумя лестничными маршами, коридором, широким двором и всей длиной анатомического театра. Конечно, я мог бы закрыть лицо, но что пользы? Ведь я был не в состоянии скрыть перемену в моем телосложении. Но тут с неизъяснимым облегчением я вспомнил, что слуги были уже давно приучены к внезапным появлениям моего второго «я». Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика, быстро прошел через черный ход, где Брэдшоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии, и через десять минут доктор Джекил, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает.

Да, мне было не до еды! Это необъяснимое происшествие, это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письменам на валтасаровом пиру, пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Та часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой — мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше и шире в плечах, будто (когда я принимал эту форму) кровь более энергично струится в его жилах; значит, если так будет продолжаться и дальше, думал я, возникнет опасность, что равновесие моей духовной сущности нарушится безвозвратно, я лишусь способности преображаться по собственному желанию и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе, и с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу, а как-то, рискуя жизнью, при-

нял даже тройную. До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, омрачавшей мою радость. Однако теперь, раздумывая над утренним происшествием, я пришел к выводу, что если вначале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекила, то в последнее время труднее всего стало вновь в него облекаться. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод: я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим «я» и мало-помалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа.

Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура) то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес, Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием. Выбрать Джекила значило бы отказаться от тех плотских склонностей, которым я прежде потакал тайно и которые в последнее время привык удовлетворять до пресыщения. Выбрать Хайда значило бы отказаться от тысячи интересов и упований, мгновенно и навеки превратиться в презираемого всеми отщепенца. Казалось бы, выбор представляется неравным, но на весы приходилось бросить еще одно соображение: Джекил был бы обречен мучительно страдать в пламени воздержания, в то время как Хайд не имел бы ни малейшего понятия о том, чего он лишился. Пусть положение мое было единственным в своем роде, но в сущности этот спор так же стар и обычен, как сам человек; примерно такие же соблазны и опасности решают, как выпадут кости для любого грешника, томимого искушением и страхом; и со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних: я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору.

Да, я предпочел пожилого доктора, втайне не удовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды; я предпочел его и решительно про-

стился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями — со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не отказался от дома в Сохо и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая по-прежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение, два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги, спокойная совесть становилась чем-то привычным, меня начинали терзать томительные желания, словно Хайд пытался вырваться на волю, и, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток.

Пьяница, задумавший отучить себя от своего порока, лишь в редком случае искренне содрогнется при мысли об опасностях, которым он подвергается, впадая в физическое отупение. Так же и я, постоянно размышляя над своим положением, все же склонен был с некоторым легкомыслием относиться к абсолютному нравственному отупению и к неутолимой жажде зла, которые составляли главные черты характера Эдварда Хайда. Но именно они и навлекли на меня кару. Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло. Вероятно, именно поэтому учтивая речь моей несчастной жертвы и подняла в моей душе бурю раздражения; бог свидетель, ни один душевно здоровый человек не был бы способен совершить подобное преступление по столь незначительному поводу — я нанес первый удар под влиянием того же чувства, которое заставляет больного ребенка ломать игрушку. Однако я добровольно освободился от всех сдерживающих инстинктов, которые даже худшим из нас помогают сохранять среди искушений хоть какую-то степень разумности; для меня же самый малый соблазн уже означал падение.

Мгновенно во мне проснулся и забушевал адский дух. В экстазе злорадства я калечил и уродовал беспомощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе, и только когда мной начала овладевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Ту-

ман рассеялся, я понял, что мне грозит смерть, и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно,— удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена, как струна скрипки. Я бросился в Сохо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме; затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы все в том же двойственном настроении — я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги отмстителя. Хайд весело напевал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь, я вновь пережил дни детства, когда я гулял, держась за отцовскую руку, годы самозабвенного труда на благо больных и страждущих — и опять, и опять, с тем же чувством нереальности, я возвращался к ужасу этого проклятого вечера. Мне хотелось кричать, я пытался слезами и молитвами отогнать жуткие образы и звуки, которыми пытала меня моя память, но уродливый лик моего греха продолжал заглядывать в мою душу. Однако, по мере того как муки раскаяния стихали, их начинала сменять радость. Все было решено окончательно. С этих пор о Хайде не могло быть и речи, я волей-неволей должен был довольствоваться лучшей частью моего существа. О, как я этому радовался! С каким истовым смирением я вновь принял ограничения естественной жизни! С каким искренним отречением я запер дверь, которой так часто пользовался прежде, и сломал каблуком ключ!

На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление, это было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался — обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. Джекил будет отныне моей крепостью: стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу — и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерти.

Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого, и могу сказать без хвастовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды. Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду; вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И, право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь — напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием, и когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которую я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно бунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда — одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас! Нет-нет, я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник.

Всему наступает конец; переполняется даже самая вместительная мера; и эта краткая уступка моему злому началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился! Падение это казалось мне естественным — простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный январский день, сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджент-парк звенел от зимнего чириканья и благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье, зверь во мне облизывал косточки воспоминаний, духовное начало дремало, обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов, размышлял я, чем я хуже всех моих ближних? И тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жестокостью их равнодушия. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб. Затем они прошли, и я почувствовал слабость, а когда оправился, то заметил, что характер моих мыслей меняется и на смену прежнему настроению приходят дерзкая смелость, презрение к опасности, пренебрежение к узам человеческого долга. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на

моем съежившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой. Я вновь превратился в Эдварда Хайда. За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим — и дома меня ждал накрытый к обеду стол; а теперь я стал изгоем, затравленным, бездомным, я был изобличенным убийцей, добычей виселицы.

Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекил, вероятно, погиб бы, Хайд нашел выход из положения. Тинктура и порошки были спрятаны у меня в кабинете в ящике одного из шкафов. Как до них добраться? Эту задачу я и старался решить, сдавив виски ладонями. Дверь лаборатории я запер навсегда. Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника, и остановил свой выбор на Лэньоне. Но как увидеться с ним? Как убедить его? Предположим, мне даже удастся избежать ареста на улице — примет ли он меня? А если примет, то каким образом неизвестный и неприятный посетитель сможет убедить знаменитого врача обыскать кабинет его коллеги доктора Джекила? Тут я вспомнил, что у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности — мой почерк; и эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца.

Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля, название которого случайно запомнил. Поглядев на меня (а выглядел я действительно забавно, хоть за этим нелепым маскарадом и крылась трагедия), извозчик не мог сдержать улыбки. Во мне поднялась дьявольская ярость, я заскрежетал зубами, и улыбка мгновенно исчезла с его лица — к счастью для него, но еще к большему счастью для меня, так как через секунду я, несомненно, стащил бы его с козел. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали: не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Хайд, которому грозила смерть, был для меня чем-то новым — его снедало неутомимое бешенство, он готов был убивать и

жаждал причинять боль. Тем не менее он сохранял благоразумие. Огромным усилием воли подавив свою ярость, он написал два важнейших письма — Лэньону и Пулу — и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены.

Затем до ночи он просидел у камина в своем номере, грызя ногти; он пообедал там наедине со своими страхами, и официант бледнел и дрожал под его взглядом; с наступлением ночи он уехал, забившись в угол закрытого экипажа, и приказал кучеру возить его по улицам без всякой цели. «Он», говорю я — и не могу написать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого, в его душе жили только ненависть и страх. И когда в конце концов, опасаясь, как бы извозчик чего-нибудь не заподозрил, он отпустил экипаж и отправился далее пешком в своем костюме не по росту, привлекавшем к нему внимание всех ночных прохожих, только два эти низменные чувства бушевали в его груди. Он шагал торопливо, гонимый тревогой, что-то бормотал про себя, сворачивал в безлюдные проулки и считал минуты, еще оставшиеся до полуночи. Один раз его остановила какая-то женщина, продававшая, кажется, спички. Он ударил ее по лицу, и она убежала.

Когда я снова стал собой в кабинете Лэньона, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу: это была лишь капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличения Лэньона я выслушивал, как в тумане, и, как в тумане, я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым, непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я по-прежнему ненавидел и страшился зверя, спавшего во мне, не забыл я и смертельной опасности, пережитой накануне, но ведь я теперь был дома, у себя, возле моих порошков, и радость, охватывавшая меня при мысли о моем чудесном спасении, лучезарностью почти равнялась надежде.

Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охва-

тила неописуемая дрожь, предвестница преображения — у меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза, и — увы! — шесть часов спустя, когда я грустно сидел у камина, глядя в огонь, я вновь почувствовал знакомые спазмы и должен был прибегнуть к порошкам. Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранять обличие Джекила только ценой безостановочных усилий и только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Это вечное ожидание неизбежного и бессонница, на которую я теперь обрек себя,— я и не представлял, что человек может так долго не спать! — превратили меня, Джекила, в снедаемое и опустошаемое лихорадкой существо, обессиленное и телом и духом, занятое одной-единственной мыслью — ужасом перед своим близнецом. Но когда я засыпал или когда кончалось действие препарата, я почти без перехода (с каждым днем спазмы преображения слабели) становился обладателем воображения, полного ужасных образов, души, испепеляемой беспричинной ненавистью, и тела, которое казалось слишком хрупким, чтобы вместить такую бешеную жизненную энергию. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекил угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекила она порождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство существа, которое делило с ним некоторые стороны сознания и должно было стать сонаследником его смерти — но вне этих объединяющих звеньев, которые сами по себе составляли наиболее мучительную сторону его несчастья, Хайд, несмотря на всю свою жизненную энергию, представлялся ему не просто порождением ада, но чем-то не причастным органическому миру. Именно это и было самым ужасным: тина преисподней обладала голосом и кричала, аморфный прах двигался и грешил, то, что было мертвым и лишенным формы, присваивало функции жизни. И эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза, она томилась в его теле, как в клетке, и он слышал ее глухое ворчание, чувствовал, как она рвется на свет, а в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вы-

тесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности; но эта необходимость была ему противна, ему было противно уныние, в которое впал теперь Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему. Поэтому он с обезьяньей злобой устраивал мне всяческие гадости: писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца, и только страх смерти удерживал его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Но его любовь к жизни поразительна! Скажу более: я содрогаюсь от омерзения при одной мысли о нем, но, когда я вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость.

Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук — пусть будет довольно этого; однако привычка принесла — нет, не смягчение этих мук, но некоторое огрубение души, притупление отчаяния, и мое наказание могло бы длиться еще многие годы, если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика и моего характера. Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать. Я послал купить ее и смешал питье — жидкость закипела, цвет переменился, но второй перемены не последовало; я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно, и теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь, и что именно эта неведомая примесь придавала силу питью.

С тех пор прошло около недели, и я дописываю это мое объяснение под действием последнего из прежних моих порошков. Если не случится чуда, значит, Генри Джекил в последний раз мыслит, как Генри Джекил, и в последний раз видит в зеркале свое лицо (увы, изменившееся до неузнаваемости!). И я не смею медлить с завершением моего письма — до сих пор оно могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайд разорвет его в клочки, но если я успею спрятать его за-

благовременно, невероятный эгоизм Хайда и заботы его нынешнего положения могут спасти письмо от его обезьяньей злобы. Да, тяготеющий над нами обоими рок уже изменил и раздавил его. Через полчаса, когда я вновь и уже навеки облекусь в эту ненавистную личину, я знаю, что буду, дрожа и рыдая, сидеть в кресле или, весь превратившись в испуганный слух, примусь без конца расхаживать по кабинету (моему последнему приюту на земле) и ждать, ждать, что вот-вот раздадутся звуки, предвещающие конец. Умрет ли Хайд на эшафоте? Или в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы? Это ведомо одному богу, а для меня не имеет никакого значения: час моей настоящей смерти уже наступил, дальнейшее же касается не меня, а другого. Сейчас, отложив перо, я запечатаю мою исповедь, и этим завершит свою жизнь злополучный

Генри Джекил.

СОДЕРЖАНИЕ

Моя первая книга «Остров Сокровищ». *Перевод М. Кан* . . . 7

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Перевод Н. Чуковского

Часть первая. Старый пират

Глава I. Старый морской волк в трактире «Адмирал Бенбоу» 15
Глава II. Черный Пес приходит и уходит 21
Глава III. Черная метка 26
Глава IV. Матросский сундук 32
Глава V. Конец слепого 37
Глава VI. Бумаги капитана 42

Часть вторая. Судовой повар

Глава VII. Я еду в Бристоль 47
Глава VIII. Под вывеской «Подзорная Труба» 52
Глава IX. Порох и оружие 57
Глава X. Плавание 62
Глава XI. Что я услышал, сидя в бочке из-под яблок . 67
Глава XII. Военный совет 72

Часть третья. Мои приключения на суше

Глава XIII. Как начались мои приключения на суше . . 77
Глава XIV. Первый удар 81
Глава XV. Островитянин 86

Часть четвертая. Частокол

Глава XVI. Дальнейшие события изложены доктором. Как был покинут корабль 91

Глава XVII. Доктор продолжает свой рассказ. Последний рейс в ялике 95
Глава XVIII. Доктор продолжает свой рассказ. Конец первого дня сражения 99
Глава XIX. Опять говорит Джим Хокинс. Гарнизон в блокгаузе 103
Глава XX. Сильвер-парламентер 108
Глава XXI. Атака 113

Часть пятая. Мои приключения на море

Глава XXII. Как начались мои приключения на море . . 118
Глава XXIII. Во власти отлива 122
Глава XXIV. В челноке 126
Глава XXV. Я спускаю «Веселого Роджера» 130
Глава XXVI. Израэль Хендс 134
Глава XXVII. «Пиастры!» 141

Часть шестая. Капитан Сильвер

Глава XXVIII. В лагере врагов 146
Глава XXIX. Снова черная метка 152
Глава XXX. На честное слово 158
Глава XXXI. Поиски сокровищ. Указательная стрела Флинта 163
Глава XXXII. Поиски сокровищ. Голос в лесу 169
Глава XXXIII. Падение главаря 174
Глава XXXIV и последняя 179

ЧЕРНАЯ СТРЕЛА

Повесть из времен войны Алой и Белой розы

Перевод М. и Н. Чуковских

Пролог. Джон Мщу-за-всех 187
Книга первая. Два мальчика
Глава первая. Под вывеской «Солнца» в Кэттли 201
Глава вторая. На болоте 208
Глава третья. Перевоз у болота 213
Глава четвертая. Молодцы из зеленого леса 219
Глава пятая. Кровожадная охота 226
Глава шестая. Конец дня 233
Глава седьмая. Человек с закрытым лицом 239

Книга вторая. Замок Мот

Глава первая. Дик задает вопросы 246
Глава вторая. Две клятвы 253
Глава третья. Комната над часовней 260
Глава четвертая. Потайной ход 265
Глава пятая. Как Дик перешел на другую сторону 269

Книга третья. Милорд Фоксгэм

Глава первая. Дом на берегу 276
Глава вторая. Бой во мраке 281
Глава третья. Крест Святой Девы 287
Глава четвертая. «Добрая Надежда» 289
Глава пятая. «Добрая Надежда» (продолжение) 296
Глава шестая. «Добрая Надежда» (окончание) 301

Книга четвертая. Ряженые

Глава первая. Логовище 306
Глава вторая. «В доме врагов моих» 312
Глава третья. Мертвый шпион 319
Глава четвертая. В монастырской церкви 325
Глава пятая. Граф Райзингэм 333
Глава шестая. Снова Арблестер 336

Книга пятая. Горбун

Глава первая. Зов трубы 344
Глава вторая. Битва при Шорби 350
Глава третья. Битва при Шорби (окончание) 355
Глава четвертая. Разгром Шорби 359
Глава пятая. Ночь в лесу. Алисия Райзингэм 367
Глава шестая. Ночь в лесу (окончание). Дик и Джоанна . 373
Глава седьмая. Месть Дика 381
Глава восьмая. Заключение 384

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Окаянная Дженет. *Перевод Н. Дарузес* 389
Веселые Молодцы. *Перевод И. Гуровой* 401
Маркхейм. *Перевод Н. Волжиной* 448
Олалла. *Перевод М. Литвиновой* 466
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. *Перевод И. Гуровой* 507

Р. Л. СТИВЕНСОН.

Собрание сочинений в 5 томах.

Том II.

Редакторы тома
М. Кан и Т. Литвинова.

Оформление художников
С. Бродского и И. Клейнарда.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подписано к печати 25/XI 1967 г.
Форм. бум. 84×108 1/32. Объем 30,66 усл. печ. л.
32,10 учетно-изд. л. Тираж 300 000 экз.
Изд. № 2146. Зак. № 2061. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

Индекс 70678.